1.1976

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Иностранная литература

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1

ЯНВАРЬ
1976

Содержание

ЭМИЛ МАНОВ — Сын директора *(Роман. Перевод с болгарского Алексея Собковича)* 4

ИНГРИД ЙОНКЕР — Стихи *(Переводы с языка африкаанс Д. Сильвестрова, Е. Витковского. Вступление А Давидсона)* 74

ФРАНЦ-ЙОЗЕФ ДЕГЕНХАРДТ — Бикфордов шнур *(Роман. Авторизованный перевод с немецкого И. Зильбермана и В. Котелкина. Предисловие Фридриха Хитцера)* 80

ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ — Из трех книг *(Перевод с итальянского Евгения Солоновича. Вступление Ц. Кин)* 156

СЬЮЗЕН ХИЛЛ — Рассказы *(Перёводы с английского И. Якушкиной и Г. Габриэляна)* 163

Критика

УБЕРТО АЛЬВАРАДО АРЕЛЬЯНО — Они сражались оружьем слова... *(Перевод с испанского Инны Тыняновой. Вступление Юрия Дашкевича)* 190

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ — Всматриваясь в очевидное 196

А. ГУРЕВИЧ — Мировая культура и современность 205

Культура и современность

Заметки на полях

В. Хорев — Зерна и плевелы культуры. Нодар Джинджихашвили — Компьютеры и искусство? 215

Публицистика

СТАДС ТЕРКЕЛ — Работа (Люди рассказывают, чем они занимаются весь день и что об этом думают. Отрывки из книги. *Перевод с английского И. Гуровой и Н. Толкуновой. Предисловие С. Кондрашова)* 224

Наши гости

В. Д.— Встреча с друзьями (В «Иностранной литературе» — кубинские писатели Мануэль Кофиньо Лопес и Густаво Эгурен) 256

Среди книг

Издано в СССР

Михаил Рощин — Желая лучше узнать и понять страну... Лев Озеров — Наш друг из Казанлыка. Тамара Жирмунская — «Жить ради правды...» 258

Издано за рубежом

Андре Ремакль — Когда поэт обращается к своему народу. В. Муравьев — Австралийская сюита. С. Таск — Новое имя 264

Из месяца в месяц 271

Авторы этого номера 286

На обложке: картина болгарского художника РАДИ НЕДЕЛЧЕВА «Зимний праздник».

На второй странице обложки: картина болгарского художника Т. ВЫРБАНОВА «Горизонт».

На третьей странице обложки: картина Т. ВЫРБАНОВА «Бессмертие».

© «Иностранная литература», 1976.

ВЛАДО ЛУКНАР *(Чехословакия)*. Мой город.

ЭМИЛ МАНОВ

Сын директора

РОМАН

Перевод с болгарского Алексея СОБКОВИЧА

1

Прошло уже полчаса, как я проснулся, а вставать неохота. Мои попытки подремать еще немного наталкиваются на сопротивление Пуха — рокочет у меня на груди, словно струна контрабаса. Время от времени кот посматривает на меня бездонными зелеными глазами, жмурится, и тогда его вибрация начинает отдаваться в моих легких. Я тоже жмурюсь, но у меня не хватает духу столкнуть его на пол. Ничем не примечательный серый мурлыка с темными полосками на спине и белым животом, а до чего же нежный, чертенок. Стоит мне шевельнуться, он тотчас прыгает на кровать и норовит потереться мордой о мою шею. Закрою глаза, он протягивает лапу и вкрадчиво тычет мне в лицо. И только его поза, когда он подстерегает какую-нибудь муху, да пробегающая по хвосту нервная дрожь напоминают порой о его далеких кровожадных предках из джунглей.

Никак не привыкну спать днем. С трудом засыпаю, с трудом просыпаюсь, чувствую себя разбитым и мягким, как губка. Голова, кажется, набита железными стружками, ноют руки, болит поясница, и трудно смотреть на свет. Попробовал задвинуть занавески, но они желтые, а окно мое обращено на запад, и теперь все внутри комнаты полыхает огнем. Даже серый Пух. Висящий на противоположной стене набросок башенного крана, вонзившего стрелу в облака, сделанный мною, когда я работал у отца на заводе, весь в позолоте. Тогда башенный кран казался мне каким-то чудовищным жирафом, жадно вытянувшим шею, чтобы выпить небо над крышами цехов, и только заводская труба успешно соперничала с ним, но ее я не стал рисовать — она бы все испортила. Этот набросок мне нравится. Всякий раз, когда просыпаюсь, я смотрю на него, и какие только мысли не приходят мне в голову.

Люблю поразмышлять, валяясь в постели. Порой так увлекусь, что начинаю сам с собой разговаривать. Как-то меня услышал отец, а увидев, что в комнате я один, многозначительно задержал на мне взгляд и посоветовал сходить к врачу. Это было еще до призыва в армию. Чаще всего я разговаривал с моим бывшим учителем физики Ставревым, поскольку никак не мог забыть ту историю с сигаретой. Пока служил в солдатах, я почти не вспоминал о ней, а как уволился

несколько месяцев назад, она снова стала лезть мне в голову. Правда, не так часто, как прежде, и не так назойливо. Теперь я беседую со Ставревым более учтиво и стараюсь говорить не вслух, так как отец и без того не очень высокого мнения обо мне и я не жажду выслушивать его колкие замечания.

Все же я сталкиваю с груди Пуха и поднимаюсь. Он потягивается, ленивец этакий, сперва на передних ногах, потом на задних, и устремляется к двери — знает, что я пойду на кухню. Я в трусах и в майке и, чтобы поскорей размять ноющие мышцы, делаю несколько приседаний, при этом обдумывая, чем бы мне заняться вечерком, до того, как идти на работу. Пока натягиваю брюки и ищу носки под кроватью, у двери замирают тихие шаги, и мне слышится тихий голос:

— Петьо! Петьо, может, поешь чего-нибудь?

Это, конечно, мама. У нее радар, не знающий преград,— все видит, все слышит, все прощупает. Ничего от нее не утаишь, и это порой меня угнетает.

— Сейчас,— говорю,— вот только оденусь.

— Подогреть тебе?

— Подогрей.

Половина шестого. Вот это сон — семь часов подряд. С тех пор как я поступил на ночную работу, такое со мной случается впервые. Я бодро вхожу в ванную. Холодная вода обжигает голову и шею, и когда я вытираюсь махровым полотенцем, из зеркала на меня смотрит раскрасневшееся худое лицо с серыми глазами и небольшим шрамом на подбородке — память о том, как я однажды загремел по ступенькам лестницы. Шрам придает моему лицу решительный вид. Правда, выражение глаз постоянно опровергает эту решительность. Из-за чего мое лицо мне ужасно не нравится. Вечно оно какое-то неясное, неуверенное, как будто я вот-вот упаду или кто-то огреет меня дубиной по спине, и я спешу отвернуться от зеркала. Волосы у меня густые и жесткие, как щетина, ломают гребешки, и я ограничиваюсь тем, что немного приглаживаю их — лишь бы не торчали. Перед армейской службой моя сестра Дима имела привычку дергать меня за волосы, говоря при этом, что ими вполне можно чистить одежду или мыть пол.

Надеваю зеленую водолазку, окидываю глазами брюки — складки на них еще видны — и иду в кухню. На столе — цыпленок с рисом, тарелка переполненная, естественно, салат из ранних огурцов, апельсин. Все это необходимо съесть, иначе мама решит, что я заболел. Сама она стоит посреди выбеленной кухни, рослая и кроткая, беспокойно оглядываясь по сторонам — не забыла ли чего подать на стол. Стоит в своем поношенном байковом платье, опустив руки, а я ем, чувствуя, как Пух нетерпеливо трется головой о мои ноги.

Мама присаживается напротив. Чтобы не видеть ее озабоченной улыбки, я склоняюсь над тарелкой. Тяжелые, огрубевшие от домашней работы руки и озабоченная улыбка — такой я ее помню с детства, такой она и осталась. Только волосы поседели. Не знаю почему, но я всегда чувствую себя виноватым перед нею, то ли ее неизменная терпеливая любовь этому причина, а быть может, то, что из-за нас с сестрой она вынуждена была распрощаться с мыслью добиться в жизни чего-то большего. В свое время она закончила химический факультет, а отец мой был простым слесарем. Сейчас он — директор крупного завода, а она — домохозяйка.

— Ты куда-то собрался? — спрашивает мама.

— Схожу за ботинками в мастерскую. Потом должен встретиться с Кириллом.

— Ботинки я сама заберу, все равно надо идти за хлебом. Как он, Кирчо?

— Учится.

— На каком отделении?

— На отделении болгарского языка и литературы.

— А-а-а...

Она больше ничего не сказала, но я знаю, о чем она сейчас думает. И знаю, что это ее угнетает. Кирилл студент, как и другие мои друзья по школе, а я так и не закончил ее. Не потому, что плохо учился, просто так случилось. Мне бы следовало теперь сдать экзамен на аттестат зрелости, разрешение есть, но я что-то никак не примусь за учебу. А то, что пошел работать, окончательно расстроило и ее и отца.

Бросаю взгляд на часы. Отдав недоеденное Пуху, торопливо собираюсь уйти. В прихожей надеваю ватник — может, перед работой не придется заглянуть домой. Мама провожает меня до двери.

— Скоро вернется отец, подождал бы его.

Я говорю, что уже опаздываю и, чтобы смягчить свой отказ, глажу ее по плечу. Потом стремительно бегу вниз по лестнице — ужасно не люблю слышать вздохи позади себя.

С тех пор как отец три года назад назвал меня оболтусом, мы встречаемся с ним, как два айсберга. А посередине мама.

Мы живем на бульваре Скобелева, в нескольких шагах от площади Бабушки Недели, где наша улица пересекается с Витошской. Тут проходят две трамвайные линии и уж не знаю сколько автобусных. Отсюда легко можно доехать до центра, до вокзала, в Лозенец и на проспект Ивана Вазова. Так мне по душе эта площадь с желтым зданием железнодорожного училища и зелеными павильонами овощного базара с одной стороны и маленькими магазинами под большими домами — с другой, что просто не могу себе представить Софию без нее. Как и свой дом — где-то в другом месте. Всякий раз, когда, находясь в казарме, я вспоминал о доме, то прежде всего видел небольшой писчебумажный магазин на углу Витошской и Скобелева: в нарядной витрине разложены карандаши, тетрадки, акварельные краски в черных плоских коробках и детские книжки с картинками. И всегда мое сердце начинало сильно колотиться. Не потому, что я такой сентиментальный, нет. В этот магазин я сотни раз приходил еще в детстве, и продавщицы, как часто они ни менялись, сразу же запоминали меня. Поначалу они называли меня мальчиком и требовали показать деньги — хватит ли их на покупку, потом стали обращаться ко мне со словами: «Что вам угодно?» Когда я услышал их впервые, мне стало понятно, что я уже не маленький. Этим я ужасно гордился и продолжал покупать там альбомы для рисования в синей обложке с красной надписью...

Останавливаюсь на минуту перед этой витриной. Теперь здесь продают книги и для взрослых, да и сам магазин как будто повзрослел. Но за витриной висят гирлянды из серебристой бумаги с елочными украшениями, а среди книг восседает гномик с белой бородой в красной одежде — забыли снять новогоднее убранство,— и я на мгновенье превращаюсь в мальчугана, некогда жившего в этом мире. Что ж, теперь-то я знаю, что борода у гномика из ваты, а сверкающие звезды — из крашеного стекла. Есть вещи, которые не повторяются.

Пересекаю Витошскую. Улица напоминает собой ленты конвейера, несущие в двух направлениях людей, легковые автомобили,

трамваи. Мартовский ветер очистил тротуары, и лишь под деревьями да электрическими столбами лежат кучки серого ноздреватого снега. В прозрачном голубом воздухе пахнет влагой и бензином, и я чувствую себя легким, как надувной шарик.

Это, наверно, от гражданских ботинок. После солдатских, в которых я топал целых два года, этих просто не замечаешь на ногах, кажется, что ходишь босиком. Я купил их, как только вернулся со службы. Из двух пар старых только одни мне годятся. И кепка стала маловата, и оба костюма узки в плечах. В армии человек продолжает расти и, может быть, поэтому теперь я иной раз возражаю отцу. В мои годы — месяц назад пошел двадцать второй — вроде бы пора иметь собственное мнение о том, что следует и чего не следует делать, по крайней мере во всем, что касается меня лично, и, видимо, потому, когда мы говорим с отцом, он остается по ту сторону своих принципов, а я — по эту. Я не против принципов, но совершеннолетний вправе самостоятельно решать некоторые вопросы, касающиеся его будущего. И так далее.

Прохожу по саду в том месте, где когда-то стоял Шестой полк, чтобы выйти к Патриарху, а оттуда по улице Ангела Кынчева к кафе, что возле театра. И по пути взглянуть на деда. Если он не в Клубе борцов против фашизма, где к услугам посетителей кофе, шахматы, игра в кости, то наверняка где-то здесь... Здесь, конечно. Его голова белеет на садовой скамейке между двумя другими — седой и плешивой, а махонькое смуглое лицо, как всегда, оживлено и сосредоточено. Должно быть, обсуждает мировую политику. Дед — деятельный член квартальной партийной организации, активист Отечественного фронта. Время от времени он чинит домашний телефон, поскольку когда-то работал техником-телефонистом — это избавляет старого пенсионера от чувства собственной бесполезности. Справившись с какой-либо домашней работой, он требует гонорар в виде рюмки сливовой и маму величает снохой. Дед всегда гладко выбрит — бородка клинышком и усы не в счет,— всегда в белой рубашке и при галстуке. Вечно подтянутый, он никогда не хандрит и фанатично защищает свои нравственные устои полувековой давности. Помню, когда отцу предложили на заводе пост директора, дед ему устроил выволочку: нечего, дескать, пороть горячку, от таких скороспелых инженеров только производство страдает. А надо сказать, что отец, всю свою трудовую жизнь работавший на заводах, лишь на сороковом году стал инженером-машиностроителем, и тогда они с дедом здорово повздорили. Впрочем, дед и сейчас обращается с ним как с мальчишкой. Страшный старик.

— Привет золотой молодежи,— произносит он, вскидывая руку на манер древних римлян, когда я поравнялся со скамейкой.

— И серебряной тоже,— отвечаю я.— Как поживают Кеннеди и председатель Мао?

— Ты хочешь сказать, Никсон и Мао?

Он поднимает голову, смеется и кажется поразительно чистеньким. Словно белый котенок после купанья.

— Ах, верно, Никсон,— говорю.— Продолжайте.

— Привет девчонке от меня.— Дед подмигивает мне с лукавой усмешкой, полагая, что догадался, куда я иду; уже на расстоянии я слышу его слова, обращенные к соседям: — Славный парень, только в политике не силен. Но мы с ним ладим.

Улицу Патриарха перехожу не по правилам, пробираясь между троллейбусом и потоком автомашин. Какой-то шофер кричит мне вслед, я отвечаю ему свистом, он оборачивается с улыбкой. Удивительная вещь: когда мне весело, это передается другим и они ко мне

хорошо относятся. Не могу даже́ понять, почему мне так весело. Повернул за угол, и рука сама нырнула в карман ватника. Прикурить удается лишь с пятой спички. Курится смачно. Шагаю против ветра с сигаретой во рту, держа руки в карманах, хотя и сознаю, что это неприлично. Дым сигареты бьет в глаза, я перемещаю ее из одного угла рта в другой, жую, сплевываю. Гражданка, ведущая за руку клубок белой пряжи, смотрит на меня с возмущением, а я утешаюсь мыслью, что, наверно, с таким же возмущением смотрит на нее несчастный клубок. По опыту знаю, что материнской любви присущи некоторые черты инквизиции и самая опасная из них — боязнь простудить свое детище.

Вот я и пришел. Бросаю окурок, застегиваю ватник и с некоторой робостью вхожу в кафе, всячески стараясь не привлечь к себе внимания. Когда на тебя глядит много народу, немудрено и споткнуться. К тому же я здесь единственный ватник — среди стольких пальто, макинтошей, манто, шикарных дубленок.

В кафе полно моих сверстников. Лишь кое-где можно заметить дяденьку в летах или даму с сигаретой в увядшей руке. Головы плавают в волнах табачного дыма, как водные мячи. Официантки разносят кофе и коньяк и подолгу копаются в кармашках своих белых передничков, перед тем как дать сдачу. Сидящие за столиками парни и девушки болтают между собой или смотрят с досадой сквозь витрину на красное здание театра с застывшими мифическими фигурами в треугольнике фронтона.

Сажусь за столик в глубине зала, где обслуживает совсем молоденькая, тонкая, как прутик ивы, официантка. Она относится ко мне более благосклонно, чем другие, и делает свое дело так, как ее учили: должно быть, новенькая, еще ни с кем не завела знакомства, и потому для нее все клиенты равны. Посмотришь на нее — почти ребенок. Ее тоненькие ножки, резво семенящие между столами, и худенькое лицо, над которым белая наколка сидит как веночек, не знаю почему, вызывают у меня жалость. Однажды я услышал, как за соседним столиком какой-то тип с благородно отвислыми щеками предлагал ей встретиться после работы. Девчушка покраснела, опустила глаза и, собрав посуду, убежала к барменке. Та с улыбкой похлопала ее по плечу, а я повернулся к почтенному типу и сверлил его глазами до тех пор, пока не заставил ретироваться. Сердце у меня колотилось как шальное, в ушах зашумело, словом, я был вне себя от злобы. Со мной случаются подобные приступы.

Хотя уже восьмой час, Кирилла нет и в помине. Передо мной вырастает моя официантка с блокнотиком в руке, и я заказываю кофе и кока-колу. Ничего более крепкого пить не хочется. Закуривая, я смотрю, как девушка семенит в сторону бара. Сзади она ужасно напоминает мне Таню, какой та была в школе три года назад или даже какой она была, когда я уходил в армию. Не знаю, как она выглядит сейчас; после того как уволился, я к ней не заходил. Да и зачем бы я стал к ней заходить. Мы с нею порвали, между нами все кончено.

До чего противный свет в этом кафе. Не люблю неоновое освещение. При нем лица людей делаются какими-то плоскими и мертвенными.

Кирилл не один. Рядом с ним идет девушка в черном пальто из жатого лака, ее лицо обрамляют черные волосы, она кивает сидящим за столиками знакомым. Кирилл — тоже, он тут явно свой человек. За ним неуверенно шагает, оглядываясь сквозь толстые очки, плюга-

венький белобрысый паренек с мягким женственным лицом. Будь у меня возможность, я бы смылся, мне и в голову не пришло, что Кирилл может прийти с компанией. Но он меня уже увидел и улыбаясь издали машет рукой.

Я встаю. Из стакана выплескивается на стол кока-кола. Девушка меряет меня взглядом с ног до головы и, похоже, не может понять, что я за птица. Кирилл представляет меня:

— Невяна, это Петр Клисуров, мой друг со школьных лет.

— А! Кики мне говорил о вас.

Меня бросает в жар — не знаю, что он обо мне наговорил. Рука у девушки узкая и холодная, но рукопожатие мужское, и теперь я вижу, что не такая уж она девушка. Кирилл высокий, красивый, отпустил бакенбарды. В своем светло-желтом свитере с высоким белым воротом под пиджаком он мне напоминает разрезанное пополам яйцо. И кажется лет на пять моложе своей спутницы. Белобрысый паренек тоже, как видно, не паренек, а мужчина лет за тридцать. На его подбородке поблескивают рыжеватые волоски, светлые глаза за стеклами очков глядят беспомощно и с досадой. Он вяло здоровается за руку и садится раньше других, не снимая своего короткого пальто.

— Товарищ Петр Здравков,— сообщает Кирилл, устраивая свою приятельницу на табуретке между собой и мной.— Ты, наверно, слышал о нем.

Не слышал, но киваю утвердительно, так как догадываюсь, что передо мной человек известный, а известные люди обижаются, если ты о них не слышал. Судя по его кепке и по выражению лица, это или художник, или композитор, или какой-нибудь другой представитель искусства. Кирилл еще школьником любил якшаться с подобными людьми — отец у него доцент, эстетику преподает и вращается главным образом в таких кругах.

Невяна достает из сумки зеркальце, слегка касается пальцами волос, как бы проверяя, на месте ли они, потом загибает концы их к подбородку, так что лицо ее оказывается в овальной черной рамке; осматривает свои зубы, ровные и белые, что-то смахивает с уголка глаза. Глаза у нее темные, красивые, но слишком умные и немного старят ее. Губы тонкие, но не злые, только не в меру подвижные и постоянно меняют выражение ее лица.

— Может, выпьешь чего-нибудь покрепче? — спрашивает у меня Кирилл, делая заказ.— Или будешь довольствоваться кока-колой?

Говорю, что кока-колой. Невяна бросает на меня насмешливый взгляд и требует коньяку «Плиска», Кирилл — тоже. Здравков отмахивается — ничего не желает. Он вынимает из кармана литературную газету и небрежно шарит глазами по ее страницам.

Кирилл подносит спичку к горящей сигарете Невяны и обращается ко мне:

— Ну, рассказывай, как прошла служба?

— Нормально.

Что ему рассказывать? Кто служил в солдатах, тот сам все знает, а кто не служил, никогда не поймет. Кирилл затягивается и выпускает дым себе под нос. Он заметно возмужал. В плечах не особенно широк, но мускулы под одеждой дают о себе знать, белое лицо пополнело и выражает некоторую самоуверенность. Мы с ним дружили в школе, нас не разделяли ни соперничество, ни девочки. Но по возвращении из армии я с ним не общался. Быть может, потому, что ему известна моя история с Таней. И все же я обрадовался, встретив его на улице третьего дня.

— А вот мне еще предстоит изведать прелести казарменной жизни,— говорит Кирилл, глотая коньяк, словно касторку.— Сокращенный срок, но как подумаю...

— Все зависит от человека,— говорю.— А в общем, ничего страшного. Есть и польза.

— Польза? Ах, да, для отечества.

— Узнаешь, почем фунт лиха,— вставляю я с усмешкой.— Наш ротный старшина говорил: послужишь в солдатах — ума наберешься.

— Похоже, он прав,— смеется Невяна.— Сразу видно, что Кики еще не служил.

Кирилл тоже смеется, и смех его напоминает звуки саксофона. Здравков выглядывает из-за своей газеты — вид у него по-прежнему скучающий, бесстрастный. Не могу себе представить этого человека в солдатской шинели.

— А теперь куда метишь? — спрашивает Кирилл.

Говорю, что никуда не мечу, и это на самом деле так. Одни куда-то метят еще с детских лет, другие — кончая школу, а я и сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Просто нет у меня никаких особых планов.

— В школе ты хорошо рисовал, даже в выставке участвовал... Почему бы тебе не попробовать поступить в Художественную?

— Скажешь такое! Там только меня не хватает.

— Значит, собираешься и дальше сачковать, находясь на довольствии у предков? — смеется Кирилл.

Может, он даже смутился от моего косого взгляда, но я не люблю, когда лезут мне в душу. Да и этот жаргон терпеть не могу. Будучи школьником, я так и не привык к нему, а один наш старый учитель по литературе любил повторять, что таким языком говорят нищие духом, а того, кто при нем употреблял жаргонные слова, заставлял переписывать житие Софрония Врачанского или выучить наизусть какой-нибудь рассказ Елин Пелина... Однако отвечаю Кириллу в его тоне:

— Надоело бить баклуши. Теперь вкалываю.

— Где?

— На вокзале. Докером заделался.

Впечатление такое, будто я стакан разбил о стол. Кирилл только теперь заметил мой ватник и в изумлении вскидывает брови. Товарищ Здравков бросает на меня беглый взгляд из-за газеты, после чего теряет к моей личности всякий интерес. Рука Невяны замирает с коньяком в воздухе.

— Оригинал,— смеется Кирилл и хлопает меня по плечу.— Ты ведь прежде работал токарем?

Я пожимаю плечами. Слишком долго объяснять, как я очутился в бригаде грузчиков. Сам не знаю, как это случилось. Осточертело заниматься зубрежкой и одиноко слоняться по улицам. Со старыми школьными друзьями я порвал, новых не завел и, уволившись из армии, оказался как бы между небом и землей.

Невяна облокачивается на столик и заглядывает мне в глаза.

— В чем же состоит ваша работа?

— Грузим в поезда народное просвещение.

— А точнее?

— Газеты, журналы и все такое прочее.

— По всей вероятности, среди грузчиков есть интересные люди?

— Есть.

Будь здесь Корешок, подумал я, он наверняка что-нибудь ввернул бы такое, отчего она покраснела бы до ушей. Верно, интересные люди у нас есть. Взять хотя бы папашу Апостола, или того же Ко-

решка, или Шефа, или хотя бы Студента; только эта девушка спрашивает так, будто толкует об экспонатах из зоопарка. Кирилл торопится сгладить впечатление:

— Ты не удивляйся, Невяна журналистка. Строчит очерки. Бездарные, конечно, но на пропитание ей хватает.

— Бездарные, я согласна,— говорит Невяна.— Но ничуть не хуже твоих стихов.

Кирилл смеется, а я даже опешил. Не могу себе представить, что он сочиняет стихи. В школе недурно играл в волейбол. Особенно на подаче. Кирилл подмигивает мне:

— Ненормальная! Да сейчас каждый студент-филолог пишет стихи. Это же не составляет никакого труда, а отчасти доходно.

— И что самое ужасное, находятся безграмотные редакторы, которые их печатают,— говорит Невяна, хотя в ласковом голосе ее улавливается далекий звук фанфар.

Здравков поднимает голову. Аккуратно сложив газету, кладет ее перед собой на столик. В его светлых, обесцвеченных очками глазах тлеет искорка жизни.

— Как продвигается твоя подборка в журнале? — спрашивает он.

— Никак.— Кирилл делает вид, будто это его не волнует, но улыбка на его лице гаснет.— Редакторша хвалит, она даже гордится тем, что открыла меня. А вот главный не мычит и не телится.

— Очень может быть,— кивает Здравков с иронической усмешкой.— Если главный усек, что это я тебя направил к этой Китевой...

— Ну?

— Месяц назад мне предложили написать рецензию на его новый роман. Я отказался.

— А-а-а,— вмешивается Невяна.— Ясно... А почему отказался?

— Страсти дедовских времен,— машет рукой Здравков.— Нафталином разит. А скажи об этом во всеуслышанье, неприятностей не оберешься.

— А мне нравится эта книга,— заявляет Невяна. Ее невинные глаза смотрят удивленно.— Умная книга. В классической манере, безо всякой зауми.

— Ты хочешь сказать — до тошноты традиционна.— Складочки на лице Здравкова образуют презрительную гримасу.— Старина-матушка. К чему его высокие символы, если вокруг пульсирует простая жизнь. Он оперирует нравственными категориями времен Балканской войны.— Здравков уставился глазами куда-то в сторону, словно говорит сидящим за соседними столиками.— Современный человек тем куч, расплывчат, прагматичен, все в нем неуловимо, зыбко, переменчиво. А подобные писатели создают себе воображаемую обстановку и берутся судить... Литературные ходжи. Помнят наизусть Коран, а жизни не видят.

Судя по всему, Здравков критик. Помнится, я даже где-то встречал его фамилию, хотя критику никогда не читаю. Он говорит, и его слова, как брызги внезапно откупоренной шипучки, вырываются с шумом на волю, покалывают тебя, но от этого тебе ни холодно ни жарко. Может, в них и есть что-то верное, но на кого и почему он так сердится? Чем он так напуган? В его правом глазу краснота, им он мигает чаще, чем левым: недоспал или соринка попала и беспокоит его? Соринка в глазу вещь неприятная.

Однажды, еще до службы в армии, когда я работал у отца на заводе, мне в правый глаз попала стружка. Заводской врач так и не сумел ее вытащить магнитом. Пошел я к доктору Еневу, хирургу, другу нашей семьи, тот тоже долго ковырялся в глазу, пока вынул ее наконец, и после этого я неделю ходил с повязкой. Противная

штука. Дело не в боли — я чувствовал себя страшно неуверенно. Мир казался особенно большим именно с той стороны, которая была мне не видна, и, переходя улицу, я очень боялся, что на меня наедет какой-нибудь грузовик. Или сам врежусь во что-нибудь... Натерпелся страху за ту неделю, чувствовал себя как котенок, который очутился посреди улицы в час пик и не знает, куда бежать. Даже дома, у себя в комнате, опасливо озирался...

Здравков тоже озирается, когда говорит. Это у него вроде тика. Кирилл спорит с ним почтительно и смотрит ему в рот. Скоро их спор переходит во взаимовосхваление. Здравков говорит, что такой поэт, как Кирилл, должен иметь вкус и к хорошей прозе. Кирилл торопится заверить, что мнение Здравкова он очень уважает, что же касается книги главного редактора, то он не может с ним согласиться, потому что в ней все же что-то есть.

— Ну еще бы,— впервые по-настоящему смеется Здравков.— Незаметно для себя ты сам подписал ей приговор. Толкуя о романе в триста страниц, сказать, что в нем все же что-то есть...

— Может, ты и прав.— Кирилл пожимает плечами, как будто весь этот разговор не стоит выеденного яйца.— Признаться, я тоже не смог дочитать его до конца.

— Слушай, Кики,— неожиданно говорит Невяна,— почему бы тебе не написать рецензию на этот роман?

Кирилл со Здравковым замолкают и в недоумении переводят взгляд на нее.

— Дело вовсе не в достоинствах книги,— поясняет Невяна.— Хороша она или плоха, отрицательной рецензии на нее печатать не станут, в этом сомневаться не приходится. Почему же в таком случае тебе не написать? Дело верное.

Кирилл громко хохочет, глаза его блестят от выпитого коньяка. Он подмигивает Здравкову:

— Что скажешь? Париж стоит мессы, не правда ли?

— Так то Париж, а тут в лучшем случае можешь рассчитывать лишь на две странички в журнале. Стоит ли связываться?

— Я пошутил,— машет рукой Кирилл.— Нам не пристало размениваться на мелочи.

— Мелочи не мелочи, не все ли равно? — с серьезным видом возражает Невяна.— Пока ты будешь рассуждать, другие напишут, и ты останешься с носом.

Кирилл решительно вертит головой — он не согласен с Невяной,— и я одобряю его в душе. Как можно хвалить то, что тебе не нравится? И потом, Кирилл должен быть Кириллом, а не Кики, когда-то на волейбольной площадке он бывал достаточно категоричен, проявлял характер.

— Петьо, ты небось соскучился с нами?

— Нет,— говорю.— Было очень приятно, но мне пора.

— Погоди, мы же толком и не поговорили.

Заплатив за кофе и кока-колу, я встаю. Кирилл сообщает мне свой адрес, новый адрес — его отец получил квартиру, Кирилл настаивает, чтобы я непременно зашел к нему в ближайшие дни. Невяна говорит, что заглянет как-нибудь на вокзал, потому что до сих пор ей не приходило в голову написать о грузчиках. Рука у критика без костей, и смотрит он куда-то сквозь меня.

Ветер на улице утих, но заметно похолодало. Площадь перед театром мокрая, блестит, словно намазанная желтком. Деревья в городском саду побелели от неонового света. Какое-то время стою перед кафе, закуриваю, застегиваю ватник. А теперь куда? Домой возвращаться не хочется, и тут мне не сидится. Корешок живет далеко,

возле кирпичного завода, к тому же я еще не ужинал. Пойти к Зорке? До начала работы еще три часа. Зорка, наверно, давно выспалась и теперь ужинает, слушая по радио эстрадные песни. Или укладывает свои рыжие волосы перед круглым зеркалом. Она любит возиться со своими волосами и болтать с кем-нибудь. И целоваться любит...

Нет, лучше домой. Нынче мне не до любви. Тоненькая официантка снова напомнила мне о Тане.

2

Последняя «единица» идет в сторону вокзала в час без десяти, но без двадцати час я уже на остановке — для верности. Хватит того, что один раз опоздал. Это случилось в самом начале моего пребывания на поприще грузчика, примерно месяц назад. Упустил последний трамвай и, пока бежал от центра до вокзала, все время представлял, как Корешок плюет под ноги и говорит: «Не по-мужски это, парень, так и знай». Это он привел меня в бригаду и представил Шефу, и я готов был сквозь землю провалиться от стыда, что так подвел его. Но Корешок не сказал ни слова. И вообще никто не обратил внимания на то, что я опоздал. Извинился перед Шефом, а он с усмешкой махнул рукой: «Ничего, ты, видно, не привык еще к ночной работе».

Не люблю опаздывать — ни на работу, ни на свидание. Лучше я подожду, вместо того чтобы меня дожидались другие. В казарме я был средним солдатом, не очень хорошим, но и не плохим, однако во мне всегда ценили точность и исполнительность, даже старшина Караиванов хвалил меня за это, хотя считал слабохарактерным, поскольку я не умел цветисто ругаться. Мне самому было как-то неловко перед ребятами, и я попытался раз-другой выругаться. Но старшина презрительно усмехнулся и сказал: «Ты ругаешься, как девчонка, Клисуров, никак тебе не идет». На этом все и кончилось. Я был уступчив, многие меня считали простаком. Один Корешок держался за меня, я подбирал ему книги для чтения в полковой библиотеке, и мы подружились. А может, он привязался ко мне после того, как однажды мы стали бороться и я не дал ему себя одолеть, хотя вес у него больший.

Я думаю обо всем этом, а трамвай все летит от одной остановки к другой. Пассажиров почти нет, и вагоновожатый, похоже, торопится домой. С моего места видно, как на его правом плече натянулась черная суконная шинель. Из-под фуражки, нахлобученной до самых глаз, выглядывают волосы, тронутые сединой, на пухлой щеке виднеется щетина. Время от времени он вертит головой и, зевая, глотает летящий навстречу опустевший бульвар.

Кроме меня, в вагоне только двое пассажиров. Впереди, в трех шагах неподвижно сидит молодая женщина в темно-синем зимнем пальто. Она вся выпрямилась и держится как-то скованно. Возле нее огромный, видавший виды чемодан с блестящими замками. Женщина изредка поворачивает голову — только голову — к окну, и тогда мне виден ее сердитый глаз и сомкнутые черные брови; может быть, ей неохота ехать туда, куда она отправилась, или в голове ее роятся какие-то мрачные мысли. По другую сторону, возле самой кабины вагоновожатого, покачивается на металлическом стульчике престарелый мужчина в грязном белесом плаще и резиновых царвулях. Глаза у него воспалены и слезятся. С тех пор как я сел в трамвай, он все время пересчитывает на ладони какие-то гроши. Трет глаза маленьким костлявым кулаком, считает монетки и что-то бормочет под нос. Я стараюсь не смотреть в его сторону, но даже когда гляжу на

улицу, он у меня перед глазами, и комок стоит у меня в горле. При виде таких стариков мне становится не по себе.

Слева городской рынок. Трамвай с шумом несется по ночному бульвару. От освещенных витрин веет мертвечиной, будто покинутые в них предметы тихо умирают. Уборщики, одетые в брезентовые робы, сметают остатки мокрого снега мощными струями воды: один толкает барабан с намотанным на него шлангом, другой направляет струю. Напрасный труд — снова посыпал мелкий снег, и грива у львов на мосту бульвара Сливница уже побелела. По мере приближения к вокзалу снег густеет, вокруг белых палок неоновых ламп носятся голубоватые вихри.

Схожу следом за женщиной с огромным чемоданом и поднимаю воротник ватника. Женщина с трудом тащит свой багаж, меняя руку через каждые пять-шесть шагов.

— Тяжело вам,— говорю я, поравнявшись с ней,— давайте я донесу вам его до поезда.

Женщина окидывает меня взглядом, ее темные брови смыкаются над переносицей.

— Нет, спасибо.

— Вам это ничего не будет стоить...

— Ступайте своей дорогой!

Странное дело. Неужто испугалась, что утащу ее чемодан? Если она из провинции, то наверняка наслышалась всяких небылиц о софийских хулиганах. А может, она гордая и злая — бывают такие, вечно они недовольны и обязательно заподозрят тебя в чем-то таком, что тебе и не снилось. Однажды в автобусе вижу: какая-то женщина прихрамывает, опирается на палку. Я уступил ей место. Как набросилась она на меня с криком, с руганью, как взъярилась, впору было сквозь землю провалиться. Ненормальная, комплексы, подумал я, но через минуту она уже спокойно разговаривала со своей знакомой, а кто-то из соседей шепнул мне на ухо: «С такой лучше не связываться». Всякие люди бывают, а на каких нападешь — зависит от удачи.

Справа от южного крыла вокзала стоит старенький зеленый «москвич» — значит, Шеф уже здесь,— и я через зал ожидания выхожу на перрон. Под длинным навесом несколько пассажиров притопывают возле своего багажа. Видимо, их состав еще не подан. Милиционер беседует с работником службы движения. Стальные пути серебрятся от снега; по платформе гуляет ветер. На первый путь выкатывается маневровый паровоз. Машинист щурит глаза в снежном вихре, что-то говорит помощнику и делает сердитую гримасу.

Тороплюсь скорее нырнуть в туннель под зданием. В глубине его находится экспедиция. Тут тише, ветра нет, но сквозняк постоянно дает о себе знать. Туннель узок, два электрокара не могут разминуться, у экспедиции он заметно шире, и там уже нас ждут горы газет и журналов. Толкаю дверь вправо, она со скрипом открывается. Женщины и девушки у конвейера на мгновенье поднимают головы. Машу рукой Зорке, но, занятая подсчетом, она меня не замечает. Зорка в старом розовом свитере с высоким воротником и в хлопчатобумажных брюках, туго обтягивающих ее бедра. Крутые мощные бедра, как у женщины, а ведь она всего на два года старше меня. Ее рыжие волосы, рассыпавшиеся по плечам, пламенеют под светом лампы.

В помещении экспедиции тепло. Огромная печка, сделанная из железной бочки, накалилась докрасна — наверно, подсыпали коксу. Я устремляюсь к ней, но меня останавливает мужской голос:

— Пешо, мы здесь.

Это Шеф. Он уселся на шаткий столик за дверью, курит и болтает короткой ногой. Его правая штанина закатана до самого колена, рубаха под короткой спортивной курткой расстегнута, галстук, как обычно, в кармане. Круглая коротко остриженная голова со здоровым спокойным лицом и толстыми губами напоминает хорошо надутый футбольный мяч. Важнейшее достоинство Шефа состоит в том, что он никогда не злится и с его лица не сходит улыбка. Может быть, именно поэтому все зовут его Шефом — из уважения и полушутя.

Я здороваюсь с ним и ищу глазами ребят нашей бригады. Почесав свой крепкий затылок, Шеф предлагает мне сигарету:

— На, подыми. И зря ищешь, нету их. Нынче у нас из-под ногтей пот выступит.

— Как нету?..

— После вчерашней получки... Пока ее не продуют, ждать их бесполезно. Один папаша Апостол здесь, пошел за электрокаром.

Для меня это не новость. В том, что Шатала не придет, нет ничего странного, мы его часто недосчитываемся. Ему все нипочем, ни начеты, ни выговоры. Но вот Корешок и Студент?

— Студент сообщил, что болен.— со вздохом говорит Шеф.— Так я ему и поверил, зубрежкой занялся перед экзаменами. А Корешок... кто его знает. Человек он серьезный, но и с ним случается время от времени. Ничего, как-нибудь справимся.

Укрывшись за кучей упаковочных коробок, он начинает стаскивать штаны, чтобы надеть спецовку. У него семья, трое детей, а стеснительный, как девушка. Но когда не хватает рабочих рук, швыряет кипы за двоих.

За дверью свистит и затихает электрокар. Входит папаша Апостол. На усах и бровях снежинки. Он сдувает их, и на лице повисают капельки. Под бровями поблескивают светлые голубые глаза.

— А, Пешо, хорошо, хоть ты пришел, елки-палки...

Это последнее относится к отсутствующим, но его любимое ругательство звучит добродушно, как будто он взялся пожурить малых непослушных детей. Шеф утверждает, что папаше Апостолу вполне можно доверить государственную казну и грудного ребенка сверх того и он с одинаковым старанием будет оберегать и младенца и казну. Папаша Апостол единственный, кто продержался в бригаде вот уже более двух лет. Старик трудится, чтобы иметь прибавку к пенсии.

Он хочет подойти к печке, но останавливается и протягивает к ней руки издали — до такой степени она раскалена. Ладони у него большие, как черпаки, все в мозолях и шрамах. На правой руке отсутствует мизинец, на его месте торчит синеватый обрубок. До самой пенсии папаша Апостол работал слесарем.

— Глаза плохие стали,— говорит он, когда у него спрашивают, что случилось с мизинцем.— А то бы воротился на завод... Ничего не поделаешь!

Из-за коробок выбирается Шеф в синих штанах и ватнике, накинутом на плечи. Папаша Апостол подмигивает ему:

— Начнем?

— Начнем.

— А где Ненов?

— В типографии, только что звонил.

— Придет, значит?

— Ага.

— Ну, тогда живем,— вздыхает папаша Апостол.— Управимся.

Это его вечная шутка. Ненов — администратор, помощник Шефа.

Сам он никогда не грузит и страшно недоволен, когда Шеф включается в работу.

— Не сердись, папаша,— смеется Шеф.— Ненов делает свое дело.

Когда мы в полном составе, Шеф и в этих случаях не сидит в конторе. Он либо носится на грузовике или на своем «москвиче» между вокзалом и типографиями, либо улаживает дела в управлении. Главное, вовремя произвести погрузку и разгрузку, без опоздания отправить печатную продукцию. Иначе нам крышка, убеждает Шеф, а у меня жена, дети, шутка сказать! Если упустим прогрессивку, вся моя братва разбежится, они и так подолгу тут не задерживаются.

— Это все? — спрашивает он у старшей из экспедиции, указывая на громоздящиеся снаружи два навала.

— Будет еще немного... Ты что, с неба свалился? Это для русенского и видинского.

Старшая удаляется, уносит свое тучное тело к проему в стене, откуда конвейер извлекает одну кипу газет за другой. Наклонившись, она с кем-то разговаривает за окном. Девушки торопятся, их пальцы сноровисто развязывают большие пачки, считают газеты, заделывают бандероли. Зорка увидела меня, она машет мне рукой, женщины переглядываются с лукавой улыбкой.

В туннеле нас ждет электрокар с прицепом — корзиной на колесах, сплетенной из крепкой проволоки. Бросаем кипы в электрокар и в прицеп. До отправления русенского остается двадцать минут, надо успеть любой ценой. Вынырнув из туннеля, мы несемся по перрону — Шеф на педали, папаша Апостол возле него, а я сзади, на кипах газет. Электрокар мчится с мягким воем под навесами, затем под открытым небом к третьему пути. Ветер швыряет в глаза горсти снега. Папаша Апостол тихо ругается, Шеф смеется:

— Изнежился ты, миленький.

— Ничего,— отвечает папаша Апостол и хлопает рукой по карману своего ватника.— Радиатор на месте.

И поглаживает седые усы. Его «радиатор» — бутылка из-под лимонада с виноградной ракией. Перед работой он никогда не пьет, но в холодное время, особенно на рассвете, когда начинает одолевать усталость, то и дело пропускает глоточек и к концу работы опорожняет бутылку. А посмотришь на него — ни в одном глазу. Только костлявое лицо его становится несколько мягче, усы свисают около рта, и папаша начинает глядеть на все с необыкновенной нежностью — даже на незнакомых людей и на вещи. И смеется тихим гортанным смехом.

Вокзал живет своей жизнью. Пассажиров сейчас меньше — они торопятся укрыться с чемоданами и сумками в купе. Осмотрщики вагонов постукивают длинными молоточками по колесам, заглядывают под крышки масленок. Машинисты поднимают давление или разогревают дизели. Работники службы движения бегают от одной двери к другой. В стороне, за путями гудит и ярко вспыхивает депо. И мы, грузчики, тоже на месте. Без нас тут не обойтись. Есть в этом что-то очень хорошее — сознавать, что ты работаешь, когда весь город спит. Что-то красивое, это по-мужски, как сказал бы Корешок, если об этом зашла бы речь. Шеф так тормознул, что я чуть было не полетел кубарем на перрон. Мощный тепловоз впереди уже вздрагивает перед стартом. Мы с папашей Апостолом прыгаем в вагон. Шеф сбрасывает с плеч ватник. Он швыряет тридцатикилограммовые кипы как одержимый. В молодости он был борцом в вольном стиле, и из него, наверно, что-нибудь получилось бы, если б ему не порвали сухожилие под коленом.

Мы с папашей Апостолом как вратари в футболе — ловим то вы-

соко, то низко, то слева, то справа. Шеф особенно не смотрит, куда бросает. Одна кипа так саданула меня в грудь, что я едва удержался на ногах.

— Слышь,— советует мне папаша Апостол.— Ты отойди немного вглубь и лови, когда пакет начинает падать. Не загораживай ему путь.

— Ладно.

Совет немного запоздалый. Я уже вывихнул безымянный палец левой руки. Боли не чувствую — мы так разгорячились, нам весело, орудуем, как сумасшедшие. Шеф, присвистнув, что-то кричит нам снизу, но громыхание локомотива заглушает его слова.

Мы выбрасываемся из вагона с папашей Апостолом в самый последний момент, после свистка дежурного. Старик поскользнулся, и мы невольно обнимаемся. Он смотрит вслед удаляющемуся поезду.

— Чуть было не увез меня, елки-палки.

— Только этого нам не хватало,— говорит Шеф.— Однажды нам долго пришлось ждать, пока ты вернулся из Своге.

Электрокар снова несется, как на гонках. Какой-то железнодорожник едва успел увернуться на переезде, и в спину Шефа плюхается ком снега. Он смеется:

— Бедняга не догадывается, что водитель электрокара готовится к авторалли. Не я буду, если не сграбастаю вторую премию.

Достанется ему премия, нет ли, сказать трудно, но у него на все пороху хватит, в этом сомневаться не приходится. Ватник на нем трещит по швам, шея как обожженный горшок. Он не пьет, в день выкуривает не более пяти сигарет. Посматривает на женщин, но тем и ограничивается. У него другие страсти: семья, трое детей, машина. Детишек своих кормит сам и любит водить их в баню, кстати, все трое мальчишки: одному два года с чем-то, другому — три, третьему — пять. Он говорит, что между вторым и третьим у него был финансовый кризис — какой-то тип прогнал его с высокой должности завхоза на спортивном стадионе — и прошло время, пока он подыскал себе новую работу. Потому-то у него не четверо или не пятеро детей. И у Шефа, как у меня, нет специальности, но мне кажется, что если б ему доверили космический корабль, он бы за два часа научился им управлять... Вот он каков, наш Шеф.

В туннеле мы с папашей Апостолом грузим связки для следующего состава, а Шеф сидит на электрокаре словно Будда и ухмыляется. К лицу его прилипли снежинки, иные уже успели растаять, но он и пальцем не пошевельнет, чтобы их смахнуть.

— Бычок,— добродушно говорит папаша Апостол и запускает очередной пакет прямо в него.

Шеф ловит пакет, кладет позади себя и снова застывает в позе воспитанного шофера:

— Куда прикажете везти?

— В Орландовцы [1],— улыбается папаша Апостол.— Туда нам дорога. Пешо мы оставим где-нибудь по пути.

И снова скользим по перрону с легким свистом. Теперь мы с папашей Апостолом бросаем, а Шеф ловит и смеется над нашими настойчивыми попытками застать его врасплох. Вывихнутый палец вздулся и начал болеть. Я продолжаю молча швырять газетные кипы, но когда мы возвращаемся в экспедицию, меня бросает в жар и приходится снять ватник. Сунув палец в рот, я пробую сосать его — от

---

[1] Городское кладбище в Софии. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

этого мне вроде бы легче. Шеф дергает меня за руку и разглядывает ладонь.

— Вот это да!

Палец основательно распух, покраснел и стал похож на вареную сосиску. Вбегает Зорка и спрашивает, что случилось. Я советую ей заниматься своим делом — неловко мне перед женщиной и перед Шефом. Она не обижается, ее зеленые глаза смотрят весело и в то же время сочувственно. Все же она послушно возвращается на свое место.

— Дай-ка я погляжу,— говорит папаша Апостол.

Он берет мою руку, осторожно ощупывает ладонь от кисти до больного пальца.

— Тут болит?

— Нет.

Он продолжает ощупывать руку своими огрубевшими пальцами — то выше, то ниже,— потом вдруг изо всех сил дергает вывихнутый палец. Я вскрикиваю от неожиданности.

— Ничего,— успокаивает меня папаша Апостол.— До свадьбы заживет. Дома приложи печеную луковицу, и только. А сейчас уходи, чтобы не бередить его.

— Давай выметайся,— подтверждает Шеф.

Я качаю головой. Это, конечно, глупо, но что поделаешь. Шефу и папаше Апостолу одним не управиться, особенно под утро, когда поездов станет больше. Папаша Апостол затягивает мой палец носовым платком, Шеф улыбается мне, и мы втроем снова идем грузить.

В дверях сталкиваемся с Неновым, помощником Шефа. Он запыхался, как будто минуту назад участвовал в кроссе. А я нисколько не сомневаюсь, что он вернулся из типографии на грузовике.

— Был в Военной и в «Труде»,— сообщает помшеф.

Ненов всегда запыхавшийся. Пыхтит от усердия, глаза блестят. Шею обвязал шерстяным шарфом, на руках — кожаные перчатки, на ногах — желтые туфли. Лицо его всегда серьезно, как будто от него зависит, быть третьей мировой войне или нет.

— Ну и что? — спрашивает Шеф через плечо.

— Расшевелил их как следует.— Ненов оглядывается.— А остальные где, не пришли?

— Нету их.

— Не видать нам премиальных из-за этих выродков...

— Как-нибудь справимся, — отвечает Шеф. — Ступай наверх, может, позвонит кто из начальства.

На этот раз ночь кажется мне бесконечно длинной. Метель под утро утихла, снег перестал сыпать, на небе появились звезды. Но холодно. Палец не дает покоя. Пакеты приходится ловить правой рукой и запястьем левой, но уже и запястье горит. Я и его обматываю платком и начинаю походить на инвалида. Папаша Апостол время от времени вытаскивает из кармана лимонадную бутылку, и мы все трое пропускаем по глоточку ракии.

Светает. У почтового вагона варненского пассажирского появляется Зорка. Ее личико жаждет уснуть, но рот улыбается.

— Ну как, солдатик?

Солдатик — знак особой нежности. Она стала так называть меня с самого начала, когда узнала, что я только что вернулся из армии. Охватив обеими руками мое лицо, она смотрит на меня так, будто решила загипнотизировать. Ее теплое дыхание волнует даже здесь. Затем целует меня и шлепает рукой по щеке, а на то, что нас видят Шеф и папаша Апостол, ноль внимания.

— Иди согрейся, я постою вместо тебя, а то ты весь измочалился.

Как тут не измочалиться, в таком напряжении. У меня все мускулы ноют. Да еще эта боль. Пока идет разгрузка, я закуриваю, и дым поднимается к бледному утреннему небу. Поблизости пыхтит и тоже пускает дым маневровый паровоз. И я вдруг задумываюсь о том, куда он девается, весь этот дым? На протяжении стольких веков земля дымит. Дымят локомотивы, фабрики, пароходы, автомобили, сигареты, дымят пожары и войны, костры, на которых некогда сжигали людей, самолеты, ракеты — как люди до сих пор не задохнулись, как они выносят все это? Воздух как воздух, небо как небо — все вроде бы в порядке. А отец говорит, что случись новая война, человечеству не выжить, все превратится в пепел и дым... Все — может быть, но только не я.

Не могу себе представить этого. Меня разбирает смех. Особенно когда я очень переутомился или недоспал, мне всегда приходят в голову вздорные мысли. Хорошо, что я ни с кем ими не делюсь.

Возвращаемся на электрокаре вчетвером. Мы с Зоркой сидим на платформе, свесив ноги. Зорке в ее розовом свитере холодно, и она жмется ко мне. Ощущая плечом ее грудь, я сижу словно окаменев. Зорка заглядывает мне в глаза.

— Пойдем ко мне?

— Нет. Очень болит палец.

— Пойдем, я его вылечу. Пойдем, солдатик.

Она прильнула лицом к моей щеке, разнежилась что-то. Такой она мне нравится. Но Зорка переменчива и часто говорит такое, что меня отталкивает — особенно когда мы лежим рядышком.

Я глажу ее колено. Мы спрыгиваем напротив экспедиции. В помещении вместе с Шефом и папашей Апостолом садимся на ящики и закуриваем. Папаша Апостол угощает нас последними каплями из лимонадной бутылки, от усталости у всех слипаются глаза. Нам остается сделать еще один рейс на электрокаре. Зорка оборачивается время от времени на рабочем месте и улыбается мне. Так случилось и в тот первый вечер, когда я пришел сюда. А на другой Зорка увела меня к себе. И получилось это так естественно и просто.

Поймав мой взгляд, Шеф вздыхает.

— Ишь, потаскушка,— говорит он тихо и незлобиво.— С одним папашей Апостолом, может, не спала. Смотри, Пешо, не теряй голову...

— Хорошая девчонка.— Папаша Апостол хмурится и бормочет в усы.— Это ты зря, Шеф. Не знаешь ее, вот и говоришь.

— А ты знаешь?

— Чтобы знать, мне достаточно взглянуть на человека.

Я мо́лчу. Мне бы следовало заступиться за Зорку, но я так устал, что языком ворочать неохота. К тому же Шеф сказал эти слова безо всякой злобы, просто лишь бы не молчать, мало ли о чем толкуют мужчины между собой. А Зорка, что бы там ни говорили, нравится мне. Она первая женщина в моей жизни, Таня не в счет — детские шалости.

Шеф уходит за ящики переодеваться. На улице уже светло. У женщин бледно-зеленые лица. Ненов тоже переоделся, вертится среди них, пробует шутить. Он и Зорке что-то говорит, но я вижу, как она его отшила. Ненов делает кислую физиономию и вскидывает свои белесые брови, а Зорка хохочет — полные губы ее на побледневшем лице горят огнем. Она отбрасывает моток бечевки, ногой отстраняет увесистый пакет и идет надевать пальто, поправляя рыжие

волосы. И все это как бы в дали, как будто я смотрю на это сквозь туман.

Мы с папашей Апостолом встаем, чтобы нагрузить последний электрокар.

3

Домой возвращаюсь в двенадцатом часу дня. Прежде чем я успеваю сунуть ключ в замочную скважину, входная дверь открывается.

Мама и Пух. Мама слышала, что лифт остановился на нашем этаже, и торопится мне навстречу. Сколько же раз в это утро она так вот отпирала дверь? Пух мурлычет у моих ног, не дает мне войти в коридор, сейчас я на него наступлю. Оказавшись у меня на руках, он тут же сует нос за воротник и весь дрожит от удовольствия.

На кухне мама глядит на меня с неослабевающей тревогой, постепенно лицо ее смягчается.

Мне ничего не остается кроме как извиниться.

Я говорю ей, что у нас была сверхурочная работа, и чувствую, как краснею. Не потому, что лгу,— если ей рассказать правду, она совсем впадет в панику,— а потому что, когда был у Зорки, ни разу о ней не вспомнил. Вспомнил только, когда уже уходил, и пустился бежать... Да что толку?

Обедаем вместе, как обычно. На столе горы еды — не знаю, с чего начать. После того как я вернулся из армии, мама все время беспокоится, что я худею — боится, как бы не заболел. И все твердит, что со мной «что-то творится»... Когда я бросил школу, она чуть было не слегла в постель. Смотрела на меня с состраданием, говорила со мной нежно, с оглядкой, как с ненормальным, и однажды я слышал, как она сказала отцу: «Надо стараться Петью не травмировать, он сейчас в таком возрасте...» Я для нее и остался в том же возрасте — ребенок, малое дитя, от которого всего можно ждать... Мама, мама!

Я улыбаюсь ей, зная, что это ее успокаивает. Она кладет вилку.

— Батюшки, чуть было не забыла. Пришло письмо от Димочки.

Она уходит в гостиную и возвращается с пестрым конвертом авиапочты.

— Ты представляешь, звонит сегодня утром Таня и спрашивает, нет ли вестей от Димы, не успела я сказать, что нет, и повесить трубку, как позвонила почтальонша. Заказное.

Я до того устал, что даже не удивляюсь. Звонила Таня!.. Сестра с Таней никогда не дружили. Просто наши семьи издавна поддерживали знакомство, и пока мы учились в школе, Таня иногда заходила к нам, чтобы Дима дописала ей сочинение по литературе. Мы с Таней учились в одном классе, но она приходила к Диме, поскольку Дима была сильна в литературе и на год старше нас обоих. Кроме того, она прекрасно понимала, чего именно хотят учителя. Когда Димы не было дома, я сам пытался помочь Тане, и так началась эта наша история. Первый раз мы поцеловались с ней, когда из фонарика их гостиной выглядывали на улицу,— я тоже стал ходить к ним, просто так, хотя раньше не бывал там ни разу. Мы знали друг друга с детских лет, но до десятого класса она вообще не производила на меня никакого впечатления. Потом, когда я бросил школу, наши встречи участились — возлагалась надежда на то, что она спасет меня от гибели... Теперь, вспоминая обо всем этом, я с трудом удерживаюсь от смеха.

Письмо Димы написано на тонкой шуршащей бумаге. И чем-то пахнет. Написано наспех, наверно между делом, потому что у Димы вечно какие-то дела. Три года назад она уехала в Польшу изучать искусствоведение. Дома никому в голову не пришло бы, что ее интересует искусство, но она на нем остановилась. Выдержала конкурс и уехала. В школе сестра была комсоргом, да и у отца моего есть кое-какие заслуги.

Почерк мне хорошо знаком. В свое время Дима и мои письменные работы исправляла, но только по болгарскому языку, сочинений она за меня не дописывала. Касалось это главным образом стиля. Подчас изменялись именно те места, которые мне нравились. Одну такую поправку я помню до сих пор. У меня было: «Димчо Дебелянов[1] жил в бедности и одиночестве. Большой город подавлял его своим каменным бездушием». А она, зачеркнув это, написала: «Димчо Дебелянов питал отвращение к большому капиталистическому городу и чувствовал себя одиноким». Я тогда зачеркнул ее исправление, и она очень разозлилась. И вообще мы частенько грызлись с нею из-за пустяков.

Обнаружив в ее письме грамматическую ошибку, я усмехаюсь. А в остальном ничего особенного. Чувствует себя хорошо, сдала зачет по искусству Египта и по теории, просит передать привет ее подругам (о Тане ни слова) и под конец: как дела у нашего художника, взялся ли он за ум?.. Мне стало не по себе, потому что «художник» — это я. Что это означает — взяться за ум? А если я не жажду стать кандидатом наук?

— Воображала она большая,— говорю я, возвращая маме письмо.— Я тоже ей напишу!..

— Не сердись на нее, ты же знаешь, какая она.— Мама явно смущена, она, наверно, забыла, что в письме есть местечко обо мне, иначе бы не стала показывать его мне.— Она тебе добра желает...

— Пускай лучше занимается своими египтянами.

Хотя меня это задело, я прекрасно знаю, что ничего ей писать не буду. По лености. А если и напишу, то совсем о другом. Я быстро остываю, к сожалению... А почему вдруг к сожалению?

Мама что-то мне говорит, но я ее уже не слышу, до того хочется спать. Я советую ей не мыть тарелки, я их вымою сам, когда встану. Она подталкивает меня к двери:

— Ступай, ступай... Не забудь раздеться перед тем, как лечь.

В комнате у меня чисто и тепло. Окна закрыты, шторы сдвинуты, тишина убаюкивает меня, и я тороплюсь стащить с себя одежду. Она, скомканная, валяется на полу, а я вытягиваюсь на кровати, не пытаясь укрыться одеялом. Меня укачивает, как в люльке. Даже башенный кран на противоположной стене перемещается то вправо, то влево, и чем больше я в него всматриваюсь, тем зримей кажутся его движения. В блаженстве прикрываю глаза.

Но не засыпаю. Мысль о Тане и о Зорке одновременно смахивает сон с моих глаз. Они неожиданно встают передо мною обе. Только Зорку я вижу хорошо, а Таню плохо — один силуэт да мерцающий свет ее глаз. С тех пор как мы с нею встречались, прошло немало времени. В последний раз она пришла в казарму проведать меня в феврале прошлого года. Трудно представить, какая она сейчас. И даже — какой была тогда. Помню только, что на ней было коричневое зимнее пальто на меху и коричневые сапожки с молниями. Сначала мы гуляли по заснеженному шоссе между казармами и городком, потом зашли в кафе, а потом отправились в кино и сидели

---

[1] Димчо Дебелянов (1887—1916) — выдающийся болгарский поэт.

в последнем ряду — больше нам негде было целоваться. Затем я проводил ее на станцию, там мы еще раз поцеловались, и она расплакалась, потому что мне оставалось служить еще целый год. Губы у нее были холодные, а глаза вплотную приблизились к моим. Я видел в них даже свою пилотку, и мне стало смешно, хотя я сам готов был заплакать. Только это и сохранилось в моей памяти, больше ничего не помню. Да и ни к чему. Тогда я был зеленым юнцом, и все это было так давно...

А Зорку вижу вполне отчетливо. Ее маленькое белое лицо, толстые губы, ее волосы — моя рука до сих пор ощущает прикосновение к ним. Тело у нее гладкое, теплое, сильное и пахнет женщиной. Когда мы лежим рядышком, ее зеленые глаза приобретают желтоватый оттенок и сквозь них как бы струится свет — точно сквозь эти шторы. Сдержанной ее не назовешь. Иной раз схватит зубами меня за плечо и начинает рычать, как рычит Пух, когда сцапает какую-нибудь живность.

Люблю ли я ее? Не знаю. Но с нею мне хорошо. В первый раз я до того смутился, что готов был бежать. Мне думалось, что мы будем только целоваться, как с Таней в свое время, но вижу, она раздевается. Потом как удивится: «Да ты часом не девственник?» Я окончательно расстроился и ответил ей какой-то грубостью, но она все же догадалась, что я пытаюсь ее обмануть, и стала меня нежно ласкать, называя то «мальчиком», то «солдатиком». И я остался. Потом был очень доволен собой, что остался, а она смеялась: «Теперь ты настоящий мужчина... Разве я нехороша? Только не вздумай влюбиться. В прошлом году один тут так втюрился, что ходил за мною по пятам. Кончилось тем, что я его прогнала...»

Вот так-то. Мы обходимся без вздохов, без обид, без громких слов. Таня научила меня не верить в громкие слова. Да и Зорка тоже, только несколько по-другому: она не любит вранья и другим не позволяет врать — говорит то, что думает. Может быть, поэтому я с нею чувствую себя свободно. Мне ничего не стоит прийти к ней просто так: посидеть, выкурить полпачки сигарет, пока она отдыхает, лежа в постели. Комнатушка у нее маленькая — платяной шкаф, вешалка, простенький деревянный стол, два стула и электрическая плитка на полу, которой вполне хватает и для отопления. Плитка поет, раскалившись до предела, я покуриваю, а Зорка глядит на меня своими зелеными глазами и рассказывает всякие истории. О том, например, как хозяйка пыталась ей подсунуть какого-то старика, своего приятеля — он так тебя любит, напевала она ей, и денег у него куры не клюют,— и о том, как она ее шуганула наконец, не выбирая слов. Хозяйка назвала ее дурой, но обижаться не стала. «Я вожусь только с теми мужчинами, которые мне самой по душе,— гордо добавляет Зорка.— Хочешь ко мне?»

Или рассказывает про своего отца. Он умер два года назад. Работал тормозным на станции, это он нашел ей работу. Отец очень любил Зорку и после каждой получки обязательно покупал ей что-нибудь. Но много пил и умер от цирроза... А матери у нее не было — сбежала с каким-то горняком из Перника, когда Зорке было всего четыре года, и как в воду канула. Должно быть, тогда-то отец и запил. И вдруг ни с того ни с сего мать явилась на его похороны, надо же додуматься! Даже плакала и хотела было прийти посмотреть, как живет Зорка, но Зорка сказала, что не стоит... «Я вся в нее,— вздыхает Зорка.— И лицом и... Она ведь тоже такая, по части мужиков. Тот горняк через год ее прогнал, она вышла за какого-то бухгалтера с металлургического завода и все равно якшалась с другими... Замужество мне не нужно. Вечные скандалы, стирка, да ну его!»

Вот она какая, Зорка, вся ее биография как на ладони. Как, впрочем, и Танина... Но о Тане не хочется думать. Что было, то прошло.

Просыпаюсь в седьмом часу вечера. Вначале слышу звон посуды со стороны кухни, от которой я отделен одной лишь стеной, потом — голос отца, доносящийся из гостиной:

— Елена, только смотри не пересласти. И принеси мне немножечко пастермы [1].

Раздается сдержанный смех Цонкова, главного инженера завода. Должно быть, и жена при нем, они никогда не расстаются. Голос отца звучит по-командирски,— когда он в хорошем настроении, по всему дому слышно, как он повелевает. Привычка горланить среди машин. И среди людей. Директору завода часто приходится говорить зычным голосом, с начальством ли он имеет дело или с подчиненными, его должны слышать.

Беру с тумбочки книгу. Цонковы едва ли скоро уйдут: только начинают варить кофе, а ведь это чуть ли не единственная слабость главного инженера, он его выпивает по пять-шесть чашек в день; пастерма же подается к вину, значит, устраивается небольшой коктейль, который продлится по меньшей мере часа два. Вино, разумеется, для Цонкова и для отца, мама очень редко пропустит глоточек. Почитаю немного, пока освободится кухня, а там суну в карман бутерброд и незаметно выскользну на улицу. Может, загляну к Корешку, потом вместе пойдем на работу.

Но весь мой план летит к чертям. Через полчаса я на цыпочках иду в кухню, чтобы сделать себе бутерброд, и вижу там отца, роющегося в холодильнике. Он достает солидный кусок рокфора и бутылку белого вина и поворачивает ко мне свое крупное бровастое лицо. Большие глаза его смотрят с веселой иронией. Отец в безупречно выглаженной рубашке с галстуком вишневого цвета.

— Ну как, докер, отоспался?

Кивнув утвердительно, я долго глотаю воду из-под крана в надежде, что он уйдет за это время. Но он не уходит.

— Мы с Цонковым только что говорили о тебе. Ну-ка, оденься и приходи туда.

Воображаю, что они обо мне говорили. Я тот, кому еще предстоит взяться за ум, и теперь все стараются помочь мне в этом — начиная с сестры и кончая Цонковым. Один дед спокойно смотрит на мою работу грузчика, и с ним мы прекрасно ладим. Что касается Цонкова, то ничуть не сомневаюсь — без его точного рецепта мне не обойтись. Цонков умен, не случайно его, такого молодого, назначили главным инженером, но я до сих пор не определил своего отношения к этому человеку. Когда он говорит, я в одинаковой мере испытываю желание почтительно снять шапку или шваркнуть со зла кофейную чашку.

Ничего не поделаешь, иду в гостиную гладко выбритый, в приличном шерстяном свитере, даже причесанный. Отец с Цонковым — оба без пиджаков — расположились в креслах около стоящего у окна низенького столика, заваленного закусками и сладостями. Цонкова сидит на круглом стульчике перед пианино моей сестры и, держа в руке бокал с вином, рассматривает какую-то партитуру. Мама наливает деду ракии — вина он не пьет, не хочет портить аппетит перед ужином. Дед устроился на высоком стуле, у камина — это его любимое место, хотя камин мы никогда не растапливаем, потому что

[1] Пастерма — вяленое мясо.

у нас паровое отопление,— задрал кверху свою бородку клинышком и надел очки, явный признак того, что разговор ему нравится и он желает лучше видеть лица собеседников. Камин и пестрый ковер «типа персидского» — нечто новое в нашей гостиной. Обнаружил я их, когда вернулся с солдатской службы. Особенно меня удивил камин — к чему он нам,— но отец сказал, что камин создает уют в доме и что мы будем его топить «демисезонно», когда паровое отопление не работает.

Здороваюсь с гостями за руку. Цонкова поднимает на минуту свои большие голубые глаза и снова вперяет их в ноты. Цонков бросает «здрасте» и меряет меня взглядом с головы до пят. Лицо у него строго пропорциональное, как будто изваянное математиком, который перед этим долго и старательно вычислял каждую деталь, но когда он их скрепил, не все они пристали друг к дружке как надо. Должно быть, поэтому Цонков отрастил пышные усы и аккуратно их подстригает. А может, это для того, чтоб не казаться слишком молодым, для пущей важности.

Сажусь возле деда на диван. Он кладет мне на колено свою маленькую сухую руку и вопросительно смотрит в лицо.

— Все ол райт,— тихо говорю я.

— Чудесно,— отвечает дед, пока отец с Цонковым продолжают начатый разговор.— Ни шагу назад!

Трудно сказать, что именно дед имеет в виду, но это его неизменный лозунг. Страшный старикан. Я никогда в жизни не видел его задумчивым или по-настоящему сердитым. У него ясный ум, он всегда прав и непримирим. Теперь такие старики — большая редкость, думаю я, и мне хочется сказать ему что-нибудь смешное, к примеру, что тут если и захочешь сделать шаг назад, то обязательно натолкнешься на какую-нибудь мебель, но он, подмигнув мне, кивает в сторону беседующих мужчин: слушай, слушай.

Судя по всему, их интересный разговор подошел к концу, потому что в данный момент отец вещает.

— Нина! — Это относится к Цонковой.— Возьми кусочек пастермы, к вину — незаменимая вещь.— Он ставит на крышку пианино тарелочку с пастермой и обращается к Цонкову: — А ты, трезвенник, хоть сладкое ешь, чтоб горечь подавить... Рекламаций в этом квартале процентов на десять прибавилось.

— На семь,— поправляет его Цонков.

— Что в лоб, что по лбу,— громко хохочет отец и тут же смыкает брови.— Самое неприятное, что нам все больше тяжелые конструкции возвращают.

— Естественно. В монтажном цеху больше чем где-либо работы выполняется вручную.— Цонков презрительно растягивает губы, как будто от ручного труда другого и ждать не приходится.— Да и не только в монтажном... Получили новое оборудование, но люди-то продолжают оставаться со старым техническим багажом.

— Может, нам организовать курсы по повышению квалификации, а? И приналечь на качественные показатели в соревновании...

— Курсы нужны во что бы то ни стало. Но мы слишком полагаемся на агитацию, мало поощряем людей, не наказываем... Пока болгарина не ударишь по карману, толку мало...— Цонков усмехается, и лицо его утрачивает неприятную пропорциональность.— Позавчера мы с Ниной пошли в цирк, там среди прочего показывали медведя-канатоходца. Как, по-твоему, его этому научили?

Отец смеется, качая головой — трудно понять, согласен он с главным инженером или нет,— но дед ставит рюмку на камин и вытирает платком усы.

— Цонков,— обращается он пискливым голоском,— уж не надумал ли ты заняться новым ремеслом?

— Почему?

— Да вот вижу, пришлась тебе по душе дрессировка. Ежели я не ошибаюсь, между человеком и медведем существует некоторая разница.

— Ну, разумеется. Я только хочу сказать, товарищ Клисуров, что принцип один и тот же.

— Один и тот же, говоришь? — Дед смотрит на него прищуренными глазами и сипло хихикает.— Одно время и капиталисты так думали, но это им вышло боком.

— Управление предприятием — это целая наука, товарищ Клисуров.

— Папа,— улыбается отец,— будь на твоем горбу завод и план в придачу, ты бы запел по-другому.

— Завод, план,— не унимается дед.— Большое дело! Наука, видите ли! Науку тоже делают люди, и ради людей, не ради медведей... И сказать вам по правде, уж больно учеными вы стали, молодые, и полагаете, что всему начало голова. Но ведь и тут кое-что имеется.— Он постукивает по левой части груди.— Это вы в расчет не принимаете... Не завладей сердцем рабочего, коммунизм так и остался бы теорией.

— Сдаюсь,— поднимает руки Цонков.— Но сохраняю за собою право возразить.

— Перестань, Цонков,— говорит отец.— Зря ты ввязываешься в спор со старым тесняком [1].

— Не буду, не буду... Да, забыл тебе сказать. Сегодня утром опять звонил Миленков. По поводу железа.

Отец какое-то время молчит, шевеля бровями, как ворон крыльями. Потом говорит, не глядя на Цонкова, что у него на заводе железа для ограды нет и что об этом Миленкову уже сказано. Цонков вертит пальцами пустую кофейную чашку.

— От Миленкова зависит очень многое. Например... получение кредитов на расширение. Все дело в том, как он доложит... А обрезки у нас должны быть, бросовые.

Отец молчит, но я вижу, что он обрадовался, когда позвонили в дверь.

Иду открывать. У входа стоит доктор Енев, наш доктор, как говорят о нем у нас в семье. Он сует свою длинную руку в мою.

— Ваши дома?

— Дома. Заходи, дядя Максим.

— Что-то ты похудел, мой мальчик, тебе необходимо больше спать. Небось любовь доконала?

Он снимает плащ и проходит впереди меня — высокий, немного сутулый, худой и такой элегантный в своем коричневом костюме. В гостиной кланяется всем сразу и, опустившись в кресло, устало вздыхает:

— Извините, прервал ваш разговор... Дайте мне рюмочку сливовой, домашней, если хотите, чтоб я сидел смирно.

— Мы с тобой из одной партии, доктор,— ухмыляется дед и отпивает из своей рюмки.

Мама наливает доктору ракии, и он залпом выпивает ее. Тряхнув головой, доктор проводит по губам тыльной стороной ладони. Точь-в-точь как папаша Апостол, когда из лимонадной бутылки вы-

---

[1] Тесняки — левое крыло Болгарской социал-демократической партии, послужившее основой для создания Болгарской коммунистической партии.

катится последняя капля. Улыбка множит морщины на его темном лице.

— Мадам Цонкова, ноты служат не для чтения, а для того, чтобы по ним играть.

— Не то настроение,— отвечает Цонкова. Она пианистка, перед тем как выйти замуж, выступала с концертами.— Да и не в форме я.

— А! Жалко.

— Хочешь еще рюмочку? — спрашивает у него мама.

— Нет, спасибо.

И он, прикрыв глаза, потирает руки. Енев всегда усталый, по крайней мере всегда, когда бывает у нас. У него руки музыканта — ладонь крупная, пальцы длинные и сильные. Они чем-то похожи на руки Цонковой.

— Максим, сколько метров кишок ты сегодня вырезал? — сочувственно спрашивает отец.

— А, одну-единственную опухоль в горле. Четыре часа напрасных усилий... Зато у самого желчь разлилась.

— Неприятности?

— С нашим главным. Перитонит от колики не в состоянии отличить, а вот по административной части силен. Утром на пятиминутке ограничился лишь легким намеком, а под вечер, на совещании пошел на меня в атаку: «Некоторые коллеги занимаются в больнице частной практикой. Например, доктор Енев»...— Доктор беззвучно смеется.— Месяц назад я шепнул ему по одному поводу два словечка, теперь он расквитался со мной публично.

Мама все же наливает ему вторую рюмку, он не протестует.

— И ты промолчал? — возмущенно спрашивает она.

— Как будто ты его не знаешь,— вставляет отец.— Еще не родился на свете человек, который закрыл бы ему рот... Значит, ты занимаешься частной практикой, Максим? И давно?

Доктор пожимает плечами и опрокидывает вторую рюмку. Это его норма — две рюмки ракии и ни капли больше, за что дед очень его уважает. Мне смешно. Ничего более глупого главный врач больницы придумать не мог. Разумеется, «частные пациенты» у дяди Максима есть. В больнице перед его кабинетом всегда выстраивается очередь, потому что он лечит родственников, друзей, и знакомых, и знакомых его знакомых. Я сам ходил к нему однажды, чтоб он вытащил мне стружку из глаза. Но никто никогда не слышал, чтобы доктор Енев взял хотя бы стотинку от своего «частного пациента». И вот на тебе!

— Закономерно,— ухмыляется отец.— Такие донкихоты не могут не влипнуть самым неожиданным образом. Если б занимался частной практикой да зашибал по тысяче в месяц, главный относился бы к тебе с уважением.

— А!..— Енев машет рукой.— Наше дело лечить, а все прочее от лукавого.

Отец, пожалуй, прав: дядя Максим и внешне, с его высоким ростом и худобой, напоминает рыцаря печального образа. Приближаясь к пятидесяти, он все еще холост и живет вместе со старшей сестрой в старом доме на самом верхнем этаже, недалеко от ипподрома.

Его зять, электромонтер, лежит парализованный, получая крохотную пенсию, так что фактически доктор содержит их обоих на свою зарплату. Редкий экземпляр. Помню, как мама пыталась женить его на сестре Таниной матери. Очень милая женщина, давным-давно развелась с мужем, однако «жених» оказался крепким орешком. Боясь встречи с предполагаемой невестой, он некоторое время к нам вовсе не заходил.

Доктор закуривает, подносит сигареты другим. Цонкова и дед тоже закуривают, отец с Цонковым отказываются, и доктор перебрасывает коробку мне, поскольку я дальше всех. Поймав ее, я проявляю нерешительность. Енев подмигнул отцу, и отец горестно изрекает:

— Ладно уж, закуривай.

Он никогда не запрещал мне курить, но при нем мне было как-то неудобно. Дед хихикая подносит мне спичку. Потом оборачивается к Цонкову:

— Инженер, я беру свои слова обратно. Касаемо того... дрессировки. К начальству Максима она вполне применима. Перевести тебя в больницу, а?

Язвительный старик. Доктор спрашивает, о чем идет речь, дед и Цонков объясняют в один голос, и спор разгорается снова. Мама пытается подать знак деду, но он не замечает. Его изумляет то, что доктор солидарен с Цонковым:

— Ну конечно, Цонков. Между воспитанием и дрессировкой принципиальной разницы нет. У меня была морская свинка, подарил один приятель. В течение двух недель я научил ее кланяться при моем появлении. Стучал палочкой по ее передним лапкам, пока она их не подгибала, как только она это делала, давал ей кусочек сахару... Кнут и пряник, дорогой мой, классическое средство! Человечеству оно знакомо по крайней мере десять тысяч лет.

— Без этого не обойтись,— говорит обрадованный Цонков.— Если хочешь привести в движение не только машины, но и людей, приходится учитывать, на какую кнопку следует нажать. Может, не кнут и пряник, это звучит грубо, но по существу...

— Совершенно верно,— прерывает его Енев со своим беззвучным смехом.— Управлять людьми дело непростое... Вы знаете, в последнее время проводятся опыты, которые, быть может, разрешат в будущем все проблемы, касающиеся программирования духа и поведения. Из клетки лягушки уже получена лягушка — точь-в-точь такая же, как та, у которой была взята клетка. Вы представляете, какие откроются горизонты, если подобный эксперимент удастся и с человеком?

— В самом деле, интересно,— недоверчиво усмехается Цонков.

— Ужасно,— восклицает Цонкова.— Что тогда будем делать мы, женщины?

— Это ваше дело.— Енев закидывает ногу на ногу и снова закуривает. Его темное лицо загадочно неподвижно.— А по-моему, чудесно. Прежде всего брак, как общественное установление, отпадает, и человечество сбережет массу энергии, столь необходимой для нужд производства. Кроме того, даже благословенные кнут и пряник становятся ненужными. Для воспроизводства будут отбираться лишь такие экземпляры, которым присуши необходимые качества: талант, дисциплина, кроткий нрав... Всяк будет гением в своей области. Гениальный дворник, гениальный инженер, слесарь, врач, математик! В музыке — одни Бетховены, в поэзии — только Шекспиры... А?!

— Батюшки, какая скука,— подает голос дед.— Каждый будет похож на своего родителя, как две капли воды.

— Шутки шутками, доктор, но всякая разумная идея в конце концов побеждает,— изрекает Цонков.

— Что же в этом плохого, бай [1] Петр? — отвечает Енев деду.— Каждый будет знать свое призвание, свой путь с самого рождения. Каждый будет реагировать так, как предусмотрено. Никаких случай-

[1] Почтительное обращение к старшим.

ностей, перемен, неожиданностей, ошибок. Никаких драм и трагедий. Мир честных, добрых, трудолюбивых гениев.

— А пока что нам нужны лишь хорошие монтажники, нам с товарищем Клисуровым,— улыбается Цонков.— Но только не гении. Гений — отклонение от нормы, не можешь знать заранее, куда он повернет.

— Этого я и ждал,— смеется Енев.— Значит, гении в умеренном количестве, а на переднем плане святая посредственность. Логично.

— С ума сойти! — Дед разволновался не на шутку.— Ну а ежели произведенный вами токарь больше годится в доктора или художники, а токарем стал по чистой случайности? А что, если у него обнаружились скрытые пороки?

— И потом, кто будет производить отбор? — неожиданно вмешивается Цонкова.— Вот что самое страшное. Живой человек всегда с пристрастиями, ему свойственно ошибаться.

— А для этого существуют думающие машины,— говорит отец.— Они беспристрастны, как сам бог.

— Не приведи господь,— роняет дед.— Нет, уж лучше будем размножаться по-людски, обойдемся без этих кнопок.

Все смеются. Особенно доктор. Его фантастическая идея рухнула, но это, как видно, его ничуть не огорчает. Я наблюдаю за его руками — они уверенно тянутся к столику, отламывают кусок хлеба, не отрезают, а отламывают, и, сам не знаю почему, мне это нравится. Сегодня эти большие руки вырезáли опухоль. Четыре часа подряд. Мужская у него профессия. Если бы мне пришлось учиться, я бы стал хирургом, только с моим свидетельством, если даже я его получу, никуда не сунешься... А идея доктора и в самом деле смешная.

— Но в ней есть и что-то хорошее, в этой идее,— мечтательно говорит Цонкова. В своем вишневом платье с закрытой шеей она весьма интересна, и смотреть на нее мне доставляет удовольствие.— Берут у тебя клетку, и ты рождаешься снова. И снова ты молод, у тебя впереди жизнь... Чем не бессмертие?

Правая бровь доктора надламывается:

— Биологическое бессмертие... или что-то в этом роде. И духовная смерть. Ужас повторения, бесконечного и серого, как туманный день. Блаженство предварительно уготованной судьбы. Человеческая мысль достигла своего предела — а дальше? Впрочем, человечество заслуживает и худшей участи.

— Мизантроп! — толкает его в плечо отец.— Раз ты такого плохого мнения о человечестве, зачем же каждый день потрошишь людей?

— Зарабатываю себе на хлеб. Люди хотят прожить дольше, хотя бы на один час, любой ценой. Большинство из них готово на всяческие муки и унижения, только бы избежать смерти, хотя она неизбежна.

— А ты сам? — ухмыляется отец.

— И я. Однажды заведенный механизм будет работать до тех пор, пока не наступит энтропия. Верно, Петьо? — Енев неожиданно обращается ко мне, и глаза его улыбаются.

— Пока не знаю.

— Вот это мудрый ответ. Когда жизнь только начинается, никто этого не знает.

— Доктор, ты не прав, тут я с тобой не согласен,— становится в позу дед.— По-твоему выходит, что люди готовы мириться с чем угодно, лишь бы оставаться в живых... А как же революции? Борьба за свободу? История?

— Что ж, верно, революции... Когда приставят нож к горлу, то

есть когда возникает угроза самой жизни, начинает срабатывать родовой инстинкт самосохранения.

Доктор посмеивается. Я уверен, что он далек от этой мысли, но ему всегда не терпится покрепче раздразнить чем-нибудь своих собеседников.

— По существу, это реалистическая философия,— заключает Цонков.— Мне она нравится.

Доктор Енев бросает на него взгляд, потом смотрит на отца и вроде бы остается доволен. Затем поправляет свой галстук.

— Лена, благодарю за ракийку, мне пора.

— Куда это ты так торопишься?

— На любовное свидание.

— Знаю я твои любовные свидания,— бросает мама.— Столько времени не появлялся и скорей бежать.

— Это единственный способ не надоесть хозяевам,— смеется Енев.

Он уходит — высокий, худой, элегантный, с седеющей головой и усталой иронией на губах. Это его принцип: никогда не засиживаться в гостях. Придет, расскажет несколько анекдотов или забавных историй из своей практики и исчезает. С моим отцом они дружат с молодости, с тех пор как их бросили в тюрьму, в одной камере сидели.

Несколько позже уходят и Цонковы. Из коридора Цонков возвращается в гостиную — забыл свой блокнот. Он всегда носит с собой блокнот, записывает в него всевозможные технические идеи, цифры и уравнения — можно подумать, что у него вместо мозга счетная машина в голове, день и ночь связанная с заводом. Блокнота обнаружить не удалось, потому что в конце концов он оказался у него в кармане, но во время поисков Цонков обращается ко мне:

— Петьо, у меня есть одно предложение. Почему бы тебе не поступить к нам на завод? Я дам тебе новый токарный станок, автомат, будешь учиться заочно, если пожелаешь.

Предложение не является для меня неожиданностью. Нетрудно догадаться, что к этому имел касательство отец; после того как я стал работать в бригаде, он неоднократно заводил разговор на ту же тему.

— Я подумаю,— говорю.

— Могу ли рассчитывать на скорый ответ?

— Если решу, сам позвоню вам.

— Ладно, буду ждать.

Я думаю, как мне поскорее от него избавиться, а он делает вид, что не понимает этого, и, уходя, кивает мне заговорщически: все, дескать, улажено.

Помогая маме отнести на кухню посуду, я замечаю, что отец, включив телевизор, сидит и курит, а на экран не смотрит. Догадываюсь, это разговор о железе и каком-то там Миленкове так его расстроил, и спрашиваю, кто он такой, этот Миленков. Он шевелит своими тяжелыми бровями.

— Экономист, винтик в объединении.

— Для какой ограды ему понадобилось железо?

— А тебе зачем?

— Просто так...

Отец кашляет и нервно гасит в пепельнице сигарету.

— Всякий народ бывает... Человек строит себе дачу, хочет, чтобы обошлось дешевле.

— И ты дашь ему железа?

Он бросает на меня сердитый взгляд, его нижняя губа презрительно оттопыривается:

— А ты как считаешь, дам я ему или нет?

На это я и надеялся, но, сам не знаю почему, хотел услышать, что он скажет. Я всегда уважал отца за его характер. И даже завидовал ему. Может быть, потому, что сам я мягковатый — все пытаюсь находиться в шкуре других, и это делает меня уступчивым и нерешительным.

Возвращаюсь к себе в комнату. Никуда я сегодня не пойду. У меня есть польский роман. О Сопротивлении. Интересный. Герой романа — подпольщик, он устал от вечного напряжения, от того, что ему приходится каждый день играть со смертью. Война идет к концу, а в душе у него смятение — когда война кончится, найдет ли он в себе силы жить? Придут новые люди, он сыграл свою роль, научился убивать, ничего другого он не умеет, и ему лучше исчезнуть. А ведь этому человеку только двадцать два года... Не могу понять, в чем тут дело, но этот герой встает в моих глазах в облике доктора Енева. Только почему он ни с того ни с сего должен исчезнуть, когда до победы остаются считанные дни?

С улицы доносятся два продолжительных и один короткий свист, что заставляет меня бросить книжку и схватить свой ватник. Пришел Корешок.

4

— А почему бы нам не подняться наверх?

— Да ты погляди, какой я, испачкаю ваши половички.

Корешок указывает на свои ботинки. Они и в самом деле очень грязные, но я понимаю, что причина в другом. Половичками он называет наши ковры. Когда месяц назад я впервые привел его к нам и затащил в гостиную, он был сам не свой: «Ну и ну, вот это половички, ступить ногой на них страшно». С трудом удалось заставить его сесть. Я принес коньяк, мы чокнулись с ним. Мне хочется развязать ему язык, а он словно воды в рот набрал и все оглядывается по сторонам. Вошел отец, я познакомил их. Потом Корешок мне говорит: «Отец у тебя серьезный, но у него одно на уме... Устроит он тебе выволочку за то, что ты меня привел». Отцу и в голову не пришло бы меня ругать, он даже сказал, что Корешок ему понравился: одно время, когда он жил в Ючбунаре, у него был друг — очень на того похожий. Я сообщил это Корешку, чтобы его успокоить, но он по-прежнему предпочитает вызывать меня свистом.

На улице тепло и влажно, от вчерашнего снега не осталось и следа. Напевно звенят водосточные трубы; ветер мягкий, как у моего Пуха лапы. По бульвару Скобелева безо всякого уговора мы направляемся к Русскому памятнику. Там есть неплохое местечко, за полтинник можно насытиться до отказа. К тому же нам с Корешком страсть как хочется похлебать шкембе-чорбы [1].

Мы шагаем в ногу — солдатская привычка. Корешок молчит, я стараюсь к нему не приставать. Что-то у него не клеится. Брови сомкнулись над его длинным носом, большой рот словно зашит, руки глубоко засунуты в карманы штанов. На нем зеленое шерстяное пальто нараспашку — ватников он терпеть не может, надоели ему когда работал на стройках. Голова его опущена, словно грозит боднуть кого-то; он идет и время от времени посматривает на меня с вы-

[1] Суп из говяжьего или овечьего желудка.

соты своего роста. Корешок на полголовы выше меня, хотя я тоже не коротышка. В конце концов он не выдерживает:

— Ну, ладно, в этот раз у меня вышло не по-мужски. Знаю, вчера вы крутились как сумасшедшие, но так случилось.

— Что случилось?

— Да вот эти прохвосты, мои соседи, пронюхали, что я при деньгах, и мы как сели... Нынче утром еле насобирал матери тридцатку... До того, бедняжка, рассердилась, не хотела разговаривать со мной,— мрачно добавляет он.

— Переживет,— говорю.— Но ты тоже должен маленько шевелить мозгами, прежде чем пускаться во все тяжкие.

— Да что тут толковать? Не по-мужски вышло, и все тут.

Всех людей на свете Корешок делит на две категории: одни держатся по-мужски, другие не по-мужски. О том, кто ему нравится, он обычно говорит: «Ай да парень, все у него по-мужски получается». У него даже иные девушки ведут себя «по-мужски». Теперь это выражение в моде. Чаще всех так говорят те девушки, которые сами всячески уподобляются мужчинам, иначе как им судить, что по-мужски, а что нет. Меня смех разбирает, когда я слышу в кафе их разговоры. Но когда Корешок так выражается, у него выходит очень складно. Порой кажется, что ему первому пришло в голову так судить о людях.

В сущности, это из-за него я поступил в бригаду. Вполне мог вернуться на завод, к своему отцу, где работал токарем перед тем, как уйти в солдаты; у меня шестой разряд. Но не вернулся. На заводе у меня не было друзей, как-то не сумел завести. Все знали, что я сын директора; может, потому, хотя это не имело никакого значения, во взглядах и словах людей сквозило какое-то насмешливое любопытство и сам я держался неестественно. Но и среди бывших однокашников у меня тоже не было друзей. Большинство из них разъехались, кто в провинцию, кто за границу продолжать учебу в вузах, а от тех, что остались, меня уже что-то отделяло. Даже от Кирилла... Итак, после того как уволился прошлой осенью, я добрых три-четыре месяца бил баклуши, шлялся без дела, как говорит отец; что касается мамы, то она не осуждала меня, ей хотелось, чтобы я отдохнул после солдатской службы. Отец позаботился, чтобы меня допустили к экзаменам на аттестат зрелости после того, как я закончу экстерном одиннадцатый класс, и первое время я зубрил как сумасшедший, но потом скис. От одной мысли, что мне придется приходить на экзамен вместе с детьми, становилось не по себе. Кончилось тем, что я забросил учебники и оказался в тупике. Вот тогда-то, в конце февраля, уже в этом году я встретился с Корешком. После увольнения из армии мы с ним ни разу не виделись, я полагал, что он уже укатил на какую-нибудь отдаленную стройку, как грозился сделать не раз, потому и не стал его разыскивать. А он, оказывается, работает на вокзале.

— Мать у меня болеет,— пояснил Корешок.— Днем она нуждается в помощи, так что мне лучше работать по ночам.

Сообразив, что я нигде не работаю, он в шутку предложил мне пойти к ним в бригаду — в шутку, потому что вбил себе в голову, будто эта работа не для меня и я могу обидеться. Я тут же согласился. Бить баклуши мне уже опротивело, а работать вместе со своим другом — большое дело. Я был готов заняться чем угодно, только бы вместе с другом.

В шкембеджийнице светло и людно. От запаха уксуса и чеснока просто слюнки текут. Сидячие места все заняты, но у высоких столиков, где едят стоя, можно пристроиться. Корешок остается у сто-

ла, а я занимаю место в очереди, беру две чорбы и протискиваюсь с подносом к нашему столу. Тут уже едят двое, парень и девушка, я издали вижу, что мой напарник чем-то успел их рассмешить. Глядя на них, он иронически почесывает в затылке. В отличие от меня, Корешок легко заводит знакомство.

Взяв мисочку в руки, он поднимает ее к носу.

— Чесноку маловато, брат.— Помешав ложкой чорбу, добавляет: — И больно жидкая, в ней, как видно, только пополоскали требуху... А как ее готовил бай Митю, а?

Мы хлебаем чорбу, переглядываемся друг с другом, усмехаемся. Бай Митю работал в закусочной в том городке, где мы служили, и готовил из желудка и потрохов фантастические блюда: и чорбу, и вторые с соусом, и пироги... Бывало, получив увольнительные, мы с Корешком и со старшиной Караивановым часто заглядывали туда и буквально обжирались. Лафа была, особенно под конец, когда сдружились со старшиной. А до этого у него на меня зуб был — я не умел стрелять по движущейся цели и снижал показатели взвода. Не будь Корешка, моя служба, наверно, превратилась бы в ад. Каким-то чудом он и нашего старшину сумел охмурить, а такое не каждому удавалось.

Молодые соседи по столу очень похожи друг на друга. Должно быть, брат и сестра. Оба худенькие, черноглазые, на нем поношенный шерстяной свитер, на ней старомодное манто, не короткое и не длинное. Кроме чорбы, перед каждым из них стоят кебапчета [1], и молодые люди съедают все на удивление быстро. Кивнув нам на прощанье, они уходят в обнимку — значит, не брат и сестра.

— Симпатяги,— говорит Корешок, глядя, как те проходят мимо витрины.— Студенты, учатся и сами себя содержат. Не ждут готовенького от мамы и папочки. А не дальше как вчера взяли да поженились.

— Откуда у тебя такие сведения?

— Я с ними знаком. Они у наших соседей снимают комнату... Мне ужасно нравятся такие ребята, питаются вот этой похлебкой и ни от кого ничего не требуют.

Он поднимает мисочку и выпивает остаток чорбы. Мы выходим на улицу. То ли после еды, то ли двое студентов этому причина, но настроение у Корешка поднялось на один градус. Времени у нас еще много, куда бы нам податься? Я предлагаю пойти в то кафе, что возле театра. Там тепло, можно спокойно посидеть, посмотреть на людей. Но Корешок мотает головой.

— Чего на них смотреть? Пижоны! Мечутся как угорелые, и говорят, говорят. Да и после того, как я поддал вчера вечером, меня снова потянет на спиртное, а с тугриками у меня худо.

— У меня есть.

— Нет. Лучше пойдем в кино.

И вот мы в кинотеатре «Солун». Зал полупустой, фильм — зеленая тоска. Двое, муж и жена, безумно любят друг друга, но она встречается с другим и вроде бы изменяет мужу, он тоже встречается с другой и вроде бы изменяет жене. В конце концов выясняется, что никто никому не изменял, просто они не сошлись характерами, но теперь супруги поняли, что не могут обходиться друг без друга, и опять зажили душа в душу... Терпеть не могу подобных фильмов. Все вроде бы как в жизни, все разумно, а выходишь на улицу досадуя на себя, что смотрел подобную галиматью. Корешок с трудом

---

[1] Небольшие мясные котлеты, приготовленные на скаре — решетке, укрепленной над горящими углями.

удержался, чтобы не уснуть. Он все время охал, пыхтел, как будто тяжести ворочал.

На вокзал идем пешком — до начала работы еще два часа. Решили идти по бульвару Ботева. Измерим его с конца в конец, все равно делать нечего. А погода холодная, лужицы на тротуаре покрылись ледяной коркой, капель замерла. Небо высокое, ясное, мигает своими далекими фарами, словно манит в неведомые миры будущих космонавтов. Сам не знаю почему, но мне становится грустно. Возникает вдруг желание сесть на поезд и куда-нибудь уехать. Все равно куда...

— Осторожно! — вскрикивает Корешок и хватает меня за локоть — мимо нас проносится машина.— Ну-ка, погляди, что там происходит.

У площади Возрождения мы пересекаем бульвар Георгия Киркова. Шагах в двадцати от нас двое молодых парней идут за женщиной в белых сапожках и бросают ей вслед разные словечки. Один в красной теплой куртке и джинсах, на другом все с иголочки: элегантное пальто, лакированные ботинки, фетровая шляпа. Ступив на тротуар, женщина оборачивается, что-то сердито говорит им и ускоряет шаг, эти двое тоже ускоряют шаг. Женщина озирается. Корешок, взглянув на меня, устремляется вперед.

Развязка наступает совсем неожиданно. Милиционера нигде не видно, и женщина пытается оторваться от своих преследователей, но тот, что в фетровой шляпе, ставит ей подножку. Женщина падает, а он, подхватив свою жертву, не позволяет ей упасть — обычная хулиганская выходка — и получает от нее по морде. На какое-то мгновенье он обалдевает, затем приходит в ярость. Грубо выругавшись, он пинает женщину в спину. Женщина падает на колени. В тот же миг фетровая шляпа летит в сторону и за ней летит кувырком ее хозяин. Результат вмешательства Корешка.

Все происходит так быстро, что второй, тот, что в джинсах, не успевает опомниться. Когда же он, овладев собой, кидается на Корешка, я встаю у него на пути. Отпрыгнув, он выхватывает из-под куртки что-то блестящее, нож вероятно, заносит руку назад и замирает. Вид у него такой, будто он готов тут же превратить меня в фарш. Преодолев страх, я иду на него. Он делает еще шаг назад.

Корешок уже поднял женщину на ноги. Она всхлипывает. Вокруг собралось трое-четверо прохожих, но близко не подходят, наблюдают со стороны. Один из них, следивший за событиями от начала до конца, советует нам отвести хулиганов в милицию, сам же предпочитает держаться подальше. Получивший от Корешка затрещину поднимается и, слегка пошатываясь, ищет свою шляпу. Все делается молча, как в немом кино. Но вот внимание Корешка привлекает тот, что в джинсах.

— Ну-ка покажи, что ты там прячешь за спиной, дружочек? — тихо спрашивает он, подходя поближе.— Это тебе не поможет. Давай лучше проваливай, а то как двину... Живо, неохота из-за тебя сидеть в тюрьме... Ну, чтобы духу вашего тут не было!

Корешок говорит тихо, значит, взбешен не на шутку. Переглянувшись, двое героев, как по уговору, устремляются к противоположному тротуару. Тот, что в пальто, отряхивает полы, потом шляпу и, не замедляя движения, еще раз оглядывается. Они исчезают в направлении улицы Жданова. У собравшихся прохожих наконец развязывается язык. Они спрашивают, с чего все началось, но ни Корешок, ни женщина не отвечают. Женщина оплакивает свои чулки, порванные на коленях, и поясняет, что работает продавщицей в каком-то нармаге на Алабинской улице, что ей пришлось задержаться

на работе, что ее муж обычно приходит за ней, когда она работает во вторую смену, а в этот раз... Женщина молодая, хорошенькая. Воротник ее пальто отделан лоснящимися шкурками, на ней модная шляпка, словом, она совсем не похожа на продавщицу нармага. Мужчины, стоящие вокруг, полны сочувствия. Один даже ворчит на нас за то, что мы упустили хулиганов. Бросив на него косой взгляд, Корешок обращается к женщине:

— Вы где живете?

— Возле Подуян, на «тройке» езжу.

— Как же вы оказались тут, ведь «тройка» останавливается на улице Георгия Киркова?.. Впрочем, дело ваше. Проводить вас до остановки?

Женщина кивает головой и благодарит.

Проводив ее до остановки, мы дожидаемся трамвая. Женщина возмущена, она говорит не умолкая, за каких-то пять минут мы узнали всю ее биографию, но, сказать по правде, чем-то она мне не симпатична. Все кажется, что она сама дала повод, чтобы к ней приставали. Я спрашиваю, не приходилось ли ей раньше встречаться с этими людьми, может, они ей знакомы?

— Мы уже закрывали магазин, вижу, входят они, просят сигарет. Потом, гляжу, идут за мною следом... Я так испугалась...

Женщина кокетливо поправляет шляпку. Улыбается смущенно и слишком уж беспомощно — не видно, чтобы она особенно испугалась. Больше всего ее беспокоят испорченные чулки.

Дождавшись, пока она сядет в трамвай, мы идем своей дорогой. Слова благодарности пострадавшей все еще роятся у моих ушей, однако, сам не знаю почему, я чувствую себя обманутым. Верно, тому, который был в фетровой шляпе, она отвесила пощечину, но это, похоже, было вызвано его внезапной грубостью. А мы с Корешком могли влипнуть в дурацкую историю.

Делюсь своими мыслями с ним, чтобы узнать, что он об этом думает.

— Пускай, все равно... Не могу спокойно смотреть на таких гадов.

— Ты понял, что они собой представляют?

— Во всяком случае, трудягами их не назовешь. У того, которого я тюкнул, два перстня на руке... Ночные шакалы.

Оказавшись на бульваре Сливница, мы снова выходим на бульвар Ботева по набережной канала. По железному мосту с тяжелыми дугообразными перилами громыхает трамвай. Перед запоздалыми грузовиками одиноко мигают светофоры. В окнах больницы по другую сторону канала темно, только вход освещен да кабинеты дежурных врачей... Я все думаю, что же они за люди, эти «ночные шакалы», и как бы я поступил, не будь со мной Корешка. Наверно, начал бы их вразумлять, ну а они отколошматили бы меня за милую душу. И вовсе не потому, что я такой мямля,— когда меня бьют, я тоже спуску не дам, но первым не могу поднять руку. Ни разу такого со мной не случалось.

На вокзале шумно, отправляются последние вечерние поезда. Шефа в экспедиции нет. Заглядываем в его конторку на втором этаже, Он сидит за старым письменным столом, ест яблоко и читает «Спорт». Его круглая коротко остриженная голова блестит под электрической лампочкой. Завидев нас, он усмехается:

— Что-то больно рано вы... Прошел у тебя угар, Николай?

Он один иногда называет Корешка его настоящим именем. Корешок бормочет:

— Матери было худо, потому и не пришел вчера.

— И это ты мне говоришь? — подмигивает Шеф.— Ну ничего, сейчас у тебя будет хорошая разминка. А я посижу здесь, почитаю газету.

— Валяй,— великодушно соглашается Корешок.— Только смотри зад не отсиди за чтением... Шатала тут?

— Тут. Пошел в буфет.

Нам тоже не мешало бы заглянуть в буфет, газеты начнут завозить через час, не раньше.

— Ребята, не глупить,— предупреждает Шеф.— Чтоб не пришлось потом вас разыскивать...

В буфете застаем Шаталу. Его худое лицо едва ли не такое же зеленое, как ватник. Тут и Ненов, помощник Шефа, сидит за тем же столиком. Расстегнув пальто — на шее неизменный красный шарф — он ужинает. Ест кебапчета и дует пиво. Перед Шаталой стоит рюмка виноградной ракии.

— Для опохмелки,— не без гордости сообщает он.

И ему вчера вечером было тяжко. Глаза его, красные и припухшие, утратили свою мышиную живость, ватник нараспашку, под ним виднеется хлипкая грудь. Однако жилы у него крепкие, как стальная проволока. Шатала ждет не дождется, пока мы сядем, чтобы рассказать нам о своих приключениях.

— Знатно повеселились,— хвалится наш собеседник.— Ездили в Горублянский кабачок, с крошками, конечно... сами понимаете. Пили, дрались, блевали... Экстра! Потом всей бандой завалились к одному приятелю и уже до самого утра...

Шатала торжествующе ухмыляется. На голове у него, там, где начинаются его цыганские космы, и в самом деле видна большая сизая шишка. Руки сплошь в царапинах, как будто на нем резвился добрый десяток котов. Насчет «крошек» он, конечно, врет. Скорее всего, как замечает Корешок, малый играл в кости и его обчистили.

— Честное слово, с крошками были,— клянется Шатала.— А ты как провел время?

Корешок не удостоивает его ответом. Его больше занимает помшеф Ненов, молча уплетающий кебапчета.

— Ненов, что-то ты нынче шибко разгулялся... Не иначе жена родила сына?

— С чего ты взял? — подозрительно смотрит на него Ненов.

— Да вот деньги транжиришь напропалую. Кебапчета, пиво... Может, угостишь?

Слабое место Ненова — его жадность, и мы с Шаталой с трудом сдерживаем улыбки. Ненов не воспринимает шутку:

— Еще бы, пропиваешь свои деньги, а я должен тебя угощать. Дураков ищешь?

Ненов пыжится, мрачнеет. Ему известно, что все считают его скрягой, и это его не беспокоит, но стоит в глаза сказать ему об этом, как он начинает злиться. Зря связался он с грузчиками — если б управлял канцелярией, ему бы цены не было, потому что он любит строгий порядок и тихих людей. А вообще-то человек он неплохой. Весь в работе, копит деньги на «запорожца» и поэтому страшно боится упустить премиальные. У Шефа «москвич», у него будет «запорожец» — все как надо. И он своего добьется, поскольку жена у него тоже работает и детей у них нет. Шеф, при всей его нелюбви к сплетням, как-то брякнул, что ради «запорожца» эта семейка способна три дня подряд есть одни бобы.

— С дерьма пенки снимаешь, а? — посмеивается Корешок.— Не стать тебе большим начальником, Ненов.

— Ты лучше о себе подумай, кем ты станешь.

— Как это кем?.. На что я гожусь, тем уже и стал. Работягой. Тружусь вот по ночам. Разве плохо? Что получил, то прокутил, туго придется — беру взаймы у Пешо.— Корешок подмигивает мне.— А ты вечно жмешься, и от этого душа у тебя ссохлась, стала похожа на грошовую монетку.

Ненов побагровел. Он закрывает шарфом шею, застегивает пальто и встает. Глаза его презрительно сощурились.

— С твоей башкой, батенька, далеко не уйдешь... Может, я и не стану большим начальником, но тебе всю жизнь ишачить по вокзалам. Такие, как ты...

— Какие, Ненов?

Голос Корешка вдруг становится тихим, лицо — кротким. Его поведение начинает меня тревожить. Я кладу ему на плечо руку, но он отстраняет ее и все так же тихо повторяет:

— Какие, Ненов?

— Сам знаешь какие,— бросает Ненов через плечо и уходит.

Я удерживаю Корешка на стуле. Он смягчается, но не отрывает взгляда от спины удаляющегося Ненова.

— Эй, что случилось? — Шатала недоумевающе смотрит то на Ненова, то на Корешка.— Он тебя чем-нибудь обидел?

Корешок молчит, только скулы на его лице подрагивают. Он подзывает официанта и заказывает себе стопку виноградной ракии.

— Послушай,— говорю ему,— зачем тебе сейчас пить?

— Не твое дело.

Шатала открывает рот, он тоже хочет что-то сказать, но одного взгляда Корешка достаточно, чтобы и этот исчез из буфета.

Я не обижаюсь на Корешка, только мне больно за него. Не могу понять, каким образом Ненов узнал ту давнишнюю историю? Корешок особенно ее и не скрывал, но когда слышит какие-то намеки, просто выходит из себя.

Закурив сигарету, он щелчком «выстреливает» обгоревшую спичку.

— Когда-нибудь попадется он мне, этот дружок.

— Без глупостей, не обращай внимания. Может, он не это имел в виду.

— Знаю,— говорит Корешок и смотрит перед собой. В его взгляде собачья грусть.— Всегда какая-нибудь сволочь кольнет тебе в глаза... Но я ему врежу.

Не знаю, чем его отвлечь. Он рассказал мне эту свою историю еще в казарме. Я ни о чем его не спрашивал — сидим однажды на плацу, лейтенант дал нам передохнуть, а у Корешка было плохо на душе, и он сам мне все рассказал. Было ему тогда пятнадцать лет, сдружился он с двумя «корешами». Они жили по соседству с ним, были постарше его и уже многому успели научиться. Как-то раз стали они его подразнивать: слабо, дескать, тебе стащить помидор из-под носа у продавщицы, в овощной лавке. Все было как бы в шутку, и он стащил. Потом, когда сообразил, что дело это не шуточное, и порядком струхнул, те стали смеяться над его трусостью, а риск увлек его. И дружки начали промышлять у прилавков больших магазинов. При попытке ограбить киоск с сигаретами и парфюмерией их поймали. В суде «наставники» все свалили на него. Совсем еще неискушенный, он во всем «сознался». Суд, конечно, не поверил. Тех посадили в тюрьму, а Николай провел несколько месяцев в исправительном доме. Выйдя оттуда, пошел работать на стройки — от прошлых забав у него осталась только кличка. «Потом, когда я уже был призывником, меня из-за этой

глупой истории хотели направить в строительный батальон. Если б не мать, я бы застрелился. Она пошла в округ с прошением, представила справку, что мой отец инвалид Отечественной войны...»

В казарме Корешок был отличным, на редкость дисциплинированным солдатом. Его приняли в комсомол. Старшина Караиванов очень любил его и, когда нас произвели в младшие сержанты, поручал ему заниматься с молодыми солдатами строевой подготовкой и обучать их стрельбе.

Официант приносит стопку ракии. Корешок тянется к ней, но я кладу на его руку свою:

— Если ты мне друг, не смей сейчас пить.

Он смотрит на меня, потом трет пальцем свой длинный нос и, положив на стол несколько монет, встает. Мы направляемся в экспедицию.

Доброе слово делает Корешка удивительно покладистым.

5

Незаметно для меня наступил май. Дни я никогда не считаю, дат не помню, исключая, конечно, случаи необычные. Но ничего необычного не случается, и время мое летит неизвестно куда, часы и дни бесследно тонут, как брошенные в пучину камушки. Единственно, что я храню в своей памяти, это дни рождения родителей и Димы, потому что, если забуду поздравить, они обижаются. Раз или два так вышло, еще в малолетстве, и с тех пор, как только приближается соответствующий месяц, я начинаю испытывать смутное беспокойство, и это беспокойство с каждым днем растет, пока не соображу, в чем дело. Сделав пометку на обложке альбома для рисования, я успокаиваюсь — теперь уж ни за что не забуду поздравить. Альбом я раскрываю ежедневно.

В этот раз послал Диме открытку несколько преждевременно. Если получит на день-два раньше, не беда. Мама была очень довольна и от себя написала две строчки в моей открытке, отец тоже поставил свою подпись, и вообще я почувствовал себя положительным героем назидательного детского рассказа. Даже чистую рубашку надел по этому случаю, не дождавшись, пока почернеет воротник у другой.

В остальном ничего особенного. Дожди, как всегда в Софии в такое время года. Теплые ливневые дожди ежедневно пополудни, будто по расписанию. Прогремят грозы, хлынет светлый дождь, зашумит в водосточных трубах, по улицам побегут быстрые мутные ручьи, и через час-полтора все куда-то исчезает в сопровождении утихающих раскатов. Тучи постепенно рассеиваются, небо сверкает, как вымытое окно, и в мою комнату валит запах теплой влаги, цветущей липы и бензина. Я ощущаю его даже во сне.

А по утрам небо обычно ясное, просто трудно предположить, что будет дождь. Возвращаясь с работы, я чувствую себя как в холодной ванне. Солнце бьет в глаза, хочется спать, а домой идти неохота. По пути я часто захожу в кафе, что возле театра. Столики вынесли на тротуар. Желтая брусчатка театральной площади весело улыбается, напротив, в городском саду, зеленеют старые деревья. Сажусь за столик, выпиваю чашечку кофе и с наслаждением курю. По площади проходят женщины в цветастых платьях и мужчины в белых рубашках. Девушки яркие и легкие, как мотыльки. И ужасно красивые. Все вдруг стали ужасно красивыми. Я сижу, смотрю, думаю о разных ве-

щах и ничего не могу с собой поделать — как будто земля и небо куда-то несутся, и я несусь вместе с ними и совершенно не в силах остановиться. Даже в глазах рябит... Потом иду домой, обедаю и ложусь спать — как раз вовремя, потому что тучи уже спускают серые занавески перед моим окном и первые крупные капли постукивают по карнизу. Затем встречаюсь с Зоркой, мы подолгу гуляем, целуемся. А если свидание не состоится, гуляю один. Или делаю наброски в альбоме. Потом снова ухожу на работу.

Так проходят мои дни, и все вроде бы в порядке. Вроде бы, но не совсем. Что-то меня гложет, чего-то мне не хватает. Может быть, именно потому, что все в порядке. Ночью, когда мы перебрасываем кипы газет на вокзале, я ни о чем не думаю. Там Корешок, папаша Апостол, Шеф, Шатала и Студент — он продолжает работать, хотя у него в июне начинается летняя сессия и ему полагается отпуск. В последние дни работы заметно прибавилось, и Ненов сагитировал его помочь. Жмем на все педали, но не жалуемся. Обмениваемся шутками, иногда затеваем возню, и папаша Апостол называет нас бычками. Постоянной и безропотной мишенью для шуток является Шатала с его хвастовством по части «крошек». Бывает, что и ссора вспыхнет из-за какого-нибудь пустяка, но все быстро улаживается. Позавчера Шатала стащил у Студента зажигалку. Тот прижал его к стенке и отобрал ее. Видя, как Шатала огорчен, папаша Апостол отдал ему свою самодельную, из патрона. Шатала засиял от счастья: такие зажигалки никогда не отказывают... В общем, ночью работается весело, и я не замечаю, как проходит время.

Но утром, когда возвращаюсь домой, случаются странные вещи: я вдруг останавливаюсь посреди улицы, сам не знаю почему. Просто останавливаюсь и начинаю озираться, будто меня кто окликнул: «Эй, парень, ты куда?» И вдруг спрашиваю себя: «Куда?» И меня бросает в жар. Перед моими глазами простирается ровное серое поле без конца и края, раскаленное солнцем. Ни травинки, ни дорог, а я стою посреди него и не знаю, куда податься. Мною овладевает желание отправиться в дальние дали. Туда, где небо не такое голубое, а, скажем, красное или лимонно-желтое, и деревья растут корнями вверх, а люди ходят на руках, и каждый день случается что-то интересное... Желание это так сильно, что колотится сердце.

Вздор, конечно. Но мысль уехать куда-либо мне приходит часто. В Танганьику или в Перу. Или во Вьетнам. Лучше всего во Вьетнам — если туда посылают добровольцев. Солдат я неплохой, только не умею стрелять по движущейся цели. Но в конце концов можно научиться. Там люди сражаются за свободу уже двадцать лет, и я ненавижу тех высоких вояк с засученными рукавами, в башмаках на толстой подошве, которые топчут рисовые поля и стреляют по тем, кто их обрабатывает. Чего им там нужно? Кто дал им право вмешиваться в чужую жизнь? Ведь каждый народ сам имеет право улаживать свои дела, как считает нужным. Если бы поехать во Вьетнам, можно было бы принести какую-то пользу.

Такое мне иной раз приходит на ум, когда я возвращаюсь с работы и раздумываю над тем, что же будет дальше. Что будет со мной, я имею в виду. Не важно, буду ли я продолжать перебрасывать тюки или пойду работать на завод, а может, поступлю учиться на инженера, чего так хочется моему отцу. У нас каждый может заработать себе на хлеб, если не лень. Но мне этого мало, мне нужно еще что-то, но что именно, я не знаю — вот в чем беда. А когда на меня находит такое настроение, небо вдруг делается низким, спускается сумрак и мне становится жутковато, даже в моих движениях чувствуется какая-то неуверенность. И в памяти всплывают всякие неприятные истории, вроде

той, с сигаретой, когда учитель физики Ставрев поймал меня за руку выше локтя...

Ну-ну, без глупостей, старший сержант Клисуров. Без фокусов, как говорил старшина Караиванов, когда мы уходили стрелять по движущимся мишеням. Ну-ка, левое плечо вперед и отправляйся спать.

А может быть, это настроение объясняется и моим свиданием с Таней.

Ничего особенного не произошло. Всегда можешь встретиться на улице со знакомым человеком и вспомнить о вещах, о которых давно забыл или не хотел вспоминать. Но надо сказать, что в последнее время я и без того нахожусь в каком-то ошалелом состоянии, а если еще что-нибудь такое случается, то совсем выхожу из колеи.

С Таней я встретился два дня назад, на улице Стамболийского, перед магазином «Тексим», в котором продаются всякие чудеса для женщин, привезенные из-за границы. Было около десяти утра. Через площадь Ленина я направлялся в «кафе пижонов», а она в это время стояла в толпе женщин и девушек, дожидалась открытия магазина. Я узнал ее, когда нас разделяли каких-нибудь два-три шага, и растерялся от неожиданности — повернуть обратно или перейти на другую сторону улицы,— но было уже поздно, она оглянулась и увидела меня.

— О, Петьо!

Таня, конечно, была удивлена, но в меру. Подала мне руку с таким видом, как будто между нами ничего не было. На это способны только девушки — делать вид, что ничего не было... А у меня сердце переместилось в голову и колотится там как шальное, но держу себя в руках. По существу, волноваться у меня нет причины. Просто я давно ее не видел и в голове у меня яростно забилось прошлое двухлетней давности.

— Почему ты не даешь о себе знать? — спросила она, а я тем временем стоял как чурбан, не зная что сказать.— Смотри, какой ты стал...

— Какой?

— Повзрослел. И такой небритый... С пьянки возвращаешься? Угадала, верно?

Она это сказала с усмешкой и снисходительным укором. Я заметил, что с тех пор, как мы не виделись, язык ее обогатился и что она тоже повзрослела.

— С пьянки,— ответил я.

Я был в белой рубашке с короткими рукавами, небритый, не спал всю ночь — откуда ж я мог возвращаться в таком виде, если не с пьянки?

— А я жду, пока тут откроют. Привезли итальянские плащи... Хочешь, выпьем по чашке кофе?

— А плащи?

— У меня знакомая продавщица, она оставит.

Только этого мне не хватало — распивать с ней кофе. Подсчитав в уме свои деньги, поскольку мне уже пришлось потратиться, а у отца избегаю просить, я повел ее в кафе на углу, где пьют стоя, в надежде, что встреча не затянется. Заказал ей кофе, себе — коньяк. Она посмотрела на меня весьма выразительно и понимающе кивнула. А надо сказать, что я никогда утром не пью.

Мы стояли под углом друг к другу у высокого столика на никелированных ножках, и каждый пил свое. Когда Таня поднимала двумя пальцами кофейную чашку, я имел возможность разглядеть ее получше — просто так, ради интереса. К тому времени я уже успокоился, да

и алкоголь несколько затуманил мое сознание, и мне было все равно, что она подумает... Неужели это та самая Таня? Светло-голубые брюки, расклешенные книзу, белая водолазка, немного великоватая, но под нею все довольно четко вырисовывается, ресницы начернены, от чего карие глаза кажутся более светлыми. Черные прямые волосы — до плеч. А когда она последний раз приходила ко мне в казарму, они были намного короче и разлетались веером, если она вертела головой. Черноты на ресницах не было. И лицо было другим, еще детским... Теперь вроде бы только родинка на подбородке оставалась прежней.

На мой вопрос, бывает ли она в кафе у театра, Таня ответила отрицательно.

— А ты бываешь там?

— С какой стати!

— Почему же тебе пришло в голову, что я там бываю?

— Просто так...

Конечно, не просто так, потому что завсегдатаями «кафе пижонов» были артисты и студенты ВИТИЗа, театрального института, а она училась в этом институте. Но именно поэтому я не решался сказать ей, что посещаю это кафе,— она могла бы подумать бог знает что. И вообще было глупо с моей стороны задавать ей такой вопрос, но она ничего не заметила и стала в свою очередь меня расспрашивать. Пришлось отвечать:

— Ага... Да, уволился прошлой осенью... Мама чувствует себя неплохо... От Димы пришло письмо, шлет тебе привет... Нет, не учусь... Пока не знаю... Который, правый? Должно быть, с перепою...

Последнее касалось моего глаза, который, по словам Тани, был сильно воспален. Не знаю почему, но мне доставляло удовольствие беззастенчиво врать ей — и насчет того, что Дима шлет ей привет, и насчет глаза — я чувствовал себя способным продолжать это вранье до бесконечности. Впервые я обнаружил в себе ужасного лжеца. Коньяк ударил мне в голову, а она, ничего не подозревая, воспринимала все всерьез. Потом сказала:

— А ты знаешь, я бросила театроведение и перешла на актерское отделение. Приняла участие в одной постановке, и мне посоветовали перейти туда. Три курса будут мне зачтены.

— Браво!.. Кто тебе посоветовал, ассистент, да?

— Какой ассистент?

Должно быть, я изрядно опьянел, раз проговорился относительно ассистента... Фу ты, опять соврал. Нет, не опьянел, только голова у меня немного согрелась, и я находился в том состоянии, когда могу говорить все, что думаю. Но я вовремя опомнился. А с ее стороны было глупо спрашивать, какой ассистент,— очевидно, мой вопрос ее ошарашил, она и не подозревала, что мне все известно. В сущности, это не имело никакого значения, с ним я не был знаком, меня он нисколько не интересовал, но ее лицемерие действовало на нервы.

— Как какой?.. Ты же выходишь замуж за ассистента?

— Кто это тебе наплел такой чепухи? — Она смерила меня леденящим взглядом с головы до пят.— И потом, выхожу я замуж, нет ли, мое дело.

— Извини,— спокойно сказал я.— Не предполагал, что тебе это неприятно.

Я усмехался и был страшно спокоен. Как будто речь шла не о Тане, а о ком-то совсем другом. Просто невероятно спокоен. Затем вдруг стал рассказывать о вчерашней пьянке — как я пошел в гости к одной приятельнице, где собралось множество парней и девушек, и как моя приятельница обрадовала нас пластинкой со всеми вещами Хампэрдинга, а также своими итальянцами, как нам было весело — весь дом хо-

дуном ходил до самого рассвета, как под утро мы все высыпали на улицу и стали песни распевать, и какой-то милиционер чуть было нас не арестовал. Я врал без зазрения совести, а она слушала, задрав кверху носишко, время от времени вскидывала черные брови и стала похожа на Таню, которую я знал в школьные годы. Однако потом вынула из сумочки «Стюардессу» и закурила; меня это до такой степени огорошило, что я даже спичку не догадался ей поднести. Не мог себе представить, чтобы Таня, которую я знал, начала курить. Но эта курила, и тем лучше. Я, конечно, и сам дымил со страшной силой, пока не ощутил жуткую горечь во рту.

— Я должна идти,— сказала Таня, осматривая со всех сторон свое лицо в зеркале на противоположной стене.— У меня еще и лекции... А ты?

— Допью коньяк,— ответил я.— Привет вашим.

Она не подала мне руки. Только кивнула и ушла, но в дверях обернулась.

— Позвони как-нибудь...— Было видно, что она мнется.— На той неделе в четверг у меня день рождения. Придешь, буду рада.

— Мерси.

— Можешь и девочек своих привести.

Она глядела на меня, ожидая, что я на это скажу, но я ничего не сказал, и она ушла, широко размахивая расклешенными штанинами. Взглянул на нее сквозь витрину. В белой водолазке Таня напоминала опереточного курсанта морского училища, была чертовски хороша, и вообще вся ее фигура отличалась какой-то театральной завершенностью, и веяло от нее чем-то чужим.

Тем лучше. А о том, что близился день ее рождения, я знал. Моя память хранит точную дату, хотя в блокнот я ее не записывал. Но идти к ней, разумеется, не собираюсь. С какой стати?

Вообще эти майские дни как будто запрограммированы. Каждый день одно и то же и в один и тот же час, дождь и тот начинается в строго определенное время, минута в минуту, и я заранее знаю, что мне скажет мать, если вернусь домой вовремя, если задержусь у Зорки, и как будет ластиться Пух, почувствовав запах мерлузы, которую я для него покупаю за несколько стотинок в рыбном магазине, и как посмотрит на меня отец, случайно застав меня дома. В чем-то я похож на юлу, ту самую, металлическую — нажмешь несколько раз на верхний рычажок, она и застывает на одном месте, а достигнув ошеломляющей скорости, вертится, поет и, кажется, никогда не остановится.

Только я — неважно отцентрованная юла. Не знаю, понятно ли вам, что означает плохая центровка. Вращение при этом получается неравномерное, происходит вибрация — если у вас хороший слух, вы ее сразу заметите и появится желание тут же прекратить движение; вибрация вызывает преждевременный износ... Как бы там ни было, но чувствовать себя расцентрованным довольно неприятно.

Приходится утешать себя тем, что и другие расцентрованы не меньше твоего. Например, Кирилл и его друзья. Сегодня он неожиданно заявился под вечер ко мне и уволок меня из дому, даже не дав как следует проснуться. Кирилл жалуется на то, что с зубрежкой у него ничего не получается и ему придется перенести два экзамена на осень. И вообще, если бы все зависело от него, он махнул бы рукой на этот вздор и пошел в какой-нибудь спортивный клуб волейбольным тренером. Я спросил у него, что случилось. Он ответил, что ничего особенного не случилось, но ему осточертело коптить небо и без конца выслушивать советы умных людей, как жить дальше.

Нетрудно было догадаться, что Кирилл пришел жаловаться на свою судьбу. Я не стал спрашивать, кто эти умные люди, ясно было, что речь идет или о его Невяне, или о том критике с женственным лицом. Или, наконец, о его родителях — кто еще мог давать советы, как ему жить дальше.

Я рассмеялся, и Кирилл поглядел на меня косо.

— Не огорчайся,— сказал я ему.— Мое положение нисколько не лучше. Даже сестра печется о моем будущем. Находясь в Польше.

Он улыбнулся, пригладил свои бакенбарды и предложил мне пойти в кафе у театра.

— Опять туда?

— А куда ж еще? Моя братия только там бывает, что поделаешь.

И мы поплелись в кафе. Бакенбарды Кириллу никак не идут, они только портят его красивое лицо. Чтоб его не огорчать, я до сих пор не сказал ему об этом, но мне не нравится, когда люди отращивают бакенбарды. Хотят казаться красивей, а получается наоборот, лицо огрубляется, в нем появляется что-то обезьянье. Впрочем, может, я ошибаюсь. Каждый вправе поступать так, как ему нравится...

Кирилл продолжал развивать мысль о волейболе:

— Это ничуть не хуже, чем быть поэтом или преподавать литературу в школе. Если попадешь в первоклассную команду, скажем в сборную страны, чем плохо? Деньгу платят приличную, два-три раза в год бываешь за границей, да и работа не пыльная... С годами ты заслуженный мастер спорта. Судья или что-нибудь в этом роде. По крайней мере, можно поездить по свету.

— Погоди, ты же вроде решил стать поэтом?

— Решил... А если из этого ничего не выйдет? Весь вопрос в том, как ты будешь котироваться, дорогой мой. Я в таких делах пас.

— В каких делах?

Кирилл только плечами пожал, и я подумал, что тут вопрос не в профессии, а в чем-то другом. Но в чем именно?

В кафе мой друг окончательно расстроился. Там мы застали Здравкова и Невяну. С ними сидел еще какой-то молодой человек с небольшой арабской бородкой, в которую мягко вливались тонкие усы. Его черные глаза все время смотрели собеседнику прямо в лицо. В этом было что-то неприятное — ни за что ни про что выдерживать сверлящий тебя взгляд. Под глазами у него темнели мешки, будто он только что вышел из забегаловки, где провел целые сутки. Такое же невыгодное впечатление производила его одежда — короткое пальто из плащевой ткани, давно утратившее первоначальную свежесть.

Этот человек — я так и не понял, кто он, только фамилию «Даракчиев» услышал, поскольку он произнес ее вполне ясно и чуть ли не сердито,— заставил меня пробыть в заведении добрых два часа. Знакомясь со мной, он даже не привстал со своего места, по-свойски подал два пальца Кириллу и первое время сидел молча. Вел он себя так, будто никого другого за столом не было. Пил кофе, заказал новую чашку и между делом ковырял под ногтями, чистил спичкой янтарный мундштук, сверлил мизинцем правое ухо, зевал, не пытаясь прикрыть рукой рот. Сделав какую-то запись на сигаретной коробке, он задумчиво отдувал губы.

Я уже собрался было уходить, так как Кирилл, Невяна и Здравков завели бесконечный разговор о книгах да о стихах — кто более знаменит, Блок или Есенин, и что говорил о поэзии Элиот,— когда этот Даракчиев, повесив над усами облако дыма, вдруг подал голос:

— Ну и что?

Спор оборвался на самой высокой ноте. Трое спорщиков перевели глаза на Даракчиева. Невяна — с любопытством и досадой, Кирилл —

выжидательно, Здравков — со своей бледной снисходительной усмешкой.

— Ну и что, спрашиваю? — повторил хриплым голосом Даракчиев, поглаживая бороду.— Элиот, велика важность! А того, что ближний, в силу отсутствия денежных знаков, пьет только кофе, вы не замечаете. Уже вторую чашку!

Даракчиев брезгливо поморщился, остальные засмеялись. Кирилл позвал официантку и заказал большую рюмку анисовки. Даракчиев уставился на него своими немигающими глазами.

— Вот он, славный малый... Только зачем ты пишешь стихи, а? Мужчина — косая сажень в плечах, неплохо соображаешь, а занимаешься чепухой.

— Дарак, соблюдай приличия,— смеется Невяна.— Человек тебя угощает, а ты?

— Ах, верно, экономическая зависимость... Молчу.

— Нет, ты лучше постарайся развить свои высокие мысли,— насмешливо вставляет Здравков.— Разве у Кирилла плохие стихи?

— Почему плохие? Каждый мало-мальски образованный человек нынче может написать вполне сносные стихи. Почти оригинальные.

— А какого ты мнения о его стихах?

— Никакого. Я их не читал.

— Зачем же тогда разглагольствовать?

— Ничего ты не понимаешь.— Даракчиев махнул рукой в сторону известного критика, словно отгоняя муху.— Кики, извини, но я говорю в принципе. Чтобы написать интересные стихи, надо много пережить, выстрадать, а что ты пережил? Или желать чего-нибудь, но так, чтобы кости трещали от страсти, чтобы выть диким зверем.

— Что же это такое, ради чего я должен выть?

— Откуда я знаю... Скажем, любовь, революция. Или, может быть, некая новая религия, сулящая пять-шесть кругов рая на том свете в качестве небольшой компенсации за земные муки. Но только чтобы в твоих стихах были огонь и кровь, дикая скорбь, бешеная радость... Чтобы, прочитав их, человек пришел в экстаз и сам завыл.

— Ну и даешь,— засмеялся Кирилл.— Просто не верится. А у тебя самого какое огненное желание?

— Анисовка,— ответил Даракчиев, с интересом наблюдая за кристалликами, плавающими в рюмке.— И действует как огонь, и гасит огненные желания... К тому же я стихов не пишу.

— А я пишу.

— Валяй... Только о чем? Все уже описано, милый мой, а мы предлагаем лишь перепевы, уподобляемся попугаям. Подлинный поэт — это чудо, герой, мученик, олимпиец, каждый стих его стреляет, яростно сражается за что-то, а мы все — лишь старательные ребята примерного поведения.

— Ами-и-и-нь! — пропел Здравков.— А чем же, по-твоему, должны заниматься старательные ребята?

— Трудиться. Стать юристами, физиками, может быть, работать продавцами в системе «фрукты-овощи», это, по крайней мере, честней. Главное, не выставлять напоказ собственного ничтожества.

— Дарак, хватит каркать,— сердито заметила Невяна.— Наслушавшись тебя, удавиться мало. Сам-то ты что-нибудь признаешь в этом мире?

— Самого себя. И еще кое-какие вещи, о которых ты не имеешь понятия.

— А, воображала.

Окинув ее насмешливым взглядом, он отпил полстопки анисовки. Явно шокированный, Кирилл молча курил одну сигарету за другой.

Я чувствовал себя теленком, перед которым разложили ноты. Один Здравков казался невозмутимым. Он сосал неторопливо сок и время от времени рассматривал соломинку, как некое чудо техники. Потом небрежно заметил:

— Твои советы, Дарак, не такие уж глупые. Единственный их недостаток в том, что они бесполезны. Ты сам не следуешь им.

— Что ты имеешь в виду?

— Сам пишешь.

— А, это другое дело.— Даракчиев махнул рукой.— Я, по крайней мере, не корчу из себя писателя, милый мой. Пишу рекламные рассказики о наших курортах, привлекаю иностранных туристов. Значит, приношу отечеству пользу по части валюты... А вы? Ямбом и хореем сообщаете публике, как вы любите маму, папу, свой старый дом, как храбро умирали партизаны, хотя живого партизана вы и во сне не видели, а воображаете, что делаете литературу. Или в глазах любимой открываете тайны бытия... Ужас как занимательно!

— Чересчур упрощаешь, Дарак.

— Пускай я упрощаю. Большая литература — это прежде всего личности, биографии. Или сверхталант, познающий мир с первого взгляда, поскольку он наделен необходимым инструментом... А мы сидим вот здесь, занимаемся пустословием и черпаем вдохновение в собственной, говоря между нами, неуместной претенциозности.— Даракчиев неожиданно замолчал и, уставившись на Кирилла, медленно заулыбался.— Все это говорится потому, что я тебе друг.

— Благодарю,— поклонился с кислой усмешкой Кирилл.

— Не за что. И, в отличие от Здравкова, желаю тебе добра.

— Ну, довольно,— с досадой произнес Здравков.— Все ясно. У тебя самого неуместные претензии, и болтаешь ты больше, чем кто-либо.

Даракчиев склонился над стопкой и вздохнул:

— Пожалуй, ты прав. Анисовка развязала мне язык... Но ведь надо же как-то убить время, а? Вообще-то ты прав — если б я знал, что мне нужно, зачем бы я стал так много говорить?

Он принялся вставлять в мундштук сигарету и больше не произнес ни слова. Кирилл молчал. Всего час назад он сам выражал сомнение по поводу своего призвания, не скрывал того, что недоволен своей жизнью, а теперь, когда примерно то же самое ему сказал Даракчиев, он кажется несчастным. К чему, в сущности, подобные разговоры и что этим людям нужно? Они сами не знают, что это в какой-то мере сближало меня с ними. Даракчиев как лезвие бритвы — бреет без мыла. Только зачем? Ради чего? Какая от этого польза? Если то, что он твердит, правда, пожалуй, им действительно лучше стать профессиональными спортсменами. Или швырять кипы газет на вокзале.

Невяна мне улыбалась. Наклонилась ко мне поближе и стала расспрашивать, что я делаю — с кем работаю, кто мой начальник, как производится рассылка газет. О чем другом она могла со мной говорить? Вдруг я почувствовал прикосновение ее ноги под столом. Слегка подведенные синькой глаза Невяны казались очень большими и глядели одержимо. От выпитого, конечно. Я отстранился, но ее нога снова нашла мою. Я встал, чтобы купить в буфете сигарет, а когда возвратился, немного отодвинул стул и попробовал заговорить с Даракчиевым, сидевшим по другую сторону стола. Поскольку Невяна продолжала фиксировать взгляд на мне, я не знал, куда смотреть. Заметив это, Кирилл усмехнулся.

— Петьо, не смущайся. Невяна неспособна мириться с мыслью, что кто-то из мужчин, окружающих ее, не валяется у ее ног... Но ты не обольщайся, она любит одного меня.

— Дурак! — Невяна шлепнула его по губам и чмокнула в щеку.— Откуда ты знаешь, что одного тебя? А если мне пришелся по душе твой друг?

Здравков скривил свое маленькое анемичное лицо, словно готов был рассмеяться. Даракчиев с полным безразличием смотрел перед собой и как-то странно вздыхал. Мимо прошла тоненькая официантка — та, что некоторое время назад напоминала мне Таню,— за соседним столиком какой-то тип окликнул ее по имени, что-то ей брякнул. Она весело засмеялась. Больше не бегает жаловаться барменке.

Положив на стол стотинки за кофе, я ушел. Не привык я к подобным шуткам. Пускай ищут себе других. И эта Невяна — странная она какая-то. Что Кирилл в ней нашел?

Я брел к улице Графа Игнатьева. Все вокруг вымыто дождем; на верхних этажах домов гаснут лучи заката, а на душе неспокойно, я зол на всех. Даже на маленькую официантку. Черт бы ее побрал, еще две недели назад бросалась в рев, если с нею пытались заигрывать, а сейчас хохочет. Будь она моей сестрой, я всыпал бы ей как следует и посадил под замок на хлеб и на воду дня на три... И вообще в этом кафе больше ноги моей не будет.

Вот какие глупости копошились в моей голове. На площади Славейкова я остановился, чтобы пропустить трамвай. Трамвай прошел, а я продолжал стоять на бровке тротуара. Старался больше ни о чем не думать, но мне было трудно дышать. Даже сигарету бросил. Вокруг простиралось бескрайнее серое поле, опаленное солнцем, ни единой травинки нигде не видать — куда ни глянь, всюду одно и то же. Может быть, поэтому я стоял на краю тротуара и бессмысленно следил за тем, как движутся люди, как они входят в булочную и выходят из нее. У кинотеатра толпились парни и девушки, глазея на афиши.

Кто-то меня толкнул под локоть. Я невольно вздрогнул.

— Испугался, докер?

Это оказалась Невяна. Она стояла передо мной, держа руки в карманах, и смотрела на меня снизу вверх своими неестественно большими глазами. Ее лицо в черной рамке волос напоминало незаконченный рисунок: ни лба, ни щек, только нос, глаза и губы, тонкие подвижные губы; они блестят — должно быть, она часто облизывает их. И ее черное пальто из жатого лака тоже блестело, словно только что из-под дождя.

— Чего мне пугаться?

— Меня. Если мне кто нравится, я делаюсь нахальной. Ну?

Я не мог сообразить, что ей сказать в ответ, и только пробормотал:

— Шутка не очень смешная.

— Мерси.— Она засмеялась, обнажив мелкие белые зубы.— Но мне в самом деле нравятся такие лица.

— Какие?

— Неправильные, как ваше. Не стандартные... Этот шрам на подбородке, откуда он у вас? На дуэли дрались?

— Да, с каменной лестницей.

— Жалко. А я было подумала, что вы дрались на шпагах или как там. Либо вас ударили ножом из-за какой-то девушки... Вы в какую сторону?

Услышав мой ответ, она сказала, что нам по пути и что я мог бы проводить ее до дому. Невяна взяла меня под руку, мы пересекли площадь и пошли по улице Васила Коларова. Я чувствовал себя ужасно глупо, но не решался высвободить руку, чтобы ее не обидеть. Скоро она сама меня отпустила, сказав при этом:

— Доставайте сигареты, я вижу, вам не терпится закурить.

Мне и в самом деле хотелось курить. Сама она отказалась — на

улице воздерживается от курения, но если я не против, мы могли бы выкурить по сигарете у нее дома. Живет Невяна совсем одна.

— И выпьем, у меня есть виски. Шотландское... Хотите? Правда, хотите? Мне страсть как хочется выпить.

Она настаивала, заглядывая мне в глаза, и я кивнул. Убейте меня, но я не сумею толком объяснить, почему не в силах отказать, если меня о чем-то просят. Попросят отдать свое пальто или часы, я отдам. И дело тут не в моей доброте, просто я такой идиот.

Жила она на одной из тех улочек между Витошской и бульваром Ботева, названия которых я никак не могу запомнить. Парадная дверь отпиралась ключом, широкие лестницы привлекали внимание своим блеском.

Поднялись на третий этаж. В квартире стоял запах, характерный для музея или для старинных домов Копривштицы, так много дерева израсходовано тут на отделку стен. По крайней мере, в гостиной, куда мы вошли.

Невяна усадила меня на диван и исчезла. Поглядев вокруг, я невольно подумал, что́ сказал бы Корешок, попади он сюда. Гостиная вдвое больше нашей, мебель темно-красного цвета, в тон деревянной люстре, бра, торшеры. Огромный, почти во всю стену, бар напротив с бесчисленными дверками. Над баром — две картины: пейзаж с красными деревьями и лиловым небом и голое тело на охряном фоне, плоское и бесплотное, как тень. В углу, возле задвигающейся двери — большая радиола с фонотекой. Две громадные керамические вазы без цветов в противоположных углах, стоящие прямо на полу, кресла, в которых вполне можно улечься, большой стол, маленький столик, пуфы, статуэтки черного дерева на камине — словом, идеальное место для приемов и разгульной жизни. Никогда еще мне не приходилось бывать в таких домах.

Невяна вернулась в свободном домашнем халате с рукавами раструбом. Когда поднимались руки, рукава сползали до плеч. Теперь она казалась спокойной, мягко ступала по ковру, в ее движениях было что-то новое, и глаза больше не блестели одержимо, как прежде. Наверно, приняла холодный душ.

— Сейчас будет готов кофе... Петр. Вас ведь Петром зовут?

— Да.

Она вытащила из бара бутылку с белым конем на этикетке, поставила на столик два глубоких бокала.

— Пить придется в чистом виде, у меня кончилась газированная вода. Если хотите, с простой...

— Нет, благодарю.— Я продолжаю оглядываться по сторонам.— Кем работает ваш отец?

— Обстановка?..— улыбнулась она и придвинула к столику пуф. Потом задумчиво подобрала полы халата и прикрыла колени.— Отец... не работает. Умер два года назад. Был начальником во Внешторге, а до этого — советником по торговле в различных странах... Давайте чокнемся, что ли?

Я отпил, по телу разлилось приятное тепло, и я пропустил еще глоток. Мой отец тоже покупал бутылочку время от времени, ради доктора, и виски мне вообще нравилось. Может быть, потому, что доктор любил его... Невяна принесла кофе в красивых темно-зеленых керамических чашках и бисквиты на тарелочке.

— Это будет наша закуска. Вы не очень голодны, верно? — В этот раз она села в стоящее рядом кресло и подобрала под себя ноги. С кофейной чашкой в руках она напоминала цыганку, собравшуюся гадать.— А если и голодны, мне нечем вас покормить, в холодильнике пусто. Вообще мы сейчас держимся на маминой зарплате да на моих

очерках. Можно было бы пустить квартирантов, у нас три свободные комнаты, и мы не знаем, что с ними делать. Но мама опасается, что квартира станет ни на что не похожа.

Я не мог понять, зачем Невяна рассказывает мне обо всем этом, однако теперь она мне нравилась больше, гораздо больше, чем в кафе. Не особенно весело жить вдвоем с матерью в такой огромной пустой квартире.

— Чьи это картины там, на стене?

— Вам нравятся?

— Пейзаж.

— Его подарил отцу один художник. Отец был человеком широких интересов, любил жить с размахом. При его жизни у нас было много друзей... А «Голое тело» он купил в Финляндии, очень давно. Не знаю, что он нашел в этой картине, но мама не разрешает ее убрать, потому что отцу она очень нравилась.

Невяна взяла сигарету и поглядела на меня. Я поднес ей зажигалку и сам закурил. Она пила кофе по-мужски, большими глотками, потом отпила виски, облокотила руку о колено, кулачком подперла подбородок и засмотрелась на меня.

— Ну а вы?

— Что я?

— Наговорила тут вам с три короба, а вы молчите. Вы всегда такой?

— Не знаю.

— Почему вы пошли в грузчики?

— Это вам для очерка?

— Умеете защищаться.— Она улыбнулась и указала глазами на мой бокал. Мы оба глотнули виски.— Просто хочется узнать что-нибудь о вас... О тебе. Мы уже старые знакомые, и не обязательно придерживаться этикета. Согласен? Согласен, правда же?.. Мне кое-что известно о тебе. Кики рассказывал, как ты бросил школу, когда учился в десятом классе, из-за какой-то там глупой истории. Это верно?

— Курил в уборной, и меня накрыли.

— Господи, до чего же ты скуп на слова. Об этом я уже знаю. Но ты сам бросил школу, тебя даже не наказали... Почему же?

Я допил виски. Она налила еще, улыбаясь при этом и поглядывая на меня, потом и себе добавила. Ей очень хотелось узнать, почему я бросил школу, а я не люблю говорить на эту тему. Да и о чем тут говорить — мне самому не совсем ясно, почему я тогда так поступил. Не мог больше оставаться в школе, вот и все.

— Ладно, можешь не рассказывать,— заметила Невяна.— Извини, что я спросила об этом.

— Мне пора уже,— сказал я.

Она поймала мою руку, посмотрела в лицо, и я сел, как провинившийся школьник. Мне стало явно не по себе. Невяна упомянула имя Кирилла, и я подумал, что поступил по-свински, придя сюда. Как-никак мы с Кириллом друзья.

Виски согрело мне горло, ударило в голову, и я сболтнул:

— Что бы сказал Кирилл, если б увидел нас так вот?..

— Как?

— Вот так...

— А, наверно, подсел бы, чтобы выпить вместе с нами рюмочку. Он человек культурный...— Невяна вдруг захохотала звонко и весело. Как будто в гостиной упало стекло и рассыпалось во все стороны.— Неужто тебя совесть грызет? Ха-ха-ха... Успокойся, я не собираюсь выходить за Кирилла замуж. Да и у него в мыслях нет... Он же

культурный человек. К тому ж я на целых пять лет старше его... Какой ты интересный, докер.

В ее глазах появилась грусть, заставившая меня пропустить большой глоток виски. Я пробормотал что-то невнятное, не помню, что именно, но смысл моих слов сводился к тому, что ничего интересного во мне нет и что лучше мне уйти.

— Еще какой интересный.— Она пересела ко мне на диван и положила руку мне на плечо.— О, какие мускулы!

Рука Невяны скользнула под рубашку и стала поглаживать мою грудь. Я обнял ее и поцеловал. Она расслабилась в моих объятьях. Какое-то время сидела с закрытыми глазами, откинувшись на мою руку, волосы ее упали назад, открыв ухо и высокий белый лоб. Я смотрел на это лицо, лицо девушки и женщины, ощущал ее тело под широким пестрым халатом, но не испытывал никакого желания. Мне показалось в эту минуту, что я люблю ее.

— Петр,— заговорила она, не открывая глаз.— Петр, скверно быть одиноким... То, что я там болтала в кафе, ты забудь, я совсем не такая.— Она посмотрела на меня с тревогой.— Почему все люди как будто глухонемые, Петр? Почему Кирилл глухонемой?.. Послушай, возьми меня в свою бригаду, а? Ты мне не откажешь, верно?

Я засмеялся. Представил себе, как бы она стала швырять связки газет весом по тридцать килограммов. И чего это она вдруг пустилась в рассуждения насчет глухонемых?

Она смотрела на меня снизу вверх расширенными зрачками — как видно, совсем пьяная, поскольку в кафе тоже пила.

— Невяна, ты не боишься, что может войти мать?

— Не войдет, она в гостях. Ее пригласили наши бывшие друзья. Вспомнили ни с того ни с сего... Они, конечно, и меня пригласили, но я не пошла. Чего ради я к ним пойду? Они выполняют свой долг перед умершим, а я должна быть безумно счастлива.— Помолчав, она схватила меня за голову и поцеловала. Потом тяжело вздохнула.— Мама считает меня пропащим человеком, и она права... Ты можешь мне ответить, почему нынче люди не дерутся на дуэлях? А, грузчик? Из-за девушки, например, или из-за чего другого... Знаешь, я каждый день вызывала бы кого-нибудь на дуэль. И мне было бы не страшно, уверяю тебя. То есть страх был бы мне нипочем, если б я знала за что... Кирилл еще мальчишка. Но этот Здравков и этот Даракчиев... И все эти добрые, умные люди, которые от нечего делать корчат из себя бог знает что... Чем-то занимаются, говорят о том о сем и сами себе не верят. А за душой у них ничегошеньки нет.

Она глядит на меня невидящими глазами и на ответ не рассчитывает. Говорит сама с собой. Я не мог уследить за ее мыслью — если вообще можно было уловить какую-то мысль в ее рассуждениях,— но мне было жалко ее... В самом деле, почему не принято драться на дуэли? Первым делом я вызвал бы своего бывшего учителя физики. А может быть, и инженера Цонкова.

Невяна говорила путано, однако мне все же казалось, что я ее понимаю. Глаза у нее увлажнились, будто она готова была расплакаться. Вместо этого она стала расстегивать свой халат сверху донизу. Я остановил ее руку, но она оттолкнула мою и расстегнула халат до конца.

Сейчас я гляжу на дом, стоящий напротив, по ту сторону нашего бульвара, и спрашиваю себя: почему я пытался остановить ее руку? Не такой уж я невинный мальчик. В городке между горами и Мизией, где я служил в солдатах, случай свел меня однажды с совсем незнакомой девушкой. Я брел по улице вдоль речки, пришло время возвращаться в казарму, а навстречу мне шла она — в блестящей короткой

юбке, настолько короткой, что ноги ее были видны до самого верху, и мы посмотрели друг другу в глаза. В тот момент я ничего не видел, кроме ее ног, но когда мы разминулись, остановился и поглядел ей вслед. Она тоже остановилась. Мы пошли вместе к пруду — в городке был пруд в несколько десятков квадратных метров, вымощенный мрамором, с фигурой нагого юноши посередине,— потом вдруг, как будто сговорившись, свернули к реке, где еще не успели расчистить место от кустарника для будущего парка. Мы не обменялись ни единым словом. Я даже не запомнил ее лица. Но мне было ужасно хорошо... Потом здорово повезло и в том смысле, что в проходной стоял парень из нашего взвода. Все это случилось через несколько дней после того, как пришло письмо от Кирилла, из которого я узнал про Таню и ассистента.

Невяна больше не говорила. Под широким халатом она казалась совсем девочкой, и грудь у нее была девичья, и я целовал ее все сильней и сильней. Но как только она начала меня кусать, я встал на ноги. Может, она сделала мне больно. Во всяком случае, мне стало ужасно не по себе — будто меня насильно заставляли делать то, чего я вовсе не желал делать, и это унижало нас обоих.

Она вскочила, поправила халат, волосы.

— Грузчик, неужто я тебе не нравлюсь?

— Дело не в этом...

— А, тебе твоя нравственность не позволяет...— Она глядела на меня почти с сожалением.— У тебя есть девушка, не так ли? Девушка у тебя есть, да? Что ж, это неплохо, давай выпьем за нее.

Мы стоя осушили бокалы. Она проводила меня до двери и на мгновенье задержала мою руку:

— Если когда-нибудь тебе станет скучно и некуда будет пойти, приходи ко мне. Не бойся, я не стану тебя целовать... Вечерами, часов с девяти я всегда дома.

По пути домой я думал о том, что мне все время чего-то недостает, чтобы быть настоящим мужчиной. Я часто сожалею о том, что сделал, и о том, чего не сделал. В груди было холодно и пусто, и я так торопился, словно кто-то гнался за мною по пятам.

В этот вечер отец был в хорошем настроении — у завода появились шансы покончить с отставанием и даже перевыполнить план. Он шутил со мной и собственноручно налил мне стакан вина. Я видел, с каким аппетитом он ел, здоровый и крепкий, в рубахе с засученными рукавами, как резал хлеб толстыми ломтями и с веселым видом просил у мамы добавки, нахваливая ее кулинарное искусство. И завидовал ему.

6

Я сижу у окна и делаю в альбоме карандашные наброски. Рисую стоящий напротив дом и перебираю в уме две эти встречи, с Таней и с Невяной, и неожиданно прихожу к выводу, что не будь вчерашней встречи с Таней, я бы наверняка не пошел к Невяне и не вел себя так глупо. Леший его знает почему, но это так. В сущности, я Тане очень благодарен — она научила меня не создавать себе кумиров и особенно не доверять девушкам. Кому же все-таки можно доверять?

Это мои самые приятные часы — когда у меня впереди целые сутки свободного времени, и я знаю, что на работу мне идти лишь послезавтра вечером, и я могу сколько угодно сидеть с альбомом здесь или в саду, где дед обсуждает со своими приятелями мировые проблемы, и думать о всякой всячине. Уже последняя неделя мая, а нынешнее утро все еще туманное. Туман, верно, легкий, белый, скоро

рассеется. Но пока что он частично закрывает нижние этажи противоположного дома, отчего дом напоминает гигантскую подводную лодку, всплывающую над белыми волнами. Антенны на крыше — перископы. Левее виднеются низкие постройки площади Бабушки Недели, а рядом — зеленые павильоны овощного базара.

Рисунок у меня не получается, и я кладу альбом на стол. Дело не в том, чтобы добиться сходства. Я всегда думал, что предметы — это не просто сочетание поверхностей, так же как человек не просто тело. Все имеет свою жизнь, свой характер, по крайней мере такой, каким он тебе представляется, и если ты не в состоянии этого уловить, ничего путного не выйдет. Пух, который до сих пор внимательно следил за мной с мягкого одеяла, тотчас же пользуется моей неудачей — спрыгнув с кровати, устраивается у меня на коленях и нежно мурлычет. Затем пробует вскарабкаться выше по моей груди. Вот оно, существо, с которым у меня не возникает недоразумений, кроме тех случаев, когда Пух пытается что-нибудь стащить с кухонного стола. Но стащить еду, когда ты голоден, не такое уж большое преступление.

— Пух, чем мы сейчас займемся?

Пух издает едва слышимое «мяу». Это не ответ, и я собираюсь встать, чтобы немного размяться, когда за дверью раздается отцовский баритон:

— Петьо, ты здесь?

Пух тут же прыгает на пол, готовый шмыгнуть под кровать. Отец входит со свернутой газетой в руке, свежевыбритый, в старых штанах и пижамной куртке. В воскресное утро он любит подольше поспать.

— Можно мне посидеть у тебя?

Сев за стол, который в основном служил мне этажеркой, он заглядывает в раскрытую книгу, отодвигает в сторону альбом. Потом достает коробку сигарет и, взяв сигарету, коробку протягивает мне — все это он делает настолько медленно, что я начинаю терять терпение. Выпрямившись на стуле, я замечаю, что у меня уже шея деревенеет от напряженного ожидания.

Ясно, предстоит серьезный разговор. Я предчувствовал это. Последние дни он держится со мной страшно любезно, но я заметил, как он на меня смотрит. Да и обстановка сложилась так, что разговора не миновать. Я еще вчера вечером к нему приготовился. Когда пришел домой, я был немного на взводе от виски и от этой глупой истории с Невяной, и он понял, что я под хмельком. Сказать ничего не сказал, только посматривал на меня из-под тяжелых бровей да шутки шутил и в конце концов удалился в спальню в самом веселом настроении. Отец умеет выжидать, этого у него не отнимешь. Я мигом выпалю все, что у меня на уме, а он — нет. Никогда не нервничает, а если и случится понервничать, не выходит из себя. Единственный раз он потерял самообладание, когда я сбежал из школы, и, разыскав меня, он прокричал вне себя от злости: «Оболтус проклятый!» Очень он боялся тогда за меня, хотя виду не подавал.

Он и сейчас вполне спокоен, и голос его звучит ровно и твердо:

— Ну, как идут твои дела, сынок?

— Хорошо.

— Хорошо? — Он делает глубокую затяжку, брови его поднимаются и тотчас возвращаются на свое место.— Это, по-твоему, хорошо? Ну-ка, подумай немного и тогда ответь мне.

— Думал уже.

При его манере объясняться, мягко, снисходительно, словно перед ним малое дитя, нормальный разговор невозможен. До него это сразу дошло.

— Только не горячись. Ладно, может, и думал. Ты уже взрослый, сам вправе решать свои дела. Но нам с матерью не безразлично, как сложится твоя жизнь. Разве это не повод для того, чтобы нам с тобой поговорить по-мужски?

Мне остается только соглашаться. Еще бы, повод достаточно серьезный. Мать изо дня в день чахнет около меня, да и ему уже осточертело, наверно, мое молчание.

— В таком случае, скажи мне по крайней мере, какие у тебя планы на будущее. Надо полагать, что у тебя есть какие-то свои намерения...

Тон его по-прежнему спокоен, тем не менее Пух пятится назад и скрывается под кроватью. Если б мог, я бы последовал его примеру, потому что нет у меня никаких планов, даже самых маленьких. Однако я сохраняю присутствие духа.

— Буду работать.

— Да? Кем же? Грузчиком на вокзале? Или песок будешь таскать на стройке, как твой друг?

Он посматривает на меня своими большими суровыми глазами, а я отвечаю про себя, не вслух, чтобы его не злить. Песок таскать тоже не так плохо. Корешок после той истории с воровством два года скитался с одним трынским мастером и вот, пожалуйста, стал неплохим человеком. Первое время пробовал сачковать, а трынчанину хоть бы что — не злился, не бранил его, а лишь подшучивал, шлепая раствор на кирпичную стену: «Ты, парень, хоть подмости что-нибудь помягче, а то, чего доброго, всю задницу отсидишь». И мало-помалу Корешок научился выкладываться не хуже других...

Отец не дождался моего ответа.

— Я, конечно, в этом не вижу ничего плохого. Человек на любой работе может заработать себе на хлеб, лишь бы честно трудился.— Он покашливает. Должно быть, вспоминает, как смотрел на эти вещи в былое время, когда жил в Ючбунаре, перед войной.— Вопрос в другом. Ты ведь не глуп и не без способностей. Был примерным учеником, когда учился. Математика тебе легко давалась, по машиноведению и рисованию всегда был отличником. Почему же ты не желаешь закончить курс средней школы и получить специальность? Что с тобой происходит?

— Ничего особенного,— говорю.— Время есть, подумаю.

Я опять уклоняюсь от ответа, но долго так продолжаться не может. Меня уже заботит вопрос, чем бы успокоить отца. Откуда я знаю, что со мною происходит? Просто у меня нет желания учиться, и вообще у меня нет никаких особых желаний. В казарме я было успокоился и твердо решил, как только уволюсь, сразу же сесть за учебники, сдать на аттестат зрелости и поступать в машиностроительный институт. Но потом пришло то письмо от Кирилла, ужасно дружеское письмо — относительно Тани и ассистента ВИТИЗа,— и мне стало ясно, почему Таня так долго не писала. За ночь моя солдатская подушка изрядно отсырела — ни Корешок, ни дневальный, видимо, ничего не слышали,— и, пряча в ней нос, я вспомнил лицо учителя физики Ставрева и лицо моего отца, когда он разыскал меня после бегства из школы. А утром, во время физзарядки, пришел к мысли, что учиться я не буду и что теперь мне вообще на все наплевать.

— Времени нет,— говорит отец, и его тяжелые брови смыкаются над переносицей.— Для тебя именно эти два-три года решают все. Найдешь свое место в жизни или потерпишь провал. Вот так, среднего нет. Ты должен это понять, пока не поздно.

Хорошо, мне надо это понять и что-то решить. Я поступаю непра-

вильно, откладывая решение... Только почему он думает, что без высшего образования я непременно потерплю провал?

Отец объясняет почему. Нельзя отрываться от своих корней, порывать со своей средой. С одной порву, а в другую, рабочую, мне едва ли удастся войти с моей интеллигентностью, с моими привычками, и я могу повиснуть где-то посередине, получится ни рыба ни мясо, а это хуже всего. Я окажусь деклассированным человеком. Вот пожалуйста, начал пить, это ведь тоже не случайно, первый тревожный симптом. Предаваясь пьянству, человек бежит от самого себя, от ответственности перед другими. Он гибнет, сам того не замечая. А сейчас решается вопрос о моем будущем...

Я молча слушаю. Отец сам порвал со своей средой, был рабочим, а теперь инженер, директор завода — и не деклассировался... Что же оно, в сущности, такое, это будущее? Как человек его достигает, а когда достигнет — что потом? Будущее становится настоящим, и снова приходится думать о будущем... Смешно! Взять хотя бы нашего Шефа. Мечтал человек о будущем, и вот он его достиг — жена, трое детей, приличная работа. Дальше ему едва ли продвинуться, да он и не думает об этом. И папаша Апостол достиг. И Корешок — в лучшем случае вернется на стройку. И Шатала. Будущее Студента еще впереди. Один только помощник Шефа никогда его не достигнет — вечно будет жалеть, что упустил что-то или мог рассчитывать на большее. А чем он лучше других?

Неожиданно для себя я взял да брякнул насчет Вьетнама — если бы набирали добровольцев... Бессмысленно и глупо, но уже сказано, и отец смотрит на меня испытующе и недоверчиво. Крупное лицо его застывает, он старается сохранить спокойствие, но глаза выдают его.

— Не говори глупостей. Лучше скажи, как собираешься жить. Почему бы тебе не взять пример со своей сестры?

— Сестра у меня идеальная, а я нет.

Его лицо покрывается красными пятнами. Чувствую, что и мое тоже. Терпеть не могу, когда тычут сестрой мне в глаза, потому что сестра для меня не пример... Но я уже жалею, что так резко ответил.

— Извини меня,— говорю,— но у меня нет Диминых способностей. И потом, что я такое сделал, чтобы меня считать пропащим человеком? Никто на меня не жалуется, никому не мешаю. Мне ничего не нужно, только чистая сорочка да поесть два раза в день. Почему я не могу жить, как хочу?

Получилась целая речь. Подобное со мной случается так редко, что отец даже опешил и как будто не находит слов, чтобы мне ответить. Закурив в третий раз, он выпускает дым в открытое окно. Туман на улице рассеялся. Недорисованный дом всплыл, очертания его четкие, на солнце сверкают оконные стекла, под карнизом залегла черная тень. Воздух легкий, небо чистое — сегодня не должно быть дождя.

Отец нарочито вздыхает и какое-то время пристально смотрит мне в лицо.

— Видишь ли, в чем дело, Петьо,— снова заговорил он.— Ты, разумеется, вправе жить так, как считаешь нужным... Но что это за разговор: чистая сорочка, поесть два раза в день? Это рассуждения хиппи, а в этом доме для хиппи...

Он запнулся, но поздно...

— Так мне что, уходить? — говорю я, глядя ему в глаза.

— Не надо ершиться,— поднимает он руку.— Не это я хотел сказать, нервы подвели. Но ты тоже должен понять...

— Почему вдруг хиппи? Одно время, когда ты жил в Ючбунаре, у тебя самого была одна-единственная рубашка. Помнишь, ты расска-

зывал, как приходилось ждать, пока бабушка ее постирает и высушит, чтобы можно было надеть. Почему же я хиппи?

— Ну ладно, прицепился к слову... Дело не в рубашке, а в том, как человек мыслит. Одно время...— Он улыбается, впервые с начала разговора.— Нынче другое время, сынок. Твое время, твоей сестры, ваших сверстников. От вас все зависит, мы уже уходим.

— Что от нас зависит?

— Зависит, как построите жизнь, что будет потом. А с такими рассуждениями, как у тебя, далеко не уйти... Глупо растрачивать попусту силы, пока они есть... Чего тебе не хватает? Воли, чтобы чего-то добиться. Что тебе мешает сесть за учебники, вместо того чтобы грузить вагоны? Ты можешь, стоит только захотеть.

Он смотрит на меня с ожиданием и надеждой, и мне становится совестно. Даже немного жалко его, этого могучего, сильного человека, который приходится мне отцом. Могу, стоит только захотеть. В самом деле, что мне мешает? Что мешало Тане дождаться, пока я вернусь со службы? Что мешает Невяне выйти замуж и завести детей? Не хватает силы воли? Глупости! Может, оно и так, только дело, конечно, не в рубашке, которую можно иметь и не иметь. И даже не в квартире с огромным баром во всю стену, не в виски, которое можно пить и не пить, и не в так называемом будущем, ради которого необходимо приняться за учебники. Можно стать инженером или хирургом или серьезно взяться за рисование и ничего не добиться. Вот чего не в состоянии понять отец. Что ему сказать в ответ?

Меня выручает мама, которая вернулась откуда-то, наверно из нармага, что в доме напротив, и начинает хлопотать на кухне. Затем появляется дед, покинувший садовую скамейку, и громогласно заявляет, что уже помирает с голоду и не отказался бы от рюмочки ракии в качестве аванса — он готов завтра же починить испортившийся выключатель в ванной. Мама смеется. Диалог на кухне не имеет ничего общего с нашим «мужским разговором», и он затихает сам по себе.

Звонят в дверь весело и нахально — четыре раза подряд. Это, конечно, дядя Атанас, и я, пользуясь случаем, иду открывать.

Дядя Атанас появляется в нашем доме очень редко, но всегда в полной форме: в неизменном темно-сером костюме из английского материала, на что неоднократно обращал наше внимание, краснощекий, тщательно выбритый, с приглаженными назад седыми волосами и ужасно молодыми глазами. Копия моего отца, только он на десять сантиметров ниже, на пять лет старше и отличается невероятной подвижностью. Его все считают младшим братом, да он и сам держится как младший: благоговеет перед моим отцом, который является для него непререкаемым авторитетом решительно во всех вопросах, кроме религии. Не потому, что дядя Атанас такой уж набожный. С некоторых пор он поет в церковном хоре «Свети Седмочисленици» — у него красивый баритон, и это позволяет ему кое-что добавлять к своей зарплате, которую он получает, будучи комендантом студенческого общежития. Отец часто внушает ему, чтобы он не порочил своим пением честь нашей семьи, и дядя соглашается, но тут же напоминает с усмешкой, что конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания.

В руках дяди Атанаса букет гвоздик и бутылка красного вина. Цветы для мамы, бутылка для папы, и, поскольку с цветами все ясно, он объясняет происхождение бутылки:

— Старый приятель из Винпрома удружил. В свое время он был корчмарем на углу бульвара Сливницы и улицы Раковского, душа-че-

ловек. В Винпроме его очень ценят... Старое винцо, пятилетней выдержки.

Вручив подарки еще в коридоре, он торопится оправдать свой визит:

— Стефан, я зашел посоветоваться с тобой по одному делу.

— Так я и знал,— говорит отец с притворной обидой.— Иначе ты о нас и не вспомнишь.

— Ну, ладно. Ты же знаешь, как я занят, ни в будни, ни в праздник не вижу белого света.

— Вот и пообедаешь вместе с нами,— подхватывает мама.— Стефан, идите прямо в кухню, пока поговорите, и обед подоспеет.

— Коли так, отказываться не стану.

Виновато улыбающийся дядя Атанас посматривает на отца и покорно идет впереди него, на ходу поправляя галстук цвета красного вина. Его черные ботинки блестят, можно смотреться в них, как в зеркало, и весь он какой-то по-старомодному элегантный. Полнота нисколько дядю не портит. Если бы не его красный нос да наивное выражение глаз, он мог бы сойти за старого дипломата. Но он любит вино, а вино — его.

На кухне они застают деда. Сидя за столом в любимом зеленом свитере маминой вязки, он приканчивает аванс. Старшего сына дед встречает скептической усмешкой, осматривает его с головы до пят, почесывая двумя пальцами бородку. Сын желает ему доброго здоровья, а он жестом заставляет гостя наклониться и дергает его за ухо — знак порицания и нежности,— и сын в ответ целует его в щеку.

— Где ты пропадаешь, осел, блудный сын,— строго изрекает дед, и очень смешно смотреть, как блудный сын, которому уже под шестьдесят, стоит перед ним и моргает глазами.

— Пришел тебя повидать, папа.

— Лгунишка. Тебе Стефан понадобился, или, по-твоему, я глухой? Садись, садись... Как там Кина?

— Держится.

Кина — приятельница дяди Атанаса, вдова, на пятнадцать лет моложе его, работает гардеробщицей в театре. У нее есть сын и дочь, и дядя Атанас уже много лет по-отечески заботится о них, но не женится. Когда умерла его вторая жена, он дал обет больше не жениться и выполняет его. Ему выделили комнату в студенческом общежитии, там он и живет.

— Петьо,— говорит дядя Атанас, взяв со стола бутылку и подав ее мне.— Обмой ее холодной водой, но в холодильник не ставь. Мы ее откроем за обедом, если отец разрешит.

— Как же не разрешить,— смеется отец.— Аперитив хочешь?

— Нет. Ты ведь знаешь, я избегаю пить густое.

— Тогда рассказывай, что у тебя болит. Неужто погнали со службы?

— Меня? — Дядя изумлен и возмущен.— За что меня гнать? Мое общежитие, дорогой друг, в образцовом состоянии. Как тебе, впрочем, известно. Меня все ставят в пример, а ты!..

Но несколько позже выясняется, что его общежитие не такое уж образцовое. Пока мама с моей помощью накрывает на стол, он рассказывает о своей беде. У него украли карманные часы. В комнате. Те самые массивные золотые часы «Омега», которые ему перед войной подарила его вторая жена и которые после завода проигрывают несколько тактов из арии тореадора. Когда я был маленьким, дядя подносил их к моему уху и я слушал с замиранием сердца — словно хрустальные колокольчики звенели внутри. Чудесные часы.

— Когда это случилось? — спрашивает мой отец.

— Позавчера утром. Пошел помыться в душевую, а часы оставил на тумбочке. Возвращаюсь, а их и след простыл.

— В милицию заявлял?

— Нет. Потому я и пришел — надо посоветоваться. Стоит заявить?

— Какой же ты глупый,— вздыхает дед.— Чего тут раздумывать? В общежитии завелся вор, а ты валандаешься.

— Видите ли... — Лицо дяди Атанаса выражает истинное страдание.— Что делать, ума не приложу, и не знаю, чем все это кончится. Часов, конечно, жалко, как-никак память о Юле. Надпись имеется на крышке изнутри... Опять же, если я заявлю, подозрение падет на моих ребят и начнется!.. И так плохо, и этак плохо.

Глотнув вина, дядя Атанас даже есть забыл. Видно, совсем загоревал. Его «ребята» — студенты, живущие в общежитии.

— Вор он и есть вор,— говорит отец.— И нечего тут мудрить. Если сейчас сойдет с рук, он опять примется за свое. А если нагрянет милиция, у него, небось, душа уйдет в пятки. Пускай даже его не обнаружат, все равно польза будет.

— Да, но ты представляешь, какой разразится скандал? Среди ребят — вор! Подумать только.

— Может, это и не студент, туда ведь всякий народ приходит,— говорит мама.

— Все равно, кража произошла в общежитии. Да и кто туда мог прийти. Случилось это рано утром, когда я уходил мыться, еще и восьми не было.— Дядя посматривает на отца, но тот молча пожимает плечами.— Стефан, мне кажется, я знаю, кто это сделал. Может, мне лучше сперва поговорить с ними? Может, они вернут мне часы и не понадобится поднимать шум, а? Иначе, ты представляешь, что будет, да еще сейчас, перед летней сессией. Ребята только начали готовиться.

— Тогда действуй, как считаешь нужным.

— Верно? — оживляется дядя Атанас.— Я так и знал, что ты мне это посоветуешь. Если даже часы не найдутся, мир в конце концов не перевернется... А если бы вы только знали, до чего славные у меня ребята. Вчера у одного был день рождения, и я разрешил им до одиннадцати повеселиться в столовой. Они пели песни, и я спел им одну, венгерскую. Надо было видеть, как они кричали «бис»...

Дядя Атанас склоняется над тарелкой и забывает про свои часы. Теперь он убеждает нас, какую важную роль играет в жизни студентов комендант общежития. Помимо других обязанностей, он, к примеру, не только следит за порядком, но и учит ребят хорошим манерам — как пользоваться ножом и вилкой, сидя за столом, уступать дамам место в автобусе. С этой целью он, хотя бы один раз в день, едет вместе с ребятами в автобусе до центра и обратно.

Забавный экземпляр этот дядя Атанас. Нашел свое призвание — нечто среднее между хозяйственником и воспитателем. Больше ему ничего не нужно. А ведь у него такая богатая биография. В молодости он не знал, чем заняться. Доучился до третьего класса прогимназии, потом, когда мой отец с головой ушел в революцию, он занялся торговлей галантерейными товарами, мануфактурой — сперва мелкой, потом крупной, разбогател, женился на какой-то красавице — и все это за каких-нибудь пять-шесть лет. В начале войны компаньон обманул его, и он в два месяца вылетел в трубу. Чтобы не судиться со своими кредиторами, бежал в Венгрию. Жена сочла его человеком потерянным, без будущего, и добилась развода, а он три года спустя вернулся обратно, привез с собой новую жену, Юлу, венгерку, и опять развил бурную деятельность, на сей раз в роли закупщика при германской хлеботорговой фирме. Потом стряслось большое несчастье: во время воздушного налета на Софию, весной 1944 года, Юла погибла. Сам он

четыре месяца провалялся в больнице со сломанным ребром. Даже хотел покончить самоубийством: не мог примириться с потерей Юлы.

После Девятого сентября дядя Атанас устроился снабженцем на текстильную фабрику, однако его арестовали и началось следствие — был ли он связан с гестапо, когда сотрудничал с германской фирмой? Оказалось, что не был, но на всякий случай его, как бывшего эксплуататора с неясным политическим прошлым, отправили в колонию трудового воспитания. Отец не стал вмешиваться, считая, что, если дядя Атанас не виноват, все само собой уладится. Зато вмешался дед, и через год дядя был освобожден. Он и сейчас с умилением вспоминает начальника колонии, который, по его мнению, был душа-человек. Начальник любил говорить: «Кто не был на войне и не сидел в тюрьме, тому грош цена», поскольку сам в молодые годы томился в фашистских тюрьмах, а потом и на войне побывал. Кроме того, в лагере был кружок политпросвещения. Его занятия время от времени посещал даже сам начальник колонии; он объяснял слушателям, что труд оказался способен очеловечить даже обезьяну, о вверенных ему паразитах и говорить не приходится. С той поры дядя Атанас считает себя марксистски подкованным человеком и очень гордится следами мозолей и шрамами на руках.

Смотрю я на его гладкие щеки, отливающие синевой, на мясистый нос, участвующий в пережевывании пищи, и думаю, что между двумя братьями все же есть некоторое сходство, хотя по существу это два полюса. В каком-то отношении их объединяет дед: его сентиментальная жилка у дяди оказалась гипертрофированной, остальное досталось отцу. Но бросить на тумбочке золотые часы, чтобы их могли украсть,— такое может случиться только с дядей Атанасом. Вообще-то он не бог весть какая личность, но с ним вечно случается что-нибудь забавное.

Покончив с обедом, дядя Атанас тут же уходит: обещал Кине сходить с нею на Витошу. Ушел в светлом настроении от выпитого вина и вполне успокоенный советом, которого отец в сущности ему не давал.

Я часто думаю о людях, о своих знакомых и о тех, с кем случайно встречаюсь — на улице, в трамвае, на вокзале, в кафе. Все они очень разные. Если подобрать несколько человек, скажем, одинакового роста, с одним цветом волос или не отличающихся друг от друга формой лица, выстроить их в ряд, и бегущий мимо малыш упадет, споткнувшись, и разобьет нос — у одного это вызовет смех, другой вздрогнет, третий бросится поднимать ребенка, четвертый скажет что-нибудь, пятый не станет ничего говорить и останется на своем месте, потому что у него своих забот полон рот, шестой начнет ругать родителей, которые не смотрят за детьми, и так далее. Мне не раз приходилось видеть подобные сцены — вмиг поймешь, у кого есть дети, у кого их нет, даже определишь, что за человек перед тобой.

Зорка делит людей на красивых и уродов. У Корешка одни поступают по-мужски, другие — не по-мужски. По мнению деда, люди делятся на коммунистов, беспартийных и врагов. Каждый по-своему прав, хотя рассуждения Зорки несерьезны. Корешок же, когда он так говорит, имеет в виду не только храбрецов и трусов. С этими понятиями он связывает и многое другое. Я тоже подразумеваю многое, когда говорю: этот человек мне симпатичен, а тот нет. Странно, но факт, другому симпатичен именно тот, который мне не симпатичен. Как бы там ни было, в моих оценках все же преобладает чувство. Люди и в самом деле, как мне кажется, либо симпатичны, либо не симпатичны. Если ты отправишься в поход с человеком не симпатичным, он, имея при себе полную флягу воды, не даст тебе ни глотка, даже если ты бу-

дешь умирать от жажды. Он будет думать, что вода ему самому может понадобиться. У нас в казарме таких называли «сусликами». Это паренек один из села Пордим придумал для них такую кличку. Суслики, рассказывал он нам, все волокут в свои норы. Все лето тащат зерно — пшеницу, ячмень, рожь, запасаются на зиму, как заботливые хозяева, а соколы выслеживают их с высоты и, сграбастав своими когтями, уносят соколятам. Сусликов это не смущает, и они все хлопочут. Эти зверьки мне очень симпатичны, а те, кого мы в казарме прозвали сусликами,— нисколько. С такими лучше не иметь дела. Даже соседство их неприятно. Куда больше мне нравится Шатала: что получил, то прокутил, имеет — дает, не имеет — занимает. Жуткий вертопрах, но если с тобой случится беда, бояться нечего, посреди дороги он тебя не бросит.

Последнее время я часто думаю об этих вещах, особенно после той попытки отца «поговорить по-мужски». Мне очень совестно, что у меня не нашлось для него утешительного слова и что говорили мы не вполне по-мужски. Он толковал об одном, а у меня в голове было совсем другое, о чем говорить не хотелось. Мне кажется, что я все время думал о нем самом. Каким он был в ту пору, когда жил в Ючбунаре и ютился вместе с бабушкой, дедом и дядей в комнатенке и кухне, в жалкой развалюхе под худой крышей—сколько ее хозяева ни чинили, она вечно протекала. Хибара стояла в глубине большого двора среди других, подобных ей, а хозяева жили в двухэтажном особняке с видом на улицу. Дед работал техником на телефонной станции, прилично зарабатывал, но выбраться из этой развалюхи никак не удавалось, потому что его заработка на четверых не хватало. Может быть, поэтому дядя занялся торговлей вразнос, продавая мыло и лезвия с дощечки, подвешенной на шее, и сделался впоследствии заправским коммерсантом, а отец пошел в ученики в скобяную мастерскую и стал приводить друзей в кухоньку, где зачитывались разными брошюрами и говорили всякие крамольные вещи, пока дед с бабкой спали за стенкой. Мальчишки, еще не познавшие солдатской службы, ночи напролет читали запрещенные книги, устраивали заговоры и ничем другим не интересовались, даже девушками. Так почему же отец сейчас не хочет меня понять? Неважно, что девушки мне не безразличны и что я на несколько лет старше, чем он был тогда. Зато я знаю кое-что такое, чего он не знал. Взять хотя бы тех же девушек. Или Корешка, старшину Караиванова. Или дядю Атанаса. Уверен, что о нем я знаю гораздо больше, чем отец, хотя он ему приходится братом. Когда, например, заходила речь о том, как дядя Атанас пытался покончить с собой из-за Юлы, отец всякий раз хмурился и махал рукой, будто ничего более легкомысленного и глупого и придумать нельзя, а я могу себе представить, что́ с дядей в то время творилось. Что бы там ни говорили, но у дяди Атанаса другого близкого человека, кроме Юлы, не было. И, наверно, он ее страшно любил... Словом, все люди разные, один человек не похож на другого. Но у каждого есть что-то хорошее и с любым можно найти общий язык. Кроме «сусликов»...

А дни идут. Дожди совсем прекратились. Начало июня, тепло, можно ходить в одной рубашке и в сандалиях. Люблю такое время. Встаешь с постели, рубашку через голову, натягиваешь брюки, застегиваешь ремень на третью дырку — и готово. Воздух на улице легкий и прозрачный, как роса. Со стороны Люлина непрерывно веет свежий ветер, и даже ревущие стада автобусов, легковушек и грузовиков не в состоянии его отравить.

Ватники мы давно забросили, ночью работаем в хлопчатобумажных костюмах. Шатала надевает куртку и штаны прямо на голое тело — бережет белье, у него всегда не хватает денег. Что-то он пустил-

ся в разгул последнее время. Вечером приходит на работу невыспавшийся, почерневший, неумытый. Своим видом напоминает он безломного кота, которого гонят со всех дворов. Корешок работает как бешеный. Не могу понять, что с ним происходит время от времени, но как найдет на него, все начинают злиться, потому что он дух перевести не дает. Один Шеф на него не нарадуется. А тем более Ненов. Сегодня и Студент тут, словом, все мы налицо, кроме папаши Апостола. Он что-то нездоров, слег в постель. Позавчера вышел на работу, но ему стало плохо, он побледнел, покрылся испариной, и Шеф отправил его домой. Когда я пришел, старика уже не было. А вчера приходил его хозяин, тоже старик, постарше его, и сообщил, что был врач из поликлиники и велел папаше Апостолу лежать не меньше двух недель. Доктор снабдил его лекарствами, а по истечении двух недель снова осмотрит и скажет, сможет он работать или нет. Что-то у него сердце разболталось.

— Надо бы собрать для него немного деньжат, старик нуждается в усиленном питании,— говорит Шеф, почесывая стриженую голову.— Без него нам как без рук.

Говорит он это в интервале между двумя отправляющимися поездами. В экспедиции сейчас немного душно, но мы привыкли тут отдыхать. Опершись спиной о стену, Корешок пускает струи табачного дыма к электрической лампочке. Шаталы не видать, наверно, ушел на перрон пить воду — ночью он не перестает пить, просто диву даешься, как он может столько выпить. Студент сидит на разбросанной по полу оберточной бумаге, скрестив ноги, как индийский йог, и жует бутерброд — два ломтика хлеба, а между ними кусок колбасы, толще самого хлеба. Он всегда приносит с собой три-четыре бутерброда и в перерывах подкрепляется. Глаза у него блестят, язык не умолкает.

— Создается фонд папаши Апостола,— комментирует он с усмешкой.— На покупку масла, брынзы, овощей и виноградной ракии в лимонадной бутылке. Бутылку доставит Шеф, поскольку нет опасности, что он ее выпьет.

— Никаких бутылок,— говорит Шеф.— С бутылками пора кончать. Доктор запретил ему пить.

— Тогда на лимонадную бутылку лимонада.

— Нечего тут зубоскалить.— Корешок отходит от стены и затаптывает ногой окурок.— Мы перед стариком в долгу. Столько сачковали в эту весну — у того получка, у другого именины,— а он, бедняга, за всех отдувался.

— Верно,— соглашается Шеф.— У нас так, один сачкует, а другой ишачит вместо него.

— А тебе, Шеф, даже полезно,— с усмешкой вставляет Студент.— Как твои килограммы? Сколько сбросил за последний месяц?

— Ты прекрати свои остроты,— говорит Шеф.— Тебя тоже мы частенько недосчитывались.

— Я с разрешения, по закону. Летняя сессия на носу.

— Закон есть закон,— бормочет Шеф и направляется в свою конторку на второй этаж.— А за работу мне отвечать. Есть студенты в бригаде, нет ли — это никого не интересует.

Сегодня он что-то не в духе, то ли ребенок заболел, то ли с женой не поладил. К тому же человек в прошлом году не отдыхал и теперь с нетерпением ждет, когда работы станет меньше, чтобы можно было уйти в отпуск.

Покончив с бутербродом, Студент подымается на ноги и озирается по сторонам в поисках новой жертвы.

— Девушки,— кричит он женщинам, хотя некоторые из них годятся ему в матери.— Хотите лимонадом освежить горло?

— Хотим... Спрашиваешь у больного здоровья...

— Сейчас Пешо принесет. Он угощает.

— Почему я?

— Как почему? Через месяц с небольшим Петров день.

Ничего не поделаешь. Лимонад доставляется по очереди, и, пожалуй, сегодня мой черед. Я иду в буфет и тащу ящик бутылок. Тут уже и Шатала и помшеф Ненов, но Шатала равнодушен к лимонаду, он только что продолжительное время висел над фонтанчиком на перроне. Женщины расхватывают бутылки и пытаются тянуть меня за уши по случаю будущего дня рождения. Для нас с Корешком, Студентом и Неновым остаются две бутылки. Корешок выдул свою половину, Ненов отказывается — не гигиенично глотать прямо из бутылки, да еще после другого. Шатала мерит его взглядом и смеется. Когда Ненов отдаляется, он проводит рукой по своему остренькому носу и говорит:

— Видали, каков, хоть убей, не могу понять, что у него за служба. Только и знает, что слоняться туда-сюда.

— Та же, что у тебя,— осаживает его Корешок.

— Ну уж нет,— возражает Шатала.— Я, брат, кручусь не хуже других...

— А он не меньше твоего. Тебе с ним не тягаться.

Корешок терпеть не может праздной болтовни. Он забыл даже о том, что намеревался испортить Ненову фасад.

— Мир вам,— произносит Студент и направляется к выходу.— Пошли грузить видинский, а то завтра видинцы проснутся утром и не будут знать, что творится на белом свете и кто получил ордена. Шатала, ты когда станешь героем труда?

— Когда твоя бабка станет молодухой...

Явно задетый, Шатала готов сказать еще что-то, но Корешок хватает его поперек и уносит под мышкой за дверь.

Женщины хохочут. Зорка допивает лимонад и царственным жестом возвращает мне пустую бутылку.

— Мерси, Пешо, дай-ка я тебя чмокну.— Она и в самом деле целует меня в щеку, прежде чем я успеваю опомниться, а женщины тем временем покатываются со смеху. Но этого ей мало: — Если еще раз угостишь, может, выйду за тебя замуж.

— Сперва делают предложение,— говорю в ответ.— С чего ты взяла, что я хочу на тебе жениться?

Говорю в шутку, хотя и не совсем, потому что подобные представления мне не по душе. Зорка круто поворачивается и уходит к конвейеру. Я не пытаюсь ее задержать. Не знаю почему, она использует любой повод, чтобы продемонстрировать наши отношения перед окружающими, а я этого не выношу. Мне противны слюнтяи, которые расхаживают с девушкой по городу, обняв ее за шею...

Снова мчим на всех парах от экспедиции к почтовым вагонам и обратно. На исходе последний месяц квартала. Печатники торопятся с выполнением плана. Кроме газет, ждут наших рук целые тонны журналов. К тому же впереди две конференции — международная, об охране окружающей среды, и внутренняя, молодежная или спортивная,— и бумажная лавина грозит нас захлестнуть. Кто все это читает? Захоти я перечитать эти газеты и журналы, мне десяти лет не хватит. Управляемся, нам не привыкать, но к утру валимся с ног. Дневным бригадам не легче.

Швыряю двухпудовые тюки. Студент в вагоне, а когда поезд трогается, спрыгивает в прицеп и тоже швыряет. Несколько кип все же остается на дне кузова. Не велика беда, отправим их со следующим поездом, но дело не в этом. Когда с нами папаша Апостол, такого ни-

когда не случается. И силища в нем не бог весть какая, и живостью нас ему не перещеголять, а вот не случается, и все тут.

Катим к экспедиции. Студент за рулем, любит он управлять электрокаром. Я сижу к нему спиной на краю прицепа и касаюсь ступнями перрона — чирк-чирк-чирк, у меня слипаются веки: если электрокар остановится хоть на один миг, я усну, и тогда меня уже не разбудить. Светает, но солнце еще не показалось над сводчатой крышей депо. Лишь небо отбеливается все больше и режет глаза. Ветер, весьма умеренный, несколько изменив направление, дует с северо-запада и посыпает нас белесой золой, выбрасываемой из труб ТЭЦ «Надежда».

При такой зевоте недолго и челюсть вывихнуть; бросаю тюки как во сне и снова невольно вспоминаю папашу Апостола. Был бы он сейчас здесь, он бы непременно толкнул меня на какой-нибудь ящик: «Прикорни, парень, пяток минут, сразу петухом забегаешь». Пусть бы даже ничего не сделал — все равно лучше, если он тут. У него такое чутье, с одного взгляда способен понять человека.

Помню, как однажды — это было в самом начале, зимой — меня всю ночь не покидало жуткое настроение, и я молчал. Во всем теле ощущал такую дикую боль, что стал было проклинать в душе тот час, когда согласился на эту работу. Я готов был шваркнуть свой ватник и пуститься наутек. Утром случилось так, что мы покинули вокзал вместе с папашей Апостолом, и он предложил мне завернуть в столовку на бульваре, куда он обычно заходил, чтобы похлебать горячей чорбы. На улице лежал снег, и мы основательно продрогли. Чорба нас согрела. Старик заказал по стопочке виноградной ракии, и у меня неожиданно развязался язык. Я рассказал ему то, о чем ни с кем не говорил,— как бросил школу, о своей солдатской службе, о Тане и тому подобное. Он ни о чем не спрашивал, только смотрел на меня своими ясными глазами, а я трещал без умолку. Целых два часа просидели мы с ним.

Спрашивать ни о чем не спрашивал, но и он постепенно разговорился. Сообщил мне, добродушно улыбаясь, что у него есть сын. Взрослый сын, годков на десять постарше меня, инженер-химик. И внучку порадовался — ему уже исполнилось пять лет.

Я очень удивился. В бригаде все считали, что у папаши Апостола нет близких, что он совсем одинок. Правда, теперь выяснилось, что сын живет не здесь. По окончании института он уехал в Шумен и там женился. Я спросил у старика, почему он не переедет к сыну.

— Неудобно,— сказал он.— Ему самому там несладко в зятьях, родители снохи люди особенные. Поехал туда однажды, четыре года назад, чтобы внука повидать. Пробыл два дня и обратно. Я их стесняю. Снохе чем-то не угодил...

— И с той поры не виделся с ними?

— С Траяном переписываемся время от времени, больно занят он... Обещал присылать мне по двадцать левов ежемесячно, но я написал, чтобы он не беспокоился и заботился о семье.— Старик помолчал, отодвинул от себя пустую рюмку и долго растирал каплю по столу.— Ты, Пешо, не рассказывай про это ребятам, пускай останется между нами. Траян человек неплохой, но, сам понимаешь, женился, заботы его одолели... Солнце, оно вон какое, и то не может согреть всех сразу.

Я был другого мнения, но промолчал. В столовой включили радио на всю катушку, гремел какой-то скучный скрипичный концерт. Официант вытирал столы и уже посматривал в нашу сторону, а мне было ужасно грустно. Когда мы вышли на улицу, папаша Апостол приостановился и посмотрел мне в лицо.

— Такие-то дела, Пешо. Люди бывают всякие, одни хорошие, дру-

гие плохие, третьи так себе, серединка на половинку. Ты того учителя выкинь из головы, незачем тебе о нем помнить.— Старик заговорил о Ставреве, о котором я рассказал ему в столовой.— Совсем ни к чему. Встретишь на улице, отвернись и только. А какой тебе смысл бередить душу. Злоба, она как змея, затаится, кусает, жалит — ни работать не дает, ни сон тебя не берет.

— У меня нет к нему ненависти. Так уж тогда вышло.

— Тем лучше.

В тот момент я и вправду поверил, что не испытываю ненависти к Ставреву и что сам виноват во всем. После того разговора с папашей Апостолом мне стало легче на душе, и я остался в бригаде.

Последний электрокар мы грузим вдвоем с Шаталой. Корешок со Студентом пошли мыться, они очень торопятся, у них дела в городе. В туннеле сумрачно, поскольку на улице светит солнце. Шатала кидает мне пакеты, рассказывая при этом, как он в прошлом году провел отпуск в Созополе, как познакомился там с одной немочкой и что было потом, но я его не слышу. Раскрылась дверь экспедиции, и я вижу Ненова, разговаривающего с Зоркой. Ненов приблизился к ее уху, и лицо его белеет, словно покрытое известью. Зорка улыбается, потом хохочет и мягко отталкивает его, он, вероятно, доволен своей шуткой и с веселым видом разглядывает ее. Одетая в легкое летнее платье, с высоко приподнятыми длинными своими рыжими волосами, она направляется к выходу. Ненов следует за нею.

Они проходят мимо нас с Шаталой — Ненов улыбается до ушей, а Зорка, выпятив грудь, делает вид, что не замечает меня. Я понимаю, она это делает нарочно, чтобы меня позлить, и все же что-то будто обжигает. Откуда мне знать, что она замышляет. Как только они вышли из туннеля, я оставляю Шаталу одного ворочать тюки, мигом переодеваюсь и, даже не умывшись, пулей вылетаю на улицу.

При выходе я натыкаюсь на идущего с мокрыми руками Корешка.

— Пешо, видал их?

— Ага.

— Мне идти с тобой?

— Не надо.

Привокзальная площадь залита солнцем, кишмя кишит народ, всюду полно машин. Зорки с Неновым не видно. Куда они могли деться?

Решаю отправиться к Зорке домой — она живет совсем рядом, в переулке, выходящем на Ополченскую. Не могу понять, зачем я это делаю. Допустим, застану там Ненова, ну и что? Не буду же я с ним драться? Кто может запретить Зорке делать то, что она захочет? Глупости! Но от одной мысли, что, может быть, она сейчас обнимается с Неновым, именно с ним, в голове у меня такой шум, словно в нее ворвался пар из локомотива.

Сиганув через трамвайный путь и очутившись на углу Ополченской, я замечаю вдали Зоркино платье. Оно то мелькнет, то исчезнет, и вдруг едва не сталкиваюсь с Неновым. Он подходит к трамвайной остановке. Один.

Я останавливаюсь, закуриваю, чтобы выиграть время и успокоиться. Надеюсь, Ненов не догадался, что я бежал следом за ними. Он переступает с ноги на ногу, посматривает на часы, выражение лица у него кислое. Это возвращает мне хорошее настроение.

— Домой, Пешо? — спрашивает он, хотя и так ясно, что домой.

Я киваю утвердительно. Нам не раз приходилось ехать вместе на «шестерке». На площади Благоева он пересаживается на «пятерку», идущую в сторону Княжева, а я еду дальше.

В трамвае много свободных мест, но я прохожу на переднюю площадку. Ненов не отстает, ему хочется поговорить со мной. Он в свет-

лом летнем костюме. В отличие от Шефа, его помощник не позволяет себе приходить на работу в одной рубашке. Я невольно усмехаюсь.

— Ты на проспекте Вазова живешь? — справляется Ненов, забыв, что уже спрашивал об этом не раз.

— Нет, на площади Бабушки Недели.

— Ах, да... А я на Горнобанском шоссе. В оба конца по часу трачу каждый день. Ты у родителей проживаешь?

— Да.

— И отец у тебя есть?

— Да.

— А я было подумал... Все с Корешком тебя путаю, у него, кажется, только мать, вдова.

— Верно.

— А отец у тебя кто?

— Директор завода.

Сонного выражения на лице Ненова как не бывало. Он разевает рот, хочет что-то сказать, но не говорит, одно лишь «э-э-э» вырвалось из его горла.

— Неужто правда? — произносит он наконец.

— А что особенного?

— Не в этом дело, но ты какой-то чудной,— вздыхает Ненов.— Иметь такого отца и ходить ишачить, как...

— Как кто?

— А, оставь,— машет он рукой. В этом жесте есть и презрение, и нечто свойское, дружеское, непосредственное.— Будь у меня твои возможности, стал бы я ездить на этот вокзал и водиться с этой шушерой. Да будь я чуть помоложе... Позавчера мне стукнуло тридцать четыре, поздновато уже.

— Что поздновато?

Выясняется, что он два года учился в электротехническом техникуме, но так и не закончил. Соблазнили его вернуться в родное село. Устроился электриком, неплохо зарабатывал. Но и там долго не задержался. Несколько лет проработал в Кремиковцах, пока не добился софийской прописки. А потом переметнулся на нынешнюю службу. В свободное от работы время халтурит в Бояне и Драгалевцах — чинит дачникам электроприборы. Но будь он на моем месте...

— Поступил бы на экономический, устроился бы во Внешторге. Только поздновато, поздновато...

Излагая свои взгляды на жизнь, он смотрит на меня с особой почтительностью.

— Я давно собираюсь уйти оттуда,— кивает он назад, где должен быть вокзал.— Мне бы в какую-нибудь торговую фирму или на крупный завод... Я мог бы заведовать складом, быть заготовителем.

— Снабженцем,— уточняю я.

— Да. И работа что надо, и жалованье, и люди как люди... Ты не мог бы переговорить с отцом, а? У него наверняка что-нибудь есть.

Меня разбирает смех. До сих пор Ненов меня почти не замечал, с гораздо большим уважением он относился к папаше Апостолу и Корешку. А тут на тебе, словно мы с ним поменялись местами — он грузчик, а я начальник. Первый раз в жизни вижу человека, который за каких-нибудь две-три минуты изменился до неузнаваемости. Ненов посматривает в окно; подъезжаем к площади Благоева.

— Мне пора сходить,— говорит он извиняющимся тоном.— Ты не забудь спросить. Я бы согласился и помощником заготовителя... А то, сам видишь, никакого будущего.

— Ладно.

— До свидания, Пешо.

— До свидания.

Трамвай идет дальше. Вагоновожатая сдвинула набок свой берет, чтобы лучше была видна прическа, и, потирая курносый нос, лихо орудует ручками управления. Я хорошо вижу ее некрасивое, но симпатичное лицо, толстые, плотно сжатые губы, точные движения. И судя по ее виду, чихать ей на то, что я сын директора. А Корешку и папаше Апостолу и подавно. Даже Шатале — тот лишь брякнул бы для пущей важности что-нибудь вроде «елки-палки» и тут же забыл обо всем.

А этот? Зря я не сказал, что отец у меня министр...

Вагоновожатая оборачивается, окидывает меня строгим взглядом и энергично вращает правую ручку.

7

Без фокусов, младший сержант Клисуров, только без фокусов! Веди себя по-мужски, если не хочешь схлопотать три наряда вне очереди.

Так иногда говорил мне старшина Караиванов, когда мы должны были вести стрельбу по движущейся цели. А вообще-то я был отличный стрелок — из автомата, из винтовки, из пулемета. И на тактических учениях боевыми патронами тоже бил не худо. А вот движущаяся цель мне не давалась. На первых же стрельбах мою правую руку как бы свело, и я почти все пули послал за молоком. Скверно то, что движущиеся цели были совсем как живые: то появлялись, то исчезали, быстро скользили над окопом — ни дать ни взять перебегающие солдаты. И мои пули ложились либо чересчур низко, либо слишком высоко. Первое время старшина считал меня непутевым стрелком, но потом стал подозрительно на меня посматривать и покрикивать: «Без фокусов, Клисуров! Цельсь немного пониже... Вот так». Так-то так, но стоило мне нажать на спуск, и опять промах. И чем больше старшина стоял у меня над душой, тем хуже выходило. Я ужасно краснел перед начальством и перед товарищами.

Семь часов вечера. Я стою в прихожей перед зеркалом и, мысленно общаясь со старшиной Караивановым и отгоняя Пуха, который трется у меня в ногах, отчего мои штанины окажутся сплошь покрыты шерстью, в последний раз осматриваю себя. Давно я так не шиковал. Как будто меня только что вынули из витрины: костюм шоколадного цвета, белоснежный воротник, галстук. Пиджак немного узковат в плечах, сшит он еще до армии, но брюки сидят очень хорошо. Гладко выбрился, темно-русую щетину на голове пригладил насколько мог. Шрам на подбородке меня особенно не портит, даже делает несколько мужественней.

Не покажусь ли я слишком чопорным? Нет, это лишь подчеркнет, какой я внимательный. А стоит ли купить цветы? Старшина Караиванов сказал бы, что нечего бросать деньги на ветер, сам он ухаживал за женщинами без цветов, прибегал к более верным средствам и пользовался немалым успехом; он бы посоветовал лучше рубануть перед этим кусок ливеру да запить красненьким домашним винцом. Но я, конечно, куплю цветов. Может быть, даже суну в букет записочку: «Моей вечно любимой и незабываемой...» и так далее. Или: «Цветы завянут, но в сердце моем навсегда останется память...» и прочее. Такие вещи можно найти в мамином альбоме, который она хранит со школьных лет. А можно и устно сказать, когда буду подносить букет,— интересно, что получится... Довольно! Без глупостей! Без фокусов, младший сержант Клисуров.

Что-то больно весело мне сегодня. Как бы я не выкинул какой-нибудь фортель, из-за которого потом придется краснеть. Если со мной такое случалось, в душе оставалась зарубка, и это делало меня осмотрительней. Когда Таня перестала присылать мне письма в казарму, я догадался, что к чему, и за ночь подушка сделалась мокрой, а на другой день нацарапал ей письмо в несколько строк: «Узнал, что ты выходишь замуж. На свадьбу к тебе по моральным соображениям не приду. Ни к чему мне «бамбины». Письмо я не отправил, а, изорвав на мелкие клочки, опустил в сортир, как старшина Караиванов называл уборную в своих лекциях по воспитанию... И хорошо сделал, иначе мог бы показаться смешным.

Атанаска — Таня. Таня — Атанаска. Что значит привычка. Я и сейчас, когда думаю о ней, чувствую слабость в ногах, мне хочется укрыться с головой и никого не видеть. Просто во мне срабатывает рефлекс, сохранившийся с той поры. Вчера она звонит мне по телефону. Упрекнув за то, что не пришел на день ее рождения два месяца назад и даже слегка пожурив за то, что совсем ее забыл, она приглашает в гости. Решила угостить по случаю успешного окончания летней сессии — сдала все экзамены. Не давала мне повесить трубку, пока не сказал «да».

А зачем я ей понадобился? Что теперь между нами общего? Этих девушек никогда не поймешь. Но придется сходить. Если и теперь откажусь, она может подумать, что я все еще рассчитываю на нее.

Мама провожает меня до двери улыбающаяся и несколько удивленная — тем, что надумал пойти, или тем, что так вырядился. Просит передать Тане привет, но спросить ни о чем не решается; сразу после моего увольнения из армии ей захотелось узнать, что происходит между мною и Таней, и я ей малость нагрубил — сказал, что Таня меня не интересует, и попросил не соваться в мои дела. Конечно, я тут же извинился, но она тогда расплакалась и, вытирая слезы, повторяла: «Петьо, сыночек, что с тобою творится? Родной ты мой...» Я готов был выброситься из окна. Стоял как в воду опущенный, а она обняла меня и прижала к себе, как делала в детстве. С той поры больше ни о чем меня не спрашивает, не сказав перед этим: «Ты не будешь на меня сердиться?..» — и это всегда будит во мне зверя.

— Передам,— говорю.— Если запоздаю, не беспокойся. Может, пойду прямо на работу.

— Но тебе же надо будет поужинать?

Она еще что-то говорит, но я уже спускаюсь по лестнице, прыгая через две ступеньки. На площади покупаю у бабки букет розовых гвоздик, именно розовых, потому что ненавижу этот цвет. Бабка оказалась чудно́й — предлагает мне самому выбирать, потом вытаскивает из ведра с водой цветок за цветко́м, показывает мне, обрезает стебли большими ржавыми ножницами. Старушка тянется к клеенчатому кошельку, чтобы дать четыре стотинки сдачи, но я останавливаю ее, и она смотрит на меня с такой благодарностью, что я хватаю букет и скорее бежать. На ее правой щеке бородавка, руки у нее темно-коричневые, узловатые, будто их кое-как вылепили из глины и по мере того, как они сохли, глина потрескалась. Наверно, в сельскохозяйственном кооперативе она уже не может работать, поэтому ее прислали сюда продавать цветы. Мне запомнились ее глаза, бородавка и руки — особенно руки. Будь я художником, обязательно изобразил бы на полотне такие руки. Но это старая тема, а-ля Ван Гог...

Букет пахнет даже тогда, когда опущен вниз. В такой букет записку не сунешь. Но мне приходит в голову другое, и вместо того, чтобы податься на бульвар Скобелева и выйти на улицу Любена Каравелова, где живет Таня, я иду по Витошской. Блестящая идея, леший меня

возьми, до чего ж я сообразительный. Ничуть не хуже той, насчет письма Тане, которое я так и не отослал ей из казармы... Сажусь у Патриарха на «единичку» и терпеливо подрагиваю в переполненном троллейбусе на длинном пути к вокзалу.

Сойдя в конце Ополченской, возвращаюсь немного назад и сворачиваю в переулок. Двухэтажный дом, обглоданный временем фасад, небольшой двор позади, две общарпанные старые груши, несколько кустов роз и длинная веревка для сушки белья мне хорошо знакомы. С улицы попадаешь прямо в коридор, где вечно пахнет горелым растительным маслом и уборной. Деревянная лестница в глубине коридора ведет на второй этаж. На первом этаже живут многодетная семья и два паренька из окрестных сел — учатся в школе механизаторов на бульваре Стамболийского, а на втором — хозяйка, старый холостяк служащий и Зорка. Две комнатенки занимает хозяйка, одну — служащий, а у Зорки нечто среднее между чуланом и кухонькой. Я слышал, что хозяйка долгие годы пытается «выставить» многодетное семейство, так как с него много не возьмешь — от других постояльцев она имела бы в три раза больше, но эти неудобные жильцы все время выигрывают дело в суде.

Звоню. Дверь открывает мать многочисленного семейства с мокрыми руками и кислым лицом, смотрит на меня и на мои цветы так, как будто перед нею с неба упал червяк, хотя могло бы свалиться что-нибудь другое; я благодарю ее, и она, показав мне спину, исчезает за дверью. На втором этаже открывает хозяйка. От моего вида ее глаза, голубые и блестящие, словно покрытые эмалью, лезут на лоб, и она неожиданно обращается ко мне во множественном числе:

— Пешо! Да вас совсем не узнать... Заходите, заходите. Зорочка дома, она только что проснулась.

Что значит нарядный костюм! И букет гвоздик в придачу... Хозяйка вся кажется эмалированной: пеньюар ее тоже отливает голубым блеском, и лицо блестит, и волосы лоснятся от какого-то жира. Волосы у нее чернее вороньего крыла, крашеные, конечно, а лицо невероятно гладкое, даже противно — я заметил, что она никогда не улыбается и не морщится, говорит одними губами. Ее муж, майор авиации, погиб на войне тридцать лет назад, второй муж тоже умер, но для соседей и квартирантов она продолжает оставаться майоршей... Задерживаюсь немного в прихожей, чтобы Зорка могла одеться, справляюсь у майорши о ее здоровье и получаю исчерпывающую справку — жаловаться не приходится, утренняя гимнастика идет ей на пользу, отваром из листьев медвежьего ушка она прочищает почки, только печень ее малость беспокоит... Две-три минуты прошло. Моя уловка удалась: хозяйка так и не успевает осведомиться, по случаю чего у меня такой торжественный вид.

Открывается дверь чуланчика, и высовывается голова Зорки:

— Ты чего тут стоишь, не заходишь?..

Захожу. Зорка тоже чуть в обморок не падает. Ее зеленые глаза, еще сонные, глуповато моргают.

— Мамочка родная, посмотрите на него! И цветы... Ты часом не на свадьбу?

В ее комнатенке не прибрано. Платяной шкаф раскрыт, верхняя одежда висит на круглой вешалке за дверью. Сама она все еще в измятой ветхой пижаме, босиком и явно смущена.

— Одевайся. Принарядись как надо, и пойдем в гости.

— Да ну тебя! Куда это ты собрался?

— К одной моей знакомой.

Глядя на меня, Зорка запускает пальцы в свои рыжие волосы. Они слегка потрескивают. Она разочарованно улыбается.

— А я подумала, что букет для меня...

— Для хозяйки,— уточняю я сконфуженно, так как ей никогда не приносил цветов.— Тебе в другой раз, получше этого.

— А, очень ты мне нужен... Сам ступай к своей знакомой.

Такого осложнения я не ожидал, и мне стоит больших усилий убедить ее, чтобы она пошла со мной: я дал обещание, нас обоих пригласили, то есть меня с девушкой (хотя в этот раз ни о какой девушке Таня не упомянула), наконец, она может же оказать мне любезность, потому что идти одному мне неохота... Но Зорка смотрит в потолок и ни слова в ответ. Когда она затаит обиду или заупрямится, хоть убей ее, ничем не сдвинешь с места. Я беру со столика букет и со вздохом направляюсь к двери.

— Жалко! Мы могли бы потанцевать...

— И танцы будут?

Дело идет на лад. Как это я раньше не догадался. Мы с Зоркой еще ни разу не танцевали, негде, да и танцор я никудышный. Но в экспедиции я частенько замечаю: как только из репродуктора зазвучит музыка, Зоркины ноги сами пускаются в пляс.

Она идет умываться. Потом велит мне отвернуться, не любит, чтоб видели, как она одевается.

Я гляжу в окно. Во дворе гоняются друг за другом двое мальчишек с первого этажа. Старший взбирается на пыльную грушу, ломает сухие ветки и кидает в брата. Тот с обиженным видом прижимается к ограде: «Какой умник. На дерево каждый залезет». Его босая нога почесывает другую. Мать мальчишек развешивает белье на веревке. Покончив с этим, она загоняет их в дом: «Ну-ка, пошли ужинать, озорники. Живо!» Она шлепает того и другого по загривку увесистой рукой, а они бегут вприпрыжку перед нею, понимают, что это она любя. Когда любя, человек все стерпит, не только шлепки по загривку...

— Готово,— говорит Зорка. Я оборачиваюсь, и мне делается дурно. Она и в самом деле уже собралась — вся сияет розово-сиреневым светом. На ней розовое платье искусственного шелка, ажурные сиреневые чулки, будто сделанные из рыбачьей сети, белые туфли с бабочками. Даже веки успела подсинить. Она смотрит на меня с гордым видом и делает «кругом», чтобы я мог оценить ее со всех сторон.

— Ну как?

— Хорошо,— гнусавлю я, думая о том, какое впечатление она произведет в доме Тани.— Но если ты уберешь эту синьку с глаз, станешь еще краше.

— Серьезно?

— Клянусь.

Зорка вначале колеблется, потом начинает убирать синьку, и ей снова надо умываться. Больше ничего не решаюсь сказать, еще рассердится. У меня даже мелькает мысль, что там все обалдеют от ее вида. И записку совать в цветы теперь незачем.

Эта мысль меня позабавила, хотя она, конечно, злая, и я испытываю чувство вины перед Зоркой. Наконец мы уходим, провожаемые эмалированными глазами хозяйки.

Вот так картинка, а? Я с букетом в руке, как с ружьем в почетном карауле, Зорка в своем феерическом наряде с роскошной рыжей гривой, выступающая мелким дамским шагом. А грива у нее в самом деле роскошная, и глаза, красивые длинные ноги — если б она оделась как надо, все бы с ума посходили.

Я останавливаю такси, шофер отвечает кивком — свободное. Открываю перед Зоркой заднюю дверь. Она в восторге:

— Пешо кавалер хоть куда!

— Ты только заметила?

— Плутишка.

Я сажусь рядом, она сует свою руку в мою и прижимается к моему плечу. Высвободив руку, я обнимаю ее за плечи — так полагается вести себя, когда ты с девушкой едешь в такси. Зорка с обожанием смотрит мне в лицо, шофер подмигивает мне в зеркале. Я отвечаю тем же, и мы все трое смеемся.

— До чего же мы с тобой важные,— говорит Зорка мне на ухо.— Увидел бы нас Ненов...

— Почему вдруг Ненов?

— Слишком воображать стал,— смеется Зорка.— Только останется он с носом. Говорит, как получу «запорожца», буду тебя катать на нем, если согласишься. Я пригрозила, что расскажу его жене, и он сразу сник.

Зорка смеется так, словно поет, и шофер то и дело поглядывает на нее в зеркало. У нее в самом деле красивый голос, альт, только поет она самые что ни на есть идиотские эстрадные песни. Удивляюсь, как она ухитряется их запомнить... Потом сообщает мне, что сегодня утром, сразу после работы, ходила навестить папашу Апостола. Отнесла ему свежих огурчиков и четвертинку виноградной ракии, но он заставил ее унести ракию обратно, чтобы не было соблазна. Доктор и курить ему запретил.

— Так плохо старику?

— Смотришь на него — вроде ничего, такой же, как был. Только одышка у него, когда ходит по комнате, и лицо стало бледней.

— Что же он говорит?

— Спрашивает про всех, особенно про Корешка да про тебя. Видать, не скоро вернется на работу. Доктор велел ему лежать еще месяц.

— Поправится,— говорю, потому что больше нечего сказать.— Ты, как видно, очень его любишь?

Зорка кивает головой и какое-то время задумчиво смотрит в окно. Ее рыжие волосы пламенеют в свете заката. Кажется, если запустить в них руку, можно обжечься.

Машина останавливается. Пока я расплачиваюсь с шофером, Зорка в своей розово-сиреневой гамме отряхивает подол платья и смотрит во все стороны, как солдат перед походом, а у меня появляется желание вернуться обратно. Только отступать не приходится. Схватив Зорку за руку, я втаскиваю ее в парадное знакомого пятиэтажного дома. Годы не ступала сюда моя нога, и странное дело, в душе у меня холодно и спокойно, словно я замороженный. Словно кто-то зажал в руке мое сердце и не выпускает. Тем лучше.

Поднимаемся по широкой лестнице. Зорка неуверенно озирается, задерживает взгляд на круглых иллюминаторах квартир, проводит пальцами по гладкой поверхности лакированных перил.

— Эй, а твоя знакомая не из бедных... Одна лестница чего стоит.

— Лестница как лестница,— говорю.

На латунных табличках дверей значатся все те же звучные фамилии: Копринаровы, Абанджиевы, доктор Синигеров. Здесь ничего не изменилось. Только парадная дверь внизу прежде открывалась посредством домофона, а теперь снабжена ручкой и открывается сама... На третьем этаже нажимаю на кнопку звонка. Зорка пятится назад, но я привлекаю ее к себе, и в таком положении нас застает Таня, открывшая дверь. Краткое недоумение в ее глазах, мигом окинувших Зорку, сменяется широкой улыбкой, и она с подчеркнутой радостью отступает в сторону, приглашая нас войти:

— Прошу, Петьо, а я уже подумала, что вы не придете...— От нее веет резедой. Рука хозяйки гостеприимно ведет нас в прихожую. Я торопливо вручаю ей букет, знакомлю с Зоркой, и она держится так, будто целый год мечтала об этой минуте. Схватив Зорку под руку, она ведет ее дальше, в гостиную с трехгранным фонарем. Я иду за ними следом.

И тут все по-прежнему. Зеленая кушетка возле радиолы, напротив диван, кресла, низенький столик размером с полуторную кровать, репродукции Сурикова и Репина на стенах. Только шторы другие — прежде, кажется, были красно-коричневые, а сейчас серебристые в вертикальную полоску. Я останавливаюсь на пороге, чтобы перевести дух, и мне приходит в голову, что этот холл напоминает гостиную Невяны.

Впрочем, Невяна сама здесь, вместе с Кириллом. Они оба машут мне от окна со своих пуфиков. Остальные не знакомы. На кушетке сидят две девушки, одна в черной мини-юбке, другая в белой — эти сверхмини-юбки совсем как пляжные юбочки, у обеих девушек разрисованные глаза и ресницы метелками. При нашем появлении они замолкают и одновременно оборачиваются к нам. Молодой мужчина в рубашке с галстуком и уже с пятачком на темени колдует в углу над магнитофоном. Трое других, примерно моего возраста, сидят у низкого стола, заваленного бутербродами и бутылками.

— Знакомьтесь,— говорит Таня и разводит руками так, что блузка раскрывается на груди.— Мои друзья по ВИТИЗу. Кики вам я представлять не стану.

Мы знакомимся. Я начинаю с мини-юбок, молодые люди встают перед Зоркой. Симпатичные ребята, все в рубашках с короткими рукавами, у всех белозубые улыбки, пожалуй, только я один в этом идиотском официальном костюме. Зорка производит на них потрясающее впечатление — и зелеными глазами, и туалетом. Один из парней, работающий под пирата, с красным платком на шее, в рубахе из грубого полотна, расстегнутой на груди, и вытертых джинсах, грациозно целует ей руку и сажает ее в свое кресло, а сам садится рядом, на пуфик.

Я бросаю якорь возле Кирилла с Невяной. Таня сует мне в руку пустой бокал и спрашивает, чего налить — сливовой, коньяку или джина, и поскольку все остальные пьют коньяк и джин, я останавливаю свой выбор на сливовой. Наливая, Таня посматривает на меня поверх бутылки.

— Как это ты отважился прийти?

— А разве я боялся?

Она смеется. Ее карие глаза становятся золотыми. Бедра изумительно завершают очертания ног, фигура у нее прелестная. Что-то скребет в моем сердце, и я спешу чокнуться с Кириллом и Невяной. Спрашиваю у Кирилла, как сдал экзамены.

— Только два, остальные на осень.

— Неужто так трудно?

— Нет, но надо основательно зубрить. А я пока раскачаюсь...

— Статья ему помешала,— с усмешкой поясняет Невяна.— Целый месяц строчил ее.

— Что за статья?

— О новом романе главного.— Отпив коньяку, Невяна хлопает Кирилла по коленке.— Умница... На днях выходят его стихи, а статью тиснут уже осенью, в одной книжке нельзя. Правда, Кики?

Кирилл смотрит, как сверхмини-юбки танцуют вдвоем под мощный рев мужского джазового трио, и будто не слышит ее. Но она не сводит с него лукавых глаз. Кирилл медленно краснеет и отставляет свой бокал.

— Послушай, я тебе уже сказал, мне твои шуточки не нравятся. Ты сама настояла, чтобы я написал об этой книге. В чем же дело?

— Ни в чем,— невинно говорит Невяна.— Я рада, что эксперимент удался.

— Ладно, заткнись!

— Ух! Петр, что с ним происходит? Можно подумать, что не он, а я написала статью.

Кирилл не выдержал. Вскочив со своего места, он приглашает девушку в черной сверхмини-юбке, предоставив белую одному из парней Таня танцует с молодым мужчиной с пятачком на темени, Зорка — с Пиратом. Танин партнер в светло-зеленых очках, наверно, лечит глаза; он все время смотрит Тане в лицо — серьезный кавалер. Когда они начинают кружиться, он то и дело опережает ее, боится, что ли, потерять из виду... Это он и есть?

Я танцую с Невяной. Она что-то рассказывает мне, о чем-то спрашивает, а я пытаюсь изобразить улыбку, хотя с трудом улавливаю смысл ее рассуждений. Разговор об успехе Кирилла засел в моем мозгу. Зачем он это сделал, леший его возьми? Так уж для него были важны какие-то там стихи? Он, видимо, не понимает, что подобные вещи не забываются, как бы потом ни было. Я в свое время сделал глупость, не такую, как он, конечно, статей я не писал и не стану писать, но нечто в том же роде, одним словом, свалял дурака, после чего сбежал из школы, и вот до сих пор не могу избавиться от этого. Уже четыре года не покидает меня гадкое чувство, колом стоит у меня в груди, в горле и при одной мысли о случившемся начинает душить, превращает в тряпку. А ведь если разобраться — пустяковая история, какая может случиться с каждым...

— Эй, докер, да ты, видать, совсем меня не слушаешь,— улыбается Невяна.— Где ты сейчас?

— Я здесь. Как тебе живется?

Нас сближает то свиданье в ее доме и еще кое-что, и мы можем говорить запросто.

— Как тебе сказать? Вот уже неделя, как я работаю.

— Кем?

— Корректором в газете, где до этого сотрудничала.

— Тяжело?

— Нисколько. Лучше исправлять чужие глупости, чем писать их самой. И потом, на одной зарплате нам с матерью не прожить... Это и есть твоя девушка?

Она кивает на Зорку с Пиратом. Зорка разгорячилась, кружится и прыгает как попало. Пират топчется перед нею на одном месте и делает руками волнообразные движения. А тем временем обе сверхмини-юбки снова уселись на зеленом диване, шушукаются и посмеиваются, не сводя глаз с Зорки.

— Славная девушка,— говорит Невяна, как бы вручая мне поощрительный приз.— Нет, она в самом деле хороша. Эти жуткие зеленые глаза...

Разумеется, глаза у Зорки вовсе не жуткие, в данный момент они очень даже веселые и дружелюбные, но я теперь искренне жалею, что привел ее сюда. Мне жаль ее — с нею здесь никому не сравниться, но разве она виновата, что не может покупать для себя туалеты в магазине «Тексим» и не умеет красиво одеваться; я не нуждаюсь в поощрениях, все это меня бесит, выругаться бы как следует, но я усмехаюсь. Крепись, младший сержант, и без фокусов!.. Сам виноват.

Зорка пришла в полный экстаз, мечется, словно обезумев. Пират визжит от восторга, но я замечаю, как он подмигивает сверхмини-юбкам. Приближаюсь с Невяной к нему поближе.

— Может, поменяемся дамами?

Он с поклоном оборачивается к Невяне. Едва ли Зорка замечает смену кавалеров — ее ноги в бешеном ритме чеканят чарльстон, волосы упали на лоб. Она запрокидывает голову, и огненная лава волос ползет по ее плечам. Лицо у Зорки пунцовое, глаза горят.

— До чего же здорово,— слышится ее голос.— С каких пор я не танцевала.

Надо бы посоветовать, чтобы она вела себя немного сдержанней, но Зорка так счастлива, что у меня язык не поворачивается.

После танца мы садимся вместе, а рядом примащивается Пират. Таня несет на подносе оранжад. Очень кстати. Зорка выпила большую порцию коньяку и болтает без удержу. Пират удостоивает меня вниманием, спрашивает, действительно ли я учился вместе с Таней и где учусь сейчас. Я подтверждаю, что Таня была моей однокашницей, но на второй его вопрос предпочитаю не отвечать. Пират многозначительно усмехается и выливает в рот оранжад. Лицо у него черное, словно прокаленное огнем, он шарит вокруг вытаращенными глазами, того и гляди, выхватит кинжал из-за пояса, словом, вполне в своей роли. Симпатяга! В глазах Зорки он неотразим.

— А в каком театре вы будете играть? — спрашивает она, продолжая, очевидно, начатый разговор.

— В Народном, конечно,— отвечает Пират с серьезным видом.— Таких красивых и талантливых направляют только туда.

— Если так, мы с Пешо придем смотреть.— Зорка не подозревает, что он ее разыгрывает.— Правда, Пешо?

— Да.

Мы чокаемся с будущим актером Народного театра, и он, сунув за пояс палец, затягивает песню:

Улагаааа, улагууууу,
слава нам, смерть врагу...
Дорого стоят четыре жены,
конь вороной не имеет цены...

Обе мини-юбки подпевают ему, затем присоединяются и остальные. Только мы с Зоркой молчим — не знаем слов. Поставив поднос, Таня обеими руками дирижирует посреди комнаты. А тот, в зеленых очках — я вижу его в профиль,— стоит у окна и не сводит с нее глаз. Я тоже. Ужас как хороша Таня. При свете желтой люстры ее смуглое лицо кажется усыпанным золотой пыльцой, алые губы красиво очерчены, глаза подернуты легкой дымкой, тонкие ноздри пульсируют. Она вся пульсирует и светится... Глупости! Это моя фантазия пульсирует, сказывается былое преклонение... Лучше я приглашу ее потанцевать, тогда это пройдет.

Очкарик пускает магнитофон и направляется к Тане, но она смотрит на меня и с веселой улыбкой делает реверанс:

— Дамы приглашают, Петьо.

Не надо было этого допускать. Будто я маленький мальчик и мне подносят подарок. Мы танцуем блюз, то есть еле движемся, заключив друг друга в объятья, лицо к лицу. Я ощущаю тепло ее тела, и это тоже ни к чему; ракия ударила мне в голову, и начинает казаться, что все это происходит не сейчас, а в прошлом, три года назад... Я пытаюсь вести разговор:

— Закончила институт?

— В будущем году закончу.

— Ах, да... Как родители?

— Хорошо. Мама в Варне. Послезавтра и мы с отцом уезжаем.

— А кто этот в очках?

— Приятель. Очень талантливый архитектор. В прошлом году проектировал для нас виллу в Панчерево.

— А в данный момент что проектирует?

Она смотрит на меня с удивлением и пожимает плечами. Ей непонятен мой вопрос. Я на ее месте тоже сделал бы вид, что не понимаю. Все это пустяки, у тебя нет ничего общего с этой девушкой, младший грузчик Клисуров. Что из того, что ты разок-другой ее поцеловал? Впервые это случилось именно здесь, в этом фонарике. Я пришел тогда помочь Тане по математике; облокотившись на подоконник, мы смотрели на улицу и пробовали определять марки бегущих легковых автомобилей, а поглядев друг другу в глаза, поцеловались. После этого случая я перестал к ней приходить. Мы встречались на улице после школьных занятий, гуляли в Парке Свободы, ходили в кино. В последний раз я побывал здесь перед уходом в армию. Мы сидели вдвоем на зеленой кушетке и держались за руки — ничего умнее придумать не могли. Таня не сводила с меня глаз, на ее щеках были видны следы слез, а я рассказывал ей смешные истории о моем заводском мастере. Она не смеялась. В тот раз мы даже поцеловаться забыли...

Сейчас на зеленой кушетке сидят две сверхмини-юбки с размалеванными глазами и наклеенными ресницами. Я стою возле радиолы, пью коньяк, поскольку сливовая кончилась, и невольно прислушиваюсь. Белая мини-юбка рассказывает о каком-то преподавателе, который вечно разыгрывает ее в коридоре и зазывает к себе в кабинет, хочет, чтобы она что-то там переписала ему.

— А ты? — таращит глаза черная мини-юбка.

— Я ничего... Нужен он мне! Был бы хоть помоложе, а то...

— Дура... Скоро начнется распределение. Если за тебя некому постоять, можешь очутиться в Смоляне или в Силистре.

Белая мини-юбка, махнув рукой, задумывается. Я перевожу взгляд на Зорку с Пиратом, сидящих поблизости. Пират рассказывает ей какой-то анекдот, Зорка смеется. Потом он достает блокнотик из кармана своей робы и что-то записывает. Смотрю на часы, уже почти десять. Нам пора уходить.

Допив коньяк, я иду в ванную умыться холодной водой. Подставляю голову под кран, затем глотаю воду и, вытираясь перед зеркалом, придаю своему лицу подобающее выражение. Но голова у меня тяжелая, придется попотеть эту ночь. Работая после выпивки, я всегда потею.

Вернувшись в гостиную, порываюсь предупредить Зорку, что нам пора, но в это время слышу голос Пирата:

— У вас замечательный вкус. Где вы раздобыли эти чулки?

— В самом деле,— говорит белая мини-юбка.— Я сама собиралась вас спросить. Сколько ни ищу, нигде нет таких.

Черная мини-юбка кивает, едва сдерживая смех. Зорка, довольная тем, что ее чулки произвели такое впечатление, разглядывает свои ноги.

— Один железнодорожник привез, из Белграда,— сообщает она.

— О-о-о!

Пират и мини-юбки изрядно пьяные и никого не стесняются. Они намерены продолжать игру, черная мини-юбка уже хихикает, запрокидывая голову, ее распирает смех. Белая следует ее примеру. Зорка неуверенно улыбается. Пирату удается сохранить серьезную мину.

Схватив Зорку за руку, я поднимаю ее на ноги.

— Что такое?

— Пошли.

— Почему?

Она смотрит на меня зелеными глазами, зелеными и ужасно невинными в эту минуту, а я до такой степени стиснул зубы, что боюсь — не выдержат. Те перестали смеяться, но Пират, похоже, слишком пьян, чтобы сообразить что-нибудь.

— Похищаете у нас даму,— говорит он.— Некультурно... Мы так мило развлекались.

Мини-юбки не в состоянии удержаться от смеха, и Зорка, глядя на них, тоже начинает хохотать. Мне кажется, я вот-вот взорвусь и начну раздавать тумаки направо и налево. Но вместо этого я наклоняюсь к Пирату и тихо говорю:

— Выйдем на минутку.

— Куда, на улицу?

— Пойдем, пойдем, я тебе кое-что скажу.

Помогаю ему встать. Он моргает глазами, пыхтит мне в лицо:

— Конфиденциальный разговор?

Я пропускаю его вперед. Он идет вразвалку, словно моряк или ковбой, по-прежнему оставаясь в своей роли. А может быть, он чересчур пьян. Зорка следует за ним, но я ее останавливаю и захлопываю у нее перед носом наружную дверь. На лестнице Пират застегивает пуговицу на своей рубашке и силится овладеть собой. Опершись о стену, он засовывает руки в карманы.

— Ну?

— Я хочу тебе сказать, где можно найти сиреневые чулки.

Схватив Пирата за ворот, я дергаю его к себе. Он вроде бы отрезвляется.

— Эй, милый человек, порвешь рубашку...

Немного побледнев, Пират пытается разогнуть мои пальцы. Он дышит тяжело. А у меня пороху не хватает — надо бы стукнуть его как следует, да не могу. Лицо его совсем рядом с моим, и ничего пиратского в нем нет. Обычное лицо парня, одно из тех, какие я ежедневно встречаю на улице, в кафе или на вокзале, похожее на лицо Кирилла или Шаталы... Не могу, и все тут. Только растормошил его. А сам готов заплакать. Он чувствует мою нерешительность.

— Ну-ка пусти, а то...

— А то что?

Он не говорит больше ни слова, только смотрит на меня налитыми кровью глазами, держась за мою руку. Я вдруг осознаю всю бессмысленность своего поступка. Если б он меня ударил, ох, если б он меня ударил, толкнул бы меня, тогда было бы совсем другое дело. Чего боялся, то и случилось. Не могу ничего поделать.

— Ну, дальше? — спрашивает Пират, снова обретя нахальство, он даже подмигивает мне.— Будем драться или вести себя по-мужски?

— Свинья... Грязная свинья.

Отпустив его, я собираюсь звонить, но, прежде чем я коснулся кнопки, открывается дверь. Таня, за нею Зорка. Таня смотрит на нас испуганными глазами.

— Что вы тут делаете?

— Ничего,— говорю.— Знал бы я, что среди гостей будут такие, как этот, не стал бы приходить. Извини за беспокойство.

— Погоди.— Она ловит меня за руку, но смотрит на него.— Владко, вы что, повздорили?

— Хм, как тебе сказать... Спьяну все это,— бормочет Пират и протискивается внутрь.

— Зорка, пошли.

— Минуточку! Петьо! — кричит Таня. Но я уже бегу вниз по лестнице.

На улице меня догоняет Зорка, хватает под руку, заглядывает в

глаза, а я иду, дышу тяжело и не обращаю на нее внимания. Будто она во всем виновата. Во рту у меня горечь, голова готова разорваться.

— Пешо,— робко говорит Зорка,— что он тебе сделал? Чего вы поругались?

— Мне ничего, а вот тебе...— не в силах сдержаться я.— Неужто ты не поняла, что они смеялись над тобой?

— Чего ради?

Я не говорю Зорке, чего ради, но она вдруг заливается слезами. Прижалась виском к моему плечу, и мы плетемся как слепые, не выбирая дороги. Обычно она ведет себя «по-мужски», а сейчас вот плачет. Всыпать бы ей за эти слезы. Надо было всыпать тому типу...

Надо было — и не смог. Никогда я не мог. Как представлю себе, что бью кого-нибудь по лицу, мне становится страшно. Начинает казаться, как под моей рукой хрустит нос или челюсть, даже слышится противный звук, я вижу кровь, вполне отчетливо вижу ее, размазанную по лицу, и весь холодею. Мой отец часто повторял: не хочешь быть наковальней, будь молотом. Говорил, будто Гёте придумал эту поговорку и якобы в жизни она часто его выручала. Все равно, не могу я быть молотом... Как-то раз столкнулся я в школе с одним из старшеклассников. Он ударил меня первым, и я не остался в долгу. До того взбесился, что бил почем зря. А увидев кровь на его лице, пустился наутек, прибежал домой, забился в чулан, хотя никого нигде не было, и целый час плакал там в темноте, может, и больше. Плакал, весь дрожал, и у меня перед глазами было окровавленное лицо того паренька — кровь текла из носа, а он пытался вытереть ее и только размазывал по лицу... Вот уже и Зоркин дом. Как это мы дошли так быстро? Зорка приглашает меня поужинать с нею и потом прямо идти на работу. Одиннадцать часов, домой возвращаться поздно. В коридоре первого этажа все еще хлопочет многодетная мать. Завидев нас, она приветливо кивает и даже улыбается. Лицо у нее светлое, усталое и доброе. Слева из комнаты доносится мужской храп.

Пробираемся в Зоркину обитель. Зорка стаскивает с себя платье, новые туфли, чулки. Сиреневые чулки. Складывает все это за скрипучей дверкой шкафа и надевает свою рабочую одежду — брюки, легкую блузку с короткими рукавами, а я заявлюсь на работу в праздничном костюме. Вот будут потешаться ребята. Пускай. Я обижаться не стану.

Зорка приносит из кухни хлеб, колбасу, помидоры. Едва прикоснувшись к еде, я закуриваю сигарету. Зорка кладет руку мне на колено.

— Пешо, ты и вправду чуть не подрался? Из-за меня?

— Ешь поскорей, а то опоздаем.

— Пешо...

Она хочет что-то сказать, но ей не хватает слов. Выхватив у меня сигарету, она делает две-три затяжки и снова сует мне в рот. Это лучше поцелуя.

Мы молча курим. Курим и глядим на луну в открытом окне, которая медленно поднимается над крышами и становится все меньше и светлей.

(Окончание следует)

ИНГРИД ЙОНКЕР

■

С языка африкаанс

Она уплыла в ночной океан возле родного Кейптауна и не вернулась. Перед смертью написала: «Я ничего не могу изменить, я не могу больше вынести все это». Ей было тридцать два года. Ее нет уже больше десяти лет. Ее дочери тогда было восемь, теперь она взрослая, уже девятнадцатый.

Кто знает, почему Ингрид Йонкер оборвала свою жизнь. Кто знает, что передумалось ей, довело до отчаяния и толкнуло на такой шаг. И на родине-то у нее никто толком не объяснил, а нам, живущим на другом материке, за тысячи верст, в ином жизненном укладе,— совсем уж трудно понять.

У этой женщины, как у многих мужчин и женщин такой трагической судьбы, были и причины глубоко личные. Был человек, к которому она взывала:

я твержу тебя
и мои груди
повторяют углубления твоих ладоней.

Этот человек, если верить стихам, покинул ее. В стихотворении «Я улетаю с ветром» — своем поэтическом завещании — она сетует и на «лживых, отвернувшихся друзей».

Но в этом завещании, да и во всем, что писала Ингрид Йонкер, есть и другое. Есть любовь к народу «моей Черной Африки». Есть и неприятие, гнев, ненависть к «колючей проволоке лагерей и гетто», боль за «разодранную землю», «застреленное слово».

О чем бы ни писала Ингрид Йонкер: о том, как «любовь незаметно ушла», о родном вельде — южноафриканской степи, о Столовой горе над Кейптауном или о том, как вольного буйвола поймали и держат на сельскохозяйственной выставке, взаперти — во всем чувствуешь дыхание этой страны, Южно-Африканской Республики.

И в трагедии Ингрид Йонкер отразилась судьба ее родины. Весь мир сочувствует черным жителям Кейптауна и Трансвааля. Но для всех ли белых там рай земной? Во всяком случае не для тех, кто задумывается над окружающей жизнью, над будущим. Ведь на юге Африки, как и повсюду, «не может быть свободен народ, угнетающий другие народы».

По расовой «табели о рангах» Ингрид Йонкер принадлежала не к угнетенным, а к угнетателям.

Ее родной народ — африканеры, буры — стоит на самой верхушке расово-национальной пирамиды, воздвигнутой южноафриканскими властями. Народ этот происходит от переселенцев из Голландии, голландской бедноты. И от французских гугенотов, которых религиозные преследования Людовика XIV заставили искать спасения на юге Африки. Своим мужеством в англо-бурской войне африканеры когда-то вызвали восхищение всего мира. Но теперь они навлекают на себя все больше обвинений в расизме.

Отец Ингрид Йонкер был депутатом парламента от самой реакционной в стране политической силы — африканерской националистической партии. Во время второй мировой войны он желал победы Гитлеру и не скрывал этого. Одним словом, он принадлежал к лагерю, который Ингрид Йонкер люто ненавидела и который, в свою очередь, яростно травил ее. И когда председателем комиссии по введению закона о цензуре назначили отца Ингрид Йонкер, она окончательно порвала с ним и ушла из дому.

Правда, этот дом никогда и не был для нее своим. Родители разошлись до ее рождения. Детство прошло в нищете. Мать рано умерла, и будущая поэтесса переступила отчий порог уже падчерицей, чтобы потом уйти из него навсегда.

Какую-то отдушину, глоток материальной независимости дал первый сборник стихов — «Побег». Он вышел в 1956-м, когда Ингрид Йонкер было 23 года. Но известность приходит в 1963-м, со второй книгой — «Дым и охра». С родного языка Ингрид Йонкер — языка африкаанс — эти стихи переводят на английский и французский, на зулусский и хинди. Передают по радио в других странах. Ингрид Йонкер получает литературную премию, и это дает ей возможность отправиться в Европу.

1963, 1964-й — страшные годы для ее родной страны. Правительство решило очистить страну от «скверны» — от всех, кто думал не как положено. Многих судили, отправили в тюрьмы, в ссылку. Самых известных судить не всегда решались — боялись нежелательного шума. Поэтому таких людей нескончаемыми преследованиями заставляли уезжать, эмигрировать. За пределами страны оказались прозаики и публицисты Эзекиел Мпахлеле, Алекс Ла Гума, Арчибальд Джордан, драматург Атол Фугард, поэты Деннис Брутус, Блок Модисане, Космо Питерс, Кэн Темба, Барри Фейнберг...

Вернувшись на родину из Европы, Ингрид Йонкер недосчиталась многих. Ей стало еще неуютней.

Известный южноафриканский поэт Уильям Пломер, давно уже живущий в Англии, посвятил Ингрид Йонкер одно из своих лучших стихотворений. Есть там такие слова:

Зачем она вернулась?
Узнать, что в родном доме
ей места нет?..

(Перевод Ф. Бурташова)

Места не оказалось. И в июле 1965 года она не выдержала.

Что осталось после нее? Три сборника стихов. Последний — «Опрокинутое солнце» — вышел уже посмертно. Его составили и перевели на английский язык Джек Коуп и Уильям Пломер, ее старшие товарищи, известные поэты ее страны. Кроме стихов Ингрид Йонкер написала пьесу «Дитя моего сердца», повесть «Горный козел», рассказы.

Кажется, не такое большое наследство. Но сколько мужества требовала подчас одна только страница, строка... Она, эта молодая женщина, решилась на то, чего не смеют и сильные, уверенные в себе мужчины. Она открыто выступила против расовых и национальных предрассудков, глубоко гнездящихся в ее собственном народе, предрассудков, на которых правительство строит свою политику...

Для народа, как и для человека, пагубно и чванство, и высокомерие. Но так ли уж часто людям нравится, когда им говорят об этом в лицо? А народ, как известно, состоит из людей. Приходится ли удивляться, что Ингрид Йонкер столь трудно жилось?

Когда-нибудь в Кейптауне, может быть, поставят памятник этой женщине, считавшей своим народом всех, кто живет в ее стране — черных, белых, цветных,— и завещавшей этому народу: «Пускай тебя минуют мои беды».

Но это когда-нибудь. А сейчас отрадно уже то, что ее помнят, читают, а кейптаунский литературный журнал «Контраст» осмелился даже учредить для молодых авторов премию имени Ингрид Йонкер, и в жюри вошли лучшие поэты Южной Африки.

А. ДАВИДСОН

Маргаритки Намаквалэнда

Почему мы все ищем ответа
в шепоте луговых маргариток
в ветре и солнце?
Разве не сделались палачами
желторотые отпрыски сорокопутов?

За опечатанным лбом
где может быть увядает
побег утонувшей весны
за моим застреленным словом
за нашим размежеванным домом
за глухим к самому себе сердцем
за колючей проволокой лагерей и гетто

за безмолвием куда непонятные языки
падают погребальным звоном
за нашей разодранной землей

встал зеленый богомол вельда
и мы здесь
обезумевшие —
крохотная голубая маргаритка Намаквaленда —
что-то шепчем и сознаем и верим

Перевод Д. СИЛЬВЕСТРОВА

Посади мне дубок

Посади мне дубок
чтобы я в нем узнала себя
чтобы белки под ним искали желуди

Подари мне собаку
чтобы мне целовать ее лапы
ночью пока ты спишь глубоко и сердито

Сделай так чтобы мой дубок не ругали
не ломали не рубили не пилили
подари ему голубые поля небес

Построй мне открытый дом
чтобы в окнах его начинался день
зеленый золотой или серый но добрый

Пусть собака любит меня
и я буду ее кормить
пока ты спишь и не видишь в глазах у меня

отражаются звезды

Воспоминание о Кейптауне

Он стережет меня
Он обещает не перерезать мне горло
Он обещает не сажать меня под домашний арест
Он обещает не уморить меня любовной горячкой
Он не знает о моем голоде
Он не знает что крик петуха и домашний арест одно и то же
Он мой отец
Чайными чашками обросла его Столовая гора
И руки его холодны как посуда

На сельскохозяйственной выставке в Гудвуде

Из уваженья к виду моему
они меня засунули в тюрьму.

Свободные пока еще, извне
они глядят на то, как худо мне.

На шею мне повешена медаль,
но я упрямо рвусь в родную даль

прочь от похвал, восторгов и призов,
мне слышен вельда исступленный зов,

где мчался я в вечерней тишине,
где имени еще не дали мне,

где я без славы жил, и без цепей,
и без медали на груди своей.

Я плачу о тебе

Я плачу над смутным телом твоим
синее как твои глаза смутное дальнее море
Рука моя ничто
не уберечь ей тебя
лишь едва изменить дорогу
по которой твои глубокие следы
уйдут в морскую траву
Рука моя ничто
против скал она не может

Но чайка может

Перевод Е. ВИТКОВСКОГО

Я твержу тебя

Я твержу тебя
беспрестанно бесцельно
я твержу твое тело
в исчезающей тени дня
и желтых скрещеньях ночи
среди тусклых улиц
где люди — ряд свечек
я твержу тебя
и мои груди
повторяют углубления твоих ладоней.

Месяц

Как осколок дня серп луны
сиротливый страж тишины
влажный свет скользит ко мне с вышины
я зову я зову зову

Я звезда на белом бедре твоем
как в крещальной купели с тобой вдвоем
в черном воздухе ночи во тьму плывем
и опять и опять опять

Я ищу твое сердце немолчный взгляд
раны рук и лодыжек о как горят
твои губы слова в ночь в бреду летят
позабудь позабудь позабудь

25 декабря 1960 года

На смерть Дилана Томаса

130-я палата по коридору направо.
В 5 утра, ведь как раз в это время
проехала тележка молочника
и глаза лошадей
блеснули на штыках уличных фонарей.
25 декабря 1960 года.
Детские сны, подарки
в рождественском чулке, спутники,
деревянные лошадки, пистолеты, печенье.
Сны перед сиренами солнца,
бомбовыми ударами бабочек.
Твои сны, рождественские чулки при свечах.
На Больничном холме, где расщепленный вяз.
130-я палата по коридору направо.
«Он же выпил не меньше бутылки
и пролежал весь вечер в кислородной палатке.
Вы знаете, он был больным человеком,
алкоголиком с первой же рюмки». (Смотри, там на город
нацелено дуло рассвета!)

«Ах да, ведь он сам как-то сказал,
что он рвался к своему мертвому богу.
Его последние слова? Он ничего не сказал,
и глаза его были открыты».
130-я палата. Они позаботились, чтоб у него
были сомкнуты веки и сложены руки
и вся комната к нему прильнула, как щит.
И на занавеси черной прорезью
замер богомол в неусыпном бденье.

Разгорается лето

Дочери Симоне

Разгорается лето
и море — разломившеюся айвою
словно шарик воздушный
далекое небо
реет над морем
Под цветными зонтиками
снуют мураши-человечки
леденцы в пестрой обертке
весело скалит залив
свои золотые зубы.

Девочка с желтым ведерком
и торчащей косичкой
твой рот колокольчик
с язычком нежно-тягучим
в солнечных играх напевах
укелеле — гавайской гитары

Ушедший город

В дожде пронесшемся
далеким днем и в городе ушедшем
где голуби полны рассвета

мои ладони были юркой белкой
на миг застывшей в неуемном беге
далеким днем и в городе ушедшем

живет твоя улыбка
в каждом сердце
как после дальних странствий

и отшумевший дождь
вбирал мое тепло
охристо-дымный дождь

пахнущий кожей твоих вымытых ладоней
и теплым голубем и распахнувшимся
багряным маком неба

Перевод Д. СИЛЬВЕСТРОВА

■ ■ ■

Мягко пружинит стрела
любовь незаметно ушла
плотник строгает доску
я погружаюсь в тоску

Слово мое колосок со жнивья
малое зернышко гибель моя

Перевод Е. ВИТКОВСКОГО

■

ФРАНЦ-ЙОЗЕФ ДЕГЕНХАРДТ

Бикфордов шнур

РОМАН

Авторизованный перевод с немецкого
И. ЗИЛЬБЕРМАНА и В. КОТЕЛКИНА

— Кто знает Франца-Йозефа Дегенхардта, знает и то, что его «награждали» всякими кличками — ругательными и ласкательными.

Этот человек, который лишь недавно стал прозаиком, но уже давно известен своим песенным творчеством, в одной из своих ярких сатирических песен перечисляет устные и письменные «характеристики», которых за последние годы он удостоился от своих врагов:

агент Зоны [1]
советский шпион
красный таракан
вонючая свинья
анархист и левый фашист...

На стадионе Сантьяго чилийские единомышленники тех немцев, которые от Гамбурга до Мюнхена предают анафеме Дегенхардта, заставили петь Виктора Хару перед политическими узниками. Затем они отрубили певцу кисти рук и подвергли его медленной, мучительной смерти на виду у публики. Те, кто в Федеративной Республике Германии выступает против договора с Москвой и положений Заключительного акта, подписанного в Хельсинки, в свое время превозносили убийц Виктора Хары как «избавителей Чили от марксистского хаоса». Поэтому всем ясно, что проклятия в адрес Франца-Йозефа Дегенхардта — не просто слова, они вызваны ненавистью к нему, обличителю реакции, борцу за демократию.

Последняя пластинка Дегенхардта называется «Расправив плечи». Записанные на ней песни славят 30-летие победы над гитлеровским фашизмом. Певец предупреждает слушателей, что фашизм еще окончательно не сломлен, что в Чили он сеет смерть, в Португалии вновь норовит накинуть петлю на шею народа, да и в ФРГ, где вышла эта пластинка, у него есть весьма влиятельные сторонники. Словом, все, кто в ФРГ хочет жить «расправив плечи», должны бороться за право работать по специальности, за справедливость и счастье.

Дегенхардт живет расправив плечи. Он не боится ни проклятий, ни угроз. Его оружие — острая, злая сатира, призыв к борьбе. Лучше всего это получается у него с гитарой. «Я сочиняю и сам исполняю свои песни,— говорит он.— Это моя работа. А еще меня привлекает политика, что, естественно, находит отражение в моих песнях».

Открытая ангажированность песенного творчества Дегенхардта, активная общественная деятельность в поддержку подлинно демократических сил ФРГ привели к тому, что гамбургская организация СДПГ исключила его из партии. Предлогом для исключения послужило то, что он выступает за укрепление контактов между социал-демократами и коммунистами.

И в самом деле, своим хрипловатым, прокуренным голосом Франц-Йозеф Дегенхардт поет о том, что яркие витрины, пестрые иллюстрированные журналы и тури-

[1] Имеется в виду ГДР (*прим. перев.*).

стские проспекты, официальная пропаганда, речи и обещания правительства, беспрестанный парад звезд на цветном телеэкране и в программах Евровидения призваны завуалировать империалистический характер нынешнего общественного строя в нашей стране — ФРГ, усыпить бдительность трудящихся, отвлечь и дезориентировать их, парализовать в них стремление к счастью, миру и справедливости. И, разоблачая этот обман, Дегенхардт зовет к борьбе, к решительному отпору происка реакции.

Дегенхардт учился своему искусству у Франсуа Вийона, у французских шансонье и исполнителей песен-баллад, тем не менее он предстает перед нами прежде всего как продолжатель великой традиции немецкой революционной поэзии. Боль и гнев звучат в его песнях, говорящих о поражениях немецкого революционного движения.

Искусство Дегенхардта живет мечтой о победе революции — на нашей родине, в Федеративной Республике Германии. Однако национальные мотивы сочетаются в его творчестве с мотивами интернациональными. Так, баллада о революционере времен крестьянской войны XVI века Йосе Фрице оказывается рядом с песенными рассказами о Сакко и Ванцетти и Анджеле Дэвис. Вьетнам, Чили, Португалия — все острые проблемы современности присутствуют в его песнях. В своем «Совете юному социалисту» он призывает молодежь не отказываться от военной службы, а идти в армию, чтобы там развернуть борьбу. Одним из первых среди молодых литераторов ФРГ Дегенхардт попытался нарисовать реалистический образ старого немецкого коммуниста, активную жизнь и борьбу которого он противопоставляет всяким романтическим и абстрактным представлениям о пролетариях, чья сила — в классовой сознательности.

После пребывания на кинофестивале антифашистских фильмов в Волгограде в мае 1975 года под впечатлением увиденного он создал балладу о городе-герое и его жителях.

Песни Дегенхардта записаны на десятки долгоиграющих пластинок, и почти все они распроданы — это большой успех для исполнителя политических песен в ФРГ, но успех, который дался ему нелегко. Объясняется это, правда, успехом демократического течения в нашей культуре, ростом политического сознания молодежи.

Еще десять лет назад господствующая в стране индустрия культуры окружала Дегенхардта завесой молчания. Сегодня могущественные силы этой индустрии уже не могут игнорировать его имя. Попытки этих сил подвергать Дегенхардта цензуре и не допускать, как и многих других прогрессивных деятелей искусства, к мощным по своему воздействию средствам массовой информации — явное свидетельство их слабости. Они недаром боятся Дегенхардта, ибо, уже вдохновив сотни тысяч, он будет продолжать вдохновлять своими балладами миллионы людей.

Многие называют его «папочка Франц». Самые близкие друзья зовут его «Каррач». «Папочка Франц» рассказывал мне, что имя Франц-Йозеф воспринимается теперь почти как ругательство, ибо Штрауса тоже зовут Франц-Йозеф, поэтому друзья предпочитают звать Дегенхардта «Каррач».

Когда я узнал, что «папочка Франц» стал прозаиком, меня это крайне удивило. Это чувство удивления не прошло и после того, как я подержал в руках роман «Бикфордов шнур». Что все это значит? Неужели Франц-Йозеф Дегенхардт решил распроститься со своими любимыми балладами? И что побудило Дегенхардта взяться за прозу?

Мне кажется, в первую очередь,— огромная потребность извлечь пользу из истории, сделать выводы из трагической летописи немецкого рабочего движения. Что может быть убедительнее, когда человек видит, как многие признаки прошлого повторяются, хотя и в новом обличье?

Дегенхардт родился в Швельме, в Вестфалии, на границе Рурской области. Его мировоззрение формировалось под воздействием «индустриального ландшафта», где дымовые трубы шахт и машиностроительных заводов частично «заменяли» лес, а угольные терриконы служили местом для ребячьих игр. Суровая жизнь пролетарского квартала, постоянное общение с коммунистами и социал-демократами породили особый тип закаленных и идеологически стойких людей, одним из ярких представителей которых стал Франц-Йозеф Дегенхардт.

«Бикфордов шнур» — это не вымысел, а отражение увиденного и услышанного. Конечно, Дегенхардт имеет право на соответствующую подачу осмысленного. Но эта художественная подача определяется фактами. А уж композиция и монтаж материала зависят от автора. Безусловно, то, как вели себя Фэнэ, Зугга, Фиман и Цюндер, было отнюдь не типично в условиях фашистской Германии. Но факты такого рода имели место, и Дегенхардту явно хотелось напомнить о них своим молодым современникам.

Повествование, хоть ведется от автора, но в данном случае автор смотрит на все глазами подростка Фэнэ и его друзей. Они не учатся и не работают, эти Томы Сойеры и Гекльберри Финны из рабочего городка Рурской области конца войны. Рано повзрослевшие, эти мальчишки и девчонки выполняют задания подпольной антифашистской организации, возглавляемой русским военнопленным Стáхом.

Автор не стремится придать значимость этим «акциям», подчеркивая достоверность описываемых событий через переплетение игры с серьезностью, детских шалостей — с осознанной не по годам решимостью вести борьбу с нацизмом. Хотя они и

заняты «игрой» в Сопротивление, что субъективно объясняется присущей подросткам жаждой приключений, а объективно диктуется их пролетарской средой, ребята отдают дань своему возрасту — играют в футбол, поют, шутят, озорничают, по-своему «развлекаются». Однако важно то, что они думают и о серьезных вещах, пытаются переварить в сознании высказывания родителей о войне, нацизме и неизбежном будущем — коммунизме, когда все вокруг — школы, фабрики, заводы — станет собственностью народа.

В одном из своих выступлений перед университетским студенчеством Франц-Йозеф Дегенхардт говорил, что именно такие пятнадцатилетние подростки послужили «закваской» для поколения шестидесятых годов — они были носителями лучших черт прогрессивной немецкой молодежи, предшественниками тех, кто впоследствии выступил против реакционного политического курса правительства Аденауэра, а затем оказал мощную поддержку всем прогрессивным силам в борьбе за ратификацию Восточных договоров.

Некоторые спрашивают, было ли на самом деле то, о чем рассказывается в «Бикфордовом шнуре». Не принял ли автор желаемое за действительность? Могли ли жители фашистской Германии вести себя так, как об этом пишет Дегенхардт, когда в стране властвовало гестапо?

Задумав писать роман, Дегенхардт взял магнитофон и объехал с ним Рур, побывал в Гамбурге, в других промышленных районах ФРГ. Он записал на пленку более двухсот интервью с теми, кто принимал участие в сопротивлении фашизму,— а теперь ведь уже доподлинно известно, что очаги сопротивления фашизму, правда мелкие, разрозненные, не составлявшие единого, централизованного движения, каким было Сопротивление в оккупированных гитлеровцами странах, существовали в фашистской Германии, например, в Дортмунде и даже в центре фашистской партии Нюрнберге. Получив такой фактический материал, Дегенхардт уже дал ему в романе свое осмысление.

Споры о достоверности и правдоподобности персонажей и самой фабулы «Бикфордова шнура» разгорелись с особой силой после того, как режиссер Рейнхард Хауф поставил по этой книге фильм, который был показан по западногерманскому телевидению. Хауф снимал свой фильм в тех самых местах, где разворачивается действие романа; в фильме участвовали некоторые местные жители, которые в процессе съемок дополнили рассказ Дегенхардта, своим свидетельством подтвердили подлинность событий. А выход фильма на телеэкран как бы явился лишним доказательством достоверности событий, развернувшихся в фашистской Германии в конце войны.

Почему же все-таки вокруг романа было столько споров?

Как и все произведения реалистического искусства, роман «Бикфордов шнур» можно считать точным и правдоподобным лишь при условии, что автор, его читатели и критики одинаково оценивают лежащие в основе повествования исторические факты и их осмысление.

События в романе «Бикфордов шнур» происходят как бы средь бела дня, тогда как на самом деле все происходило в глубочайшем подполье. К тому же мы знакомимся лишь с отдельными борцами, а не с борьбой в целом. В результате возникает впечатление утопичности действия, тем более что в ФРГ лишь немногим по-настоящему известны эти факты.

Чтобы по достоинству оценить появление такого романа, как «Бикфордов шнур», следует учесть одно очень важное обстоятельство. Современные западногерманские литераторы в подавляющем большинстве описывают национал-социализм и войну с позиций породившей их буржуазной или мелкобуржуазной среды. Можно с определенностью сказать, что за двадцать шесть лет существования ФРГ тема войны и фашизма так и не получила в западногерманской литературе своего серьезного осмысления с позиций пролетариата, тем более что факты сопротивления фашизму стали лишь теперь постепенно выявляться и предаваться гласности.

Своим произведением Дегенхардт затрагивает мало известную широким кругам сферу. Разумеется, в нашей стране антифашистские традиции были и есть. Но двенадцатилетний запрет КПГ, который, впрочем, до сих пор действует, тотальная холодная война, антикоммунизм и антисоветизм не давали и вплоть до сегодняшнего дня не дают возможности многомиллионным массам приобщиться к этим традициям. Хотя за последние годы достигнут некоторый прогресс в школьном и университетском образовании, тем не менее можно утверждать, что согласно учебным программам ни школьники, ни студенты не получают даже отдаленного представления о масштабах и сложности немецкого антифашистского движения. Сегодня в ФРГ учитель лишается возможности преподавать, если он стал коммунистом или последовательным демократом. Это лишний раз доказывает, насколько сильные мира сего боятся, как бы учащиеся не сделали для себя выводов из уроков антифашистской борьбы.

Такой роман, как «Бикфордов шнур», самым непосредственным образом внедряется в сферу политической и идеологической борьбы. А именно в этой сфере за последние годы развернулась в ФРГ острейшая битва за формирование сознания людей. С благословения властей появилось модное течение — ностальгия по прошлому. Во всех капиталистических странах оно преследует одну и ту же цель: бросить тень на воспоминания о напряженных по своему накалу периодах острых экономиче-

ских и социальных кризисов и представить в положительном свете те события, которые на руку реакции. Вот и вздымается волна прославления Гитлера и Геббельса, вот и носятся с мемуарами Шпеера, превращающими его в идеал добропорядочности. Правящий класс и его идеологи, обращаясь к 20-м и 30-м годам, всячески выпячивают и облагораживают тех, кто исповедовал идеи «избавления мира от социализма».

Широко проповедуемым стремлением возврата к старым добрым временам, в действительности не таким уж старым и что угодно только не добрым, господствующие классы отвечают на активизацию антиимпериалистических настроений, на изменившееся соотношение сил. В самых первых рядах борцов оказались лучшие представители молодого поколения, которое — нередко по примеру других народов — начинает подходить к осмыслению истории своего народа и открывать достойных для подражания героев Сопротивления на своей родине.

Я полагаю, что в работе над «Бикфордовым шнуром» Франц-Йозеф Дегенхардт как раз и поставил перед собой задачу — показать этот процесс. (Такую цель, по-видимому, ставил он и в своем новом романе «Места пожаров», опубликованном в 1975 году. В нем автор анализирует причины, влияние и характер псевдореволюционности, появившейся среди молодежи в последние годы,— примером тому хотя бы может служить террористическая группа Баадер — Майнхоф. В этом романе Дегенхардт убедительно показывает, как такие силы могут быть использованы для дискредитации демократического движения вообще. «Места пожаров» — это не документальный роман, но в нем отражены общеизвестные факты, события и лица.)

В романе «Бикфордов шнур» Дегенхардт не только рисует картины антифашистского подполья. Его книга заняла свое место в борьбе с реакционной ностальгией, с фальсификацией истории рабочего Сопротивления апологетами правой социал-демократии, с ультралевыми всех мастей, в борьбе с антисоветизмом. Только в этом контексте следует воспринимать и фигуру советского товарища по имени Стах. В западногерманской литературе Стах — один из первых положительных героев советского происхождения, хотя он и выглядит скорее как фигура с политического плаката, а не как живой персонаж. На образе Стаха сильнее всего сказалась приверженность Дегенхардта к балладе, но это ощущается в показе и других персонажей книги.

Дегенхардт сознательно отказывается от детализации образа Стаха (он, естественно, отличается от того, каким представляют себе коммуниста советские читатели), но в романе подчеркнута ведущая роль советских коммунистов — наглядный пример интернационализма — в условиях глубокого подполья в фашистской Германии.

Дегенхардт принадлежит к тому поколению, которое стало жертвой обмана. Изучив юриспруденцию и став адвокатом, Дегенхардт очень скоро понял, что право в этой стране — понятие классовое и что у штурвала власти стоят все те же, кто в свое время установил в Германии фашизм. И тогда Дегенхардт решил отстаивать справедливость песнями, с помощью своих баллад бороться за демократию и прогресс.

До разгрома фашизма немецкие революционеры неизменно терпели поражение у себя на родине. Это не должно больше повториться, говорит Дегенхардт. Интернационалист, он создает образ русского большевика Стаха, представителя народа, который помог немецкому рабочему классу снова расправить плечи и взять в свои руки власть в той части Германии, которая теперь называется ГДР.

Антифашистская тема всегда присутствует в творчестве прогрессивных писателей ФРГ. Она каждый раз вновь и вновь возвращает читателя к историческим первоистокам. И каждое поколение, каждый автор осмысливает ее по-новому, по-своему. Дегенхардт преломляет эту тему в расчете на нынешнее молодое поколение. Это им он адресует призыв: вставайте на путь, избранный подростками из «Бикфордова шнура».

Конечно, популярность и успех автора и исполнителя баллад Дегенхардта еще несоизмеримы с его репутацией прозаика. Однако прозаик Дегенхардт доказал, что он с присущей ему страстностью может ставить актуальные темы борьбы в нашей стране, борьбы, которая охватывает все более широкие слои сознательной учащейся и рабочей молодежи.

В одной из его песен, написанных в 1974 году, есть такая строфа:

В испанском селе, в бухенвальдском
бараке—
фашизма кровавого страшные знаки.
Среди искореженных русских лесов —
кровавые знаки коричневых псов.
Испачкана кровью всемирная карта:
деревни Вьетнама... Сантьяго... Джакарта...
Но как ни безмерна людская беда,
фашизму людей не сломить никогда!..
Пусть черные тучи угрозу таят,
народы бессонно на страже стоят...

(Перевод Льва Гинзбурга)

Мюнхен, сентябрь 1975 г.

ФРИДРИХ ХИТЦЕР

Глава первая

Куда исчезла Эльза

Они, как всегда, сидели на городской стене — Фэнэ Шпорман, Фиман Ронсдорф, Тюнеман Ниус, Цюндер Крах и Зугга Трич. Тут, грохоча подбитыми башмаками, примчался Цис Шюслер и выпалил:

— У Фридхен Бор кобыла Эльза пропала. Украли.

Все смотрели на Фэнэ, а он молчал. В это время из заводских ворот на улицу повалили люди после смены, к Зугге подошла мать и влепила ей затрещину за то, что она прохлаждается на стене, а маленькая сестренка одна дома и до сих пор некормлена.

Когда все улеглось, Фэнэ спрыгнул со стены, пошел вдоль железнодорожной насыпи, вышел на площадь перед цейхаузом № 3, прошел в ворота и оказался среди бараков. Здесь был лагерь для русских. У входа дежурил толстый Кульман с пистолетом на боку, он смотрел в сторону насыпи и притворялся, что не замечает Фэнэ.

Стах деловито скручивал сигареты. Фэнэ только было заикнулся об истории с Эльзой, но Стах тут же сказал, что из лагерных никто не замешан.

— Во-первых, — сказал Стах, — к ней в конюшню трудновато пробраться. И потом, чужого она бы насмерть забила копытами. И вообще сегодня ночью никто из русских за зону не выходил.

Значит, под подозрением всего несколько человек. Перебрали одного за другим и остановились на Ханзи Хаасе. Стаху было известно, что тот два дня назад вернулся из отпуска, вчера утром его видели пьяным в кустах у насыпи, а после обеда он стрелял крыс. Стах и Фэнэ решили, что скорее всего это Ханзи с подручными украл и прирезал Эльзу.

— Раздобыть бы этого мяса, — сказал Стах, — у Лены из Минска ребенок родился, его надо спрятать, а заводской санитар даром ничего не делает.

Фэнэ вернулся к ребятам, которые дожидались его на стене, отправил Циса Шюслера домой и рассказал про Ханзи Хааса. Обсуждали дело и так и сяк, но ничего не могли придумать.

— Послушайте, — сказала вдруг Зугга, — а прачечная в саду у Шпекенбахов?

Раньше Шпекенбахи стирали там белье — и для других тоже. Но уже почти полгода прачечная пустовала, в ней только хранилась какая-то рухлядь. Ребята все сами проверили: они как-то залезли туда и ничего интересного не нашли. В прачечной можно спокойно сварить мясо — дров сколько хочешь и никто туда не ходит. Решили этой же ночью заглянуть к Шпекенбахам.

По сигналу воздушной тревоги все в квартале бежали в заводское убежище — дети там спали, взрослые занимались кто чем: штопали, латали, играли в карты, пили брагу, потом тоже засыпали, а после отбоя шли на работу или домой.

Первым всегда уходил Тюнеман Ниус: спешил доставить домой парализованную бабушку, а потом на условленном месте поджидал ребят. Так и на этот раз было.

Фэнэ Шпорман проверил свой «вальтер», и все двинулись через туннель под железнодорожной насыпью, вылезли возле свалки и стали пробираться вдоль насыпи. На фоне неба вырисовывались деревья.

Воздух гудел от приближавшихся бомбардировщиков. Недалеко стояли зенитные батареи, прожекторы все время обшаривали мест-

ность, и по насыпи пришлось пробираться ползком. Потом они скатились по откосу насыпи, пригнулись и пошли дальше огородами, мимо домишек; наконец, добрались до дощатого забора вокруг сада Шпекенбахов. Перелезли через забор, залегли в бурьяне и прислушались.

— Чем-то пахнет, — сказал Фиман.

Они подкрались к самой прачечной; окна были заколочены. Фэнэ взобрался на плоскую крышу, чуть не задохнулся от густого дыма, который валил из трубы, подполз к тому месту на крыше, где были оторваны две планки, заглянул в дыру и увидел одноногого Пино Экхофа. Пино стоял над чаном и планкой мешал мясное варево. На стене висела карбидная лампа, рядом на крюке — ремень, а на нем кобура с пистолетом. У стены на соломе лежал Ханзи Хаас.

Фэнэ хотел оторвать еще одну планку, но тут загремели зенитки. Он видел, как Пино заковылял к двери, выглянул и снова прикрыл дверь. Ханзи Хаас привстал, но не устоял на ногах и свалился на солому.

Где-то возле товарной станции уже рвались бомбы. Фэнэ спрыгнул с крыши. Все подбежали к нему. С пистолетом в руке Фэнэ кинулся к двери, рывком распахнул ее, бросился к стене, где висела карбидная лампа, сорвал пояс с кобурой и крикнул ребятам, чтоб держали Пино. Тот уже поднял над головой планку, но Фиман наскочил на него сзади и повалил.

Фэнэ перекинул через плечо ремень с кобурой, сел на ящик и наставил на Ханзи Хааса пистолет.

— Скотина! — сказал он.

— Что, мясца захотелось? — спросил Ханзи. — Ну, сколько вам выделить?

— Что тебе Эльза сделала? — заорал Тюнеман. — Ее все любили! Убить тебя мало, сволочь!

В прачечной воняло жженым волосом, мясом и каким-то гнильем. Повсюду была кровь, в углу валялись Эльзины копыта в светло-желтых волосках и отрезанная голова со светло-желтой гривой. Зугга нежно погладила гриву, потом подскочила к Ханзи и наотмашь ударила несколько раз. Все закричали, но Фэнэ перекричал всех:

— Хватит вам! Эльзу не вернешь! Давайте мясо делить.

Под двумя чанами горел огонь. В одном кипела горячая масса, шипела, пузырилась, в другом варились большие белые куски мяса. Цюндер вилами подцепил мясо и швырнул на землю.

Когда они, обливаясь потом, резали мясо, совсем близко разорвалась бомба. Воздушной волной их бросило на землю. Половину крыши снесло. Карбидная лампа лопнула. Солому пришлось гасить горячим варевом из чана. Ханзи Хаас под шумок хотел сорвать с плеча у Фэнэ ремень с кобурой, но Фэнэ вывернулся, отпихнул его. Ханзи упал.

— Сунься еще — застрелю, — сказал Фэнэ.

Все небо полыхало, и из-за дыры в крыше внутри стало совсем светло. Мясо завернули в брезент и побежали, пригнувшись под тяжелыми мокрыми узлами; пока пересекли насыпь, несколько раз бросались на землю. Расстались у виадука.

Фэнэ перебрался через насыпь, бросил узел у подземного хода, который они тут выкопали, нажал на стенку, прикрывавшую вход, и вдруг услышал, что кто-то крадется к нему. За двумя кустами дрока в зарослях крапивы он разглядел Стаха и подал условный сигнал. Развязали узел, Стах вытащил кусок мяса, бросил в мешок, Фэнэ дал ему еще кусок, оставил себе тоже и рассказал, что произошло в старой прачечной.

— Проклятая война, — сказал Стах, — достается тебе как взрослому, в тринадцать-то лет.

— Мне скоро четырнадцать, — ответил Фэнэ, — не маленький.

Посидели еще в кустах, — курили и глядели на небо, до самого горизонта в дыму и пламени.

— Все разнесут, — сказал Фэнэ.

Стах ответил:

— Ничего, твой отец с товарищами все отстроят. Впредь бдительнее будут. Кой-чему научились. Ну и Советский Союз рядом.

Фэнэ погасил сигарету.

— Дождаться бы, — сказал он.

И они пошли в разные стороны.

Глава вторая

Арест

Фэнэ сидел на подоконнике и смотрел на маневрировавший паровоз. Паровоз толкал вагоны, они катились по рельсам, на пути стояли другие вагоны, буфера сталкивались — и раздавался лязг металла. Паровоз пускал пар, дым из трубы спиралями шел кверху, желтый и розовый в вечерних лучах. Рабочий день кончился, везде пооткрывались окна, люди шумно рассаживались за столами.

В лагере между бараками лежали русские. Один запевал, другие подхватывали, пели хором. Тогда люди в домах подходили к окнам, умолкали и смотрели вдаль. Фэнэ тихонько наигрывал на губной гармонике и думал: наверно, так будет, когда война кончится.

Отец лежал на диване, делал вид, будто читает газету, а сам прислушивался к тому, что происходит за окном. Мать что-то латала, брат Карлхайнц клевал носом.

К дому подъехала машина, выскочили четверо. Все отпрянули от окон, пение смолкло, только слышалось, как пыхтит паровоз. Отец вскочил, встал рядом с Фэнэ у окна; они увидели, что один из приехавших остался у подъезда. Шаги на лестнице — поднимаются все выше, выше, вот они уже на площадке. Дверь распахнулась. В кухню вошли трое. Самый низенький сказал:

— Шпорман, вы арестованы.

Анна Шпорман заголосила:

— В третий раз за ним приходите! Проклятые! Мало вам, что все уничтожаете, детей на войну берете!

Тут в соседних домах застучали, затрещали, загрохотали, как по сигналу.

Хайни Шпорман стоял у окна. Он был совершенно спокоен.

— Долго еще мучить нас будете? — спросил он низенького.

Другой сыщик, здоровенный малый, ударил его кулаком в лицо.

Фэнэ отошел от окна, украдкой скользнул к скамье, за которой был спрятан его «вальтер», и только было протянул за ним руку, как брат рухнул на скамью; Фэнэ встал на колени — он думал, что это обморок, но Карлхайнц положил ему руку на голову и шепнул:

— Молчи!

Фэнэ встал, а второй сыщик крикнул:

— Только пикните еще, всех арестуем!

— Ладно тебе,— сказал Хайни Шпорман,— а ты, мать, уложи-ка снова мой чемодан, завтра утром принесешь.

Он надел пиджак, сыщики вытолкали его из комнаты. Низенький еще осмотрел кухню, пожал плечами и вышел.

Когда Хайни Шпормана вывели на улицу и стали сажать в маши-

ну, из окон полетели цветочные горшки, старая посуда; машина быстро дала задний ход, развернулась и умчалась.

Фэнэ буквально задыхался от бешенства. Потом пришли соседи, уселись на кухне. Говорили, что теперь уже недолго осталось терпеть, и тому подобное.

Фэнэ выбежал из дома и помчался к Фиману Ронсдорфу. Тот сидел за столом, собираясь чинить сапоги, и натирал куском смолы тонкую бечевку. Его мать что-то шила.

— Ничего не поделаешь — надо терпеть,— сказала она.

Фэнэ молча рассматривал фотографию на стене. С фотографии на него глядел усач верхом на лошади. На голове — сомбреро, на груди — крест-накрест две ленты с патронами. В правой руке винтовка, в левой — поводья. Усач улыбался. На заднем плане высился гигантский кактус.

Фотографию все видели тысячу раз, снимали со стены, рассматривали в лупу. Она уже пожелтела, покрылась жирными пятнами. Человек на фотографии, сделанной в 1919 году в Мексике, был дядя Фимана — Альфонс.

Мать Фимана, Герта Ронсдорф, наблюдая за Фэнэ, который рассматривал фотографию, заметила:

— Здесь живем, здесь и оставаться надо. Вот ведь отец Герберта...— (настоящее имя Фимана было Герберт) — не сбежал ведь, не улизнул.

Отца Ронсдорфа взяли три года назад. Сейчас от него пришла весточка из лагеря недалеко от Гамбурга.

Герта Ронсдорф прошла в спальню, вынесла оттуда фотографию, положила на стол.

— Вот,— сказала она,— лучше сюда посмотри.

Это была фотография Сталина. Когда-то отец Фэнэ принес пачку таких фотографий и раздавал, как он говорил, за особые заслуги. У Фэнэ тоже была такая. Он сел подле Фимана и вытащил ее из кармана. Сталин был в сером военном мундире с большой звездой на погонах. Красивый человек со щеточкой усов и густой черной шевелюрой ежиком.

— Будь уверен, русские их всех побьют,— сказал Фиман и вытащил из-за скамьи бутылку браги.

Мать сразу заворчала:

— Вечное пьянство, мало, что взрослые пьют...— Но потом и сама приняла стаканчик; не успели они выпить, как дверь комнаты рядом со спальней отворилась и появился дедушка Фимана, почуявший запах спиртного сквозь стену.

— Дай-ка и мне глоток,— сказал он и сел за стол.

Старик вечно сосал трубку. Усы у него были седые, глаза такие водянистые, что при взгляде на них тут же хотелось плакать, а шею украшал красный шарфик. Дедушка Фимана уже несколько лет как выжил из ума, его держали взаперти и не выпускали из дома — нацисты таких забирали. В прошлом году ему еще разрешали убирать мусор на площади перед заводом, но как-то мимо проходил старый Мюллер-Бальценбек, бывший хозяин, увидел старика, засмеялся и сказал:

«Что, Артур, тебя еще не забрали?»

Артур Ронсдорф ударил его лопатой, тот упал, но тут же двое из заводской охраны сбили дедушку с ног.

Дело было бы дрянь, если бы отец Фимана и с ним один человек из Бармена не навестили старого Мюллера-Бальценбека в больнице. Они кое о чем с ним поговорили. Шел 1943 год. После Сталинграда и Курска Красная Армия неудержимо продвигалась вперед. Повсюду в

Европе вспыхивали вооруженные восстания. Арестовали Муссолини. Нацистская империя разваливалась, уже был виден ее конец, а у старого Мюллера-Бальценбека ума хватало, чего нельзя сказать о двух его сыновьях, теперь хозяевами шнырявших по цехам в форме штурмовиков. Правда, их все равно никто не принимал всерьез.

А старику Ронсдорфу запретили появляться на территории фабрики, но его не трогали.

— Я пойду к Дауценбергам,— сказала мать Фимана,— только не давайте дедушке пить.

Однако едва она вышла, старик схватил бутылку и, прежде чем Фэнэ сумел ее вырвать, отхлебнул как следует.

— Что, забрали Хайни? — спросил он у Фэнэ.

— Иди, дедушка, к себе,— сказал Фиман, но старик поднялся, встал у шкафа и запел, сначала тихо, потом все громче: — «Вперед, заре навстречу».

— Тише, тише,— заволновался Фиман, однако старик вошел во вкус и еще громче запел:

— «Глядите, идут миллионы...»

Впрочем, допеть до конца ему не пришлось. В комнату ворвалась мать Фимана, закричала:

— Прекратите сейчас же, бессовестные, споили дедушку...— и вкатила Фиману оплеуху, а Фэнэ предпочел удрать. Он сбежал по лестнице вниз и там вдруг расхохотался.

Тюнемана Ниуса разбомбили, и он теперь жил с четырьмя сестрами и бабушкой в переоборудованном вагоне первого класса у железнодорожной насыпи. Сейчас все были дома и сидели в маленькой комнатке за круглым столом: Ганнелора и Дорис — пятилетние, Роза и Клара — семнадцатилетние сестры-близнецы, тут же Тюнеман, а между Розой и Кларой втиснулся круглолицый и весь потный солдат. Ростом он был значительно ниже высоких сестер. В углу, держа под наблюдением дверь и окно, в кресле-коляске восседала парализованная бабушка. Они ели буженину с горячей дымящейся капустой и, как всегда, говорили громко и наперебой.

— А, входи, милый,— сказала бабушка, увидев Фэнэ.— Мы слышали, какой жестокий удар постиг не только тебя, но всех нас.

Берта Ниус любила цветисто выражаться, зато понимала по-французски и по-английски и умела печатать на машинке. Она хорошо знала Тельмана и утверждала, что даже познакомилась в Лондоне с Лениным, правда, ей никто не верил.

Фэнэ присел возле Тюнемана.

— Нам удалось достать полсвиньи,— пояснила бабушка,— между прочим, Фэнэ, сможешь убедиться, что это за мясо. Солдата, который сидит между двумя старшими сестрами твоего друга, зовут Пауль, он доставил нам весточку от Фрица. Мы считаем, что это оправдывает наш сегодняшний маленький праздник.

Фэнэ ел, пил и прислушивался к разговору за столом. Отец Тюнемана был в штрафном батальоне, известия приходили редко. Пауль сообщал, что он здоров и в батальоне вместе с ним много друзей и кое-кто из своих.

Потом старуха перешла к своей любимой теме — как подобраться к усиленно охраняемому продуктовому складу вермахта на железнодорожной товарной станции.

— Да ну тебя, бабушка,— оборвал ее Тюнеман,— ерунду ты говоришь.

Берта Ниус умолкла и больше к этой теме не возвращалась.

Только Тюнеман позволял себе говорить со старухой в таком тоне. Тюнеман был ее любимцем. Как-то в комнате были все — старуха,

Фэнэ, Фиман и Тюнеман, и Тюнеман зачем-то отошел и не слышал, о чем говорили за столом, а она сказала:

«Правда, он похож на молодого Ленина?»

Конечно, Тюнеман догадался, о чем речь, но Фэнэ и Фиман притворились, что не расслышали вопроса, и Тюнеман успокоился. А вообще-то внешность у Тюнемана была самая обыкновенная, как у всех Ниусов, и на молодого Ленина он ничуть не походил. Фиман и Фэнэ потом катались со смеху, передразнивая старуху и повторяя ее слова, но ничего никому не рассказали. Только иногда, когда Тюнеман говорил уж очень учено или непонятно, Фиман откидывался в кресле, засовывал под мышки большие пальцы и говорил: «Гляньте-ка, правда, он похож на молодого Ленина?» И Тюнеман умолкал.

— Теперь твой отец попадет в лагерь,— сказала Роза, но тут же все решили, что это лучше, чем тюрьма.

Когда Фэнэ собрался уходить, старуха кивком подозвала его, притянула к себе его голову, шепнула на ухо что-то неразборчивое и поцеловала.

— До завтра,— сказал Тюнеман.

Фэнэ вспомнил, как отец говорил:

«Если что стрясется, знай: здесь всюду наши люди, твои друзья. Спокойно иди к ним».

Фэнэ пошел бы к Стаху, но у того сегодня ночная смена. И он пошел к Цюндеру Краху.

Мать у Цюндера была католичка. Ежедневно в шесть утра ходила в церковь. Об этом много болтали, но Хайни Шпорман сказал однажды, когда все сидели за столом, делая вид, будто празднуют день его рождения: «Что ее осуждать? Она много добра делает, любому стоит поучиться. А церковь — что? Так уж ее воспитали». Хайни Шпорман и отец Цюндера знали друг друга с детства и были почти неразлучны. В прошлом году отец Цюндера погиб.

— Это им испытание послано,— сказала Лизбет Крах.

— При чем тут испытание,— сказал Цюндер,— что за чушь!

— Хватит вам спорить,— сказал Фэнэ. Он не любил, когда они ссорились из-за католической веры. Он уплетал картофельные оладьи на рыбьем жире и слушал рассказ Цюндера о том, как Карл Май подарил Маре Дуриме оба свои ружья. Фэнэ попросил показать ему это место в книге и рассмеялся. На городской стене или в сарае у Боров Цюндер часами рассказывал им о Карле Мае. Он просто на нем помешался и злился, когда кто-нибудь говорил, что все это выдумки. Но теперь Цюндеру больше читать не хотелось.

Лизбет Крах дала Фэнэ для матери несколько кофейных зерен в конверте и сказала:

— Да поживей иди, а то не поспеешь домой до воздушной тревоги.

Но Фэнэ решил еще зайти к Тричам.

Зугга сидела напротив матери, широко расставив руки. На них была накручена шерсть, а Эрна Трич сматывала разноцветные нити в клубок.

— Не волнуйся,— сказала Эрна,— отец вернется, ведь не в первый раз, сам знаешь, как...

— Ладно тебе,— оборвал Фэнэ, сел у окна, вынул губную гармошку, перебрал несколько мелодий, потом начал «Болотных солдат»[1]. Обе тихо подпевали.

Потом Зугга сказала:

---

[1] Известная песня пролетарской солидарности.

— Вчера заходил Хорсти Бакхоф, болтал, как они Россию завоевывали.— Она скорчила гримасу, скривила рот — вылитый Хорсти Бакхоф — и пролепетала, заикаясь:— «У них вообще нет никакой ку-ку-культуры, у э-э-этих и-иванов».

Фэнэ от смеха чуть со стула не упал. Скоро он ушел.

Глава третья

Предупреждение

Разбомбили еще одну школу, последнюю в городе, и теперь ребята по утрам были свободны. Фэнэ уже не укладывался в постель, когда брат уходил в утреннюю смену. Чаще всего мать отрезала ему ломоть хлеба, он отправлялся к городской стене, усаживался там и ждал, пока подойдут остальные.

Однажды утром, когда на стене, кроме Фэнэ, никого еще не было, через площадь прошла мать Зугги и, подойдя к заводским воротам, что-то шепнула вахтеру в будке.

Гуго Бек (у него была одна нога, одна рука и глаз тоже один) закричал из будки:

— Не выйдет!

Тогда Эрна Трич намекнула ему, что у него не все дома.

Фэнэ подошел к воротам; Гуго, прихрамывая, вышел из будки и погрозил единственной рукой. Но Гуго был свой и разыгрывал этот спектакль по многу раз на дню. Гуго и мать Зугги орали наперебой. Он повторял: «Время рабочее», а она кричала, мол, парень только принесет ей поесть, мол, бесстыжие твои глаза и всякое такое прочее.

— Ну вот что,— сказала, наконец, Эрна Трич.— Сбегай-ка к нам, Фэнэ. Зугга дома.— И продолжала перебраниваться с вахтером.

Зугга Трич сидела, привалясь к спинке дивана, и, держа на руках сестренку, поила ее молоком из соски. Фэнэ посмотрел, как малышка ест.

— Хочешь попробовать? — спросила Зугга.

— Это грудное молоко?

Зугга кивнула и подала ему бутылку, Фэнэ взял было в рот соску, но тут же вскочил, подбежал к раковине и все выплюнул. Зугга расхохоталась:

— Эх ты, это же коровье молоко.

Они хохотали, пока не разревелась сестренка.

Потом Фэнэ сказал:

— Я пришел за бутербродами.

— Не понимаю, мать взяла их с собой, она никогда ничего не забывает. Но все же, видно, надо мне пойти с тобой, наверное, что-то случилось.

Потом они еще подумали и решили, что Зугга останется дома.

В будке вахтера рядом с Гуго сидел новый начальник заводской охраны, такой черненький, родом из Южной Германии. Он сразу заорал:

— Проваливай отсюда, нечего шляться по заводской территории, шпионите где только можно...

Фэнэ показал пакет с бутербродами:

— Вот, для Эрны Трич.

— Давай и сматывайся.

— Младшая дочка Эрны Трич сильно заболела,— возразил Фэнэ.— Зугга не знает, что делать, малышку рвет, мне надо спросить у матери, какие ей дать капли.

— Беда с этими ребятишками, одни неприятности,— сказал Гуго Бек,— я сам отведу его в цех, господин начальник охраны.

— Только на три минуты! — рявкнул начальник.

Гуго заковылял вместе с Фэнэ, они пошли через площадь в цех, где изготовляли канистры.

По дороге Фэнэ вспомнил прежних начальников заводской охраны. Оба погибли вскоре после вступления в должность. Одного завалило бочками, которые сорвались с подъемного крана, второй погиб под маневровым паровозом. Новый начальник слишком напускал строгости, тут стоило призадуматься; у Гуго в голове бродили примерно те же мысли, и он сказал:

— Ничего, этот негодяй здесь не состарится.

Проходя через помещение, где производили электросварку, оба зажмурились, чтоб в глаза не попали искры.

— Осторожно! — закричал Гуго, но Фэнэ хорошо знал эти места.

Они прошли мимо кабин с пескоструйными аппаратами и оказались у транспортера, где лежали старые канистры. Работницы оббивали деревянными молотками с них ржавчину.

Мать Зугги вышла навстречу. Фэнэ передал ей еду. Она тихо шепнула: «Туда!» Фэнэ шмыгнул мимо нее в туалет, где уже поджидал его маленький Поттман. Тот сунул ему в карман записку и тихо сказал:

— Срочно передай записку и сообщи: курьер сегодня вечером не придет, скорее всего — предательство. Осторожней, семья ничего не знает, это у судьи, возьми с собой Зугту — ее мать у них убирала.

— Да ну же, выходи скорей! — закричал снаружи Гуго.

За кабинами с пескоструйными аппаратами Фэнэ прочел записку: «К Пальману, Бисмаркштрассе, 7, не придет посетитель. *Какаду*». Проходя по цеху, Фэнэ скатал записку в крохотный комочек и, спасаясь от сыпавшихся вокруг искр, низко пригнулся, сунул комочек в рот и проглотил.

Когда Фэнэ выходил, начальник охраны даже не взглянул на него, а Гуго Бек крикнул вслед:

— Не забудь, какие капли нужны, ты, рохля.

Вся эта история не очень понравилась Зугге. Она сказала:

— Пальман — судья, у таких — заводы, фабрики. Что у нас с ним общего?

Фэнэ тоже призадумался, но потом вспомнил, что рассказывал ему отец про одного врача, который вместе с ним боролся против фашистов:

— Этот врач в тюрьме как-то так ухитрился сделать, что отец заболел дизентерией, его отправили в лазарет и не могли допрашивать. И еще врач передавал на волю важную информацию, пока его не сцапали. Насмерть забили этого врача, а он никого не выдал.

— Мать, правда, несколько раз поздно возвращалась от Пальманов,— вспомнила Зугга.

— Странное дело,— возмутился Фэнэ,— взрослые никогда ничего не расскажут толком. Надо будет поговорить со Стахом.

— Все равно без нас им не обойтись,— заключила Зугга.

Стали разрабатывать план действий.

— К Пальманам надо идти после обеда, в два часа: такие всегда обедают в час,— пояснила Зугга.

Фэнэ по памяти написал на клочке бумаги: «К Пальману, Бисмаркштрассе, 7, не придет посетитель. *Какаду*».

Зугга сказала:

— Мог бы написать: «Посетитель не придет» — и все.

Но Фэнэ не согласился:

— Мне отец объяснял, что в этих случаях важно не только каждое слово, но и порядок слов.

Найти дом по указанному адресу было не так-то просто, но Зугге приходилось бегать сюда с поручениями, и она быстро разобралась что к чему. Дома на этой улице выглядели как настоящие крепости, в том числе и дом номер семь, с башенками и эркерами, увитыми плющом. Железных оград не было, но от улицы дом отделяла невысокая стена с вмазанными поверху осколками стекла.

— Чтобы кто-то напоролся и сломал себе шею,— сказала Зугга.

Они прошли через калитку в стене, вошли в дом и поднялись по лестнице наверх.

Квартира была на втором этаже. Они позвонили и ждали долго. Потом дверь открылась, и худенькая старушка спросила, что им нужно.

— Моя мама у вас убирает,— сказала Зугга,— а мне надо кое-что передать фрау Пальман.

Они прошли по длинному коридору, справа и слева были двери, одну старушка открыла и сказала:

— Входите и садитесь, только ведите себя хорошо.

Посредине комнаты стоял большой стол и много стульев, а на столе ваза с фруктами. Фэнэ взял персик и надкусил. Оказалось, что это никакой не персик.

— Картон, что ли,— сказал он и положил персик обратно.

В комнате царил полумрак, окно было открыто, жужжали мухи, пахло едой.

Вдруг раскрылись раздвижные двери, хотя шагов не было слышно. В дверях стояла женщина.

— А, маленькая Трич,— говорит женщина,— а кто это с тобой?

Фэнэ испугался: он не знал, что в комнате есть вторая дверь. Женщина раздвинула до конца обе половинки, так что теперь можно было заглянуть в соседнюю комнату. Там стоял большой черный рояль.

Фэнэ спросил:

— Это пианино?

— Рояль,— ответила женщина.— А как тебя зовут?

— Эрнст,— сказал Фэнэ.

— Ты играешь на рояле?

— Нет, только на губной гармошке.

Зугга долго и подробно объясняла фрау Пальман, что мама сегодня убирать не придет, потому что заболела сестренка. Зугга сочиняла на ходу и тараторила без умолку, рассказывала, какая сестричка умненькая, уже говорит «уа-уа» и все, все понимает. Зугга непрестанно хихикала и подпрыгивала — пусть фрау Пальман думает, что она дурочка.

А Фэнэ ломал себе голову, как бы выиграть время. Судья не появлялся.

— Может, сыграли бы нам что-нибудь? — попросил он.— Мы так любим хорошую музыку.

— Я не играю,— сказала фрау Пальман,— но наша Эдит прекрасно играет... Эдит,— позвала она, и в комнату вошла девочка с косичками.

— Это маленькая Трич и ее друг Эрнст,— сказала фрау Пальман,— им хочется послушать, как ты играешь. Сейчас я вас покину, только не играй слишком громко, отец еще работает.

— Приятно познакомиться,— сказала Эдит.— Я вам сыграю, а вы отгадайте, что это такое.

Эдит поставила на рояль ноты, предупредила: «Только не подсматривать!» — и ударила по клавишам. Она играла, а Фэнэ озирался по сторонам. Позади рояля тоже была раздвижная дверь, и он решил, что там кабинет судьи. Фэнэ медленно обошел рояль, чтобы быть поближе к двери.

Тут Эдит перестала играть и спросила:

— Ну, что я играла?

— Это было здорово,— сказал Фэнэ.— Сыграй еще что-нибудь.

И Эдит снова заиграла.

Фэнэ прислонился к двери и прислушался, разглядывая картину, висевшую у Эдит над головой. На картине были изображены толстый мужчина и девушка. Девушка играла на скрипке, мужчина улыбался. Вдруг Фэнэ услышал какой-то шорох, а потом — совершенно отчетливо — кашель, причем кашлял явно мужчина.

— До чего здорово! — крикнул Фэнэ.— Зугга, иди сюда! — Он схватил ее за руку, громко запел: «Тара-рити тарарум-тадум!» — и стал отплясывать вокруг рояля вместе с Зуггой, а сам пел все громче и громче.

— Турецкий марш! — объявила Эдит.

Зугга закричала:

— Здорово! — и несколько раз хлопнула рукой по крышке рояля.

Тут раскрылась раздвижная дверь, и в комнату влетел высокий лысый человек в очках.

— Что случилось? — рявкнул он.

Эдит вскочила.

— Это они шумели, папа,— сказала она, кивнув в сторону Фэнэ и Зугги.

— Кто вы такие? — спросил судья Пальман.

Фэнэ подошел к нему совсем близко и сказал:

— Я Эрнст Шпорман, а это Гизела Трич, дочь Эрны. Сколько у вас книг!

И бочком мимо судьи — в соседнюю комнату.

Судья вошел за ним следом и, положив ему руку на плечо, сказал:

— Да, книг много, но я не все читал.

«Ну, пора»,— подумал Фэнэ.

Он сделал еще несколько шагов, стал спиной к письменному столу, нашарил в кармане записку и тут заметил, что Эдит как-то странно на него смотрит.

— Я испугался, когда твой отец вошел,— сказал Фэнэ,— а эта штука мне нравится.— И он ткнул пальцем в картину, где были нарисованы толстяк и девушка.

Эдит повернулась, чтобы взглянуть на картину, и Фэнэ, пристально глядя на судью, быстро положил записку позади себя на письменный стол. Судья кивнул.

— Вот что,— сказал Пальман,— оставьте-ка меня в покое, мне надо еще поработать.

Вернувшись в комнату, где стоял рояль, Фэнэ спросил у Эдит:

— Может, дашь мне на несколько дней ноты? Мне эта вещица очень понравилась, хочу разучить ее на губной гармошке.

— Не знаю,— нерешительно сказала Эдит.

— Я через несколько дней верну,— сказал Фэнэ и взял ноты.

В комнату вошла фрау Пальман:

— Почему вы подняли такой шум? Ведь отец работает!

Когда за Зуггой и Фэнэ дверь подъезда захлопнулась, они услышали, как фрау Пальман сказала: «Господи, какие невоспитанные дети!»

— А ты знаешь,— сказала Зугта уже на улице,— Эдит совсем не дура, она наверняка что-то заметила. Старику бы побольше поорать.

Зугта рассказала Фэнэ, что судья всегда свирепствует, если в доме шумят. На этом-то и был построен весь план.

В общем, Фэнэ далеко не все было ясно. «Так или иначе,— подумал он,— теперь судья все знает».

— Посмотрим,— сказал он,— все равно мы скоро сюда еще раз придем.

Глава четвертая

Соната Моцарта A-dur

Шел дождь, и вся компания сидела в сарае у Боров, рассматривая ноты.

— Соната A-dur,— прочел Тюнеман,— Моцарт. Его музыку я слышал. Помню, на скрипке играли в часовне, на кладбище, когда хоронили доктора Штратмана. Я с бабушкой на похороны ходил.

— Красивая музыка? — полюбопытствовала Зугта.

— Довольно унылая,— сказал Тюнеман,— но бабушка такую любит.

— Чепуха вся эта музыка, Моцарт и как их там еще,— сказал Фиман.

Они заспорили, Тюнеман сказал:

— Музыка, может, и хорошая, просто мы ее не понимаем, нас этому не учили.

— Именно,— сказал Фиман,— потому-то она нам и ни к чему. Они все сочиняют для себя, и нашему брату это непонятно.

— Глупости,— ответил Тюнеман,— и нам надо научиться понимать.

Фиман засмеялся:

— Ох, представляю, ты и скрипка! — Он запрыгал и стал водить палкой, как смычком, по вытянутой руке.

— А вот ты знаешь,— спросил Тюнеман,— что Ленин — да, да, Ленин — с удовольствием слушал такую музыку и один раз даже погладил по голове девочку, которая играла на пианино?

— Ага,— сказал Фиман,— и этой девочкой была твоя бабушка.

Тюнеман подлетел к Фиману, вырвал у него из рук палку, но тут вмешался Фэнэ:

— Хватит вам. А мне, между прочим, понравилось то, что играла Эдит.

— Глядите-ка,— сказала Зугта,— может, ты тоже хочешь погладить ее по головке?

Фэнэ разозлился, схватил с земли ноты и убежал.

— Что случилось? — спросил Цюндер. Он шел в сарай.

— Поцапались,— ответил Фэнэ,— из-за Моцарта...

Фэнэ вошел в сапожную мастерскую Альберта Зипмана, перепрыгнул через стойку, отбросил занавеску, отгораживавшую то место, где работал мастер, поздоровался и сел за длинный, низкий, черный от дегтя и сапожного крема стол, на котором стояли коробки с гвоздями и банки клея с острым, но приятным запахом. Тут на маленьких табуретках сидели Альберт Зипман и француз Шан. Шана вывезли в Германию на принудительные работы, в последнее время ему разрешили не ночевать в лагере. Он занимал у Зипмана комнату под крышей, был хорошим сапожником. Только Зипманы не поэтому относились к нему как к сыну. Главное тут была Криста, их единственная дочь, незамужняя, хотя ей уже стукнуло тридцать — у нее одна нога

была короче другой, и она ходила с палочкой. После того как у Зипманов поселился Шан, Криста положительно расцвела, иногда даже цветочек в волосы втыкала.

Об этом знал, конечно, весь квартал, и люди злорадствовали, потому что Альберт Зипман был нацист. В начале сорокового года он вдруг появился с нацистским значком на лацкане пиджака и заявил, что теперь в квартале все пойдет по-другому, пора, мол, кончать с коммунистической сволочью и так далее.

Отец Цюндера, Бенно Крах — он тогда был еще жив, как раз находился в отпуске,— тотчас влепил ему по физиономии. Тут все стали орать, поднялась драка, женщины взялись за его жену — Фридхен Зипман, а та сама возмущалась, бегала и вопила: что же это, мол, делается, старик стал наци, мол, она этого не переживет и всякое такое.

Всем было ясно, что Альберт Зипман может стать очень опасным, тут надо было пошевелить мозгами и что-то придумать. Но скоро появился Шан и все устроилось само собой. Дело в том, что однажды утром в сапожной мастерской нашли записку всего из двух слов: «Любовник-француз». Зипман в тот же вечер явился к Шпорманам, и они крупно поговорили. В результате беседы было разбито два окна.

«Ничего,— сказал Хайни Шпорман.— Зипман хотел нас позлить, но теперь спеси у него небось поубавится».

Шан умел играть на скрипке — еще и поэтому Фэнэ нравилось здесь бывать. Сейчас он сидел в мастерской и наблюдал, как два сапожника чинят обувь.

— Что это у тебя за тетрадка? — спросил Зипман.

— Это ноты, музыка Моцарта, хочу сыграть на губной гармошке, да только нот не знаю. Вот бы Шан мне помог.

Они поднялись в комнату Шана, тот улыбнулся, похлопал Фэнэ по плечу, пошарил рукой в кармане, вытащил две уже скрученные сигареты, облизнул, протянул одну Фэнэ, и они закурили. Фэнэ часами упражнялся, чтобы добиться такого результата, но в лучшем случае ему удавалось скрутить в кармане только одну сигарету, да и то она выходила вся гнутая.

— Ну как ты это делаешь? — спросил он.

Шан молча вытащил из кармана табак и нарезанные листочки бумаги, поднес руку к самому носу Фэнэ, пальцы замелькали-замелькали, и вот уже на ладони у него очутились две готовые сигареты.

Из-под кровати он достал ящик, из него бутылку.

— Французский коньяк? — спросил Фэнэ.

Шан кивнул, и Фэнэ благоговейно сделал глоток. Потом Шан вынул из шкафа скрипку, слегка тронул струны и заиграл: «С тобой Лили Марлен» [1], потом «Умейте играть на рояле». И пустился в пляс по комнате.

Вдруг на лестнице раздались шаги: топ-топ. Шан быстро спрятал бутылку, и, когда дверь отворилась и вошла Криста, он уже как ни в чем не бывало стоял со скрипкой и смычком в руках.

Криста стала ругаться: мол, что это за спектакль, люди, мол, и так болтают.

— Милая! — сказал Шан и погладил Кристу по волосам, а сам поверх ее головы подмигнул Фэнэ.

— Мы хотели поупражняться,— сказал Фэнэ.

— Знаю я эти упражнения.— Криста вся покраснела от злости.— Смотри попробуй только втянуть Шана в свои грязные дела, несдобровать тебе и всей твоей банде.

---

[1] «Лили Марлен» — известный солдатский шлягер военного времени.

— Что вы,— запротестовал Фэнэ,— мы просто хотим немножко поиграть.

— Так я тебе и поверила,— прошипела Криста и спустилась вниз.

Шан тяжело вздохнул и раскрыл ноты.

— Это для рояля, не для скрипки,— сказал он, но начал играть.

— Да, да, как раз это играла Эдит,— подтвердил Фэнэ.

Он открыл чердачное оконце и посмотрел вниз.

Дождь перестал. Стрижи носились над самыми крышами и пронзительно кричали. В соседнем дворе у Клеффов старый Латтман сидел на ящике и все толкал детскую коляску туда-сюда, туда-сюда, а сам разговаривал с Эльзой Клефф — та как раз пересыпала бобы из передника в миску. Ребенок в коляске заплакал. Сквозь облака пробилось солнце, кошка Клеффов прыгнула на скамейку рядом с Эльзой.

— Экстренное сообщение!— закричали из какого-то окна.— Сейчас будут передавать важное сообщение.

Ни Эльза, ни Латтман не шевельнулись. Латтман, пытаясь успокоить ребенка, сложил губы дудочкой и сильнее затряс коляску. Ребенок затих, слышалась только скрипка.

Но что-то носилось в воздухе. Чувствовалось, что будет передаваться не обычная информация о том, что, мол, потоплено столько-то десятков тысяч тонн грузов противника и всякое такое. У Фэнэ был на этот счет особый нюх. И стрижи почему-то замолчали. У него стало неспокойно на душе.

— Погоди-ка,— сказал он Шану.

Тот отложил скрипку и подошел к окну.

Скоро они услышали марш, как всегда перед особо важным сообщением, потом отрывистый, лающий голос диктора, но слов они не разобрали, потому что вдруг снова раскричались и стрижи и ребенок.

— Громче! — закричал Фэнэ.

Но тут из открытого окна напротив высунулся Пуманнс Мук и сообщил:

— Его уничтожили. Убили Гитлера. Гитлер погиб.

Ребенок кричал, Эльза Клефф вскочила, бобы из передника посыпались на землю.

— Смотри у меня, если врешь! — крикнула она.

Фэнэ обернулся. Он побелел как полотно.

— Свинья сдохла,— сказал он,— наконец-то свинья сдохла.

Шан засмеялся, они обнялись и пустились в пляс по комнате; потом Фэнэ спустился вниз, перебежал дорогу и через минуту уже был в доме у Крахов.

Мать Цюндера сидела за столом. Из радиоприемника лилась торжественная музыка.

— Это же дьявол, а не человек,— сказала она.

— Как,— спросил Фэнэ,— его не убили?

Лизбет Крах покачала головой:

— Провидение — или как там они его называют — снова спасло мерзавца. В него бросали бомбу.

Фэнэ присел за стол. От ярости у него дрожали колени. «Опять не вышло,— подумал он,— опять не вышло».

И так думали все в квартале. Это стало ясно вечером: ведь окна-то были раскрыты. Никто не гремел посудой, и после еды никто не высовывался из окна перекинуться словцом с соседом и посмеяться. Везде было тихо, только громко и зло шипел маневровый паровоз. Потом загудел сигнал воздушной тревоги, и все молча, с узлами и одеялами, побежали в убежище.

Фэнэ лежал на нарах, уставившись в потолок. Возле него на ящиках и одеялах расположились мать и еще несколько женщин.

— Что это Фэнэ все время мрачный такой?— спросила Герта Ронсдорф.

— Как ты думаешь, Фэнэ,— обратилась к нему мать,— вот бы мы все ходили с такими постными физиономиями, что была бы за жизнь, а?

Анна Шпорман, конечно, тоже была огорчена случившимся, но позавчера она получила известие, что Хайни перевели в Бухенвальд. Сейчас это было, пожалуй, наименьшее из зол. В Бухенвальде собралось много товарищей по партии, сообщали, что они там создали организацию, даже наладили связь с внешним миром. И еще хорошо, что Хайни Шпормана арестовали не теперь, а раньше. После таких событий, как сегодня, обычно идет волна арестов и многих арестованных убивают. Так вот погиб отец Зутти.

Кто-то потянул Фэнэ за рукав. Он обернулся и увидел Бернгарда Макевку из бочарного цеха. Фэнэ спрыгнул с нар и вместе с высоким инвалидом дошел до бетонного перекрытия.

— Через полчаса,— сказал Макевка,— будь в проходе номер три, только один, есть серьезный разговор.

Фэнэ вернулся на место, а мать сделала вид, будто ничего не заметила, но когда он снова встал и сказал: «Пойду-ка проведаю Тюнемана», она тихо шепнула: «Осторожней, сынок» — и посмотрела на него озабоченно.

Проход номер три находился между убежищем, где во время бомбежек спасались угнанные в Германию рабочие и военнопленные, и санчастью, а сзади, в самом конце, были штабелями уложены железнодорожные шпалы, копры для забивки свай и бочки. Перед проходом у сигнального устройства сидел на ящике Макевка. Защитный шлем сполз у него на затылок. Он курил. Никого поблизости не было, но он все равно говорил шепотом. Сзади, в куче рухляди, около одной из бочек виднелся проход. Макевка указал на него Фэнэ и сунул ему в руку карманный фонарик.

Фэнэ с трудом втиснулся в проход и затем пополз на четвереньках. Карманный фонарик освещал путь только на полметра. Вдруг кто-то до него дотронулся, прошептал:

— Дай руку,— и Фэнэ почувствовал, что его потянули вперед.

Дальше поползли вдвоем, потом спутник отодвинул какое-то одеяло, и они оказались в сарае, где на шпалах лежали копры для забивки свай. На ящике стояли две масляные коптилки, вокруг расположилось несколько человек. Фэнэ узнал Стаха и старого Дауценберга. Другие оставались в тени.

— Петр сейчас будет, подождем,— сказал Стах.

«Надо же,— подумал Фэнэ,— Стах, этот маленький русский, тут за главного». Фэнэ обрадовался, потому что они ладили с советским офицером. Рядом сидел Эвальд Штумпе. Фэнэ узнал его по кусочку черного пластыря на лице.

Потом пришел Петр, что-то по-русски сказал Стаху, и Стах начал говорить. Он сказал:

— Сейчас наверняка начнется волна арестов, хотя покушение на Гитлера совершили те, кто не имеет к нам никакого отношения. Это военные, у них совсем другие цели. Им бы только Гитлера ликвидировать, а потом продолжать войну. И в первую очередь против Советского Союза.

Стах говорил долго, ему было трудно, немецким он владел плохо, и Фэнэ вообще мало что понял: было много неизвестных слов. Вот досада. Сколько раз они с братом говорили отцу, что слишком мало знают, хотя ведь уже не дети, пора бы объяснить им что к чему. Правда, отец им много рассказывал, только тогда еще Фэнэ мало

понимал. «Потом вам все станет ясно,— говорил отец,— вы все поймете, и получше нас».

Стаха перебивали, ему задавали вопросы, особенно старый Дауценберг все время вмешивался в разговор. Старик любил пошуметь, но отец говорил Фэнэ — он добрейший и честнейший человек, каких мало.

— Теперь на производстве надо еще больше саботировать,— заявил Стах.— Многого мы уже добились. Весь бочарный цех с нами заодно, это заслуга Дауценберга.— Тут старик просиял.— Но в фрезеровочном цехе дела не так хороши.

— Губерт Клейн ведь из ваших,— сказал маленький Поттман Дауценбергу,— в чем же загвоздка?

— Уже отправили несколько партий стволов для фаустпатронов с надпиленными фланцами и поврежденными пружинами,— сказал Стах,— но надо еще и еще. И вообще — надо побольше брака, в том числе в производстве канистр.

Потом обсуждали, что делать, если начнутся аресты, и Стах сказал Фэнэ:

— Надо позаботиться об убежищах и надежных тайниках, надо позаботиться и о преследуемых из других районов. Ты еще раз сходи к судье Пальману и спроси, может, он кого-нибудь у себя спрячет?

— Вы такое в квартале вытворяете, что у вас наверняка много тайников,— заявил Эвальд Штумпе,— подумай, Фэнэ, хорошенько, глядишь, что-нибудь и придет в голову.

— Посмотрим,— отвечал Фэнэ,— только вы не очень-то на нас рассчитывайте.

Через некоторое время Фэнэ уже научился играть сонату A-dur. Шан готов был продолжать занятия, но Фэнэ решил, что хватит. Да и тайники надо было срочно искать.

В субботу после обеда он захватил ноты и отправился к судье. Пальманы сидели в саду и пили чай с пирогами. У них были гости: бабушка Эдит из Баварии и дядя — капитан. Дядя рассказывал о новом чудо-оружии и о том, как большевиков теперь погонят до самой Сибири.

«Ты еще удивишься, бедняга,— подумал Фэнэ,— когда сам будешь от них драпать. А то еще и в Сибирь попадешь».

Судья молчал, точно воды набрал в рот.

— Ну, как соната A-dur?— спросила Эдит.

Фэнэ сказал:

— Пойдем в беседку, я тебе сыграю.

Они побежали между деревьями, по лужайке, к беседке в самом конце сада. Фэнэ достал из кармана губную гармошку и стал играть. Эдит сидела на скамейке и тихо подпевала.

К беседке подошел судья.

— Неплохо получается,— сказал он.— Эдит, сходи, пожалуйста, за моей трубкой.

Эдит ушла, и судья сказал:

— За мной следят, приходить ко мне нельзя, позавчера в Берлине арестовали нашего связного.

Фэнэ, не переставая играть, только кивнул в ответ. Вернулась Эдит и сказала, что трубки не нашла,— может, она наверху, в кабинете.

— Неважно,— сказал судья,— я и так слишком много курю.

Фэнэ еще посидел, потом простился, каждому пожал руку, капитан рявкнул: «Хайль Гитлер», и Фэнэ был рад, что унес ноги.

Вечером он встретился со Стахом на железнодорожной насыпи, рассказал, что был в гостях у судьи, и спросил:

— Послушай, Стах, на кой нам эта публика: распивают чаи, толкуют про чудо-оружие и про победу над русскими.

Но Стах объяснил, что люди бывают разные, что судья — храбрый человек, демократ, преданный патриот и всякое такое.

— Ну что ж,— сказал Фэнэ,— раз у нас такие союзники, все должно пойти как по маслу.

Стах разозлился:

— Тебе, милый, еще многому надо учиться.

— Сам научись сперва по-немецки говорить,— ответил Фэнэ и пригнулся, чтобы не получить по уху.

Через два дня, ночью, когда они были в убежище, Макевка сообщил, что Пальмана арестовали. На другое утро Фэнэ прошелся по Бисмаркштрассе. У Пальманов шторы на окнах были опущены. На его расспросы ответили, что жена судьи с дочерью уехали в Баварию, в имение к родственникам.

— Надо убежища потихоньку готовить,— сказал Фэнэ друзьям. Тут было над чем поломать голову.

На территории самого квартала, конечно, ничего подходящего нет: тут все обыскивают. Сарай у Боров и конюшню можно использовать только в крайнем случае и то ненадолго, правда, есть переоборудованный железнодорожный вагон Ниусов. Там подземный ход.

Неисследованной оставалась только Ольховая пещера, и ею пришлось заняться прежде всего и не так, как собирались.

Глава пятая

Сэр Чарльз

Ольховая пещера находилась под горой, которая называлась Голова Домана, вход в пещеру до половины скрывал густой кустарник. Про пещеру ходили разные слухи, в частности, что там якобы спрятаны сокровища: золотые монеты, драгоценные камни и всякие ценные украшения.

Поэтому во все времена какие-то люди в поисках клада проникали в пещеру, но ничего там не находили, а некоторые даже не возвращались обратно, как это случилось, например, с Эгоном Зарембой в 1939 году. Существовала книга «Хроника Ольховой пещеры», ее написал один учитель в 1850 году; в ней было собрано немало занимательных историй. Но главную ценность «Хроники» составляли эскиз и подробный план пещеры. Единственный экземпляр книги когда-то находился в публичной библиотеке, а теперь попал к Фиману Ронсдорфу. Автор «Хроники» считал, что в пещере есть второй выход.

Каких только историй не рассказывали про пещеру, например, как полоумная Клара Зильвестер ушла собирать малину по ту сторону Головы Домана и вдруг исчезла; ее проискали всю ночь, а на рассвете, когда все вернулись домой, она сидела у себя на крыльце, мокрая до нитки, и тихо смеялась.

Еще один человек побывал в пещере — это был Каспар Флеингхауз. Несколько лет назад он решил на все плюнуть, бросил дом, сложил пожитки на тележку, отправился в Ольховую пещеру, и больше никто его не видел. Фиман Ронсдорф неделями наблюдал за домом Каспара Флеингхауза, однако никаких признаков жизни не обнаружил.

Но вот однажды, когда Фиман и Тюнеман сидели на берегу озера у каменного карьера на той стороне Головы Домана и ловили на удочку линей, они вдруг увидели посередине озера на плоту старого

Каспара, который стоял на коленях и направлял плот с помощью весла. Сперва они глазам своим не поверили: ведь озеро все время находилось в их поле зрения, равно как и берег, где не было ни кустика, только мелкие заросли боярышника,— там они как раз и сидели на корточках с удочками. На противоположной стороне каменный карьер спускался к озеру отвесной стеной высотою в пятнадцать метров, и оттуда старик сойти никак не мог.

Но факт оставался фактом: он был на озере и греб к ним.

Фиман и Тюнеман, ни слова не говоря, быстро свернули рыболовные снасти, медленно вошли в воду под прикрытием кустов, подождали, пока старик подъедет к берегу, нырнули, проплыли вдоль берега метров пятнадцать под водой и вышли из воды за выступом скалы. Фиман видел, как старик спрятал плот и весла в кустах, а сам медленно пошел к пастбищу и исчез.

Весь плот был — три доски, прикрученные пеньковыми веревками к нескольким жестяным канистрам. Ребята решили остаться на озере, пока не вернется старик, даже если придется ждать хоть неделю. Тюнеман взобрался по скалистому откосу и засел так, чтобы его не было видно снизу, а Фиман спрятался в кустах боярышника.

Прождали три часа. Тюнеман подал сверху условный сигнал, Фиман соскользнул в воду за выступом скалы и увидел, как старик спустил плот на воду, бросил на него мешок, уселся сам и заработал веслом, направляясь на другую сторону озера. Ширина озера в этом месте была метров сто. Старик не оборачивался и вел плот прямо на каменный карьер. Фиман вынырнул на середине озера и снова ушел под воду, а когда опять вынырнул, перед ним никого не было — старик исчез.

Фиман просто обалдел. Он медленно поплыл под водой обратно, посвистел Тюнеману, они прождали еще час и поплыли к тому месту, где старик, по всей видимости, должен был причалить. И там в отвесной скале они обнаружили отверстие высотой в метр и такой же примерно ширины. Они заплыли внутрь — там было темно; медленно, на ощупь пробирались они вперед и тут наткнулись на плот и на веревочную лестницу, но не полезли наверх, а поплыли назад.

На следующий день они, прихватив с собой карбидные лампы, вернулись на то же место и нашли выход из Ольховой пещеры. При свете ламп пещера в отвесной скале оказалась гротом высотой почти в пять метров; посередине задней стены было круглое отверстие — туда-то и вела веревочная лестница.

Они вскарабкались наверх и оказались в настоящем зале с колоннами и зубчатыми выступами. С этого дня они зачастили туда и через некоторое время отлично изучили не только примыкавшую к каменоломне часть пещеры, но и все остальное подземное убежище. Требовалось около трех часов, чтобы, следуя по извилистой системе коридоров, залов и гротов, пройти всю пещеру из конца в конец. Ребята составили подробную карту, назвали каждую часть и поворот пещеры: «Коридор паука», «Голубая ниша», «Уголок Фэнэ» и всякое такое прочее.

Форменная комедия началась, когда они встретились со старым Флеингхаузом, который неплохо устроился в «Костяном гроте» недалеко от озерца. Он построил там настоящий домик. Соломенная подстилка, одеяла, спиртовка для приготовления еды, карбидная лампа — чего только там не было.

— Я вас всех зарежу — раз-раз,— закричал он, вытащил длинный нож и стал скакать по пещере.

От его пляшущей тени, от пронзительных криков, на которые отвечало жуткое оглушительное эхо, ребятам стало не по себе. Но

через какое-то время, когда все успокоилось, они долго и мирно беседовали, уговаривали, объясняли, предложили даже старику выпить, и постепенно он смирился.

А потом, зимой, у него появился сухой кашель, он сам уже не мог есть, и Зугта его кормила; через некоторое время они положили старика на ручную тележку и свезли в больницу. Два месяца он еще держался, а за день до смерти подозвал к себе Зугту. Только было уже поздно. Он пытался что-то ей сказать, шепнуть. Зугта прижала ухо к его губам, но понять ничего не могла.

«Он знал, где зарыты сокровища, и хотел мне об этом сказать»,— уверяла потом Зугта, когда они в дождливую погоду всей компанией собирались у Боров, и все затихали и принимались мечтать.

Через несколько дней после того, как арестовали судью Пальмана, ребята все вместе пошли рано утром за малиной в Доманский лес. С ними пошла мать Фимана, она знала, где искать самую вкусную и сладкую ягоду. Ребята хотели прямо оттуда пойти в пещеру, проверить, все ли в порядке, и захватили с собой несколько старых одеял, спиртовку и корзину с картошкой, чтобы оставить там про запас.

Герта Ронсдорф показала им, где растет самая густая и сочная малина, и все разошлись в разные стороны. Трава и кусты были еще мокрые от росы, но солнце уже пригревало. Фэнэ и Зугта вдвоем собирали ягоды, а когда наполнили кувшин, разостлали на папоротнике одеяло и присели поболтать. Но тут они услышали голос матери Фимана, она громко звала: «Сюда, сюда, скорее!»

Они вскочили, побежали туда, откуда слышался голос, и обнаружили Герту Ронсдорф в густом ельнике. Почти сразу же к ним подбежали Фиман, Цюндер и Тюнеман.

Герта Ронсдорф сказала:

— Здесь в кустарнике воронка от бомбы, и в ней англичанин, живой.

Фиман зажал в руке нож и рванулся было туда, но мать его остановила:

— Он раненый и ровесник нашему отцу. Посмей только его тронуть!

Они поползли за Гертой под низкими елями и там его нашли. Англичанин в разорванном сером мундире лежал у края воронки.

— Я его перевернула,— сказала Герта.— Он тяжело ранен, в затылок, я под него куртку подложила.

Все спустились и осмотрели воронку, потом Тюнеман вылез и занял наблюдательную позицию: мало ли кто еще мог услышать крики Герты.

«Вот, значит, они какие»,— думал Фэнэ. Англичанин был усатый, с редкими волосами и весь в крови.

— Допрыгался,— сказал Фиман.— Вот оно как бомбы на женщин и детей бросать.

А Зугта голосом диктора радиостанции «Свободная Германия» спросила:

— И это наши союзники, друзья трудящихся и угнетенных?

Англичанин закрыл глаза.

— Скорей воды,— сказала Герта Фиману, и тот умчался.

— Давайте сюда одеяла, ветки, нужно носилки сделать,— распорядился Фэнэ. Он опустился возле раненого на колени и спросил:— Ты понимаешь меня?

Англичанин открыл глаза и что-то прошептал, только Фэнэ ничего не понял.

Принесли воду; англичанин выпил бы сразу весь кувшин, но после нескольких глотков Герта сказала:

— На первый раз хватит.

Его уложили на носилки из веток и одеял, отнесли в Ольховую пещеру и положили в «Уголок Фэнэ». Там имелось все необходимое для перевязок, и Герта быстро наложила раненому повязку.

— У него сломано по меньшей мере два ребра,— сказала она.— Но как он сюда попал?

— На парашюте,— отвечал Фэнэ,— он где-то его спрятал.

Герта Ронсдорф торопилась на работу: начиналась ее смена. Фиман и Цюндер пошли вместе с ней разузнать, не пронюхал ли кто в городе про парашютиста, и, кроме того, найти и доставить в пещеру Анну Кузневску, польку, она работала медсестрой на заводе. Вернулись только после обеда, уже к вечеру. Англичанина вырвало, он выпил воды, и его снова вырвало; несколько раз он начинал стонать и что-то говорил, но его никто не понимал.

Анна Кузневска раздела его, обмыла, насухо вытерла, сделала укол и перевязала. На это ушло часа два-три. Она хотела было остаться, но Фэнэ сказал:

— Нет, лучше иди, тебя начнут искать, зачем это?

И Анна ушла.

— Можешь быть уверен,— сказал Цюндер,— у нее он поправится.

Но прошло целых две недели, прежде чем англичанин начал понемногу подниматься. Удивительный тип: еще сидеть как следует не мог, а уже стал бриться. Показывал на нужные ему вещи и сердился, если его не понимали и давали не то, что он просил. Как-то парашютист разозлился, а Фиман ударил его по пальцам и говорит:

— Небось не в замке у Чемберлена, сначала поправься.

Англичанин не знал по-немецки ни слова и, как видно, не желал знать, хотя его пытались учить, указывали на разные предметы, называли их. Однажды, когда он уже ковылял, опираясь на палку, Фэнэ предложил ему сигарету и в ответ услышал:

— Нет, наци.

Тут Фэнэ взорвало. Он схватил англичанина за мундир — тот был чуть повыше его,— встряхнул и сказал:

— Еще раз услышу такое — тут же подохнешь.

Англичанин оказался строптивый. Офицер. По нашивкам видно, документов при нем не было.

— Наверно, проглотил,— заметил Фиман,— с него станется.

Ничего у них с ним не получалось. Фэнэ обсудил положение со Стахом, и офицера решили свести с бабушкой Тюнемана. Она знала английский и могла внести ясность во всю историю.

Бабушка тут же согласилась. Надела платье с ярко-желтыми цветами, накинула на плечи чернобурку, хотя была середина августа и стояла жуткая жара, нацепила шляпу с огромными полями и опрыскала себя одеколоном. Потом сказала:

— Пять часов вечера — самое подходящее время для беседы с офицером Королевских военно-воздушных сил. И чтоб было виски, шотландское виски, которое пьют в клубах на Кенсингтон-роуд.

Тюнеман и Фэнэ катили перед собой кресло на колесиках и слушали ее рассуждения. Перед входом в пещеру они остановились. Фэнэ подал условный знак, Фиман вывел англичанина и снял с его глаз повязку.

Офицер стоял, опираясь на палку, на плечи он набросил пиджак отца Фэнэ, голова у него была забинтована. Напротив в кресле-коляске сидела Берта Ниус. В своем пышном туалете она выглядела прямо как Зара Леандер.

Сперва они разглядывали друг друга, потом старуха начала разговор. Англичанин задал несколько вопросов, выслушал ответы,

потом взял слово он, а потом они говорили уже наперебой, в заключение рассмеялись, и англичанина как подменили; он всем подал руку, а Фэнэ похлопал по плечу.

— Глаза можно не завязывать,— сказала Берта Ниус, когда Фиман отводил его обратно в пещеру.— Сэр Чарльз наш друг.

По пути домой она им все рассказала. Англичанин командовал эскадрильей истребителей, его самолет обстреляли над Руром, он успел спрыгнуть с парашютом, благополучно приземлился, двое суток шел на юг, а в последнюю ночь упал со скалы — вероятно, где-то у каменного карьера. Ему удалось добраться до Доманского леса, где его и нашли. Он был твердо уверен, что попал в руки молодых бандитов, которые сначала его подлечат, а потом убьют. Человек он образованный, окончил Оксфорд.

Потом, когда Фэнэ уже делал подробный отчет о случившемся, маленький Поттман сказал:

— Ну да, они уверены, что у нас дети ловят иностранцев и убивают. Всех тошнит от одного слова «немец». И так будет тысячу лет и больше. Вот чего добились фашисты.

Тем временем Шали, как они прозвали англичанина, выздоравливал. Однако Анна Кузневска по-прежнему боялась за его здоровье и все чаще навещала его, а однажды утром, когда Фэнэ осматривал расставленные в лесу силки и зашел в пещеру, он застал ее у Шали. Она провела тут ночь и сказала, что в санчасть больше ни за что не вернется. Фэнэ стал ее уговаривать, но она заревела, а Шали обнял Анну и начал что-то сердито ему объяснять.

— Пойми,— продолжал Фэнэ,— на розыски бросят сыщиков с собаками, вас найдут, и уже никто не сможет укрыться в пещере.

Но все было напрасно.

Тогда Фэнэ вызвал остальных ребят. Они притащили нескольких кошек и пустили играть у входа в пещеру, затем наглухо завалили проход в заднюю часть пещеры каменными глыбами, а сами перебрались в «Зуггин грот» у выхода к каменному карьеру.

После обеда пришли сыщики с двумя собаками. Цюндер и Тюнеман бродили неподалеку с мешком.

— Что вы тут делаете? — спросил один сыщик, в штатском.

Цюндер подошел к нему поближе и сказал:

— Собираем серебряные ленточки.— Так называли тогда мелко нарезанные полоски алюминиевой фольги, которые сбрасывали с бомбардировщиков, чтобы обмануть радарные установки.

— Вы не видели, ребята, женщину, польку? Сбежала.

А они говорят:

— Нет, не видели.

Собаки на длинном поводке шарили по кустам у входа в пещеру.

— Тут пещера! — заорал сыщик.

— Оставайтесь здесь! — приказал тот, что был в штатском, вбежал в пещеру с собаками, но не прошло и нескольких минут, как они вышли и двинулись в обратный путь следом за собакой, обнюхивавшей те же следы, что привели их сюда.

— Она была здесь,— заявил штатский,— возможно, провела ночь и ушла.— Тут загрохотало вдали: гроза начиналась.— Скорей,— крикнул штатский,— а то дождь размоет следы.

И вся группа удалилась.

Через четверть часа разразилась гроза. С гор неслись потоки воды. На сей раз опасность миновала.

— Как англичанин? — спросил Стах у Фэнэ.— Слушается? Это очень важно. Учти: ему выходить из пещеры нельзя ни под каким видом.

— Ладно, присмотрим за ним,— пообещал Фэнэ. Но про то, что англичанин и полька теперь неразлучны, он, конечно, ни слова не сказал.

Глава шестая

Грабители

У Нины, украинки, был день рождения. Все лежали между длинными рядами бараков на лужайке, поросшей травой и разгороженной на две части высокой, в человеческий рост, проволочной сеткой. На одной стороне были женщины, на другой — мужчины. Проволочная сетка существовала и раньше, до появления нового начальника охраны, но тогда ее всю продырявили, а часть повалили, и никого не заботило, кто на чьей половине расхаживал.

— Ничего, баварская свинья еще узнает что почем, и довольно скоро,— сказал Фиман. У него на этот счет был нюх.

Вся компания расположилась на лужайке, на половине, отведенной для мужчин. Нина сидела на женской половине на ящиках с венком на голове и улыбалась.

Прибыла она три месяца назад и сначала все плакала. Ее отца и двух братьев, партизан, эсэсовцы повесили на главной улице села, на глазах у матери. Потом эти свиньи спалили всю деревню, а женщин загнали в вагоны и отправили в Германию. Мать в пути умерла от голода.

Первое время Нину усиленно опекали — женщины следили за тем, чтобы она поменьше работала, не так уставала. Особенно заботились о Нине Эрна Трич и Лена из Минска, они все подсовывали ей пищу. И Нина пришла в себя. И вот она сидела и улыбалась.

Стах произнес речь. Степан сыграл на аккордеоне, все стали петь — одну песню лучше другой.

Тут же были и заводские охранники — они иногда покрикивали, но осторожно. Толстый Кульман, как всегда пьяный, решил держать речь.

— Дорогие дети,— начал он, но один из охранников стащил его со скамьи, на которую он взобрался. Новый начальник охраны, правда, уехал до утра, но мог вдруг вернуться. Да и сами охранники друг другу не верили. Все — инвалиды за сорок лет, ясно, обратно на фронт не хочется.

Стах стал петь со всеми. У него был высокий голос, он часто пел один — запрокинет голову, закроет глаза, кажется, ничего на свете не помнит. Потом еще кое-кто потанцевал.

— Хороший устроили праздник Нине,— сказал Стах.— Ничего, скоро у нас не такие еще праздники будут.

— Вот жаль только,— сказал Фиман,— что выпить нечего.

Какое уж тут выпить. Хоть бы поесть досыта. С едой становилось все хуже, особенно для русских. О них, конечно, заботились. По указанию Хайни Шпормана каждый в рабочем квартале выделял для них что мог.

По пятницам и субботам, когда выдавали паек, Фэнэ ходил по домам и собирал продукты. Кое-кто шутил: «Вот идет Фэнэ, сейчас все у нас реквизирует». Но тотчас выкладывали на стол хлеб, маргарин, свеклу, на глазах у Фэнэ резали, развешивали, делили.

Иногда Фэнэ говорил: «Что-то маргарина маловато» или: «Можешь спокойно добавить ложку капусты». Случалось, иной обладатель продуктов начинал при этом ворчать.

Герта Ронсдорф, к примеру, говорила: «Герберт (это настоящее имя Фимана) такой обжора, сколько ему ни дай — все мало». А Ольга Поттман причитала: «Ты только посмотри на моего мужа, все время на тяжелой работе, совсем отощал». А Фэнэ возражал: «Фиман и так чересчур толстый, а твой старик работает на складе, какая уж там тяжелая работа».

Но теперь действительно началась голодуха. Фэнэ по утрам уже не получал дополнительного ломтя хлеба. Мать варила только свекольный или капустный суп, где плавало несколько кусочков картофеля. Тюнеман рассказывал, как он ночью не может уснуть от голода, хотя спал он прекрасно.

— Что-то надо делать, — говорил Тюнеман.

И все чаще они вспоминали про бабушкин план.

— Ерунда, — заявил Фиман, — вы же помните всю историю. Ничего не получится.

А история была вот какая.

Склад Виганда на железнодорожной станции был своего рода маркитантской лавкой, кладовой, где хранились продовольственные запасы вермахта. Каждую неделю к платформе подходили товарные вагоны, их разгружали, содержимое штабелями укладывали на складе, а потом несколько раз за неделю грузовики, доверху набитые ящиками, мешками и картонками, уходили отсюда в разных направлениях. Бабушка Тюнемана уверяла, что на складе хранилась всякая всячина, главным образом гастрономические деликатесы для офицеров вермахта. Все это она видела собственными глазами. На персонал, обслуживавший склад, рассчитывать было нечего: инвалиды из местных, состоявшие на службе в СС, да несколько приезжих.

Но Берта Ниус работала когда-то у Вигандов в конторе при товарной станции и знала каждый закоулок на складе. Она составила подробный план всех складских помещений. Указала на нем каждую дверь, каждый уголок, каждую ступеньку. На этом плане небольшая часть склада, или, как ее называла Берта Ниус, «угловая комната», примыкала к дровяному сараю Леверинга. А задняя стенка угловой комнаты была из старой, трухлявой еловой древесины.

Берта Ниус говорила, что для этой стенки и пила не нужна — ее лисьим хвостом свалить можно, и что вот она, мол, старая и прикована к креслу, не то бы она никому ничего не сказала, а в один прекрасный день досыта накормила всех паштетом из гусиной печенки, отличной ветчиной, засахаренными фруктами и напоила шампанским, и что сияющие лица друзей были бы для нее лучшей наградой, и всякое такое в обычном духе бабушки Тюнемана.

Проникнуть в сарай Леверингов ничего не стоило. А там уж надо было только отодрать в стене несколько планок. Пропилить отверстие в стене «угловой комнаты» было сложнее, но и с этим справились за одну ночь: на станции стреляли зенитки, и не было слышно, как они работают. Тюнеман, самый маленький и тощий, влез в дыру и стал передавать одну коробку за другой, а ребята складывали их в сарае Леверинга. За коробками последовали бутылки.

Светало, когда Тюнеман вылез из склада.

— Так, — сказал он, — «угловая комната» пуста, в другие помещения не проникнуть; там стальная дверь толщиной не меньше пяти сантиметров.

Выпиленные куски стены вставили обратно, коробки и бутылки спрятали под штабелями дров и ночью вывезли на ручной тележке. Колеса ребята обернули тряпками. Добыча составила 427 бутылок дешевой водки и 300 коробок с французским вином.

Берта Ниус долго молчала, рассматривая коробки. Потом сказала:

— Неудачная получилась экспедиция — не следует закрывать на это глаза. Водка — дешевая и малопригодна для питья. Люди сразу напьются до беспамятства, что будет совсем не на пользу делу. Твой отец, дорогой Шпорман, немедленно откупорил бы бутылки, все до единой, и вылил бы содержимое в кухонную раковину. И был бы совершенно прав...

Водку разделили и быстро вылили. Французское вино держали под замком, выдавали в редких случаях; несколько коробок получил, конечно, Стах. Но сегодня отмечали день рождения Нины, а нигде не было ни бутылки.

— Нам сейчас бы картошки да хлеба, — сказал Стах.

— Где же их взять? — растерянно произнес Фэнэ.

На продовольственные карточки ничего не получишь, у крестьян менять становилось все труднее и опаснее, да и что менять? Силки в Доманском лесу чаще всего были пусты, — правда, на прошлой неделе попалась косуля, а так больше ничего.

...Праздник заканчивался — многим надо было работать в ночную смену, и скоро лужайка опустела.

Через несколько дней, когда они сидели на городской стене, Фэнэ вдруг как воскликнет:

— Лоренц Фукс! Как это я раньше не подумал!

— А при чем тут Лоренц Фукс? — спросил Тюнеман.

Фэнэ объяснил:

— Лоренц Фукс — маневровый диспетчер. Он знает, какие вагоны идут под маркитантские лавки.

— Ну и что? — спросила Зугга.

— Если б нам тоже разузнать... — сказал Фэнэ, и он стал объяснять и объяснял долго, а ребята слушали во все уши.

— С ума сойти, — сказал Цюндер, когда Фэнэ кончил, — если все выгорит, так это же черт знает что!

— Только кто, интересно, пойдет к Лоренцу Фуксу? — спросил Фиман.

— Бабушка Тюнемана, — ответил Фэнэ.

Все так и прикусили языки.

Когда-то Берта Ниус очень дружила с Лоренцем Фуксом. Оба давно овдовели, а Лоренц Фукс ценил образованность и хорошие манеры, сам он был человек начитанный и очень уважал бабушку Тюнемана, называл ее глубоко интеллигентной женщиной. Они вместе гуляли, рассуждали о боге, о мире, и со слов Берты Ниус стало известно, что Фукс — сторонник элитарной философии и даже считает себя сверхчеловеком.

На самом-то деле Фукс, как и все здешние жители, был пролетарий, просто маневровый диспетчер и, как кое-кто еще, не пошел в солдаты. Он был маленький, горбатый и всегда держал голову набок. Наверное, из-за физических недостатков у него и развилась богатая фантазия. Что-то надо ведь придумывать, чтобы возместить свою хилость и убожество. В начале сорок первого он стал нацистом, и его сделали маневровым диспетчером.

Тут вскоре Берта Ниус упала со стремянки, и у нее отнялись ноги. Они с Фуксом до того, как их разбомбили, жили в одном доме, и как-то раз Лоренц Фукс даже явился к ней с большим букетом. Только отец Тюнемана швырнул цветы ему в голову и заорал:

— На, получай, сверхчеловек!

И у Лоренца Фукса началась тяжелая жизнь. Как он где появится — сразу все уходят. Раньше никто не обращал внимания на его горб, склоненную голову и малюсенький рост, а теперь ему все время это в глаза тыкали. Он со всех сторон слышал: «Эй ты, дурья башка,

никому еще не отдал свой горб? Посмотри, может, найдется желающий?», «А можешь ты хоть голову-то поднять?» — и всякое такое прочее, что говорят, чтобы противному человеку насолить.

Правда, он никогда никому не мстил, а ведь мог бы. Наверное, и нацисты его всерьез не принимали.

И вот он начал предпринимать попытки — хоть и довольно робкие — восстановить прежние связи. Он был не так уж глуп и, глядя на карту Европы, рассуждал довольно здраво — не то что те, кто молол всякий вздор о новом чудо-оружии. Летом сорок четвертого он понял, что о победе тех, кто называл себя «сверхчеловеками», говорить поздновато. Понял и то, что в будущем жить ему не где-нибудь, а тут, а это еще заслужить надо.

Все это учел Фэнэ.

От Лоренца Фукса не много требовалось: разыскать маркитантский вагон, провести на нем под пломбой черту мелом, а во время маневров перевести его, вместе с другими, пустыми, вагонами, на третий запасной путь.

— Нет, — сказала Берта Ниус, — не пойду к горбатому фашисту.

Тюнеман и так и сяк ее уговаривал, рассказывал, как они очистят вагон, что там возьмут.

— Когда надо, — вмешался в разговор Фиман, — приходится иногда делать то, что тебе совсем не по душе.

— От тебя такое очень странно слышать, — заметила старуха. — Ладно, оставьте меня, не хочу больше об этом препираться.

— Это она просто так говорит, из упрямства, — сказал Тюнеман, — я знаю бабушку: через день-другой сменит гнев на милость.

И действительно, уже на другой день она сообщила, что передумала и согласна:

— Я поговорю с ним, этого не миновать, только не в убежище, где он любит отсиживаться.

Для встречи она оделась во все черное, на голове у нее была темная косынка, на руках перчатки, и когда Тюнеман отвозил ее в четвертый блок, она тяжело вздыхала, что-то бормотала о жертвах и всяком таком прочем.

— Сперва ты исчезнешь,— заявила она Тюнеману,— но ровно через пять минут появишься и увезешь меня от этого кретина.

Лоренц Фукс сидел на скамейке и читал. Он сильно перепугался, когда Берта Ниус сказала:

— Вставай, нам надо поговорить, отойдем в сторонку.

Тюнеман ушел, выкурил сигарету, вернулся, увидел, что они оживленно беседуют, и снова ушел, опять вернулся, и так битых два часа.

Тюнеман все доложил друзьям, и те сочли, что такой поворот событий — к лучшему. Так и вышло.

Дома Берта Ниус сказала:

— Все в порядке. Только что прибыли два вагона. Один, вместе с двумя порожними, Фукс завтра же поставит на третий запасной путь.

— А вдруг, — заметил Тюнеман, — в них снова окажется французское вино?

— Исключено, — ответила Берта Ниус. — Правда, в накладной не указано, какой груз в вагоне: наци считают, нужна тайна, враг не дремлет, но оба вагона идут с юга Франции, так что там наверняка что-то вкусное, не сомневайтесь.

Третий запасной путь находился среди садов и огородов; неподалеку, на дополнительной ветке, по ту сторону огородов, стоял переоборудованный вагон первого класса, в котором жили Ниусы. Из вагона, перпендикулярно дополнительной ветке, шел подземный кори-

дор с двумя просторными помещениями. Начинался подземный коридор под комнатой, где жил Тюнеман с сестренками, а заканчивался в кустах дрока возле огородов. Отсюда до тупика на третьем пути, где между двумя порожними вагонами стоял теперь тот самый вагон, было около четырехсот метров. Расстояние, вообще-то говоря, пустячное, но все содержимое вагона надо было протащить до дыры, скрытой в кустах дрока, вручную, на двух носилках, по узкой и неудобной тропинке вдоль насыпи. Ночью в этом районе рыскали полицейские с собаками, правда, около тупика на третьем пути они встречались нечасто, но все равно надо было держать ухо востро.

И самое главное, пустой вагон потом надо было взорвать, чтобы получилось, будто в него просто попала бомба. Гестаповцы день ото дня все больше зверели и чуть что — устраивали повальные обыски. Не дай бог раскусят, что к чему — тогда всем крышка. Пришьют грабеж — и к стенке.

...Итак, в середине августа сорок четвертого года они сидели после обеда у Ниусов в вагоне первого класса и из двенадцати саперных шашек весом по двести граммов каждая делали две связки взрывчатки. Саперные шашки и прочие принадлежности остались им в наследство от воинской части, которая стояла во дворе у Боров прошлой зимой; Фиман припрятал их под дровами.

— А почему вы не возьмете фаустпатроны? — спросила Зугга.— Это уж проще всего.

— Фаустпатроны хороши для железа, — сказал Фэнэ, — накрепко привариваются, а вагон деревянный, тут это не годится.

И стал проверять взрывное устройство.

— Осторожно, — сказала Берта Ниус, — здесь скоблить нельзя, только выколачивать, и то легонько. Дай-ка сюда. Поставьте мое кресло за дверью. Я буду зубами прижимать бикфордов шнур к капсюлю. Мне нужна изоляционная лента, нитки и ножницы.

— Бабушка, ну что ты придумала! — возмутился Тюнеман.

А Берта Ниус говорит:

— Я делала это по десять раз в день в феврале девятнадцатого, когда войска генерала Фаттера шли из Мюнстера в Эссен. Перед тем как оставить уличные баррикады, мы в последний момент взрывали их, чтобы эти мерзавцы не могли ими воспользоваться.

И она, напевая боевую революционную песню, выкатилась из комнаты в своем кресле на колесиках.

Цюндер устроил себе наблюдательный пост на крыше. Он сказал Берте Ниус:

— Если ты взлетишь на воздух, я тебя поймаю.

Дурацкая шутка.

Остальные сидели в комнате и смотрели через полуоткрытую дверь, как Берта Ниус вкручивает бикфордов шнур в капсюль-детонатор, потом вставляет его в рот и, продолжая вкручивать, плотно прижимает к шнуру мягкую жесть капсюля. Тюнеман прикрыл рукой глаза, все даже вспотели от напряжения — только из соседней комнаты доносился визг Ганнелоры и Дорис, сестренок Тюнемана, которые передавали друг другу гальку и песок: играли в продавца и покупателя.

— Готово! — крикнула Берта.— Теперь вкатите меня в комнату.

Они перевязали крепкой бечевкой связки, старуха осторожно ввела в них подготовленные детонаторы и говорит:

— Здесь внутри бикфордова шнура по́роховая мякоть, она сгорает один сантиметр за секунду. Для каждой связки у нас метр шнура, значит, в вашем распоряжении полторы минуты — вполне достаточно.

Перерезала шнур наискосок, заклеила место среза изоляционной лентой.

— Одну связку взрывчатки положите внутрь вагона, навалите что-нибудь сверху и вокруг, но так, чтобы шнур свободно свисал. Вторую связку прикрепите к буферу пустого вагона. Потом снимете с конца шнура изоляционную ленту и спичкой подожжете пороховую мякоть. Прислушайтесь — и как только услышите шипение, что есть духу бросайтесь наутек. Через сто пятьдесят метров падайте на землю, закройте голову руками и не вставайте, пока не услышите взрыва — то есть двух взрывов, конечно. Вот так, а теперь давайте все это отрепетируем.

...Когда над ними пролетели в сторону Рура первые бомбардировщики, было еще светло.

— Ну, пора, — сказала Берта Ниус и чуть не заплакала, что не может пойти с ними.

Они отодвинули в спальне шкаф, влезли в узкий проход, поползли дальше на коленях, а за собой тащили носилки со взрывчаткой. Зугга открыла крышку люка, которую замаскировали дерном, все вылезли на поверхность, залегли в кустарнике и стали ждать.

Первые «боинги-17», по дороге из Рура, сбросили на город несколько бомб. Постепенно темнело. Потом снова послышался гул бомбардировщиков — это были самолеты второго эшелона, и тогда Фэнэ, Фиман, Тюнеман и Цюндер побежали; каждая пара тащила носилки. Зугга со взрывчаткой осталась в кустах.

Пока зенитные батареи вели беглый огонь, Фэнэ сорвал пломбу, отбросил засов, открыл дверь и залез в вагон. Он задвинул дверь, включил фонарик и увидел вокруг бочки, одни только бочки, уложенные штабелями. «В каждой пятьдесят литров»,— определил Фэнэ; он покачал одну — забулькало. От бочек странно пахло — не водкой, но чем-то вроде. На бочках стояли римские цифры и надписи, вроде бы по-французски; одно слово Фэнэ понял: vin[1].

На мгновение мелькнула мысль — бросить все к черту и смотаться. Он открыл дверь — в вагон влез Фиман.

— Вино, — прошипел Фэнэ, — вино, вино, одно вино. Господи! Вот ведь не везет.

— Все равно, — говорит Фиман, — что есть, то есть, давай начинать.

Стали подкатывать бочки к двери, Цюндер и Тюнеман их принимали, на одни носилки уместилось как раз две бочки. Они их утащили, вкатили в дыру, вернулись, утащили еще две бочки, и так снова и снова, пока совсем не выбились из сил.

Долго было тихо, самолеты больше не прилетали. Они перекатили бочки в подземный коридор, а когда послышалось гудение бомбардировщиков третьего эшелона, побежали к вагону в четвертый раз, уже со связками взрывчатки на носилках. И пока Цюндер и Тюнеман с пустыми носилками возвращались обратно, Фэнэ и Фиман готовили взрыв.

Фэнэ положил одну связку между несколькими оставшимися в вагоне бочками, другую Фиман привязал к буферу соседнего вагона.

— Готово, — закричал он, — считаем до трех.

Досчитали до трех. Фэнэ услышал шипение, выпрыгнул из вагона, и они помчались стремглав, а через сто пятьдесят метров бросились на землю и закрыли голову руками.

Через несколько секунд раздались два взрыва — один за другим;

---

[1] Вино *(франц.)*.

слышно было, как все взлетело на воздух. Ребята выждали немного и побежали назад.

Вагон был полностью разрушен, у соседнего вагона не было колес и тормозной будки. Они услышали, как вино льется из поврежденных бочек, рассмеялись и побежали к дыре.

Надо было еще разместить бочки в подземном укрытии. На это ушло время, но зато потом все уселись за стол у Ниусов в вагоне первого класса. Клара и Роза, близняшки, старшие сестры Тюнемана, были тут как тут. Горели масляные коптилки, они пили вино из чашек, смеялись. Ганнелора и Дорис спали на полу.

Берта Ниус сказала:

— Ну что ж, шестьсот литров бургундского — чем плохо? Рассчитывали на другое, но грех жаловаться.

Они и не жаловались.

Глава седьмая

600 литров вина

Шестьсот литров — это шестьсот литров.

Каждому не дашь по целому бочонку, и вино разлили в бутылки, кувшины, стеклянные и жестяные консервные банки.

— Меня уже тошнит от одного запаха,— сказал Цюндер.

— Погоди,— сказал Тюнеман,— через две недели еще просить будешь. Так всегда: чего много, того вроде и не хочется, а чего нет — хочется. Просто беда.

Ребята сидели в просторном помещении под насыпью, недалеко от выхода; сюда проникал воздух и легче дышалось; только что они разливали вино и теперь отдыхали. Все пропахло вином. Карбидная лампа тихо шипела. Фэнэ наигрывал сонату A-dur Моцарта.

— Да ну его, твоего Моцарта,— сказала Зугга,— сколько можно!

Фиман лежал на козьей шкуре.

— Знаешь поговорку «истина в вине»? — спросил он.— В ней что-то есть.

— Смотри-ка, прямо как пастор заговорил,— сказала Зугга.

— У католиков,— объявил Цюндер,— пастор каждое утро выпивает добрый глоток вина, а другим не дает, другим сует облатки и говорит, что это тело Христово.

— Брехня,— возразил Тюнеман,— никто не поверит.

Цюндер зло рассмеялся:

— Это ты так думаешь, Тюнеман. А вот верующие думают, что каждое слово пастора — святая правда. Верят, что он выпьет вино и ему откроется истина.

— Мало ли кто чему верит,— заметила Зугга.

— Доктор Штратман, например, был горький пьяница, так вот он верил, что уже когда-то жил на свете в образе совы.

Стали рассказывать друг другу о том, во что верят люди хорошо и мало им знакомые.

— Вот фашисты тоже,— сказал Фэнэ.— Считают правдой разную чушь. Мы-то знаем, что это чушь, и не верим.

— Точно,— согласился Тюнеман,— мы опираемся на науку.

— Эх, мало мы еще знаем, учиться надо,— заметил Фэнэ.

Потом, когда стемнело, они разнесли по домам бутылки с вином. Стах ужасно разозлился, когда узнал про ограбление вагона — слишком рискованная операция. Но все же два бочонка взял: один для своих, другой для Ольховой пещеры.

В последние дни все только и занимались красным вином, придумывали, как бы его использовать. Герта Ронсдорф сделала желе, у Тричей испекли винный торт с кремом, мать Фэнэ сварила винный суп с хлебными крошками, а когда Фэнэ зашел к Поттманам, Ольга сунула ему в руку две лепешки, на вид вроде миндального печенья. Фэнэ надкусил одну и тут же выплюнул; господи, пригоревшее красное вино с подсоленной свекольной ботвой!

На другое утро мать говорит Фэнэ:

— Сегодня идем наверх, в горы, к Локампам, захватим несколько бутылок вина, посмотрим — может, нам за них что-нибудь дадут.

Грета Локамп была родная сестра матери Фэнэ, ее муж Фердинанд был фюрер в местной сельской общине, у них был свой дом, много скотины, но семейству Фэнэ редко что перепадало. Когда Грета заходила к сестре, она приносила немного масла, бутылку молока или там несколько яиц, но все это тайком от мужа. Анна Шпорман никогда не ходила к ним, чтоб чем-нибудь поживиться, она терпеть не могла своего зятя, ну а тот не желал иметь ничего общего с «красными» родственниками. Но теперь продукты нужны были позарез.

Вышли утром. Миновали Голову Домана, каменоломню. Стояла жара, в небе ни облачка. Путь шел через пастбища, луга и поля, рожь уже созрела, и колосья царапали им лицо и шею, над полем дрожало голубое марево, их мучила жажда.

— Как дойдем до опушки, я выпью глоток,— сказала Анна Шпорман.

Выбрали местечко под дубом, прилегли. Фэнэ вытащил из сумки бутылку, и каждый сделал по глотку.

— За всю жизнь я пила красное вино два раза,— сказала мать,— сейчас в третий раз пью. Тогда, в двадцатых годах, здесь у нас много итальянцев было, они дороги строили, и некоторые жили у Боров, наверху. Одного звали Карло, стройный был такой парень, любил поговорить, вечно пел, слегка приударял за мной. Как-то раз обнял меня на лестнице — с отцом я тогда еще не была знакома — и говорит: «Ты мое солнце». Ну, они ведь все горячие. И вот мы с ним в день Первого мая распили бутылку красного вина.— Она сделала еще глоток.— У них там все проще, много вина, солнца, а тут всегда холодно.

— Ну, мы тут тоже не замерзаем,— заметил Фэнэ.

Солнце было в зените. Они уже одолели половину подъема и теперь смотрели вниз на поля в легкой дымке. Коровы стояли неподвижно, спасались от жарких лучей в тени деревьев и живой изгороди. Высоко в небе парили два сокола. Только раз вдруг взревел где-то мотор, потом опять все стихло — лишь стрекотали кузнечики.

— Как-то там отец? — сказала Анна Шпорман.

Оба смотрели, как кружат в вышине соколы, и думали о Хайни Шпормане. Потом они уснули под дубом.

Когда проснулись, было далеко за полдень. Они двинулись дальше, поднимаясь все выше в горы. Дорога шла лесом, и они заметили, что орехов в этом году уродилось мало, грибов совсем не попадалось, зато много было желудей. Они вышли из лесу, увидели внизу луга, ручей между кудрявыми ивами, несколько высоких дубов и тут же, недалеко от пруда, дом Локампов. Было тихо, где-то лаяла собака, все точь-в-точь как на картине «Мирный пейзаж» у Крахов над диваном.

— Красота-то какая! — воскликнула Анна Шпорман.— Второй раз я пила вино на свадьбе Греты с этим нацистом, они еще, правда, не захватили тогда власть. Муж ее напился и понес всякий вздор о новых временах. Говорил, что немецкий крестьянин вернет себе свое славное

прошлое, и о святой родной земле, и всякое такое прочее — они уже все это наизусть шпарили. А тут еще вино, он поднял стакан прямо к горящей лампе — все это вижу, прямо будто вчера было — и говорит: «Похоже на кровь, пролитую во всех войнах, где мы сражались за свободу». Ну, мы с отцом не вытерпели, начался скандал, дошло до драки. Насчет крови, так ее они достаточно пролили, ну а вот свободой что-то и не пахнет. Выпью-ка еще глоток.

Они взяли из дому восемь бутылок, теперь осталось шесть. Они были немного навеселе и, когда сбегали с горы, хохотали и цеплялись за кусты и ветки.

Залаяла собака. В дверях стояла Грета. Мать Фэнэ обняла ее. Потом сестры уселись на кухне за длинный стол и стали наперебой рассказывать новости. Потом пришел Локамп, большой, грузный.

— Понятно, зачем пожаловали,— сказал он.— Думаете, небось, Гитлеру скоро капут, вижу, вижу по вашим ухмылкам. Рано обрадовались. Мы еще повоюем, зубами вцепимся в свою землю.

Фэнэ стоял у окна, в голове шумело, он улыбался, представляя себе, как этот толстяк вцепится в землю зубами. А Локамп ходил, размахивал руками и, видя, как Фэнэ улыбается, еще пуще распалялся:

— Ты дерьмо, слыхал я про твои проделки!

— Ладно тебе,— сказала ему жена,— они же гости.

— Нет, не ладно,— зарычал Локамп,— мы и так слишком долго терпели, по головке их гладили.

Фэнэ ринулся к стулу, на котором лежала его сумка, вытащил из нее «вальтер».

— Заткнись, ничтожество,— оборвал он Локампа,— или я заставлю тебя замолчать.

На мгновение наступила тишина. Локамп даже рот разинул от изумления, потом стал надвигаться на Фэнэ, а Фэнэ поднял револьвер и говорит:

— Еще шаг, и ты вцепишься в землю зубами, но уже навсегда.

Локамп так и застыл, поднял руки вверх.

— Ладно, мама,— сказал Фэнэ,— пошли отсюда.

Тут Грета громко заревела.

— Пойдем,— повторил Фэнэ, но Грета обхватила сестру за шею и говорит:

— Тогда и меня возьмите, я больше не могу.

Тут заревел и Локамп, сел за стол, опустил голову на руки. Фэнэ отступил на шаг. Он ждал подвоха. Какой уж там подвох! Локамп рыдал, плечи и голова у него сотрясались. Фэнэ стало даже не по себе. Тогда мать говорит:

— Ладно, лучше выпьем.

Она вынула из сумки две бутылки, зубами вытащила пробки, на столе появились стаканы.

— Ну, будь здоров и успокойся,— сказала она.

Локамп перестал рыдать, вытер лицо полотенцем и залпом выпил стакан вина. После второго он положил руку на руку Анны Шпорман.

— Все нервы,— сказал он,— я конченый человек. Что-то будет, что теперь будет...

— Ничего, все устроится,— ответила Анна Шпорман.

Фэнэ пошел к пруду, лег на берегу, а сам следил за дверью.

Во двор с кирками в руках вошла группа батраков, которых угнали сюда на принудительные работы, и Фэнэ вернулся в дом. Все сидели за столом и беседовали. Ели самый настоящий жареный картофель с луком и салом, а потом им доверху набили обе сумки маслом и ветчиной, яйцами, сыром, хлебом, и они пошли домой.

На вершине горы обернулись. Солнце заходило. Усадьба Локампа расстилалась среди деревьев широкой темной полосой. Отливал красным цветом пруд. Через долину шло стадо коров, сзади шли женщины и пели.

Мать присела на камень.

— Посмотри-ка,— сказала она,— прямо как в мирное время.

— Идем, надо поторапливаться,— отвечал Фэнэ,— сейчас выйдут в дозор патрули, нарвемся на них, и все пропало.

— Ой, неужели тебе все это не нравится?

— Мама, пойдем, поздно.

Мать тяжело вздохнула:

— Иногда я совсем тебя не узнаю. Ты ведь еще ребенок. И вдруг делаешься такой грубый... Я часто думаю, как мы раньше жили, тоже ведь несладко приходилось, но грубости ты дома не видел.

Далеко-далеко завыли сирены.

— Тревога,— сказал Фэнэ,— пойдем скорей.

У Ниусов они тоже угодили на пиршество. Те поставили повыше бочонок с вином, подвели кишку к водопроводу: откроешь кран — и оттуда льется красное вино.

Поздно ночью, после отбоя, сюда пришли буквально все. Стах тоже пришел, Лена из Минска. Женщины затеяли печь на противне пирог с салом. В комнате стоял жуткий чад, тесно было. Набились как сельди в бочке.

— Вино льется рекой,— сказал Макевка,— эдакое только в романах прочтешь.

Зажгли масляные коптилки. От запаха табака с травой щекотало в носу.

— Выпьем за наших ребят и за Берту Ниус,— предложил маленький Поттман.

Вытащили пирог — горячий, корочка хрустит; посыпали его сверху жженым сахаром. Начали рассказывать разные истории, большинство их Фэнэ, правда, уже знал.

— Ну-ка, расскажи еще,— попросил Фиман,— как вы тогда задали жару рейхсверу.

И все снова хохотали, слушая историю про то, как старый Дауценберг усадил одного капитана на горячую плиту и заставил во весь голос орать: «Да здравствует революция!»

Тихо пели песни, Стах произнес несколько подходящих к случаю слов, потом все разошлись по домам.

Глава восьмая

Несчастные случаи со смертельным исходом

Когда сидишь на городской стене, хорошо видна почти вся заводская территория: цеха, где изготовляют канистры и бочки, машинный зал, токарная мастерская, важнейшие участки предприятия и лагерь для русских военнопленных. Кроме того, в поле зрения тут попадают и маневровые пути, а если посмотреть в другую сторону, можно разглядеть рабочий квартал, даже различить отдельные дома. Они как две капли воды похожи друг на друга, все серые и закопченные, на них дыры от осколков, а в окна кое-где вместо стекол вставлены куски картона.

Ребята сидели спиной к заводу и наблюдали за кошкой Клеффов. Кошка притаилась у водосточной трубы на крыше сарая и не спу-

скала глаз со стайки молоденьких воробушков на ветке сливового дерева.

— Спорим, ни одного не поймает! — сказал Цюндер.

— Посмотрим,— сказал Тюнеман,— позавчера она с самой верхушки дрозда сцапала.

Было около двенадцати дня. Вдруг ребятам показалось: что-то случилось. Раздалось странное гудение, не похожее на обычные звуки завода. Над крышами домов бесшумно носились стрижи. Все обратили на это внимание, а Фиман сказал:

— Тут дело нечисто, что-то не так.

Но они даже головы не повернули и стали опять смотреть на кошку Клеффов.

— Гуго Бек переходит канистровый цех,— доложил Тюнеман,— слышишь, как деревяшка стучит.

Раздались голоса, стук сапог перед бочарным цехом.

— Смотри, смотри, сейчас прыгнет,— сказал Фиман; они все следили за кошкой.

— Вряд ли несчастный случай,— заметил Фэнэ,— никто не кричит.

Но санитарная машина резко, со скрипом затормозила и остановилась возле токарного цеха.

— Это у бараков с охраной,— сказала Зугга.

— Кошка, когда надо, может прыгнуть больше чем на пять метров,— сказал Цюндер.

Но кошка Клеффов прыгать пока не хотела.

— Наверняка что-то стряслось с баварской сволочью, сейчас самое время,— подумал вслух Фиман и опять про кошку: — Вот-вот прыгнет.

И действительно, кошка прыгнула на сливовое дерево, воробьи запищали, ветви и листья затряслись, птичья стая взметнулась в небо, и все опять успокоилось.

— Ни одного не поймала,— сказал Цюндер,— я же говорил. Теперь останется на дереве: стесняется.

Вниз по улице промчался автомобиль, слегка притормозил у заводских ворот и въехал внутрь.

— Глянь-ка,— сказал Фиман,— ищейки тут как тут.

Они пытались разглядеть среди ветвей кошку Клеффов, но так и не увидели.

— Ну, что там такое? — спросил Тюнеман.

— В бараке, где он спит, его все утро не видели,— сказала Зугга.

— Господи,— сказал Фэнэ,— что-то, видно, в самом деле случилось, может, ножом пырнули в живот или перерезали глотку.

Уже давно пора было давать сигнал об окончании смены, уже толпилась у ворот вторая смена, но ее не впускали.

— Хоть все глаза проглядим, она не покажется,— сказал Цюндер,— я же говорю: стесняется.

И все обернулись. Посмотрели через головы людей, сгрудившихся у проходной, возле токарного цеха, за которым начинались бараки с охраной. У бараков стояла толпа, все расступились, пропуская санитарную машину. Автомобиль медленно выехал из заводских ворот и пополз по дороге вверх.

— Значит, готов,— сказала Зугга.

И в тот же миг завыла сирена. Они спрыгнули со стены, пошли к насыпи. Встретили брата Фэнэ — он только что вышел из заводских ворот.

— Что случилось? — спрашивает.

— Сам не знаю,— ответил Фэнэ,— наверно, новенький из Баварии.

Карлхайнц ухмыльнулся.

— Давно пора,— сказал он.

Сквозь кусты дрока у насыпи видны были бараки с охраной. Когда они залегли в кусты, в барак как раз провели Стаха. У будки начальника охраны стояли полицейские, они разговаривали с новой сменой, что-то спрашивали, но никто не волновался, будто ничего и не случилось.

— Не может быть, чтобы его Стах прикончил,— сказал Тюнеман.

Стах необдуманных поступков не делал, а теперь, когда стал руководителем, и вовсе соблюдал осторожность.

Фиман вспомнил другой несчастный случай со смертельным исходом — с предыдущим начальником заводской охраны Коко Шнайдером, предателем. Тот перешел в конце тридцатого на сторону нацистов и знал достаточно, чтобы доносить на всех подряд. Так вот он попал под паровоз поздно вечером перед ночной сменой, и никто, даже Бено Виттман, который вел паровоз без кочегара, ничего не видел.

Но тут совсем недалеко от места происшествия показался Эвальд Штумпе.

И все снова вспомнили историю Коко Шнайдера и Эвальда Штумпе, которые дружили — совсем как отцы Фэнэ и Цюндера — до того самого дня, когда Коко черт знает почему стал предателем. Историю эту они, конечно, знали только понаслышке, по намекам, обрывкам фраз. Разве взрослые толком расскажут о том, что было раньше? Когда каждый день что-то случается, нет времени старое вспоминать.

Отец Фэнэ как-то сказал:

«Когда сидишь один на один с врагом и он на тебя наседает, не так-то легко остаться на высоте».

Так или иначе Коко Шнайдер стал предателем, и Эвальду Штумпе поручили наблюдать за бывшим другом. Короче говоря, ему пришлось сделать вид, что он тоже переметнулся, и ему нельзя уже было встречаться с товарищами, даже в пивной. Он виделся с ними тайком, и то, когда уж очень было нужно. И вот скоро нацисты послали его в заводской совет доверенных лиц, и Штумпе узнал кое-какие подробности о том, что натворил Шнайдер. В конце концов дело приняло такой оборот, что над всем этим пришлось серьезно подумать.

— Нет, это не Эвальд Штумпе,— сказала Зугга,— вон он идет.

Штумпе выходил еще с какими-то людьми от начальника охраны, был там и Стах, он громко орал на Штумпе — словом, обычный спектакль. Они устраивали его по нескольку раз в день на виду у всех. Стах жаловался на притеснения, а Штумпе рычал, что русские, дескать, лентяи, им, мол, только бы на боковую и спать.

Фэнэ пошел прямо к баракам — там еще толпился народ.

— А тебе чего надо, бездельник? — заорал на него Гуго Бек.— Проваливай.

Фэнэ медленно побрел в обратную сторону, за ним заковылял Гуго Бек, стуча деревяшкой. Фэнэ сделал вид, что оступился. Он даже вскрикнул. Гуго Бек наклонился к нему, что-то громко закричал, схватил его за шиворот, потащил к грузовой платформе и только тут тихонько сказал:

— Баварская собака сама подохла, кондрашка хватила. Мы только сейчас его нашли.— А потом снова заорал: — Проваливай, да смотри, чтоб больше не попадаться на глаза! — И как отшвырнет от себя Фэнэ.

Фэнэ вернулся к своим.

— Умер, действительно умер,— сказал он ребятам,— сам, удар хватил.

От изумления все сперва даже рты раскрыли, потом Зугга сказала:

— Да, значит, бог-то все-таки есть.

И бросилась наутек: Цюндеру показалось, что он услышал интонации своей матери.

Но недолго радовались ребята. На другой день взяли Дауценберга. В перерыве между ночной и утренней сменой вышли из строя два пресса, на которых изготовляли стальные листы для противотанковых орудий. Повреждения были серьезные, ремонт прессов потребовал бы много месяцев. Блок цилиндров и штампы были искорежены, главные платформы и направляющие прессов отодраны и разломаны, а это были единственные гидравлические прессы, запасные части к ним уже не поступали; теперь действовал только старый паровой пресс, и выпуск продукции сразу сократился на восемьдесят процентов.

В полдень, перед самым концом смены, приехали на грузовике двадцать полицейских с автоматами и несколько штатских. Они вытащили Дауценберга из будки и окружили. Двести пятьдесят человек били инструментами по бочкам и листам металла, люди из токарной мастерской и цеха канистр вышли на заводскую площадь и молча выстроились в две шеренги. В домах рабочего квартала начался дикий концерт — колотили изо всех сил в жестяную посуду. Женщины подняли страшный гвалт. Полицейские же наставили автоматы на людей, на окна домов. Стало страшно.

Дауценберг шел бледный, с высоко поднятой головой, как генерал перед войсками. Полицейские втолкнули его в фургон, сами вскочили сзади, и машина с включенной сиреной вылетела из заводских ворот.

— Испугались они,— сказала мать Фэнэ,— здорово испугались. Жаль только, мало нас.

Через три дня Дауценберг повесился в камере, а вечером в рабочем квартале открылись настежь все окна, и люди молча стояли у них. Тогда русские запели: «Вперед, заре навстречу!» Охранники забегали, но ничего не предпринимали. Когда спели песню, Фэнэ на губной гармошке заиграл: «Был у меня товарищ». Кто-то тихо подпевал.

— Он всегда был социал-демократом,— сказала Анна Шпорман,— но храбрый был человек, настоящий друг.

Пришли соседи, Фэнэ решил, что ему тут оставаться незачем, и пошел к Цюндеру, где все уже собрались на чердаке возле голубятни. Цюндер прилаживал на крыше доску для голубей, и изнутри видны были только его ноги.

— Пошли на крышу к Клеффам,— сказал Цюндер.— Пойдем, Рохо.

И голубь встрепенулся в руке у Зугги.

Один за другим все вылезли через люк на крышу и с помощью веревки, привязанной к печной трубе, перебрались на плоскую крышу высокого дома Клеффов, крытого рубероидом после того, как во время воздушного налета обгорели деревянные стропила. Сели спиной к дому Зипманов. Рохо устроился на животе у Цюндера и сунул голову ему под рубашку.

Подул свежий ветер, он гнал тучи, они подплывали совсем близко и уносились прочь; постепенно темнело, уже почти не видно было крыш. Фэнэ играл песню о маленьком барабанщике.

— Потише, пожалуйста,— крикнула им наверх Эльза Клефф.

Цюндер заговорил на свою любимую тему — о том, что животные ничуть не глупее людей.

— Самое страшное для голубей — это ястреб,— сказал Цюндер.— Но и самый ловкий ястреб, если промахнется и голубя не возьмет, сра-

зу же меняет направление полета. Значит, он ведет борьбу по правилам.

— Вот уж нет,— сказал Фиман.— Как-то нашего голубя Беппо — писаный красавец был — ястреб не взял, промахнулся, а Беппо запутался в проволоке от заслонки у входа в голубятню, ястреб это заметил, упал камнем и схватил его. Я сам видел, собственными глазами. Так что брось ты насчет правил.

— А кому нужна проволока у заслонки? — возмутился Цюндер.— Просто человеческая глупость, и все.

Фэнэ смекнул, к чему этот разговор о голубях и людях. Он сказал:

— Если Дауценберга принудили заговорить, некоторым придется срочно исчезнуть, а для этого надо кое-что подготовить в пещере. Давайте-ка действовать.

Глава девятая

Листовки

Но все было спокойно. Значит, от Дауценберга гестапо ничего не добилось. Старик действовал на собственный страх и риск. Никто ничего не знал.

— Сейчас надо держать ухо востро,— сказал Карлхайнц.— Через несколько недель здесь будут американцы, но до этого нацисты успеют многих укокошить. Наше дело им не попасться.

Они сидели, ели суп и смотрели в раскрытые окна. Далеко на западе, где-то возле Дюссельдорфа, небо было в огне, на солнце сверкали серебряные точки — эскадрильи «Б-17», «летающих крепостей», а среди них, над ними и под ними появлялись и таяли в воздухе маленькие облачка — разрывы снарядов. Но из-за дальности расстояния и постоянного ветра ничего не было слышно.

— Скоро сюда прилетят,— сказала мать Фэнэ,— поторапливайтесь.

Тут на кухне кто-то произнес:

— Здравствуйте, товарищи.

В дверях стоял маленький худой человек, на голове у него была форменная кепка германского трудового фронта.

— Карл! — тихо воскликнула Анна Шпорман.— Откуда? — Ложка выпала у нее из рук, она вскочила и обняла вошедшего.

Карл приехал из Дортмунда на грузовике и этой же ночью собирался обратно. Он не торопясь съел тарелку супа, расспросил про Хайни Шпормана, еще про кое-кого и сказал, что хочет поговорить с заводскими.

— В сумке у меня свежие листовки,— говорит,— тут дело и для вас найдется.— И посмотрел на Фэнэ и Карлхайнца.

Завыли сирены. Началась воздушная тревога.

— Ты поставишь в известность Стаха и остальных,— обратился Карлхайнц к Фэнэ,— ты, мать, проводи Карла к Ниусам через бомбоубежище, а я буду ждать в запасном туннеле и вас пропущу. Встретимся в укрытии под насыпью.

Карлхайнц состоял на заводе в отряде противовоздушной обороны. Сейчас он спешил. Фэнэ ушел с ним. Анна Шпорман еще задержалась на несколько минут, а потом побежала вместе со всеми в убежище. Фэнэ через Макевку обо всем сообщил Стаху.

— Ничего, дело пойдет на лад,— сказал Карл, когда двумя часа-

ми позже они — Стах, Эвальд Штумпе, маленький Поттман и Фэнэ — сидели в большом помещении под насыпью. Фэнэ они тут же отправили наверх для наблюдения за местностью.

Стемнело. Фэнэ слышал гул моторов тяжелых бомбардировщиков и залпы зенитных орудий, видел высоко в небе лучи прожекторов и сигнальные ракеты — все как всегда.

Потом его позвали вниз. В три часа у перекрестка за каменным карьером Карл должен был встретить грузовик, шедший в Дортмунд. Фэнэ пошел его проводить. Молча шли они через кустарник, миновали карьер и вовремя подошли к перекрестку. Отсюда видно было далеко. Перед ними лежала Рурская область. Все небо горело.

— Рабочие кварталы бомбят,— сказал Карл,— а заводы щадят, думают, скоро Рур захватят, во всяком случае до прихода Красной Армии. Американцы уже у ворот Парижа.— Ветер донес звуки взрывов.— Газовые котлы,— заметил Карл,— как воздушные шары лопаются.

И, помолчав, заговорил о том, какое значение имеет борьба.

— Она будет продолжаться и после того, как война кончится,— сказал Карл.— Господствующий класс у нас ведь еще существует, и он объединится с таким же классом в государствах союзников, а народ снова надуют, будут рассказывать басни о коллективной вине немецкой нации, о том, что движение Сопротивления в годы войны было бесполезно и бессмысленно. Эти господа будут ставить на одну доску Гитлера и Сталина. Но те немногие, которые сейчас поднялись на борьбу, докажут, что сопротивление было и разумно, и возможно, объяснят, с каких позиций действовали и почему были правы, что его организовали. И докажут, что только они могут построить новую Германию.— Он погасил сигарету.— Мне уже шестьдесят, сам-то не доживу. А вам будет нелегко. Но есть в мире Советский Союз, не забывайте об этом.

На их улицу свернул грузовик и поехал вверх, к перекрестку. Фары у него были зашторены — через две узкие щели на дорогу падал лишь слабый лучик. Карл взял пустую сумку и вышел на середину перекрестка. Грузовик подошел ближе. Карл отступил в сторону, машина медленно ехала мимо, сзади на борту приподняли брезент, Карл бросил сумку в кузов, побежал следом, подпрыгнул, ему помогли вскарабкаться, брезент опустили, мотор взревел, грузовик пошел быстрей, быстрей и скрылся в направлении Рура.

Фэнэ отправился назад, напился воды из ручья, улегся в зарослях папоротника, закутал голову курткой и сразу уснул.

К вечеру он вернулся домой. Матери дома не было. У Ронсдорфов Фэнэ тоже никого не застал. Тогда он пошел к Тричам. Оказалось, все у Эрны на кухне — разговаривают, смеются.

— Он стоял вот тут,— показывала Эрна Трич.

Она остановилась возле шкафа, пригнулась, будто оперлась на костыль, подняла левое плечо, прищурила один глаз, другой широко раскрыла, правую руку сунула за спину. И все расхохотались. Вылитый Гуго Бек.

Из обрывков фраз Фэнэ понял, что Гуго Бека назначили теперь начальником заводской охраны, специальным уполномоченным, ему даже крест за военные заслуги дадут. Такое событие надо было спрыснуть. «Весело, весело мы теперь живем»,— запели Цюндер и Тюнеман, а дедушка Тиль пустился было в пляс, но поскользнулся и угодил в ящик с углем. Все снова расхохотались, и Фэнэ пожалел, что так поздно пришел.

Он пошел в лагерь к русским. В проволоке, отделявшей муж-

скую половину от женской, снова наделали дыр. Стах сидел у барака.

— Как с листовками? — спросил Фэнэ.

Стах сделал ему знак, они пошли к грузовой платформе, отыскали укромное местечко за грудой ящиков, Стах вынул из кармана листовку.

— Это листовки для солдат,— сказал он.— Если пойдут воинские эшелоны, листовки надо забрасывать в вагоны. Ну, и еще распространять на зенитных батареях в городе и вокруг.

Фэнэ прочитал:

«Товарищ, не ходи больше ради Гитлера на верную смерть. Живи и помогай борьбе за спасение народа и армии! Организуй вместе с товарищами по оружию армейскую группу «Свободная Германия» и постарайся привлечь к нашему движению всех честных солдат, унтер-офицеров и офицеров, сознающих свою ответственность перед родиной. Ты останешься жив, вернешься в свободную Германию и будешь гордиться тем, что спас от гибели товарищей».

— Дай-ка мне несколько штук,— сказал Фэнэ,— подумаем, что тут можно сделать.

— Действуй разумно,— предупредил его Стах,— сейчас самое важное — осторожность. Надо, чтоб никто не пострадал.

Собрались в сарае у Боров, внимательно прочитали листовки и стали думать, где их разбросать. Воинские поезда проходили теперь все больше ночью, а не днем, как раньше. Раньше ребята стояли у насыпи, и солдаты — в те дни они еще распевали песни — выбрасывали им из вагонов хлеб, шоколад и всякое такое прочее. Иногда поезда даже останавливались, солдаты с ними разговаривали, можно было кое-что выменять, например, за полный котелок горохового супа — пачку сигарет. Дети кидали в вагон письма: «Дорогой дядя солдат, как ты живешь, меня зовут Хорст, напиши нам письмо», а потом те же дети, когда солдаты уже не пели песен, бросали в раскрытые двери вагонов пакетики с сигаретами, самодельной карамелью, напульсниками и носками.

А теперь решено было ночью незаметно подойти к «Тринадцати быкам», дождаться поезда, стучать в двери вагонов палками, а когда двери откроют, швырять туда листовки. Так представлял себе предстоящую операцию Фэнэ. «Тринадцатью быками» именовали мост двадцатиметровой высоты, за полкилометра до которого поезда притормаживали, а въехав на мост, двигались со скоростью пешехода.

— Что листовки бросать! — сказала Зугта.— Нужно письма написать, вложить в них листовки, потом все запечатать. Они обрадуются, не выбросят сразу листовки, ну и прочтут.

Так и сделали. На тетрадном листочке Зугта написала:

«Дорогой дядя солдат, вот тебе табак и носки. В школу мы больше не ходим — ее разбомбили. Нас бомбят днем и ночью. Нам очень страшно, и мы голодаем. Кончайте скорей войну, возвращайтесь домой. Я не верю в победу. У нас в нее никто не верит. *Голодный и замерзший ребенок*».

— Ты — голодный и замерзший ребенок? Что за бред! — сказал Цюндер.— Вычеркни это к черту.

— А по-моему,— сказал Фиман,— у нас вообще чересчур жалобно выходит, лучше просто: «Долой нацизм, Гитлеру капут!»

— Что ты мелешь? — возразил Тюнеман.— Учти: мы паиньки и просим — ах, папочка, поскорей возвращайся домой. Зугта правильно написала.

Стали спорить, но и Фэнэ поддержал Зуггу, предложение Фимана отвергли, и каждый написал — конечно, измененным почерком — по пять писем. Оставили все, как сочинила Зугга, только в конце вместо слов «голодный и замерзший ребенок» каждый подписал «твой Хорст» или «твоя Эдда», вложили в каждое письмецо листовку и сунули в пакеты с носками и табаком.

В первую ночь операцию проводили Фэнэ и Фиман. Залегли на насыпи, стали ждать. После двенадцати прошел первый эшелон, впереди — открытые платформы, на них орудия, бочки, канистры, гусеничные автомобили, потом вагоны для офицеров и в конце — вагоны для лошадей и рядового состава. Палки не понадобились: в большинстве вагонов двери были приоткрыты. Ребята пробежали рядом с вагонами, увидели спящих на соломе солдат, бросили в вагоны два пакета, на том дело и кончилось. За ночь такую операцию проделали дважды.

На другую ночь была очередь Цюндера и Тюнемана. Скоро осталось всего пять листовок.

— Это для соседей,— сказал Фэнэ.

Среди лесов и холмов к югу от города были разбросаны зенитные батареи из орудий крупного калибра и счетверенных зенитных пулеметов. Батареи были обнесены двухметровым забором из колючей проволоки. За ограждение никого не пускали, только родственников. Им разрешали навещать близких по воскресеньям, водили туда и детей — солдатских братишек, сестренок.

Фэнэ решил распространить последние листовки среди личного состава зенитных батарей. Тут публика была довольно пестрая — солдаты, пожилые ефрейторы и молоденькие офицеры. Как-то в воскресенье после обеда Фэнэ пошел к бабушке Бертрам, единственной родственнице Инги Фордамм.

Фэнэ захватил с собой бутылку красного вина и два наперстка настоящего кофе. Он уселся на стул у окна, напротив старушки, оба стали смотреть на улицу.

— Ты принес бабушке Бертрам красного вина и кофе, может быть, у тебя и пирожок есть? Красная Шапочка и серый волк. А? Что тебе нужно? Просто так ведь никто не придет меня навестить, верно?

— Да нет, честное слово, мне ничего не нужно...— залопотал Фэнэ.— Просто несколько дней назад у тебя были Макевка и Ольга Поттман...

— Ладно тебе,— перебила бабушка,— расскажи лучше, как дела. Скоро война-то кончится?

Фэнэ сказал, что американцы уже в Париже, что об отце и товарищах почти ничего не известно.

— Про американцев слыхала,— сказала старушка.— Ну, а наши-то где?

Фэнэ ответил, что Красная Армия где-то у Кёнигсберга, но это втрое дальше Парижа.

— Американцы! — воскликнула бабушка.— Это же сплошь негры с длинными ножами. Ох, перережут они нас! Что же наши-то тянут?

Дедушка Тиль, шедший по противоположной стороне улицы, подмигнул им.

— Смотри,— сказала бабушка Бертрам,— вон идет старый Герман,— не хочет умирать, пока наших не дождется.

И стала говорить о том, как теперь все изменилось: раньше рабочие склоняли голову перед коричневым сбродом, но времена не те, пора браться за оружие и всякое такое прочее. Она говорила долго,

а когда выдохлась, Фэнэ спросил, пошла ли Инга сегодня к своему фельдфебелю-зенитчику.

Старушка опять раскричалась:

— Легче кота летом на печке удержать, чем ее дома. Как увидит издали военную форму, так уже сама не своя. Мать такая же была.— Вдруг она осеклась, потом сказала: — Ну, выкладывай, с чем пришел.

Но тут распахнулась дверь и вошла Инга Фордамм.

— Что тут еще такое? — спрашивает.

— Ах, ласточка прилетела! — затараторила бабушка Бертрам.— И так рано — до конца смены ведь еще далеко, ты хоть не заболела, детка?

— Что за чушь,— говорит Инга,— я спешу; переоденусь и уйду. А ты что тут делаешь? — накинулась она на Фэнэ.— Какой черт тебя принес? Что тебе надо?

— Надо с тобой поговорить по важному делу.— И они вышли в соседнюю комнату.— Один раз,— сказал Фэнэ,— тоже в воскресенье я ходил с тобой на батареи, якобы я твой брат, помнишь? Может, сходим еще сегодня? А?

— Ладно, пошли,— ответила Инга,— только не ходи за мной по пятам.

Инга переоделась, и они пошли. Бабушка Бертрам все сидела у окна.

Они встретили Эльзу, подружку одного обер-ефрейтора.

— А ему что там нужно? — спросила она, когда Инга представила ей Фэнэ.

— Так просто, посмотреть,— сказала Инга.

Они подошли к калитке.

— Это мой брат,— сказала Инга про Фэнэ. Ингу тут знали, их сразу пропустили.

— В шесть придется уйти,— строго предупредил часовой с автоматом.

— Ладно. Ну, катись отсюда,— сказала она Фэнэ,— до шести я не уйду.— И вошла в барак.

Фэнэ стал бродить по батарее, встретил двух ребят лет по шестнадцати в солдатской форме и говорит им:

— Покажите что-нибудь интересное.

Они повели его к орудию на крестообразном лафете, позволили даже опуститься на специальное сиденье и покрутить рукоятки механизмов, установки взрывателя, но Фэнэ это мало интересовало. Потом в казарме резались в скат.

Потом Фэнэ пошел в уборную и наколол на крючок с обрывками газетной бумаги три листовки.

— Ну,— сказал он через какое-то время своим новым знакомым,— пойду сестрицу искать.

Он вошел в барак и положил под стекло на письменном столе две последние листовки, а затем вместе с какими-то штатскими — они навещали родственников — направился к выходу. Часового с автоматом он попросил передать сестре, что будет ждать ее в лесу.

Инга Фордамм возвратилась после шести, злая и неприветливая.

— Что случилось? — спросил Фэнэ.

— Ничего. Пока,— сказала она, когда они уже шли по городу.— Мне надо еще кое-куда зайти.— И скрылась за углом.

— Ну вот, дело сделано,— сообщил Фэнэ вечером в сарае у Боров и рассказал, как оно было.

— Да,— мечтательно произнесла Зугга,— скоро, скоро война все-таки кончится.

Глава десятая

На кладбище

Зугга с матерью сидели дома и играли с Фэнэ в скат. Потом пришла Лизбет Крах, принесла несколько желтых кофейных зерен — ей пастор дал, она у него в доме помогала по хозяйству. Зерна надо было еще немного поджарить, но не до черноты, тонко размолоть и добавить цикория.

— Ох, как вкусно,— сказала Эрна Трич.— Еще бы пирога — было бы совсем хорошо.

Они прихлебывали кофе, и Эрна рассказывала, какой пирог она пекла когда-то из белой, как снег, муки, тридцати яиц и пяти фунтов масла.

Лизбет Крах все молчала. Фэнэ даже удивился. Потом она встала, предостерегающе подняла палец, выглянула за дверь, потом из окна, опять уселась на место и сказала еле слышно:

— Наш патер Фридрих кое-что мне шепнул. Это тот, в толстых очках, который сидел в Кёльне, а теперь тут живет.

— Ага, патер Фридрих,— вставила Зугга.

— Помалкивай,— цыкнула на нее Эрна.

— Так вот, значит, патер Фридрих...— повела рассказ Лизбет Крах, как всегда очень обстоятельно и подробно.

«Хорошо, что Цюндера нет»,— подумал Фэнэ, и как раз в это время отворилась дверь и вошел Цюндер.

— Неплохо устроились, кофе вкусно пахнет, а вот и я!

Мать его тут же умолкла, и каждый отлил ему немного кофе.

— Ну,— сказал Фэнэ,— сиди тихо и слушай. Серьезный разговор.

Лизбет Крах сделала два глотка и, не глядя на Цюндера, снова повела рассказ о том, как патер Фридрих...

Однако не успев начать, она вынуждена была снова умолкнуть. Цюндер вскочил, ударил кулаком по столу, заорал:

— Не позволю, чтоб вы смеялись над моей матерью,— она вас кофе угощает, а вы...

Фэнэ схватил его за руки, сказал:

— Садись, тут действительно важное дело, уж поверь.

На Цюндера иногда находили припадки бешенства, он делался весь красный, кричал как полоумный, лез драться. Фэнэ умел его успокоить. Сейчас тоже обошлось. Цюндер уселся на место, и все стали внимательно слушать. Фэнэ задавал Лизбет вопросы. Наконец все поняли, о чем речь.

Патера Фридриха из Кёльна с месяц назад пригласили местные католики. Одно время он как политический сидел в тюрьме. Теперь в дощатой будке на католическом кладбище, где пастор и его помощники переодеваются, когда служат во время похорон, он прячет человека. Человек этот бежал из кёльнской тюрьмы Лютрингхаузен. Но убежище ненадежное, поэтому беглеца надо поскорее переправить в другое место.

— А почему он именно тебе это рассказал? — спросил Фэнэ.

— Потому что я говорила ему про Бено, отца Цюндера; он же отбывал заключение как политический, пока его не отправили в штрафной батальон. Из будки на кладбище того человека надо поскорей убрать, а то зацапают.

— Нет, это ловушка! — крикнул Цюндер.— Как раз вчера по «Свободной Германии» рассказывали, как устраивают такие провокации. И этот беглец наверняка с пастором заодно.

— Нет,— сказал Фэнэ,— отец мне говорил, что священники нас не предают, когда надо насолить фашистам.

Цюндер только злобно рассмеялся.

Такое важное дело необходимо было обсудить со Стахом, и ночью они встретились в третьем проходе у барака «Ф» за грудой железнодорожных шпал. Присутствовал при разговоре и Эвальд Штумпе.

Эвальд считал, что сейчас не стоит заниматься беглецом.

— После смерти баварца,— сказал он,— надо держать ухо востро; что-то они притихли на заводе, небось, не к добру.

— Не согласен,— сказал Стах,— надо выручить пастора: он нам еще пригодится.

Эвальд Штумпе оказался в меньшинстве.

— Спрячем беглого в Ольховой пещере,— сказал Фэнэ.

Его предложение было принято.

— Только пусть пастор сообщит, как нам до этого человека добраться,— сказал маленький Поттман,— ведь на кладбище он хозяин. Лизбет Крах надо все обсудить с пастором, а там уж мы посмотрим, что делать.

Сначала Цюндер спорил, хотел все сделать сам, но потом послушался.

— Учти,— сказал он матери,— если дело кончится плохо и тебя втянут в историю, я разгромлю всю их компанию вместе с твоим пастором Фридолином.

— Его зовут Фридрих,— сказала Зугга,— патер Фридрих.

На другой день вечером Цюндер с матерью зашли к Шпорманам, и Лизбет Крах рассказала:

— Завтра в четыре часа у патера погребение, тогда все и устроим. Будут хоронить старую фрау Шпрингорум, я ее знала. Второму пастору патер скажет, что сегодня он в помощниках не нуждается, у него, мол, сейчас гостит коллега, викарий из Кёльна, приехал, мол, на один день, обсудить с ним кое-что.

Сразу после обеда он отнесет гостю из Кёльна черную сутану и все необходимое для погребения. Клеменс, то есть гость, облачится, потом в четыре благословят гроб, совершат в часовне краткое богослужение, и когда гроб опустят в землю, Клеменс и Эрна отправятся домой. Надо только, чтобы все выглядело так, будто Клеменс — друг Йозефа, кузена Эрны, пастора в Рейнской области. Потом Клеменса надо будет доставить на вокзал и оттуда — в убежище.

План подходящий. Только Цюндер еще сказал:

— Чтобы все сошло благополучно, надо самим пойти на погребение. А то Лизбет всегда очень волнуется.

— Тут спокойствие важней всего,— подтвердила Анна Шпорман,— ты не волнуйся, Лизбет, и все будет хорошо.

Решили, что завтра ровно в четыре соберутся у кладбищенской часовни.

Стоял сентябрьский день, погожий, теплый. В небе летали истребители и бомбардировщики. Теперь редкий день обходился без налетов — американцы были совсем близко.

— Вот сволочи, эти летчики,— сказал Цюндер,— бросают бомбы куда попало, хоть на женщин и детей.

Начались похороны. Все стояли у кладбищенской часовни. Большинство было в черном, Фэнэ и Цюндер надели выходные костюмы. Ждали, когда вынесут гроб. Мать Цюндера читала молитвенник, потом все слушали пение, доносившееся из часовни. Фэнэ казалось, что это никогда не кончится. Возле живой изгороди, на границе между католической и евангелической частями кладбища, стояла дощатая

будка. Своей часовни у католиков не было, но им разрешали пользоваться той, что принадлежала евангелистам.

— Им теперь только переодеться,— сказал Цюндер.

— Тише ты,— цыкнула Лизбет Крах, и Цюндер покраснел как рак.

Зазвонили колокола. Из часовни вышли четверо итальянцев — пленные из армии Бадольо, все во фраках, цилиндрах и белых перчатках, они несли гроб, а за ними выступал священник в черной сутане, с крестом в руке. Рядом, в кружевной накидке поверх сутаны, шел маленький, худой человек в очках, а дальше шли старики, десять или двенадцать. Многие плакали.

— Кто тут патер? — спросил Фэнэ, когда они вместе со всей траурной процессией шли к могиле.

— У которого на плечах занавеска,— ответил Цюндер.

— А, значит, второй — это Клеменс,— сообразил Фэнэ.

По дорожке, усыпанной гравием, они медленно шли между могилами, потом свернули направо к католической части кладбища. Сентябрьское солнце светило прямо в лицо. Вдруг в вышине загудели моторы. Фэнэ увидел бомбардировщик, который заходил на них со стороны солнца. Фэнэ толкнул Лизбет Крах, и оба они упали на землю за могильной плитой. Тут же раздался грохот взрыва. Комья земли и грязи взлетели вверх, поднялся крик, кто-то громко скомандовал: «Всем лежать». И опять гул моторов, совсем рядом, прямо над ними. Фэнэ широко раскрыл рот, крепко прижал к ушам ладони. Мгновение тишины, потом сильнейший взрыв — будто сам воздух взорвался. Фэнэ прижало к могильной плите, он прикрыл голову руками, сверху на него сыпались грязь и камни,— и вот тут-то все заголосили, закричали. Фэнэ вскочил, сначала решил, что ничего не случилось, потом повернулся в другую сторону и обнаружил, что от часовни осталась одна кирпичная стенка и над ней клубится дым.

— Помолимся,— услышал он голос патера. Тот стоял на усыпанной гравием дорожке; люди медленно поднимались с земли.— Помолимся,— повторил патер и начал громко читать «Отче наш».

Сначала немногие, а потом все, всхлипывая, стали повторять за ним слова молитвы.

На гробе, который теперь стоял поперек дорожки, сидел итальянец и курил. Не прекращая молитвы, патер схватил его за шиворот и заставил встать. Итальянцы подняли гроб, и похоронная процессия продолжала свой путь, только теперь патер пятился — он шел лицом к процессии и все молился. Клеменс был тут же, он пятился, как и патер, держа крест высоко над головой; Фэнэ показалось, что он улыбается.

Лизбет Крах сказала:

— Снова нас защитил всевышний.

— Только бы, черт возьми, сюда ищейки не налетели,— сказал Цюндер.

И тут они услышали сирену санитарной машины, которая уже давно пробиралась к часовне. За ней, помедленнее, двигалась машина с полицейскими.

— Сейчас,— громко сказал патер,— мы, соблюдая полное спокойствие, подойдем к могиле и простимся с усопшей.

Все встали у открытой могилы. У дальнего ее края стоял Клеменс, подняв крест, итальянцы на веревках опустили гроб в могилу, патер снова помолился — на этот раз по-латыни. Клеменс вторил ему, тоже по-латыни. Потом бросили на гроб комья земли, кое-кто всплакнул, и патер сказал:

— Разойдемся по домам и возблагодарим господа.

Родственникам он пожал руки, сказал на прощанье несколько слов.

Фэнэ с Цюндером и Лизбет Крах подошли к пожилой женщине — лицо ее было закрыто вуалью — и пожали ей руку.

— Примите наши искренние соболезнования,— сказали они и стали позади патера.

— Что ж, пойдемте,— сказал тот, и все, окружив патера и Клеменса, пошли к дощатой будке.

Перед будкой они увидели двух полицейских и человека в штатском. Фэнэ узнал Бернгарда Шлютера из уголовной полиции.

— Да, знатные получились похороны,— сказал Бернгард Шлютер.

— Дорогой Шлютер,— сказал патер, пожимая ему руку.— Ничего страшного — главное, обошлось без паники.

Фэнэ знал, что Шлютер сам католик.

— Налеты сейчас дело обычное,— продолжал Шлютер,— но начальство должно быть в курсе, и донесение все равно придется писать.

Патер ответил:

— Через несколько минут я полностью в вашем распоряжении. А пока разрешите вам представить,— он указал на Клеменса,— священник Дайсман из Кёльна. Должен вернуться в свой приход, а до того зайти к Крахам. Он друг священника, кузена фрау Крах.

Клеменс кивнул.

— Добрый день, Лизбет,— сказал Шлютер и добавил, обращаясь к Клеменсу: — Сожалею, что получились такие неудачные похороны.

— Пойдемте, Дайсман,— сказал патер,— надо быстро переодеться: сегодня у меня еще разные требы.

Бернгард Шлютер посмотрел им вслед. Когда они исчезли в дощатой будке, он закурил сигарету и сказал:

— Видно, славный человек его преподобие Дайсман. Вы его давно знаете?

— Несколько раз видела,— пробормотала Лизбет.

А Цюндер сказал:

— Он часто режется в скат с дядюшкой Йозефом.

Двое в форме спросили, долго ли еще им тут торчать.

— Идите к часовне,— ответил Шлютер.— Сейчас приду.

Из будки вышел патер, за ним Клеменс. Сутана была ему явно мала.

Бернгард Шлютер стоял рядом с Фэнэ.

— Вот ведь остались без отцов,— сказал он.— Но, надеюсь, не пропадете.

— Да уж как-нибудь,— ответил Фэнэ.

Подошли патер и Клеменс.

— Итак,— сказал патер,— до свидания, дорогой Дайсман, скоро неразбериха кончится и мы снова будем служить мессу в нашем любимом Кёльне.

— До свидания,— отвечал Клеменс.

Бернгард Шлютер улыбнулся и сказал:

— Слава Иисусу Христу.

— Во веки веков аминь,— отвечали патер, Клеменс и Лизбет.

И разошлись в разные стороны. Патер и Шлютер — к часовне, остальные вместе с Клеменсом — к кладбищенским воротам.

...Дома у Крахов нашелся кувшин вина. Клеменс залпом выпил стакан и рассказал, за что его увезли в лагерь.

— Я дал одному малому — его угнали из Польши на принуди-

тельные работы — две корзины картофеля и попал за это в тюрьму Лютрингхаузен. Как сбежал? Ну, поставили меня на расчистку территории после бомбардировки. Утром шли мы на работу и попали под бомбежку. Я спрятался под машину, а в другую попала бомба. Грохот стоял ужасный. Я спрятался в развалинах одного дома, под кучей мусора и щебня. Там и просидел, пока все не стихло.

Все было очень похоже на правду, да и держался Клеменс как настоящий честный рабочий. Фэнэ и Цюндер переглянулись.

Клеменс был столяр. У него была мастерская в Ниппесе, но ему пришлось ее закрыть и перейти на работу в другое место. Там делали гробы, одни гробы, по тысяче штук в день.

— А что вы думаете делать со мной дальше? — спросил он.

Фэнэ посвятил его в план:

— Доставим вас к поезду в Кёльн. В километре от станции — высокий мост под названием «Тринадцать быков», по нему поезд идет очень медленно. За мостом он начнет ускорять ход, и тут-то вам нужно будет спрыгнуть из вагона направо, а потом спуститься под откос. Вас встретят и проведут в пещеру.

На вокзале два солдата проверяли документы. Клеменс предъявил контролеру билет, еще раз обернулся.

— Спасибо,— сказал он.

Ребята ответили:

— Счастливого пути, господин пастор!

Глава одиннадцатая

Командир взвода

В Ольховой пещере пряталось уже трое. Скоро их стало больше. Четвертым оказался Берти Бишоф, сначала друг, потом враг, а потом опять друг — ничего, так тогда бывало.

Берти Бишоф, сын учителя Бишофа, учился в одном классе с Эгоном Ронсдорфом. Эгон был старший брат Фимана и погиб в прошлом году на войне. Берти тогда пропадал у Ронсдорфов с утра до вечера. Потом он поступил в гимназию и кое-что изменилось. Началось с того, что он записался в футбольную команду «Ноль семь». Берти и Эгон играли на правом крыле команды «А», она входила в состав «Тус 98» — бывшего рабочего спортивного общества. Когда общество в третий раз и уже окончательно закрыли, игроки из «Ноль семь» ожидали, что к ним перейдут лучшие силы из «Тус 98», но никто, конечно, и не думал переходить в это жалкое общество — никто, кроме Берти. Ну да ладно, это Эгон еще мог ему простить.

«Что поделаешь,— говорил он,— сын учителя, такие рано или поздно уходят, пусть уж лучше играет в футбол, а не в гандбол или, скажем, теннис».

Берти прямо помешался на футболе. Конечно, футболом увлекались все, и даже очень сильно, но с Берти творилось что-то неописуемое. С утра до вечера он думал только о футболе, знал всех знаменитых футболистов, делал в тетради зарисовки различных моментов игры, создавал и переформировывал (на бумаге, конечно) команды, испытывал разные приемы игры, без мяча нигде не появлялся. Переход его в команду «Ноль семь» был, таким образом, по меньшей мере понятен.

Но постепенно он стал такой противный, развоображался. Ясно, попал в гимназию, куда товарищам вход запрещен. В конце концов такой противный стал, что Эгон отказался с ним знаться.

Какое-то время они не встречались, но тут Фэнэ и еще кое-кого из ребят заставили записаться в «юнгфольк» — детскую фашистскую организацию. Сначала считалось, что они недостойны находиться в рядах «гитлерюгенда» — так же как их отцы недостойны служить в армии. Но потом гитлеровцы передумали: чем больше солдат, тем все-таки лучше.

Как-то раз в субботу, под вечер, Фэнэ Шпормана, Фимана Ронсдорфа, Тюнемана Ниуса и Цюндера Краха вызвали в дом молодежи — на языке гитлеровцев это значило: «обязали стать в строй». Их привели в помещение, где были развешаны знамена и фотографии нацистов, и толстый красноролжий фашист-баннфюрер, произнес речь.

— Поскольку,— сказал он,— ваши отцы являются, или по меньшей мере были, вредителями, вам, их детям, надо загладить свою вину.

Айретюс, крепкий, здоровый малый, спросил:

— Кем прикажете себя считать — колонной узников концлагеря или штрафным батальоном?

— Заткнись,— заорал фашист.— Мы вас отучим от этого тона.— И его понесло: мол, весь народ должен сражаться, прежде всего молодежь, и всякое такое прочее.

Фэнэ почти не слушал. Но тут он заметил Берти Бишофа. Тот сидел за столом с другими руководителями сборища. Наконец, дошло до главного. Объявили, что сформировано два взвода и командиром взвода 1-б назначен Бертольд Бишоф. Берти вскочил с места, щелкнул каблуками.

— Может, еще ничего страшного, а? — рассуждал потом Тюнеман, но Фиман только зло усмехнулся.

— Посмотрим,— говорит,— думаю, страшного достаточно.

И как в воду глядел. В следующую субботу их заставили целый час маршировать, ложиться на землю, вставать, падать, а потом Берти Бишоф держал такую же речь, как в прошлый раз — толстый нацист. Молол о влиянии родительского дома, которое необходимо искоренить, о том, что их отцы и матери — враги народа, и всякое такое прочее.

Вечером Фэнэ пришел к Бишофу.

— Послушай, Берти,— сказал он,— мы понимаем, тебе надо пороть всякий вздор, когда коричневые рядом. Ну, и строевая подготовка и прочее. Но скоро придется с этим кончать.

— Ты что? — закричал Берти.— Да как ты смеешь?

— Ты лучше запомни мои слова,— сказал Фэнэ. И ушел.

После этого стало совсем худо. Фэнэ, Фимана, Тюнемана и Цюндера наказали: заставили маршировать мимо Берти и вскидывать руку в знак приветствия, а на занятиях в классе Берти назвал отца Фимана большевистским врагом народа.

Это было уж слишком. Фиман предложил просто его прикончить: чик-чик — и ногами вперед, старый способ. Нацисты только такой и признают. Фэнэ был другого мнения:

— Конечно, наказать надо, но на первый раз полегче, вроде шутки, ну, а если не поможет, можно придумать кое-что посерьезнее.

У него был свой план, построенный на любви Берти к футболу. План нашли превосходным, а Зугга просто хохотала до упаду.

Через несколько дней они пришли вечером на площадь, где обычно играла команда «Тус». Площадь была рядом с домом Бишофа. Они принесли с собой настоящий кожаный мяч. Трудней всего было

достать этот мяч. Футбольные мячи стали редкостью. Играли матерчатым мячом, набитым соломой. Таким мячом вообще-то нельзя играть — уже через полчаса он становится плоским и не подпрыгивает даже на сантиметр. У команды «Ноль семь» хранились в несгораемом шкафу два настоящих футбольных мяча.

Но сын аптекаря Буби ван Бетен болел детским параличом, и у него был настоящий футбольный мяч — желтый, с покрышкой из воловьей кожи, новой камерой — резиновой и ни разу не чиненной, не слишком тяжелый, не слишком легкий. Буби заманивал ребят и заставлял играть с ним в настольную игру под названием «Не горячись!». Отыграешь три часа и получаешь на час футбольный мяч. В игру «Не горячись!» играют только вчетвером, так что мячом завладевали трое.

И вот на протяжении двух дней подряд Фэнэ, Зугга и Цюндер играли после обеда с Буби в «Не горячись!» по три часа без перерыва, и так как игра эта без обмана, Буби проигрывал, и они все время ругались. Но так или иначе мяч они получили. Горя жаждой мести, остановились они посередине площади, как раз напротив дома Бишофа.

Фэнэ ударил по мячу справа, запустил его свечой, потом перебросил с одного колена на другое, потом с головы на колено, на ногу, на голову, потом — пас Фиману, а тот откинулся назад и, высоко подняв руки, принял мяч грудью, спустил его на ногу, потом через голову снова к ноге, мяч застыл на мгновенье на левом плече, потом оказался на голове, на секунду там задержался и снова соскользнул к ноге, а потом уж Фиман ударом снизу передал мяч Тюнеману. Тот взял мяч — пас налево, пас направо, бросок с мячом вперед, опять назад...

Со стороны как будто ничего особенного, но на самом деле манипуляции Тюнемана с мячом были ужасно сложные. Его стиль игры.

Фэнэ и Фиман любили пошутить, и когда мяч юлой вертелся на поле, они именовали себя Сцепаном и Куцоррой (так звали знаменитых футболистов), а Цюндера в воротах — Крессом из дрезденской команды «СЦ». Высокие мячи он брал, бросаясь на них всем корпусом, а когда мяч шел низко, стремительно сгибался.

Была тишина, ни ветерка, и только удары по мячу. Хлоп, хлоп — так прыгает лишь настоящий футбольный мяч. Услышал это и Берти Бишоф. Фэнэ увидел, как поднялись шторы, отворилось окно, и Берти крикнул:

— Откуда мяч?

— Наш,— ответил Фиман и продолжал работать с мячом.

Берти понаблюдал за игрой, потом закрыл окно.

— Он не выйдет,— сказала Зугга.

— Подождем,— сказал Фэнэ.

И они продолжали играть. Мяч кружился и вертелся по полю, его посылали высоко вверх, он летел понизу, короткий пас, и вот окно снова открылось.

— Я тут сижу с братишкой,— крикнул Берти,— может, кто меня сменит, а?

— Ладно, сейчас приду,— говорит Зугга.

Все побежали к воротам, и пока Фэнэ и Тюнеман били, а Цюндер ловил мяч, Фиман достал из-под куртки, которая лежала у штанги ворот, тяжелую, весом этак килограммов в тридцать, круглую железную гирю. С такими тяжелоатлеты работают. Гиря была в точности как футбольный мяч, и величины такой же, и цвет тот же.

Берти вышел. Он закатал рукава сорочки, бросая косые взгляды направо и налево, будто шел по стадиону перед трибунами, где полно зрителей. Но в тот момент, когда появился Берти, настоящий мяч лежал под курткой у ворот. А сами ворота защищал Цюндер. Он нагнулся вперед и слегка расставил руки. Фиман стоял в пяти метрах от «мяча». Фэнэ стоял сбоку. Он прислонился к штанге ворот.

— Берти,— закричал он,— бей, бей по воротам!

И Берти побежал от середины площадки, несколько раз зацепился носком за землю, побежал дальше и со всего размаха стремительно выбежал на штрафную площадку. Специальных футбольных бутсов к тому времени уже давно не было, в футбол играли в простых кедах. Такие были и на ногах у Берти Бишофа.

Раздался дикий вой. Будто режут молодого быка. Берти никого к себе не подпускал — лежал на земле и колотил руками. Фиман и Цюндер схватили его, поставили, но у Берти подкосились ноги. Он заорал как полоумный.

— Ну-ну,— сказал Фиман,— члены «гитлерюгенда» не плачут.

Берти плюнул ему в лицо.

— А ты, оказывается, шуток не понимаешь! — сказал Цюндер.

Берти брыкался, но его внесли в дом.

— Что случилось? — спросила Зугга.

— Неудачный удар по мячу,— отвечал Фэнэ.

Берти усадили на диван. Перед тем как уйти, Фэнэ сказал:

— Мы квиты, счет один-один. Я лично предлагаю считать игру законченной.

В следующую субботу на занятия пришли только Фэнэ и Фиман. У Берти Бишофа нога была в гипсе, так что какая уж тут маршировка. Ограничились песнями. Когда все уходили, Берти их задержал:

— Говорите, счет один-один? Согласен, выйдем вместе.

Вышли в коридор.

— Минуточку,— сказал Берти и открыл какую-то дверь.

— Осторожно! — закричал Фэнэ, но слишком поздно: выход им был отрезан. Парни из «гитлерюгенда» в тяжелых сапогах втолкнули их в комнату, оттуда сбросили в подвал и зверски избили. Они пришли в себя, только когда их окатили водой. Кое-как доплелись до дома и несколько дней провалялись в постели.

Три месяца они каждую субботу маршировали, слушали всякий вздор, пели «Молодой народ поднимается...». И вот однажды они сидели на обочине дороги, была жара, пыль стояла столбом, вдруг донеслись звуки трубы, всегда игравшей один и тот же мотив «тэ-тэ-тэ-тэ-рэ-тэ-тэ», и Берти сказал Фэнэ:

— Видишь, все идет как положено. Нужна только крепость да выносливость. Так делают сталь.

— Да,— ответил Фэнэ,— твоя правда.

Во взводе 1-б находился и Фестус Ковальский. Отец его, исследователь Библии, сидел в концлагере.

— Послушай,— сказал ему как-то Фиман,— когда ты идешь в школу, Айертюс и его дружки вечно отнимают у тебя хлеб и молоко. Неужели тебе не хочется разделаться с ними, хотя бы с Айертюсом, а?

— А как? — спросил Фестус.

— Возьмем его во время учений на местности в плен, отведем в сторонку и устроим ему темную. Только спроси в субботу на занятии, можно ли провести учение в Доманском лесу.

— А почему именно я?

Фэнэ объяснил:

— Если кто-то из нашей компании предложит такое, Берти Бишоф сразу заподозрит подвох. А если ты, он только обрадуется, что ты хочешь играть в войну.

— Ой, не знаю, не знаю, что у вас на уме.

Фиман сказал:

— Не сомневайся, тебе плохо не будет.

В субботу Фестус завел разговор о военном учении, и Фэнэ тотчас стал возражать:

— Кому это надо? Еще сквозь чащу пробираться! Пусть лучше Берти расскажет нам что-нибудь полезное, нам учиться надо.

Берти Бишоф улыбнулся:

— Вы оба правы. Военная игра — это та же учеба, если, конечно, правильно ее организовать. И в следующую субботу в Доманском лесу я покажу вам, как это делается. Нашим противником будет взвод 1-с.

Во взводе 1-с был Айертюс с дружками, и как-то под вечер Фэнэ направился в поселок — весь из пестрых бараков,— туда, где городские кварталы подходят к самой границе южного леса.

Айертюс и ёще двое ребят сидели на корточках перед разобранной гранатой.

— Глядите-ка,— крикнул Айертюс,— кто к нам пришел! — На нем были кожаные брюки с поясом, белая рубашка и белые гольфы.

Толковали Фэнэ с Айертюсом долго, но в конце концов договорились. Фестусу Ковальскому тоже было чему порадоваться: его обещали оставить в покое, кроме того, в возмещение ущерба ему выделяли двадцать марок. Ну, а Айертюсу за содействие операции выделяли трубчатую раму от машины «БМВ», которая лежала в подвале у Шпорманов.

В следующую субботу Алекс Шпрингорум, командир взвода 1-с, сказался больным и не вышел на учение. Он лежал в постели, так как накануне вечером по дороге домой неудачно упал. Айертюс доложил Берти Бишофу:

— Я говорил с Алексом, он болен, и на время учения я должен принять командование взводом 1-с. Атаковать будет взвод 1-б.

По условиям игры, Айертюс со своими людьми должен был удерживать высоту 8, неподалеку от Ольховой пещеры, а главное — беречь сумку с важными донесениями.

Все шло как по маслу. Во время атаки, в которой участвовали Берти Бишоф, Фэнэ, Цюндер и кое-кто еще, Фэнэ заманил командира взвода в Ольховую пещеру, и он оказался в их власти. Айертюс устроил так, что его взвод потерпел поражение, и вечером его «солдаты» разошлись по домам. Таким образом, долго никто не замечал отсутствия командира взвода 1-б Берти Бишофа.

Фэнэ с ребятами раздели Бишофа донага, связали и положили в муравейник.

— Только попробуй кричать,— предупредил Фиман,— они наполнят тебе глотку выделениями, и ты задохнешься.

Его освободили через полчаса. У Берти Бишофа были красные глаза, от страха он не мог говорить.

— Так делают сталь,— сказал Фэнэ. И добавил: — Значит, счет два-два. Теперь слушай меня внимательно. Мы не одни, больше я ничего тебе не скажу. А тебе стоит призадуматься над тем, что с тобой будет в следующий раз. За нами дело не станет, не сомневайся.

Так воцарилось спокойствие. Фэнэ с ребятами больше не появлялись на субботних занятиях, а Берти Бишоф и не думал доносить об этом начальству.

Глава двенадцатая

Стратегия

После истории с Берти Бишофом прошло около двух лет. За это время много воды утекло. Берти ушел на фронт, детской фашистской организации «юнгфольк» пришел конец, про учительского сынка и думать забыли. Но вот как-то утром Фэнэ и Тюнеман сидели в сарае и смотрели на кроликов. Август, самец бельгийской породы, заболел несколько дней назад и ничего не ел.

Вдруг раздался цокот копыт, все ближе, ближе, распахнулись окна, дедушка Тиль закричал: «Наши пришли, Красная Армия!» Ребята перемахнули через забор и увидели всадника на вороном коне, на плечах плащ-палатка, меховая шапка сдвинута на затылок. Лошадь приплясывает, а он кричит жителям, высунувшимся из окон:

— Люди, через неделю войны не будет, Фландрия пала!

И помчался вниз по улице, распевая во все горло:

— Сме-ерть бро-одит по Фландрии!

Перескочил кирпичную стену и ускакал к железнодорожному виадуку.

Этот всадник был Берти Бишоф.

Ну, после этого жители квартала ни о чем другом уже не говорили. Днем в открытом «мерседесе» приехали полицейские, расспрашивали, что за сумасшедший дезертир разъезжает верхом на вороном. Но Берти никто не выдал.

После обеда сидели на городской стене. Фиман и Цюндер проверяли силки в Доманском лесу, они никого не видели, и теперь им рассказали, что случилось утром. Фиман и Цюндер, конечно, не поверили и только ухмылялись.

— Да, да, у нас тоже есть что порассказать,— сказал Фиман,— в западню попала косуля, большая такая, а мы ее, понимаете, взяли и выпустили и теперь так жалеем!

Но Тюнеман снова завел про всадника в меховой шапке на черном коне, как тот одним махом перескочил через стену и крикнул: «Смерть бродит по Фландрии». Тут уж Фиман и Цюндер не выдержали.

— Вы бы целый день в лесу проторчали — не мололи бы чепухи! — Ну, слово за слово, дальше — больше, стали ругаться.

Тут Зугга вдруг говорит:

— Послушайте, что это?

Со стороны виадука послышался конский топот, вой автомобильной сирены, и все увидели всадника в плащ-палатке. Конь мчался бешеным галопом, брюхом почти касаясь земли. Всадник проскакал вверх по улице мимо них и умчался дальше. Тут же на большой скорости, непрерывно сигналя, проехал открытый «мерседес» с полицейскими и резко, со скрежетом затормозил у поворота напротив Зипманов. Из машины выскочили двое.

Фэнэ Шпорман, Фиман Ронсдорф, Тюнеман Ниус, Цюндер Крах и Зугга Трич сидели на стене не дыша и слушали, как вдали затихают цокот копыт и вой сирены. Кто-то крикнул из окна:

— С ума сойти!

Тюнеман спросил:

— Ну, что вы теперь скажете?

Наутро Цюндер зашел к Шпорманам, сел за стол, получил ломоть хлеба, поговорили о том о сем, Цюндер под столом пнул Фэнэ, тот вскочил, и они быстро вышли из дома.

— Отгадай, кто прячется в сарае у Боров,— сказал Цюндер.

— Вот это да! — воскликнул Фэнэ, когда они вошли в сарай.

За деревянными ящиками лежал Берти Бишоф, его била лихорадка, голова была горячая, он метался. Они накрыли его одеялами.

— Кони,— прошептал несколько раз Берти,— кони.

Они ничего не могли понять, уложили его ночью на носилки и задворками, через железнодорожную насыпь и огороды, дотащили до Ольховой пещеры к Шали и Анне Кузневской.

Эта парочка неплохо обставила логово Каспара Флеингхауза в «Костяном гроте». Там появились ковры, одеяла, стол, табуретка, кровать, даже кресло-качалка — Клеменс смастерил его из старой детской коляски. И свет был — карбидная лампа и свечи.

Берти положили на матрац. Анна сразу же принялась за дело, сделала укол, наложила компресс.

— Плохо, плохо,— приговаривала она.

Хорошего было мало. Бишоф неделю провалялся в сильнейшей лихорадке и только потом стал медленно поправляться. И все молчал. Волосы у него страшно лезли. Он что-то все бормотал про лошадей, спал сутками, не просыпаясь, жутко изменился, и его, бледного, тощего, с лысиной в полголовы, переправили к Клеменсу. Тот соорудил себе в одном гроте из тонких еловых бревен довольно просторный домишко — с окнами и даже ставнями, хотя зачем — неизвестно, потому что тьма тут всегда стояла кромешная. Клеменс с утра до вечера при свете карбидной лампы, факелов или свечей прихорашивал свой сказочный домик, и он тут же соорудил второй для Берти.

Берти давали взбитые яйца с красным вином, ухаживали за ним, и вот к нему стали возвращаться силы. Но он ничего не говорил, ничего, только «да» и «нет», а еще иногда бормотал что-то про лошадей. Фэнэ с ребятами почти каждый день навещали Берти, они сидели на самодельных табуретках у столика. Берти лежал на нарах и пристально, неподвижно смотрел на горящие свечи. Они пытались разговорить его — рассказывали разные истории, старались его заинтересовать.

Фиман, например, рассказывал про матч между командами «Арминий» и «Шальке». «Шальке» проиграл со счетом 0 : 10, там еще играл этот маленький саксонец, ну, как его, Туль Хардер, по глупости сухую заработали.

Берти Бишоф вдруг заволновался, но не из-за чуши, которую они несли. Это его словно бы и не интересовало — даже когда Цюндер рассказывал про Пауля Янеса, бывшего защитника из «Фортуны», а теперь вратаря в команде «Нюрнберг». Мол, он, Цюндер, сам зашнуровывал ему бутсы в перерыве во время товарищеского матча с командой «Ноль семь». На самом-то деле эту обязанность обычно выполнял Берти, и раньше бы он сразу влепил оплеуху тому, кто вздумал бы этим хвастаться. А теперь Берти смолчал.

Полиция скоро перестала искать сумасшедшего дезертира. У насыпи нашли коня — он мирно щипал траву, и полицейские решили, что дезертир вскочил на ходу в поезд, шедший на восток.

В самом конце сентября ребята привели Берти на озеро у каменного карьера. Пригревало солнце. Искупались, немного поплавали, потом легли на камнях сохнуть.

— Слушай, Берти,— сказал Фэнэ,— если ты попадешься им в руки, они тебя сразу прикончат. Сиди в пещере, выходи только с кем-нибудь из нас. Ясно?

Берти молчал. Грелся на солнышке и потягивался.

— Берти же не дурак,— вставил Тюнеман.— Что, ему жизнь надоела?

— Вот война скоро кончится, будем все вместе играть в «Тусе»,— медленно произнес Цюндер.— Подумайте, а? Берти — центр нападения, Эгон — справа, Ханзи и Тюнеман — крайние нападающие, Фэнэ — центр полузащиты, правый полузащитник — Фиман.

О таком составе «Туса» можно было только мечтать. Причем Цюндер не преминул назвать несколько имен из команды противника. При каждом имени все хохотали, выражая полное презрение к жалкому, недостойному противнику.

— Что скажешь о такой игре, а, Берти? — спросил Фиман.

Берти пожал плечами.

Тюнеман встал, поднял камешек, поднес ко рту и заговорил как в микрофон, быстро, без пауз:

— Лучший нападающий белокурый Берти Бишоф прорвался сквозь защиту противника, вот он передает мяч стремительному Вальдемару Ниусу, известному под именем Тюнеман. Как всегда, подкупает его стиль, он будто танцует венский вальс, да, да, танцует...

— Как ангел парит он над футбольным полем,— перебил Фиман, вскочил и побежал, Тюнеман — за ним, оба прыгнули в озеро и начали бешеную возню.

— Правда, Берти,— сказала Зугга,— тебе с нами хорошо, а? — И она погладила его по голове.

Поиграли еще в водное поло,— Берти и в этом не принимал участия.

Когда солнце опускалось в лощину за выгоном и над ивами, которые теперь казались выше, чем днем, темным пятном бесшумно пронеслась сова, Цюндер развел костер так, как делают индейцы в прериях: вокруг слабого огня звездой кладут ветки, а потом придвигают их к огню, и тогда костер не дымит. Они сосали и грызли кусочки сала, которое раздобыл Фиман, а Фэнэ на губной гармошке играл сонату Моцарта A-dur.

И тут Берти говорит:

— У меня есть план.

Фэнэ сразу перестал играть. Цюндер даже сало изо рта выронил. Все уставились на Берти. А Тюнеман сказал:

— Ну, давай, мы слушаем.

И Берти изложил свой план.

— Сами знаете,— сказал он,— союзники уже почти на Рейне. Все резервы брошены на Западный фронт, чтобы сдержать наступление и оттянуть окончательный разгром Гитлера. Значит, наступил час партизан. Прежде всего надо нарушить и разорвать систему снабжения фашистов, надо делать налеты на военные склады, колонны машин, железнодорожные составы, дороги и мосты. Надо создать ядро партизанской армии. А потом уже нетрудно будет пополнить ее. Рабочие, угнанные на принудительные работы, военнопленные только и ждут освобождения. Они рвутся в бой. В самой армии тоже много народу против Гитлера. При первых же успехах партизан солдаты побегут к ним целыми ротами. Вы спросите, с чего начинать, да?

Луна, круглая и желтая, выкатилась из-за края каменного карьера, отразилась в озере, а Берти, командир партизанского отряда, стоял в лунном свете и каждому по очереди смотрел в глаза.

— Прежде всего,— сказал он,— надо раздобыть лошадей и оружие.

— Да, да, конечно, лошадей,— сказал Фэнэ,— пойдем-ка, Берти, лучше в пещеру.

— Не трогай его,— вмешался Цюндер,— он ведь дело говорит.

— Будем прятаться в лесах,— продолжал Берти.— Крестьяне будут нас снабжать. Крестьяне будут на нашей стороне. А нет — так сами справимся. Создадим команды по одиннадцать человек в каждой — самое правильное число для подразделений, которые действуют в глубоком тылу.

Берти все говорил, луна поднималась все выше, озеро блестело и сверкало, на выгоне ржали лошади.

Берти замолчал. Ребята затихли, размечтались.

Потом Фиман сказал:

— А помните, что с Айертюсом сделали? Его вооруженная группа вела уличные бои с членами «гитлерюгенда» и полицией, взрывала склады боеприпасов, освобождала рабочих, согнанных в Германию из разных стран. Штаб группы находился в горах, недалеко от Бармена. Так против них послали эсэсовскую часть и уничтожили всех до единого. Айертюса повесили на телеграфном столбе.

— Ну, это два года назад было,— сказал Берти,— тогда еще время не настало. А сейчас — пора. Еще недели две — и придут американцы, и мы вместе с ними войдем в город.

— Ерунда это, выдумки,— говорит ему Фэнэ.

— Нет,— воскликнул Берти,— все в наших руках, было бы желание. Подумайте о русских партизанах! Многие не старше нас, а есть еще французы, итальянцы, хорваты, сербы. Все сражаются, только мы слоняемся без дела и прячемся в пещерах как звери трусливые.

А Фэнэ ему:

— Там сражаются все, весь народ, а тут, смотри, кругом полно нацистов.

— Да ну вас! — крикнул Берти.— Не смеете нос высунуть дальше железнодорожной насыпи. Вот и весь ваш горизонт. Вечно, что ли, собираетесь так жить: квартира, пивная, завод — как деды жили? Неужели не обидно так всю жизнь прожить?

«До одурения нас заговорил»,— подумал Фэнэ, когда они шли обратно в пещеру. По дороге домой все молчали, как воды в рот набравши. У самой своей двери Фиман сказал:

— А ведь оружие бы раздобыть можно.

— Хватит тебе,— обрезал Фэнэ.

На том и расстались.

Фэнэ долго не мог уснуть — встал и выглянул в окно. Луна плыла по небу. Проснулся Карлхайнц.

— Тревога? — спрашивает.

— Нет,— ответил Фэнэ.

Карлхайнц, лежавший на нижней койке, натянул на себя одеяло и повернулся лицом к стене.

— Слушай,— сказал тут Фэнэ,— что ты скажешь о партизанах?

— Скажу одно хорошее, только дай спать.

— Нет,— говорит Фэнэ,— я про наших партизан.

— Чепуха,— сказал Карлхайнц, а потом вдруг повернулся и спрашивает:— Вы что натворили? Опять глупости какие-нибудь?

— Нет,— сказал Фэнэ,— я просто так.— И полез к себе на койку.

Карлхайнц свернул самокрутку. Он прятал ее в кулаке — окно было не зашторено.

— Послушай,— опять заговорил Фэнэ,— они везде сражаются против фашистов. Партизаны. По-настоящему, с оружием в руках. А мы...

— Мы тоже сражаемся,— возразил Карлхайнц,— только в других условиях и другим оружием. Здесь иначе нельзя.

— Почему это?

— Ну что ты мелешь? — взорвался Карлхайнц.— Вспомни отца, Карла из Дортмунда, Стаха, других. Думаешь, все идиоты? Сам прекрасно знаешь, кто за ними стоит.

— Ладно,— сказал Фэнэ,— вечно одно и то же.

— Хватит,— сказал Карлхайнц,— это все полнолуние, ты никогда его не выносил. Давай спи, хорошо, что ночь обошлась без налета.— И он погасил самокрутку.

Фэнэ спал плохо. Ему снились горящие дворы, и патронные ленты крест-накрест опоясывали ему грудь, и на голове у него была широкополая шляпа, и он все куда-то скакал, скакал, скакал.

Утром он без аппетита съел ломоть хлеба; он не замечал матери — все смотрел на железнодорожную насыпь, потом на завод, потом снова на насыпь.

— Нравится тебе тут? — спросил он у матери.— Насыпь, завод, придешь с работы домой, потом идешь в пивную — и так всю жизнь?

— В пивную? — переспросила мать.— С чего это ты взял? В жизни не сидела в пивной! Что ты мелешь? Господи, скорее бы уж занятия в школе начались!

В подвале Фэнэ разыскал соломенную шляпу, которую отец всегда надевал, когда работал в саду. Шляпа валялась под разным хламом, поля обтрепались. Фэнэ поднялся наверх и перед зеркалом в спальне нацепил эту штуку на голову. Он увидел себя, желтую истрепанную соломенную шляпу, а потом лицо матери. Она тоже вошла в комнату.

— Привет,— говорит,— господин директор направляются в пивную?

Фэнэ швырнул шляпу в угол и ушел.

Глава тринадцатая

Партизаны

Фэнэ устроился под сливой рядом с Зуггой. Сестренка, весело смеясь, барахталась рядом с ней в траве.

— Если все скоро кончится,— сказал Фэнэ,— снова в школу идти. Еще год трубить, потом учеба на производстве, и вкалывай всю жизнь. Ну, а вот ты над этим хоть раз всерьез задумывалась?

Сперва они молча смотрели на сливу, потом в небо. Там были крохотные серебряные точечки — это бомбардировщики летели на восток, и гудели они не громче, чем пчелы на сливе.

Фэнэ всегда мечтал стать слесарем. Больше ему ничего не надо было. Но со вчерашнего дня, а может, еще и раньше, он перестал о чем-либо мечтать. Он представлял себе, как под ручку с Хенкельманом пойдет из дома на завод и с завода домой, как остановится на углу около дома Зипманов поболтать о том о сем, как будет в пивной пропускать стаканчик-другой пива и играть в скат, как по воскресеньям будет ходить на стадион сначала играть, потом зрителем. Потом женится, дети пойдут, только успевай платить членские взносы в партию, в страховую кассу, а под конец он будет, как дедушка Тиль, сидеть у окна, смотреть, как другие идут на завод, и дожидаться смерти.

Он все это так и высказал Зугге. Та помолчала, а потом спросила, что плохого в футболе, женитьбе и детях. Сестренка залезла к нему на колени и болтала без умолку.

— После войны все по-другому будет,— сказала Зугга.— С коричневыми покончат раз и навсегда. Командовать будут наши, а мы, на-

верно, дальше учиться будем. И завод будет наш. В общем, все переменится.

— Еще неизвестно,— сказал Фэнэ и повторил то, что доверил ему ночью Карл из Дортмунда на перекрестке за каменоломней: — Борьба будет продолжаться, впереди много трудностей.

Зугга хотела было спросить, собирается ли он вообще жениться, но тут появился Цюндер, и Фэнэ не пришлось ответить. Недавно Цюндер снова взялся за Карла Мая и теперь со знанием дела начал объяснять ребятам, как стреляют с колена:

— Слушайте, нам это может еще пригодиться. Вот сидим мы ночью у костра, обсуждаем планы, ну, скажем, как взорвать какой-нибудь там мост. Лошади распряжены. Тут один конь захрапел — значит, нас подслушивают. Мы преспокойно продолжаем говорить, а у самих ушки на макушке, и шапку опускаем низко на глаза, чтобы шпион не заметил, что мы за ним наблюдаем.— Цюндер надвинул на лоб воображаемую шапку и откинулся на спину.— Ночью глаза всегда блестят,— продолжал он,— даже у шпиона. Я вижу его глаза, а сам притворяюсь, что просто играю с винтовкой.— Цюндер взял в руки сучок и приподнял правое колено.— Прижимаем винтовку к колену, целимся шпиону прямо в лоб и — пли!

Тут вдруг раздался пронзительный крик, как будто кто-то и правда получил пулю в лоб. Сверху с чердака Зипманов неслись крики, потом громкие звуки пощечин. Кто-то громко говорил по-французски.

— Шан сорвался,— сказал Цюндер.— Это уже несколько дней продолжается. Вчера кричал «Никаких нежностей» и спустил Кристу с лестницы. Он был в Сопротивлении в Париже, здорово разбирается в подпольной работе. Этот нам пригодится.

Крики все не прекращались; потом Фэнэ позвала мать, и он ушел. В обед Фэнэ сидел у Ронсдорфов. Опять долго рассматривали фотографию Альфонса, дяди Фимана — веселого усача в сомбреро, с патронташем и ружьем, а сзади — гигантский кактус. Был тут и дедушка Тиль — он играл в шестьдесят шесть с дедушкой Фимана.

— Вы только посмотрите на него,— сказал дедушка Тиль,— вот это малый! Ведь он мог захватить губернаторский дворец. В Мексике жарко, так они все днем спят. Надвинут шляпы на глаза и спят-спят в тени, возле высокой стены. Так вот, значит, Альфонс подкрадывается к дворцу, повод в руке держит, копыта лошади обмотал тряпками. Отряд — за ним, и вот они подходят к стене, где эти дураки расселись в рядок, точно куры на нашесте. Альфонс как вскочит на коня, за ним остальные, и — сабли наголо — мчатся вдоль стены. Спрятали сабли под шляпы, по лестнице прямо в спальню. А губернатор толстый в постели нежится...

— Хватит,— перебила мать Фимана,— хватит болтать!

— Пошли,— сказал Фиман.

На улице они долго еще слышали голос дедушки Тиля.

Тюнеман примостился на подножке железнодорожного вагона Ниусов и читал книгу. На голове у него было что-то вроде меховой шапки.

— Здесь что-то затевается,— сказала Берта Ниус, когда они прошли в садик.— Со вчерашнего дня Ниус-младший просиживает часами то над «Историей революции», то над «Тарасом Бульбой» Гоголя, натянул на голову идиотскую шапку и пристает с расспросами о бурных днях на Рейне и в Руре. Интересуется оружием, лошадьми, партизанскими действиями. К чему бы это?

— Очень просто,— отвечает Фэнэ,— мы с ним много говорили о партизанах.

— А историю революции изучать полезно,— заметил Фиман,— вы

ведь сами говорите, что нам не хватает знаний и не мешало бы подучиться.

Берта Ниус вообще недолюбливала Фимана. Она неодобрительно на него посмотрела и сказала:

— Не приведи господь, если на руководящих постах окажутся такие, как ты.

Они решили раздобыть лошадей и направились в горы. На лугу они увидели трех сильных коней. Тюнеман, которому приходилось сидеть верхом на Эльзе, с помощью Фэнэ и Фимана забрался на буланую лошадь. Он ударил ее палкой, лошадь пробежала несколько шагов рысцой, потом остановилась и стала спокойно щипать траву. Так же было и с двумя другими. Потом они увидели на лугу длинноногого рыжего жеребца.

— Вот этот нам подойдет! — крикнул Тюнеман.

Подошли к нему поближе. Тюнеман протянул руку и говорит: «Поди, поди сюда!» А сам шагнул еще ближе. Жеребец поднял голову. Тюнеман похлопал его и, обхватив руками за шею, хотел было сесть верхом. А конь как мотнет шеей. Тюнеман и оказался на земле. Конь задрал длинный хвост, пробежал рысцой несколько шагов, как следует полил травку и уже не обращал на друзей никакого внимания.

Тогда к нему пошел Фиман. Но жеребец как лягнет задом, чуть по голове Фимана не ударил.

— Да ну их, лошадей этих,— сказал Фиман.

Потом проверили оружие под железнодорожной насыпью. У них оказалось: четыре фаустпатрона, три фугасные гранаты с головками и детонаторами, два карабина 98-го калибра и 300 патронов к ним, один пулемет с четырьмя магазинными коробками, восемь ручных гранат, одна дисковая противотанковая мина, пятьдесят дымовых шашек, два горшка магнезии, несколько связок бикфордова шнура, кроме того, «вальтер» Фэнэ и еще несколько штыков.

— Для начала хватит,— сказал Тюнеман,— остальное потом.

Но никто с фаустпатронами обращаться не умел; они положили один на ручную тележку, прикрыли сверху тряпьем и повезли к озеру около каменоломни.

Вызвали из пещеры Берти.

— Ну-ка покажи, как эта штука действует,— сказал Фэнэ.

— Сперва головку отверни,— начал Берти.— Поверни влево. Теперь крути. Так. Теперь вынь трубку, вставь детонатор. Потом запальник. Нет, не так. Капсюль должен упираться в детонатор.

Фэнэ делал все, как говорил Берти, и после каждой операции Берти отступал на шаг назад.

— Теперь приверни трубку к головке. Крепко придерживай фланец.

Берти был уже в десяти метрах от Фэнэ.

— Чего же ты дрейфишь,— спросил Фиман,— подойди сюда, ты, партизанский атаман.— И подтолкнул Берти поближе.

— Отстань от него,— сказал Фэнэ,— я так тоже могу.— Он раскрыл прицел, продвинул затвор вперед и повернул рычаг.— Теперь все врассыпную,— предупредил он.

Берти был уже далеко, остальные двое стояли в нескольких метрах от Фэнэ. Тот прижал трубку к правому плечу, поверх края головки снаряда прицелился в выступавшую из каменоломни скалу и нажал на красную кнопку. Раздался выстрел. Из конца трубки вырвался огненный луч, и почти тут же снаряд с шипением плюхнулся в воду.

— Все? — спросил Фиман.

Берти нигде не было. Он спрятался в кустах. Потом подошел и подтвердил:

— Да, все. Все правильно.

Отстрелянную трубку бросили в воду, потом отвели Берти обратно в пещеру.

— Он еще не выздоровел,— сказал Тюнеман.

А Фиман говорит:

— Просто трус. Тоже мне, партизанский атаман.

Фэнэ молчал. Его трясло от злости. Эх, не дело затеяли! Да ведь знал же он, знал с самого начала, что так и будет. Зачем же он это допустил? Трепотня учительского сынка. Надо, мол, идти на большие дела, ах, зачахнем в буднях, ах, пивная, завод да железнодорожная насыпь! Не надо его слушать!

В ту ночь опять ярко светил месяц, и как только Карлхайнц уснул, Фэнэ оделся, потихоньку вышел из дому и почему-то пошел в Ольховую пещеру.

Шали и Анну Кузневску в «Костяном гроте» он не нашел и пополз дальше до «Чертова озера» — небольшого озерца в гроте, где со стен и потолка сочилась вода. Там он немного передохнул. Звонко капала капель, а в промежутках Фэнэ различал какие-то тоненькие звуки. Фэнэ посветил факелом и пополз быстрее. В гроте Клеменса он замер. Вокруг маленького костра плясали Шали и Анна. Клеменс, Цюндер и Берти сидели на корточках у костра, а француз Шан играл на скрипке. Цюндер представил его как нового члена партизанского отряда, Берти сказал, что француз свой в доску.

Фэнэ так разозлился, что слова не мог вымолвить. Он дотронулся до кармана куртки, где лежал «вальтер», ему хотелось орать, но он сдержался. Он подсел к костру, улегся на землю, смотрел на тени, плясавшие на стенах и на потолке, ни о чем больше не думал и слушал скрипку. Как сквозь туман он видел Анну и Цюндера, который почему-то все время смеялся. Потом Фэнэ заснул, а когда проснулся, увидел, что вокруг все лежат на земле и спят.

Только Берти не спал. Он говорил, говорил, и эхо повторяло его слова:

Сторожевой огонь, вокруг сидят и ждут, когда кто-нибудь запоет. Но все устали, и страшен красный огонек костра, и лица у всех темные и мрачные. Лишь на миг загораются глаза маленького француза...

А маленький француз преспокойно похрапывал у костра, прижимая к животу скрипку и смычок.

Вдруг раздался выстрел,— грот и вся пещера наполнились гулом. Все сразу проснулись. В задней части грота вспыхнула лампочка. Потом чей-то голос сказал:

— Шпорман, вставай, опрокинь бочку и вылей вино в костер.

Бочка с выбитым верхним дном стояла у самого костра, чтоб удобней было черпать вино. Фэнэ наклонил бочку, и вино с шипением вылилось в костер, потянуло чадом и зловонием. Стало темно. Их ослепили два луча, кто-то скомандовал:

— Француз, разбей скрипку!

Шан заколебался, но ему приказали поторапливаться, и Шан разбил скрипку. Потом тот же голос сказал:

— Все остаются на местах. Никто из пещеры не выходит. Не то — стреляем. Шпорману, Краху и Бишофу подойти сюда.

Фэнэ подтолкнул Берти и Цюндера вперед. Теперь голоса раздались уже у них за спиной.

— К выходу,— скомандовал голос, и Фэнэ узнал Эвальда Штумпе.

Но сзади еще был кто-то. Это оказался Стах. Он отвел Фэнэ в сторону и говорит:

— Что ты наделал! Ты поставил под удар себя, товарищей и прежде всего организацию, которую столько лет создавали твой отец и его друзья. Сам знаешь, чего им это стоило. Ты ничего не сообщил о польке и, что еще хуже, о бесноватом вожаке из «гитлерюгенда». Ты и твои товарищи поддались на его болтовню. И еще француза сюда привели. И все это самовольно, без спроса. Неужели ты не знал,— продолжал Стах,— что орава ищеек день и ночь охотится за Шаном? Американцы дошли почти до Рейна, и фашисты теперь расправляются с угнанными рабочими и военнопленными просто как звери. Хотят доказать, что от них никому не уйти.

— Мы хотели сами расправиться с этим дерьмом,— сказал Фэнэ, но тут подошел Эвальд Штумпе, влепил ему затрещину и говорит:

— Значит, ничего-то ты, парень, не понял. Если бы они сцапали в пещере француза и еще кое-кого, они сразу узнали бы немало имен. Например, пронюхали бы про Фэнэ, и у них в руках оказалась бы ниточка, которую только потянуть — и можно узнать все. Вот мы вам рассказывали как-то про Евхен Левике. В тридцать пятом ей было тринадцать — столько, сколько сейчас тебе. Из нее выжали все имена, она назвала последнее и умерла, а многие угодили потом в лагеря и в тюрьмы, твой отец, например, и некоторых теперь уже нет на свете. Если ищейки что разнюхают, вам надо тут же смываться.

— Ошибиться каждый может,— сказал Стах,— мы и сами виноваты, надо бы получше все разъяснить Фэнэ и ребятам. Ну, если все обойдется, пусть и дальше прячут людей в пещере, охраняют и всякое такое прочее. Дети играют в лесу и на озере — картина вполне невинная. Нам бы и об этом с самого начала надо подумать.

Позже, дома, когда все уже лежали на койках, Карлхайнц ухмыльнулся:

— Да, сколотили вы партизанскую группу, нечего сказать: английский лорд, польская медсестра, столяр из Ниппеса, скрипач из Парижа да пятеро ребят под предводительством сумасшедшего из «гитлерюгенда». Фашисты от страха сразу разбегутся!

Фэнэ выругался, но спорить не стал.

По всем домам шли обыски. Но через несколько дней француза Шана перестали искать. Ищейки ничего не нашли, а как-то вечером — уже в начале октября — Карлхайнц сказал за ужином:

— Зашел бы ты как-нибудь к Поттманам, помог бы им дров напилить.

Они переглянулись с матерью, и она сказала:

— Да, сходи-ка к ним, может, и образумишься.

Маленький Поттман сидел на скамье перед сарайчиком с кроликами. Его домик находился в самом конце улицы, она в этом месте довольно круто поднималась в гору. Отсюда открывался вид на весь квартал, на завод, на железнодорожную насыпь и на пригородные огороды с сарайчиками, на мост «Тринадцать быков» и на Голову Домана. Слева стояли два газовых котла — большие черные шары, рядом — разрушенные дома, беспорядочно торчали телефонные мачты с проводами, на другой стороне — сгоревшая школа, за нею опять дома, некоторые без крыш, а еще дальше — темное, мрачное бомбоубежище. И над всем этим — густое облако дыма из заводских труб и расположенных по соседству коксохимических предприятий.

— Да,— сказал Поттман,— здесь вам не прекрасный голубой Дунай.

Положили сосновое бревно на козлы. Дерево было сырое, пахло смолой. Стали пилить.

— Тяни, все время тяни и не нажимай,— сказал Поттман, и они тянули пилу взад-вперед, взад-вперед.— А красиво тут все равно,—

сказал Поттман, когда упал на землю первый отпиленный чурбан и они подтолкнули бревно.— А уж какая красота будет, когда мы станем тут хозяевами, когда завод будет наш, и школа, и все прочее. И сами будем решать, что здесь делать и как.— Поттман говорил и пилил, а между фразами вздыхал.— Вот вы говорите, вам здесь не нравится, хотите уехать. Подальше, мол, от этого дерьма. А зачем, спрашивается? Вот ты только подумай, почему ребята вроде тебя, дети рабочих, добровольно, даже восторженно сунулись участвовать и в первой, и в этой войне. Отечество, видите ли, Геройство, Величие. В голову им тогда вбили. И сейчас то же самое, только еще пару лозунгов подбавили насчет господствующей расы, и все. Конечно,— продолжал Поттман,— кто в это верит? Кто пойдет ради этой трепотни под пули защищать интересы сволочей, фабрикантов, банкиров? Но они все очень хитро придумали. Раз уж ты всю свою жизнь тянешь лямку как рабочий скот, то хоть между десятью и двадцатью хочется тебе настоящих приключений. И тут нате вам, пожалуйста, такая возможность — уйти солдатом на войну. Нет, браток, наша сила — в дисциплине. Ты будь здесь и каждый день борись. Вот они, наши противники-то, понимают, в чем сила рабочего. И своей болтовней они уже дважды раскололи наше единство. А мы должны им ответить твердостью, не дать себя в обиду. Нам нужен этот завод, эта школа, эти дома. А им нужна земля, на которой стоят заводы, школы, дома, еще больше земли, чтобы построить на ней еще больше заводов, школ, домов. Нет, нас отсюда не выгонишь. Мы тут все своими руками построили. И все наше будет. Так-то, парень.

Поттман устал, и, пока пилили второе бревно, он молчал. Потом сказал, что надо перерыв сделать. Присели отдохнуть, Поттман заговорил опять.

— Вот смотри,— сказал,— не смогли ведь они победить Советский Союз. Ничего подобного. И теперь дисциплина — главное. Им только волю дай — всех нас поставили бы к стенке.

Распилили третье бревно.

— Вот вы часто смотрите на портрет Альфонса Ронсдорфа. Что в нем хорошего? Ничему толком не выучился. В голове только бабы да вино. Другие распространяли листовки, проводили собрания, бастовали, а он только смеялся и все приговаривал: мелко, слишком мелко — это его любимое выражение было. Как сейчас вижу, сдвинет кепочку на затылок, сигарета во рту, белая рубашка, стоит на углу около дома Зипманов или прогуливается. Перед первой войной служил в морском флоте помощником кочегара. Решил остаться в Мексике. В двадцатом, один дружок его рассказывал, нашли его убитого с перерезанным горлом. Вот так-то. А теперь посмотри внимательно на его брата, отца Фимана, или на твоего отца, Хайни Шпормана. Ну, кто тебе больше нравится?

Пилили четвертое бревно. Поттман сказал:

— Будешь слесарем, останешься здесь, как отец, и будешь продолжать то, что мы делали, ясно?

Потом, когда Фэнэ уже уходил, он крикнул вдогонку:

— О нашем разговоре расскажи другим партизанам. Это тебе задание.

В сарае у Боров Фэнэ пересказал все, что говорил Поттман. И добавил, что Поттман, наверно, прав. Цюндер что-то вырезал ножом на палке. Тюнеман — для поддержания беседы — сказал несколько подходящих к случаю слов. Фиман вообще молчал. А Зугга заметила:

— Да, умный у нас друг, ничего не скажешь.

Больше они о партизанской армии не говорили.

Глава четырнадцатая

Небо и земля

В октябре стало твориться что-то непостижимое. Например, командир эскадрильи Пит Кальтхоф, двадцатилетний парень, который вырос в этом квартале, среди бела дня вдруг взлетел на своем «мессершмитте-109» на южной окраине города, опустился над заводом метрах в двух от цеха канистр, чуть не задел за железнодорожную насыпь, пронесся над огородами и — надо же! — пролетел под одной из тринадцати арок моста. Потом самолет свечой взмыл в небо над Головой Домана. Потом перевернулся, камнем полетел вниз и снова — под той же аркой, только уже вверх колесами. Около самой насыпи самолет еще раз стрелой врезался в небо, потом снова понесся к земле, на бреющем полете сделал спираль над домами, рванул в сторону и исчез за холмом на южной окраине города.

Фэнэ Шпорман, Фиман Ронсдорф, Тюнеман Ниус, Цюндер Крах и Зугга Трич сидели на городской стене и слышали, как самолет пикировал над южной частью города. Они подумали, что это бомбардировщик, и прижались к стене. Но нет, разрывов слышно не было. Тогда Фэнэ поднялся и увидел, как самолет несся над железнодорожной насыпью, потом нырнул и пролетел через одну из тринадцати арок моста. Видели это и ребята.

— Это Пит Кальтхоф,— сказал Тюнеман,— кроме него некому.

Ночью в бункере только об этом и говорили. Бабушка Бертрам целыми днями просиживала у окна, от ее взгляда ничто не ускользало, и она говорила больше всех, говорила, как он, значит, полетел вниз, и она подумала, что сейчас, видно, будут бомбить верхнюю часть города, и пускай себе, дескать, бомбят, но тут — она показала на Герту Ронсдорф — трах-тарарах, и он уже очутился над голубятней Поттмана, а потом — и она помахала перед глазами Лизбет Крах и тут же отдернула руку—оказался прямо у ее окна, летчик даже улыбнулся и — мимо и крикнул, мол, она собственными ушами слышала: привет бабушке Бертрам, и как потом — р-раз, он был уже над заводом и всякое такое прочее.

Лоренц Фукс, доставивший в убежище бабушку Тюнемана, сказал:

— Молодец Кальтхоф.

Но Берта Ниус сразу поставила его на место:

— Блажь все это и хвастовство, и пора избавиться от преклонения перед сверхчеловеками.

Мать Пита Кальтхофа рассказывала в лавочке Боров, что Пит, кавалер рыцарского креста, получил недавно еще крест с дубовыми листьями и бриллиантами.

За две недели летчик четыре раза летал вот так и придумывал все новые трюки. Один раз он пролетел между двумя трубами коксохимического завода, которые стоят так близко друг от друга, что между ними вроде и руки не просунуть. Другой раз пролетел над самым административным зданием завода, так что тросы на обоих флагштоках затрещали как пулемет. В четвертый раз чуть не врезался в маневровый паровоз, а через несколько дней его сбили под Аахеном. Он остался жив, но, как с ужасом и гордостью рассказывала его мать, потерял обе ноги и кусочек задней части в придачу.

Следующим приземлился Ойкен Борбах, семнадцатилетний парень, по специальности фрезеровщик. В армию его не взяли, потому что не вышел ростом, хотя он уже раз десять просился добровольцем в воздушно-десантные войска, куда брали даже самых низеньких. Но он

так и не попал в армию, хотя был гимнастом и умел делать большой переворот на перекладине, сколько угодно крутил сальто на земле, делал стойку на брусьях и всякие другие упражнения, которым учили в спортивном обществе. И вдобавок был активистом «гитлерюгенда».

В середине октября — незадолго до того, как американцы взяли Аахен,— примерно в девять утра Ойкен Борбах стоял на плоской крыше высокого дома Клеффов со сложенным на спине парашютом, сшитым из отрезков старых зонтов и шелковых платков. В правой руке он держал фал вытяжного кольца, а левую вытянул в сторону: изготовился для полета.

— Ничего у тебя не получится,— отговаривал его Фиман.

— Ойкен, не надо!— крикнул Тюнеман.

— Вперед!— крикнул Ойкен, прыгнул и плюхнулся посреди улицы. Остался жив — отделался параличом.

Штурмовик Пауль Ениш с каждым днем все больше бесновался и однажды ночью, рассматривая в бинокль «фау-2», чудо-оружие, свалился с крыши. А надо сказать, что «фау-2» вместо Лондона нередко падали на Рур. Ениш проломил головой конюшню Боров, и его нашли с пробитым черепом и хомутом на шее.

Прочие нацисты тоже менялись понемногу. Большинству, конечно, просто хотелось сохранить шкуру после войны, которую они фактически уже проиграли...

Двадцать второго октября 1944 года ребята сидели наверху у Шпорманов. Теперь они постоянно слушали радиопередачи, начинавшиеся с позывных — четыре удара литавр. Час назад сообщили, что накануне сдали Аахен, а ведь отсюда до него всего 119 километров.

Но долго ли в ту пору можно было радоваться? Вечером Герта Ронсдорф зашла к Шпорманам, присела к столу и заплакала. Сказала, что Тедди умер.

Все долго молчали. Потом заплакала Анна Шпорман; Карлхайнц встал, подошел к окну и сказал:

— Наш Тедди Тельман.

Остальные окружили его. У кого-то нашлась фотография Эрнста Тельмана, ее прикололи к куску красной материи и повесили на стену. По радио передали, что он погиб во время воздушного налета на Бухенвальд 24 августа.

— Вранье!— крикнул Макевка.— Тедди не был в Бухенвальде, его держали в Бауцене.

— Может, он еще жив,— предположил кто-то.

Но все молчали. Ясно было, что фашисты убили его.

— Чувствуют, что конец близок,— сказал маленький Поттман.— Вот и убивают наших вождей.— Он вынул из кармана листок. Это оказалась копия письма, которое Эрнст Тельман писал товарищу по тюрьме.

Маленький Поттман протянул листок Карлхайнцу и сказал:

— Читай вслух.

И Карлхайнц прочел:

— «Ты, я и все борцы за наше великое дело должны быть сильными, крепкими, должны бороться и не терять веры в будущее. Быть солдатом революции — значит хранить нерушимую верность нашему делу, которая проверяется жизнью и смертью. Эта верность предполагает надежность, уверенность, мужество и боевой задор всегда и везде. Пламя, которое горит в наших сердцах, закаляет наш дух, будет, как маяк, освещать нам путь во всех сражениях. Твердые и сильные духом, уверенные в торжестве своего дела — так и только так мы сможем стать хозяевами своей судьбы, сможем выполнить наш револю-

ционный долг, осуществить возложенную на нас великую историческую миссию, внести свой вклад в окончательную победу социализма».

Фэнэ заиграл на гармошке «Маленького барабанщика». Остальные тихо подпевали:

И не было среди друзей
Нам друга лучше и милей...

Но тут взвыли сирены и все пошли в бомбоубежище.

Глава пятнадцатая

В Красных горах

— «Во всех округах Великого германского рейха из числа способных держать оружие мужчин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет создается «фольксштурм». Он призван защищать родину с помощью всех видов оружия и всех имеющихся в нашем распоряжении средств».

Всю эту чушь громко читал по бумажке нацист в форме. На заводской площади перед ним выстроилось двести мужчин. По бокам начальника боевой группы и сзади стояли другие нацисты, десять эсэсовцев и заводские охранники во главе с Гуго Беком.

Двести рабочих — подростки, инвалиды, старики — надели на рукава белые повязки, а на головы — стальные каски. Потом полицейские прямо с грузовика стали раздавать фаустпатроны и карабины. Вскинув их на плечо, весь отряд промаршировал к выходу — впереди шли нацисты, эсэсовцы и заводские охранники, посередине ковылял Гуго Бек. Колонна миновала заводские ворота и под пение военного марша прошла квартал.

Штумпе, Поттман, Макевка и Карлхайнц шагали в одной шеренге. Они дошли до Ноймаркта и там встретились с другими частями. Пришлось прослушать речь, которую держал районный начальник, затем они дважды промаршировали по городу, а к вечеру уже нестроевым шагом разошлись по домам. Когда сдавали оружие, выяснилось, что исчезли пять карабинов.

Обыском на заводе и в домах руководил Гуго Бек, но это, понятное дело, ничего не дало. Эсэсовцы с автоматами бегали по заводу и что-то орали. Поттмана продержали целых два дня, но он на допросах ничего не показал, и через неделю все улеглось. Три карабина и сотня патронов предназначались Алексу Шульте, возглавлявшему организацию на заводском филиале в двенадцати километрах от города.

Фэнэ должен был повидаться с Алексом Шульте и вызвать его сюда.

Кратчайший путь к филиалу вел через Красные горы — высокие терриконы вокруг давно заброшенного рудника. Здесь редко кто появлялся — из-за заики Аббаца, который чувствовал себя тут полным хозяином. Аббацу было около двадцати лет, он был припадочный и во время припадков крушил все вокруг.

В четырнадцать лет он придушил взрослого человека и угодил в лагерь. Потом его выпустили и позволили делать все, что захочется. Многие удивлялись: обычно фашисты быстро расправлялись с такими больными.

Но если подумать хорошенько, то поступали они совсем не глупо. Дело в том, что в Красных горах, где так много всяких штолен, шахт и пещер, легко было спрятаться, а в этом районе немало находилось лагерей для угнанных и военнопленных. Ну, а Аббац в свои

владения не пускал никого, конечно, кроме собственной матери, сестер и зверей.

Он расправлялся со всеми беспощадно, калечил, забивал до смерти. Например, он убил поляка Поланского, который сбежал из лагеря. И выдавал беглецов полиции, если за них обещали вознаграждение. Некоторые считали, что, хоть он и сумасшедший, с ним необходимо расправиться. Но Хайни Шпорман говорил, что нет — если исчезнет Аббац, вместо него все равно кого-то найдут. А мстить сумасшедшему заике нечего.

Итак, Фэнэ отправился в Красные горы. Ему поручили выяснить, можно ли в ближайшее время воспользоваться этим кратчайшим путем в заводской филиал, можно ли использовать Красные горы как укрытие для беглецов. Недавно на это появились кое-какие надежды.

Полгода назад из сумасшедшего дома в Апплербеке заике отправили письмо и урну с прахом его сестры Титы. Это была одна из его четырнадцати сестер. В десять лет она почти не умела говорить и только хихикала. Она частенько убегала в город и, протянув руку, шепелявила сквозь заячью губу:

Дядя — пфенниг,
Тетя — пфенниг,
Дай мне пфенниг, дай мне пфенниг!

Как-то раз на нее обратил внимание один фашистский чин из управления округом. Титу поймали и отправили в Апплербек, а через месяц по почте уже прибыла урна с ее прахом. Аббац очень любил сестер, особенно Титу. Наверняка ее убийство подействовало на него — Фэнэ поручили это выяснить.

Задание было опасное, но Фэнэ знал Аббаца: он продавал ему металлолом — в своем районе, у железнодорожной насыпи — и иногда разговаривал с ним о металлах.

«Медь,— повторял Аббац,— это красота: всегда теплая, блестит, ее легко обрабатывать, у-у-у-у...»

Дальше Фэнэ уже ничего не мог понять: у Аббаца начинался приступ заикания, и он целую минуту ничего не мог произнести. Он весь покрывался красными пятнами и крутил головой, но не спускал глаз с Фэнэ, проверяя, не смеется ли тот над ним.

«Точно,— сказал как-то Фэнэ, когда приступ прошел,— медь прекрасный металл, она даже может позеленеть».

И Аббац расхохотался.

Добравшись до первого холма, Фэнэ огляделся. Терриконы из краснозема кое-где поросли густым и высоким кустарником. Вокруг виднелись впадины, ущелья и обрывы, разъеденное ржавчиной железо, колеса, лом, наполовину заваленный землей, и сквозь всю эту свалку в разных направлениях шли тропы. А где-то далеко в лощине скрывался дом Аббаца.

Фэнэ выбрал широкую тропу, пролегавшую сквозь металлолом и кустарник. Он присел на голый холмик метров десять высотой и стал крутить цигарку. Когда же он поднял глаза, то прямо перед собой увидел Аббаца. Тот стоял на высоком остроконечном терриконе. Фэнэ нисколько не смутился, спокойно завязал кисет, положил в кармашек рубашки, вынул зажигалку, прикурил, спрятал зажигалку, сложил руки на затылке, затянулся и медленно выпустил дым через нос и рот. И только потом посмотрел в упор на Аббаца.

— Ну, еще не позеленела твоя медь, а? — спросил Аббац и рассмеялся. Он намекал на волосы Фэнэ, чуть рыжеватые, но далеко не такие красные, как земля кругом, не говоря уже о пылающей гриве Аббаца.

Фэнэ молча курил.

— Здесь тебе не пройти,— сказал Аббац,— проваливай.

Фэнэ достал из сумки бутылку вина, зубами вытянул из горлышка пробку, выпил и говорит:

— Здесь у меня вино, и тебе и твоей мамочке хватит.

— Спускайся,— крикнул Аббац.

Фэнэ встал и пошел по тропе вниз. Аббац соскочил с гребня терикона, спустился по косогору в лощину, и они почти одновременно оказались внизу.

Аббац отобрал у Фэнэ сумку.

— Иди вперед,— сказал он,— все время по этой тропе.

Фэнэ шел первым, за ним по пятам Аббац и все повторял:

— Значит, вином хочешь угостить меня и мамочку, а девчонкам ничего не принес?

— На такую прорву — их ведь тринадцать у тебя — разве дотащишь? — ответил Фэнэ.

Аббац расхохотался.

— А что тебе надо-то? Ведь за прекрасные глаза никто ничего не дарит.

Фэнэ объяснил, что ему надо пройти на филиал, а кратчайший путь туда — через Красные горы, вот и решил заодно Аббаца проведать.

Аббац остановился, взял Фэнэ за рукав, повернул к себе, глубоко вздохнул:

— Проведа-а-а-а...— хотел было повторить он и задохнулся от заиканья.

Он стоял вплотную к Фэнэ, и лицо у него то краснело, то синело. Фэнэ подумал: вот хорошо, что никого с собой не взял, Зугга бы, например, расхохоталась, и тогда — конец, ибо за плечом у Аббаца висел карабин. Но вот он перестал вертеть головой, последний раз выдохнул в лицо Фэнэ свое «у-у-у-у-у», щеки у него стали нормального цвета, и Фэнэ повторил:

— Да, хотел тебя проведать.

Аббац захохотал.

— Ну ладно, шагай.

Аббац вместе со своей мамочкой, сестрами, козами, свиньями, гусями и прочей живностью занимал несколько сараев из плоского жженого кирпича, тут же прилепилась ветряная мельница, а на крыльце валялся всякий медный хлам, накрытый толем.

Вся семейка сидела в одной комнате на потертых диванах и креслах. В центре — мамочка Аббаца, толстая, большая и, как все они, рыжая. Сестры и мамочка смеялись. Тыкали пальцами в Фэнэ, галдели, называли его рыжиком, лисичкой, морковкой и всякое такое прочее. Это они так всех рыжих называли.

— Эй, рыжая башка! — окликнула Фэнэ одна из сестер и подошла к нему.

— Хватит вам,— буркнул Аббац.

— Чего ему надо? — спросила мамочка.

— Пришел в гости, с подарками,— ответил Аббац.— Вина принес.

Стало тихо. Аббац поставил сумку на стол, вынул из нее бутылку и велел Фэнэ первому выпить. Тридцать зеленых глаз следили за каждым его движением. Фэнэ откупорил бутылку, сделал большой глоток, поставил бутылку на стол.

— Смотри не опрокинь,— сказал кто-то.

Мамочка поднялась с места, подняла бутылку, посмотрела на свет, достала стакан, налила до краев, выпила и рассмеялась. И тут уж все засмеялись.

— Поешь с нами,— сказала мамочка.

На столе оказалась крольчатина в собственном соку, со свекольной ботвой, кукурузные лепешки и пюре из каштанов. Выпили еще — Фэнэ принес четыре бутылки — и стали гоготать, рассказывать всякие небылицы одна глупей другой.

— Пошли,— сказал Аббац,— я тебе наше хозяйство покажу. А вы,— велел он мамочке и сестрам,— здесь оставайтесь.

Прошли через темные комнаты с паутиной на окнах. Вокруг — нары, на полу какие-то ящики и одежда. Потом прошли сарай, набитый проржавевшим железом. Потом оказались в мастерской, где стоял токарный станок, лежали медные пластины, стержни и прутья, а потом очутились в хлеву с загородками для коз и свиней. Еще там висели клетки для птиц. Чириканье, щебет. И, наконец, уже в последнем помещении Фэнэ увидел такое, о чем можно было рассказывать и рассказывать, без конца.

Он увидел целый крысиный городок: квадратный шестиметровый ящик высотой с метр, выстланный мхом, песком и травой. Городок этот пересекали дороги и улицы из мелких камешков, на которых стояли деревянные домики и сараи, фабрики, даже вокзал, ратуша, гостиница, церковь, тюрьма! В домах, на дорогах, на траве, в песке сидели и шныряли крысы: бурые, черные, серые. даже несколько белых, глаза как пуговки, уши огромные, хвосты подрезанные.

— Вот, смотри,— сказал Аббац и свистнул.

Крысы бросились к центру городка и — Фэнэ потом просто никто не верил — быстро построились в четыре шеренги! Аббац еще дважды свистнул на той же высокой ноте — по его сигналу крысы повернули влево, еще раз свистнул — и они продефилировали по площади, потом по улицам и переулкам колонной по четыре в ряд. Затем по сигналу Аббаца — продолжительный свист, сперва пронзительный, потом тихий — крысы разбежались в разные стороны.

— Сколько я времени на них ухлопал,— сказал Аббац.— Главное — черные, они приносят потомство, я оставляю только лучших. Вывожу чистокровную расу. Но с ними терпенье нужно.

Тут он снова стал заикаться.

— Так вот,— продолжал он, когда приступ кончился,— кто приказу не подчинится, дисциплину нарушит, мы его сюда! —И Аббац показал тростью на тюремный двор. Там стояла тридцатисантиметровая гильотина — деревянный чурбан и топорик, острый как бритва.— Гильотина электрическая,— пояснил Аббац. Он положил в желобок деревянную чурку, нажал тростью на какую-то кнопку с обратной стороны тюремной стенки, топор соскользнул вниз, и чурка разлетелась надвое.

Фэнэ заглянул в кошачьи его глаза, подумал, что надо было захватить «вальтер», хотя нет, ведь Аббац, чего доброго, и обыскать мог.

— Есть еще один сигнал,— продолжал Аббац,— по нему они набросятся и искусают кого хошь.

Через некоторое время, когда Фэнэ и Аббац шли вместе через Красные горы к заводскому филиалу, Фэнэ спросил:

— Послушай, а что с твоей Титой?

— Как что? — сказал Аббац.— Умерла она.

— Так быстро?

— Да, так быстро.

Вскарабкались на крутой косогор. Увидели сверху завод, обе доменные печи, а над ними густой белый дым.

— Дураков нет — кто поверит, чтобы человек ни с того ни с сего взял и умер,— начал было Фэнэ.

— Заткнись,— оборвал его Аббац,— всех бы вас по одному да к

стенке. Проваливай! Хоть раз еще появишься тут, шлепну тебя, слыхал?

Фэнэ бегом спустился по косогору и зашагал по открытому полю — точно кролик, за которым гонится охотник. Один раз он оглянулся и увидел в лучах вечернего солнца тень Аббаца. Тот перекинул ремень через плечо и держал карабин дулом вперед. Но Фэнэ не ускорил шага. Он медленно пересек поле, вышел на дорогу и вздохнул с облегчением, лишь когда добрался до первого дома.

Тут он еще раз посмотрел на Красные горы.

Аббац исчез.

Глава шестнадцатая

Допрос

Фэнэ вошел в дом Алекса Шульте. Хозяйка Герма Шульте стояла у плиты и помешивала на сковороде картошку с луком. Жира не было, и чтобы картофель подрумянился, она подливала туда кофейный отвар. Пахло, как обычно пахнет в кухне. Герма стала говорить, мол, как вырос-то Эрнст Шпорман, дескать, когда она видела его в последний раз, он был совсем маленький, все в ящике с углем играл и твердил: «Фэнэ, Фэнэ, Фэнэ», с тех пор, мол, его так и прозвали, и всякое такое прочее.

— Алекс через час будет,— добавила Герма.— Как дома, от отца-то письма есть?

Фэнэ ответил, что письма приходят раз в два месяца.

— У отца вроде все в порядке, пишет, чтоб не беспокоились, в общем, пока все вроде ничего.

— Ой, оттуда прямо не дождешься писем. Алекс ведь тоже у меня далеко бывал.

Подсели к окну. Потихоньку темнело. С Красных гор через жнивье на сады опускался туман.

— Ноги болят, значит, будут заморозки,— сказала Герма Шульте,— оно, конечно, рановато.— И стала говорить о своих ногах, о перемене погоды, о том, что кормовая капуста скоро созреет, а американцы все чего-то волынят.

Потом Герма рассказала Фэнэ интересную историю про знамя Союза красных фронтовиков «Рот фронт»:

— Сшила я его в двадцать пятом году. Кругом бахрома, на полотнище слова: «За свободу и право», посередине кулак, внизу надпись: «Рот фронт». Последний раз мы со знаменем на демонстрацию Первого мая в двадцать девятом году ходили.

А через несколько дней запретили нашу организацию, утром ищейки тут как тут, хотели забрать документы и, конечно, знамя, в дверь ломятся. Мы еще в постели были. Алекс встал дверь открыть,— знамя возле шкафа стояло. Тут я быстро снимаю полотнище, древко — в окно, за курятник, заворачиваюсь, как есть, голая, в полотнище, надписью внутрь, смотрюсь в зеркало, ну прямо дама из кинофильма в ванной! Ищейки ввалились. Я — кричать: мол, убирайтесь, стою-то чуть не голая, одна грудь торчит. Посмотрели они по сторонам, заглянули под кровать, ну и не заметили, что полотнище-то я на себя намотала. Так и ушли несолоно хлебавши.

Герма еще раз полила картошку кофейным отваром, помешала вилкой, сняла сковороду с огня.

— Вот, милок, какая история вышла со знаменем. Это тебе не тряпка. Знамя отдавать никому нельзя, а уж, скажем, сжечь — ну, об этом и речи быть не может. Разложила я его потом на круглом сто-

ле, вышивкой вниз, а сверху — скатерть кружевную. Сидим, бывало, вокруг стола, а знамя перед нами, и, знаешь, как-то спокойней от этого.

В тридцать третьем опять пришли с обыском. Каждую бумажку обнюхивали. У нас, понятно, ничего уже в доме не было, а знамя на столе лежало. За два часа они перерыли все вверх дном. Наш полицейский, Плюгавый Заремба — он у нас и в двадцать девятом был, и сейчас живет не тужит,— так вот, он руки под полотнище сунул и давай щупать: может, там листовки. Я к нему с кулаками и давай орать: мол, новый стол поцарапаешь, а сама стою, не отхожу.

Потом уж я для знамени коричневый чехол сшила, а наша бабушка — она тогда еще жива была и все время в кресле сидела — накрывала полотнищем себе колени как одеялом. В тридцать четвертом вернулся Алекс, к нам часто друзья заходили посидеть, и знамя лежало у бабушки на коленях.

В тридцать шестом — опять арест и снова обыск. Мы собирали средства для Международной рабочей помощи, ну, уж ищейки изо всех сил старались. Искали списки с именами. Целый день у нас пробыли, перекопали весь сад, разобрали шкафы, диван. Плюгавый Заремба прямо бесился. «Все равно найду»,— кричал. С ними и баба была, полицейская, обыскала меня, бабушку и полотнище пощупала в чехле — нет ли там бумаги какой.

До тридцать девятого года Алекс, вот как и твой отец, сидел в лагере. Бабушка умерла. Что со знаменем делать? Тогда все в домах затемнение устраивали. Я разрезала бабушкино черное платье, нашила на лицевую сторону полотнища, потом намотала на трубку и повесила перед окном. Позапрошлый год Плюгавый Заремба опять ввалился к нам с целой бандой — все искали, кто с нами связан. Лазили повсюду, под кровать заглядывали, в шкаф. Заремба подошел к окну, потянул за шнур, и полотнище вниз опустилось.

«Затемнение должно быть черное,— говорит,— а это красное».— «Это только изнутри,— отвечаю,— снаружи-то материя черная». Он поднимает полотнище, смотрит — обратная сторона действительно черная. «Прямо помешались,— ворчит,— на красном цвете».

Потом я полотнище сняла, подушку из него сделала, набила перьями, зашила и сверху наволочку надела. Так и беру ее теперь каждый раз с собой в бомбоубежище и сижу на ней. Никому прикоснуться не даю. Вот придут американцы, теперь уже недолго, распорю подушку, вывешу знамя, и тогда держись, Плюгавый, если только ног не унесет. Скажу ему: смотри, вот оно, знамя, ты сколько раз его лапал, а заграбастать не смог, а теперь оно висит! Наша взяла!

Стемнело, они опустили шторы, включили свет. Открылась дверь, в кухню вошел Алекс Шульте и еще какой-то военнопленный с ящиком, который он опустил на пол. Потом все сели за стол, стали есть жареную картошку. Алекс вилкой показал на Фэнэ и спрашивает:

— Ты кто?

— Шпорман-младший,— ответила за него Герма.

Ели молча, потом Герма поднялась: — Дела у меня,— и вышла.

Фэнэ посмотрел на незнакомого — светлый, высокого роста.

— Это Пьер,— сказал Алекс Шульте,— француз, наш друг.

Фэнэ сказал, что ему надо кое-что передать Алексу оттуда, от маленького Поттмана.

Алекс ответил, что можно все говорить, что Пьер свой.

И Фэнэ сказал, чтобы Алекс зашел к Берте Ниус, есть дело.

Потом они пошли по улице в лагерь на горе. Там Алексу надо было сдать Пьера французам. У ворот лагеря Пьер попрощался и ушел. Алекс еще побыл с Фэнэ. Когда прощались, он сказал:

— Во вторник в шесть вечера буду у Ниусов.

«Все правильно,— думал Фэнэ, возвращаясь ночью домой.— Каждый член организации пусть знает только то, что ему нужно для работы. Тогда в случае ареста нацисты при всем желании не смогут из него ничего выколотить».

Ищейки нагрянули через два дня. Фэнэ с ребятами сидели на городской стене. Рядом остановилась машина уголовной полиции.

— Кто тут Эрнст Шпорман? — спросил маленький такой, совсем коротышка, тот самый, который был, когда арестовали Хайни Шпормана.— Нам надо кое-что у него спросить.

Фэнэ ответил:

— Пожалуйста, спрашивайте.

— Нет, лучше поедем с нами в участок.

— Я должен мать предупредить,— сказал Фэнэ.

Но тут из машины вылезли двое здоровенных парней, и один говорит:

— Ни к чему это.

Пришлось Фэнэ сесть в машину, и они поехали в уголовную полицию в ратушу.

— Ты был в Красных горах у того, кого вы прозвали Аббацем. Зачем?

Это был первый вопрос. Они были в комнате одни, Фэнэ стоял перед письменным столом.

— Хотел посмотреть, как он живет. Оттуда зашел к своей тетке Герме Шульте.

— Вино приносил? Где взял?

— Из шиповника, прошлогоднего,— ответил Фэнэ.

— А шиповник сдавать надо было.

— Ну, немножко себе оставили.

— Тебя, я вижу, на мякине не проведешь,— сказал низенький, обогнул письменный стол, повернул Фэнэ, схватил за куртку и как наступит ему на ногу. Он оказался такого же роста, как Фэнэ, от него несло табаком и какой-то гнилью.— Где карабины? — спрашивает.

— Ой, ой, ой, ногу больно,— завопил Фэнэ.

Коротышка тотчас отступил. Фэнэ поднял ступню, согнулся. И громко застонал от боли. Кто-то открыл дверь, низенький заорал «вон!» и снова уселся за письменный стол.

— Ну,— говорит,— где карабины?

— Я сяду,— говорит Фэнэ. Ему велели взять из угла стул. И он сел перед письменным столом.

— Отвечай же, где карабины?

— Я видел только один.

— Ну, где один, там и остальные. Где видел?

— У Аббаца, он на плече его таскал.

Коротышка закурил.

— Учти, мы и не таким язык развязываем. Зачем к Шульте ходил?

— Хотел их вином угостить из шиповника, да Аббац все высосал.

— Мы зря время теряем,— сказал низенький и встал.

И Фэнэ снова закричал:

— Ой, ой, ой.

Тут за дверью в коридоре раздался визг, какие-то голоса, потом крики, и Фэнэ узнал по голосу свою мать, а потом Эрну Трич. Остальных не узнал. Дверь распахнулась, вошел Бернгард Шлютер и сказал, что снаружи целая толпа женщин — они требуют отпустить мальчишку.

— Еще раз спрашиваю, будешь говорить? — снова заорал низенький.

Опять из-за двери донесся крик, так что в комнате уже нельзя было разобрать ни слова.

Коротышка ходил взад и вперед перед письменным столом. В коридоре и где-то наверху громыхали шаги, мужской голос громко ругался. Фэнэ снова стал громко кричать.

— Да успокойся ты,— заорал сыщик,— мямля, маменькин сынок.

Зазвонил телефон. Низенький снял трубку, сказал несколько раз «так точно», положил трубку и крикнул Фэнэ:

— Пошел вон!

Фэнэ попятился к двери, еще раз посмотрел на сыщика, который стал у окна, и выскочил за дверь.

В коридоре четверо полицейских сдерживали Анну Шпорман и еще с десяток женщин — работниц из цеха канистр.

— День и ночь работаем, а они детей хватают, нет, не пройдет,— ругались женщины.

— Ах, вот он,— крикнула Анна Шпорман. Она протиснулась мимо полицейского, обняла Фэнэ. Остальные женщины окружили его и чуть не на руках вынесли по лестнице на улицу и так довели до самого квартала.

— Молодец парень,— говорили они.

Оказывается, им про все рассказал Шлютер, а по крику они догадались, где идет допрос.

— Ох, Фэнэ,— приговаривала Анна Шпорман,— нам с тобой сегодня повезло!

Фэнэ решили спрятать. Весь день он провел в проходе под железнодорожной насыпью, а ночью Карлхайнц спрятал его за каменоломней.

— Недельки две скрываться будешь,— сказал Карлхайнц,— пока не спрашивай где... Я и сам подробностей не знаю. Подождем, пока все уляжется. И заберем тебя домой.

Лил дождь. Фэнэ был в длинном непромокаемом пальто, мотоциклетном шлеме, очках, перчатках. Они сидели на скамейке и курили, пряча сигареты в кулаке.

— Когда война кончится,— сказал Фэнэ,— если Коротышка выживет, я ему шею сверну.

Карлхайнц засмеялся:

— Ну, нет, тогда будут настоящие судьи, мы его туда доставим. Мы ж не то, что они.

— Да, да,— сказал Фэнэ,— прямо как отец рассуждаешь.

Посмеялись. Тут они услышали гудение автомобиля «БВМ-250», берущего подъем. Шофер в очках, в кепке, кожаной куртке остановил машину. Фэнэ устроился на заднем сиденье. Карлхайнц хлопнул его по плечу, и машина с затемненными фарами — выбивался только лучик — понеслась вперед, в ночь, сквозь дождь, по каким-то объездным дорогам. Делали крутые повороты, несколько раз на скользком шоссе их чуть не выбросило в кювет. Карабкались вверх, в гору, с грохотом неслись вниз.

За четыре часа ни разу не остановились, пока не добрались до какой-то деревни.

— Здесь тебя встретят,— прокричал водитель. Он не заглушил мотора.

Фэнэ вылез, водитель дал газ и поехал дальше. Фэнэ никогда больше его не видел.

Полчаса он прождал под деревом и, несмотря на дождь, чуть не уснул. Потом его кто-то тронул за плечо: пошли!

Двинулись вдоль живой изгороди, поднялись по крутому склону,

спустились с обратной стороны и оказались около маленького домика, у самой горы.

Целых две недели Фэнэ провел в маленьком гранитном доме с побеленными внутри стенами. Тут была кухня, две комнаты, загон с козами, а наверху на чердаке — чулан. Там и отсиживался Фэнэ. Сквозь щель в крыше смотрел на горы, вокруг росли деревья, много, листья отливали желто-красным и все опадали, опадали, стояли туманы, только иногда проглядывало солнце.

Фэнэ много играл на губной гармошке. Часто сидел на кухне с тетей Марией — раньше он ее никогда не видел, а теперь помогал ей по хозяйству. Ели жареную картошку с козьим сыром и молоком. Если кто показывался на дороге, Фэнэ тут же исчезал в чулане. Под вечер приходил дядя Бернгард — Фэнэ его раньше тоже не знал. Он работал в кузнице, внизу, все время молчал, а как откроет рот — кричит или говорит шепотом, так что ничего не разберешь.

— Это от грохота вечного,— пояснила тетя Мария.

Фэнэ, правда, весь день слышал, как далеко внизу бьет и бьет молот.

Как-то ночью появился новый человек — американец. Он провел несколько дней с Фэнэ в его чулане. Фэнэ научил его играть в шестьдесят шесть. Правда, объяснялись только жестами. Как-то ночью американец стал петь, потом заплакал. Наутро за ним пришли. Фэнэ не очень жалел, что остался один.

Через пятнадцать дней и ночей дядя Бернгард, как стемнело, ушел с ним в горы. Теперь они спустились уже с другой стороны склона и вышли к деревне. Подъехал грузовик и отвез Фэнэ домой.

Глава семнадцатая

Пиво

И снова они сидели на городской стене — Фэнэ Шпорман, Фиман Ронсдорф, Тюнеман Ниус, Цюндер Крах и Зугга Трич. Обсуждали новости: Берта Ниус и Лоренц Фукс хотят пожениться, но Стах и его товарищи против; в Ольховой пещере снова мир и спокойствие, у Анны Кузневской ожидается прибавление семейства; дедушка Тиль обнаружил в саду неразорвавшийся снаряд и долго бил его палкой; Алекса Шульте допрашивали целых две недели, потом отпустили, но зубы выбили и разбили нос; заика Аббац подорвался на мине в своей вотчине; огневую позицию зенитной артиллерии на днях перенесли в Красные горы.

— Ну, как провел время в сельской тиши? — спросила Зугга.

Фэнэ рассказал о козах, козьем сыре, молоке. Тюнеман сказал, что в такой обстановке самому блеять захочется,— в общем, разговоры как всегда, и тут Фэнэ понял, что он в самом деле дома.

Но, пожалуй, интереснее всего было то, что Берта Ниус и Лоренц Фукс вздумали пожениться. Все решили: они друг другу подходят. Как только выдавалось свободное время, маневровый диспетчер вывозил подругу в кресле-коляске. И что-то говорил на ухо изящной парализованной даме. Берте Ниус это нравилось, она смеялась заразительным смехом, иногда слегка ударяла ручкой по руке Лоренца, а иногда они затевали серьезный спор. Во время прогулки они раскланивались с прохожими и жители квартала приветствовали их. Часто они читали друг другу вслух. Они любили сидеть в своеобразной беседке — пристройке к домику Лоренца Фукса. Теперь ее расширили. Тюнеман

иногда подслушивал. Он говорил, что Лоренц читает стихи — ерундовские, про бурю, гром, облака. «Не удивлюсь,— говорил он,— если окажется, что он сам их сочинил». Тюнеман не имел ничего против Фукса, а тот очень тянулся к компании живых, неглупых ребят.

Герта Ронсдорф тоже кое-что слышала ночью в бомбоубежище.

— У меня просто в голове не укладывается,— заявила она,— ведь Берта Ниус всегда была такая разумная.

— Оставьте вы ее в покое,— вмешалась Анна Шпорман.

Легко сказать! В другое время на них, может, и внимания бы не обратили. Но Берта Ниус была незаурядная личность. У нее на квартире встречались люди с той стороны, противники фашистского режима. В ее вагоне первого класса, под двустворчатым шкафом в спальне Тюнемана, имелось отверстие, через которое можно было попасть в подземный переход. А Лоренц Фукс был членом нацистской партии. Правда, маневровый диспетчер выполнил опасное задание — поставил вагон с винными бочками на запасной путь, это означало пособничество ограблению, а за него полагался расстрел.

Да, борьба шла не на жизнь, а на смерть, но Фукс, конечно, мог и выкрутиться. Ему, члену партии, ищейки поверят скорее, чем кому-то еще. Но кто, кроме Берты Ниус, поручится, что Фукс не шпик? Может, он получил задание раскрыть подполье и втерся в доверие к бабушке Тюнемана. Стах, его друзья, особенно Эвальд Штумпе, видели в надвигавшемся браке серьезную опасность, советовали Берте Ниус подождать, хотя бы пока не кончится война.

Шел крупный разговор, и Тюнеман подслушал его сквозь стенку в спальне.

— Пойми,— говорил Эвальд Штумпе,— еще несколько недель, и придут американцы.

— Так,— сказала Берта Ниус,— значит, не доверяете мне больше.

— Глупости,— возразил Штумпе.— Но учти: старость никого не щадит, и человек утрачивает чутье на такие вещи.

— Как это понимать?

Штумпе замялся. Потом сказал:

— Пойми, Берта, речь идет о нашей безопасности, тут для всей организации угроза. Осталось совсем немного, и мы права не имеем рисковать. Ну, признайся, в последнее время ты не совсем...

— Что не совсем?— грозно спросила Берта Ниус.

— Да вот воркуешь со своим дружком, а он ведь до сих пор у них в партии.

— Он не может сейчас выйти из партии, и тебе это хорошо известно. И вообще это мое личное дело, и в конце концов я знаю Фукса не один десяток лет. Я в здравом уме и, как все, имею право на счастье.

— Пустые слова, тут что-то кроется.

Тогда Берта Ниус совсем успокоилась и говорит:

— По окончании войны я готова отвечать за мой поступок перед соответствующей инстанцией, можете не волноваться. А теперь уходите!

Штумпе встал.

— Соответствующая инстанция, как ты выражаешься,— произнес он тихо, подчеркивая каждое слово,— здесь, среди нас, и тебе это хорошо известно. Так что подумай хорошенько.

И ушел.

Через несколько дней бабушка Тюнемана обратилась к Фэнэ:

— Ребята собрались в Ольховую пещеру, пусть идут, а ты на минутку задержись.— Остальным она сказала: — Мне надо кое-что обсудить со Шпорманом с глазу на глаз. — За время твоего отсутст-

вия,— начала Берта Ниус.— кое-что произошло.— И она рассказала про Лоренца Фукса. Но он и сам давно все знал. Интересно, что она затеяла? — Ведь ясно,— говорит она,— они неправы. Фукс не нацист и не шпик, и мне интересно, что ты об этом думаешь. Ведь это ты тогда решил привлечь Фукса к операции с железнодорожными вагонами. И вот я тебя спрашиваю, тебя — сына Хайни Шпормана, твое мнение для меня важно.

«Осторожно»,— подумал Фэнэ. Ясно, что Берту Ниус его личное мнение не волнует. В чем же тут дело? Он пожал плечами и ответил:

— Ну, что я могу сказать? Уж наверняка они пораскинули мозгами.

— И по-твоему, я должна подчиниться абсолютно нелепому, нечеловеческому решению?

Смешной вопрос. Как будто его мнение для нее важно.

— Наверное, вы сами знаете, как поступить.

— Разумеется, знаю. Знаю, что мне следует покориться. Иначе мне крышка. Меня полностью изолируют, никто меня не будет слушать, сквозь меня станут смотреть, будто я пустое место. Такие случаи известны. Я буду тихо увядать, покинутая друзьями, и даже дети перестанут меня замечать.

Берта Ниус попыталась выдавить слезу.

— Фукс приличный малый,— сказала она и всхлипнула.— Ему-то за что?— Она прижала к глазам носовой платок.— Ну ладно, иди,— бросила она,— не хочу морочить тебе голову.

Фэнэ встал и пошел к двери. Когда он уже выходил, Берта Ниус сказала ему вдогонку:

— Фукс хороший человек. Он организовал нам восьмидесятилитровую бочку пива и опять из вагона, который предназначался для вермахта.

Фэнэ был уже в дверях, он остановился как вкопанный.

«Ага,— подумал он,— так вот в чем дело». Он живо представил себе вкус этого напитка, а ведь они забыли даже, как пахнет пиво.

— Пиво,— сказал он.— Какое пиво? Да разве оно есть?

— Для кого нет, а для офицерского корпуса есть.

Теперь Фэнэ все стало ясно. Где-то припрятаны восемьдесят литров пива, и его можно будет распить только на свадьбе Берты Ниус и Лоренца Фукса. Теперь понятно, почему она все рассказала именно ему. Если она хотя бы намекнула об этом Штумпе, тот сразу заподозрил бы попытку его подкупить, а для Штумпе такое — конец света. А с помощью Фэнэ история с пивом будет выглядеть в другом свете и произведет должное впечатление.

Конечно, с ходу никто перестраиваться не станет. Но со временем, постепенно, некоторые начнут смягчаться. Фукс ведь вторично совершил ограбление. От провокатора, ясное дело, можно ждать и такого. Но тут есть над чем призадуматься.

И Фэнэ призадумался. Если Берта или даже Фукс все это выдумали, тогда ему крышка. Он расскажет эту историю, все поверят, устроят свадьбу, а пива не окажется, и все решат, что он трепло, которому нельзя верить. Значит, сперва надо самому увидеть бочку.

Он сказал:

— Что-то не верится, врет ваш Фукс.

Берта Ниус заулыбалась.

— Ну что же, я поговорю с Фуксом, пусть он покажет нам бочку. Сейчас он, наверно, ее припрятал, хочет перенести в безопасное место. Во всяком случае, дело срочное: в бочке пиво хранится два, от силы три месяца, а залили его туда месяц назад.

«Как все рассчитано,— подумал Фэнэ.— Дадут мне взглянуть на бочку, а потом ее тут же спрячут, чтобы мы не стащили».

Решили, что Фэнэ встретится с Фуксом на другой день часа в четыре. Ночью, когда Фукс был на путях и формировал состав, Фэнэ и Фиман незаметно подкрались к его домику, открыли дверь отмычкой, обыскали комнаты, погреб и сарай за беседкой, но ничего не нашли.

— Ну, ему-то самому ведь не утащить бочку на восемьдесят литров,— сказал Фиман,— значит, она где-то еще.

На другой день ровно в четыре Фэнэ подошел к беседке, постучал, Берта Ниус сказала: «Войдите» — и он вошел. Фукс сидел за столом, бабушка Тюнемана была в кресле-коляске, а перед ней стояла бочка, бочка с пивом, Фэнэ сразу понял.

Он качнул ее, она была тяжелая, внутри забулькало пиво. Фэнэ приложил нос к затычке, принюхался.

— Пиво,— сказала Берта Ниус,— отлично сваренное пиво типа пльзеньского. Послушай, как бултыхается. Фукс ведь не поскупится ради такого праздника, иначе говоря, ради свадьбы, а?

Фукс кивнул.

— Для этого и предназначено,— сказал он.

— А кто вас знает, что в этой бочке,— сказал Фэнэ.

— Честное слово,— ответил Фукс,— это пиво. Я бы открыл сейчас, но тогда оно до праздника прокиснет.

Фэнэ вернулся по узкой дорожке, которая вела из беседки Фукса к самой железнодорожной насыпи. За сараем прятался Фиман, Тюнеман лежал за кустарником в саду, Цюндер сидел на корточках на дорожке, что вела к мосту «Тринадцать быков», на насыпи с биноклем в руках сидела Зугга. Фэнэ вскарабкался на насыпь, перелез через рельсы и, когда его уже не было видно из беседки, нагнулся и шагнул в кустарник к Зугге. Ждали долго. Время тянулось медленно. Наконец стемнело.

Потом все встретились в сарае Боров. Фиман пришел после всех. Он рассказал:

— Они поставили бочку на ручную тележку, прикрыли одеялами и всяким хламом и повезли огородами. Я шел за ними. И вдруг они исчезли, как в землю провалились.

— Кто это «они»?— спросил Фэнэ.

— Лоренц Фукс и Гуго Бек,— отвечал Фиман. Лоренц и Гуго были двоюродные братья.

Ночью, когда все сидели в бомбоубежище, Фэнэ открыл дверь в беседку Гуго Бека. Первым туда вошел Тюнеман. Вдруг грянул выстрел. Они бросились на землю. Фэнэ схватился за свой «вальтер». Но все было спокойно. Тюнеман зажег ручной фонарик, осветил садовый стул, сухие пни, какую-то грязную обувь, лопаты, всякий хлам по углам, настенный шкаф с сеткой от мух. Никого, кроме Тюнемана и Фэнэ, в беседке не было. Тут они заметили специальное устройство, благодаря которому и произошел выстрел: Тюнеман задел нитку, протянутую в беседке. Но выстрел был холостой.

На другое утро Фэнэ пошел в сторожку у ворот.

— Куда? — спросил охранник.

— К дяде Гуго, он меня ждет.

Вытянув деревянную ногу, Гуго Бек сидел в конторке за письменным столом.

— Послушай-ка,— спросил Фэнэ,— тебе известно, что у Лоренца Фукса есть бочка пива?

— Пива теперь не бывает,— сказал Гуго Бек.

— Я сам видел,— сказал Фэнэ,— но он выставит эту бочку только на свадьбе с Бертой Ниус.

— Ну, к тому времени пиво прокиснет,— сказал Гуго Бек,— если только американцы не подоспеют.

Фэнэ свернул по цигарке себе и Беку, они закурили. Бек, продолжая писать, сказал как будто между прочим:

— Вчера ночью кто-то лазил ко мне в беседку. Еще повезло мошеннику. У меня там западня устроена — люк и яма в два метра глубиной, а внизу доски, а на них острием вверх торчат гвозди восьмидюймовые. Кто туда свалится, в котлету превратится.

— И стащили что-нибудь? — поинтересовался Фэнэ.

Гуго Бек бросил карандаш на стол, пробуравил Фэнэ единственным глазом:

— У меня красть нечего. Это говорит тебе твой дядя Гуго.

— Раз Лоренц Фукс и Гуго Бек заодно, значит, они что-то затеяли,— сказала по этому поводу Зугга.

Дома за ужином Фэнэ рассказал историю с бочкой пива, но ни словом не упомянул про Гуго Бека.

— Пиво,— повторила Анна Шпорман,— даже представить нельзя, что оно еще бывает на свете.

— После войны снова пиво будет,— сказал Карлхайнц,— надо только немного подождать. А сейчас — ничего не поделаешь.

— Что правда, то правда,— сказала мать,— трудно сейчас А Берте Ниус, думаешь, легко одной с ребятишками?

(Окончание следует)

ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ

Из трех книг

■

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

«Я не специалист по русской литературе, моя работа никак с этой областью не связана. После всего, чему я научился, вчитываясь в пушкинский текст, могу сказать только, что сегодня, на уровне моих теперешних знаний, я, быть может, не рискнул бы взяться за такое дело. «Онегин» принадлежит к числу тех шедевров, которые обезоруживают и парализуют возможного переводчика по мере того, как он все глубже проникает в их суть. И сейчас, когда работа закончена, я с трудом удерживаюсь от искушения опять начать все с самого начала».

Три странички «предисловия переводчика» интересны не только тем, что итальянский поэт Джованни Джудичи лаконично и точно пишет о технике своей работы над «Онегиным» и об особенностях русского стихосложения. Они помогают понять эстетику и этику самого Джудичи. Несколько лет работы. Сначала его привлекла ироническая интонация первой главы, и он стал переводить для самого себя, «с трудом и редкостным удовольствием». Бесспорно, вначале был момент интеллектуального любопытства: как это получится?.. Потом колебания, паузы, перечеркнутый текст — пока Джудичи не показалось, что он обрел полную свободу, «словно писал свои собственные стихи». Мы чувствуем бескорыстную любовь к поэзии, взыскательность, отвергающую понятие «приблизительно», высокое уважение к слову, несущему мысль. Уже после того как «Онегин» вышел (1975) и новый перевод бессмертного «романа в стихах» имел большой успех, Джудичи продолжал волноваться: слишком многое это значило для него. Мне кажется, интерес к русской литературе, культуре и истории связан с мировоззрением, биографией, напряженными исканиями того поколения итальянской интеллигенции, к которому принадлежит Джудичи.

«Я принадлежу к поколению тех, кому в конце второй мировой войны было двадцать лет. Все мы были уверены в том, что политический облик итальянского общества изменится еще до нашей смерти,— писал Джудичи.— Но потом, особенно за последние годы, юношеская уверенность в неотвратимости перемен сменилась у моего поколения горькой мыслью, что по-настоящему до нашей смерти не изменится ничто». С присущей ему искренностью и чувством личной причастности пишет Джудичи о том, что называет параболой своего поколения. Это очень серьезно, очень правдиво. Те, кому сейчас около пятидесяти, хорошо помнят фашизм. Они были тогда совсем еще молоды, но после краха режима и им надо было многое преодолеть, переосмыслить мир, найти ценности, которым можно было бы хранить неизменную верность. Процесс мужания — нравственного и гражданского — всегда происходит по-разному у каждого человека.

Джованни Джудичи получил католическое воспитание, и его гуманизм был первоначально близким к идеологии раннего христианства. Если читать все его стихотворения подряд, начиная с первой книги «Жизнь в стихах» (1965), можно уловить изменения, переломные моменты, далекие отзвуки догм, которые когда-то давно казались непреложными, неприятие, отрицание. Поиски **своей** правды были драматичными. Может быть, по складу ума и характера Джудичи не принадлежал к тем, кто склонен предаваться иллюзиям. В жизни и в искусстве. Вначале он писал для немногих и его имя было известно только знатокам поэзии. Но уже в 1966-м один из тонких итальянских критиков назвал стихотворения, включенные в первую книгу, «идеологическими» и «марксистскими».

Стихи Джудичи — терпкие, суховатые, напряженные. Нарочитая будничность, иногда — разговорная, грубоватая интонация вроде «а дуче — дурак», иногда текст зашифрован. Подобно многим писателям своего поколения, и Джудичи испытал влияние поэтики Монтале, но голос у него — свой, отчетливо свой. В судьбе лирического героя

время, история играют решающую роль. Зрелым человеком герой (а все книги Джудичи откровенно автобиографичны) живет в неокапиталистическом «обществе благоденствия», а идеологию и мораль этого общества он не приемлет. Джудичи редко бывает декларативным, большей частью самое сокровенное глубоко запрятано. Этого требуют его эстетика и его суровая этика.

Целое поколение итальянских поэтов воспиталось на отвращении к сладкозвучию, красивостям, риторике. В стихотворениях Джудичи нет пустот и ложной многозначительности. В его иронической, зачастую горькой поэзии то и дело возникают прозаизмы. Это результат сознательного, выстраданного выбора, сделанного в жизни и в искусстве. Отталкивание от «котурнов», постоянное стремление к конкретному. Позиция протеста, а не только пассивного презрения и неприятия. Постоянные искания. Некоторые вещи трудно доказуемы, но я убеждена в том, что на пути этих исканий перевод «Онегина», влюбленность в русскую литературу и ее нравственные ценности — все это было и остается очень важным.

В 1975 году в ходе предвыборной кампании Джованни Джудичи занял четкую политическую позицию. Он не коммунист, но был среди тех видных представителей итальянской художественной интеллигенции, кто активно и целеустремленно поддерживают ИКП именно потому, что они верят в превосходство социалистических идеалов. Скептицизм уступает место убежденности. Джудичи передал книгу своих эссе (а он хороший публицист) коммунистическому издательству «Эдитори риунити», и это, естественно, результат решающего выбора. Одна из статей Джудичи в газете «Унита» озаглавлена «La parola giusta», мы можем перевести это как «Справедливое, точное, правильное слово» — все будет верно.

Евгений Солонович выбрал для этой подборки стихотворения из трех книг Джудичи. Сделать выбор было нелегко, хотелось показать разные грани в творчестве этого своеобразного, трудного и настоящего поэта. Думаю, не будет преувеличением сказать, что понятия «стихи» и «жизнь» в сознании Джованни Джудичи не противопоставляются, а почти сливаются. Жизнь в современной Италии драматична, пестра, крута на поворотах. Художники, погруженные в реальность — а таков Джудичи,— создают то, что называется letteratura impegnata: ангажированная литература, так они понимают свой нравственный и гражданский долг.

Ц. КИН

Из цикла «КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

VI

Площадь Сен-Бон

Кричит о чести кредитор наседает
на должника грозит ему решеткой
собрал людей прогуливающихся на ночь —
истец в приемной королевского прокурора.

Все за него один лишь мальчик против —
он весь дрожит от страха и позора
он притворяется чужим — рука
к руке отца не тянется.

Был сыном должника
не кто иной как я.

За моего отца я моему молился богу —
примерно так звучала молитва странная моя:
прости нам наши долги
как мы их прощаем.

XII

Чертова власть — все чаще и чаще рычащее Р
кто ты бранившийся всласть
в хоре вагонном — хлопали двери

над стужей в табачном дыму над затхлостью сна —
капелька правды как страшно звучала она —
кто ты умевший урок на примерах из жизни построить?

Красавица прошебетала: *Позвольте вас побеспокоить.*
Ты отступил на шаг.
Ж... есть ж... а дуче — дурак —
я услышал твой шепот над ухом —
и эту премудрость
мне надлежало усвоить.

Автостоп

Витторио Серени

Вскоре после поворота
на автостраду, что ведет из Флоренции в Болонью,
минуя Кастильоне-де-Пеполи,
Марцаботто [1],
он поднял руку. НЕТ,
я про себя ответил машинально.

Правда, тут же:
кто поручится, что со временем на его месте
не окажется однажды один из моих сорванцов? —
подумал я, на тормоз нажимая.

Он сел в машину с почтительной улыбкою, не зная
моих сомнений,— настолько юный, что моментально
я передумал спрашивать, сколько ему.
Немец, отметил я фатально.

Sprechen Sie Deutsch?

Я все буквально
давным-давно забыл, да я и знал немного.
К тому же, незачем болтать с тем, кого должно ненавидеть,
я убеждал себя, подумай о погибших в этих горах...
И все-таки, что это немец, ты не мог не видеть.

Do you speak English?

Да, конечно,— не могу же
я вышвырнуть его теперь, в том-то и дело,
что парень ни при чем, и хватит мучиться,
спросить, в каком он городе живет, где учится.

И все же не понять, что это немец, невозможно.
Любой бы распознал его по запаху издалека.
Он говорил о Дортмунде, отец — железнодорожник.
Сын одного из тех наверняка.
Совсем другое дело, окажись он сыном Шуппа.

Obergefreiter,[2] телеграфист:
В Дортмунде, дома — он мне сказал однажды
(нестроевой из-за плохого зренья),—

---

[1] Селение, где в сентябре 1944 г. эсэсовцы зверски убили около двух тысяч жителей

[2] Обер-ефрейтор *(нем.)*.

жена и мальчуган... Как, неужели этот турист?..
Но двадцать два сейчас должно быть сыну Шуппа,
рискнувшего признаться мне: все кончено, любезный друг.

Wasser, Brot, spazieren, kein zurück,
vor der Kaserne bei dem grossen Tor[1]
— не все,
по правде говоря, забыто.
Raus![2] — орали те,— и стук
прикладов: запираться бесполезно.
Чем объяснить, что все они сегодня так любезны?

А я участвовал в параде в честь Гитлера, сказал я вдруг.

В ответ на это имя он не повел и ухом,—
наверное, я произнес его без должного придыхания.
Гитлер, Геринг — don't you understand?[3]
Ах да, невинным смехом засмеялись его глаза:
тот, что часами говорил, и тот, что с брюхом?

Мне следовало думать о погибших в этих горах.
Мне следовало дать ему понять, что никакие сроки...
— Болонья,— с облегчением оповестил я милого вандала.
Ну что же, с глаз долой и ненависть из сердца вон.
— Прощай, куда ты, стой, машины пропусти сначала.

Так я прощал ему их старые пороки.

Секундная отлучка

Время на то, чтобы выйти из строя,
пустяки, опустить письмо,
мы шагали колонной по три, я — левофланговым
в первой тройке, на мне — видавшая виды роба,
серо-белая грязная о которой только мечтать
— а может, это было в коллеже, мы, одетые в синее,
моряками, маршировали: так что всего лишь мгновение,
не больше, мы только что вынырнули из тоннеля
под железной дорогой, была уже та же пора, что теперь,
серо-белая грязная о которой только мечтать;
или, справив нужду, догонять уходящую рать

а ящик был рядом добежать и назад —
письмо в кармане но кто
адресат —
и кого распекал учитель таская
за уши —
и лейтенант повернулся вслед

---

[1] Вода, хлеб, гулять, ни с места, перед казармой у больших ворот *(нем.)* — набор слов и фраз из школьного учебника немецкого языка и из лексикона оккупантов.
[2] Выходи! *(нем.)*
[3] Не понимаете? *(англ.)*

тоже пряча в кулаке сигарету —
двое в увечной шеренге невозмутимы
голые с левого боку но им как с гуся вода —
пустяки время на то чтобы отправить письмо
время на то чтобы справить нужду и тут же на место

но какая бездна в эти краткие секунды между мною
и вами идущие строем души — кандидаты в герои
неотвратимо катился поток лимузинов
и сволочных автопоездов — злобные морды шоферов
запах солярки и суета типичные для субботы

и я в ловушке, прикован к несуществующему тротуару,
и мое бесконечное отсутствие, как я оплошал,
и ущербный ряд впереди,
и мой рот, который не умолкал, вопрошал
серо-белое грязное о котором только мечтать

вот тебе и письмо, вот тебе и успею догнать,
слишком поздно — брось винтовку, подсумок,
морскую форму, о, эти дурацкие помехи,
слишком поздно, про себя повторяя упрямо,
если б я знал,
разве все полетело бы кувырком...

и вдруг — Как ты мило растерян, — ангельским голоском,
поравнявшись со мной, сказала мне добрая дама.

Будущее упрощенное

Ты снова что-то прибавляешь к дому, ты
морочишь голову мудреным спором
рабочему, крепящему к опорам
навес над кухонным балконом,
чтоб дождь не оставлял подтеков
на стеклах и к чертям не сгнили рамы,
как рядом, у соседа.

И мысленно уже над новым планом
колдуешь — я его услышу скоро
с притворным «если ты не против»:
светильник, шкаф, ковер, который
придется обходить, не то он вытрется, стеллаж во всю
стену — он станет лишним
при переезде. Для тебя невыносимо,

что вещи, подлые, становятся старьем,
ты хочешь непременно, чтобы первым днем
был каждый следующий день.
С тех пор как я вернулся прошлой ночью
с умеренной пирушки, у меня перед глазами
письменный стол Бартоло, где некуда
пристроить лист бумаги, — настоящий Вавилон,

трубящий: к черту, побоку работу!
Легко сказать! Но я, подверженный припадкам

хандры, довольно скоро бы устал
и о порядке заскучал порядком,
как в молодых твоих стенах томлюсь,
увешанных бог знает чем и явно менее живучих,
чем мы, — томлюсь и что меня переживет боюсь

вся эта скорлупа — биологический обман.
Резная далматинская свистулька — моя,
мой — заржавелый марранд зано[1], мой
подарок сыну — балалайка, у которой
недостает одной струны, и я
едва ли научусь на них играть, избави боже
иметь такое множество вещей, о будущее упрощенное!

Иное дело — ты, прельщенная
идеями переустройства, ты, для кого хотеть
и заиметь со временем — одно и то же,
ведь ты убеждена, что неизменна!
Ты жажды нового не утолишь никак.
А я-то, по наивности, гамак
между двумя деревьями считал пределом счастья.

Плотоядное

Плотоядное ищет траву на поляне
для подруги своей неподвижной в подземном жилище
ищет с горечью рвет вырывает со всеми корнями
яд зеленый на белых клыках оставляет отметины

Плотоядное как неприкаянное в одиночестве мечется
вся наука его обонянье
странный пот глаза застилает
и безмолвие этих ручьев все его красноречие

Плотоядное дикое дать не способно
ласки нежности человечей
и не знает ритуальных движений
утешающих слов помогающих слов «ведь тебе полегчало»

Плотоядное рвет траву на поляне
для подруги которая дома в норе на него и не смотрит
не гадает пора не пора ли ему возвращаться
не умеет сказать что объята смертельной тоскою

Обучение

Недолго упасть оступиться
Не ступай в пустоту
Не становись на зыбкую почву
Не лезь в темноту

Удерживай равновесие
Не противься судьбе
Рука заменяет зрение
Касайся стены при ходьбе

---

[1] Народный музыкальный инструмент.

Здесь косяк здесь двери
Здесь люди здесь звери
Здесь былая боль
Не наступай на горящие угли

Рука чтобы балансировать
Чтобы аплодировать
Чтобы чувствовать чтобы любить
И чтобы руку мыть

Не ступай на зыбкую почву
Касайся стены при ходьбе
Больше уверенности в себе
Здесь былая боль

Здесь одежда
Здесь надежда
Здесь балкон
Здесь закон

Здесь выход
Здесь жизнь
Здесь вода здесь кровь
Здесь былая любовь

Так что учись так что учись
Гляди не свались в расщелину
Удерживай равновесие
Здесь всепрощение

Здесь потолок здесь новая дверь
Здесь глухая стена поверь
Можно умереть бессловесными
Не расставаясь с удобными креслами

Белая ворона

Я нищий, моя дорогая, зачем оставаться загадкой,
я скверно воспитан, иными словами — я скряга.
Зато моя тетя была настоящей аристократкой,—
год назад скончалась бедняга.

Мать получила образование в пансионе в Парме,
как пристало образцовой девице.
Отец был милым лоботрясом
и порхал наподобие птицы.

«Как это печально, как это печально!» —
воскликнула театрально
юность твоя. И мне это дико,

почти старику, — но мой смех беззлобен.
Я в юности не был способен
повысить голос до крика.

СЬЮЗЕН ХИЛЛ

Рассказы

■

Переводы с английского

Немного пения и танцев

Так поздно, в конце дня, на пляже кроме нее никого уже не было. Она шла почти рядом с водой — там, где твердый, плотно утрамбованный песок и где легче идти, чем по камням, громоздившимся слой на слое, вплоть до укрепляющей берег стены. Она думала: «Я могу оставаться здесь столько, сколько я захочу, могу делать все что душе угодно, абсолютно все, теперь я в ответе только перед самой собой».

Но погода была малообещающей, уже начинало темнеть — в такую погоду разве что пораньше выпить чаю, разжечь огонь в камине и сидеть перед телевизором. И приятное волнение охватило ее при мысли о том, что это теперь тоже зависит только от нее — она может смотреть любую программу или вообще ничего не смотреть. За последние одиннадцать месяцев не было ни одного вечера, когда телевизор был бы выключен, и в доме царила бы тишина, и было бы слышно, как тикают часы или булькает вода в трубах отопления.

«Это же ее единственное развлечение,— обычно говорила она.— Мама видит то, что иначе вообще никогда бы не увидела, телевизор дает ей возможность приблизиться к жизни. Учиться никогда не поздно». Но, говоря по правде, мать смотрела только эстрадные программы, комиков Моркамба и Уайза и ансамбль черно-белых менестрелей, тогда как она сама выбрала бы вторую программу Би-би-си или передачу по культуре, а то и общеобразовательную.

«Я люблю танцы и пение, Эсме, это развлекает, помогает забыться. Люблю красивые постановки».

Но сегодня по телевизору могут показать какую-нибудь пьесу, или фильм об Аравии или Эгейском море, или какого-нибудь крупного виолончелиста, дающего урок,— сегодня она впервые доставит себе удовольствие. Ведь прошло уже две недели с тех пор, как умерла ее мать,— срок вполне приличный.

Стоял февраль. Вечер был холодный. Насколько хватал глаз, пляж, море и небо были одинаково серые и сливались друг с другом у горизонта. В день похорон ее матери дул резкий ветер с мокрым, колючим снегом; она вглядывалась в помертвевшие, заострившиеся лица под черными шляпами и думала, что все так и надо, так и должно быть, что все мы должны казаться сломленными горем, старыми и безутешными. Ее мать имела право на подлинное горе, на подлинный траур.

Ей захотелось уйти с пляжа, вернуться в дом — руки в карманах ее темно-синего пальто окоченели от холода (темно-синий цвет, подумала она, самый правильный для перехода, если хочешь снять черное). Ей хотелось вернуться в дом, поджарить булочки, обильно намазать их маслом, чего бы мать решительно не одобрила. «*Мы* никогда не делали, *нам* никогда не разрешалось предаваться излишествам в еде, и, кроме того, ученые обнаружили, что сердечные болезни связаны с потреблением масла, разве ты не читала об этом в газетах, Эсме? Удивляюсь, как ты не обращаешь внимания на такие вещи! Я вот обращаю. Нельзя все время есть масло—и за завтраком, и за обедом, и за ужином — масло с тем, масло с этим».

Каждое утро мать прочитывала от корки до корки две газеты — «Дейли телеграф» и «Дейли миррор» — и отмечала зеленой шариковой ручкой новости, ко-

© Susan Hill, 1973.

торые, по ее мнению, должны заинтересовать дочь. Она говорила: «Я хочу знать обе стороны каждого вопроса». Таким образом, какую бы точку зрения ни высказывала по насущной проблеме дня ее дочь или пришедший гость, она с помощью своих двух газет была достаточно осведомлена, чтобы высказать нечто противоположное. Спор, любила повторять она, оттачивает ум.

«Я не собираюсь жить растительной жизнью, Эсме, только потому, что прикована к постели»,— говорила мать.

Она дошла до волнореза. В свинцово-сером небе кружили, крича, две-три чайки, вода у берега была усеяна рыбьими головами, тщательно обглоданными. Она подумала: «Я свободна, я могу идти дальше или вернуться, я могу стоять здесь хоть час. Я сама себе хозяйка». Давно уже она так надолго не покидала дом — она еще не могла к этому привыкнуть, к тому, что нет нужды смотреть на часы, спешить домой. Но спустя некоторое время — потому что действительно было очень сыро и смотреть особенно было не на что — она все-таки повернула обратно и тут подумала о завтрашнем дне, о том, что решила походить по магазинам, чтобы купить себе что-то новенькое. Пройдет несколько месяцев прежде, чем завещание матери вступит в силу, объяснил ей адвокат,— такие вещи обычно затягиваются, но нет никаких сомнений в том, что в накладе она не останется: миссис Фэншоу была дама очень осмотрительная, очень благоразумная, так что дочери ее не грозит нужда. А пока, может быть, она хотела бы получить аванс на текущие расходы? Может быть, фунтов сто?

Когда зачитали завещание, ее первой реакцией было восторженное изумление. «Хитрая старуха», — вырвалось у нее, и она тут же прикрыла рот рукой, испугавшись, как бы ее не услышали. «Хитрая старуха!» Действительно, миссис Фэншоу скопила 6000 фунтов на счетах в разных банках. А ведь они вроде бы жили только на жалованье Эсме и пенсию матери по старости: надо быть бережливыми, говорила мать: экономить на электричестве, на сливках, в выборе мяса. «Излишество,— говорила миссис Фэншоу,— самый большой грех. Отсюда проистекают все другие грехи, Эсме. Все люди должны жить по средствам».

А теперь вот оказалось 6000 фунтов. На какой-то миг у нее голова пошла кругом, и стала она строить различные планы: как она купит машину и научится ее водить, купит стиральную машину и новый телевизор, поедет за границу, закажет себе подобающее белье, будет время от времени ходить в ресторан, будет...

Но ей было уже за пятьдесят, ей самой пора откладывать деньги, обеспечивать себя на старость, и, кроме того, при одной мысли о тратах она почувствовала себя виноватой, как будто мать могла узнать, что творится у нее в голове,— совсем как раньше, при жизни, всегда угадывала ее мысли по выражению лица.

Она дошла до ступенек, которые вели вверх с пляжа. Стало уже почти совсем темно.

Что-то внутри у нее сжалось от страха и растерянности перед этой новой свободой — делать ей было нечего, она могла наслаждаться, выбрать себе занятие по вкусу, а к этому она не привыкла. Может быть, не стоит ей оставаться здесь, может быть, попытаться продать дом, который действительно для нее слишком велик, может быть, подыскать себе работу и квартирку в Лондоне. Ведь Лондон — город таких возможностей...

Она почувствовала возбуждение и словно слегка опьянела — все ей казалось возможным, будущее было в ее власти, ей хотелось кричать, петь, танцевать, а она стояла одна в февральских сумерках и смотрела на безлюдный пляж. Все дома вдоль набережной глядели пустыми, черными окнами — на летнем курорте в феврале жизнь едва теплится.

Она сказала себе: «Вот и я была такой же. Но мне пятьдесят один год, а вот ведь какие передо мной открываются возможности!»

Вдалеке, на покрытом галькой берегу, то вспыхивал, то гас зеленый сигнальный огонь маяка — вспыхивал и гас. Он так же мигал и в ту ночь, когда у ее матери случился удар, и в три часа ночи, уже после смерти; когда она подошла к окну, то почувствовала облегчение. Сейчас она заново ощутила реальность этой смерти — словно ее вдруг ударили по лицу, и она подумала: «Нет мамы — мама лежит в деревянном ящике в земле», ее затрясло — воображение рисовало картину разложения, и она заспешила по набережной, чуть не побежала вверх по откосу к дому.

Открыв парадную дверь, она прислушалась — полнейшая тишина, полнейший покой. Раньше сверху всегда раздавался голос: «Эсме, это ты?» И каждый раз ей хотелось ответить: «Ну а кто же еще?» — но она глотала готовые вырваться эти слова и говорила лишь: «Привет, это я». Сейчас она снова крикнула: «Это я. Привет!» — и звук ее голоса мягким эхом прокатился в темном проеме лестницы. Услышав его, она испугалась — что же это за женщина, которая разговаривает сама с собой и боится пустого дома? На что такая женщина годится?

Она быстро прошла в гостиную и задернула занавеси, затем налила себе рюмочку шерри, того самого, который предпочитала ее мать. Это, конечно, от сознания утраты, все ей об этом говорили — и деверь, и дядя Сесил, и кузен Джордж Голайтли, когда они вернулись с похорон, чтобы выпить чаю и съесть по сандвичу с ветчиной.

«Настоящее сознание утраты придет потом. Оно всегда наступает позднее». Дело в том, что она была такая спокойная, держалась с таким самообладанием, сама обо всем позаботилась,— словом, все только диву давались.

«Если вы когда-нибудь почувствуете потребность в обществе, Эсме,— а вы непременно ее почувствуете,— без всяких колебаний приезжайте к нам. Один телефонный звонок — это все, что требуется,— лишь небольшое предупреждение. Учтите, вам наверняка станет не по себе».

Не по себе. Конечно, ей было не по себе. Она села у электрического камина. Все дело в том, что она изрядно продрогла, гуляя так поздно по пляжу. Сама виновата.

Через некоторое время тишина в доме начала ее угнетать; она выпила вторую рюмочку шерри, нарезала ломтиками яйцо, положила на кусочек поджаренного хлеба, включила телевизор и стала смотреть эстраду, так как это веселое зрелище, а ей хотелось отвлечься от своих мыслей. Успеет еще она насмотреться общеобразовательных программ, когда попривыкнет к своей новой жизни. Но в мозгу ее как челнок то и дело мелькала одна и та же мысль, как будто она слушала невидимую пленку:

«Она наверху. Все там же в своей комнате. Если ты поднимешься наверх, то увидишь ее. Увидишь свою мать». Слова плясали по экрану телевизора, переплетались с руками и ногами танцоров, вылетали, подобно мыльным пузырям, изо рта комедийных актеров и эстрадных певцов, слышались в ритме барабанов и контрабасов. «Наверху. В своей комнате. Наверху. В своей комнате.

Твоя мать. Твоя мать. Твоя мать.

Наверху...»

Она ткнула пальцем в кнопку телевизора — картинка сплющилась и исчезла, наступила тишина, и тут она услышала, как стучит ее сердце, как прерывисто, со свистом вырывается из груди дыхание. Она отругала себя: как можно предаваться такому мраку, давать волю нервам... Вот что, сказала она себе: поднимись наверх и сама посмотри.

Не спеша, очень спокойно она вышла из гостиной, поднялась по лестнице и вошла в спальню матери. Уличный фонарь, находившийся как раз на уровне окна, отбрасывал бледный треугольник света, выхватывая из темноты белую дорожку на туалетном столике, белую подкладку занавесей и гладкое белое покрывало постели. В комнате все было убрано. Как будто ее мать никогда и не жила здесь. Эсме не хотелось оставлять никаких напоминаний, а потому на другой же день после похорон она сложила и упаковала одежду, белье, лекарства, бумаги, очки — словом, безжалостно опустошила комнату матери.

Теперь же, стоя в дверях и вдыхая запах лавандовой полироли и пыли, она почувствовала угрызения совести, как будто хотела избавиться от всех воспоминаний, как будто хотела, чтобы мать умерла. «Но я действительно этого хотела,— сказала она себе,— хотела избавиться от человека, который так прочно привязывал меня к себе все эти пятьдесят лет». И она громко крикнула в пустую спальню: «Я хотела, чтобы ты умерла». Она почувствовала, что руки у нее дрожат, и крепко сцепила их, а сама подумала: «Какая же я злая, безнравственная женщина». Но выпитое шерри начало оказывать свое действие, сердце ее забилось ровнее, и она смогла войти в комнату и задернуть занавеси,— словом, уже не было нужды упрекать себя в истеричности.

В гостиной она села у камина и до одиннадцати часов читала биографию какого-то исторического деятеля — когда мать была жива, она уже в десять часов вечера обычно бывала в постели; страхи ее исчезли. Она была абсолютно спокойна. «Так оно и должно было быть,— подумала она,— человек пережил утрату — это не может не повлиять». В ту ночь она спала исключительно хорошо.

Когда на другое утро, в четверть двенадцатого, услышав звонок, она открыла дверь и увидела на пороге мистера Эмоса Кэрри со шляпой в руке — он любезно осведомился, не сдается ли здесь комната,— ей пришла на ум одна фраза, которую произнес дядя Сесил в день похорон: «Тебе, Эсме, конечно, не следует оставаться одной в этом огромном доме. Тебе надо взять жильца».

Мистер Эмос Кэрри нервно потер левую бровь — такая уж у него была привычка, объяснявшаяся природной застенчивостью.

— Я хотел бы снять комнату,— сказал он, а она тем временем заметила, что у него золотые запонки и хорошо начищенные ботинки.

— В агентстве мне сказали... здесь сдается комната с завтраком.

— Понятия не имею ни о каком агентстве. Вы, наверно, ошиблись адресом.

Он вынул маленький блокнотик.

— Парковый тупик, двадцать три.

— Нет, нет. Мне очень жаль но наш...— Она поправилась:— Мой адрес: Парковая аллея, двадцать три.

По лицу и шее его разлилась краска — точно чернильное пятно, он слегка ослабил воротничок рубашки, так что ей стало даже жаль его, она даже расстроилась:

— Ну, конечно, ошибка вполне объяснимая, мистер... Пожалуйста, не надо...

— ...Кэрри. Эмос Кэрри.

— ...не надо так смущаться.

— Я ищу комнату с завтраком в тихом доме. Этот адрес казался таким многообещающим. Парковый тупик. Такой приятный адрес.

Очень чистоплотный мужчина, подумала она, аккуратный, элегантный, в перчатках, с золотым передним зубом. Ее мать всегда одобряла мужчин в перчатках. «Теперь их носят лишь немногие. Перчатки и шляпы. Зато по ним сразу узнаешь джентльмена».

А мистер Кэрри был и в шляпе.

— Извините, пожалуйста, мадам, мне так... Я бы вас не побеспокоил...

— Ну что вы, что вы, пожалуйста.

— Пойду искать Парковый тупик, номер двадцать три.

— Это как раз за поворотом, налево, всего несколько сот ярдов отсюда. Очень тихое место.

— Здесь тоже. Эта улица тоже тихая. Когда я подходил к дому, я подумал, что это как раз то, что нужно, и мне здесь будет... Ведь сразу видно, когда у дома есть определенный... Но мне, право, так неловко.

Он надел шляпу на свои аккуратно причесанные седые волосы, затем снова вежливо приподнял ее и двинулся было прочь.

Она быстро набрала в легкие воздух. И сказала:

— А что именно... то есть, я хочу сказать, если вы ищете комнату с завтраком, то, может быть, и я...

Мистер Эммо Кэрри повернул обратно.

Он аккуратно держал на кончике вилки маленькую маринованную луковку.

— Есть еще один вопрос,— сказал он,— как быть с моими вещами.

Эсме Фэншоу показалось, что голос его исходит из радиоприемника — он звучал как-то неестественно. Она покачала головой. «Словно его тут и нет»,— подумала она. Но он был тут, мистер Эмос Кэрри, в темно-синем, в тонкую полоску, костюме, с небольшой аккуратно заштопанной дырочкой чуть пониже воротничка рубашки. Он сидел за столом у нее на кухне — она не решилась пригласить его в столовую, которой к тому же вообще редко пользовались, и кухня показалась ей наиболее подходящим местом. Здесь он и сидел. Она сварила кофе, а потом, через час, подала холодное мясо, маринованный лук, хлеб, масло, ладони у нее были влажные от волнения. Она снова подумала о том, как необдуманно поступила: незнакомый человек, прохожий, случайно зашедший в дом, она же ничего о нем не знает. Но тут она узнала голос матери и возмутилась. К тому же это была неправда, так как мистер Кэрри много рассказал ей о себе. «Вот как надо жить,— подумала она.— Надо быть смелой, не отгораживаться от неожиданностей. Каждый день надо быть готовой к новой встрече. Только так можно остаться молодой». А ей очень хотелось подольше остаться молодой.

В дни своей молодости мистер Кэрри много бывал за границей, жил, как он сказал, на Цейлоне, в Сингапуре и в Индии.

— Я ко всему подхожу без предубеждений, мисс Фэншоу, считаю, что человек должен проявлять терпимость — живи и давай жить другим. Страны должны нести другим странам только мир.

— О да, я совершенно с вами согласна.

— Я немало побродил по свету и знаю жизнь. У меня нет предрассудков. Обычаи могут быть разные, но люди везде есть люди. Мы ежедневно учимся друг у друга. Если только у нас нет предубеждений, мисс Фэншоу.

— О да.

— А вы бывали за границей?

— Я... я была в Европе. К сожалению, это не так уж далеко.

— Я обошел пешком почти все европейские страны, хотя всегда мог заработать себе на проезд.

Ей не хотелось спрашивать, каким образом, но на нее это произвело впечатление, так как сама она была за границей лишь однажды, во Франции.

Мистер Кэрри, как выяснилось, был сирота; жизнь свою он начал в детском приюте.

— Но это был более чем удачный старт, мисс Фэншоу, мы были там счастливы. Думаю, что память меня не обманывает. Мы жили одной большой семьей. Никогда не сказал бы, что общество не сделало для меня всего, что могло. Теперь я вижу, как мне повезло. Ведь стоит только поглядеть вокруг, мисс Фэншоу: сколько людей вырастают в разбитых несчастливых семьях! Я же ничего подобного не испытал — и считаю себя счастливчиком. Мне хочется думать, что я наилучшим образом использовал предоставленные мне возможности.

Образование он получил самое элементарное, поэтому ему ни разу не довелось по-настоящему использовать свою голову.

— Неисследованные ресурсы,— заметил он, указав на свой лоб.

Беседа текла легко — ни с каким другим человеком, ни с каким другим мужчиной, подумала Эсме, она не чувствовала себя так свободно. У мистера Кэрри формальная вежливость удачно сочеталась с отнюдь не формальной непринужденностью, и она решила, что ему самой судьбой предначертано жить здесь, что он умеет себя вести и вроде бы чувствует себя совсем как дома.

У него было ничем не примечательное лицо — уже хорошо, но было в нем и что-то ненастоящее, как будто она видела его на экране в кино. И тем не менее легко было представить, как он утром сидит в этой кухне, завтракает, затем надевает шляпу, за ленточку которой было заткнуто небольшое перышко, и отправляется на работу.

— У меня довольно громоздкие вещи.

— Какие именно?..

— У меня две работы, мисс Фэншоу, так сказать, две тетивы на одном луке. Вас это удивляет? Видите ли, я всегда стремлюсь заполнить каждую минуту своего времени, я исключительно работоспособен.

Она заметила у него в ушах и в ноздрях небольшие пучочки седеющих волос и подумала: интересно, подстригают их ему, когда он стрижется в парикмахерской? Она понятия не имела, какие у мужчин привычки.

— Правда, это в известной степени сезонная работа.

— Сезонная?

— Да. В дождливые и ветреные дни, которые всегда настигают нас здесь, на английском побережье, и, конечно, зимой я езжу в качестве коммивояжера, продаю разные хозяйственные товары для уборки помещений.

Он быстро огляделся вокруг, как бы проверяя, где она держит мастику для натирки полов, щетки и швабры, чтобы выяснить, чего тут недостает.

— Может быть, вам нужны какие-то дополнительные подсобные помещения, помимо самой комнаты?

Мистер Кэрри встал из-за стола и начал убирать грязную посуду — она в изумлении уставилась на него. Человек, случайно зашедший по неверному адресу, вдруг стал гостем, разделившим с ней ленч, другом, который помогал мыть посуду.

— В доме есть довольно большой чердак.

— Это труднодоступно.

— Почему?

— Мне надо немножко оберегать себя, чтобы не перетрудить спину. Не подумайте, что я больной человек, мисс Фэншоу, спешу вас уверить, что вы не окажетесь с инвалидом на руках. Ни в коем случае. Для своего возраста я необыкновенно здоров. А все потому, что я веду такой активный образ жизни.

Она представила себе, как он стучится во все эти двери и столько раз уходит от них ни с чем. Правда, летом он занимается чем-то иным.

— Можно сказать, вполне здоров и телом и душой.

Она подумала о скаковых лошадях и попыталась решить, был ли он когда-либо женат.

— Тогда, быть может, большой шкаф под лестницей, там, где газовый счетчик...

— Идеально.

Он налил ровно столько моющей жидкости в раковину, сколько нужно; рукава его рубашки уже были расстегнуты и закатаны выше локтя, пиджак висел на крючке двери, ведущей в задний дворик. Она увидела волоски, покрывающие, как солома, его жилистые руки, и в голове у нее возникли десятки вопросов: хотя он вроде бы и рассказал ей о себе так обстоятельно, однако в его повествовании было немало пробелов.

Он сказал ей, что уже бывал в их городке и ему здесь очень понравилось.

— Я не мог забыть его, мисс Фэншоу. Я сказал себе, что могу здесь быть очень счастлив. Это место как бы создано для меня. Вы понимаете?

— Потому вы и вернулись сюда?

— Конечно. Я всегда знаю, когда мне что-то предначертано судьбой. И никогда не пренебрегаю этим чувством. Мне было суждено вернуться сюда.

— Это ведь маленький городок.

— Но отменный.

— Я только вот о чем подумала: ведь сезон у нас очень короток, только июль и август...

— Так что же?

— Возможно, это не устроит вас в смысле вашей... м-м... летней работы?

— О, вполне устроит, мисс Фэншоу, думаю, что устроит. Я, видите ли, всегда тщательно взвешиваю все обстоятельства, тщательно взвешиваю.

Она не стала больше задавать ему вопросов и только сказала:

— Ну, сейчас ведь зима.

— Да, вы правы. Я, так сказать, буду пахать другое поле. В таком городке, где много дамочек вроде вас живут безбедно, в симпатичных домиках, возможности безграничны, поистине безграничны.

— Для-я продажи хозяйственных товаров?

— Совершенно верно.

— Я с вами вполне согласна.

— Вот вы же гордитесь всем этим, не правда ли? Каждому ясно.

Он обвел рукой кухоньку, разбрызгивая капельки мыльной воды, и она увидела комнату его глазами: вымытые окна, блестящие краны, безупречно чистые раковины. Да, она гордилась своей кухней, это была правда. Ее мать всегда требовала, чтобы комната была в порядке. И тут она услышала собственный голос: «Моя мать умерла всего две недели тому назад». Она совсем забыла, что уже говорила ему об этом, и сознание

утраты снова навалилось на нее, она не могла поверить, что там, наверху, стоит пустая комната, которую она собиралась сдать мистеру Кэрри, ей стало стыдно, и глаза ее наполнились слезами. Что сказала бы мать, узнав, что чужой человек моет посуду в их кухне, узнав об этой скороспелой, неожиданной дружбе.

«Тебе следовало бы посоветоваться со мной, Эсме, слишком многое ты принимаешь на веру. Никогда ни о чем не думаешь. Тебе следовало бы посоветоваться со мной».

Через два дня после похорон матери миссис Бикердайк из виллы «Сирень», встретив ее в аптеке, как бы между прочим шепотом сообщила, что она «помогает осиротевшим»; как поняла Эсме, это означало, что она проводит спиритические сеансы. Миссис Бикердайк намекнула даже, что с покойной миссис Фэншоу можно установить контакт. Эсме пришла в ужас — прежде всего при мысли о таком контакте и продолжении отношений с матерью, но сказала лишь, что она твердо верит: мертвых надо оставить в покое. «Я отношусь к вам с большим уважением и прошу меня извинить, но мне кажется, мы не должны ни спрашивать о них, ни следовать за ними».

И сейчас она вдруг услышала голос матери, говорившей про мистера Кэрри: «Надо всегда обращать внимание на глаза, Эсме. Никогда не доверяй людям, у которых глаза слишком близко посажены».

Она хотела было посмотреть на его глаза, но он стоял к ней боком.

«Или слишком широко расставлены. Это значит — лентяй».

Ей было стыдно оттого, что она вторично сказала ему про смерть матери: она вовсе не хотела ставить его в неловкое положение или казаться истеричной. Мистер Кэрри покончил с мытьем посуды и стоял, опершись покрасневшими мокрыми руками о край раковины. Когда он заговорил, голос его звучал иначе, даже несколько торжественно:

— Я вовсе не считаю, что надо забывать покойных, мисс Фэншоу: память о них священна. Мне только приятно, что вы считаете возможным говорить со мной о достопочтенной леди.

Она внезапно почувствовала радость от того, что он здесь, у нее на кухне,— его присутствие снимало напряженность пустоты и молчания, которые раньше, казалось, заполняли каждый уголок дома.

Она сказала:

— С мамой не всегда было легко... Она была уж очень... упрямая.

— Не надо больше об этом. Я все прекрасно понимаю. Старшее поколение считает нужным всегда настаивать на своем.

Она подумала, что он, видно, очень чуткий человек, раз может читать между строк, и чуть не рассмеялась от облегчения: значит, ей не придется рассказывать, какой властной была мать, как тяжело дались ей, Эсме, годы болезни матери — ведь все он знает, все понимает.

Мистер Кэрри вытер руки, просушивая полотенцем каждый палец в отдельности, точно надевал перчатки. Он спустил рукава рубашки, застегнул манжеты и надел пиджак. Его движения были точны и размеренны. Он откашлялся.

— Что касается комнаты — у нас не решен вопрос оплаты, мисс Фэншоу. Я считаю, что такие вещи надо оговаривать сразу. Ничего нет неудобного в разговоре о деньгах, надеюсь, вы согласны со мной.

— О да, конечно, я...

— Скажем, четыре фунта в неделю?

Голова у нее шла кругом. Она не имела ни малейшего представления, сколько должен платить жилец, сколько будут стоить его завтраки, и ей очень хотелось быть одновременно и деловой и справедливой. Очевидно, он назвал сумму, которая казалась ему наиболее подходящей,— он, несомненно, был опытнее ее в таких делах.

— Пока что я остановился в доме для приезжих на Кедровой дороге. В комнате пол покрыт линолеумом, на завтрак ничего горячего не дают. Я не приучен к роскоши, мисс Фэншоу,— это ясно хотя бы из того, что я рассказал вам о своей жизни, однако я считаю, что по окончании рабочего дня имею право на некоторые удобства.

— О, вам здесь будет более чем удобно, уж я об этом позабочусь и сделаю все, что в моих силах. Мне кажется...

— Что именно?

Ее вдруг охватило беспокойство: а вдруг он о ней плохо подумает?

— Я уверена, что ошибка, которая произошла у вас с адресом, была в общем-то...

— Случайной.

— Да, конечно.

Мистер Кэрри слегка поклонился.

— Когда вы хотите переехать, мистер Кэрри? Мне надо кое-что...

— Если завтра вечером?

— Завтра у нас пятница.

— Пожалуй, это не очень удобно.

— Нет... нет... вполне удобно. Просто неделя начнется у нас с пятницы.

— Мне не терпится иметь вас в качестве хозяйки, мисс Фэншоу.

Хозяйка!.. Она хотела было сказать: «Я надеюсь стать вашим другом, мистер Кэрри», но это звучало бы нескромно.

Когда он ушел, она заварила себе чай и, слегка ошеломленная, присела у кухонного стола. Она подумала: «Наступает новый этап в моей жизни». Но где-то в глубине души у нее гнездилась тревога. Она поддалась порыву, поступила, так сказать, необдуманно, не размышляя. Мать не посоветовала бы приглашать в дом незнакомых людей — так же как не советовала в детстве разговаривать с ними на улице. «Ни за что ведь нельзя поручиться, Эсме, а люди бывают всякие». Дело в том, что мать любила читать в газетах отчеты о преступлениях и книги о знаменитых процессах. Особенно сильное впечатление произвела на нее жизнь доктора Криппена.

Эсме покачала головой. Теперь ее планы о продаже дома, переезде в Лондон, поездка за границу неизбежно рухнут, и она сникла, как подумала, что придется вести прежнюю жизнь, да к тому же, что скажут соседи и знакомые: а что, если кто-то видел, как мистер Кэрри стоял у нее на крыльце с бумажкой в руке, или вдруг кто-то признает в жильце мисс Фэншоу человека, который ходит из дома в дом, продавая моющие средства, и осудит ее? Мать наверняка осудила бы ее, и не только потому, что он «человек с улицы».

«Он коммивояжер, Эсме, мелкий торговец, и ты понятия не имеешь, чем он занимается в летние месяцы».

«У него безупречные манеры, мама, такие старомодные, и разговаривает он как настоящий джентльмен». Она вспомнила перчатки, приподнятую шляпу и легкий поклон, а также то, как спокойно и уверенно он вымыл посуду, как будто уже здесь жил.

«Откуда ты знаешь, к чему это может привести, Эсме?»

«Я готова рискнуть. Слишком я мало рисковала в своей жизни».

Она увидела, как мать поджала губы и стиснула руки, не желая далее спорить, но будучи уверенной, что она права. Что ж, теперь она, Эсме, решает свою судьбу, она — хозяйка и в кои-то веки поступает так, как ей хочется. Она встала и взяла листок бумаги, чтобы составить список вещей, которые понадобятся, чтобы превратить спальню матери в удобную комнату для жильца. Затем она купит на неделю вперед кукурузных хлопьев, бекона и почек для завтраков.

Она сама удивлялась тому, как скоро привыкла к присутствию в доме мистера Кэрри. Этому, несомненно, немало способствовало и то, что он делал все в строго определенное время и к тому же был исключительно аккуратен: когда она впервые зашла к нему в комнату, чтобы сделать уборку, ей показалось, будто там никто и не живет. Кровать была аккуратно застлана, одежда убрана и висела в шкафу; Эсме обнаружила, что он запер гардероб и унес с собой ключ. Только две пары ботинок, аккуратно стоявшие рядом под раковиной, да бритва и кисточка для бритья на полочке над ней выдавали присутствие жильца.

Мистер Кэрри вставал точно в восемь — она слышала, как у него звонил будильник, а затем по радио — сигнал, предшествующий передаче новостей. В восемь двадцать он спускался на кухню завтракать, весь пахнувший кремом для бритья и кремом для обуви. При этом он всегда говорил: «О, доброе утро, мисс Фэншоу, доброе вам утро» — и затем кратко комментировал состояние погоды: «Мороз пощипывает», или: «Я вижу, проглядывает солнце», или: «Пасмурно». Потом съедал приготовленный завтрак и выпивал две чашки крепкого чаю с поджаренными кусочками хлеба.

Эсме гордилась своими завтраками, свежестью скатерти, тем, как тщательно был накрыт стол; она подогревала его тарелку в духовке и в последнюю минуту поджаривала хлеб, чтобы подать его горячим и хрустящим. Она думала: «Плохо, когда женщина живет одна и думает только о себе. Я из тех, кому просто необходимо о ком-то заботиться».

Без десяти девять мистер Кэрри доставал свой чемодан из шкафа внизу, снова желал ей доброго утра и уходил. После этого она была свободна до конца дня и могла вести тот образ жизни, какой вела прежде, или как-то его изменить,— впрочем, значительную часть ее времени занимала уборка дома и особенно комнаты мистера Кэрри, а также поиски в магазинах чего-нибудь особенного ему на завтрак.

Она давно собиралась поступить на курсы по изготовлению абажуров, но в этом году прием был уже закончен: ей сказали, чтобы она обратилась снова в конце лета, так что она взяла в библиотеке руководство по этому предмету, купила каркасы, картон и бахрому и стала сама учиться. Она сходила на одну или две распродажи, где люди продают свои поделки, и решила устроить у себя чаепитие и немного заняться благотворительностью в помощь престарелым. Жизнь ее была заполнена до краев. И она радовалась тому, что у нее живет в доме мистер Кэрри. Наступила пасха; интересно, думала она, когда он меняет свою работу и вообще чем он занимается летом? Он никогда об этом не говорил.

Вечером он всегда возвращался между пятью и половиной шестого и сразу поднимался к себе в комнату. Иногда он выходил на часок,— должно быть, чтобы где-то поужинать, а возможно, выпить стаканчик пива, но большей частью сидел дома, и Эсме не видела его до следующего утра. Раз или два из его комнаты донеслись звуки музыки: по всей вероятности, он включал радио,— и она подумала, как приятно, что в доме кто-то живет помимо нее.

Как-то вечером в одну из пятниц мистер Кэрри спустился на кухню отдать ей

четыре фунта в уплату за комнату; Эсме как раз ставила на стол тушеную баранину, и когда она предложила ему остаться и поужинать вместе с ней, он так быстро согласился, что она почувствовала себя виноватой: возможно, он вообще не ужинал. И она решила, улучив удобный момент, предложить ему пользоваться кухней.

Но удобный момент все не наступал. Зато теперь мистер Кэрри два, а то и три раза в неделю спускался на кухню и делил с ней ужин; постепенно у нее вошло в привычку готовить на двоих, и когда он предложил ей еще фунт в неделю за стол, она согласилась — так приятно иметь сотрапезника... хоть и считала, что ведет себя, пожалуй, слишком смело, слишком беззаботно. Она слышала голос матери, говорившей, что ужины стоят больше, чем фунт в неделю. «Ну и что? Неважно, зато это доставляет мне удовольствие, значит, нечего и раздумывать».

Однажды вечером мистер Кэрри осведомился, не сильна ли она в арифметике, и когда она сказала, что изучала счетоводство, попросил помочь ему разобраться со счетами клиентов, которые покупают у него кухонную утварь. После этого два или три раза в месяц она стала регулярно помогать ему: они устраивали контору в столовой, она вспомнила все, что знала когда-то, почувствовала, что приносит пользу, стала получать от работы удовольствие.

Как-то он сказал:

— Что ж, мисс Фэншоу, осталось совсем недолго, лето почти на носу, а летом я уже сам себе хозяин.

Но когда она открыла рот, чтобы расспросить его поподробнее, он переменил тему разговора. После этого ей уже не захотелось выяснять, неужели фирму, снабжавшую его хозяйственными товарами для продажи, устраивает то, что летом прекращаются заказы?

Мистер Кэрри был жаден до чтения — «зимой», говорил он, когда у него есть время. Он читал не романы, не биографии, не военные мемуары — только энциклопедию, многотомную, переплетенную в искусственную кожу кремового цвета и купленную в рассрочку. Вечерами, спускаясь в гостиную по приглашению Эсме, он обычно приносил один из томов и составлял ей компанию, сидя в кресле напротив. Время от времени он пополнял ее познания, читая ей вслух что-нибудь занятное или любопытное. Его память впитывала в себя все, но особенно сведения по зоологии, географии или антропологии: он говорил, что помнит любой прочитанный факт — ведь никогда не знаешь заранее, что может пригодиться. И Эсме Фэншоу слушала, пополняя свое образование, а руки ее проворно мастерили абажур — это искусство она легко усвоила.

— Учиться никогда не поздно, мистер Кэрри.

— Как чудесно, что наши мнения совпадают! Как приятно!

На следующее утро, моя посуду, она подумала: «Да, очень приятно!» — и даже разрумянилась от удовольствия и какого-то непонятного волнения. Хорошо бы иметь подругу, которой можно было бы позвонить, пригласить ее на чашку кофе и сказать: «До чего же приятно иметь в доме мужчину, я раньше и не представляла себе, как это меняет атмосферу». Но у нее не было близких друзей: они с матерью жили всегда уединенно. А то она сказала бы: «Я словно помолодела, и все благодаря мистеру Кэрри. Теперь я поняла, что раньше не жила, а существовала».

И вот наступило лето. Мистер Кэрри отсутствовал до половины десятого или до десяти, его чемодан, полный щеток для пола, мытья посуды и банок с лаком, лежал под лестницей, а сам он сменил костюм. Он носил теперь льняной пиджак кремового цвета и соломенную шляпу с черной ленточкой, а в петлице пиджака у него была роза или гвоздика. Он выглядел очень элегантным, очень нарядным — Эсме никак не могла догадаться, чем же он занимается. Каждое утро, уходя из дому, он брал с собой довольно большой квадратный черный чемодан. Однажды она подумала: «Я пойду за ним следом». Но она не сделала этого. Затем как-то июльским вечером она решила разузнать о нем в городе: должен же кто-то знать мистера Кэрри, он человек заметный, особенно теперь — в новой летней одежде. Где-то в глубине сознания у нее тлела мысль, что, возможно, он пляжный фотограф.

Она тоже оделась иначе, чем всегда: белое пикейное платье, которое она купила пятнадцать лет назад, но которое по-прежнему не только хорошо на ней сидело, но и шло ей, и соломенную шляпку, окаймленную лентой, под стать шляпе мистера Кэрри. Пересекая в этом наряде садик, она почти не смела поднять глаз: она была уверена, что соседи подсматривают и говорят о ней. Теперь ведь всем было уже известно, что у мисс Фэншоу есть жилец.

Она почти никогда раньше не ходила гулять на набережную летом. Она так и сказала мистеру Кэрри: «Я держусь жилой части города, ближе к дому — уж очень я не люблю летнюю толпу». К тому же мать внушила ей, что на лето приезжает «одно простонародье». Но сегодня, в теплый летний вечер, прогуливаясь по набережной и вдыхая запах моря, она устыдилась подобного образа мыслей: ей вовсе не хотелось, чтобы кто-то счел ее снобом,— нет, надо жить и давать жить другим, как сказал бы мистер Кэрри. Дело в том, что люди, сидевшие в шезлонгах или прогуливавшиеся парами вдоль берега, выглядели очень мило, вполне респектабельно — нема-

ло было тут пожилых дам и семейств с хорошо воспитанными детьми, это был хоть и маленький, но аристократический курорт: на автобусах сюда не ездили.

Однако мистера Кэрри нигде не было видно. Как не было видно и пляжных фотографов. Эсме медленно шла по набережной, разглядывая все вокруг. Рядом с памятником погибшим на войне — бассейн, где дети могут пускать кораблики, а возле парка при гостинице «Рейнклифф» — поле для игры в гольф. «Право же,— подумала она,— надо мне почаще выбираться сюда, право же, летом здесь очень приятно, я много потеряла».

Дойдя до поля для игры в гольф, она остановилась: ей не хотелось идти обратно — в гостиной было сумрачно, да и делать абажуры в середине июля особого желания у нее не было. Она решила присесть на одну из зеленых скамеек, рядом с пожилой парой, и насладиться ароматом вечера. И тут она услышала музыку. А через мгновение узнала мелодию. Этот мотив часто доносился из-за закрытой двери спальни мистера Кэрри.

И там, на углу, напротив гостиницы и поля для игры в гольф она увидела мистера Кэрри. В черном чемодане, который стоял сейчас на мостовой, оказывается, находился старомодный граммофон с трубой. А рядом — мистер Кэрри в чуть сдвинутой набок соломенной шляпе, с тросточкой под мышкой и неизменным цветком в петлице. Он пел мелодичным, но основательно надтреснутым голосом и исполнял замысловатую чечетку — маленькие ступни его быстро и старательно двигались в такт музыке.

Эсме Фэншоу прикрыла лицо рукой, чувствуя, как щеки заливает краска, и главное — не желая показываться ему: она отвернулась и стала смотреть на море, а в ушах ее звучал сентиментальный мотив. Но мистер Кэрри смотрел лишь на группу зевак, столпившихся вокруг него. Несколько прохожих пересекли проезжую часть улицы и остановились посмотреть, как отплясывает мистер Кэрри с застывшей улыбкой на далеко не молодом лице. У ног его перевернутый котелок, в который зрители бросали монеты. Когда пластинка кончилась, он нагнулся, аккуратно перевернул ее и начал танцевать снова. Но вот и вторая пластинка подошла к концу, он уложил граммофон в чемодан, закрыл его и двинулся дальше по набережной, чтобы повторить свое выступление в другом месте.

А Эсме сидела на зеленой скамейке — голова у нее кружилась, сердце стучало, и ей казалось, что она сейчас упадет в обморок. Она думала о своей матери и о том, что бы та сказала; она думала, в какое глупое попала положение: кто-то из ее знакомых наверняка знает, наверняка полгорода видело выступление мистера Кэрри! Звуки его мелодии неслись по набережной в вечернем воздухе. Почти совсем стемнело, море снова стало наползать на гальку.

Она думала о том, что надо идти домой, вытряхнуть содержимое комнаты мистера Кэрри на улицу и запереть парадную дверь; думала о том, чтобы вызвать полицию, или своего дядю Сесила, или пойти к какой-нибудь соседке. Она была унижена, обманута, опозорена и чуть не рыдала от стыда.

А затем она подумала: а почему, собственно, ей должно быть стыдно? Мистер Кэрри не обманывал ее. Он не говорил ей, что делает в летние месяцы, он не лгал. Возможно, он утаил это из опасения, что она может не одобрить. Но это его личное дело. А в зимние месяцы, конечно же, он ходит по домам, продавая хозяйственные товары. И он исправно платит за комнату. Он аккуратен и опрятен, с ним легко и приятно иметь дело. Чего же тут бояться?

И она вдруг почувствовала к нему жалость и одновременно восхищение, он представлялся ей романтическим героем: он хорошо танцевал и пел даже с известным шиком,— а может, он был в прошлом артистом мюзик-холла, тогда как она — да кто она такая, Эсме Фэншоу, чтобы презирать его, какие у нее самой таланты? Разве она в состоянии зарабатывать себе на жизнь, развлекая других?

«Говорила же я тебе, Эсме. Разве не говорила?»

«Что ты мне говорила, мама? Что ты вообще можешь мне сказать? И почему ты не оставишь меня в покое?»

Мать молчала.

Тогда Эсме спокойно взяла сумочку, встала с зеленой скамейки, прошла по набережной и по темным жилым улицам мимо благоухавших левкоями и розами открытых окон, в направлении Парковой аллеи; войдя в дом, она убрала соломенную шляпу, однако платья из белого пике не сняла, потому что вечер был такой теплый. Она пошла на кухню, сварила кофе и поставила его на поднос вместе с сандвичами и печеньем; вскоре вернулся мистер Кэрри, она окликнула его и предложила:

— Спускайтесь, пожалуйста, перекусите вместе со мной, вам это не помешает, вы ведь наверняка устали.

И по его лицу она увидела: он знает, что она знает.

Но ничего не было сказано ни в тот вечер, ни в последующие вечера. Лишь несколько недель спустя, холодным ветреным августовским вечером, когда мистер Кэрри сидел в кресле напротив нее, читая том энциклопедии от «К» до «Л», Эсме Фэншоу, глядя на него, сказала:

— Моя мать обычно говорила, мистер Кэрри: «Я так люблю немного пения и танцев, это вносит разнообразие в жизнь, отвлекает от мыслей о себе».

Мистер Кэрри слегка поклонился.

Опекун

Без пяти три он взобрался по лестнице на чердак. Поднимался он осторожно — теперь он был осторожен во всем: двигался медленно, а выходя из дому в плохую погоду, тепло одевался. По правде говоря, он не надеялся пережить эту зиму — он был стар, проболел целую неделю, а после этого на него снова напал страх, что он вот-вот умрет. Он не беспокоился о себе, но что тогда станет с мальчиком? Теперь он думал только о нем, только мальчик имел для него значение. Поэтому он так и берегся, но тяжелая зима осталась позади, на дворе уже был март, теперь можно надеяться, что он проживет и весну и лето и на какое-то время перестанет беспокоиться. Но все равно надо быть осторожным, чтобы избежать несчастного случая, хотя он достаточно твердо стоит на ногах. Ему был семьдесят один год. Он знал, как легко ему, например, оступиться на узкой лестнице, сломать себе руку или ногу,— он будет лежать здесь, а ребенок с возрастающим ужасом будет ждать его в школе, пока не останется совсем один.

Когда же он не терзался мыслью о смерти, его одолевал страх, что он может надолго заболеть или слечь вообще, а если его заберут в больницу, что тогда будет с ребенком? Что будет с ребенком?

Но сейчас уже скоро три часа, его любимое время дня, пора выходить из дому, и вот он на четвереньках лезет на темный прохладный чердак и пробует на ощупь яблоки, берет то одно, то другое и подносит их к свету, проникающему сквозь щели в шифере крыши, стремясь выбрать самое лучшее, спелое и гладкое.

На чердаке сладко пахло яблоками и грушами, лежавшими здесь с осени. Над головой он услышал птичью возню — это ласточки вили гнезда под карнизом крыши,— и сердце его радостно забилось от сознания, что уже почти апрель, почти весна.

Он осторожно спустился по лестнице с яблоком в руке. До школы он доходил минут за двадцать, но он любил прийти пораньше — понаблюдать, дожидаясь у ворот.

Небо было нежно-голубое, светило солнце, но было очень холодно, в воздухе еще пахло зимой. Всего недели две тому назад лежал снег, и они с мальчиком дважды в день проделывали путь через болота по твердым от мороза тропинкам,— ручей, вдоль которого шла тропинка, был скован льдом, тростинки застыли серебристо-белые, как лезвие бритвы.

Оттепель наступала постепенно. Сегодня прозрачный воздух щипал ноздри. Ничто не двигалось. Поднявшись по заросшему травой берегу на пролегавшую повыше тропинку, он поглядел вдаль, на широкую реку — она блестела под зимним солнцем, как металлическая пластина. Все было бледным, белым и серебряным; медленно пролетела чайка — грудь ее и подкрылки были серые, как гравий. Кругом ни звука — разве что вдруг вскрикнет чернозобик, взлетит и камнем упадет вниз, да слышен звук его шагов по тропе, шорох сухой травы о его брюки. Он не надеялся пережить эту зиму.

В руке он чувствовал яблоко, оно было твердое и бархатистое на ощупь, мальчик должен есть фрукты каждый день — он следил за этим,— а также пить молоко и есть яйца, они брали их у Молдрана на ферме, в миле отсюда. Он должен расти, должен правильно развиваться.

Коровы Молдрана паслись посреди болота на зеленом островке, окруженном со всех сторон стальной водной гладью,— Молдран проводил их туда с фермы по узкой тропе, точно по мостику. Отсюда, издали, они казались игрушечными или нарисованными — стояли неподвижно, словно вырезанные из картона черно-белые фигурки. Порой на мальчика все еще нападал страх, когда они проходили мимо этого коровьего островка,— он хватал старика за руку, и на лице его появлялось напряжение.

«Они не тронут тебя. Неужели не видишь — они не могут перейти вброд, ведь это коровы. Им до тебя и дела нет».

«Я знаю».

Он действительно это знал и все равно боялся. Хотя последнее время бывало и так, что он подходил к самому краю воды и подолгу смотрел на животных или взбирался иногда на приступок коровника, вдыхая густой запах коров и слушая, как шлепается навоз на каменный пол. Вот тут он не боялся. У коров были огромные костлявые задние ноги и пустые глаза.

«Погладь какую-нибудь»,— однажды предложил Молдран. Мальчик зашел в коровник и издали, стоя на безопасном расстоянии, вытянул руку, подался немного вперед и дотронулся до коровьей шкуры — она дернулась как от укуса мухи, словно легкое касание его руки было ей неприятно. Он все еще боялся коров, но уже меньше. Как все менялось! Он рос, ему было уже семь лет.

Иногда ночью старик просыпался весь в поту от страха, что он может умереть до того, как мальчик вырастет, и тогда он молил бога, чтобы прожить еще десять лет, только десять, пока мальчик не встанет на ноги. И в иные дни это казалось вполне возможным, казалось, что так и будет, он чувствовал себя молодым, словно сбросившим бремя лет, в руках была сила, и он мог колоть дрова, таскать ведра с водой, у него

кружилась голова от ощущения своей молодости. Годы вдруг переставали сказываться — ему было всего семьдесят один. Высокий, худощавый мужчина с густыми седыми волосами, крепкий и подтянутый. Когда он мылся и смотрел на себя, то видел каждое ребро, каждый сустав своего худого тела; он сгибал руку и наблюдал, как под кожей напрягаются мышцы.

Тропа круто повернула, и справа от него вспыхнула под солнцем поверхность воды — заблестела, засверкала, на миг ослепила его. Он услышал знакомый слабый свист ветра, налетевшего с устья, что примерно в миле отсюда. Тростинки все разом зашуршали, как сухие ветки. Он поднял воротник пальто. Но он был счастлив, счастьем полна была голова — счастьем от того, что он идет сейчас по этой тропинке, с яблоком в руке, засунутой в карман пальто, что он будет ждать мальчика, а потом вместе с ним пойдет обратно по этой же тропинке, и ничего страшного с ним не случится, ни одно из его опасений не сбудется.

Оглядываясь назад, он все еще мог различить коров, а посмотрев вниз, туда, где между заросшими тростником берегами текла вода, он увидел лебедя,— птица изогнула шею и опустила голову в темную, блестящую воду, словно застыв. Он остановился на минуту, наблюдая за лебедем, прислушиваясь к тонкому завыванию ветра, затем повернулся и увидел всю бесконечную даль болот, воду и небо — мили и мили, вплоть до того места, где начинался лесок, за которым был его дом, и в другую сторону — до того места, где песчаная коса, как язык, входила в устье реки.

И поразился, что жив и движется — крошечная букашка среди огромных, блестящих и холодных просторов; поразился мысли, что играет здесь не меньшую роль, чем коровы Молдрана и этот неподвижный лебедь.

Он почувствовал вдруг на лице холодное дыхание ветра. Было четверть четвертого. Он свернул с тропинки, миновал ограду и зашагал через вспаханное поле, за которым бежала дорожка, а на ней через милю, ближе к деревне, была школа.

Иногда он приходил сюда не только утром и во второй половине дня, но и в другое время. Это случалось, когда им внезапно овладевало беспокойство и желание увидеть мальчика, убедиться, что он тут, что он жив. Тогда он бросал все свои дела и мчался сюда, спотыкаясь и еле переводя дух, пока не добирался до забора и закрытых черных ворот. Если он стоял достаточно долго и дожидался обеденного времени или перерыва, то видел, как дети, толкая друг друга, выбегали из зеленых дверей, и усиленно всматривался, разыскивая своего мальчика глазами, а когда находил, руки, сжимавшие решетку, сразу расслаблялись, сердце не так уже стучало в груди. Всегда в таких случаях мальчик стремглав бежал к нему через всю асфальтовую площадку, смеялся, окликал его, прижавшись со своей стороны к решетке.

— Привет!

— Как ты там?

— Что ты мне принес? Принес мне что-нибудь?

Хотя он и знал, что ничего не получит, не ждал ничего, знал, что фрукты дают всегда только после школы — яблоки, груши, а летом иной раз вишни или персик.

— Я просто проходил через деревню.

— Ты был в лавке, да?

— Да. А сейчас только подошел посмотреть...

— У нас было чтение. И нам давали пудинг из тапиоки.

— Это полезно. Тебе надо его есть. Обед всегда надо съедать целиком.

— А домой еще не пора идти?

— Нет, еще не пора.

— Ты ведь придешь за мной? Не забудешь?

— Разве я когда-нибудь забывал?

Потом он одергивал пальто или перекладывал бумажную сумку из одной руки в другую и говорил: «Ну, беги, играй с ребятами», потому что знал: так надо, нельзя заставлять мальчика стоять здесь, на глазах у всех. Он пришел ведь ради себя, чтобы унять беспокойство и страх.

— А теперь беги назад, к своим приятелям.

— Ты придешь за мной? Придешь?

— Конечно, приду.

Он поворачивался спиной к решетке — они оба поворачивались каждый в свою сторону, ибо каждый существовал сам по себе, жил своей жизнью, шел своим путем. Он поворачивался и шагал по дорожке — прочь от школьной площадки, не оглядываясь; иной раз заходил в магазин и покупал что-нибудь — он был снова спокоен, страхи оставляли его, и он медленно возвращался домой.

Его не тяготили эти прогулки — даже в самую плохую погоду. Его вообще ничто не тяготило в этой жизни, которую он себе избрал и которая поглощала его целиком,— в жизни, где все было так важно. Он больше никогда не думал о прошлом. Где-то он прочитал, что у старых людей остаются только воспоминания, и очень удивился, потому что у него их не было, или, вернее, они не занимали его,— так выбрасываешь старые письма, не считая нужным их хранить. Просто у него было настоящее — дом, участок и мальчик, за которым надо смотреть. И он должен быть здоров, должен жить, он не имеет права пока умирать. Это главное.

Но он не позволял себе часто ходить в школу в неурочное время,— превозмогая беспокойство, потребность убедиться, что с мальчиком ничего не случилось, он занимался какой-нибудь физической работой: выбивал матрацы, сажал овощи в огороде, обрезал фруктовые деревья или удалял под ними сорняки, шел повидать Молдрана на ферме, купить у него цыпленка, или просто ждал, когда, наконец, наступит три часа и можно будет пойти в школу, можно даже позволить себе удовольствие прийти туда немного пораньше и подождать у ворот, которые уже стояли открытыми, чтобы мальчик мог беспрепятственно выйти.

— Что ты мне сегодня дашь?
— Догадайся.
— Это легко. Грушу.
— Ошибся! — Он разжал руку, показывая яблоко.
— Ну что ж, яблоки я как раз больше люблю.
— Я знаю. Сегодня утром я хорошенько осмотрел все деревья. В этом году яблок будет не много. Правда, пока деревья не зацветут, наверняка ничего нельзя сказать.
— А в прошлом году было много — сотни яблок. Тысячи.— Он взял старика за руку, когда они подходили к концу дорожки. Почему-то он всегда ждал, когда они дойдут до этого места, вот до этой рябины.
— Миллионы яблок!
— Считай дальше!
— Ну, очень много.
— Вот потому-то их и не будет столько в этом году. Двух таких урожаев подряд не бывает.
— Почему?
— Деревья устают так сильно плодоносить. Им надо отдохнуть.
— Значит, у нас будет много груш?
— Надеюсь. А что вы делали сегодня в школе?
— Много всего.
— Ты приготовил урок по чтению? Чтение — это главное. Тебе надо больше читать.

Еще до школы он сам начал заниматься с мальчиком — купил в деревне букварь и книжки с картинками, и все было проштудировано, сам сделал учебник — вырезал картинки из журналов, наклеил их на разлинованные листы бумаги и сделал подписи крупными четкими буквами. К тому времени, как мальчик пошел в школу, он знал больше всех остальных — «очень продвинутый ученик», сказал учитель, хотя и долго его оглядывал: уж очень он был мал для своих лет.

Его беспокоило то, что мальчик плохо растет,— он внимательно присматривался к другим детям, когда они выходили из ворот школы: все они были выше его, плотнее и крепче. Лицо его по сравнению с другими было бледное и удивительно взрослое. Он всегда выглядел взрослым.

Тогда старик стал еще больше заботиться о том, чтобы дома были свежие яйца и сыр, молоко и фрукты, и следил за мальчиком, когда тот ел. Но ел он хорошо.
— У нас сегодня на обед было мясо с капустой.
— Ты все съел?
— Даже попросил добавки. А потом вместо пудинга — пирог. С кремом. Я его не люблю.
— И ты не стал есть?
— Нет, ну что ты. Я просто не люблю такой пирог, вот и все.

Теперь, когда они вышли на болото, вода и небо казались еще светлее, и тростинки у ручья совсем побелели, как старое дерево, которое не один год пролежало на солнце. Ветер усилился и подстегивал их сзади по ногам.
— А вон лебедь.
— У них здесь где-то гнездо.
— Ты видел?
— Они никого не подпускают к нему. Если кто-то проходит мимо, они сразу вылетают из гнезда.
— Я нарисовал лебедя.
— Сегодня?
— Нет. Уже давно. У меня не очень хорошо получилось.
— Если получается не очень хорошо, надо сделать еще раз.
— Зачем?
— Тогда лучше получится.
— Я все равно не научусь хорошо рисовать.— Он говорил очень рассудительно (с ним это частенько бывало), зная себя, уверенный в своей правоте, так что старик умолк: нельзя не уважать такую уверенность.
— До чего быстро соображает,— заметила как-то жена Молдрана.— Умный мальчик.

Но старик не давал его баловать или хвалить по пустякам.

Ему надо многому учиться. Он ведь еще ребенок.
— Ничего, научится, правда? Он быстро соображает.

Но, может быть, так казалось лишь из-за слов, которые он употреблял, из-за серьезного выражения его лица, объяснявшегося тем, что он много читал и столько времени проводил наедине со стариком. А если он, как утверждают, в самом деле такой умный, такой развитой, принесет это ему пользу?

Это беспокоило старика, ему хотелось, чтобы мальчик легко нашел свое место в жизни, он старался не отгораживать его, заставлял наведываться на ферму к Молдрану, ходить одному через Харперово болото, играть с мальчиками лесника, в школе вместе с другими участвовать в играх, а не стоять в стороне. Дело в том, что временами его пугала их уединенная жизнь вдвоем, то, что им, по сути, никто больше не был нужен,— и тот и другой были вполне счастливы и не стремились выбираться за пределы дома; они говорили обо всем на свете или просто молчали, мальчик читал и аккуратно выписывал названия птиц и бабочек, строил из старых спичечных коробков замысловатые дома, замки и дворцы, помогал на огороде — у него даже были свои грядки, где он выращивал то, что ему хотелось. И так было с самого начала, с того самого дня, когда девятимесячного старик принес его сюда, посадил на пол и научил ползать,— с тех пор их жизни естественно переплелись. Тогда мальчик никому не был нужен. Да никто и не стал бы так заботиться о нем.

В ту пору люди даже что-то заподозрили, по деревне пошли разговоры, пересуды.

— В доме нужна женщина. Без этого нельзя. Нужен человек, умеющий обращаться с ребенком,— сказала тогда жена Молдрана Но теперь и она признала, что была неправа, и перед посторонними готова была защищать их горячее других: — Хороший он мальчик. Здоровый, что надо! Вы только поглядите на него, поглядите. Да уж, никогда заранее не знаешь, как все обернется. Никогда не знаешь.

Они шли по дороге, что вьется по пустоши через кустарник и дальше через хвойный лесок, стало так холодно, как бывает вечером в январе; они принесли в дом побольше дров, съели тосты с остатками сливового джема и выпили по кружке горячего молока.

— Холодно, как зимой. Только не так темно. Люблю зиму.

Однако сейчас была середина марта, на болотах цапли и красноножки вили гнезда, и жаворонки спиралью поднимались в небо, разрезая пением тишину. Весна уже почти наступила.

Так они и жили, как жили всегда, пока не пришло второе апреля. А потом — на другой день после их прогулки в Дирнау, на другой день после того, как они увидели пегого зимородка,— это случилось.

С самого утра он чувствовал какую-то тревогу, хотя причин для страха как будто не было, однако холодный и твердый страх камнем лежал у него на душе, и с той минуты, как он встал, он не мог найти себе места.

Погода переменилась. Было тепло и влажно, небо затянуло плотными, серо-бурыми облаками, над болотами стоял легкий туман. Старика потянуло на воздух — хотелось шагать и шагать, не останавливаясь, в доме было темно и странно спокойно. Проходя между фруктовыми деревьями в конец сада, он увидел раскрывающиеся первые почки, но трава была вся мокрая от росы, точно вспотевшая, в тяжелом воздухе стоял еле уловимый сладковатый запах гнили.

Они двинулись в путь сразу после полудня. Мальчик не задавал вопросов — он всегда был рад куда-нибудь пойти, но когда старик предложил ему выбрать маршрут, он сразу же пошел вперед по тропинке, заворачивавшей на восток, в другую сторону от деревни,— она тянулась почти три мили по пустынным болотам и вывела к морю. Они вышли к берегу реки — вода текла медленно, почти сплошь затянутая темно-зелеными водорослями. Мальчик нагнулся и, разорвав поверхность воды, осторожно опустил руку, но пальцы его коснулись мягких, зазубренных краев водоросли, и он тут же ее выдернул.

— Скользкие.

— Да. Вода здесь почти стоячая. Непроточная.

— А рыба тут есть?

— Может, и есть. Но немного.

— Мне тут не нравится.— Однако он постоял еще немного, продолжая смотреть сквозь тростинки на камушки, видневшиеся на дне ручья. «Обо всем-то он расспрашивает,— говорили в деревне.— Все ему интересно. Умный мальчишка, сразу видно, живой, ловит все на лету. Про все хочет знать». Но бывало и так, что он вообще ничего не говорил — думал о чем-то с серьезным, сосредоточенным не по-детски лицом, он только смотрел и внимательно слушал, а вопросов не задавал.

— Тут ведь и умереть можно. Утонешь — и никогда, никогда тебя не найдут.

— Не надо о таком и думать. Тебе-то нечего волноваться.

— Но можно ведь тут утонуть, можно?

Они шли друг за другом, мальчик — впереди. Изо всех гнезд, спрятанных среди тростника, раздавался щебет, чириканье или вдруг вскрик — предупреждающий, тревожный. Раздался высокий печальный зов кроншнепа — снова и снова—и вдруг оборвался. Мальчик свистнул, подражая ему.

— Он узнает, что это я? Он мне ответит?

Он свистнул снова. Они подождали. Кроншнеп молчал. Лицо мальчика омрачилось.

— Их не обманешь — кого угодно можно обмануть, только не птиц.

— А вот черного дрозда можно заставить ответить. Очень даже просто.

— Это не одно и то же.
— Почему?
— Потому, что черные дрозды — совсем ручные, они живут в садах.
— Разве кроншнепы не прилетают в сады?
— Нет.
— Почему не прилетают?
— Они предпочитают держаться подальше от жилья. У них свои есть места, излюбленные.

По мере того как они продвигались вперед, воздух словно смыкался вокруг них, труднее стало дышать, и все расплывалось перед глазами — там, где болото и туман сливались с небом. То тут, то там в реке возникали небольшие илистые заводи или вымоины, вода в них была бурая от ржавчины — кто-то бросил старую консервную банку или металлический ящик из-под бутылок, и они провалялись здесь годы, а по воде расплывались пятна, похожие на старую кровь. Над рекой тучами кружили комары.

— Дойдем до пляжа?
— Отчего же — можно.
— А вдруг мы там что-нибудь найдем.

Они часто искали среди камешков выброшенные приливом кусочки желтого или черного янтаря, старые пряжки и пуговицы, отшлифованные морем монеты. У мальчика была коллекция — он хранил ее у себя в комнате, в картонной коробке.

Они продолжали идти, и вдруг тяжелую, густую тишину вокруг них разорвало хлопанье крыльев, все ближе и ближе, как будто две тонкие доски медленно ударяли друг о друга. И лебедь, как огромный орел, низко пролетел над их головами — такой большой и так близко, что у мальчика, на секунду взглянувшего вверх, от страха перехватило дыхание.

— Лебеди ведь нападают на людей, а если лебедь ударит крылом, то может перебить тебе руку, правда? — в волнении спросил он.
— Они не обращают на людей никакого внимания, так что пойдем, пусть себе летают.
— Но они ведь могут перебить руку, правда?
— Ну, конечно, могут.— Старик смотрел вслед большой серо-белой птице, неуклюже удалявшейся от них к морю.

Ярдах в ста впереди, у пересечения двух пролегавших через болото тропинок, стояли развалины старой водяной мельницы, обгоревшей много лет назад во время пожара, разваливающейся, без одного крыла. Внутри, если войти в сводчатую дверь, было темно и сыро, стены покрывал желтоватый мох, а в выбоинах земляного пола стояла черная вода.

В разгаре лета, в жаркие, ослепительно голубые дни они не раз приходили сюда по пути на пляж с сеткой, полной еды, и тогда водяная мельница, прохладная и тихая, казалась желанным прибежищем; мальчик заходил вовнутрь и, остановившись посреди, тихонько звал старика и слушал эхо своего голоса, мягко отдававшееся от стен.

А сейчас он вдруг остановился на дорожке, не доходя до нее.
— Я не хочу идти дальше.
— Но мы же идем на пляж.
— Я не хочу проходить мимо этого.
— Мимо мельницы?
— Там крысы.
— Нет там никаких крыс.
— А эти самые, которые летают. Такие черные, еще висят вниз головой.
— Летучие мыши? Чего же их бояться? Ты их видел в амбаре у Молдрана. Они никого не трогают.
— Я хочу назад.
— Тебе совсем не надо заходить на мельницу, кто тебе велит туда заходить? Мы идем дальше, к морю.
— *Я хочу назад, сейчас же.*

Он не часто пугался. Но сейчас, среди притихших болот, старика самого охватило смятение, страх перед чем-то, что должно случиться, случиться здесь, где все замерзло, даже птицы попрятались и лишь издают таинственные крики, где все покрыто неподвижной водой, и от духоты пот градом катился у него по спине. Что-то с ними должно случиться, что-то...

Но что может случиться?

Затем, невдалеке, оба они в один и тот же миг увидели его — человека с ружьем под мышкой, на фоне мутных далей, высокого, черного, зловещего как ворон — и одновременно увидели двух диких уток, вспугнутых из своего гнезда в тростниках и взмывших в небо, а затем услышали выстрелы, три выстрела, расколовших тишину и отдавшихся эхом на мили вокруг, так что воздух задрожал от страшного грохота.

Утки упали, сраженные на лету,— они дернулись, перевернулись в воздухе и камнем полетели вниз. Человек с ружьем бросился вперед; трава и тростники нагибались, колыхались, показывая, где пробежала собака, ринувшаяся за дичью.

— *Я хочу назад. Я хочу назад.*

Не говоря ни слова, старик взял его за руку, и они быстро пошли назад по той же дороге, словно боясь, что за ними тоже будут гнаться, тоже будут в них стрелять, они чуть не бежали, хотя оба задыхались и взмокли от пота, но думали лишь о том, как быстрее уйти отсюда, добраться до дорожки, затененной деревьями, укрыться в доме.

Они никогда об этом больше не заговаривали, как и о чувстве, владевшем ими, когда они бежали по болоту; мальчик ни разу не вспомнил ни о человеке с ружьем, ни об утках, которые только что были живы, летели в небе и вдруг упали мертвые. Весь этот вечер старик следил за ним, когда он наклеивал картинки в книгу и отрывал листья щавеля для кролика, следил, не появится ли вновь страх. Но мальчик был, пожалуй, лишь тише обычного, лицо его было более замкнуто, он был всецело погружен в свои мысли.

Ночью старик проснулся, встал, подошел к мальчику, посмотрел на него в темноте — он боялся, что мальчику может присниться дурной сон и он проснется, но в комнате слышно было лишь ровное дыхание мальчика, он лежал спокойно в постели, вытянувшись во всю длину.

Старик подумал о том, что ждет мальчика, и перед глазами у него замелькали картины всевозможных ужасов,— сколь многое может причинить мальчику боль, потрясти его, сделать несчастным, а он не может его защитить — не смог же он сегодня уберечь мальчика, чтобы он не видел убийства этих двух уток. Старик был в отчаянии. Лишь на следующее утро он почувствовал облегчение — когда еще раз осознал, что он все-таки пережил зиму и теперь впереди его ждет лишь свет, тепло и зелень.

И тем не менее в глубине души он чувствовал: что-то должно с ними случиться, что-то нарушит их покой. Прошло больше недели, и ничего не случилось, страхи его улеглись, а затем наступила весна, цветы яблонь и груш оттягивали вниз ветки огромной кремовой массой, трава в саду выросла мальчику до колен, а над болотами светило вовсю солнце, вода в реке была бирюзовая, а в ручьях — прозрачная как стекло, ветер нес тепло и слабые запахи соли и земли. Теперь на пути в школу и обратно они видели жаворонков, трепещущих в небе высоко над их головами, а в густом кустарнике на пустоши мальчик нашел гнездо зайчат. На чердаке, где были сложены яблоки, вывелись маленькие ласточки, а вдоль дорожек сверкали золотом в траве лютики и одуванчики.

В пятницу Молдран подарил мальчику котенка, и он принес его домой за пазухой. Котенок был черный с белым, как и коровы у Молдрана. А на другой день — в конце первой весенней недели — пришел Блейдон, Гилберт Блейдон, отец мальчика.

Старик сидел на крылечке, наблюдая за канюком, парившим над хвойной рощицей, когда услыхал шаги. Он подумал, что это Молдран несет цыпленка или яйца — он обычно приходил раз в неделю, когда мальчик уже спал, они выпивали по стаканчику пива и полчаса болтали. Держался он просто, без церемоний. Но они по-прежнему величали друг друга: «мистер Баури» и «мистер Молдран».

Канюк продолжал летать туда-сюда, точно что-то разыскивал.

Когда старик снова опустил глаза, на дорожке с брезентовым вещевым мешком в руке стоял он.

И тут старик понял, почему его одолевало беспокойство, он этого ждал, ждал чего-то похожего, хотя с наступлением тепла, с появлением листвы страхи его отодвинулись на второй план. При виде Блейдона он не почувствовал враждебности, только предельную усталость, точно был тяжело болен.

У него не было никаких сомнений в том, кто стоит перед ним, хотя, казалось бы, он должен был глазам своим не верить: если бы кто-то спросил его про отца мальчика, он бы решительно заявил, что больше никогда его не увидит. А теперь его появление не казалось старику чем-то неожиданным — оно казалось, наоборот, даже неизбежным. Все изменчиво, ничто не может длиться вечно. И счастье тоже не может длиться вечно.

— Намерен здесь задержаться?

Блейдон медленно шагнул вперед, постоял в нерешительности, затем опустил мешок на землю. Он сильно постарел.

— Не знаю, будет ли это удобно.

— В доме есть свободная комната. Здесь всегда есть комната.

Голова старика внезапно загудела от растерянности. Он подумал: надо предложить ему выпить или хотя бы сесть, надо побеспокоиться о постели, задать вопросы, ответы на которые он не хочет знать, сказать что-то о мальчике. *О мальчике.*

— Ты пришел забрать его?..

Блейдон сел на стул у садового стола. Мальчик был похож на него — такая же узкая голова и заостренный подбородок, такой же нос с горбинкой. Только рот был другой, хотя это могло объясняться и тем, что мальчик был еще маленький.

— Ты пришел забрать его?

— Куда? — Он поднял глаза.— Куда же я могу его забрать?

Но ты нам здесь не нужен, подумал старик, нам никто здесь не нужен; ему неприятно было вторжение этого более молодого мужчины с большими руками и длин-

ными ногами, вытянутыми под столом,— это взрывало размеренное течение их жизни. Он был им чужой. Не нужен ты нам.

Но разве он имеет право так сказать? И он не сказал ничего. Он в растерянности поднялся, не зная, что будет дальше, в голове царила сумятица.

Он почувствовал себя таким старым.

Наконец он заставил себя сказать:

— Ты, наверное, не ел?

Блейдон удивленно уставился на него.

— И ты не спрашиваешь, откуда я пришел?

— Нет.

— Значит — нет?

— У меня есть тушеное мясо. Еда тебе не помешает.

— А где он?

— Спит в своей кроватке, где же еще ему быть? Я знаю свои обязанности и слежу за ним. Сейчас ведь уже больше половины девятого, правда? Что же ему делать, как не спать?

Защищая себя, защищая их обоих, он слышал, как голос его окреп, зазвучал увереннее: он докажет этому отцу или хоть кому угодно, как хорошо он смотрит за мальчиком. Ему хотелось сказать: «А как ты? Где ты все это время был? Что ты для него сделал?» Но он побоялся все это высказать — он ведь не знал, какие права имеет Блейдон, даже если он никогда и близко не подходил к мальчику, никогда о нем не заботился.

— Ты ведь мог умереть.

— Ты так думал?

— Как же мне было не думать? Я ничего о вас не знал. Ничего не слышал.

— Конечно.

Уголком глаза старик увидел, как канюк внезапно камнем упал вниз на какое-то существо, копошившееся в хвойной рощице. Небо было багровым, и жимолость пахла необыкновенно сладко.

— Так вот — я не умер.

Старик вдруг заметил, что выглядит Блейдон усталым и грязным, ногти у него обломаны, он небрит и его синий шерстяной свитер расползается у горла. Что же он скажет мальчику: ведь он постоянно внушал ему, что надо следить за чистотой, быть опрятным, относил одной женщине в деревню его одежду для починки, всегда сам подстригал и мыл ему волосы. Что он скажет ему об этом человеке?

— Там есть горячая вода. Я пойду достану тебе простыни и застелю постель. Ты бы сначала помылся, до того как я подам на стол.

Он вошел в кухню, взял бутылку пива и кружку и вылил в нее пиво. Необходимость собраться, делать простые, обыденные вещи немного успокоила его.

Когда он вышел с пивом в сад, Блейдон по-прежнему сидел, откинувшись на стареньком стуле. Под глазами у него были синяки.

— Возьми-ка это наверх с собой.— И старик протянул ему кружку.

Теперь стало почти совсем темно. После долгого молчания Блейдон протянул руку, взял кружку и опорожнил ее несколькими большими глотками, потом медленно, словно все мускулы у него затекли, встал, взял свой мешок и направился к дому.

Накрывая на стол и раскладывая еду на тарелки, старик дрожал. Он старался прогнать мысль, сверлившую его мозг: Блейдон пришел забрать мальчика.

Он окликнул его и, не получив ответа, поднялся наверх. Блейдон, вытянувшись, лежал ничком на незастеленной кровати, погруженный в тяжелый сон.

А старик тем временем думал о предстоящем утре. Завтра суббота, и мальчик не пойдет в школу, он проснется, спустится вниз и встретится с Блейдоном.

Он говорил мальчику, что мать его умерла, а отец уехал далеко. И это была правда. Но он сомневался, помнил ли мальчик об этом; только раз он задал ему вопрос, и с тех пор прошло уже больше двух лет.

Им было хорошо вместе, и никто другой не был им нужен.

Старик сидел в темноте на стуле с прямой спинкой, окруженный невидимой теперь листвой и запахом жимолости, и пытался представить себе, что надо будет сказать:

«Это твой отец. У других мальчиков тоже есть отцы. Твой отец вернулся и будет жить с нами. Возможно, он побудет здесь какое-то время, а может быть, уедет через несколько дней. Его зовут Гилберт Блейдон. Ты будешь звать его «отец»? Будешь?..»

«Это...»

Все мысли его словно разбивались о скалу, и он продолжал сидеть перед домом, руки его беспомощно лежали на садовом столике, он ни о чем не думал, а в кухне на белых тарелках застывало мясо, и черно-белый котенок, недавно принесенный с фермы Молдрана, спал, свернувшись клубочком на старом зеленом свитере. Весь дом спал — и кошка, и мальчик, и отец мальчика. Из хвойной рощицы раздавался хриплый, гортанный крик козодоев.

— Сейчас будем завтракать. Ты вчера так ничего и не съел.

— Я был совсем сонный.

— Значит, сейчас будешь есть.— Старик стоял спиной к Блейдону, возясь у плиты со сковородой и тарелками. От чего же он так устал — вчера лег так рано и проспал до сих пор, одетый, не разобрав постели! Но старик не желал знать и расспрашивать не собирался.

Дверь из кухни выходила на дорожку, которая вела вниз — между грядками, подпорками для фасоли и кустами смородины — к роще. Блейдон подошел к двери.

— Съешь два яйца?

— Если...

— У меня их сколько угодно.— Старику хотелось отвлечь его внимание, поговорить, подготовить почву. Мальчик был тут, где-то в конце сада.

— У нас была очень морозная зима.

— Правда?

— Снег лежал по колено весь январь, весь февраль, нам приходилось откапываться прямо от двери. А потом ударил мороз — болота сразу покрылись льдом толщиной с твой кулак. Я раньше никогда такого не видел.

Но сейчас была весна, сейчас ярко зеленела роскошная молодая трава, молодые листочки, сейчас светило солнце.

Он начал раскладывать на столе вилки и ножи. Это все равно должно произойти, ему придется позвать мальчика, свести их. Что же он скажет? Сердце его сжалось в комок, потом вдруг отчаянно застучало в тощей груди.

Одежда на Блейдоне была мятая, точно жеваная. И к тому же не очень чистая. Мылся ли он? Старик пытался разглядеть его руки.

— Я подумал, хорошо бы мне найти работу,— сказал Блейдон.

Старик молча глядел на него.

— Я подумал, надо бы мне приняться за поиски работы.

— Здесь?

— Где-нибудь поблизости. Есть тут работа?

— Возможно. Мне не к чему было спрашивать. Так что, может, и есть.

— Если я останусь здесь, мне надо работать.

— Конечно.

— Все-таки это будет тебе подспорьем, верно?

— Ты имеешь право поступать, как считаешь нужным. Сам и решай.

— Я хочу платить за себя.

— О мальчике не беспокойся, если тебя это донимает. Он в порядке и всем обеспечен. Тебе нет надобности зарабатывать на него.

— Все равно...

Спустя минуту Блейдон подошел к столу и сел.

Старик подумал: ведь он молодой, сильный, крепкий, он пришел сюда насовсем, он имеет право, он же отец. И вообще он...

Но не хотел он впускать Блейдона в их жизнь, не хотел видеть на кухонном столе эти руки и эти большие ноги под столом.

— Попытай счастья на ферме. У Молдрана. Может, для тебя там что и найдется. Попытай счастья.

— На ферме у Молдрана?

— Работа, конечно, самая простая. Физическая.

— Я не разборчив.

Старик положил на тарелки яйца, поджаренный хлеб и бекон, разлил чай, подсыпал сахара в сахарницу. Теперь уже все было переделано — оставалось лишь позвать мальчика.

Но опасения его не оправдались — в конце концов ничего страшного не произошло.

Он вошел.

— Вымой руки.— Но мальчик уже направлялся к раковине, он был приучен к аккуратности, и это был для него уже не приказ, а просто привычная фраза.

— Вымой руки.

— Я теперь буду здесь жить,— поспешил сказать Блейдон,— какое-то время. Я приехал вчера вечером.

Мальчик остановился посреди кухни, перевел взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что принесет ему эта внезапная перемена в заведенном порядке вещей.

— Одну-две недели,— сказал старик.— Садись завтракать.

Мальчик забрался на свой стул.

— Как тебя зовут?

— Гилберт Блейдон.

— А мне как тебя звать?

— Как хочешь.

— Тогда я буду звать тебя Гилбертом.

— Как тебе угодно.

Они принялись за еду; старик жевал, наслаждаясь чувством облегчения.

Молдран взял его на ферму работником, и теперь, когда весна полностью вступила в свои права, их жизнь потекла по новому руслу. Блейдон вставал, завтракал с ними и уходил, после чего минут пятнадцать старик проводил наедине с мальчиком,

прежде чем отправиться в школу, и потом еще во второй половине дня они бывали какое-то время вдвоем. Блейдон иногда возвращался не раньше шести часов.

По субботам и воскресеньям он уходил куда-то один, а иногда он брал с собой мальчика погулять — они видели гнездо цапли, потом молодых лебедей, а однажды даже летевшего над устьем сапсана. Им вдвоем было легко друг с другом.

Оставшись один, старик пытался представить себе, что они говорят друг другу, он рассеянно бродил по дому, чуть не плача от беспокойства и страха. Вот они появились на тропинке, мальчик сидел на плечах у Блейдона и заливисто смеялся.

— Ты ему сказал.

Блейдон повернулся, удивленный, затем отослал мальчика.

— Я ничего ему не говорил.

Старик поверил ему. Но страх не проходил — страх перед будущим.

Дни становились длиннее. Прошла пасха и школьные каникулы, самое счастливое время для старика — он мог целые дни проводить с мальчиком, затем наступил май, когда по утрам цветущие деревья окутывал легкий, прозрачный туман.

— Он — хороший работник,— сказал Молдран, придя как-то вечером и застав старика одного дома.— Я доволен, что взял его.

— Вот как!

— И вам, должно быть, полегче стало.

— Он платит за себя.

— Я не о том. Я имею в виду — в смысле работы. Да и забот тоже.

Откуда Молдрану было знать? Но он только взглянул на старика дружелюбным, открытым взглядом, продолжая потягивать пиво из бутылки.

Он подумал о словах Молдрана и понял, что тот прав. Он привык к присутствию Блейдона в доме, привык, что он делает всю тяжелую работу и запирает двери на ночь, убирает на чердаке, где хранятся фрукты, и подрезает деревья и колючие кусты ежевики в конце сада. Он вошел в их жизнь и утвердился в ней. Когда старик представлял себе будущее без Блейдона, его охватывала тревога. Лето всегда пролетало мгновенно, затем опять наступала осень, а за ней зима. Снег и лед, холод и северо-восточный ветер, пробирающий насквозь на пустоши. Он боялся всего этого, боялся теперь, когда состарился. Прошлой зимой он болел всего один раз и то недолго. А этой зимой он будет на целый год старше, и мало ли что может случиться. Он думал о том, что утром надо будет еще затемно вести мальчика в школу, а тело у него стало совсем хлипкое и кости хрупкие, и он видел в зеркале свои слабые, слезящиеся глаза.

Он уже начал строить планы в расчете на то, что с ними будет Блейдон — он мог бы облегчить им жизнь, помогать с углем и дровами, колоть лед в ведрах с водой,— с ним было бы спокойнее, можно было бы не бояться ни болезни, ни смерти.

Правда, сейчас было еще только начало лета; сейчас он наблюдал, как Блейдон мастерит мальчику клетку для кроликов, забивает гвозди и пилит доски, умело выпрямляет проволоку. Он слышал, как они вдруг дружно смеялись. В конце-то концов именно это и нужно мальчику — не женщина, хлопочущая в доме, а мужчина, сильный и ловкий, который еще не стар, ничего не боится, не говорит: «Вымой руки», «Допей молоко», «Будь осторожен».

Котенок рос и бегал на солнышке кругами как сумасшедший.

«Он — хороший работник»,— сказал Молдран.

Скоро старик привык выходить во двор после ужина и дремать, сидя на стуле, в то время как Блейдон мыл посуду, выносил бачок с мусором, а потом, когда мальчик отправлялся спать, брал ножницы и подстригал изгородь или траву по краям дорожки.

Но все, что касалось мальчика — разбудить его утром и накормить, отвести в школу и привести домой, позаботиться о том, чтобы его одежда и обувь были в порядке, уложить спать,— все это по-прежнему лежало на старике. Блейдон не вмешивался, как будто даже не замечал, что и как делает старик. Его роль в жизни мальчика была совсем иной.

В июне и в начале июля стояла такая жара, какой старик на своем веку не помнил. Под деревьями и над болотной водой серыми тучами вились, звенели комары. Яркое солнце немилосердно палило, резало глаза, так что порой устье реки казалось совсем рядом, где-то недалеко. Коровы Молдрана вскидывали головой, отмахиваясь от мух, назойливо облеплявших уголки их огромных глаз.

С разгаром лета старик стал все больше и больше полагаться на Блейдона, перекладывая на него то одну, то другую работу: Блейдон был сильный и охотно все выполнял, к тому же старик поддавался соблазну погреться на солнышке. Готовил он по-прежнему почти все сам, но теперь разрешал Блейдону вместо себя ходить в лавку, и мальчик часто ходил с ним. Он рос, руки и ноги у него стали длиннее, кожа приобрела золотисто-коричневатый отлив. Исчезли последние следы младенческой бело-розовой пухлости. Ни о чем не спрашивая, он принял как должное присутствие Блейдона, привык к нему, однако был привязан не меньше прежнего и к старику, который изо дня в день продолжал о нем заботиться. Но он стал менее нервным и нерешительным, держался спокойнее, увереннее говорил, многое восприняв в этом смысле от Блейдона.

Он все еще не знал, что это его отец. Старик считал, что и не надо ему говорить,— нет, нет, еще не пришло время, они могут и дальше так жить, как сейчас.

Его успокаивало ощущение солнечного тепла на лице, запах роз, а вечерами — душистого табака, вид огненно-красных цветков фасоли, ползущих все выше и выше по подпоркам.

С самого начала он решил, что он ничего у Блейдона не будет спрашивать, будет ждать, пока тот сам не скажет. Но он молчал. Точно жизнь его началась лишь с приездом сюда. Старик гадал: может, он сидел в тюрьме или был за границей — плавал на каком-нибудь судне, хотя никаких доказательств ни того, ни другого не было. Вечерами они вместе пили пиво и изредка играли в карты, хотя чаще всего Блейдон возился в саду, а старик просто сидел, наблюдая за ним, слушая вечернюю перекличку птиц, доносившуюся с болота.

На заработанные Блейдоном деньги они купили новую одежду для мальчика, стали покупать лучшие куски мяса, и, наконец, однажды днем прибыл зеленый фургон с телевизором и двумя техниками, которые должны были установить антенну.

— Это на зиму,— сказал Блейдон.— Сейчас тебе он, может, и не нужен. Но зимой он составит тебе компанию.

— Что-то не замечал, чтобы мне его не хватало.

— Ну, все равно.

— Мне не нужны развлечения. Мы сами их себе придумываем. Всегда так делали.

— Вот увидишь, как начнешь его смотреть, пристрастишься и будешь рад, что он у тебя есть. Я же сказал — это для зимы.

Однако уже августовскими вечерами старик иной раз допоздна засиживался у телевизора и обнаружил для себя много интересного, ему открылись новые горизонты, новые миры.

— Я бы никогда этого не узнал,— говорил он.— Я ведь нигде не был. Подумать только, что всего этого я бы так никогда и не узнал.

Блейдон кивал в ответ. Сам он, казалось, мало интересовался телевизором. Он чинил ограду перед домом, делал стойки из старого дерева, которое ему дал на ферме Молдран. Теперь калитка будет плотно закрываться и не будет стучать во время зимней непогоды.

В четверг вечером — было это в конце августа — Блейдон впервые заговорил о поездке на побережье.

— Он ведь никогда там не был,— сказал он, вытирая пивную пену с верхней губы.— Он сам мне говорил. Я его спрашивал. Он никогда не был на море.

— Я делал для него все, что мог. Лишних денег у нас никогда не было. Жили как могли.

— Тебя никто не обвиняет.

— Я бы свозил его со временем. Рано или поздно.

— Конечно.

— Да уж.

— Так вот — я бы мог его свозить.

— На море?

— Да, на побережье.

— На один день? Это ведь довольно далеко.

— Дня на два, я думал. На конец недели.

Старик молчал. Но мальчик действительно нигде не был и, возможно, переживал из-за этого, возможно, в школе ребята рассказывали о том, куда они ездили и что видели, хвастались перед ним; и если это так, то надо его свозить к морю,— пусть ездит, ничего не упускает, он не должен чувствовать себя обделенным.

— Всего денечка на два. Мы уедем рано утром в субботу и вернемся в понедельник. Я мог бы отпроситься на ферме.

Он пробыл здесь три месяца и ни разу не пропустил ни одного рабочего дня.

— Поступай как знаешь.

— Я не уехал бы, не спросив тебя.

— Для мальчика это будет только хорошо. В таком возрасте дети впитывают все как губка. И к тому же — пусть развлечется.

— Конечно.

— Поезжай. Это будет хорошо.

— Я пока ему еще не говорил.

— Ну, так скажи.

Когда он сказал, лицо мальчика расплылось от удовольствия, он нервно облизывал губы в возбуждении, уже подсчитывая, когда наступит время ехать. Старик поднялся наверх и отобрал для него одежду, тщательно все выстирал и повесил сушиться на веревке — он уже сам жил предвкушением этой поездки. Он правильно решил. Мальчик должен поехать.

И все же ему было страшно. Они никогда прежде не разлучались. Он не мог представить себе, как это будет, как он будет спать один в доме, а потом начал представлять себе всевозможные несчастные случаи. Блейдон не предложил ему поехать с ними. Да он и не хотел. Он вдруг почувствовал себя слишком усталым, чтобы

куда-то ехать, видеть чужие места, чужих людей — ему хотелось сидеть на солнышке и считать часы и минуты, когда они вернутся.

Он привык к мысли, что Блейдон останется здесь,— зима его больше не пугала. Какими далекими казались дни, когда он был один с мальчиком.

В субботу утром они вышли очень рано, еще до того, как солнце пробилось сквозь толщу тумана, низко висевшего над болотами. В утреннем воздухе каждый звук был отчетлив и чист,— старик слышал их шаги, шуршанье их ног по траве еще долго после того, как они скрылись из виду. У мальчика за плечами висел свой собственный рюкзак, новенький, только что купленный в деревне. Он стоял очень прямо, глаза его блестели — он уже рисовал себе в мыслях то, что они увидят, что будут делать.

Старик вернулся на кухню и снова поставил чайник, заварил свежего чая и стал думать, чем заполнить время в их отсутствие. Он найдет себе дело — приберет в спальнях, просмотрит одежду мальчика и отложит то, что нуждается в починке, почистит ножи и вилки, выстирает занавески, сходит в деревню за продуктами, испечет торт и пирог к их возвращению, приготовит тушеное мясо.

Словом, в первый день, в субботу, у него совсем не было времени думать о них, заметить их отсутствие, к вечеру все тело его ныло, после еды, опьяневший от усталости, он лишь немного посидел во дворе и в воскресенье утром проснулся позже обычного.

Вот тут он почувствовал молчание и пустоту дома. Бесцельно бродил он из комнаты в комнату, разбудил котенка и подразнил его перышком, чтобы котенок поиграл с ним, отвлек его от мыслей об одиночестве. Когда котенок снова заснул, он вышел из дому и долго бродил по безмолвному, жаркому болоту. Вода между кущами тростника обмелела, а кое-где и вовсе высохла, обнажив темный, зеленовато-бурый ил. Тростники обычно сухо шуршали, сейчас в них царило безмолвие. Теперь, в конце этого длинного, длинного лета он чувствовал себя таким же высохшим, как и земля вокруг. Пот градом катился по его сгорбленной спине.

Он так долго ходил по болотам, чтобы измучить себя, устать, однако ночью он спал плохо, его преследовали кошмары, он просыпался с бьющимся сердцем, вертелся с боку на бок, не находя себе места под простынями. Ничего, завтра уже можно будет считать часы и минуты, оставшиеся до их возвращения.

Он встал с таким ощущением, словно бы и не ложился — лицо опухло, перед глазами все расплывалось. Тем не менее он принялся возиться у плиты — начал готовить, чтобы как следует их встретить. Весь день он даже не присел поесть, и хотя голова и спина у него раскалывались от боли, он продолжал хлопотать на кухне.

Когда в понедельник к ночи они не вернулись, он не пошел ни в деревню, ни на ферму Молдрана, не стал сообщать в полицию или обзванивать больницы. Он знал.

Всю ночь просидел он на стуле во дворе, чувствуя, как тишина давит ему на барабанные перепонки. Несколько раз голова его падала на грудь, он засыпал и, вздрогнув, тут же просыпался, ерзал на стуле и снова застывал в неподвижности.

Они же не все с собой забрали, думал он,— осталась и одежда, и игрушки, и книги, они наверняка собирались вернуться. Но он знал, что они не вернутся. Игрушки и одежду можно где угодно купить.

Прошла неделя, и лето незаметно перешло в осень, словно перемешала карты в колоде; листья на деревьях пожелтели и сморщились по краям.

Старик не выходил из дому и почти ничего не ел, только заваривал чай и пил.

Он не винил Гилберта Блейдона,— он винил себя за то, что думал удержать мальчика, строил планы на будущее. Когда отец объявился, надо бы сразу догадаться, чего он хочет, надо бы сказать: «Увози его, увози хоть сейчас», чтобы не пришлось ему делать это украдкой, обманом. Однако ночами его больше всего беспокоило, как это повлияет на мальчика — ведь он приучен к чистоте и порядку, старик следил за тем, чтобы он до конца съедал всю еду, положенную на тарелку, хорошо учился. Будь у него адрес, он послал бы подробный распорядок дня мальчика, написал бы, как он привык жить.

Старик ждал — вот придет письмо. Но оно не приходило. Груши в саду клонились под тяжестью спелых, темных плодов; через какое-то время они стали падать, мягко шлепаясь в высокую траву. Он не подбирал их, не таскал на чердак,— пусть лежат там, где упали, а их сладкая мякоть служит пищей для ос и гусениц. Впрочем, иногда он все же поднимал грушу и съедал — он не одобрял расточительства.

Он продолжал содержать комнату мальчика в порядке. Одежда его лежала аккуратно сложенная в ящиках, книги стояли в ряд на полке — все ждало его возвращения. Но за остальным домом он уже не следил — по углам начала скапливаться пыль, пух серыми комьями лежал под кроватями. Когда в октябре пошли первые дожди, мокрое пятно на стене ванной покрылось плесенью.

Раза два заглядывал Молдран, но ответа на свои вопросы не получил. В деревне женщины шептались между собой. Октябрь прошел в туманах, с мелким моросящим дождем, и когда Молдран пришел в следующий раз, старик не открыл дверь. Молдран подождал, заглянул в окна, загородившись рукой от света, и в конце концов ушел, оставив яйца на заднем крыльце.

С каждым днем старик вставал все позже, а ложился все раньше на смятые нестираные простыни. Сначала вечерами он включал телевизор и сидел, уставившись на экран, но потом и телевизор перестал интересовать его — он просто сидел на кухне, пока не наступала темнота. В мокром саду падали на землю последние плоды да так и оставались там лежать. Наступила зима.

В маленькой городской квартирке Блейдон поставил на стол тарелки, нарезал хлеб и открыл консервы, налил в кастрюлю молоко.

— Вымой руки,— сказал он. Но мальчик был уже у раковины — он послушно намыливал руки розовым мылом и думал о том, что дадут ему сегодня к чаю.

Переводы И. ЯКУШКИНОЙ

Мистер Прудем и мистер Слейт

В тот вечер я увидела мистера Прудема и мистера Слейта впервые. Я отправилась было погулять по набережной, но дождь со снегом и северо-восточный ветер вскоре загнали меня назад, в высокий эдвардианский дом начала века, где я снимала квартиру. Я решила приехать сюда в самое суровое время года отчасти потому, что получала тайное удовлетворение от своей выносливости, но главное — чтобы мне не мешали. В квартире не было телефона.

Небо было серое, с красноватым отливом. Две или три женщины отважились выйти на улицу наскоро прогулять собак. На них были длинные твидовые пальто, надетые на шерстяные кофты, ботинки на меховой подкладке, что было весьма кстати, и шарфы, повязанные так, что закрывали рот и нос. На меня они не смотрели.

Но когда я отворила калитку, из дома на меня смотрели мистер Прудем и мистер Слейт. Начинало темнеть, но света в их окне на нижнем этаже не было. Они стояли рядом — призрачные, фантастические фигуры. В последующие дни мне часто приходилось видеть их все в той же позе — мистера Прудема, необычайно высокого и болезненно бледного, с маленькой головой и желтоватой нездоровой кожей, и мистера Слейта, в котором было метра полтора, с добрым и круглым, но глуповатым лицом. Он был лысый, а у мистера Прудема были грязно-белые, довольно длинные волосы.

Я остановилась в нерешительности, держа руку на задвижке. Они стояли и смотрели. Они не скрывали своего любопытства, и у них не было тюлевой занавески, за которой можно было бы укрыться. Но лица их были странным образом лишены всякого выражения. Дождь со снегом перешел в град. Я быстро вошла в палисадник. Мистер Прудем и мистер Слейт продолжали наблюдать за мной, пока я не поднялась на крыльцо и не исчезла из виду.

Прошла целая неделя, прежде чем они представились мне,— вернее, прежде чем мистер Прудем представил их обоих, ибо маленький мистер Слейт только кивал, лучезарно улыбался, прищелкивал вставными зубами, но почти ничего не говорил. Все его разговоры сводились к перешептыванию с мистером Прудемом.

Они наблюдали за мной всякий раз, как я выходила из дома. А я начала исподтишка наблюдать за ними. У них была собака — огромный, черный, как сажа, пудель, постриженный не совсем обычно: туловище его до самого хвоста опоясывали горизонтальные полосы, и издали он казался полосатым — черный с серым. Поводок всегда держал мистер Прудем, а мистер Слейт семенил рядом, в ногу с собакой.

Они выходили на прогулку три раза в день — в десять, в два и в шесть. Кроме того, каждое утро, в одиннадцать, мистер Прудем шел за покупками с желтовато-зеленой матерчатой сумкой в руке. Как раз в магазине Кокса я впервые и столкнулась с ним лицом к лицу. Он покупал пастернак, а я стояла в конце очереди и потому могла рассмотреть его. Он оказался гораздо старше, чем я думала; тяжелые веки опускались книзу в уголках глаз, и еще я заметила, что во рту у него полно зубов. На седых волосах он носил странный шерстяной берет вроде тех, что носят во Франции продавцы лука, только с помпоном на макушке. Направившись к выходу, он заметил меня. Остановился Потом, как будто тщательно обдумав ситуацию, поклонился и поднял руку. Я было подумала, что он сейчас снимет беретик. Но он лишь помахал рукою в воздухе.

— Доброе утро,— сказала я.

Однако в тот раз он не ответил.

Позже, работая за своим столом у окна, я увидела часа в два, как они идут к калитке на прогулку. Был один из тех пасмурных, частых на восточном побережье дней, когда солнце не показывается совсем. Мистер Прудем и мистер Слейт были оба в пестрых вязаных шарфах, которые болтались у них за спиной, как бывает у детей или у студентов. На голове у мистера Прудема был все тот же шерстяной берет. Дойдя до калитки, они обернулись и посмотрели вверх, на мое окно. Их, казалось, ничуть не смущало, что я сидела и тоже смотрела на них. Они стояли так секунд десять, но мне показа-

лось — гораздо дольше, и я едва не помахала им рукой, чтобы сгладить неловкость. Но потом все же удержалась, и они в конце концов ушли.

В тот вечер мистер Прудем заговорил со мной. Я вышла из дома, чтобы отправить письмо. Снова похолодало, при дыхании изо рта вырывались клубы пара, и море искрилось от льдистого воздуха. Было довольно темно. Идя по узкому проходу между двумя домами, который вел от Главной улицы к набережной, я увидела их в нескольких метрах от себя. Пудель деловито обнюхивал со всех сторон бетонную тумбу. Они, должно быть, сговорились заранее и словно только и ждали этой минуты, потому что мистер Прудем шагнул мне навстречу и сказал:

— Меня зовут мистер Прудем, а это мистер Слейт. Добрый вечер.

Чрезвычайно торжественная речь, хоть и маленькая. У мистера Прудема был довольно высокий голос, а зубов, крепких и длинных, у него было еще больше, чем мне показалось тогда. Мы пожали друг другу руки, и пес, отвлекшись от тумбы, принялся обнюхивать меня.

— Надеемся, вам удобно в вашей квартире? Надеемся, у вас есть все, что нужно?..

Да, ответила я, мне очень удобно. И посмотрела на мистера Слейта, который сразу покраснел, бросил взгляд на мистера Прудема, потом отвел глаза и уставился на пуделя. Он ничего не сказал, хотя мне показалось по движению его губ, что, возможно, ему и хотелось.

— Надеемся, вы и не ожидали лучшей погоды. Увы, в конце ноября лучше здесь не бывает...

Я ответила, что обо всем знала заранее.

— Ну да. Понимаю, понимаю.

Он вдруг дернул пса за поводок и коснулся плеча мистера Слейта. Тот вздрогнул, глаза его снова забегали. Он улыбался в пространство.

— Боюсь, здесь не очень-то много развлечений,— заметил мистер Прудем. Они уже удалялись, и потому, когда он повторил фразу, ветер унес его слова в море.

— Нет развлечений...

— До свидания,— сказала я.

Но они уже не слышали меня. Я смотрела на две уходящие фигуры — одну высокую и худую, другую коротенькую и толстую; яркие шарфы болтались у них за спиной, как косички у школьниц. Полосатый пес рвал поводок, тащил за собой мистера Прудема. Я улыбнулась. Но было в них что-то совсем не смешное.

У входной двери я прочла рядом с кнопкой звонка их имена. Там значилось: «Прудем и Слейт», точно адвокатская фирма. Без инициалов. Прудем и Слейт.

Я задернула занавески и включила электрический камин, собираясь поработать еще часа два перед ужином. Немного позже я услышала, как они вернулись, осторожно открыли и притворили за собой дверь. Они были очень тихие, эти мистер Прудем и мистер Слейт; казалось, у них не было ни телевизора, ни приемника, они даже не переговаривались из комнаты в комнату, как это бывает с людьми, живущими вместе. Большую часть времени на нижнем этаже было так тихо, точно там и не жили.

Работала я много — никто мне не мешал, но оставалось время и для прогулок — по пляжу и по бульвару, тянувшемуся вдоль берега от южной окраины городка, где я жила, до волнореза в самой северной его точке. Там как раз и находились немногочисленные прибежища для желающих развлечься. Большинство из них на это время года закрывалось, но мне нравилось бродить мимо закутанных в парусину электрических автомобильчиков и закрытых ставнями стендов с призами, мне нравились слепящие огни ничем не прикрытых лампочек, облезлая краска и вообще весь этот дешевый шик. Еще там был открытый плавательный бассейн со спущенной на зиму водой, куда штормовые волны нанесли немало песку и ила. Поблизости было кафе и павильон с игральными автоматами под названием «Мир чудес». Они были открыты.

Меня так и тянуло к этому павильону. Его особый запах звал меня спуститься по крутой бетонной лестнице. Зал находился под землей. в своеобразном ущелье между подножиями двух скал, а ребристая стеклянная крыша делала его похожим на вокзал, построенный во времена королевы Виктории, или на оранжерею. Стены зала покрывал зеленоватый мох, в нем было душно, пахло сыростью, плесенью, и хотя зал был залит неоновым светом, он все же казался темным, жутковатым и запущенным. Здесь тоже работали не все аттракционы; да и те, что продолжали действовать, приносили, наверное, одни убытки — кроме, пожалуй, редких дней, когда на побережье приезжали, наперекор погоде, туристы и некоторые из них забегали погреться в этот подземный увеселительный дворец. Тогда на несколько часов оживали лотерейные автоматы, силомеры, машины, предсказывающие судьбу, из тира доносился треск выстрелов, играла шарманка, веселье лилось через край. На остальное время павильон поступал в распоряжение немногочисленных безработных и подростков, которые жевали резинку и без конца стреляли холостыми патронами по летящим уточкам-мишеням. После четырех сюда приходили еще и школьники. В дальнем конце зала была площадка для катания на роликах, и субботними вечерами там собиралась изрядная толпа.

Мне нравилось это невеселое, невзрачное место, нравилась его атмосфера. Иногда я опускала монету в лотерейный автомат или наблюдала в кинетоскопе, как дворецкий подглядывает в замочную скважину за своей хозяйкой. Другое зрелище было постраш-

нее: осужденного на казнь вели на помост, надевали на голову мешок, петлю, затем под ним внезапно открывался люк, и он падал вниз, навстречу своей смерти. Я наблюдала эту картину так часто, что, даже уехав из того городка, еще долго видела ее в ночных кошмарах и ощущала тяжелый запах подземелья.

Как-то в четверг, в середине дня, я встретила в «Мире чудес» мистера Прудема. Он был один и играл на автомате в футбол. Автомат глотал монету, на поле тотчас появлялся мяч, и надо было, передвигая фигурки рычагами, забивать голы и не давать мячу укатиться назад, в машину. Мистер Прудем весь ушел в игру, склонившись над полем и энергично действуя рычагами. На нем, как всегда, был берет с помпоном и серый макинтош. Я видела, как он трижды промазал по воротам, а на четвертый раз попал. Он выпрямился и взял с лотка монету, возвращенную автоматом.

— Неплохо! — сказала я.

Он обернулся, и на миг мне показалось, что он сейчас ускользнет, притворившись, что не узнал меня. Но вместо этого он улыбнулся, показав все свои зубы. Я только хотела спросить, часто ли он здесь бывает, как мистер Прудем сказал:

— По четвергам мистер Слейт отправляется в клинику, а я иду сюда, чтобы, знаете ли, скоротать время, пока он не вернется. Надо же как-то коротать время.

Я выразила надежду, что мистер Слейт болен не очень серьезно. Мистер Прудем наклонился немного и сказал, понизив голос:

— У него, видите ли, сеанс массажа. Ему назначен массаж.

Мне не хотелось вникать в подробности, и я только было собралась под каким-нибудь предлогом оставить мистера Прудема — вполне возможно, что он чувствовал себя неловко, застигнутый в таком месте,— как он с каким-то странным, вкрадчивым выражением лица пригласил меня выпить чаю.

— Здесь есть чистенькое кафе, прямо у бассейна, и у них вполне сносный чай. Когда мистер Слейт в клинике, я всегда хожу в это кафе. Помогает скоротать время. Мне, знаете ли, нравится придумывать себе занятия. Да.

Мы вместе поднялись из сырого полупустого подвала. Кафе у бассейна оказалось тоже полупустым; стены его были выложены майоликой, и пахло там дешевым чаем.

Пока мы садились за стол, я думала, о чем же мне говорить с мистером Прудемом, но я зря беспокоилась: он сам начал расспрашивать, над чем я работаю, как живу в Лондоне, интересовался самим Лондоном, точно хотел отвлечь внимание от своей персоны. Он не задавал слишком интимных вопросов, не старался узнать подробностей — я отвечала обстоятельно и все же излишне не откровенничала. Мистер Прудем слушал, время от времени улыбался, обнажая в улыбке зубы Чай разливал он. Я заметила, что глаза у него воспалены, а желтоватые щеки испещрены лопнувшими сосудиками. Сколько ему было лет? Семьдесят? Может, и нет, а может, немного больше — трудно решить.

— Взгляните, там сзади фотография моей матери,— вдруг сказал он.

Я обернулась. На стене висел старый, в дубовой рамке снимок, изображавший ступенчатые подмостки,— их все разрушили во время войны. По краю эстрады стояли цветы, в основном гортензии, над нею был натянут тент с кисточками. На эстраде сидел женский оркестр. Все дамы были в белых свисавших складками до пола платьях, похожих на греческие туники. С венками на голове, они смотрели в аппарат пустыми широко раскрытыми грустными глазами.

— Моя мама была у них дирижером,— сказал мистер Прудем.

И действительно, в середине группы сидела большегрудая, очень кудрявая женщина — она сжимала в руке дирижерскую палочку, словно та была волшебной.

Я сказала, что все это очень интересно.

— Она умерла в тридцать седьмом году,— сказал мистер Прудем.— А я никогда не отличался музыкальными способностями, и это ее так печалило.

— Значит, вы всю жизнь провели здесь.

Мистер Прудем наклонил голову. Потом, словно испугавшись того, что слишком разоткровенничался, весело взглянул на меня и сказал, потирая руки:

— Надеюсь, вы не считаете, что талант передается по наследству?..

Мы просидели в кафе у бассейна почти до пяти, когда мистер Прудем, спохватившись, вдруг вскочил и принялся быстро натягивать перчатки и наматывать шарф, ибо мистер Слейт, должно быть, уже вернулся из клиники и ждет его дома.

— Я всегда стараюсь быть к его приходу на месте,— говорил мистер Прудем,— и считаю, что это очень важно, правда? Быть на месте. Я всегда поджидаю его.

Мы обменялись рукопожатием через покрытый зеленым пластиком столик, как будто один из нас уезжал в путешествие, и он убежал.

После этого я почти каждый день встречала их вдвоем — мистер Прудем всегда заговаривал со мной, а мистер Слейт улыбался и робел. Раза два я наткнулась на мистера Прудема, когда он был один, но мистер Слейт никуда один не ходил. Он казался мне глуповатым человеком, не способным самостоятельно общаться с окружающим миром. По четвергам к дому подъезжало такси и увозило его в «клинику». Вскоре после этого мистер Прудем выходил из дома и шел в сторону «Мира чудес» и кафе у бассейна.

За неделю до рождества они прислали мне приглашение. Я гуляла под снегом вдоль пляжа, а когда вернулась, нашла под дверью конверт.

«Не соблаговолите ли прийти к нам выпить чаю в следующую субботу? Если да, то будем очень ждать Вас в 4.30 пополудни».

Записка была написана на кремовой бумаге аккуратным детским почерком. Я ответила им так же — просунув под дверь свою визитную карточку, пока они ходили на шестичасовую прогулку. Я приняла приглашение, потому что успела заинтересоваться ими, и мне хотелось посмотреть, как они живут. Мне было немного жаль двух одиноких стариков, у которых никогда не бывало гостей.

В то субботнее утро мистер Прудем выходил за покупками дважды и оба раза возвращался с наполненной доверху сумкой. Я надела красное платье и пожалела, что у меня нет для них какого-нибудь подарка.

Дверь мне открыл мистер Прудем. На нем был канареечного цвета жилет, яркая клетчатая рубашка и галстук под стать. Мистер Слейт ждал нас в гостиной; его лысая голова была почти невидимой на фоне ярко-оранжевого свитера. Мы представляли собой живописное зрелище, стоя втроем посреди комнаты и не зная, что делать. Было удушающе жарко: топился камин, и три батареи работали на полную мощность.

— Садитесь, пожалуйста, прошу вас.

Я выбрала стул подальше от огня, и какое-то время мистер Прудем и мистер Слейт стояли передо мной с сияющими от гордости лицами. Они, наверное, еще никого не приглашали к чаю.

Мистер Прудем сказал наконец «Ах!», и этот негромкий вздох выражал его удовлетворение, как будто он был фотографом и ему удалось красиво рассадить снимающихся. «Ах!» — сказал он и, взглянув на мистера Слейта, закивал, улыбнулся и протянул ко мне руку. Мистер Слейт тоже улыбнулся, потом я — и жаркая комната наполнилась радушием и взаимным расположением.

Они как будто ждали к чаю ораву школьников. Чего только не было на столе — белый и ржаной хлеб, масло, оладьи, тосты, изысканные сладости — мед, джем из плодов дикой яблони, фруктовый сахар, кекс с цукатами и орехами, шоколадные пирожные, эклеры, безе, песочные коржики. Я ела изо всех сил, но мистер Прудем и мистер Слейт ели еще больше — одно пирожное за другим — и чашками пили сладкий чай. Разговор постепенно замер. Пудель наблюдал за нами из другого угла комнаты. Я гадала, что мы станем делать после чая, и мне приходила мысль, что мистер Слейт, может быть, глух.

Они приобрели или унаследовали прекрасную мебель: гарнитур чиппендейловских стульев, дубовый столик начала XVII века; в серванте стоял дербийский фарфор. Персидский ковер, акварели Котмена и Биркетта Фостера на стенах. В нише у окна стоял огромный панцирь какой-то тропической рыбы, а в другом углу висела клетка с попугаем, который сидел так безмолвно и неподвижно, что его можно было принять за чучело.

Наконец мистер Прудем стер фиолетовым платком крошки безе, приставшие к губам, и сказал: «А мистер Слейт собирается вам кое-что показать». Он промолвил это тоном матери, которая хочет похвастать рисунком или поделкой своего ребенка. Мистер Слейт несмело кашлянул.

Я никак не ожидала увидеть здесь что-либо подобное. Мистер Слейт, слегка волнуясь, провел меня по короткому коридору до тяжелого, расшитого бисером занавеса. Он приоткрыл его, пропуская меня вперед, мы вошли, и занавес упал с мягким треском. Мистер Прудем держался сзади.

— Это владения мистера Слейта. Я тут не хозяин. Здесь все принадлежит ему.

В комнате было темновато, несмотря на два светильника, укрепленных на стене, над длинным рабочим столом. По всем стенам шли полки, а на них, как и на подоконнике и на нескольких столиках поменьше, рядами стояли восковые фигуры. Они были чуть больше обычных кукол, так же неестественно красивы, но сделаны гораздо тщательнее.

Мистер Слейт стоял рядом, его взгляд метался по комнате, иногда останавливаясь на мне, словно он пытался понять, что я об этом думаю. Я подошла к столу и увидела две еще не оконченные фигуры, эмалированные тазики с воском, резиновые формочки и туловища из папье-маше, маленькие резцы и аккуратные пучки волос. Пока я осматривалась, на меня глядели улыбающиеся неподвижные лица мистера Прудема и мистера Слейта, похожих на две большие, ярко одетые восковые фигуры.

— Ну? Ну? — сказал мистер Прудем, поправляя узел галстука.

— И он...— начала было я, но тут же поправилась: — И вы все это делаете сами?

Мистер Слейт покраснел и кивнул, тут же переведя взгляд на мистера Прудема в ожидании подтверждения.

— О да, конечно, я тут абсолютно ни при чем. У меня никогда бы такого не вышло, и даже помочь я бы не сумел — это все мистер Слейт, только он.

Среди фигур были причудливые персонажи японского театра «Но» и сказок братьев Гримм, африканские вожди с боевой раскраской, звериные морды венчали человеческие тела. Фигуры Панча и его подруги Джуди производили отталкивающее впечатление. И среди всего этого — знакомые, в обычных одеждах люди, в которых я с содроганием узнала копии фигур из «комнаты ужасов» лондонского музея восковых фигур — Криппена, Хейга и Кристи. Все одежды — до последней пуговицы, шнурка и запонки — были абсолютно как настоящие.

— Превосходная работа,— сказала я.

— Мы, знаете ли, их не продаем,— сказал мистер Прудем.— Мы этим занимаемся не ради денег, а так — ради искусства, для удовольствия, если хотите. Мистер Слейт уединяется здесь и работает целыми днями. Но мы не коммерсанты.

В комнате пахло горелыми спичками и остывшим воском — как в церкви, когда задуют свечи. Я подумала, не собирается ли мистер Слейт постепенно заполнить всю и без того заставленную комнату своими полками с фигурами. Они как-то странно волновали, были такими живыми и в то же время совершенно мертвыми. Мне захотелось уйти.

Позже, когда я благодарила их за чай, мистер Слейт исчез и тут же прибежал назад с одной из своих кукол. Лицо его сильно порозовело.

— А теперь,— сказал мистер Прудем, хлопнув в ладоши,— позвольте вам вручить!..

Мистер Слейт совал мне в руки куклу — придворную китаянку с крохотными ручками; башмачки на ее ногах были расшиты бисером. На ней было кимоно из золотой парчи и пояс, вышитый стайками крошечных бабочек и шмелей.

— Извольте принять!..

Я была тронута добротой мистера Слейта, его безмолвно сияющим лицом. Но мне было неприятно держать в руках эту жесткую и холодную куклу. Я понимала, что он проявил щедрость. Но лучше бы он этого не делал.

Я уже подошла к своей двери, когда меня догнал мистер Прудем. Он немного задыхался, и его встревоженное лицо вдруг показалось мне очень старым.

— Я хотел сказать — понимаете ли, мистер Слейт так редко привязывается к людям, он тут никого не знает, он... Вы ведь не выбросите ее, правда? Она вам нравится? Он никогда их не дарит, никогда раньше не дарил. Вы сбережете ее, правда?

Я заверила его как только могла. Войдя к себе, я рассмотрела куклу получше. Искусство, с которым она была сделана, вызывало восхищение. Я представила, как бледные толстые пальцы мистера Слейта отливают воск, вышивают. Мне казалось, что я так и не слышала его голоса — только кивки, и улыбки, и беспокойные взгляды. Я поставила восковую куклу на камин.

В сочельник шел снег. Волны прилива заливали берег, и стояла самая морозная пора зимы. В середине ночи я проснулась от звука голосов. Легла я совсем недавно — засиделась допоздна. Было, наверное, около часа ночи. Мистер Прудем и мистер Слейт ссорились. Еще ребенком, живя с несчастливыми, совершенно непонимавшими друг друга родителями, я привыкла слышать из соседней комнаты ожесточенные споры, и сейчас, вспомнив свои тогдашние страдания и страхи, я захотела помирить их, прекратить это. Голоса не унимались. Хлопнула дверь, потом другая.

Я заснула после двух, а в шестом часу проснулась. Голоса умолкли. В комнате стоял ужасный холод. Я встала и подошла к окну. Было полнолуние, на берегу бледно отсвечивала галька, море было совсем спокойным. В окне нижнего этажа горел свет, падая в небольшой палисадник у дома. Я долго стояла и смотрела вниз, пока не продрогла окончательно и не пошла искать еще одно одеяло. Весь мир, кроме меня, казалось, спал. Все-таки это был тихий дом; квартиру на третьем этаже заперли на зиму. Я думала о комнатке мистера Слейта за тяжелым занавесом, о рядах восковых фигур. Потом кое-как заснула.

Утром на рождество я ушла из дома рано и, проведя день с друзьями в другом городе, вернулась за полночь. На нижнем этаже царил мрак, все шторы были задернуты. В ту ночь я спала, не просыпаясь.

Наутро началась оттепель. Почти весь день я работала, наблюдая в окно, как дождь соединял небо и море в одно целое, и целое это было свинцово-серым. В одиннадцать и в два мистер Прудем выходил один, сопровождаемый лишь пуделем, а в шесть показался мистер Слейт, закутанный в доходивший до пят дождевик. Ни тот, ни другой на мое окно не смотрели. Я подивилась таким переменам в заведенном порядке.

Дождь шел всю ночь, хлеща в оконные стекла и шумя в водосточных трубах. Я впервые ощутила себя одинокой, стала скучать по Лондону, где всегда можно к кому-то пойти, чем-то заняться, где улицы всегда светятся огнями и полны людей. Я стала уставать от непрерывно катящихся серых волн и крика чаек. Словом, я была рада любому обществу, и когда на следующий вечер в мою дверь постучал мистер Прудем, я предложила ему сходить за своим другом, чтобы весело провести время и что-нибудь выпить.

Мистер Прудем стоял на пороге, нервно перебирая руками в карманах длинного бежевого джемпера. Он выглядел больным: лицо было желтее обычного, под глазами появились темные круги. Он был не причесан; сорочка, расстегнутая у ворота, не отличалась особой чистотой. Раньше я всегда замечала, что он следил за собой.

— Что-нибудь случилось, мистер Прудем? — спросила я.

— Нет-нет, пожалуй, нет — пожалуй... Мне очень жаль, спасибо, но я не могу привести мистера Слейта, потому что он ушел...

Он нервно кусал нижнюю губу.

— Я, конечно, не должен был приходить, при чем здесь вы, откуда вы можете знать, что произошло...

— Куда же ушел мистер Слейт?

— Если бы я знал...

Тут он вздрогнул, как будто обнаружил, что сзади него кто-то есть. Я настояла, чтобы он вошел. При ярком свете он выглядел еще более страдающим и больным.

— Это, знаете ли, не впервые, это уже бывало.

Волны снаружи с грохотом ударяли о берег, покрытый галькой, а потом с шипением уползали назад, в темноту.

— Он не совсем здоров, вот в чем дело, он никуда не может ходить один. Он совсем нездоров.

Мне хотелось спросить — физически или умственно, но я не решилась.

— Мы... в общем, повздорили, видите ли, я погорячился. Это долгая история... Потом вроде бы все улеглось, мы помирились. Но он трудный человек, я никогда, видите ли, не могу быть уверен... Он так мало говорит — да вы, наверное, заметили. И вот сегодня он снова исчез. И как же теперь он будет, в такую погоду?.. Я все думал — может, вы что-нибудь слышали? Или видели? Я весь город обошел, всех расспросил. Может, вы...

Я, конечно, ничего не видела и не слышала, о чем и сказала ему.

— Да, конечно, вы не знаете. Откуда вам знать.

— Может, он пошел к друзьям? Вы не пытались звонить родственникам?

— У него нет родственников. Никого нет.

— Он что-нибудь взял с собой — одежду, чемодан?

— Ничего. Но он нездоров, у него бывают приступы, он не сможет один.

Его лицо сморщилось, губы искривились, и я подумала, что он заплачет.

— Я опять пойду искать его. Что же еще делать. Буду искать, пока не найду.

У двери он обернулся и отвесил небольшой официальный поклон — как в тот раз, когда впервые здоровался со мной.

— Может, я помогу вам? Хотите, пойдем вместе?

— Нет, лучше я один.

Я смотрела, как он спускался по лестнице.

Следующие пять дней были ужасны для мистера Прудема — он метался по пляжам и улицам маленького унылого городка, без конца звоня в больницы, в полицию, да и для меня — я не могла помочь ему, не могла даже лишний раз спросить, как идут поиски, оставалось только ждать. Дождь не переставал, прилив дважды вырывался за барьер набережной и заливал палисадник. Выходя с собакой, мистер Прудем надевал высокие сапоги. Я пыталась работать — и не могла. Все время смотрела на восковую куклу.

И вот однажды вечером, как раз около шести, когда я задергивала шторы, отгораживаясь от холодной, сырой ночи, я услышала на лестнице быстрые шаги, а потом настойчивый звонок в дверь.

— Он нашелся! — В глазах мистера Прудема от волнения стояли слезы, он сжимал и разжимал пальцы.— Он нашелся! Он был очень болен и сейчас еще очень болен, он так далеко ушел и на автобусе ехал... а сейчас в больнице. Но он не утонул, он жив, я был уверен, что он не выживет, а он жив!

Я была счастлива, о чем и сказала мистеру Прудему. Он простоял на пороге несколько минут, от облегчения став разговорчивым:

— Я должен поехать к нему, я думал — вот только сообщу вам, а теперь я должен все приготовить, потому что они наверняка скоро отпустят его домой.

Но «они» не отпускали мистера Слейта еще три недели. Он, наверное, был болен серьезнее, чем показалось вначале. Мистер Прудем ездил к нему каждый день и каждый вечер заходил ко мне, сообщая, что его друг поправляется. При этом я чувствовала, что он чего-то недоговаривает. Раз или два я пригласила его поесть, потому что он не привык управляться с хозяйством в одиночку.

— У нас ведь, знаете ли, готовит и следит за чистотой мистер Слейт. Только он это и может.

Я была удивлена — их содружество, казалось, основывалось на проворстве и расторопности словоохотливого мистера Прудема.

Я так и не поняла его до конца, хотя разговаривали мы часто. Он рассказывал мне разные случаи из прошлого, о своем детстве, как он жил с матерью в театральных пансионах, о женском оркестре. И хотя мне были известны отдельные факты, я чувствовала, как он скрывал от меня все, что касалось его самого, его чувств и убеждений. Он изрекал сухие старомодные фразы — и только. О своей жизни с мистером Слейтом он не рассказывал ничего, кроме того, что они живут вместе больше двадцати лет.

Накануне того дня, когда должен был вернуться мистер Слейт, я предложила мистеру Прудему помочь с уборкой. Он казался обиженным и задетым, он даже слышать не желал об этом, и мне стало неловко. Я не хотела показаться любопытной или назойливой.

— Я сделаю это сам, и с удовольствием,— заявил он решительно.— В конце концов, это мелочь, которую я обязан сделать, чтобы достойно встретить его дома.

Я поняла. Весь день я прислушивалась к звукам уборки, видела, как мистер Пру-

дем, повязавшись розовато-лиловым клеенчатым передником, стряхивал в окно щетку, которой подметал полы, и выколачивал ковры. Пудель ходил только что стриженный, и в тех полосах, где шерсть была выстрижена, виднелась коричневато-розовая кожа, а между ушей у него был завязан красный бант.

Мистера Слейта привезли домой на машине «скорой помощи». Едва увидев, как его, закутанного в одеяло, катят по дорожке в инвалидном кресле, я поняла, что дело совсем плохо. Он, казалось, уменьшился в размерах, съежился, кожа везде висела складками, глаза дико светились на обострившемся лице. Кисти рук, покоившихся на мягких подлокотниках кресла, были белые, как когти. Мистер Прудем в канареечном жилете суетился вокруг и улыбался, улыбался.

Я собиралась подождать день-два, пока мистер Слейт снова не привыкнет к дому, а потом снести ему фрукты и журналы — вряд ли он мог ждать других гостей. Но на следующее утро я столкнулась у входа в дом с мистером Прудемом. Он выглядел усталым.

— Если вы интересуетесь... если вы собирались зайти к мистеру Слейту...

Я поделилась с ним своими планами.

— Нет-нет, уверяю вас, лучше не надо. Вы очень добры, но видите ли... теперь у нас не так, как раньше, мистер Слейт... немного переменился, ему нельзя принимать гостей, он может не узнать вас... Он стал беспокойным. У него был шок. Он скитался без пищи, в такой одежде... Я в самом деле считаю...

Я перебила его, видя, как ему неловко, и сказала, что, конечно же, все понимаю и ни в коем случае не хочу причинять ему или мистеру Слейту какое-либо беспокойство. На лице мистера Прудема появилось облегчение, но в его воспаленных глазах все еще таилась тревога, страх, он беспокойно переступал с ноги на ногу. «Спасибо, спасибо»,— проговорил он и вошел к себе, быстро захлопнув дверь.

Теперь в его ежедневных прогулках и походах за покупками с ним рядом была только собака. Мистер Прудем стал совсем бледным, изможденным, у него был неопрятный, даже неряшливый вид. Я то и дело с беспокойством вспоминала о нем — о них обоих, таких заброшенных и беспомощных. Стояла жестокая зима, каких тут не бывало много лет, снег и мороз обосновались прочно, и даже в начале марта не было признаков оттепели.

Моя работа подходила к концу, и я уже подумывала распрощаться с этим местом. За последнее время у меня не раз возникало ясное ощущение, что у мистера Прудема и мистера Слейта не все ладно. Несколько раз я слышала громкие голоса, а иногда глухие удары, как будто кто-то колотил палкой по полу.

Однажды я возвращалась домой уже в сумерках. Закрыв калитку и повернувшись, чтобы идти к дому, я вдруг увидела в окне первого этажа застывшее бледное лицо. Мистер Слейт, обложенный подушками, сидел на диване и пристально смотрел на меня. Его сияющая улыбка и смешная застенчивость исчезли. Черты лица обострились. Он не отрывал от меня глаз, и я поняла, что это был внимательный, но пугающе пустой взгляд безумца. В руках он держал незаконченную восковую фигуру — без одежды, на месте лица гладкий овал. Он чуть приподнял куклу и стал отрывать ей ногу. Если бы я еще там постояла, я дождалась бы, что он отделит ногу от туловища. Я не стала смотреть дальше — побежала к дому, а мистер Слейт следил за мной, не улыбаясь и не моргая. В ту ночь опять случилась ссора, один из голосов пронзительно кричал. Наутро, когда мистер Прудем вышел с собакой, у него было серое лицо.

Через неделю я уезжала. Спускаясь по лестнице, я увидела мистера Прудема, стоявшего у своей двери. Он выглядел встревоженным; мы попрощались, и он, пригнув голову, тут же нырнул назад, к себе. Я услышала, как повернулся ключ в замке. Закрывая в последний раз калитку, я видела, как мистер Прудем и мистер Слейт, такие переменившиеся, наблюдают за мной — как в тот раз, когда я приехала. Мистер Прудем оперся руками о кресло мистера Слейта и чуть наклонился вперед. Я приостановилась, нерешительно махнув им рукой. Они не отвечали. Я ускорила шаги.

На страстную пятницу пришла газета, в которой мое внимание привлекло название того городка. В маленьком сообщении говорилось, что полиция расследует дело о смерти мистера Альберта Прудема и мистера Виктора Слейта, найденных мертвыми в квартире, полной газа. Вместе с ними погибли пудель и попугай. Я могла бы подумать, что из-за небрежности бедного, замученного мистера Прудема произошел несчастный случай, если бы не сообщалось, что квартира была найдена в большом беспорядке, а на полу валялось множество поломанных, изуродованных «кукол и фигур».

Перевод Г. ГАБРИЭЛЯНА

УБЕРТО АЛЬВАРАДО АРЕЛЬЯНО

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ОРУЖЬЕМ СЛОВА...

Год назад мир облетело скупое сообщение из Гватемалы, взволновавшее и вызвавшее гнев всех честных людей земли. Палачи военно-фашистской диктатуры, заливающей кровью эту центральноамериканскую республику, зверски убили известного писателя, Генерального секретаря ЦК Гватемальской партии труда товарища Уберто Альварадо Арельяно.

20 декабря 1974 года он, руководитель коммунистов Гватемалы, героически борющихся в глубоком подполье, был арестован, а на следующий день его труп, страшно изуродованный, обнаружили на шоссе неподалеку от гватемальской столицы.

Чудовищное преступление фашистских убийц подняло волну массовых протестов против произвола и беззакония, чинимых в Гватемале. Прогрессивная общественность всех континентов заявила о солидарности с коммунистами, с патриотами этой страны.

Товарищ Уберто всегда находился на передовой. Еще в огне революционных событий 1944 года его видели организатором студенческих выступлений — тогда ему было семнадцать лет. Несколько позже он становится Генеральным секретарем Союза гватемальской демократической молодежи. В 1949 году участвует в основании Коммунистической партии Гватемалы (с 1952 года — Гватемальская партия труда). После злодейского убийства Бернардо Монсона товарища Уберто избирают Генеральным секретарем Центрального Комитета партии — партии, жестоко преследуемой, партии, понесшей неисчислимые жертвы, партии, не прекращающей ни на один день битвы за освобождение, за счастливое завтра гватемальского народа. В ответ на правительственный террор, на бесчеловечные репрессии партия была вынуждена — пятнадцать лет назад — взять в руки оружие, встать на путь партизанских действий, даже организовать свои Революционные вооруженные силы.

В сражении с реакцией слово принадлежит не только оружию.

Винтовка и книга, пулемет и поэтическая строфа. Бои в горах и городах — и битва идей повсюду.

Товарищ Уберто, как и многие другие литераторы Гватемалы, горел страстным желанием видеть свою родину действительно «краем вечной весны» — так издавна прозвали эту небольшую страну дивных орхидей, изумляющих своей красотой вулканов, горных озер, буйной тропической зелени и... неописуемой нищеты обездоленных, донельзя угнетенных индейцев, у которых американские монополии и местные латифундисты отобрали землю.

Политическая деятельность Уберто Альварадо Арельяно неразрывно связана с его литературной работой. После победы антиимпериалистической, антифеодальной революции 1944 года он основал объединение революционных писателей — группу «Сакер-ти» («Рассвет» — на языке индейцев майя-киче), был главным редактором одноименного литературного журнала, входил в руководство другого журнала, «Ревиста де Гуатемала», снискавшего популярность в литературных кругах континента, яв-

лялся президентом Дома гватемальской культуры. Много произведений — художественных, а также посвященных проблемам культурной жизни Гватемалы — написал он. Из-под его пера выходили поэтические сборники — «Тени солнца» (1947), «Двенадцать поэм» (1950), «Стихи о мире» (1952), эссе — «Панорама гватемальских поэтов» (1949), «Художник и проблемы нашего времени» (1950), «Неруда в Гватемале» (1950), «По новому свету» (1952), «Энрике Муньос Меани» (об известном гватемальском публицисте-демократе), «За национальное, демократическое и реалистическое искусство» (1953)... Спустя годы появились «Исследование Гватемалы» (очерки истории национальной литературы, 1961), пьеса «Король Атанасио» (1961), другие. Годы выхода книг свидетельствуют и о долгом «молчании» их автора: после вооруженной интервенции, организованной империалистическими кругами США, и свержения демократического правительства в июне 1954 года ему пришлось скитаться по дорогам эмиграции, несколько раз он нелегально возвращался на родину, его арестовывали, бросали в тюрьмы...

Одним из последних его трудов явился сборник эссе под красноречивым названием — «Озабоченность». Книга — на экземпляре которой, в дарственной надписи пишущему эти строки, он скромно пометил: «...с братским приветом — краткие заметки о гватемальских делах» — буквально пронизана огромной озабоченностью писателя о будущем литературы, искусства, культуры Гватемалы. Трудно перечесть его критические, литературоведческие работы, рассыпанные по страницам литературных журналов чуть не всех стран Латинской Америки. Творческая активность, энергия, динамизм Уберто Альварадо Арельяно, не отличавшегося здоровьем, поражали каждого, кому посчастливилось с ним встречаться. Не могу забыть бесед с ним, его проникновенных слов о многострадальной родине, ее литературе, о друзьях и соратниках.

Им, друзьям и соратникам по общей борьбе, он посвятил публикуемые в этом номере эссе, которые товарищ Уберто передал мне на нашей последней встрече. Эссе о двух поэтах-борцах. О своем близком друге, авторе напечатанного в нашем журнале цикла стихов «Тронемся, родина, в путь» — Отто Ренэ Кастильо. О другом своем — и близком нам — друге, сотрудничавшем в «Иностранной литературе» в пору учебы в Московском университете, Роберто Обрегоне Моралесе.

Альварадо Арельяно писал о Роберто в те дни, когда, казалось, еще ничто не предвещало трагической гибели последнего. Прошло не слишком-то много лет — в июле 1970 года Роберто, вернувшийся на родину, чтобы занять место своего брата, сраженного пулей охранников диктаторского режима на улице гватемальской столицы, был убит на гватемало-сальвадорской границе, перенеся перед смертью ужасные пытки; труп его сбросили в реку...

Нельзя без волнения читать эссе о молодых поэтах-коммунистах, отдавших свою жизнь за свободу,— это написано их старшим товарищем, поэтом-коммунистом, также погибшим на боевом посту.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Поэт, достойный своего времени и своего народа

(Отто Ренэ Кастильо)

В 1962 году двадцатилетний юноша по имени Карлос Толедо, в то время один из руководителей студенческого движения, написал следующие стихи:

. . . . . .[1]

Несколько позднее, 13 марта того же года, он пал смертью храбрых, сражаясь за честь своей родины.

Прошло еще пять лет и за ними пять дней, и 19 марта 1967 года погиб в горах Сьерра де лас Минас тридцатилетний поэт по имени Отто Ренэ Кастильо, с непреложной ясностью сказавший, что несет не «крест», а «груз ответственности»; прежде чем уйти в горы партизаном, поэт написал такие строки:

Знаешь,
я думаю,
что возвратился
на землю мою
лишь затем,
чтобы встретить смерть.

Нередко можно услышать утверждение, что юноши, которые в наше трудное время гибнут в горах и в городах Латинской Америки, чтобы изменить жизнь своих стран, идут на подвиг, ведомые пылким порывом, свойственным ранней поре жизни. Кое-кто, не приводя никаких доводов, мог бы сказать, что и студент Карлос Толедо, писавший стихи, проникнутые романтической тоскою, принадле-

[1] Уберто Альварадо Арельяно не стал воспроизводить по памяти строки из непубликовавшегося стихотворения бойца партизанской колонны имени 20 октября (1944 года — начала революции в Гватемале) Карлоса Толедо, первого молодого гватемальского поэта, погибшего в бою с войсками диктатуры. Автор статьи хотел прислать их позже, но, возвратившись на подпольную работу в Гватемалу, не смог этого сделать. Мы сохраняем авторский текст без изменений. *(Здесь и далее — примечания редакции).*

жал именно к этой когорте молодых, приносящих себя в жертву во имя героических и патриотических идеалов.

Однако трудно представить себе, что поэт Отто Ренэ Кастильо, чьи блестящие способности открыли перед ним двери университетов демократической Германии, где он получил серьезное философское, политическое и литературное образование, бросился в «бой против ненависти», движимый лишь юношеским порывом.

Существует определенная преемственность между мартом 1962 и мартом 1967 годов — двумя датами, что предстают как вехи исторического процесса, переживаемого Гватемалой уже сотни лет. То были пять лет скорбного урожая, чьи корни и всходы вспоены гватемальской действительностью, той страшной драмой в жизни нашей родины, о которой не должен забывать ни один мыслящий человек в Гватемале.

Коснуться хотя бы кончиками пальцев поэзии Отто Ренэ Кастильо — значит вступить в мир трепетной любви, ненависти и борьбы, в мир Гватемалы, переживающей с 1954 года глубочайший кризис. Отто Ренэ воплощает сознание того, что сегодня наша республика — «страна прекрасная и пугающая», сладостная и горькая родина.

Со всей страстью юности Отто Ренэ переживал и высшие часы революции, и горькую пору ее поражения, вынудившего его в семнадцать лет стать изгнанником. Однако жизнь вдали от родной земли обострила и возвысила в нем патриотическое чувство, укрепила решимость идти дорогой борьбы, которую он, рано созревший духовно, так ясно видел перед собой. Уже в первых стихах молодого поэта появляется столь характерное для его творчества соединение двух начал — любви и борьбы,— которые переплетаются друг с другом неразрывно, всечасно и абсолютно. «Борьба за любовь» и «бой против ненависти» — два полюса его поэзии. Какое острое чувство звучит в словах: «Я болен моей страной, как никто на свете» и в искреннем признании:

Если ты, любимая, спросишь,
что люблю я всего сильнее
на бескрайней этой планете,
я отвечу: тебя, конечно,
и людей, что просты сердцем,—
народ моей родины милой.

Отто Ренэ и в жизни своей был верен той философии, которую с такой проникновенностью выражают его строки: «ибо жизнь и есть самая высокая поэзия». Так он жил — насыщенно, воздвигая «преграды любви», и шаг его оставил на земле след неизгладимый, и страстно утверждал он право человека на счастье и открыто высказал трагическую правду: «В этих селеньях снимают один урожай — слезы». Вместе с тем он с предельной ясностью понял то, что́ в те времена было необходимо, неизбежно в силу исторических обстоятельств и вытекало из самой действительности, которую нужно было изменить:

Я проповедовал нежность —
теперь проповедую гнев.

И по этой-то причине, потому что окружающая его жизнь состоит из явлений, с которыми человек должен сражаться, чтобы зажечь огонь любви и создать действительность, отличную от «горьких былей» его страны, поэт приходит к выводу:

Убивать — так во имя жизни,
защищая надежду ее,

чтобы покончить с «организованным эгоизмом», разбить цепи голода, невежества и нищеты. Для него настало время принять решение, связанное с риском для жизни, и поэт принял его, полностью убежденный, что такая жизненная позиция — не путь авантюр, а высшее счастье, которое он так ясно провидел:

Мы умираем сегодня, полные
Гватемалы.
Есть ли еще на свете столь высокая
смерть?

Жизнь Отто Ренэ Кастильо началась в пору подъема революции октября 1944 года,[1] так что детство его и отрочество приходятся на десятилетие 1944—1954 гг., и это обстоятельство помогло ему не только разглядеть социальные язвы общества, но и понять, что активное действие — лучшая форма борьбы против них. Он принадлежит, таким образом, не к поколению, травмированному ужасами и террором диктатуры Убико, но к поколению, принесшему с собой веру в то, что «поражение, что было сегодня, станет победою завтра»; он принадлежит к поколению, приобщившемуся к передовым взглядам нашего времени не только потому, что они представляют собою прогрессивную мысль эпохи, но и потому, что сама действительность доказывает их соответствие нуждам нашей страны.

Будучи связанным с Отто Ренэ узами землячества, товарищества и дружбы, проведя рядом с ним не один час времени, когда мы оба боялись упустить хоть мгновенье — будь то за беседой, за работой или на отдыхе,— когда мы вместе неустанно искали правду каждого мига, каждого дня и всей жизни, я вызываю сейчас перед вами образ его и его поэзии отнюдь не с какой-либо личной целью.

С ранней молодости он принял ту линию поведения, какую я считаю единственно справедливой, честной и последовательной; не проявляя излишнего честолюбия, не пытаясь задавать тон, он нашел свое место в суровой действительности, требующей от нас определить позицию, направление мыслей, сделать окончательный выбор и обратить сомнения и раздумья в методический анализ,— чтобы идти вперед «с сердцем, что вечно обязано петь, поспешая по дальней дороге». Отто

[1] Имеется в виду упомянутая выше антиимпериалистическая, антифеодальная революция в Гватемале, открывшая период демократизации страны.

Ренэ — не только символ, это нечто большее: утверждение жизненной силы борца, воплощение абсолютной уверенности в том, что каждый сделанный шаг необходим и решающ, что никакая жертва не напрасна, поскольку подчинена своей логике, скорбной, но устремленной в будущее, ибо:

Если один упадет,
то это затем, что кто-то
должен сегодня упасть,
чтоб устояла надежда.

Смысл жизни, страстей и гибели Кастильо коренится в том, что происходило в Гватемале последние двадцать пять лет. Он поистине является поэтом революции, поэтом-революционером. И не только потому, что всей своей юной душой откликнулся на набат аграрной реформы Арбенса,[1] но и потому, что встретил грудью удар черных сил контрреволюции 1954 года и в тот критический момент драматической судьбы гватемальского народа возросла его решимость, окрепли силы и поэтическое призвание.

Любовь и ненависть, радость и горе, жизнь и смерть пронизывают его поэзию, и вся она — не что иное, как трепетный ритм сердца, кровоточащего, но исполненного надеждой, и взволнованный взлет мысли, ищущей путей преобразования времени, которое поэт считает «чудовищным», и страны, стонущей под бременем «горьких былей».

Решимость Отто Ренэ приобщиться к деятельности (смертельная опасность ее никогда не была для него тайной) говорит о высоте социального сознания, какой он достиг как человек и поэт. Его безвременная гибель — знамение тяжелых времен, которые переживает наша страна, и смерть его вдвойне драматична, ибо это не только горькая потеря, но и веха на пути надежды. Это и урок, смысл которого устремлен в будущее.

Сам по себе мелкобуржуазный интеллигент не является образцом жертвенности. Приверженность к материальному благосостоянию, конформизму, даже к покорности, цеплянье за самую иной раз ничтожную бюрократическую должность, карьеризм — таковыми были и остаются черты, общие многим писателям и деятелям искусства в нашей стране. Оправдание или, по крайней мере, объяснение подобной позиции нетрудно найти. Представители этой среды встречают на каждом шагу столько ограничений, что им просто некуда податься. Задыхаясь в удушливой атмосфере, царящей в Гватемале — атмосфере полуколонии,— многие покидали родину в поисках новых горизонтов (так произошло с Антонио Хосе Ирисарри[1] и позднее с Энрике Гомесом Каррильо[2]), в поисках спасения своей личности и находили его лишь отчасти. Ибо для представителя интеллигенции, который действительно хочет идти в ногу со своей эпохой и своим народом, есть только одно спасение — разделить судьбу своей родины. Но путь к постижению этой непреложной истины долог и тернист. Отто Ренэ, погруженный в свою эпоху, шел вперед в одном ритме с родиной. Потому-то, призывая народ тронуться в путь, он делал это с глубоким убеждением, что путь этот есть единственно реальный, возможный, честный и достойный и что другого выбора нет. И он решительно заявлял:

Но вопреки всему
я дальше иду, глупец,
по глухому пути своему,
по крутому пути своему,
которому скоро конец.

В этот исторический момент, какой ныне переживает Гватемала, поэзия Кастильо, насыщенная любовью и человечностью, страстью и мужеством, ненавистью и патриотизмом, нежностью и гневом,— это самое верное выражение часов, дней и лет страны, сотрясаемой кризисом, уходящим корнями в столетия ее истории, страны, которая пытается возродиться, чтоб изгнать «запах траура», исходящий от нации.

Поэт утверждал, что удовлетворение могут испытывать лишь те,

кто сражался не бóльшую часть своей жизни,
а кто сражался каждый день своей жизни.
Только так человек становится человеком:
сражаясь денно и нощно за то, чтоб быть человеком.

Пример Отто Ренэ заключается не столько в его трагической гибели, сколько в его жизненном пути, в его непреклонной решимости, оставившей заметный след на арене борьбы. Поэт-воин не сжег свои корабли, чтобы отрезать себе всякую возможность отступления. Он оставался на своем посту по высокому велению совести, храня верность собственному поэтическому вдохновению, из беспредельной любви к родине, из жгучей ненависти ко всему злотворному в нашем обществе. Нет ни в его борьбе, ни

---

[1] Хакобо Арбенс (1913—1971) — видный государственный, военный и политический деятель Гватемалы. Был президентом республики с 1951 по июнь 1954 года. Демократическое правительство во главе с полковником Арбенсом провело ряд прогрессивных мероприятий, в том числе — в 1952 году — аграрную реформу. После свержения правительства Арбенса в результате империалистической интервенции в 1954 году аграрная реформа, как и остальные прогрессивные мероприятия, была отменена.

[1] Антонио Хосе Ирисарри (1786—1868) — гватемальский писатель и политический деятель, значительную часть своей жизни провел в Чили, где был министром иностранных и внутренних дел, даже временным президентом. Позднее жил в Англии, Эквадоре и США.

[2] Энрике Гомес Каррильо (1873—1927) — гватемальский поэт, жил и работал главным образом во Франции.

в его поведении, ни в его поэзии ни тени колебания. Чистота его чувств и мыслей кристальна. Ни вспышек отчаяния, ни душевных травм, ни бегства от действительности. Цель его жизни всегда была ясна и светла, и, любя жизнь как драгоценнейшее из благ, дарованных человеку, он шел навстречу смерти в сиянии правды, освещающей наш путь.

В уста героя своего произведения Антонина, поэта, жившего более двадцати веков тому назад и присоединившегося к борьбе против рабства, он вкладывает такое категорическое утверждение:

Самые сладкогласные птицы,
Спартак, друг мой,
защищают свободу когтями,
когда нужно.

В трудные минуты, какие переживает наш народ, пример Отто Ренэ, как и многих других гватемальских юношей,— это верная весть надежды. Гватемала обливается кровью, но не сдается, бодрствует, глаза ее народа открыты, он видит бездну, разверзшуюся у его ног, но он видит также и дорогу спасения. И пока существуют люди с душой и умом Кастильо, пока живы гватемальцы, ставящие патриотические цели превыше личных интересов, пока честность, искренность, социальная сознательность движут поведением значительного числа наших соотечественников — не ослабнет надежда на лучшее будущее нашей родины, вера в рождение новой Гватемалы. Это вера не в создание счастливой Аркадии или завоевание рая земного, а в трудное построение справедливого гватемальского общества, основанного на реальной и действенной свободе гватемальцев, на освобождении народа из когтей бесчестья, голода и невежества. Твердая вера в то, что это будущее необратимо.

Жертва, принесенная Отто Ренэ,— подтверждение того, что это будущее уже близко, хотя достижение его связано с огромным риском, требует величия духа и неустанных героических деяний, как те, в каких проявил себя поэт и боец Кастильо и какие готовы повторить тысячи и тысячи людей, следуя по пути человека, отдавшего жизнь за то, чтобы стало реальностью все, во что он так твердо верил, говоря:

Тронемся, родина, в путь, я пойду
с тобою.
Я спущусь в бездны, которые ты
укажешь.
Я напьюсь из чаши твоей горького
соку.
Я стану слепым, чтоб смотрели твои
очи.
Я стану немым, чтобы звенел твой
голос.
Я с жизнью расстанусь, чтоб ты жила
вечно
и чтобы милый твой образ вставал,
пылая,
в каждом цветке, рожденном из моего
праха.
Так оно быть должно, и не будем,
родина, спорить.

И так оно стало, ибо пепел Отто Ренэ Кастильо, развеянный на четыре стороны по его родной Гватемале, в каждом уголке страны дает всходы, о которых поэт мечтал и за которые сражался.

Гватемала, 20 октября 1967 г.

Огонь затерянный и обретенный

(Роберто Обрегон Мóралес)

Поэзию Роберто Обрегона Моралеса отличает постоянное стремление выразить заветные чувства и чаяния человека Гватемалы. Поэтическая эволюция Обрегона связана именно с этой постоянной заботой, ощущающейся в каждой его строке и вырастающей естественно и неизбежно из его страстных исканий особой выразительности, какая отражала бы самое существо гватемальца и, будучи присущей лишь ему, была бы в то же время универсальной, общечеловеческой. Слияние двух потоков — испанского и индейского, образовавшее сложный сплав, определило лик нашей страны. С одной стороны, смешение рас, срастание двух культур, двух миров, а с другой — существование туземных общин, верных своей древней традиции, своему мифологическому прошлому, хотя и подвергающихся вот уже века всепоглощающему натиску «цивилизации». И происходит подобный процесс в стране, где до сих пор еще сохраняется полуфеодальный строй и зависимость от иностранного капитала.

В каждом гватемальце живет дух майя, который из глубин непроходимой сельвы все еще зорко высматривает звездный след прошлого и ведет счет времени по затмениям. Правда, европейская цивилизация повлияла на нас, и мы смотрим на окружающий мир глазами современного человека. Но дух тропиков и то обстоятельство, что половина населения нашей страны индейцы, а также весомость и сила, какими обладают еще индейские общины, все это способствует тому, что центром и основой специфического процесса национального развития остается наше индейское наследие, какие бы новые и неожиданные формы ни придавало этому процессу сопряжение двух цивилизаций.

По этой-то причине произведения литературы и искусства Гватемалы, явившиеся попыткой стать творениями национальными, отвечают в той или иной мере нашей исконной сущности и сложному процессу нашего социального развития.

К тому же существуют памятники культуры, такие, как знаменитый эпос «Пополь-Вух» и древние индейские рукописи, которые своими мифами вводят нас в загадочный, волшебный и одновременно реальный мир.

Эту традицию продолжали наши поэты и писатели, такие, как Рафаэль Ландивар,

Симон Берганьо-и-Вильегас, Мигель Анхель Астуриас, Луис Кардоса-и-Арагон [1], такие художники, как Карлос Мерида, Артуро Мартинес, Дагоберто Васкес, такие композиторы, как Рикардо Кастильо и Хорхе Альваро Сармьентос,— все те, в чьем творчестве бьется пульс двух культур, индейской и испанской, и звучит все яснее и отчетливее, хотя у каждого по-своему, голос тысячелетней истории этой земли.

Роберто Обрегон Моралес шел своей тропой к «утерянному огню». Начиная с самых первых его стихотворений и вплоть до последних поэзия его пронизана единым стремлением, ведущим в конечном счете не к случайному открытию чего-то неожиданного, а к естественному развитию поэтического сознания — внутреннему процессу, не чуждому сложностей и борьбы с враждебными ветрами, что свойственно всякой подлинной поэзии, процессу, в ходе которого создается нечто свое и особое.

Потому-то трепещет в этих стихах вдохновенный и вдохновляющий мир, и, отвечая психологии одной человеческой личности, они в то же время наполнены общественным звучанием, они — выражение социального сознания, они — готовый ко взрыву гнев народный, затаенный до времени и питаемый событиями действительности, чуждой человеку Гватемалы.

В сборнике «Затерянный огонь» три составные части — «Надписи», «Фрески» и «Кодексы»; они образуют единое целое, направленное на выполнение замысла, предложенного поэтом Атанасио Тсулу, индейцу, осмелившемуся возродить прошлое исчезнувшего государства исконных обитателей этих земель: вместе измерить «землю, объятую пламенем», имя которой Гватемала. Поэмы рассматриваемой книги — это вехи процесса постижения гватемальской трагедии. Вам представляется, что поэт достиг в этой попытке таких значительных результатов, что они стали важным шагом в его поэтическом развитии.

Стремясь не переводя дыхания высказать многое, Обрегон искал литературные формы, в какие должно влить свою песнь, формы, какие открыли бы простор его поэтическому вдохновению. И эти формы соответствуют мыслям и чувствам, какие поэт хочет выразить. Они возникают не просто как новшество, чуждое содержанию, а для того, чтоб вобрать в себя рождающийся и набирающий силу стих поэта.

Настоящий поэт — всегда в гуще борьбы за жизнь, которая есть борьба за его собственную жизнь и за жизнь его народа. И Обрегон — как раз тот поэт, что вместе со своей поэзией стал частью драматической судьбы нашей родины, поток его поэзии вмещает наши страдания, наши радости, наши мифы, наши опасения, наши разочарования и наши надежды. Это попытка составить из черт двух рас и культур цельный образ гватемальца, который еще не совладал со своим прошлым, своим настоящим и будущим.

По этой причине Обрегон в своей поэзии переходит от мифов и легенды к социально-политической реальности с ее насущными проблемами, от любви — к ненависти, от гнева — к нежности, от протеста и разоблачения — к размышлению, от насмешки — к состраданию, от плача — к смеху. Так воплощает он свой замысел и свою надежду: попытаться понять собственную сущность и сущность своих соотечественников через их мысли и дела.

Мы связаны обетом с самими собою и со своим народом. Иные обязуются ни перед кем не иметь обязательств, а уж если иметь их — то перед меньшинством. Но Обрегона можно поставить в один ряд с такими молодыми революционными поэтами Гватемалы, как Отто Ренэ Кастильо, чья героическая гибель в партизанском сражении является для всех примером решимости и надежды. Он связан обетом со своим временем, своим народом, своей исконной сущностью гватемальца.

Обрегон продолжает в поэзии твердую линию на создание литературы, верно изображающей Гватемалу и ее народ. Таков был и есть путь наших лучших поэтов и художников. «Затерянный огонь» — это новая веха, решающий шаг в творчестве Обрегона. Книга родилась именно в тот момент, когда гватемальский народ пытается создавать свою историю собственными руками и построить ценой борьбы и крови такую родину, где все найдут возможности для развития и где мужчины и женщины Гватемалы смогут быть «самими собою», чувствовать себя людьми во всей полноте этого понятия.

В подтверждение Обрегон говорит нам твердо и решительно:

И будет такой знак,
что не станут они углем,
когда к ним прикоснусь рукою,
ибо другою
на высоком включу напряжении
ток времени.
И пусть меня тянут назад
— оторвать не сумеют!

Перевод с испанского Инны ТЫНЯНОВОЙ

---

[1] Рафаэль Ландивар (1731—1793) — первый национальный поэт Гватемалы, автор знаменитой поэмы «На мексиканских полях», написанной по-латыни.

Симон Берганьо-и-Вильегас — гватемальский поэт, призывавший к борьбе за независимость страны, пал жертвой испанской инквизиции в 1808 году.

Мигель Анхель Астуриас (1899—1974) — знаменитый гватемальский романист и поэт, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Нобелевской премии по литературе.

Луис Кардоса-и-Арагон (род. в 1905 г.) — видный гватемальский поэт и искусствовед, был послом Гватемалы в СССР.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

ВСМАТРИВАЯСЬ В ОЧЕВИДНОЕ

Современный западный роман богат жанрами. Философские романы-притчи и романы экспериментальные, доступные лишь ограниченному кругу «высоколобых», оперативно откликающиеся на злобу дня политические романы и романы исторические, традиционные семейные романы-хроники и «молодежные» романы, в большом количестве появившиеся на рубеже 60—70-х годов,— эти и многие другие наименования то и дело мелькают на страницах литературных приложений и солидных литературоведческих журналов.

Но есть в западной литературе такой пласт, о котором буржуазная критика пишет очень мало и неохотно,— роман о рабочем классе.

То, что называют обычно рабочим романом, существует во всех крупных литературах стран Запада примерно с той поры, когда рабочий класс в середине XIX века заявил о себе как могучая сила общественного развития. Во всяком случае, западному роману о рабочих уже более ста лет, он благополучно здравствует и вовсе не собирается сходить на нет, несмотря на время от времени возникающие разговоры о его конце.

Напротив. В большинстве развитых западных стран после второй мировой войны поднялась как бы «новая волна» романа рабочей темы. Это прежде всего относится к Англии и ФРГ, давшим в конце 50-х — начале 60-х годов ряд молодых прозаиков, объединенных британской критикой под именем «рабочих романистов», и известную дортмундскую «Группу-61», которую образовали писатели, в большинстве своем выходцы из рабочей среды, сделавшие героем своих произведений рабочего.

Книги, вышедшие за последние пятнадцать лет, естественно, отличаются от романов на рабочую тему, скажем, 30-х годов. В романах наших дней все более важное место занимает тема воздействия НТР на человека в условиях капиталистического общества. Сам факт существования и широкого распространения произведений о рабочем классе опровергает выдвинутый буржуазными идеологами тезис об исчезновении классов. В современном капиталистическом обществе, свидетельствуют эти книги, нет классового мира. Ведь центральный конфликт, роднящий подавляющее большинство «рабочих романов»,— это рабочие против капиталистов. Конечно, сегодня изменились формы труда и усложнились методы эксплуатации. Повсеместное внедрение автоматизации и как следствие этого полное обезличивание производственного процесса, в котором человек все более утрачивает себя и становится придатком машины; некоторое уменьшение доли изнуряющего физического труда, но зато резкое возрастание нервных перегрузок, ведущих к стрессам; недовольство рабочего класса своим положением и в то же время проникновение характерного для буржуазного общества индивидуализма и в рабочую среду, подчас влияние реформизма и потребительской психологии — все это нашло отражение в произведениях писателей разных стран западного мира.

Достаточно назвать романы английских писателей Алана Силлитоу «В субботу вечером, в воскресенье утром», Сида Чаплина «День сардины» и «Соглядатаи и поднадзорные», Стэна Барстоу «Любовь... Любовь?», книги прозаиков ФРГ — Макса фон дер Грюна, издавна хранящего приверженность рабочей теме, «Светляки и пламя», «Два письма Поспишилу», «Местами гололед», Кристиана Гайслера «Холодные времена» и «Хлеб с напильником». Довольно много произведений о рабочих опубликовано за этот период во Франции. Не менее пятнадцати лет разрабатывает «рабочую» тему видный французский писатель Роже Шатоне, автор романов «Железные арфы», «Искры», «Мир-

ты» и «Самыми высокими вратами». Хорошо известен в нашей стране Андре Ремакль, по талантливому роману которого «Время жить» был поставлен одноименный фильм. Привлекли внимание критики и книги более молодых писателей — Клэр Эчерли «Элиза, или Настоящая жизнь» и Луи Ури «Пролетарий». Большинство этих произведений переводилось на русский язык.

В последние годы появился ряд значительных произведений о рабочем классе и в литературе США (Р. Крайтон, «Камероны»; Д. Чандлер, «Стачка в зеленой долине» и др.). В Италии и Скандинавии регулярно выходят книги, посвященные жизни промышленных рабочих.

Нередко главным героем таких произведений становится молодой рабочий, ищущий место в обществе, стремящийся добиться справедливости, постепенно обретающий подлинное классовое сознание.

Каким же предстает молодой рабочий в западной литературе последних лет? Что отличает его от советского сверстника?

Ведь для советской литературы рабочая тема — одна из важнейших, и недаром у самых истоков литературы нашей стоят могучие и вечно живые образы молодых рабочих-революционеров — Павла Власова и Павла Корчагина.

Для сопоставления выбраны три произведения западной прозы, отражающие разные стадии становления социального сознания у молодого рабочего, и два советских романа, центральными персонажами которых тоже являются молодые рабочие.

В настоящее время в романе рабочей темы, как и во всей советской литературе, наблюдается тенденция к глубокому постижению существа проблем, поставленных современным этапом развития нашего общества, противоборствуют крупные человеческие характеры, сталкиваются разные нравственные позиции. Борьба за новое в нашей жизни, в производстве воспринимается и осмысляется советскими писателями не как проблема, вызванная ныне к жизни неуклонным техническим прогрессом, а в комплексе всех вопросов, связанных с воздействием НТР на человека и дальнейшим развитием социалистического общества, перерастающего в общество коммунистическое.

Вряд ли стоит оговаривать специально, что большая литература возможна лишь там, где в центре — человек в процессе производства, а не технологический процесс, сколь бы совершенен и современен он ни был. Это общее правило распространяется, естественно, и на западную литературу, хотя в ней продолжают появляться «производственные» романы в более узком смысле слова. Возможно, это происходит в какой-то мере оттого, что техническое развитие капиталистических стран значительно опережает их социальное развитие. Поэтому и проблемы чисто производственного свойства, например извечная конфронтация «рабочий — администрация», остаются сегодня крайне острыми, рельефно отражаясь в литературе.

Для того чтобы действительно осознать, насколько беспочвенны разговоры о «народном капитализме», о «постиндустриальном обществе», в котором якобы стираются присущие капитализму социальные противоречия и всем предоставляются равные возможности, следует прочесть небольшую по объему, находящуюся на стыке между художественной литературой и документальной прозой, книгу финского прозаика Хану Юлитало «Окаянный финн»[1]. В ней, быть может, нет крупных художественных открытий. Однако сегодняшнее значение этого произведения в том, что, появившись в 1971 году, оно негромко, но твердо и убежденно свидетельствует: капитализм за полтора века существования нисколько не изменился в лучшую сторону, несмотря на разнообразные усилия его апологетов, создавших теории «народного капитализма», «постиндустриального общества», «государства всеобщего благоденствия» и т. д.

Герою «Окаянного финна», простому парню Раймо Куяла, на родине не везет — нет работы, и он эмигрирует в Швецию, где становится рабом могущественного автомобильного концерна «Вольво». В судьбе Куяла все обычно и даже типично — он один из многих тысяч финнов, вынужденных искать хлеба на чужбине. Нет ничего особенного и в его характере — он самый обычный парень, незлобивый, трудолюбивый и необразованный. Запросы его ограничены приличной зарплатой, позволяющей не зависеть от отца, прилично одеваться, выпивать, ходить на танцы и ухаживать за девушками.

Куяла вовсе не интересуется политикой и, на первый взгляд, ничего не имеет против подобного существования — только очень уж выматывает работа. Но жизнь в Швеции вскоре заставляет его впервые задуматься над тем, как несправедливо устроено окружающее его общество. Куяла сталкивается с двумя формами угнетения — классовым и национальным. В Швеции финнам достается только та работа, на которую шведы не идут. Финнов там демонстративно презирают, с ними подчеркнуто обращаются как с существами низшего рода. Нет ничего удивительного в том, что Раймо все время чувствует себя изгоем — родине он не нужен, а для Швеции никогда не перестанет быть подозрительным чужаком.

Мотив отчуждения постоянно варьируется автором. Герой живет в чужой стране, среди чужих, недоброжелательных к нему людей, языка которых не знает. Он занят тяжкой работой, дающей лишь средства к существованию. Даже среди соотечественников друзей у него нет — есть собутыльники.

Жизнь финских рабочих в Швеции беспросветна, свидетельствует книга Юлитало. Восемь часов в день на конвейере они — рабы фирмы. В свободные часы — рабы выпивки и бездумных развлечений: после оту-

[1] Роман выпущен издательством «Прогресс», 1975. Перевод В. Богачева, предисловие А. Рекемчука.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ
ВСМАТРИВАЯСЬ В ОЧЕВИДНОЕ

пляющего труда необходима разрядка. На гигантском, похожем на средних размеров город, заводе «Вольво» хозяевами сознательно запрограммировано отчуждение по старому принципу «разделяй и властвуй» — отчуждение национальное, классовое, профессиональное. Профсоюз во всех конфликтных ситуациях полностью поддерживает администрацию. Трудовой процесс построен так, чтобы выжать из каждого максимум: даже обучающие новичка рабочие все равно обязаны выполнять норму.

Роман Юлитало в документальной, близкой к репортажу форме правдиво отражает реально существующую и в наши дни степень бесправия огромного числа западных рабочих. Трагизм положения, в котором оказывается Куяла, им самим в должной мере не осознается. Классовое сознание у него еще в самом зачаточном состоянии: зная свое место в социальной иерархии, он, конечно, без особой радости, но все же мирится с ним. Общество, в котором Куяла обречен жить, несправедливо, это ясно и ему самому, но как добыть справедливость, неизвестно.

Молодые рабочие, находящиеся на том же уровне политической зрелости, что и Раймо Куяла, лишены каких бы то ни было профессиональных и социальных перспектив — в лучшем случае у них есть возможность стать надсмотрщиками над товарищами.

О том, как это случается,— роман итальянского писателя Нордио Дзордзенона «Желтый комбинезон» (1971)[1]. Сюжет его тоже крайне несложен. Действие происходит на судоверфи. Молодому рабочему Сандро Визинтину оказана большая честь — всесильный инспектор Паоликки назначает его мастером, старшим над теми ребятами, рука об руку с которыми Сандро работал несколько лет.

«Желтый комбинезон» — книга о невольном предательстве, об искусе «карьерой» и личным благополучием. Перевод в мастера прежде всего отражается на рабочей одежде: синий комбинезон положен рабочему, желтый — мастеру, а белый — представителям администрации. Но Сандро не хочет видеть растущий между ним и старыми товарищами барьер: он продолжает заходить в рабочую раздевалку перекинуться несколькими словами перед сменой. Однако теперь его интересы и интересы его бывших соратников прямо противоположны: настоящий мастер — верный защитник политики администрации, в частности, бывшего фашиста Паоликки, сокрушающегося по поводу того, что нельзя заморозить рост заработной платы, и с тоской вспоминающего, как в «старое» время «рабочего можно было узнать по внешнему виду. А сейчас его не отличишь от служащего: и хороший костюм у него есть, и белая рубашка, и свой домишко, и детей он в школу посылает». Ненависть к рабочим буквально захлестывает Паоликки. А Сандро, наивный Сандро, пытается сидеть на двух стульях. Гордясь доверием Паоликки, он не рвет старые связи, сидит в «Бункере», рабочей пивнушке, ездит со своими новыми подчиненными на рыбалку. А между тем Паоликки, как бес-искуситель, постоянно твердит о высоком авторитете мастера, о необыкновенном таланте Сандро-руководителя. Простодушный и неустойчивый Сандро легко ловится на эту удочку: «Сандро не помнил, чтобы раньше, когда он был рабочим, кто-нибудь оказывал ему такое доверие, и твердо решил, что нельзя этого доверия лишиться и, более того, надо делать все от него зависящее, чтобы это доверие с каждым днем возрастало, будто речь шла о достоянии, которое надлежало бережно хранить и мудро расходовать. Он начал привыкать к похвалам и знакам уважения как к чему-то вполне заслуженному... В конце концов, от него требовалось немного: всего-навсего слушаться Паоликки». Это послушание неминуемо ведет к внутреннему перерождению героя, измене бывшим товарищам по классу.

Ситуация, изображенная писателем, неординарна еще и потому, что Сандро Визинтин по своим личным качествам вполне порядочный, достойный и добрый человек.

Поступками его руководит ложно понятый долг — естественное для уважающего себя человека желание хорошо делать порученное дело, что в его случае граничит с подлостью и предательством.

Визинтин представляет определенную часть западного пролетариата, так называемую «рабочую аристократию», его идейная незрелость иной природы, нежели у Раймо Куяла. Раймо просто не видит для себя никакого выхода, Сандро же кажется, что он нашел выход, но его выход оказывается тупиком, «врасти» в класс хозяев ему не удается. Сандро сумел внутренне перестроиться: то, что «раньше нравилось ему у Фьоре (рабочего-коммуниста.— **Г. А.**) больше всего — хватка, напористость и злость, с какими он воевал против заводских начальников, сейчас казались ему недостатком». Однако расставание с прошлыми ценностями отнюдь не гарантирует ему принадлежности к лагерю имущих. Потеряв старых друзей, он так и не приобрел новых.

Утративший социальные и нравственные ориентиры, Сандро готов на все — самому работать до полного изнеможения, загнать до смерти подчиненных, третировать их, доносить на участвовавших в «неофициальной» забастовке бывших товарищей. Он жаждет, чтобы его рвение приметил и оценил директор. Но старания Визинтина ни к чему не приводят. Он вновь, просто теперь уже на более высоком уровне, сталкивается с несправедливостью: ему приходится отвечать и быть наказанным за бездарность и лень стоящего над ним инженера. Отказывается защищать Сандро и виновник всех его бед Паоликки.

Вот тут Визинтин по-настоящему понимает, сколь непрочны и его власть, и выросшее из измены благополучие. Теперь ему вновь необходимо обрести дружбу и расположение старых товарищей. Но есть в его искреннем раскаянии один существенный

[1] Роман выпущен издательством «Прогресс», 1975. Перевод Ю. Добровольской, предисловие Е. Амбарцумова.

оттенок: «Нет, он краснел не перед рабочими, он краснел перед самим собой, за свое легковерие, за то, во что уверовал». Его стремление вернуться в прежний круг занятий и друзей в немалой степени мотивировано личными причинами, если не сказать — инстинктом самосохранения: неудачливый командир может опять стать усердным солдатом. Не прибившись к хозяевам, он без особых угрызений совести возвращается обратно. И его наверняка простят и примут друзья: ведь он — неплохой парень и отличный работник.

К сожалению, психологическая мотивировка «возвращения» Сандро при всей ее логической продуманности и социальной точности скомкана: в конце романа неожиданно обнаруживается, что герой — натура импульсивная, хотя весь предыдущий ход действия не содержал и намека на эту черту характера Сандро.

Скороговорка в финале придает всей книге известный налет дидактизма: писатель как будто поставил себе цель — непременно завершить произведение на мажорной ноте, привести героя, победившего соблазн, к пусть стихийному, но все же пониманию того, кто друзья, а кто враги.

В отличие от книги Юлитало, в «Желтом комбинезоне» изображены силы, способные противостоять хозяевам Сандро Визинтина. Это — Польдо и Фьоре, бывшие друзья Сандро, партизаны-антифашисты, участники Сопротивления. Недаром Фьоре вспоминает сорок пятый год и жалеет, что тогда они «прошляпили... Иначе твоего Паоликки давно бы черви съели».

В то же время писатель чересчур локализует сферу своего интереса процессом формирования рабочей аристократии; большая организаторская деятельность Коммунистической партии Италии осталась по существу за рамками повествования.

В конце Сандро сознает, что вернуть уважение товарищей «можно только упорным, повседневным сопротивлением Паоликки. Отныне Сандро будет решительно бороться против него, по-всякому — то смелостью, то хитростью — противостоять ему, искупая свою вину добровольно наложенной на себя карой: неверием в свой труд».

Последняя мысль заключает в себе парадокс, в целом верно передающий реальное положение дел в капиталистическом мире: чтобы пользоваться уважением товарищей, нужно не верить в важность, необходимость своего труда. Трудолюбивому и серьезному Сандро еще предстоит постичь эту парадоксальную истину. В этом смысле вполне удовлетворил бы требованиям товарищей Сандро герой Юлитало, которому совершенно безразличен груд на безликих людей в чужой стране. Работа для него — необходимая и малоинтересная повинность. В художественной форме эти романы фиксируют то самое выхолащивание человеческого содержания из труда, о котором писал Карл Маркс.

Подобное отношение к собственному труду немыслимо, пожалуй, даже для наименее сознательных героев у советских авторов. Кстати, довольно часто «отрицательность» персонажа определяется именно его трудовой недобросовестностью. Пример подобного рода дает роман Виля Липатова «И это все о нем...».

Петр Петрович Гасилов, мастер Сосновского лесопункта, выписан Липатовым убедительно. Это немолодой, умный, по-своему незаурядный человек, тонкий знаток человеческих слабостей, умеющий их использовать в своих целях, опытный и удачливый руководитель. Казалось бы, что может быть общего между ним и Сандро Визинтином?

Но, как это ни удивительно, общее обнаруживается. Оба они ради личного интереса и выгоды изменяют своему классу. Но измена эта происходит при совершенно полярном отношении к собственной деятельности. Если Визинтин теряет среди рабочих авторитет, потому что на какое-то время проникается верой в необходимость своего труда, то Гасилов терпит крушение именно потому, что не верит в важность и необходимость труда вообще.

Так принципиально различная логика общественного развития диктует писателям и различное решение по существу все той же темы внутреннего перерождения и вырождения рабочего характера. Визинтин работает на хозяина так, как будто работает на себя; Гасилов же — на Советское государство так, как будто на хозяина.

С Гасиловым, «пасущимся» за счет государства, можно и должно бороться — у этого социального типа в нашей стране нет будущего. А вот возвращение на круги своя Визинтина ничего не изменяет в состоянии дел на описанной Дзордзеноном итальянской верфи, как, кстати, вряд ли изменило бы что-либо по существу снятие самого матерого гонителя рабочих Паоликки. Из книги Дзордзенона следует, что менять нужно саму систему производственных отношений: его герои против нее протестуют, и достаточно активно, хотя и не очень целенаправленно. Герои Юлитало тоже борются за существование каждый день и час. Однако эта борьба, как и борьба героев Дзордзенона, лишена четкой социальной перспективы. Она ограничена борьбой за существование, о борьбе против эксплуатации и угнетения они почти не помышляют.

Значительно в более широком ракурсе предстает рабочее движение в многоплановом романе английского прозаика Реймонда Уильямса «Второе поколение» (1964)[1], который тяготеет к жанру социально-психологического романа, хотя все его основные сюжетные линии перекрещиваются в области производственных отношений. Даже судьба аспиранта-социолога Питера Оуэна, связанного с рабочей средой лишь семейными отношениями — его отец и дядя работают на автомобильном заводе,—во многом опреде-

[1] Опубликован издательством «Прогресс», 1975. Перевод И. Архангельской и И. Бернштейн, предисловие М. Гордышевской.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ
ВСМАТРИВАЯСЬ В ОЧЕВИДНОЕ

ляется событиями, происходящими на рабочей окраине, прежде всего потому, что этому молодому человеку присуще четкое сознание своей принадлежности к рабочему классу.

В книге Уильямса, правда достаточно приглушенно, но все же звучат мысли о борьбе политической, о необходимости коренного переустройства современного английского общества. Писатель и его герои прекрасно понимают остроту социальных противоречий. Это можно проследить на примере Питера Оуэна. Его биография, казалось бы, типичный «путь наверх»: родители мечтали, чтобы он получил образование, и мечта сбылась. Но... «теперь он и не мог делать то, чего ожидали от него родные и знакомые, все собратья по классу. Его не так учили, его не учили тому, как изменить условия их жизни». Размышления Питера, трезво оценивающего свое положение, выходят за пределы изображенного в романе частного случая открывающейся перед ним карьеры и проясняют некоторые процессы, которые происходят в капиталистическом обществе, объективно усложняя условия борьбы рабочего класса: «Все равно что под гнетом врага готовить свое освобождение, обучая своих сыновей служить врагу. И даже хвастать их успехами, тем, какого высокого мнения о них этот враг... Суть заключалась в том, что все старательно делали вид, будто вовсе и нет никакого врага. Конечно, враги утверждали, будто они самые обыкновенные люди и делают то, что нужно делать. Но и его собратья по классу говорили так же: факт угнетения всегда смягчался, ему находили логическое обоснование — так было легче выжить. Мирное это согласие существовало с давних пор, и к нему все привыкли...»

Горькие мысли Питера в чем-то справедливы, но общее звучание романа оптимистично и вызвано верой в молодое, «второе» поколение. Характерно, что Питер Оуэн и Дик Мэннинг — молодой ученый из рабочих и молодой рабочий, рвущийся в настоящий бой с хозяевами,— персонажи, которые на страницах книги так и не встретились, по сути дела стоят на очень близких позициях. В их будущем единении — залог неминуемой победы.

А пока борьбу ведет в основном старшее поколение. Братья Оуэны приехали в Англию из Уэльса во время безработицы 30-х годов. Отец Питера, Гарольд, старый профсоюзный активист,— живое воплощение традиционного, довольно мощного и в наши дни британского тред-юнионизма. Честный и искренний Гарольд озабочен недостаточной активностью и сознательностью рабочих — «работают, пока есть работа», и совсем не думают о том, что завтра им грозит безработица. Быть может, Гарольд видит острее других, но все его действия скованы лейбористской моделью «социализма». «Скажи им (лейбористам.— Г. А.), что социализм — это нечто бóльшее, чем просто новые комитеты и система социального обеспечения, и они не поймут, о чем это вы толкуете»,— замечает один из персонажей книги.

В книге, столь непосредственно обращенной ко многим острым проблемам рабочего движения в странах Запада, вполне оправдан показ производственного процесса (в той или иной степени он есть и у Юлитало и у Дзордзенона). На заводе вводится новый метод окраски автомобилей, следовательно, появятся новые расценки. Администрация старается их уменьшить. Гарольд, представляющий профсоюз, возражает, поскольку понимает, что устанавливается цена труду человека.

Ареной столкновения Гарольда и Дика Мэннинга становится профсоюзное собрание. Забастовка, объявленная, как мы бы сказали, «смежниками», то есть рабочими завода, поставляющего детали для автомобильного конвейера, при высокой степени взаимосвязанности современного индустриального производства вызывает цепную реакцию — сразу же сокращается выпуск продукции на основном предприятии, временное увольнение грозит многим рабочим. Дик требует немедленно выступить в поддержку бастующих: «Зачем же позволять администрации разделаться с нами поодиночке и когда им удобно?» Но влиятельный и осторожный Гарольд возражает. Большинство за Гарольда. И забастовка «смежников» заканчивается... началом переговоров с администрацией.

Реймонд Уильямс подводит читателя к мысли о том, что все более широкие слои рабочих, рядовых членов лейбористской партии должны переходить к политической борьбе, ибо традиционные забастовки большей частью кончаются компромиссом — стороны идут на маленькие уступки, и вскоре борьба начинается сначала. Характерно в этой связи утверждение левого лейбориста, профессора социологии Артура Дина: «...все сводится к узкоматериальным интересам, и только к ним. Вся профсоюзная работа сосредоточивается на одной цели: деньги и улучшение условий. Наши деятели разговаривают с работодателями на языке работодателей».

Ситуация, сложившаяся в Англии, классической стране капитализма и тред-юнионизма, где лейбористы отстаивают свою модель «социализма» с сохранением крупного капитала, в целом типична для подавляющего большинства стран Западной Европы, в которых ряд «социалистических» или «рабочих» партий, обладающих достаточным весом и влиянием в рабочей среде, прочно стоит на пути социал-реформизма, являющегося настоящим тормозом рабочего движения. Самим рабочим подчас не хватает четкого понимания необходимости единения. В их среде встречаются индивидуалистические настроения: «своя рубашка ближе к телу».

В романе Уильямса жена Гарольда Кейт критикует умудренного годами профсоюзной борьбы и потому излишне осторожного мужа: «...сокращение они уже вам преподнесли. Дальше это будет выходное пособие, предварительная информация, подробные и откровенные совещания, как у мясника со свиньей». Но на памяти Гарольда те «прекрасные времена», «когда просто состоять в

профсоюзе было нарушением правил компании». Сила рабочего коллектива видна в марше протеста против предстоящих сокращений, и хозяева вынуждены намеченные сокращения отложить. На смежном заводе опять забастовка — вновь вопрос: поддерживать товарищей или нет. Пока рабочие размышляют, администрация объявляет локаут.

Писатель, углубляясь, быть может, в самый жизненный конфликт в современном западном обществе, приводит жестокую аргументацию хозяев: «Надо распроститься с дорогостоящей иллюзией, будто назначение промышленности не в производстве продукции, а в обеспечении работой». При подобном противопоставлении «страдающей» стороной всегда будут хозяева — увольнения легче всего объяснить падением спроса на рынках сбыта, и тогда хозяева, равно как и рабочие, окажутся игрушками системы свободной конкуренции. Однако хозяева могучего автомобильного концерна теряют лишь прибыли, а рабочие — свой хлеб насущный. Таково реальное положение дел в обществе «равных» возможностей.

Отсутствие необходимой солидарности позволяет владельцам концерна одерживать победы над рабочими разных предприятий, по очереди подавляя их выступления. В романе Уильямса речь идет о создании общего профсоюзного комитета, объединяющего всех рабочих предприятий концерна. Координация действий поможет рабочим лидерам быть более упорными и последовательными. Стачка и по настоящее время остается самым испытанным оружием в руках рабочего класса — дело только в том, под какими лозунгами она проводится, какие требования выдвигают бастующие.

Кроме того, забастовка несомненно служит своеобразной формой самоутверждения пролетариев, которые, в частности в Англии, были и продолжают оставаться людьми второго сорта. Горькая ирония звучит в словах: «Для рабочего человека есть только два пути стяжать известность — либо стать звездой отечественного футбола, либо возглавить стачку... Только в этих двух случаях он перестает быть рабочей силой и становится человеком». Отношение к трудящемуся человеку на Западе у тех, кто формирует общественное мнение, мягко говоря, неуважительное, следовательно, и сам труд вряд ли может рассчитывать на то, чтобы занять почетное место на шкале этических ценностей капиталистического общества. Произведения, о которых шла речь, убеждают в справедливости этой мысли.

Перед современным западным квалифицированным рабочим, казалось бы, достаточно обеспеченным, живущим нередко в собственном домике и имеющим автомобиль, стоят, по существу, те же проблемы справедливой оплаты за проданный труд, что стояли перед пролетариями середины XIX века. Технический прогресс усложняет формы эксплуатации, но отнюдь не отменяет ее. Даже материальный достаток непрочен и зыбок; потеряв работу, рабочий теряет приобретенные блага. А кроме того, постоянная угроза безработицы рождает не только проблемы материальные, но и не менее острые психологические. Кто измерил тяжесть внутренней травмы человека, понявшего свою ненужность и смирившегося с ней или же не смирившегося, но с каждым днем теряющего веру и в самого себя, и в свое будущее?

Конечно, в советских романах, описывающих совершенно иную действительность, подобных проблем мы не встретим. Но вот с забастовкой, правда очень своеобразной, сталкиваешься в романе Липатова. Борясь с Гасиловым, молодые рабочие во главе со Столетовым устраивают «забастовку наоборот». Какая в этом необходимость? Цинично ничего не делающий Гасилов обманом ходит в передовиках: он намеренно сохраняет на своем участке устаревшую технологию, предельно заниженные планы, низкие нормы выработки, постоянно занимается приписками, сдерживая тем самым рост производительности труда. Чтобы вывести Гасилова на чистую воду, ребята и устроили «забастовку наоборот», во время которой выработали в течение трех майских дней 250 процентов плана. То есть, иными словами, сами рабочие потребовали повысить норму выработки. Ситуация явно прямо противоположная ситуациям, изображенным в западных романах. Но насколько характерна она для нашей страны? Ведь подобная позиция предполагает и в самом деле очень высокую степень сознательности, подлинное чувство хозяина своей страны.

Виль Липатов — писатель, чуткий к дыханию времени, ему удается увидеть новое в нашей жизни, неожиданное, но естественное разрешение острого конфликта. И «забастовка наоборот» имеет принципиальное значение — в такой гиперболизированной, парадоксальной форме проявилось в ней важнейшее качество советского человека — ответственность за порученное ему дело, стремление добиться в нем наивысшего возможного успеха. Реальность, запечатленная Липатовым, успешно поверяется самой жизнью.

В одном из очерков, опубликованных в газете «Правда» 28 декабря 1974 года, приводится заявление, подписанное всеми членами бригады пилорамщиков Соломбальского лесопильного и деревообрабатывающего комбината: «В связи с изменением технологии, лучшей организацией рабочих мест выявились резервы, позволяющие нам значительно перевыполнять существующие нормы. Обсудив все вышеперечисленные факторы, оценив свои возможности, коллектив бригады просит увеличить нам с 1 декабря расчетные нормы на 10 процентов и уменьшить списочный состав бригады на двух человек».

Евгений Столетов, возглавивший борьбу рабочего коллектива против Гасилова, объясняет свое поведение не понимающему его Аркаше Заварзину: «Я рабочий, Заварзин. Пролетарий, которые, всех стран соединяйтесь... Я не буду заботиться о высокой

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ
ВСМАТРИВАЯСЬ В ОЧЕВИДНОЕ

производительности труда, кто же будет заботиться?» Не сразу, не легко, но что-то шевельнется в душе Заварзина, который после очередной стычки со Столетовым ухватит главное: «Я тогда понял, что Столетов для себя выгоды не искал... Он не для себя старался — для других».

Сходным со столетовским высоким сознанием труда для других, сознанием необходимости своей трудной, изнуряющей работы для родины, нуждающейся в золоте, живут герои «Территории» Олега Куваева, талантливого и безвременно ушедшего от нас писателя.

Быть может, само обращение к этой книге в данной статье может показаться неправомерным, поскольку герой ее, Илья Чинков, не очень молод и не рабочий, а главный инженер геологического управления. Но именно в этом образе как бы собраны воедино важные общие черты современного молодого героя: сам еще далеко не старый, он оказывается примером для молодежи и умелым ее воспитателем.

Чинков — безусловно, деловой человек в том смысле, что у него на первом месте всегда дело. Но как далек он от ставшего в последние годы стереотипом «делового человека» эпохи НТР, сухаря, презирающего любые эмоции только потому, что их нельзя вычислить с помощью логарифмической линейки или, на худой конец, ЭВМ! Чинков — человек, живущий не чувствами, но страстями. Под его скромной, даже вялой манерой держаться скрывается настоящий вулкан фантазий и идей. Он — парадоксальный карьерист-романтик, слепо верящий в интуицию, подкрепленную строгим расчетом, сторонник озарений и неожиданных блистательных догадок, крутой, волевой администратор. В нем живет дух первых русских землепроходцев и мореплавателей, не боявшихся ни бога, ни дьявола: «Меня отец так воспитал. Всегда стремиться на мостик, если ты даже трюмный матрос. Но стремиться за счет своей силы».

К интереснейшим выводам приводит сопоставление Чинкова с Гасиловым. Гасилов внешне, по всем формальным признакам ближе к рабочим, но в душе да и на практике он — чинуша, самый настоящий бездельник-бюрократ. Чинков по своему положению как будто бы чиновник, но по существу он — рабочий высокого класса, ибо любой инженер-геолог начинает в поле с «черной» работы.

Так вот, в своем деле Чинков знает и умеет все — на этом и зиждется его непререкаемый авторитет и легендарная репутация. Он в тундре так же на месте, как и в управлении в знаменитом, похожем на трон кресле из черного дуба: «Он (Чинков.— **Г. А.**) монументально сидел на ящике из-под консервов, и было похоже, что главный инженер управления всегда тут сидел и будет сидеть».

Фанатическая преданность делу Чинкова имеет в романе своеобразного оппонента в лице молодого, одаренного и образованного геолога Гурина. Гурин — прекрасный работник, но он — чистый прагматик и индивидуалист, не обладающий творческим началом. Он восхищается деловыми качествами Чинкова-руководителя, не понимая истинных масштабов личности: «Есть цель. Есть ум. И абсолютно нет предрассудков, именуемых этикой». Но это неправда. У Чинкова есть строгий моральный кодекс человека, способного на самопожертвование ради дела, высокой государственной необходимости. А вот у самого Гурина никакой этики нет, а есть циническая маска «единичного философа», плохо прикрывающая его человеческую незначительность.

Деловой Чинков и деловой Гурин. Сводя этих, таких непохожих людей на страницах своего романа, Куваев словно призывает не обманываться эпитетом «деловой», а видеть за ним человека и конкретную цель, поставленную им.

Чинков — представитель среднего поколения, но есть в книге среди множества молодых героев и один герой из старшего поколения — нынешний заместитель министра Сидорчук, под руководством которого молодой Чинков когда-то начинал: «Чинков... вспомнил, как видал его опухшего от комаров, в драной штурмовке и с цепкими движениями лесовика...» Сидорчук, умный и деятельный, государственный человек, сумевший увидеть правоту Чинкова и поддержать его идею, и Сидорчук, соленой шуткой ответивший на подначку разбитного рабочего,— в высшей степени типичный образ. Ведь большинство наших крупных руководителей как раз и прошло всю лестницу от рабочего до командира производства или же целой отрасли — ситуация, на Западе практически немыслимая.

Для героев советских романов отношение к труду есть прежде всего категория нравственная. Присутствующий в западных романах нравственный конфликт («Желтый комбинезон», «Второе поколение») вытесняется на задний план чисто производственным. Во всяком случае, соображения морального характера возникают у Визинтина только тогда, когда его «путь наверх» приводит к бесславному концу; через размышления на этико-социальные темы проходит и попавший в научный тупик Питер — то есть все это в конечном счете следствия основных производственных конфликтов.

Тогда как, скажем, в романе Липатова принципиальный производственный конфликт теснейшим образом связан с вопросами морали. Собственно говоря, и разворачивается-то он прежде всего, если так можно выразиться, в морально-производственной сфере, поскольку главным оселком, на котором пробуют друг друга его участники, оказываются отношение к труду, гражданская позиция того или иного человека, его ответственность не только за то, как он сам работает, но и за то, как работают рядом. Ведь несмотря на обилие повествовательных пластов, основной смысл романа Липатова — противоборство двух образов, двух полярных жизненных позиций — Столетова и Гасилова.

Образ нелепо и трагически погибшего Столетова, встающий из воспоминаний раз-

ных людей, превращается в своеобразный символ подлинно социалистического отношения к труду, трудового энтузиазма советского человека. Характер Столетова непростой и в то же время удивительно цельный — в нем уживаются чистота, обаяние, самоотверженность, мышление государственного человека с неловкостью, склонностью к внешним эффектам, угловатостью в манерах, а иногда и действиях. Резкий юношеский максимализм сочетается с верой в людей: Столетов не сомневается, что и Гасилова можно перевоспитать и исправить.

Липатов находит свои краски и для товарищей Столетова. Это настоящий рабочий коллектив, объединенный общностью взглядов и целей, что, естественно, отнюдь не предполагает единообразия характеров молодых рабочих. Все они очень разные и по уровню образования, и по широте интересов, и по степени сознательности. Большинству до Столетова еще предстоит расти, но каждый из них знает, что ему открыта дорога к образованию, к высотам профессионального мастерства. Именно этим осознанием личной социальной перспективы, совпадающей с поступательным развитием всего нашего общества, молодые герои Липатова выгодно отличаются от своих сверстников из западных романов. Гражданская зрелость этих молодых рабочих проявляется и в том, что они уже поняли, так сказать, «служебную» роль диплома в становлении личности: не имеющий высшего образования Столетов как личность богаче и ярче дипломированного технорука Петухова, духовного сына Гасилова. Для Столетова и его товарищей важнее благополучия возможность максимально раскрыть и применить на деле свои способности и силы, принести реальную и ощутимую пользу обществу, ибо ничто так не укрепляет веру человека в самого себя, как умение помочь другому, завоевать уважение общества своим трудом.

В романах о рабочих, принадлежащих перу писателей капиталистических стран, немалое место занимает описание производственного процесса прежде всего с тем, чтобы подчеркнуть его монотонность, бесчеловечность и враждебность героям. Думается, что вот такой, например, дышащий подлинным и грозным трудовым весельем эпизод вряд ли возможен в западном романе. «Вали лес на обочину! — во второй раз ликующе прокричал Женька. «Забастовка наоборот» гремела угрожающе тракторными моторами, самозабвенно выла пилами «Дружба», размахивала руками кранов, летала в Сосновку, постукивая на стыках стремительными платформами, хлестала по теплой и круглой земле умирающими на лету деревьями; хватала жадно весеннюю землю стальными траками машин; «забастовка наоборот» кричала Петру Петровичу Гасилову о том, что приближается время, когда он, потеряв солидный и созидательный вид, выбежит из теплой вагонки, поняв, что случилось, замрет от предчувствия конца».

Сопоставляя произведения о рабочем классе, опубликованные на Западе, с книгами советских писателей, нельзя не обратить внимание на еще одно принципиальное отличие — отношение героев к деньгам. Сколь бы подробно и тщательно ни описывали советские прозаики быт, деньги никогда не займут в нем того особого места, которое отводится им в романах писателей капиталистических стран. Персонажи их книг не заслуживают упреков в расчетливости или тем более в скупости. Их постоянная и нередко специально подчеркиваемая писателями сконцентрированность на денежных вопросах — скорее печальная необходимость, наглядное подтверждение страшной неуверенности в завтрашнем дне.

Во всех трех западных романах по-особому звучит тема бережливости, что, конечно, никак нельзя считать случайностью. Вот как ведет себя молодой герой у Юлитало: «Еще накануне вечером Раймо тщательно продумал, как он использует деньги: отложил в отдельный ящик то, что хотел сэкономить, и подсчитал с карандашом в руках, сколько он должен тратить на жизнь». Есть специальная тетрадь для записи расходов и у Сандро Визинтина, а в романе Уильямса идет речь о собственных сбережениях Кейт, на которые она покупает мужу электробритву.

Деньги, и кстати немалые, зарабатываемые героями Липатова или Куваева, играют в их жизни подчиненную роль. Не будем ханжами, этим ребятам деньги нужны, ибо они не святые и не бессребреники, но деньги для них не самоцель, а просто заслуженное вознаграждение, один из многих стимулов их труда. Отношение к работе единственно как к источнику заработка свойственно лишь героям отрицательным — Гасилову или Заварзину, у Куваева героев, склонных к накопительству, и вовсе нет.

Рабочие в романах западных писателей по большей части не могут относиться к труду иначе, как просто к источнику средств существования, хотя многим из них свойственны обязательная для настоящего рабочего, мастера, гордость за свою профессию, свое умение, личностное отношение к предмету и орудиям труда, своеобразное «очеловечивание» их. Капиталистическое производство отнимает у труда его поэзию, превращая любой труд всего лишь в одну из разновидностей заработка.

На примере Сандро Визинтина очевидно, как уродует капиталистический способ производства одаренного человека, в других условиях несомненно бы ставшего одним из самых передовых мастеров высокого класса. Так сходные черты в характерах героев под воздействием принципиально иных общественных отношений дают противоположные результаты. А вот для молодых героев Куваева характерна жадность до труда, полное опьянение им, какое бывает только у очень сильных и цельных людей. Без лишних слов формулирует это не склонный к громким декларациям Баклаков. «Мы все обреченные люди,— думал он

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ
ВСМАТРИВАЯСЬ В ОЧЕВИДНОЕ

на ходу.— Мы обречены на нашу работу. Отцы-пустынники и жены непорочны, красотки и миллионеры — все обречены на свою роль. Мы обречены на работу, и это, клизма без механизма, есть лучшая и высшая в мире обреченность».

Эту одержимость работой Баклаков унаследовал у старшего поколения. Преемственность поколений очевидна в размышлениях о работе. В номере московской гостиницы Сидорчук и Чинков раздумывают о своей жизни: «Их давно не интересовали личные деньги, зарплата, и даже честолюбие с возрастом как-то прошло. Силой этой называлась работа. Но что такое работа? Кто может дать этому краткое и всеобъемлющее определение? Страсть? Способ самоутверждения? Необходимость? Способность выжить? Игра? Твоя функция в обществе? И так далее, до бесконечности. «Когда меня хватит третий инфаркт,— сказал Чинков,— я хочу в этот миг перед смертью знать, что выполнил почти все, к чему был предназначен».

Есть в разбираемых произведениях ряд общих закономерностей. Ни на материале западной прозы о рабочих, ни тем более на материале советской нет никаких оснований поднимать пресловутый вопрос о «конфликте поколений», столь часто абсолютизируемом западными социологами и публицистами.

В 60-е годы в буржуазных кругах многих капиталистических стран молодежь, заявившая о своем радикализме, атаковала, правда преимущественно на словах, идеалы и стиль жизни старшего поколения. Буржуазным теоретикам выгодно придать этому конфликту глобальность, механически перенести его и на рабочий класс, чтобы тем самым затушевать объективный социальный смысл. Но художественная литература полностью опровергает эти построения. Хотя бы на примере рассмотренных романов можно сделать четкий вывод о преемственности традиций в рабочих семьях. С очевидной симпатией и сочувствием относится к своим трудовым и не слишком удачливым родителям Раймо Куяла. Хороший нравственный урок получает Визинтин именно от рабочих старшего поколения. На первый взгляд оторвавшийся от рабочего класса Питер Оуэн хранит в душе верность отцу и его классу и готовится к серьезной борьбе за интересы пролетариата.

Творческая инициатива и представление о рабочей чести присущи молодым героям Липатова и Куваева. Нужды страны и задачи, поставленные временем, воспринимаются ими как их кровное, личное дело. И это не зависит от того, какова их конкретная профессия и где именно им довелось работать. Столетов и его друзья, как и персонажи «Территории», трудятся не на конвейере. Но те же черты и взгляды свойственны многим тысячам молодых людей, стоящих у станков или у автоматических линий, ибо таково мировоззрение типичного советского молодого рабочего. Герой очерка Виля Липатова «Рабочий» («Правда» от 7 апреля 1974 г.) двадцатишестилетний рабочий главного конвейера Волжского автомобильного завода Андрей Андреевич Зубков в своем монологе часто перекликается со Столетовым. Он говорит о себе: «Я буду не только гайку крутить, я буду с голубыми глазами и счастливой улыбкой каменным топором деревья тесать, если буду знать, что мой труд нужен людям, что они без меня обойтись не могут...»

Таких слов нельзя встретить ни в одном западном романе или очерке о рабочих.

...Что ж, может, и в самом деле не стоит искать «краткое и всеобъемлющее определение»? Дела чаще всего бывают красноречивее слов. Старшему и среднему поколению советских людей есть кому передать «лучшую и высшую в мире обреченность».

■

Сегодня, когда на политический климат Земли все более благотворно воздействует разрядка международной напряженности, особое значение приобретает выявление общих и специфических тенденций и закономерностей мирового литературного процесса.

В рассмотренных произведениях легко обнаружилось немало сходного как в тематическом, так и в художественном плане: интерес к взаимоотношениям людей, занятых в сфере материального производства, ощутимая связь с документальной, очерковой литературой, превыше всего ставящей достоверность изображаемого.

Однако совершенно очевидно и принципиальное различие.

Разная общественная атмосфера формирует разную психологию, разные типы социального сознания. Эту истину необходимо помнить, поскольку западные идеологи насаждают теорию так называемого «постиндустриального общества», из которой следует, что в эпоху научно-технической революции капитализм постепенно якобы утрачивает свои антагонистические противоречия и «сближается» с социализмом. Но ведь техника, рожденная НТР, сколь бы совершенной она ни была, вовсе не гарантирует ни социальной, ни этической гармонии.

Художественная литература, отражая социальную и духовную жизнь людей, их отношения в процессе производства, убедительно опровергает построения западных теоретиков. Образы молодых советских рабочих отражают более высокий тип общественного сознания, нежели образы их западных сверстников. Присущее советскому человеку чувство личной ответственности не только за непосредственно ему порученное дело, стремление мыслить по-государственному широко, сверяя свою судьбу с судьбой народа, всей страны, возможно лишь при социализме. Именно социализм пробуждает народные массы к творчеству, к активному участию в управлении общественным производством и обществом в целом. В героях Липатова и в героях Куваева проявляются черты нового человека, видящего свое предназначение в том, чтобы служить людям, бороться за скорейшее построение коммунистического общества.

Не хочет быть бессловесным придатком машины, бездумно пользующимся благами «общества потребления», и молодой рабочий Запада. Он зреет для грядущих битв...

◆

Критика

А. ГУРЕВИЧ

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Недавно я получил необычное приглашение: принять участие в научном семинаре, посвященном установлению контактов с внеземными цивилизациями. Я знал, что физики, астрофизики и другие ученые люди обсуждают задачу посылки сигнала в космос в надежде на то, что этот сигнал будет принят какими-то разумными существами на некой звезде; толкуют они и о возможности приема землянами сигнала из других концов Вселенной. Но я, признаться, не представлял себе, что историк, занимающийся средневековой культурой, может иметь касательство к обсуждению подобных вопросов. «Можете,— отвечали мне.— Ведь вы интересуетесь решением задачи, в принципе такой же: как завязать диалог с людьми иной культуры?» Я не уверен в том, что способен внести конструктивный вклад в поиски общего языка с гражданами далекой звезды. Но после этого приглашения уже нетрудно дать согласие на участие в обсуждении темы «Восток и Запад».

Нет необходимости распространяться о том, насколько актуальна постановка этой проблемы и в интеллектуальном, и в идеологическом, и в политическом отношениях. От взаимопонимания между народами зависит будущее человечества. Всякая идея национальной, культурной, исторической исключительности таит в себе огромную опасность. С этой мыслью, пронизывающей статью Т. Григорьевой «И еще раз о Востоке и Западе» («ИЛ» № 7, 1975), нельзя не согласиться. Совершенно права она и тогда, когда, подчеркнув тот самоочевидный факт, что культура существует и развивается в обстановке сложнейших противоречий, обращает внимание на необходимость изучения того уровня культуры, на котором на первый план выступают традиции, устойчивые культурные ценности, аспекты социальной и исторически сложившейся национальной психологии.

Такой целостный подход к культуре диалектически сообразуется с социально-историческим ее изучением, как то вытекает из марксистской традиции,— они друг друга взаимно дополняют и обогащают.

Как специалист по западной истории, я хотел бы высказаться по некоторым затронутым Т. Григорьевой сюжетам. Мне представляется, что проблема, поднятая в статье Т. Григорьевой, шире вопроса о «Востоке и Западе». Впрочем, и из статьи явствует, что сопоставление столь несхожих начал, как «Восток» и «Запад», отнюдь не исчерпывается противостоянием или сближением, взаимовлиянием двух культурных регионов, существующих в наши дни. У обоих регионов — неодинаковое отношение ко времени: в одном случае культура прогрессирует в потоке линейного времени, в другом — скорее покоится, самовоспроизводится в кругах вечно возвращающегося, циклами идущего времени. В определенном смысле можно сказать, что эти начала, которые мы называем «Запад» и «Восток», не синхронны. Как видно из работы Т. Гри-

горьевой, «Запад» есть некое олицетворение современности, притом не только европейской и североамериканской (ибо этот западный принцип проникает и на Восток), современности, в которой прошлая история присутствует, разумеется, но как бы в снятом виде, тогда как другое начало — «Восток» — в огромной степени отягощено историческим прошлым, и это прошлое, собственно, никуда не ушло—оно здесь, оно есть вместе с тем и настоящее.

Поэтому я был бы склонен проблему «Восток и Запад» переформулировать в проблему «Мировая культура и современность», или, точнее, «Мировая культура и современное к ней отношение» (современное ее понимание, усвоение). В таком случае нетрудно было бы увидеть, что вопрос, обсуждаемый Т. Григорьевой, есть составная часть обозначенной сейчас проблемы.

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно проверить, насколько исключительно японскими являются те черты культуры, о которых с глубоким пониманием пишет Т. Григорьева. Ограничусь двумя примерами.

Первый. Восприятие, переживание времени, традиционно присущее японской культуре, не есть признак только ее одной. Принцип круговращения времен характерен для мировоззрения многих народов древности и средневековья. Этот принцип присущ мифологическому сознанию, которое склонно соотносить настоящее, земное время со временем «изначальным», в известные моменты (празднеств, ритуалов) возвращающимся и воспроизводящим исходное состояние мира. Даже в культуре европейских народов, давно и безвозвратно ушедших от подобного осознания времени и мыслящих его исключительно векторно, еще можно найти рудименты такой «незападной» его трактовки. Возьмите хотя бы слова, обозначающие время: английское tide, «время», «сезон», но и «прилив и отлив моря»; английское year, немецкое Jahr, «год», восходят к древнескандинавскому ár, «время», «год», «урожай», то есть нелинейное, все вновь возобновляющееся природное время. Следовательно, слова, ныне прилагаемые к понятию бескачественного линейного времени, некогда имели иной смысл, предполагали периодическую повторяемость, возвращение времени, наполненного определенным, конкретным содержанием. Может быть, еще интереснее в этом отношении происхождение слова alt, old. Ныне оно указывает возраст, но в древнескандинавском языке термином öld обозначались и «время» и «род людской». «Век» и «мир людей» мыслились как некое единство, потому что, согласно древним представлениям, время насыщено человеческим содержанием, вне жизни людей его не существует. «Предок» английского слова world, «мир» — древнеанглийское weorold (сравни: древнескандинавское veröld) также означал и «жизнь», «мир» и «время». Следовательно, появлению абстракции времени и в европейской культуре предшествовала стадия, на которой время мыслилось совсем иначе, не было «отчуждено» от человека и его жизни.

Другой пример опять-таки непосредственно связан с восприятием времени, но относится не к столь отдаленной эпохе, как первоначальные значения терминов времени. Т. Григорьева вправе противопоставлять определенные черты мировоззрения японцев и европейцев, когда она пишет об отсутствии на Востоке портретной живописи как о симптоме особого отношения к человеческой индивидуальности; в одной системе культуры — антропоцентризм, в другой — принцип «не-я». Если же японские художники и писали портреты, то «стремились передать не индивидуальную неповторимость лица, а какое-то неизменное свойство человеческой натуры». Очень существенное наблюдение. Вспомним, однако, что и европейскому портрету (если оставить в стороне античность) от роду всего лишь несколько сотен лет и что на протяжении средневековья художники, изображая человеческие лица, искали в них не неповторимого, «необщего выраженья», а чего-то совсем иного, не подверженного ходу времени. В обоих случаях мы имеем дело, разумеется, не с «неумением» мастеров, а со специфическими художественными задачами и, шире, с особенностями мировосприятия, с ориентацией его на вечные ценности, а не на изменение во времени. Если портрет фиксирует «сиюминутное» состояние человека либо «подытоживает» его индивидуальную жизнь, то «икона» (я применяю сейчас это слово в расширительном смысле, как способ деконкретизирующего изображения) обнаруживает иной план его бытия, более существенный, с точки зрения средневекового мировúдения европейца или того толкования личного начала у японцев, о котором столь пластично сказано Т. Григорьевой.

Поскольку речь зашла об изобразительном искусстве: разве отсутствие линейной перспективы, характерное для традиционной живописи японцев, столь уж специфическое явление? С этим же фактом сталкиваемся мы и во многих других культурах, в том числе и в средневековой европейской живописи («обратная перспектива»). Если европейскую культуру Нового времени принять за норму и эталон, то бóльшая часть других культур, известных истории, окажется «аномалиями»!

Я не хочу этими примерами доказывать, что восприятие времени или трактовка личности в обоих регионах когда-то были идентичными. Напротив, я нисколько не сомневаюсь, что и в средние века культура Европы была глубоко непохожа на культуру Востока. Японский портрет никогда нельзя было спутать с портретом или с «иконой» европейскими. Если и европейцы в далекую от нас эпоху ощущали время как органическую часть реальности, неуничтожимую и устойчивую, то все же это их восприятие времени наверняка отличалось от восточной концепции времени. Но европейцы в конце концов ушли от такого переживания и осознания времени и, следовательно, самой жиз-

ни, ее, так сказать, «фактуры», тогда как японцы...[1]

Те или иные признаки могут выглядеть близкими и даже удивительно сходными в разных культурах — взятые же в целом, как системы, культуры глубоко различны, и внутри этой целостности, от нее, каждый ее компонент получает своеобразную окраску. Поэтому даже сопоставимые, на первый взгляд, явления культур могут оказаться глубоко несходными, если их не вырывать из контекста их собственных исторических образований. Ведь каждая культура шла своим особым путем, она формировалась в ей присущей социальной структуре, абстрагироваться от которой невозможно. Для того чтобы судить о той или иной культуре, нужно стараться мысленно охватить ее с разных сторон. Не менее существенно представить себе путь, который она прошла.

Поэтому-то я высказал выше предположение, что принципы, обозначенные Т. Григорьевой как «Запад» и «Восток», не синхронны. То, что она разумеет под «Западом», есть состояние культуры, достигнутое группой народов в Новое время, состояние, являющееся результатом глубокой мутации: новоевропейские мировоззрение и культура выросли из средневековой культуры, преодолев ее и во многом отрицая ее. Отношение японской и некоторых других культур Востока к собственной традиции было, видимо, существенно иным.

Почему я так настаиваю на переформулировке проблемы?

Т. Григорьева очень наглядно показала, сколь трудно нам, людям, вскормленным плодами совсем иной культуры, проникнуть в смысл и принцип организации культур других народов и континентов. Но не менее убедительно показала она и то, насколько важно именно теперь постараться понять «язык» этих других культур,—в этом пафос ее статьи. Для того же, чтоб такое понимание стало возможным, необходимо, как я убежден, более глубокое осознание участниками этого диалога самих себя, своей собственной культуры и ее истории. Я не хочу сказать: «сперва одно и только затем уже — другое». Скорее всего, эти оба процесса познания должны идти рука об руку, одновременно.

Собственно, только одновременно и вместе они и могут происходить. Ибо в конечном счете речь идет об одном и том же. Ведь, стремясь понять культуру других народов, мы лучше осознаём и нашу самобытность, находим и общее и специфическое. Но тот же двоякий процесс совершается и тогда, когда наше внимание обращено на свое собственное прошлое: и здесь мы находим и постоянные и переменные величины, что-то изменилось, а что-то воспроизводится все вновь и вновь. Если сопоставление «Востока» и «Запада» имеет, условно говоря, как бы пространственный характер, то сопоставление современного и прошлого состояний нашей культуры обладает временно́й глубиной. Мне кажется, один способ рассмотрения не просто мог бы дополнить другой, но такое двоякое сопоставление попросту необходимо.

Мировая культура не есть только совокупность культурных срезов современности, произведенных на разных континентах и у различных народов. У всех этих культур есть свое прошлое, в том или ином виде присутствующее и в современности. Даже когда кажется, что прошлое это — пройденный этап, что оно полностью оставлено позади, всецело стало достоянием истории (допустим на минуту, что это так), то все же и в этом случае необходимо его знать, ибо только в сравнении с ним, с этим безвозвратно ушедшим состоянием, можно понять достаточно глубоко и полно нынешнюю стадию своей культуры.

Поэтому интеллектуальное перемещение в пространстве (с «Запада» на «Восток» и обратно) с необходимостью должно сочетаться с таким же путешествием и во времени: от современности к прошлому и от прошлого к современности. Нынешнее наше состояние даст вопросы, которые мы зададим прошлому, прошлое же вознаградит нас за любознательность материалом для размышлений как над ним самим, так и над современностью.

■

Не знаю, удастся ли установить диалог с мыслящими существами, благо таковые найдутся за пределами нашей планеты,— но определенно могу утверждать, что понять своего брата-человека, принадлежащего к другой эпохе, до крайности трудно[2]. Этот человек мыслил и вел себя не так, как мы,— и это нередко ставит нас в тупик. Вспоминаю такой случай. В одном докладе я сослался на то, что древние скандинавы, награбив драгоценные металлы у своих соседей, сплошь и рядом не тратили их, а закапывали в землю, топили в море или в болотах, то есть превращали их в клады, которыми ни они сами, ни потомки не могли

---

[1] Т. Григорьева интересно пишет о значимости противопоставлений правого и левого, запада и востока в символической системе древнего Китая. Но вспомним о членении структуры средневекового собора в связи с ориентацией по странам света или об образе всемирной истории как строения, каждая из четырех стен которого олицетворяет одновременно и сторону света, и этап в истории рода человеческого. Разве и в данном случае невозможны аналогии, при всех важных различиях в идеологии, религии, в социальной психологии, модели мира древнего Китая и средневековой Европы?

[2] Я возвращаюсь к этой параллели между контактами с внеземными цивилизациями и изучением культуры прошлого потому, что в обоих случаях действительно есть нечто общее, а именно: невозможность установления д и а л о г а в прямом смысле слова. Ведь как и с инопланетными обитателями, сигнал которых можно будет принять лишь неизмеримо позднее их исчезновения, историки пытаются задавать вопросы людям далекого прошлого...

воспользоваться. Один из слушателей, почтенный ученый, заявил на это: «Так не бывает, это невозможно, потому что противоречит человеческой природе».

Человеческая природа... Всегда ли поведение людей в прошлом диктовалось теми же побуждениями, что и наше собственное? Нет спора, мы не выбросим в болото сундук с серебряными монетами,— но именно так поступил исландский поэт X века Эгиль Скаллагримссон. Почему он так поступил — это особый вопрос [3]. Но откуда такая уверенность, что в головах людей, принадлежавших к другой, нежели наша, культуре, живших в иную эпоху, находились такие же представления о мире, что в своем поведении они руководствовались теми же самыми стимулами, что и мы?! Я целиком разделяю критические замечания Т. Григорьевой в адрес «европоцентризма» и «востокоцентризма», но хотел бы обратить внимание на еще один опасный «-центризм», коварство которого заключается в том, что он настолько привычен, что проходит незамеченным,— на «модерноцентризм». По своей эпохе и по близкой нам культуре судят обо всех прочих. Эта экстраполяция современности на прошлое делает невозможным его понимание,— сами того не замечая, мы попросту подставляем свойственный нам образ мира в головы людей другого времени! Об этом хорошо сказано в «Фаусте»:

> ...то, что духом времени зовут,
> Есть дух профессоров и их понятий,
> Который эти господа некстати
> За истинную древность выдают.
>
> *(Перевод Б. Пастернака)*

«Модерноцентризм» [4] (то, что один американский ученый назвал presentminded-ness — поглощенность мысли современностью), к счастью для нашей культуры, сочетается, на первый взгляд, парадоксальным образом, а в общем-то вполне закономерно, с неуклонно растущим сегодня интересом общественности к истории, в особенности — к истории духовной жизни, литературы, искусства, философии и эстетической мысли. Попробуйте достать книги М. Бахтина, Н. Конрада, Д. Лихачева, А. Лосева, М. Стеблина-Каменского или публикации античных, восточных, древнерусских или западных средневековых памятников культуры! В акте ревизии магазина «Академкнига» издания серии «Литературные памятники» изящно названы «товаром повышенного спроса».

Это отрадно, но вместе с тем ставит перед специалистами немалые задачи. Нужно не только перевести и издать те или иные тексты — нужно их еще и соответствующим образом преподнести. Для сколько-нибудь адекватного постижения образа мыслей людей другой культуры потребны колоссальные усилия. И уж если астрономы созывают симпозиумы для определения характера связи с инопланетными мирами, то, может быть, и специалистам по истории культуры, литературы, искусства тоже нелишне обсудить вопрос: каков минимум условий, соблюдение коих необходимо для того, чтобы по возможности устранять «шумы», возникающие при попытке установления связи с иной, нежели наша собственная, цивилизацией?

Нельзя сказать, что эти вопросы вовсе не поднимаются [5]. Я хотел бы привлечь внимание к интересной статье известного филолога и переводчика М. Гаспарова «Брюсов и буквализм», опубликованной несколько лет назад [6]. Распространенным оценкам брюсовского перевода «Энеиды» как неудачного и противоречащего духу русского языка М. Гаспаров противопоставил иную точку зрения. Перевод Брюсова — программа. Суть ее в том, что памятник античной литературы должен быть (и может быть) передан в переводе буквально, с соблюдением всех особенностей языка подлинника. Лишь при этом читатель в полной мере ощутит разительный контраст между культурой

---

[3] У язычников-скандинавов существовала уверенность, что в драгоценных металлах материализуются их личная удача, счастье, везенье (эти категории занимали центральное место в их сознании), и поэтому крайне важно было, чтобы никто не мог посягнуть на серебро и золото, в которых воплотилось их благополучие. Запрятав клад в землю или иначе скрыв его от людей, человек мог чувствовать себя гарантированным от неудачи. Перед нами один из многих известных этнологам случаев представлений о магической сопричастности человека, его внутренней сущности, и принадлежащих ему предметов,— такая вера широко распространена среди многих народов.

[4] «Модерноцентризм», поскольку он сопровождается превращением собственной культуры и своего образа жизни в абсолютный эталон при оценке всех других цивилизаций, подчас принимает форму «культурного эгоцентризма», высокомерно-снисходительного отношения ко всем культурам, которые принадлежат далекому прошлому: существует иллюзия, будто поколения людей, отделенные от нас толщею веков, «не доросли» до понимания каких-то вещей, ясных нам, что они были духовно «беднее» нас, так как не знали многого из того, что теперь известно. Прошлое видится как «недоразвитое» настоящее. Взгляд в высшей степени самоуверенный! Процесс культурного развития есть, разумеется, процесс кумулятивный: достижения культуры накапливаются и передаются следующим поколениям. Но всякое обогащение культуры сопровождается и потерями; многое забывается. Еще более существенно то, что меняется отношение к культурным ценностям: создания человеческого духа, которые некогда были предметами непосредственного восприятия и вызывали интенсивнейшие эмоции и мысли, впоследствии рассматриваются на большой дистанции, в меняющейся перспективе и потому — отчужденно; они уже вырваны из контекста живой культурной жизни, превратились в «памятники» культуры. Эти «памятники» могут представлять эстетический или исторический интерес, но смысл, который вкладывала в них эпоха, когда они возникли, по большей части оказывается уже недоступным современному сознанию. Постижение неповторимого содержания чужой культуры, восстановление по фрагментарным остаткам ее целостной индивидуальности — дело нелегкое.

[5] Недавно к этим вопросам обращался и журнал «Иностранная литература». См. статьи В. Потаповой «Не изложение, а живопись словом» и С. Липкина «Мысль и слово в переводе» в «ИЛ» № 1, 1975.

[6] «Мастерство перевода», сб. 8. М., «Советский писатель», 1971.

древности и тою, к которой сам принадлежит, и именно ощущения этого несходства переводчику и следует добиваться. Но насколько удобочитаемым оказывается такой буквалистский перевод? Выход из положения, по мнению М. Гаспарова, заключается в том, что желательны разные переводы одного и того же литературного памятника, выполненные как с позиций буквализма и рассчитанные на специалистов, так и в более свободной манере, когда переводчик позволяет себе некоторый отход от оригинала с целью облегчить его восприятие широкими кругами читателей, воспитанных на совершенно иной литературе. История перевода античных авторов в России, по мнению М. Гаспарова, представляет собой историю последовательных колебаний между двумя полюсами: периоды тяготения к буквальной передаче оригинала сменяются периодами относительно вольного с ним обращения, когда верх берет тенденция к максимальному приближению литературных памятников к строю мысли и языка современности. Сейчас, как полагает М. Гаспаров, завершается этап преобладания популяризаторского перевода и намечается переход к большей строгости в передаче всех оттенков стиля и мировоззрения эпохи, к которой относится переводимый памятник; во всяком случае, подобный переход желателен.

Не будучи переводчиком, я не осмеливаюсь высказывать суждений относительно добротности и оправданности брюсовского перевода или о профессиональной полемике, вызванной статьей М. Гаспарова [7]. Но я хотел бы решительно поддержать его в том, что мне представляется самым главным: нужно считаться с мыслью и эстетическими принципами переводимого произведения. Забота переводчика о массовом читателе трогательна, но должна быть каким-то образом поставлена в соответствие с заботой об авторе, творение которого переводят, и с уважением к миросозерцанию эпохи, говорящей его устами!

Поясню свою мысль. Известно, что в истории культуры далеко не всегда доминировала установка на новаторство. Так, например, в средние века господствовали стереотип, преклонение перед авторитетом, склонность постоянно повторять одни и те же мотивы, идеи и формы выражения, которые обнаруживали тенденцию превратиться в застывшие клише. Оригинальность и новизна, как правило, не ценились и даже внушали подозрение. В основе творчества лежало представление о том, что любой индивидуальный автор не творит заново самостоятельное произведение, но участвует в продолжении коллективной работы, ибо вся культура воспринималась как один текст, который подлежит, собственно, не созданию, а расшифровке, правильному прочтению. Соответственно и аудитория получала удовлетворение от повторения уже известного, от нахождения традиционного материала.

На современного читателя «этикетность» (термин, введенный Д. С. Лихачевым) средневековой литературы, выражающаяся, в частности, в приверженности к стандартным, устойчивым речевым оборотам, формулам, может произвести впечатление монотонности и бедности — ведь наш вкус приучен к разнообразию и новшествам. Раздражение и утомление современного читателя половодьем цитат и молчаливых заимствований из сочинений предшественников и авторитетов, изобилием общих мест, стереотипностью образов и ситуаций, фундаментальных признаков литературы далеких эпох — самые ощутимые свидетельства того, сколь радикально с переходом к Новому времени изменились и авторские и читательские установки, насколько глубокую трансформацию пережило самое понятие авторства [8].

И уже в этой связи перед переводчиком возникают своеобразные трудности. Если, скажем, в поэме имя героя сопровождается неизменной формулой «доблестный рыцарь», а каждое упоминание дамы — словами «прекрасная и благородная», то следует ли эти стереотипы давать в переводе или же стоит их опустить? Но встречаются случаи и посложней. В исландской скальдической поэзии, богатой условными метафорическими оборотами-кеннингами, мужчину, воина обычно обозначали выражениями типа «ясень битвы», «расточитель сокровищ» и т. п. Как быть, однако, в тех случаях, когда «расточителем сокровищ» именовали бедняка? [9] В переводе выражение «нищий расточитель сокровищ» будет звучать иронически, между тем как в подлиннике никакой иронии не подразумевается, как не подразумевается она и в выражении «грусливый ясень битвы», то есть «герой-трус»! [10]

Древние литературы подчиняются иным законам, нежели каноны поэтики Нового времени. Скажем, в «Песни о нибелунгах»

---

[7] См. «Мастерство перевода», сб. 9, М. 1973.

[8] Эпоха в истории человеческого сознания, на протяжении которой происходила, в аспекте ее преломления в литературе, смена неосознанного авторства осознанным, приходится в Европе на средние века. Автор, будь то создатель жития, саги, проповеди, миниатюры, рукописи или какого-либо технического усовершенствования, рассматривал свое творение прежде всего с точки зрения коллективной, артельной работы над целым, которое уже было ему предзадано. Такой взгляд не исключал авторского самосознания, но творческая самооценка заключалась не в противопоставлении себя миру, не в утверждении своей самобытности, несхожести с другими, а в смиренно-горделивом осознании мастерства, с которым автор выявил и сумел применить унаследованные «цеховые» навыки и знания, в том, что он с максимальной полнотой и совершенством высказал истину, принадлежащую всем.

[9] М. И. Стеблин-Каменский. Культура Исландии. Л., «Наука», 1967, стр. 98.

[10] Точно то же самое встречается и в «Песни о нибелунгах». Гуннские воины, получив от Кримхильды приказ напасть на Хагена и его товарища, медлят в нерешительности: их устрашил грозный вид обоих героев. В поэме это выражено такими словами: «гордые (или надменные) бойцы переглянулись», хотя на самом деле с гордостью у гуннов в данном случае дело обстояло неважно.

А. ГУРЕВИЧ

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Хаген убивает Зигфрида во время охоты, нанеся удар в спину безоружному. В переводе этой эпопеи на русский язык мы встречаем такие определения Хагена, как «коварный», «предатель», «злодей», «изменник», «вероломный мститель» и т. п. Но в подлиннике почти все эти выражения отсутствуют — эпический поэт предельно сдержан в своих оценочных суждениях, между тем как современному переводчику подобные этикетки кажутся не только естественными, но и необходимыми, и он, не зная меры, их применяет. А вот, пожалуй, более сложная ситуация. С помощью Зигфрида бургундский король Гунтер взял в жены богатыршу Брюнхильду. Во время брачной ночи он терпит жалкое фиаско: вместо того чтобы отдаться жениху, невеста связывает его и вешает на крюк, и в столь жалком положении он остается до самого утра. Но, даже проговяя Гунтера от ложа, Брюнхильда не забывает обратиться к нему в соответствии с этикетом: «благородный рыцарь», «господин Гунтер», и поэт по-прежнему именует его «могучим» и «благородным рыцарем»... Опять-таки в переводе все это прозвучит пародийнс и иронично, между тем как автор песни, насколько можно судить, был далек от намерения вызвать подобный эффект: Гунтер благороден и доблестен независимо от происходящего с ним, это — устойчивые клише. Как же быть?

Переводчик нашел самый легкий выход из положения: он просто-напросто устранил из текста все выражения, противоречащие нашему здравому смыслу. Но я бы не поздравил его с таким решением. Не знаю, как лучше всего поступить в подобных случаях. Может быть, следовалс дать комментарий и в нем разъяснить возникшую трудность. Я убежден в одном: молчаливое, никак не оговоренное устранение при переводе всех моментов, которые способны породить удивление современного читателя своею странностью (странностью для нашего сознания), ведет к обеднению смысла переводимого художественного творения и только мешает понять породившую его культуру. Это удивление, вызываемое нетождественностью мировоззрения и эстетического восприятия, может быть, и есть самое важное в нашем знакомстве с древней или средневековой культурой. Мы сталкиваемся с иным миром и, лишь осознав его непохожесть, неидентичность нашему, ощущаем историю,— только так, убежден я, можем мы приблизиться к пониманию духовной жизни людей далеких цивилизаций, а вместе с тем — и лучше осознать и свое собственное своеобразие [11].

[11] Вот еще пример интерпретации средневековой поэзии. Перед нами два перевода песни провансальского трубадура Пейре Видаля (конец XII — начало XIII века). Сопоставим несколько строк:

...Я милых донн совсем лишил рассудка:
Шлют перстни, ленты, письма — беготня
Гонцов любви растет день ото дня,
Бегут ко мне почти без промежутка!

Перевод В. Дынник в кн.: «Поэзия трубадуров, поэзия миннезингеров, поэзия вагантов». «Библиотека всемирной литературы». М., «Художественная литература», 1974, стр. 119.

...Такая слава тянется за мной,
Угадываю я в любом гонце
Весть добрую, в снурке ль витом,
в кольце,
И сердце бьется с радости такой.

Перевод А. Наймана в кн.: М. Мейлах. Язык трубадуров. М., «Наука», 1975, стр. 192.

Казалось бы, разница незначительная, но так лишь кажется «непосвященному». Исследователь провансальской лирики М. Мейлах замечает по поводу этих строк: «Считалось, что шнурок, кольцо и перчатка, которые дама, по образцу феодального оммажа, передавала воздыхателю, обозначали его принятие на куртуазную «службу» (там же). Любовное служение рыцаря-поэта даме осмыслялось в Провансе как служение вассала сеньору, соответственно и символы, применявшиеся в отношениях между влюбленным и предметом его воздыханий и поэтических излияний, представляли собой некую параллель тем знакам, которые употреблялись при вступлении рыцаря в ленную зависимость от господина. Хорошо известно, что символические процедуры и ритуалы играли огромную роль в средневековой жизни и в особенности в среде господствующего класса. Этот сугубо средневековый феодально-сословный смысл утрачивается, когда говорят о любовных записочках и других предметах, передаваемых «гонцами любви».

Переводчик, интерпретатор древнего художественного творения — наш посредник в этой встрече. Без него для массы читателей она вообще невозможна. И это налагает на него огромную ответственность. Открывает он пред нашим взором окно в былую действительность или же воздвигает зеркало, в котором вместо людей прошлого мы созерцаем свой же собственный лик?!

■

Внимательное чтение статьи Т. Григорьевой показывает, что при анализе ею особенностей восточных культур в центре внимания исследовательницы находятся не те или иные мыслители, поэты или художники и не отдельные произведения, хотя она широко на них ссылается,— интерес ее сосредоточен на раскрытии общего, типического, того, что выходит за пределы круга идей индивидуального творца и даже за пределы его времени,— ведь намеченная ею панорама восточной культуры охватывает многие столетия. В подобном подходе кроется определенный метод. Это метод поисков ценностей, лежащих в основе культуры, присущих ей в целом форм мировосприятия, того, что сама Т. Григорьева обозначила как «способ понимания вещей», «метод мышления». Такой метод не предполагает игнорирования специфики данного мыслителя или художника, но он не останавливается на ней, ищет то, что́ за этой спецификой скрывается. И при такой установке на выявление чувственно-понятийного «инвентаря», «инструментария» культуры, основополагающих ее параметров уже невозможно традиционно трактовать культуру как совокупность индивидуаль-

ных творений и писать ее историю только в виде серии монографий о художниках, философах, поэтах, музыкантах или в виде обособленных историй литературы, живописи, философии... Речь идет о принципиально ином, более теоретичном, ракурсе анализа [12].

В статье Т. Григорьевой удачно показано, что в пределах культурного региона творчество самых разных его представителей, в какой бы сфере они ни работали, имеет нечто общее — у них как бы один «почерк». Но констатация этого факта заставляет предположить, что такой культурный фонд был достоянием не только мастеров литературы и искусства, но, так или иначе, достоянием всех членов общества. Культурное творение адресовано определенной аудитории и для того, чтобы быть ею воспринятым, понятым, должно говорить с нею на общем языке. Под «языком» в данном случае разумеется не только язык, на котором говорят и пишут лица, принадлежащие к данной культуре, но и все средства информационного общения, все знаковые системы, которые применяются членами этой культурной общности. Иначе говоря, речь идет о культуре в более широком смысле слова, нежели тот, в каком она обычно трактуется,— о культуре как исторически сложившейся системе общения, воплощающей в себе основные жизненные ценности и образцы социального поведения, принятые в данном человеческом коллективе — народе, нации, в группе народов и стран, образующих один культурный регион [13].

Я не случайно начал свои заметки с примера интерпретации понятия времени. Эта категория может быть истолкована как философская, и известно, что над загадкой времени бились многие выдающиеся умы. Истолкование времени лежит в основе понимания истории — достаточно сравнить миф о «золотом веке» у древних или пифагорейское учение о возвращающемся времени с библейско-христианским отношением ко времени как движении к некоей цели, достижение которой завершит историю и сменит время вечностью. Но время не только осмысляется философски или является параметром физических, биологических и иных научных теорий. Оно есть факт человеческого переживания и в качестве такового находит свое выражение в искусстве, литературе, во многих других сферах человеческого творчества. В этом смысле можно говорить о чувстве времени, которое присуще данной культурной общности. Это ощущение времени не всегда и не полностью отливается в понятия, оно не философское — его скорее можно выявить как некий глубинный пласт неотрефлектированного коллективного мировосприятия. Сказанное сохраняет силу и в отношении многих других разнопорядковых компонентов культуры, ее картины мира, таких, например, как развитие, пространство, личность, право, судьба, слово...

Но в таком случае особое значение приобретает исследование тех сторон культуры, которые связаны с «неосознанным», «анонимным» творчеством. Традиционное сосредоточение внимания на одном лишь вкладе в культуру, который принадлежит поэтам, художникам, хронистам, философам, и подход к их творчеству как к сугубо индивидуальному,— иначе говоря, понимание его по аналогии с авторством Нового времени [14] не только серьезно обедняет картину культуры древности или средневековья, но и мешает адекватному, исторически верному постижению природы этого творчества.

Упомянутые выше черты средневековой культуры, преобладание безличности авторского выражения, трафарет, итеративность — это вместе с тем и характеристики традиционной народной культуры, как она обнаруживается в сказке, былине, народной песне, вышивке, костюме, прикладном искусстве. Ныне эта традиционная культура четко отделена от «большой культуры» писателей, мыслителей, художников, творящих индивидуально. В какой мере эти «отсеки» культурной жизни были разобщены и противопоставлены в предшествующие эпохи?

То, что мы привычно разделяем на «литературу» и «фольклор», в прошлом находилось в единении либо в более или менее органичной связи, представляло собой словесность, находившую отклик в разных слоях общества. Нам, естественно, трудно избежать термина «литература» при изуче-

---

[12] Нужно ли пояснять, что указанный подход не может заменить исследования отдельных явлений литературы, искусства и т. д. и творчества индивидуальных авторов и не претендует на такую замену? Однако, думается мне, выработка подобного подхода обязывает специалистов, разрабатывающих конкретные проблемы истории тех или иных сфер, отраслей культуры, увязывать свои исследования с той более широкой системой рассмотрения, которую предполагает охват культуры как целостности. Речь идет о своего рода «сверхзадаче» культурно-исторического исследования.

[13] Так емко понимаемая культура нисколько не утрачивает своей социальной дифференцированности. В соответствии с общественной структурой и культурные ценности определенным образом «распределяются» между разными группами, классами и слоями общества. Это очевидно. Но не менее очевидно и то, что поскольку существуют общество, народ, нация, существуют и средства общения, язык, на котором говорят все члены данной общности, равно как и все другие «языки» (символики, знаков и т. п.), надстраивающиеся над этим естественным языком. Эти знаковые системы в свою очередь неодинаково (и в разной мере) используются отдельными социальными группами общества.

[14] Об эволюции понятия авторства см.: М. И. Стеблин-Каменский. Мир саги. Л., 1971, стр. 39; его же: «Фольклор и литература». Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 31, вып. 3, 1972, стр. 250; его же: «Спорное в языкознании». Л., 1974, стр. 61.

нии произведений древних или средневековых авторов. Но, строго говоря, миф, эпос, песни о богах и героях, проповедь, агиография, коан выполняли функцию, отнюдь не аналогичную той, какую выполняет художественная литература в Новое время. Древняя словесность полифункциональна. Она охватывала мир во всех его проявлениях, и она же трактовала скрывающиеся за ними сущности. Космология и теология, история и право, обучение практическим навыкам так же входили в «компетенцию» литературы, как и деяния и страсти человеческие. Но именно поэтому народная и «высокая» культура в те эпохи, при всех различиях между ними, были побегами одного ствола, ибо вся культура опиралась на массив мифологических и магических верований и представлений. Тенденция мыслить изначально заданными образами, которые придают смысл жизненным явлениям постольку, поскольку последние с ними соотнесены; неодолимая потребность в символическом толковании, преобладавшем над причинным объяснением; пространственно-временной «континуум» архаического и средневекового миропонимания, смещающего в одну плоскость разные времена и ценностно дифференцирующего временны́е и пространственные отрезки,— не симптомы ли это мифопоэтического мышления, которое обнаруживает себя и в народной легенде, в эпосе, и в рыцарском романе, и в каменных рельефах храмов?

В гуманитарных науках издавна существует почтенная традиция: при исследовании творчества того или иного поэта, мыслителя устанавливать его связи с предшественниками, включать его в определенное направление литературы, философской мысли, искать источники применяемой им образной или понятийной системы. Упомяну хотя бы труд Э. Р. Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье» (Берн, 1948). Курциус продемонстрировал, как на протяжении огромной эпохи, начиная античностью и вплоть до XIX и XX веков, поэты и писатели вновь и вновь возвращались к ряду излюбленных тем и их художественных воплощений. В средние века эта приверженность к литературной традиции и приводила к «одержимости» явными и скрытыми цитатами, к пронизанности литературы стереотипными формулами и клише. Такой метод исследования плодотворен и неизбежен. Но не забывают ли иногда ученые, что у изучаемого ими автора помимо предшественников имелись еще и современники, притом не только собратья по перу, но и аудитория, которая тоже оказывает на него свое воздействие — собственными вкусами, ожиданием излюбленных ею сюжетов и их трактовки, любовью к определенным словесным оборотам и формулам? Иными словами, наряду с «вертикальным» срезом: предшественники — традиция — автор науке приходится рассматривать и «горизонтальный» срез: среда — ее уровень и запросы — автор.

Не стоило бы столь решительно отрывать великих мастеров от конкретно-исторической народной почвы, связь с которой они не могли не ощущать. Речь идет о внимательном анализе этой почвы, на которой только и могли появиться уникальные цветы того же средневековья. Вспомним, сколь плодотворным оказался этот подход к пониманию народной культуры средних веков и Возрождения при исследовании М. Бахтиным романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Ученый показал неизученные пласты средневековой культуры, которая отнюдь не исчерпывается куртуазной поэзией или схоластикой, «Романом о Розе» или рыцарским романом. М. Бахтин вскрывает миросозерцательную природу народной культуры, в которой особое значение он придает карнавальному началу. Специалисты могут соглашаться или не соглашаться с М. Бахтиным относительно интерпретации им идейных и эстетических корней романа Рабле, можно спорить и о точности концепции народной смеховой культуры, но вряд ли кто станет отрицать, что Бахтиным был применен принципиально новый подход к изучению средневековой культуры. Да только ли средневековой?

М. Бахтин поставил проблему соотношения серьезного и смехового начал в истории мировой культуры. То, что привычно воспринималось исследователями в древних литературах как сатира, оказывается куда более сложным и противоречивым образованием, сливающим воедино отрицание и утверждение, умерщвление (смех убивает!) и возрождение. После появления книги М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (М., 1965) вся история комического должна быть изучена заново. Самое же главное, на мой взгляд, пафос работы Бахтина — это историзм в интерпретации явлений далеких культур, убедительнейшая демонстрация того, сколь опасно мерить их нашими сегодняшними мерками.

Я позволю себе сослаться опять-таки на древнескандинавскую литературу. В состав знаменитого цикла «Старшей Эдды», может быть самого крупного вклада северных народов Европы в историю мировой литературы, входят песни, в которых боги подвергаются безжалостному осмеянию. Трудность в истолковании этих песен всегда заключалась в том, что, хотя дошли до нас эти произведения в записи поздней, относящейся к христианскому времени, возникли они в языческую эпоху. Почему же скандинавы позволяли себе высмеивать собственных богов и богинь, выставлять их развратниками, кровосмесителями, клятвопреступниками и нарушителями мира? Обычное объяснение: в этих песнях нужно видеть симптомы разрыва со старой религией, разочарования в языческих богах. Но ученые-литературоведы, придерживающиеся такой точки зрения, не обращали должного внимания на то, что в тех же самых песнях, в которых боги осмеиваются, идет речь и об их борьбе против сил хао-

са и зла, великанов, угрожающих миру богов и «срединному миру» людей. Иными словами, комическое начало, пронизывающее эти песни, неотделимо связано в них с началом трагическим: мир существует до тех пор, пока богов не осилят страшные чудовища, пока Мировой волк не пожрет верховное божество — Одина, того самого Одина, который добыл для людей знания и поэзию. В таком случае смех и трагедия оказываются двумя полюсами одного мировоззрения, вовсе не отрицающего старых германских богов!

Но трудность все же остается: почему же боги, существование которых мыслится в качестве необходимого условия благополучия рода человеческого, выступают в эддических песнях в таком неприглядном виде? Может быть, для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует отрешиться от ходячего убеждения, что языческие боги во всем подобны людям? Не вернее ли предположить, что они кое в чем как раз людям противоположны? А именно: несоблюдение богами тех запретов, которые обязательны для людей («не прелюбодействуй», «не нарушай обещаний» и т. п.— вовсе не принципы одной только христианской морали), подтверждает и демонстрирует особую природу богов: для них допустимо то, что не позволено их поклонникам! Поведение этих сверхъестественных существ подчинено иной логике, нежели поведение человеческое, и демонстрация этого отличия вовсе не развенчивала богов в глазах людей, а, напротив, показывала недопустимость тех нарушений социальной морали, которые возможны в среде богов.

Комическое в скандинавской мифологии, таким образом, налицо, но оно представляет собой лишь одну ипостась архаического мировоззрения, другую ипостась которого образует трагизм. В мировой коллизии сил добра с силами зла, рисующейся в «Старшей Эдде», осмеиваемые, казалось бы, боги защищают мир от гибели. Так, очевидно, обстоит дело со смеховым началом в скандинавской языческой поэзии. Но нечто подобное можно обнаружить и в средневековой латинской словесности, которая, как можно было бы предполагать, ничего общего с язычеством не имеет. В поучительных сочинениях церковных писателей мы опять-таки найдем весьма своеобразное переплетение смехового и серьезного: повествования об «угодных богу» простецах, о чертях, снующих среди монахов и мирян, о святых, то и дело вмешивающихся в жизнь верующих, о расправах с грешниками, учиняемых этими святыми и самим Христом,— эти повествования сочетают священное и сугубо страшное с комическим в специфический гротеск, и в этом гротеске смешное столь же мало можно отрицать, как и считать самостоятельным. Перед нами — особый тип народного мировоззрения, которое по-своему переиначивает и трактует религиозную догму.

Это народное мировоззрение, не порвавшее живых связей с архаическими дохристианскими верованиями и мифами, было настолько могучим, что церковные авторы, добивавшиеся контроля над сознанием масс, были вынуждены приноравливать свою проповедь к их вкусам и потребностям. В результате возникли бесчисленные сочинения, в которых христианские верования переплетены с легендой, сказкой и комическим рассказом. Но, очевидно, повести о чудесах или о странствиях души по тому свету явились симптомом не одного лишь сознательного приспособления церковных писателей к уровню понимания безграмотной темной паствы,— эти произведения отражают состояние умов и самого духовенства. Как далека картина, которая вырисовывается при изучении всех этих писаний, от того, что принято считать средневековым миросозерцанием! [15]

Допустимо ли по сочинениям Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского и других католических богословов судить о том, каково было миросозерцание всей эпохи, широких масс народа, даже духовенства?! Поступая подобным образом, закрывают глаза на народную культуру. А ведь она повсюду дает о себе знать. Скульптурные изображения средневекового собора, этой «библии для неграмотных», наряду с официальным и ортодоксальным иконографическим каноном — божество, ветхозаветные пророки, патриархи, цари, святые — в изобилии являют и иные образы: химер, шутов, чертей, которые трактуются в соответствии с народной фантазией. И здесь священное опять-таки переплетается с комическим.

Культура всегда представляет собой сплав различных напластований; в один комплекс включаются элементы неодинакового происхождения, пришедшие нередко из разных эпох. Эти гетерогенные компоненты одной культуры как-то объединены, но не едины, их самобытность в той или иной степени сохраняется. И очень опасно по одному лишь «верхнему» ряду, по индивидуально окрашенным творениям видных поэтов или мыслителей эпохи формировать представление об ее культуре в целом. Наряду с «большой» литературой, так сказать «респектабельной», с точки зрения литературоведов, в самые разные эпохи существовала еще и другая словесность, устная или фиксируемая, в зависимости от обстоятельств, и имевшая хождение в низах общества (или во всех слоях). За последнее время наука стала интересоваться этой «малой» литературой. Но работа эта еще только начинается. Мне кажется, что в указанном направлении можно сделать многое.

---

[15] Подробнее см.: А. Я. Гуревич. К истории гротеска: «верх» и «низ» в средневековой латинской литературе. Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 34, № 4, 1975.

Важность изучения упомянутых аспектов культуры минувших эпох состоит, как мне кажется, в том, что, идя этим путем, можно было бы яснее представить себе общую основу, на которой вырастали разные типы цивилизаций. Высокая, интеллектуализированная, рафинированная культура — всякий раз иная, особая и неповторимая, анонимный же ее субстрат, из которого она, несомненно получает определенные импульсы, традиции мышления, понятийные клише, обнаруживает удивительную устойчивость. Не приближаемся ли мы здесь к своего рода «инварианту» культурно-исторического процесса?

Возникает предположение: очевидно, в разных культурах нужно разграничивать относительно статичные, повторяющиеся и в этом смысле как бы «вневременные» структуры и более динамичные, индивидуализированные и неповторимые феномены. Первые и вторые не выступают в культуре в виде разобщенных и несвязанных между собой сущностей, но их различение, вероятно, помогло бы лучше понять характер культуры каждой эпохи, в каждом случае глубоко своеобычной и вместе с тем обладающей прочными и все вновь воспроизводящими себя «матрицами» сознания и поведения.

■

В античности весь известный эллинам мир делился на их собственный и варварский,— варвары (буквально «бормочущие», «говорящие на непонятном языке») сливались в их глазах в некую слабо расчлененную и лишенную культуры массу. Идея «срединного мира», «срединной» или «поднебесной империи» также исходила из уверенности в том, что культура сосредоточена в собственных пределах данного народа. Не был ли и европейский взгляд на «Восток» как на непостижимую духовную сферу своеобразным выражением все того же высокомерия? Гегелевский мировой дух, начав свое шествие на Востоке, завершал его на Западе. Мы живем в тот период истории, когда, собственно, впервые стало возможным овладение всею мировой культурой, овладение и в интернациональном и во всемирно-историческом планах. Взаимопонимание между народами невозможно без взаимного уважения, а это последнее предполагает знание как их настоящего, так и их прошлого.

Заметки на полях

ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ КУЛЬТУРЫ

Известно, что понятие «массовая культура» — крайне сложное и неоднородное, как и само явление, определяемое этим понятием [1]. Проблемы буржуазной «массовой культуры», равно как и различные аспекты массовой культуры в условиях строительства социалистического общества, обсуждаются в польской печати начиная с конца 50-х годов. Не вдаваясь в анализ этого обсуждения, заметим лишь, что в свое время польскими марксистами была решительно осуждена «аристократическая» критика массовой культуры, взгляды буржуазных философов и социологов культуры, устанавливавших непроходимые границы между «высокой» культурой и низкопробной «массовой культурой», якобы паразитирующей на «высокой культуре» и являющейся, по мнению буржуазных идеологов, всегда и везде, независимо от общественного строя, неизбежным следствием индустриализации, развития средств массовой информации и распространения просвещения.

Отвергая подобные взгляды, известный польский писатель Леон Кручковский писал, например, в 1959 году в статье «Против «массовой культуры» — за культуру масс»:

«Популяризация культуры не является самостоятельным явлением, проходящим по единой схеме. Трудно не видеть его зависимости от исторической обстановки, совершенно отличающейся в высокоразвитых капиталистических странах и в странах социалистических».

Польские марксисты подчеркивали принципиально противоположные тенденции развития «массовой культуры» в буржуазном и массовой культуры в социалистическом обществе. Признавая различия между высокой и массовой культурой и в условиях социалистического общества, они в то же время подчеркивали качественно иное — по сравнению с буржуазной — содержание социалистической массовой культуры и то, что при социализме созданы все условия для непрерывного процесса овладения широчайшими массами высокими достижениями духовной культуры.

«Процесс постоянного стирания границ между литературой «для масс» и литературой «для элиты» будет постоянно углубляться и развиваться вместе с повышением жизненного культурного уровня всех граждан нашей страны. Тем более, что в условиях социализма нет какого-либо социологического основания для сохранения разделения культуры на массовую и элитарную»,—

писал в 1961 году критик Збигнев Жабипкий. Утверждая, что современная культура уже является и будет во все большей степени культурой масс, Жабицкий (и другие исследователи) призывал различать в массовой культуре (без кавычек) Запада под-

[1] См. о «массовой культуре» «Иностранную литературу» № 11, 1962, № 11, 1971, № 6, 1975.

линно демократическое начало и китч [1], халтуру, выбрасываемую на рынок коммерсантами от искусства.

> «Отождествление массовой культуры,— по словам Жабицкого,— с массово производимым китчем, генетически объяснимое в американских условиях, но совершенно неоправданное у нас. ведет к стиранию пропорций и к явной деградации некоторых культурных фактов; все, что менее «элитарно», становится синонимом китча».

Пятнадцать лет спустя после первой фазы дискуссии о массовой культуре интерес к этой проблематике в Польше не ослабевает. Свидетельство тому и новые исследования ученых (назовем, например, недавно вышедшие коллективные труды «Формы популярной литературы», 1973, «Очерки о массовом искусстве в Польше», 1974), и участие в обсуждении проблем массовой культуры на страницах научных и литературных изданий широкого круга творческой интеллигенции. Интересный разговор о массовой культуре, в котором участвовали литературные критики, режиссеры, писатели, публицисты, состоялся недавно в редакции ежемесячного журнала «Твурчость». Материалы этой беседы опубликованы в седьмом номере журнала за 1975 год под заголовком «Что мы приобрели и что утратили?».

Именно так был поставлен вопрос открывшим обсуждение критиком Анджеем Кийовским. Полагая, что современная «модель культуры» существенно изменилась, Кийовский попытался наметить эти изменения в разных областях. Так, рядом с традиционным поэтическим творчеством возникла «мировая империя песни», использующая все стереотипы поэзии и миллионам людей заменяющая поэзию. Песенное творчество — это тоже творчество — в то же время является и промышленностью, ибо оно связано с фестивалями, записями на пластинки и т. д. По мнению Кийовского, поэзии эта промышленность не угрожает, ибо поэзии останутся верны «те самые фанатики, от которых она берет свое начало и к которым она обращается. Но не угрожает ли эта промышленность публике, снижая ее уровень восприятия?» Вслед за противопоставлением поэзии песне критик противопоставляет кино литературе, ошибочно полагая, что «главную потребность — в фабуле» сегодня удовлетворяет не роман, а фильм. Затем критик идет еще дальше, противопоставляя традиционный театр как более высокое искусство общедоступному телевизионному театру и «спортивным спектаклям» на стадионе.

Эти и другие вопросы, обсуждавшиеся участниками дискуссии, актуальны и заслуживают серьезного изучения, но в самой постановке ряда из них Кийовским слышится отзвук буржуазной, «аристократической» точки зрения на массовую культуру. Согласно этой точке зрения смертным грехом массовой культуры является примитивизация высоких образцов культуры. Подобного рода позиция проявилась и в рассуждениях критика о современной «политикомании» — о массовом интересе к политическим событиям, происходящим в мире.

> «Во всем мире,— говорит Кийовский,— миллионы людей начинают и кончают день с известий, которые их вообще не касаются. Размышлениями о вещах, о которых они не имеют понятия».

Дело здесь обстоит как раз наоборот. Политические события, происходящие сегодня в мире, непосредственно касаются не только правительств, народов, стран или профессиональных политиков, но и каждого человека, и этим, в первую очередь, объясняется огромный интерес миллионов людей к тому, что происходит в мире, а не снобизмом или модой, навязываемой средствами массовой информации, которые, как полагает Кийовский, обязывают человека, считающего себя культурным, читать газеты, слушать новости и выступления комментаторов по телевидению и радио.

Сам Кийовский не дал ответа на главный вопрос: «Что мы приобрели и что утратили?» и в дискуссии в дальнейшем не участвовал. Но в том же номере журнала помещена его статья (под псевдонимом «Дедал») «Критерий правды», в которой он предложил заимствованное из буржуазных источников понимание массовой культуры как культуры, играющей на инстинктах масс и выполняющей роль мифа.

> «Создатель массовой культуры,— по словам «Дедала»,— выполняет ту же роль, что ранее предсказатель или астролог: не учит, не воспитывает, не волнует, не «развлекает», а говорит толпе то, что она хочет услышать, и получает за это деньги, которые являются не только вознаграждением, но и своего рода жертвоприношением. Массовая культура складывается из мифа и денег; если нет того и другого, нет массовой культуры».

Автор статьи отказывается от необходимости дифференцированного подхода к явлениям массовой культуры, не отграничивает достижения современной демократической западной культуры от заведомого китча. И самое главное — критик не то чтобы совсем обходит стороной важнейший вопрос о специфике массовой культуры в условиях социалистического общества, но представляет ее проблематику в совершенно искаженном

---

[1] От немецкого «kitsch» — термин, употребляемый для обозначения продукции буржуазной «массовой культуры» (в значении — «халтура», «пошлость»).

свете, усматривая конфликт между культурной политикой социалистического государства и желаниями публики.

«Состоянием нашего «искусства для масс»,— бездоказательно заявляет он,— никто у нас не удовлетворен. Ни меценат, который хотел бы, чтобы все было еще более позитивным, ни публика, которая хотела бы, чтобы все было еще более негативным, ни создатели, которые чувствуют себя как подкова между молотом и наковальней».

Выступивший вслед за Кийовским литературный критик Тадеуш Древновский в своих рассуждениях о массовой культуре в Польше исходил из наличия противостоящих друг другу «высокой» и «низкой» культур. По его мнению, в Польше всегда существовала пропасть между культурой высокого уровня, «культурой для элиты», для интеллектуалов, и «культурой тривиальной», всегда не хватало «посредствующих звеньев», которые «обслуживали бы более низкие культурные потребности».

Древновский считает, что поскольку потребительский культурный рынок в современной Польше дифференцирован, то дифференцированной, полиморфной, многоплоскостной должна быть и сама культура. Этой дифференциации и служат современные технические средства.

«Конфликт между высокой культурой и разнообразными новыми формулами культуры является естественным»,— заявляет он.

Конечно, было бы неверно утверждать, что, скажем, читательская масса в Польше (как и в любой другой социалистической стране) однородна, одинаково подготовлена к овладению высшими художественными ценностями литературы. Но в призыве к дифференциации культуры таится серьезная опасность закрепления разных читательских уровней, опасность появления произведений заведомо примитивных либо рассчитанных на отсталые обывательские вкусы. В этой связи можно напомнить известные слова В. И. Ленина о том, что печатное слово должно «не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно — с очень осторожной постепеинностью — поднимать его развитие» [1].

Во втором своем выступлении в дискуссии Древновский более подробно остановился на проблеме взаимоотношения разных сфер культуры. Если в современной западноевропейской и американской культуре можно видеть разные уровни, между которыми существуют непроходимые границы, то, говорит Древновский, в Польше

«существует если не постоянная практика, то, во всяком случае, много примеров взаимопроникновения, обмена ценностями между разными уровнями культуры. В этой области у нас много важных достижений — например, популяризация некоторых произведений, которые никогда (или, по крайней мере, нескоро) не стали бы популярными, если бы не посредничество телевидения и кино».

В этом Древновский видит превосходство массовой культуры в Польше над культурой современного Запада, но оговаривается, что такого рода популяризация имеет теневые стороны, и приводит в пример постановку А. Ханушкевичем в Национальном театре ряда пьес польской национальной классики, называя деятельность режиссера «типично популярным творчеством в театре, который для культурного сознания общества должен означать потолок нашей национальной культуры».

«При постоянном движении между сферами в культуре должна быть отчетливо выраженной стратификация культуры»,— завершает свое выступление Древновский.

С Кийовским и Древновским по ряду вопросов полемизировал известный театральный режиссер, руководитель Национального театра Адам Ханушкевич. По словам Ханушкевича, то, что в Польше «называется массовой культурой, согласно терминологии, импортированной из США, имеет мало общего с «массовой культурой» в США» и не имеет ничего общего с такими ее характерными чертами, как разрыв с традицией, нивелировка общественных конфликтов, секс и потребление. Если все же говорить о так называемой элитарной культуре, то, как считает Ханушкевич, она также не свободна от вульгаризаторских тенденций. Это касается, в частности, интерпретации этой культурой «Гамлета» Шекспира, «Балладины» Ю. Словацкого и других трагедий.

«Это относится,— говорит Ханушкевич,— и к Креону из «Антигоны», это относится ко всем трагическим конфликтам, которые переданы той театральной культурой, которую мы называем сегодня элитарной, в духе комикса или вестерна. Один герой благородный, а остальные — бандиты. А ведь трагизм «Антигоны» состоит в том, что Креон порядочен; если он не порядочен, то вообще нет проблемы, а лишь событие, о котором надо только рассказать».

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. пятое, т. 42, стр. 15.

Ханушкевич возражает и против привычной интерпретации Гамлета в духе Вертера, романтического героя,

«которым Гамлет никогда у Шекспира не был. И эта модель была принята как элитарная. Лишение шекспировских образов того, что в каждом из них есть от Арлекина, романтический акцент в интерпретации Шекспира являются вульгаризацией его произведений».

По мнению Ханушкевича, в настоящее время нельзя рассуждать абстрактно об «уровнях культуры»:

«Все, что теряется во имя популяризации, приносит прибыль в форме популяризации, ибо благодаря ей поднимается средняя культура... Всегда были плохие стихи, пишутся и графоманские песни. Но сколько же у нас песен с прекрасным текстом! Сколько этих поэтических песен доходит до людей! Если взять 50 лучших польских современных песенных текстов и сравнить их с 50 лучшими довоенными песнями, то преобладание поэтического качества этих наших песен несомненно.

Далее, я сомневаюсь, чтобы основным в романе, с которым теперь конкурирует кино, была фабула. Я думаю, что фабула — это фон, предлог для вещей, которые не являются фабулой, которые при помощи фабулы передаются писателем читателю. Кино же сегодня берет на себя лишь часть функций традиционного романа, а именно — фабулярную часть».

Отвечая на вопрос «Что мы приобрели и что утратили?», Ханушкевич говорит о том, что приобретения в польской театральной и кинокультуре по сравнению с довоенным временем несомненны. Распространению культурных ценностей способствовало телевидение, которое много дало, в первую очередь молодежи и детям:

«Мой сын видел по телевидению больше фильмов, чем я за всю свою жизнь. Все, что он видел в телевизоре — животные, пейзажи, люди,— является его богатством. Вся наша цивилизация, теряя в вертикальной глубине гуманистического образования, типичного для XIX века, приобретает в широте. Это является чертой нашего времени. Нравится нам это или нет, это так. Мы теряем в глубине, приобретаем в широте. Что лучше?»

Известный режиссер Анджей Вайда в своем выступлении обратил внимание на то, что

«и воздействие телевидения, и все, что входит в сферу массовой культуры в глубоком ее понимании, касается слишком малой группы людей. А вся остальная масса все еще очень пассивна, живет среди продукции третьеразрядной, еще худшей, нежели то, что считается несчастьем массовой культуры.

Наша деятельность,— говорит Вайда о себе и своих коллегах,— это как бы мост между тем, что является наиболее сублимированным, высокохудожественным, элитарным, и тем, что есть в действительности. Поэтому я думаю, что мы не можем иметь к себе претензий. Я не могу испытывать угрызений совести из-за того, что я не делаю слишком глубоких вещей, если у меня есть зрители».

Оригинальные соображения высказал Вайда по поводу спорта:

«Как это возможно, что мы вкладываем столько усилий, столько выдумки в наши спектакли, а тут вдруг выбегают 22 молодых человека, немного глупее нас, и занимают внимание огромного числа зрителей. Писатель не может написать такой драмы, которая бы овладела 120-тысячным зрительным залом, и никто из нас, режиссеров, не поставит такого спектакля. Суть дела в том, что это импровизация. Неизвестно, что же произойдет... К тому же это область, о которой люди думают, что в ней нет обмана... А человек всегда хочет смотреть на то, что делается честно».

С мнением Вайды о спорте не согласился известный спортивный комментатор и публицист Богдан Томашевский, который высказал мысль о том, что «спорт, хотя и становится все более широким массовым зрелищем, отошел от масс». По мнению Томашевского, современный человек все более привыкает к зрелищности, к визуальным картинам — в театре, кино и на стадионе:

«Скоро все можно будет увидеть и услышать. В Гренобле мы слышали, как бьется сердце бегуна. Все будет показано, но спорт как средство воспитания, направленного на то, чтобы каждый подросток... был честен, и спорт как отдых для масс — такой спорт уже изжил себя. Дело доходит до того, что подросток боится записаться в спортклуб, потому что уровень соревнований слишком высок».

В реплике Томашевскому Вайда призвал учитывать, что при всем том культура, в том числе и спорт, затронула широкие массы:

«Те, кто никогда не имел доступа к какой-либо культуре, к какому-либо спорту, так или иначе приблизились к ним... Мы не можем обращаться к небольшой группе людей, которые будут иметь возможность доступа к особым книгам, к особым театрам и киноте атрам, а все прочие будут этого лишены...»

Автор и исполнитель популярных песен Войцех Млынарский говорил о возможности создания высокохудожественной, общественно значимой песни, не имеющей ничего общего со стереотипными шлягерами. Для восприятия песни важное значение имеет место, где она исполняется, считает Млынарский, и критикует в этой связи исполнение на фестивалях перед массовой аудиторией песен, требующих интимного контакта певца со слушателями. Млынарский призвал также к гражданской и художественной ответственности создателей песни, многие из которых относятся к своему делу цинично, спекулируют на патриотических чувствах.

«Я знаю человека,— заметил Млынарский,— который под разными псевдонимами написал 18 песен для фестиваля в Колобжеге. И в каждой говорилось о том, как солдаты шли и т. д. И перо у него не дрогнуло!»

Отметив недостатки в создании и исполнении массовых эстрадных песен, Млынарский выступил против отношения к песне как к чему-то второсортному, низкому, противостоящему высокому искусству:

«У нас существуют перегородки: здесь эстрада, здесь театр-святыня, а эстрадное творчество вообще трактуется как второразрядное, несмотря на то что оно также часто может претендовать на звание истинного искусства».

Своеобразно подошел к обсуждаемой проблеме поэт Артур Мендзыжецкий. Он высказал предположение о том, что противопоставление высокой культуры массовой культуре является ошибкой социологов, что

«один и тот же читатель воспринимает разные виды творчества и это может быть читатель, принадлежащий как высокой культуре, так и средней; лишь пропорции восприятия могут быть разными.

Один и тот же человек ходит на спортивные матчи и в театр — такова действительность. Я не знаю интеллектуала, который сегодня видит в телевидении угрозу для культуры. Я не могу себе этого представить. Ведь он сам смотрит телевизор, и даже много смотрит... Допустим возможность ошибки социологов. И допустим, что это деление является чисто академическим, выдуманным в начале существования телевидения и совершенно ненужным сегодня».

Обмен мнениями между участниками беседы свидетельствует о наличии трудных, нерешенных еще вопросов о массовой культуре, начиная с самого термина, в который дискутанты вкладывали зачастую разный, а иногда и прямо противоположный смысл. Тем не менее из этого разговора можно сделать не только вывод (хотя, может быть, и самый главный) о необходимости тщательной разработки с марксистско-ленинских позиций вопросов массовой культуры в связи с научно-техническим и культурным прогрессом, а также о необходимости критики буржуазных концепций в этой области, но и некоторые более частные выводы. Например, о том, что даже если исходить из признания ряда различий между высокой и массовой культурой в социалистическом обществе, то следует заметить, что различия эти все более стираются как за счет подъема культурного уровня общества (в том числе с помощью средств массовой коммуникации), так и путем взаимного использования приемов и способов выражения разных сфер художественной культуры. Так называемая массовая культура создала совершенно оригинальные средства художественного выражения, которые широко используются самым высоким искусством. Тезис о массовой культуре, паразитирующей на культуре высокохудожественной, выглядит анахронизмом применительно к социалистическому искусству.

В. ХОРЕВ

КОМПЬЮТЕРЫ И ИСКУССТВО?

Сколько поломано перьев, сколько истрачено чернил, чтобы описать то, чего никогда не было и не будет.

Мидраш

Однажды некий философ спросил у торговца:
— Скажи-ка, почему эта лошадь стоит в десять раз дороже той?
— Потому, учитель, что она бежит к цели в десять раз быстрее.
— Но ведь если она собьется с пути, то и уйдет от цели в десять раз дальше!
Рассказывают, что торговец смутился и решил сбавить цену...

Эту нехитрую притчу напомнил нам рекламный проспект нового капитального сочинения Дугласа Дэвиса «Искусство и будущее». Проспект этот отмечает, что автор — популярный американский культуролог и обозреватель журнала «Ньюсуик» — решает заглавную проблему намного более оптимистично, чем все прежние и нынешние его коллеги. Если же учесть, что будущее искусства обернулось сегодня едва ли не центральным звеном всей западной прогностики, то дэвисовский оптимизм должен обрести в восприятии читателя особое значение.

Действительно, в нынешнюю эпоху «удручающего техницизма» искусство все чаще воспринимается на Западе как последний оплот духовных и эмоциональных ценностей человека. Однако с тех пор как проницательные немецкие романтики впервые заговорили о гибельном кризисе искусства, его историю на Западе можно смело определять ницшеанским «восхождением пессимизма». На устоявшемся фоне заупокойных мелодий жизнерадостный голос Д. Дэвиса обретает, конечно, самостоятельный смысл, но, как известно, фальшивый или необоснованный оптимизм лишь подстегивает «восхождение пессимизма», так же как быстрая лошадь, сбившаяся с пути, дальше отдаляется от истинной цели...

Пессимизм современной буржуазной философии культуры зиждется на старой гипотезе: научно-технический бум забивает в сознании человека любые эстетические импульсы и тем самым лишает его возможности, желания и способности создавать или воспринимать искусство. «Восхождение пессимизма» выразилось в том, что эту невеселую гипотезу нынешний буржуазный Запад возвел в аксиоматическую истину. Сегодня уже никто не спорит о том, что происходит с искусством — погибает оно или нет; спорят о другом: как отнестись к «непреложному факту» гибели искусства. Большинство — благонравные скептики — говорит в этой связи о конце мира и полном затмении человеческой души. Меньшинство, именующее себя прогрессистами, руководствуется правилами плоского эволюционизма («все к лучшему!») и мир без искусства, общество «ультраинтеллигентных машин» объявляет подлинным «царством божиим». Очевидно, однако, что и те и другие исходят из идеи извечного противостояния искусства науке и технике. Между тем Д. Дэвис дает своей работе такой подзаголовок: «Прошлое и будущее отношений между наукой и техникой и искусством». Такое заздравное начало действительно предвещает оптимистический финал...

Давно уже принято считать, что существует два типа мышления: образное, объединяющее, и аналитическое, разъединяющее. Соответственно историю взаимоотношений искусства и науки исследуют обычно как единоборство, которое в наше время приняло особенно ожесточенный характер. Полупустой стакан можно воспринимать и как наполовину заполненный. По той же логике Д. Дэвис рассматривает современность с точки зрения творческого союза образного и аналитического начал, хотя,

> «подобно самому обществу, искусство XX века встретило технологический бум с противоречивыми чувствами: с одной стороны — восхищение и любовь, а с другой — отвращение и страх».

Самым непреложным фактом нашего времени он считает то, что технология превратилась в «повседневный универсум», в ландшафт, который предлагает искусству свои образы и формы. Еще в самом начале нынешнего столетия французский художник Марсель Дюшан, любовно выписывая внутренности обычной кофемолки, говорил: «Я воспринимаю механизм как символ всего, что происходит вокруг». Футуристы захлебывались разговорами о «победоносной науке», конструктивисты стремились «примирить человека с машиной»; в конце 40-х годов адепты «технической эстетики» заявляли, что «цвет (элемент пространства), звук (элемент времени) и движение (единство времени и пространства) являются фундаментальными формами нового искусства». В 50-х годах влиятельный на Западе художник Вазарелли «ручной» метод живописи заменяет «квазинаучным»: организация рисунка вокруг стандартизованных форм (квадраты, блоки, круги, треугольники и т. д). К середине 60-х годов, продолжает Д. Дэвис, окружающий нас мир транзисторизируется, телевизируется, компьютеризируется.

Все это, как открыл-де Маршалл Маклюэн, ускоряет необратимый процесс превращения техники из средства эстетической информации в ее содержание. В октябре 1966 года в Нью-Йорке было разыграно грандиозное театрализованное шоу, которому Д. Дэвис придает особое, символическое значение, расценивая его как прообраз тесного сотворчества искусства, науки и технологии. Само название этого представления носило знаменательный характер: «Девять вечеров: Театр и Инженерия». Содержанием же шоу оказался бессюжетный, но роскошный парад образов и форм, рожденных немыслимым скрещением театра и инженерии. Зачинщиком «Девяти вечеров» выступила американская научно-художественная группа ЕАТ (Экспериментс ин арт энд текнелоджи), возглавляемая художником Робертом Раушенбергом и инженером Билли Клювером. Именно эта группа привлекла к участию в работе над «Вечерами» девятнадцать ведущих инженеров и таких деятелей американского искусства, как Дж. Поллок, Джон Кейдж, Аллан Капров и др. Танцоры скользили по земле на моторизованных платформах, движение которых направлялось из центрального пульта; освещение хореографических номеров обусловливалось частотой радиоволн местной станции; музыкальные инструменты заменили микрофоны, телефоны и всевозможные генераторы; композитор Дж. Кейдж «со-

чинял и показывал живую музыку» по ходу действия, причем в музыкальные фразы он складывал лишь те звуки, которые совершенно естественно рождались во время представления на сценической площадке, в зрительном зале и в кабинах режиссерско-инженерного пульта. Все это, по замыслу авторов и по мнению Д. Дэвиса, явилось символом самого тесного сближения эстетического творчества с технологией и наукой как с «наиболее живительными признаками нового времени».

Финальной же стадией слияния эстетических и научно-инженерных способностей человека Д. Дэвис считает... компьютеры. Именно в них видит он конечное выражение давнего и углубляющегося флирта искусства с технологией.

> «Вместо постоянной охоты за жизнью, вместо вечного следования за нею по пятам компьютеры, наконец, позволят человеку раствориться непосредственно в самой действительности».

Эстетическое освоение счетных машин, точнее, компьютерная лихорадка в западном искусстве, хотя в основном и не вышла за стадию эксперимента, имеет уже свою историю.

Первый ее период был связан прежде всего с музыкой: в конце 60-х годов в Америке и Западной Европе некоторые композиторы начали писать партитуры с помощью компьютеров. Потом

> «один из пионеров компьютерной графики Чарльз Цури заявил, что думающие машины позволяют изобразить любую форму и с любой точки обозрения, в том числе и с внутренней».

Он задавал машине эстетическую программу (пейзаж, нагая натурщица), машина находила на специальном экране соответствующие координаты, а художник с помощью светящегося пера соединял между собой найденные точки, и рождался рисунок...

Во втором периоде

> «искусство обращается к компьютеру как к мозгу; человек и машина начинают сотворчествовать, изобразительный язык разрабатывается ими уже сообща».

Суть этого этапа заключается в следующем: интеллектуальные сигналы, поступающие из человеческого мозга, компьютеры переводят в визуальные знаки и закрепляют их на бумаге, полотне, экране и т. д. Процесс эстетического творчества и его восприятие зрителем одновременны, что обеспечивает особый эффект: постоянные изменения красок, звуков и форм в окружении «творящего» художника чутко фиксируются его электронным партнером и мгновенно переводятся в динамические художественные образы...

Кстати говоря, идея подобных экспериментов эстетического скрещивания человека с компьютером была, очевидно, подсказана опытом поп-артского искусства. Еще полтора десятилетия назад американский скульптор Сигал сам усаживался в одно из кресел среди созданной им скульптурной группы и, в зависимости от условий, своей позой менял композицию. Этот трюк, по мнению Сигала, должен был символизировать, во-первых, оживление неживого, сотворчество естественного и искусственного, а во-вторых — единство эстетического созидания и потребления, одновременность процесса творения и восприятия, ибо гипсовые персонажи обретали-де образность и композиционную цельность именно и только тогда, когда к ним подсаживался живой человек-художник...

Что же касается третьего периода, то даже в своем экспериментальном выражении он существует, конечно, лишь на правах «смутной догадки». Он основан, по словам Дэвиса, на обоюдной, двусторонней связи между человеком и компьютером. Эстетически воспринятый образ мозг передает машине, которая его «переваривает», редактирует и возвращает человеку. В свою очередь, восприятие этого отредактированного образа провоцирует рождение и передачу компьютеру новых сигналов. На этом этапе — запомните! — эстетическая деятельность будет характеризоваться абсолютной духовностью: ничто и нигде не фиксируется, художественная материя совершенно не создается.

Итак, обнаружив в науке и технике «достойного интеллектуального и творческого партнера», искусство, по мнению Д. Дэвиса, не умирает, но... меняет окраску. Даже в компьютере, который своей «хладнокровностью» пугает самых трезвомыслящих ревнителей муз, даже в этом «электронном чудовище и монстре» Д. Дэвис видит быстроногого Пегаса. Он рассуждает подчас с такой легкостью, что проблема жизненности искусства начинает казаться попросту пустяковой, а озабоченные ею философы воспринимаются как чудаковатые грамотеи, которые лукаво мудрствуют над простым ларчиком. Между тем позиция Д. Дэвиса зиждется на жестких и категорических тезах: его «оптимистическая» идея об эволюции искусства основана на крайне пессимистической «догадке» о физическом будущем человечества. Известно, что даже традиционная, «додэвисовская» буржуазная философия нередко усматривала спасение искусства в решительном переустройстве западного общества. Между тем «первопроходец» Д. Дэвис считает этот рецепт откровенно ложным и заявляет, что

«существование искусства в будущем возможно только при условии начавшейся гибели... самого человека».

Не конкретного общества, но вообще человека! Эта мысль, считает Д. Дэвис, должна поразить слух даже того читателя, который наслушался

«чересчур экстравагантных прогнозов Кана и Маршалла Маклюэна, Олвина Тоффлера и Артура Кларка, Бакминстера Фуллера, Виктора Феркисса и Джона Макхейла. Своими догадками эти люди наводят на нас неподдельный страх, но сейчас мне не хотелось бы спорить с ними. Я пытаюсь лишь нащупать более отдаленные и метафизические перспективы».

Между тем именно эти «метафизические перспективы» и наводят на читателя поистине «неподдельный страх», ибо автор обещает ему назавтра не больше не меньше как бесповоротное физическое вырождение. Для того чтобы придать своим обещаниям наукообразную убедительность, он использует в своем прогнозе авторитет видного английского ученого и философа XX века Джона Бернала, который-де «дал наиболее глубокий анализ сущности человека в контексте бурно развивающейся технологии». Д. Дэвис имеет в виду раннюю работу Дж. Бернала «Мир, плоть и дьявол». В этой книге философ предложил читателю целый ряд смелых догадок, которые сам же, конечно, считал спорными. Все свои догадки английский ученый основывал на той старой идее, что история человека и его культуры — это история освобождения от плоти и движения к духу, что логика эволюции мира — это логика его дематериализации. Однако, подобно тому как идеализм обусловил рождение знаменитого гегелевского паралогизма (эволюция якобы, в конечном счете, гарантирует гибель искусства как формы материи) — односторонний подход раннего Дж. Бернала к сущности человека спровоцировал явную «передержку», которой воспользовался Д. Дэвис и прозвонил о неминуемой гибели самого человека.

«Бернал предсказал рождение так называемых киборгов (кибернетических организмов) — людей с искусственными органами, и сегодня это стало реальностью. Он говорил о продолжении существования мозга в искусственной среде после того, как умрет плоть. Легко заметить, что те компоненты, которые мы определяем обычно как «человеческий» (естественный) и «искусственный», Бернал сознательно смешивает друг с другом. В конечном счете, рассуждает он, даже мозг утратит свою материальность: человек эфиризируется, мозг отомрет, превратившись в массы атомов, рассыпанных в пространстве и коммуницирующих друг с другом посредством радиации. В конце концов растворятся в свете и эти атомы. Само по себе это знаменует либо конец, либо начало — сейчас говорить об этом трудно».

То, что казалось трудным Дж. Берналу, оказалось нетрудным для Д. Дэвиса: эволюция знаменует собой конец человека и начало нового этапа в искусстве. Иными словами, естественный человеческий мозг, превратившись в искусственный компьютер, будет-де контактировать с себе подобными аппаратами с разнообразными утилитарными целями и в столь же разнообразных эстетических формах. Именно эта форма общения и явится-де ие чем иным, как... искусством.

Прежде чем «проверить», действительно ли «киборги» смогут заменить собой Шекспиров и Моцартов, вспомним классический марксовский тезис, что в капиталистическом мире над настоящим и будущим господствует прошлое. Дэвисовская программа грядущего бесчеловеческого мира воскрешает в памяти стародавние гимны в честь «дегуманизированного искусства», стремящегося избавиться от «чересчур человеческого». Если бы «первопроходец» Д. Дэвис хоть раз удосужился взглянуть себе под ноги, он бы заметил, что пустыня, по которой он бредет в гордом одиночестве, буквально испещрена следами прежних пророков. В том числе и такого, как испанец Ортега-и-Гассет. Если испанский философ призывал к изгнанию из искусства лишь «чересчур человеческого», то Д. Дэвис договаривается до абсурда: искусство будет начисто лишено всего, что мы зовем человеческим.

Но возможно ли такое искусство?

Ведь искусство — это форма человеческого сознания, человеческого переживания мира. Оно, говорил Л. Фейхтвангер, начинается там, где познание сливается с любовью или ненавистью, тогда как даже самый «ультраинтеллигентный» компьютер никому еще не клялся в любви или преданности. Именно в искусстве находит свое лучшее и полное выражение человеческая фантазия, и именно способность к фантазии отличает человека от всего иного. Даже заурядный человек, писал Н. Винер, отличается от самой умной машины прежде всего фантазией, способностью оперировать неточными идеями, создавать новые понятия. Только фантазия стимулирует движение в незнаемое и помогает связывать воедино реальное с желаемым, несуществующим, дополнять одно другим, подобно тому как художественный образ есть единство факта и вымысла, материи и духа. Даже способность человеческого разума к «компьютерированию», даже сама компьютерная лихорадка возбуждается фантазией. Вот почему гряду-

щее общество с «ультраинтеллигентными» машинами немыслимо без искусства, так же как искусство немыслимо без человека.

Между тем, представив себе завтрашний день в образах безжизненного натюрморта, Д. Дэвис перекрашивает в соответствующий мертвенный цвет и само искусство. Предварительно он «уличает» в дальтонизме всех «традиционалистов от эстетики»: оказывается, они воспринимают краски искусства искаженно, что становится особенно очевидным сегодня, когда художественное творчество переживает финальный, компьютерный этап растворения в жизни.

> «Растворение искусства в новых пространствах, во всех сферах органической жизни, в инженерии, в науке, в мире счетных машин — все это рождает соответствующие художественные формы. Все меньше скульпторов и художников работает для интерьеров и музеев, все больше мастеров используют такие материалы, которые традиционная эстетика именует нехудожественными, все чаще и решительнее переходят художники от статических и выставочных структур к структурам концептуальным и зрелищным (афиши и рекламы на улицах, в воздухе)... Вторжение техники изменяет традиционное соотношение художник — произведение — публика. Грань между художником и нехудожником оказывается зыбкой и неопределенной. Искусство выходит из старых рамок, и художественный элемент проникает всюду. Даже процесс чистки картошки может стать произведением искусства, если воспринимать его как осознанный акт...»

В конечном счете Д. Дэвис оставляет искусству лишь декоративную функцию. Многозначную природу художественного творчества он низводит до уровня товарной оберточной бумаги: искусство утрачивает прежний, самостоятельный смысл и помогает лишь упаковывать всевозможную утилитарную (материальную, духовную) утварь. Тем самым широковещательный «оптимизм» Д. Дэвиса, оказавшись убийственным для человека, хоронит фактически и искусство. Эволюция искусства, по Дэвису, оказывается перифразом понятия «пиррова победа».

...В самом начале своего анализа Д. Дэвис упоминает о том марксистском тезисе, согласно которому искусство выродилось в теперешнее декоративное, товарное состояние вследствие развития капитализма.

Известно, что эта мысль является одним из ранних положений классической критики буржуазного мира. Между тем в дэвисовском проекте эволюции общества именно декоративность искусства и объявляется, в конечном счете, признаком его совершенства. Вот почему тщательный «оптимистический» анализ, по Дэвису, альянса между наукой, технологией и искусством следует воспринимать как хитроумную защиту нынешних буржуазных норм.

Что же касается будущего искусства, то этот вопрос так и остался на страницах дэвисовского сочинения головоломной проблемой, решение которой лежит, очевидно, на путях синтеза художественного и научного гения общества. Только вместо конца самого человека надо думать о конце нечеловеческих норм его бытия.

НОДАР ДЖИНДЖИХАШВИЛИ

◆

СТАДС ТЁРКЕЛ

РАБОТА

Люди рассказывают, чем они занимаются весь день и что об этом думают

Отрывки из книги

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ и Н. ТОЛКУНОВОЙ

Прямой голос массы

Про эту книгу не скажешь, что она принадлежит перу старого чикагского журналиста Стадса Теркела. Прежде всего она принадлежит его магнитофону. Но дело, конечно, не в инструментах производства, а в том, как ими пользоваться. Свой магнитофон Стадс Теркел использует превосходно. Книга принадлежит его таланту так «разговорить» собеседников, что получаются не стандартные, мертвые интервью — произведения стандартных, безжизненных журналистов, а свободные внутренние монологи, раскрывающие личность, исповеди. Собеседники Теркела сами удивлены, откуда это на них нахлынуло. Перед микрофоном они вдруг ищут и находят, формулируют себя.

Стадс Теркел — радиожурналист, известный и популярный, особенно в районе Чикаго, где с середины 50-х годов ведет ежедневную программу на одной из радиостанций. Его жанр — беседы с безвестными, ничем не прославившимися, простыми людьми, серьезные беседы о натуральной, так сказать, жизни, а не привычные для американского эфира «хохмы» о жизни, которые, наряду с музыкой и последними известиями, подаются как приправа к коммерческой рекламе. За пределами Чикаго массовая публика узнала Теркела сравнительно недавно — по книгам «Улица разделения: Америка» (1967) и «Трудные времена: устная история Великой депрессии» (1970 год). Как и «Работа», вышедшая в 1974 году,— это сборники интервью. В своих книгах журналист внешне невидим, он прячет свое присутствие, чтобы не загораживать своих героев. Лишь по качеству интервью-исповедей, по степени самораскрытия персонажей и интонациям их живого разговора догадываешься о мастерстве, о том, какой вовлечен труд и опыт, какое умение располагать к себе людей, как правило, незнакомых, включать, направлять и прояснять их «потоки сознания». В итоге — уникальный материал,

© Studs Terkal, 1972, 1974.

документы не только фактов, но и душ, такое богатство психологических деталей, которое обычно дано лишь хорошим художественным произведениям.

«Работа» — это толстый том почти на шестьсот страниц. Это три года работы, больше ста тридцати американцев и американок десятков профессий: бульдозерист и настройщик роялей, шахтер и парикмахер, стюардесса и президент корпорации, медсестра и могильщик, полицейский и профдеятель, таксист и биржевый маклер, джазист и резчик по камню, фермер и редактор и т. д. и т. п. По методике Джорджа Гэллапа полторы тысячи американцев, опрошенные в трехстах пунктах Америки, с точностью до двух-трех процентов выявляют отношение двухсот с лишним миллионов, предположим, к тому или иному претенденту на Белый дом. В процентах не определишь отношение к работе шофера тяжелого грузовика, торговца автомашинами или «профессора массовых коммуникаций», но интервью Теркела репрезентативны — об этом можно судить по откликам рецензентов и читателей. Только ли этим ценна его книга? Рассказывая и рассуждая о своей работе, человек так или иначе рисует свою жизнь, связи с другими людьми, ориентиры в обществе, систему оценок: что хорошо и что плохо. Работа во многом определяет мир человека, даже если он восстает против нее. В книге больше ста тридцати человеческих миров. Располагаясь на соседних страницах, эти миры сближены друг с другом, образуют соединения, грозди, пеструю, яркую и сильную мозаичную картину. В картине нет завершенности, как нет — при всей регламентированности — строгой оформленности в самой жизни миллионов. Нет схемы — и от этого сильнее впечатление достоверности. Так как краски у этой мозаики в словах, ее можно сравнить и с хором. Это многоголосый н а р о д н ы й хор.

Подборка, публикуемая в «Иностранной литературе»,— малая часть книги, но передает ее пропорции, ее содержание и дух, ее важнейшее свойство — демократизм. Демократизм виден в том, к т о говорит, ч т о говорит и к а к говорит. Своим органическим демократизмом, своей душевной распахнутостью книга Теркела заставляет вспомнить Уитмена, его «Листья травы».

Америка средств массовых коммуникаций (а какая другая Америка видится и слышится нам издалека?!) живет сенсациями: сенсациями-событиями, сенсациями-явлениями, сенсациями-людьми. Сенсации так прилипли к Америке, что их принимают за ее истинное лицо, хотя это — лишь флюс на лице человека, предрасположенного к флюсам. В такой системе изображения народ оттеснен с авансцены, «подверстан» к сенсациям, произведенным президентами и политическими кризисами, наводнениями после ураганов и громкими судебными процессами после сенсационных убийств. В книге Теркела масса не подверстана, она — не вспомогательный, а главный герой и говорит с нами напрямую, без искажающего посредничества газет и телеэкрана, говорит о буднях, из которых и состоит жизнь, об их незримых, тягучих драмах.

Демократизм книги идет и от самого Стадса Теркела. Обращение к народной теме работы для него не случайно. Духовно он дитя экономического кризиса и народных бедствий начала 30-х годов (о которых повествуют его «Трудные времена»), формировался под влиянием сильных в то время демократических и прогрессивных течений. Оттуда идет его обостренный и сочувственный интерес к простым людям, а не знаменитостям, у которых ответы «всегда наготове», к глубинным, а не поверхностным проявлениям общественной жизни.

«Расхождения» с Уитменом бросятся в глаза, когда мы отойдем от вопроса, кто говорит, и поставим другой вопрос: ч т о и к а к говорят нынешние американцы о своей работе. Уитменовский всечеловек молод телом и духом, исполнен оптимизма и героизма, выходит на свидание с целым миром, уверенно ставя себя в центр мироздания. В необжитых американских прериях он готов на славу потрудиться, поет вдохновенные гимны труду и тому, что им может быть и будет создано. Совсем другое мироощущение у героев Теркела. Они живут не под высоким небом широких прерий, а словно бы в малогабаритной квартирке с низкими потолками. Если этим невымышленным людям подбирать аналогии литературные, то много ближе героического человека Уитмена будет им, к примеру, Боб Слокум из недавнего романа Джозефа Хеллера «Что-то случилось». Этот «человек организации» нереально работает и нереально живет, часы и дни проносятся, как туманные клочья в иллюминаторе самолета, пробирающегося сквозь облака, и самое реальное его состояние — страх. Навязчивый страх, неопределенный и оттого еще более мучительный: «Что-то со мной должно когда-то случиться». Что-то давно случилось с Америкой.

Да, собеседники Теркела, их отцы и деды гигантски много сделали на своей земле. В сравнении с этим сделанным египетские пирамиды велики лишь как сохраненная историей материальная метафора. По плодам своего труда американец-работник равен титану. Но когда этот совокупный титан разобран в книге Теркела на составные части, мы видим недовольных, усталых, лишенных радости людей.

Туристы, мелькающие по Америке, вообще иностранцы, удивленные материальными чудесами американской цивилизации, часто проскакивают мимо большого американского парадокса, подтверждающего старую истину, что не хлебом единым жив человек. Видят экономически необычайно развитую страну, прекрасные дороги и автомашины, размах мостов и небоскребность зданий — нигде и никем не превзойденную массу богатства. Видят умение работать, прославленную «эффективность» — этот американский синоним производительности труда. Она на виду даже не под крышами

заводских корпусов и электронно-вычислительных центров: приглядитесь, как на бензозаправке отпускают бензин и меняют скат, как работают дорожные рабочие или продавцы в магазинах. Но как разглядеть другое — что Фил Столлингс, молодой (27 лет) электросварщик на конвейере у Форда, работает, забывая, что он работает. Что в шуме и грохоте конвейера, делая постылое дело, он грезит наяву — о счастливой поре детства и о старости, ошибочно полагая, что она тоже будет счастливой, поскольку даст ему пенсию и свободу — свободу от работы. Фил Столлингс упоминает о своей зарплате, она высокая — об этом заботится мощный профсоюз автомобилестроителей. Приходит ли вместе с зарплатой удовлетворение от работы? Увы. Его мечта наивна и вечна — быть полнокровным человеком, а на конвейере он нужен лишь как несложная функция несложной машины. И вот в целях самосохранения, подсознательно, он выключает в себе человека, переходит в сомнамбулический транс, выполняя свою функцию. Фил Столлингс — не открытие. Чарли Чаплин с поразительной силой показал античеловеческую изнанку высокой производительности труда еще в ту пору, когда не умолкли почти уитменовские гимны конвейерам. Но книга Стадса Теркела документальными свидетельствами американцев-работников убеждает, насколько массова и сильна неудовлетворенность работой, которая не выращивает, а затаптывает человеческую личность.

В этой книге много внутренней, а не внешней правды об Америке. Ведь любая страна — это прежде всего люди, ее населяющие, а истина о любой стране — отнюдь не простая истина о самочувствии ее народа. Эту заслугу «Работы» выделяет, к примеру, известный американский социолог Луис Мамфорд. В своем восторженном отзыве он пишет: «Картина рабочих будней современной Америки и американцев показывает, как наша жизнь, во всяком случае большая часть нашей жизни, выглядит изнутри». Мамфорд считает для американцев обязательным знание «того, что персонажи Теркела говорят иногда с горечью, цинизмом, самоуничижением, но также с гордостью, спокойным достоинством и преданностью более достойной жизни». Тем более ценна эта информация изнутри для неамериканского читателя, интересующегося Америкой.

Я говорил, что в интересах дела, чтобы не маячить перед читателем, Теркел самоустраняется со страниц книги. Диалоги, искусно им проведенные, выглядят монологами его собеседников. Но свое отношение к теме и к добытым результатам он не скрывает. В авторском введении оно выражено резко, дразняще: «Эта книга, имея своим предметом работу, по самому своему характеру есть книга о насилии — над духом так же, как над телом... Это книга о каждодневных унижениях». Что может быть беспощаднее этого знака равенства: между работой и насилием, между работой и унижением. Теркел продолжает: «Это также (книга.— С. К.) о поисках насущного смысла жизни, а не только хлеба насущного, признания, а не только денег, удивления, а не только отупения; короче, о поисках своего рода жизни, а не умирания с понедельника по пятницу». Значит, можно и беспощаднее — об умирании с понедельника по пятницу.

Свой суровый приговор журналист оглашает, еще не дав читателю ознакомиться с «уликами». Он уверен, что читатель этот приговор утвердит и апелляциями заниматься не станет. От читателя он ждет не меньшей серьезности и самокритичности: ведь читатель скорее всего из тех людей, которые исповедуются в книге. Теркел не ошибается. В сегодняшней Америке горькие слова о работе как о насилии принимают за аксиому. И в этом и своевременность, и секрет успеха его «Работы». Ее хорошо встретили и критики, включая литературно-коммерческий истэблишмент. Известный клуб любителей книги «Бук-оф-зи-мант-клаб» сделал ее «первым выбором» очередного месяца, что дало хороший старт, известность, тираж. «Работа» побывала в списке бестселлеров. В нынешние повышенно критические времена, когда после Вьетнама пришел Уотергейт, когда переоцениваются многие общественные институты и прописные истины, Америка, взглянув в зеркало, подставленное Стадсом Теркелом, узнала самое себя.

Между прочим, проблема «неудовлетворенности и скуки на работе» — одна из официально признанных проблем, особенно в автомобильной промышленности с предельными скоростями и одуряющей монотонностью ее конвейеров. В 1973 году при заключении очередного коллективного договора между «большой тройкой» (корпорации «Дженерал моторс», «Форд мотор компани» и «Крайслер») и объединенным профсоюзом автомобилестроителей эта проблема стояла не менее остро, чем традиционная проблема заработной платы. Годом раньше привлекла большое внимание забастовка восьми тысяч рабочих на автосборочном заводе «Дженерал моторс» в городе Лордстаун, штат Огайо. Это новый завод, средний возраст рабочих — 25 лет. Забастовка была против чрезмерной скорости главного конвейера: 101,6 автомашины «Вега» — каждый час, одна рабочая операция — каждые 36 секунд. В книге Теркела есть интервью с Гэри Бринером, молодым президентом местного отделения профсоюза автомобилестроителей. «Нашим доводом всегда было: это для машин, это не по-человечески... Мы человеческое ставим впереди собственности и прибылей»,— объясняет тот.

Необычная забастовка в Лордстауне попала в повестку дня сенатской подкомиссии по занятости, рабочей силе и бедности. Там говорили об «отчуждении рабочего» от работы. Глава подкомиссии сенатор Эдвард Кеннеди заявил в сенате: «Восхищаясь увеличением автоматизации конвейерных линий и преимуществами новейшего канце-

лярского оборудования, мы снова забыли, что за конвейерами и электрическими пишущими машинками находятся человеческие существа... Проблемы недовольства рабочего в Америке нельзя больше избежать. На наших заводах и фабриках, в наших офисах растет чувство неудовлетворенности, которое охватывает несчетное количество работников. Степень этой неудовлетворенности и тревоги еще не полностью известна. Не совсем ясно также воздействие этого недовольства на духовное и физическое здоровье рабочих и на производительность труда в нашей стране». Упоминание о производительности труда не лишено смысла — от неудовлетворенности работой она падает, как и качество продукции. Резко возрастает число прогулов: массовый «абсентизм» становится проблемой на американских предприятиях.

Еще до книги Стадса Теркела вышел доклад, на 211 страниц, «Работа в Америке», подготовленный специальной группой при министерстве здравоохранения, просвещения и соцобеспечения. В нем также отмечается массовое недовольство рабочих «скучными, повторяющимися, внешне бессмысленными операциями». Хотя заработки важны для поддержания «адекватного» уровня жизни, говорилось в докладе, высокие зарплаты не обязательно ведут к удовлетворенности работой. Больше всего протестует молодежь. Это обещает, что проблема будет все более серьезной, ряд специалистов уже сейчас считает ее центральной проблемой на рынке труда.

Центральная или нет, мы бы сузили книгу Теркела, сводя ее лишь к этой истине сегодняшней Америки. Она шире и богаче, и в ее зеркале видно многое другое. Как советский корреспондент, не один год проживший в Америке, я читал ее с большим интересом и не без профессиональной зависти. Американцы — открытые и, в общем, откровенные люди, но так, как удалось Стадсу Теркелу, их не открыть, не отомкнуть иностранному журналисту, да и большинству американских. Поверяя книгу своими впечатлениями, да и догадками, я убеждался: достоверная, очень американская книга.

Этот коллективный труд пронизан своим единством в многообразии. Неповторимость персонажей и их профессий сочетается с общностью и людей, и их труда. Взять «синие воротнички» и «белые воротнички». Откровения и тех и других подтверждают: они плывут в одном потоке труда, который считают подневольным, они братья и сестры, увы, по несчастью. Что общего между тем же электросварщиком, работающим как во сне, неподступной на вид нью-йоркской «моделью», стюардессой, снующей в кабине самолета с очаровательной, как приклеенной улыбкой на лице? Практически ничего, но все трое сознают себя объектами капиталистической эксплуатации, все трое жалуются на гнетущий автоматизм работы. Все трое говорят как о противниках о работодателях, о боссах, о корпорациях.

Труд создал человека. И продолжает творить его из поколения в поколение, но творить по-разному. Труд — это место человека в жизни, это ощущение нужности, это естественная и важнейшая форма связи его с другими людьми — и в процессе труда, и через производимый продукт. Но и эта связь нарушена. Собеседники Теркела одиноки, часто они не знают имени соседа по рабочему месту. Тоска по человеческому общению сквозит у телефонистки Эзер Лэмб, которой дана лишь иллюзия такого общения. Зато с какой радостью говорит о «прекрасном чувстве солидарности» один из самых обездоленных и, казалось бы, несчастных — «чикано», батрак Роберто Акунья. А среди тех, редких в книге людей, которые считают себя счастливыми,— Билл Талкотт, профорганизатор, работающий на ниве человеческого братства.

В книге Теркела характеров не меньше, чем характеристик. Характеры обнаруживают себя не только словами, но и поступками. Люди в книге противоречивы и нелегки, как сама жизнь. Они излагают свою горечь, потому что не утратили веру в будущее, имеют идеалы, сохранили достоинство. Внутренняя независимость видна в независимости и критичности их суждений. Они ропщут на унижение с понедельника по пятницу, потому что не мирятся с ним и не отказались от права и надежды быть не роботами, а творцами на американской земле.

Рецензируя «Работу», нью-йоркский профессор Маршалл Берман, вспомнив о духовных корнях Теркела, назвал его «способнейшим глашатаем и провидцем Народного фронта нашего времени», а трудовую массу, заявившую о себе в его книге,— «великой человеческой рекой», «первичным источником жизненности и энергии Америки». Чтобы не впасть в заблуждение, следует уточнить: Народного фронта в нынешней Америке нет, речь идет не о широкой народной коалиции, оформленной организационно и программно, а о неумирающей, возрождаемой жизнью идее, о мечте и умонастроении многих и многих американцев.

Разница эта велика, но впечатление от встречи с «великой человеческой рекой» все равно остается сильным.

Вашингтон, сентябрь 1975 г.

С. КОНДРАШОВ

Роберто Акунья

Вот уже два года, как я оставил работу в поле. Я понял, что в Калифорнии царит настоящий феодализм и с ним пора покончить. Надо изменить жизнь сельскохозяйственных рабочих и показать этим огромным монополиям, что они еще не самые главные в мире. Сейчас мне 34. Я агитирую людей вступать в профсоюз сельскохозяйственных рабочих США.

Его руки в мозолях, ногти на больших пальцах изуродованы. «Когда собираешь латук, с больших пальцев сходят ногти, ведь они все время задевают за край ящика. Руки распухают. А темп замедлить нельзя — десятник видит, что ты отстал от других на несколько ящиков, так что лучше уж не останавливаться. Но люди помогают друг другу. Если тебе сегодня совсем худо, тебе поможет тот, у кого дело спорится. Всем, кому туго приходится, надо держаться вместе, нравится им это или нет, будь у них кожа черная, желтая или белая».

Мать рассказывала, что я родился прямо в поле, на мешке из рогожи, потому что у нее не было денег пойти в больницу. Когда я был маленьким, мы все время переезжали то из Калифорнии в Аризону, то из Аризоны в Калифорнию. То, что я видел, определило мою жизнь. Помню, как мы всей семьей собирали морковь и лук. Мы буквально вырывали из земли средства для существования. Я видел, как родители плакали в отчаянье, хотя работала вся наша семья. Взрослым тогда платили по 62,5 цента в час. В год это выходило по 1500, ну, от силы 2000 долларов [1].

Еще кое-что добавлял к семейному доходу детский труд. В те годы фермеры проводили традиционную неделю под девизом «Собери свой урожай». В страдную пору они брали из школы детей сезонных рабочих, чтобы те собирали урожай. А когда ребенок возвращался в школу, ему давали маленькую золотую звездочку, вроде бы за исполнение гражданского долга.

Мы собирали все: латук, морковь, лук, огурцы, цветную капусту, помидоры — ну, просто на любой салат. Апельсины, лимоны, арбузы — всего не перечислишь. Месяца четыре мы проводили в Салинасе, оттуда ехали работать в Империал Велли, потом — на сбор цитрусовых. Это был замкнутый круг — мы все время торопились к новому сезону уборки.

После смерти отца мать, закончив работу, обычно шла в свою палатку, а я в другую, для нас, детей. Бывало, мы все перессоримся и бежим в палатку к маме и видим, что она плачет. Когда я ее спрашивал, почему она плачет, она ничего не отвечала, говорила только, что скоро все изменится к лучшему. Матери крепко досталось от жизни, но она никогда не утрачивала чувства собственного достоинства. А лучшие времена, про которые она говорила, так для нее и не наступили.

«Одно время, когда матери очень нужны были деньги, она устроилась работать вечером в ресторане. Я ей помогал. Фермеры, которые туда заходили, отпускали грязные шуточки и приставали к ней. Я, понятно, за нее заступался, но мать говорила, чтоб я не связывался, что она сама может с ними справиться. Но они ее до слез доводили своими приставаниями.

Моя мать была очень гордой женщиной. Она нас всех одна вырастила и поставила на ноги и помощи ни у кого не просила. И всегда мать старалась укрепить нашу семью. Вот говорят, что семья, которая вместе молится,— это крепкая семья. А я считаю, что крепкая семья — это та, где все вместе работают. Из-за трудностей, которые они делят. Моя мать не очень-то грамотно говорила по-английски, да и по-испански тоже. Она была совсем необразованной, но она знала несколько молитв и заставила нас их выучить. Я тут вот что скажу. Как поглядишь, что делается в стране, да и во всем мире, так просто бы сровнял все церкви с землей. Я что-то ни разу не видел, чтобы священник вышел с нами в поле, чтоб он старался помочь людям. Может, теперь они это и делают. Но церковь обычно только забирает, а не дает. Однажды нас попросили в церкви принести овощи для благотворительного базара. Мы принесли, но купить их могли только богатые, одни они неплохо провели время...»

В школу я ходил босиком. Белые ребята насмехались над нами. Они смеялись над маисовыми лепешками, которые мы приносили на завтрак. У них-то завтрак был в специальных аккуратных коробочках и холодное молоко в термосе, а у нас — только сухие маисовые лепешки. Над нами не просто смеялись, нас всегда задирали. Мой старший брат заступался за нас всех и частенько являлся домой с подбитым глазом.

Хуже всего, когда приходилось жить на пособие — до чего же это унижает достоинство человека. Нам выдавали консервы с этикеткой: «Собственность государства. Без права продажи и обмена». А ведь совсем по-другому себя чувствуешь, если можешь сам, на свои деньги купить такие же консервы.

«Я хотел стать в школе своим. Было это в шестом классе. К 4 июля [1] решили поставить патриотическую пьесу и пробовали ребят на разные роли. Я хотел, чтобы мне дали роль Линкольна, и назубок выучил геттисбергскую речь. Я учил ее, пока работал в поле. Из всех ребят я один не читал роль по книжке, я ее наизусть знал. А роль отдали дочке фермера. Она тоже читала по книжке, но сказали, что у нее дикция лучше. Я очень расстроился. В восьмом классе я ушел из школы.

Если со мной кто заговаривал о полити-

[1] Теперь мы добились повышения платы до двух долларов в час. Но и этого, конечно, недостаточно.

[1] День независимости США *(прим. ред.)*.

ке или о гражданских правах, я делал вид, что не слышу. Это так унизительно, когда не можешь выразить свои мысли. В школе от нас требовали, чтобы мы говорили по-английски, а это стоило нам огромных трудов. Я то и дело ввязывался в драки из-за того, что говорил по-испански, а ребята не понимали. Меня наказывали — оставляли в школе после уроков за то, что я не хотел говорить по-английски».

Мы возили с собой свои собственные палатки. У большинства рабочих не было палаток, и они жили в тех, которые компания заранее ставила для них на полях. А у нас, ребят, была своя палатка, подержанная, правда, но зато своя собственная. Белые смеялись над нами. «Смотрите, ряженые едут»,— говорили они. Одежда у нас всегда была грязной. А как мы могли держать что-нибудь в чистоте, когда мы все время колесили по пыльным проселочным дорогам. Ну, и старались держаться подальше от города.

Я не любил ездить в город, потому что это всегда сулило одни неприятности. Мы обычно заходили в маленькие лавчонки, хотя с нас там сдирали дороже. А в хороших магазинах над нами смеялись, на нас показывали пальцем. Чтобы купить необходимое, мы ездили в город примерно раз в две недели. Всегда старались держаться вместе, боялись ходить поодиночке. (Смеется.) Мы подшучивали над своей бедностью. Кто-нибудь говорил: «Вот разбогатею, женюсь на белой, чтобы меня приняли в их общество». А другой парень отвечал ему: «А я как разбогатею, женюсь на мексиканке и пойду в это твое общество посмотреть, как тебя повесят за то, что ты женился на белой». Вся наша жизнь сосредоточивалась вокруг работы на полях.

Я начал работать в поле, когда мне было восемь лет. Помощи от меня тогда было мало, но даже это имело значение для семьи. Всякий раз, когда я отставал, родители швыряли в меня морковкой. А я мечтал: вот, думаю, стать бы миллионером, скупить все эти ранчо и отдать их людям. Я представлял себе, что маме не приходится больше ездить с места на место, а живет она все время в одном и том же доме и все соседи очень ее любят. А меня тут — хлоп морковкой по спине. Ну уж какие тогда мечты. А потом поработаешь и снова начинаешь что-нибудь придумывать.

Мы выходили в поле рано, около четырех утра, и работали до шести. Потом — скорей домой, чтобы переодеться в чистое и бежать в школу, потому что боялись опоздать. Бежали во всю прыть. В класс входили совсем выдохшимися. В одиннадцать мы уже клевали носом. Учителя посылали домой записки, жаловались маме, что мы невнимательны на уроках. Единственный предмет, по которому я успевал, было правописание. Мы часто не выполняли домашних заданий, потому что работали. А учителям этого было не понять, ну, и мне иногда здорово влетало.

Занятия в школе кончались около четырех. Опять мы бежали домой, переодевались и работали до семи, а то и и до половины восьмого. Это в будни, а в субботу и воскресенье мы оставались в поле с четырех тридцати утра и до семи тридцати вечера. Вот когда мы действительно зарабатывали деньги. Мы все работали.

Я подносил матери ящики, чтобы она складывала туда морковь. Я выдергивал морковь из земли, а она сортировала ее по величине. Я приносил ей попить. А когда мы собирали помидоры, ящики были очень тяжелыми, фунтов тридцать каждый. Эти ящики должны быть очень крепкими, чтобы не разбиться, когда их швыряют на грузовик.

Но самое трудное — это пропалывать и окучивать овощи, особенно если у мотыги короткая ручка. Поле — длиной около полумили. Целый день не разгибаешь спины. А уж когда земля попадается твердая, так приходишь домой, а все руки в волдырях и спину страшно ломит. Иногда мне даже не до еды было, так уставал. Валился на постель и засыпал как убитый. А тут опять вставай — и в поле.

Помню, как мы приехали из Аризоны в Калифорнию на сбор моркови. В поле было очень холодно и ветрено, а у нас в палатке на четверых ребят — одно ветхое одеяльце. Мы промерзали до костей. Тогда я утащил у хозяина два новехоньких одеяла. Как только мы ими укрылись, нам сразу стало так хорошо и уютно. Но меня кто-то заметил. На следующее утро хозяин сказал матери, что он нас выгонит, если мы не отдадим ему одеяла, и чтоб они были совсем чистые. И вот моя мать, младший братишка и я пошли на реку, нарезали веток с кустов, разожгли костер и согрели воду. Мать тщательно выстирала одеяла, высушила их, прогладила и отдала назад хозяину. А нам задала хорошую взбучку.

Вспоминается мне один рабочий лагерь, находившийся в ведении городских властей. Строили-то его в расчете на немецких военнопленных, а потом селили там семейных рабочих. Вокруг лагеря была колючая проволока. Не вернешься в лагерь до десяти вечера — пиши пропало, раньше четырех утра туда уже не попадешь. Мы не знали этих правил, никто нам о них не сказал. Мы поехали в гости к родственникам и вернулись около половины одиннадцатого. Нас не впустили, и нам пришлось спать прямо в машине за забором. Попали мы, наконец, в лагерь только утром, перекусили на скорую руку и пошли в поле работать [1].

Хозяин специально селил семьи раздельно, в расчете, что они будут ссориться. У него было не то три, не то четыре рабочих лагеря, и он старался натравить людей из разных лагерей друг на друга. Лучшие участки для работы он давал самым быстрым. Так, внося в работу дух конкуренции, он

[1] Теперь мы добились, чтобы этот лагерь снесли. На его месте начали строить дома.

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

выжимал из нас все, что только было можно.

Когда мне было шестнадцать лет, я стал десятником. У меня под началом были брасерос — рабочие из Мексики. Их привозили работать на сезон и отправляли обратно в Мексику, когда сезон заканчивался. Я должен был следить, чтобы они хорошо работали, и подгонять их — я представлял интересы компании. Моим родителям нужны были деньги, и я хотел, чтобы они гордились мной. Десятник — это все-таки уже что-то. Каким же я был тогда наивным! Хотя я и подгонял рабочих, их заботы были мне близки и понятны. Они не умели писать, и я писал за них письма. Я ездил с ними в город, чтобы помочь им купить одежду не в лавках компании. Мне платили тогда доллар десять центов в час. Зарплата обычного рабочего к этому времени поднялась до 82,5 цента в час. Но даже брасерос зарабатывали больше, чем я, потому что работали сдельно. Я попросил прибавки. Хозяин сказал: «Не нравится тебе здесь, так можешь поискать другое место». Я ушел от него и поступил в морскую пехоту.

«Мне тогда было семнадцать. В голове у меня был полный сумбур. Я хотел стать образцовым гражданином, полноправным членом общества и гордился своей формой. Я был несовершеннолетним, и моя мать сперва не хотела подписывать своего согласия, а потом рассудила, что мне нужно думать о будущем и что на службе у меня есть шанс получить образование.

Я очень для этого постарался. Мне удалось сдать экзамен для поступления на государственную гражданскую службу, и я был счастлив — ведь почти все остальные были ребята, закончившие колледж. В группе из шестидесяти человек было только три чиканос. Я получил должность надзирателя в тюрьме штата, но уволился после восьми месяцев работы, потому что то, с чем мне пришлось столкнуться, было непереносимым. От меня требовали, чтобы я дубинкой усмирял заключенных, главным образом чиканос и черных. А я не мог этого делать. Меня называли сопляком, потому что я не хотел никого бить, начали ко мне придираться. Я ушел, но не из-за того, что боялся, а просто не хотел озвереть, как другие. Это была тюрьма Соледад».

Я начал понимать, что все в мире устроено несправедливо. Фермеры проводят воду для орошения своих полей, но почему-то не могут провести ее в дома рабочих. Ветеринары заботятся о домашнем скоте, а медицинской помощи для рабочих не существует и в помине. Для фермеров есть субсидии, а рабочим платят гроши. К нам относились просто как к рабочему скоту. Да нет, со скотиной и то обращались лучше. Для скота были просторные теплые стойла, а рабочие жили в полуразрушенных холодных бараках.

Процент заболеваний среди людей, работающих на полях, на 120% выше, чем среди занятых в промышленности. Это в основном радикулит, артрит, ревматизм, возникающие из-за холода и сырости. Когда во время работы постоянно приходится нагибаться — это тоже даром не проходит. Высок процент заболевания туберкулезом. А теперь, из-за распространения ядохимикатов, участились и заболевания дыхательных путей.

Калифорнийский университет в Девисе проводит федеральные эксперименты с химическими удобрениями и ядохимикатами, чтобы повышать урожайность из года в год, а вот о мерах предосторожности и не думают. Не то в 64-м, не то в 65-м году был такой случай. Самолет распылял химические удобрения. Он летел низко, и его колеса зацепились за проволочную ограду поля. Пилот вышел, отряхнулся и выпил воды. Он умер в конвульсиях. У санитаров, которые забрали его, началась рвота — у него вся одежда была пропитана ядовитыми веществами. В другой раз маленькая девочка играла недалеко от распылителя. Она широко разинула рот — и умерла почти мгновенно.

Ядохимикаты проникают в легкие сельскохозяйственных рабочих. Они постоянно дышат отравляющими веществами, но никакой компенсации им за это не выплачивается. Случаи заболеваний не расследуются, лишь устанавливается сам факт заболевания.

Временами я чувствовал, что больше этого не вынесу. Было сорок градусов в тени. Перед собой я видел лишь бесконечные ряды латука, страшно ныла спина. Казалось, все, мне больше отсюда не выбраться. Я готов был броситься на десятника, если он косо на меня посматривал. Но еще два года назад мой кругозор был очень ограничен.

Мне приходилось читать в газетах о Сесаре Чавесе, но я осуждал его, потому что все еще мечтал стать образцовым гражданином. В Мехикали мне давали их листовки, а я их выбрасывал. Я никогда ни в чем таком не участвовал. Бойкот, объявленный сборщиками винограда, меня не касался, я в ту пору собирал латук. А потом Чавес приехал в Салинас, где я работал, и вот тогда я понял, что это необыкновенный человек. Я пошел на митинг, где он выступал, но я все еще хотел работать для компании. Но, как бы это сказать,— я был близок к остальным рабочим. Они не знали английского и хотели, чтобы я от их имени говорил о готовящейся забастовке. Не знаю даже, как это вышло, но я как-то сразу проникся великим чувством солидарности.

В четыре утра можно было видеть пикетчиков, разогревающих на лагерных кострах бобы, кофе и лепешки. Я ощущал себя среди них своим. Близкие, родные мне люди, которые хотят изменить жизнь. Я понял — вот то, к чему я всегда стремился, просто раньше я этого как-то не осознавал.

Заветным желанием матери было, чтобы я чего-то добился в жизни. И я хотел добиться успеха — из-за нее. Но когда начались забастовки, я сказал ей, что вступаю в профсоюз. Я присоединяюсь к движению,

сказал я ей, и буду работать бесплатно. Мать ответила, что гордится мной. (Его глаза блестят. Долгая, долгая пауза.) Понимаете, я объяснил ей, что хочу быть вместе со своими товарищами. Если я буду на стороне компании, от меня все отвернутся. Я должен был сделать выбор, и я нашел свое место. «Когда ты был мальчиком, я внушала тебе, что ты должен выйти в люди, сделать карьеру,— сказала мать.— Но теперь я вижу, что это не главное. Я знаю, что буду гордиться тобой».

Сельскохозяйственные рабочие — это люди всех национальностей, не только чиканос. Забастовку начали филиппинцы. Но с нами были и пуэрториканцы, и жители Аппалачей, арабы, японцы, китайцы. Раньше хозяева настраивали нас друг против друга. Теперь у них это не выходит, и это их пугает. Фермеры имеют право объединяться в союзы. А когда мы создаем свою организацию для улучшения наших жизненных условий, они боятся. Пока Сесар Чавес не объяснил сельскохозяйственным рабочим этого, они и не мечтали о том, что можно жить иначе. Зато теперь они это хорошо усвоили — вот что больше всего пугает хозяев.

Сейчас повсюду все больше применяют машины. Для того чтобы на них работать, нужна определенная квалификация. Но научить можно любого. Надо дать шанс и сезонным рабочим. Есть машины для уборки винограда, есть для латука. Машины для уборки хлопка отнимают работу у тысяч людей. Люди оседают в городских гетто, лишенные привычного образа жизни, былой общности, семьи.

В контрактах мы стараемся специально оговорить, что хозяева не имеют права вводить какую бы то ни было технику без согласия рабочих. Мы должны быть уверены — если людей заменяют машинами, люди будут обучены работать на этих машинах.

Работа в поле — в ней ничего унизительного нет. Конечно, это тяжелый труд, но ведь его можно облегчить. Будь у нас твердо установленные часы работы, достаточная заработная плата, пособия по безработице и по болезни, пенсии — насколько бы лучше нам жилось. Беда в том, что хозяева не считают нас людьми, отсюда и все остальное. Мы для них просто безмозглые скоты. Теперь-то мы поняли, что это у них нет мозгов, у них в голове одна мошна с деньгами. Потрясешь ее хорошенько, тут-то они и поднимают вой.

Если бы мы получали достаточно, нам бы не приходилось работать по семнадцать часов в день и все время переезжать с места на место. Мы смогли бы обосноваться где-нибудь, пустить корни. Когда все время колесишь по стране, семья распадается. Залезаешь в долги, уезжаешь всегда без гроша в кармане. А хуже всего от этого детям. Три месяца они ходят в школу в одном месте, три месяца в другом. Только успевают завести друзей, опять приходится уезжать. Они, в сущности, лишены детства и, когда вырастают, всю жизнь стараются себе его возместить.

Если бы только все люди могли увидеть поля зимой. Земля покрыта льдом. Мы работаем, целыми днями стоя на коленях. Мы разжигаем костры, наскоро пытаемся отогреться и опять идем в поле. Или собираем дыни при сорокаградусной жаре. Когда люди едят дыни, морковь или латук, откуда им знать, как все это попало к ним на стол и чего нам это стоило. Будь у меня довольно денег, я бы возил людей на экскурсии на поля и в лагеря для рабочих. Тогда бы каждый знал, откуда у него на столе этот прекрасный салат.

Эзер Лэмб

Почти два года она работает телефонисткой на междугородной станции. Неподалеку расположена военно-морская база. В период школьных занятий она работает три ночи в неделю и полные сорок часов летом. Ей скоро исполнится восемнадцать лет.

Очень странное ощущение. Сидишь в помещении величиной со спортивный зал и разговариваешь с людьми через расстояние в тысячи миль. В течение часа твой голос услышат по меньшей мере тридцать пять человек. Но сказать им что-нибудь свое нельзя. Они тебя не знают и никогда не увидят. И кажется, будто теряешь людей. Словно они опустили монету в автомат, и он выбросил им тебя. Ты исполняешь то, что обязана, и исчезаешь. Сама ты словно в стороне.

Многие девушки в настоящей своей жизни очень застенчивы. Пока они на работе, все хорошо, но если им надо поговорить с человеком лицом к лицу, они теряются и не знают, что сказать. Они смущаются оттого, что на них смотрят. А у коммутатора ты словно в маске.

Есть шесть-семь фраз, которыми мы пользуемся: «Доброе утро, чем я могу вам помочь?», «Добрый день», «Добрый вечер», «Какой номер вам нужен?», «Повторите, будьте добры», «Вас вызывает такой-то или такой-то. Будете оплачивать?», «Это обойдется в доллар двадцать центов». Вот и все, что нам положено говорить.

Самое главное — не вступать в разговоры с клиентом. Если он расстроен, можно сказать только: «Мне очень жаль, что у вас неприятности», но больше — ни-ни. Если тебя поймают за разговором с клиентом, тебе ставят минус. А ведь если у человека

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

беда или просто плохое настроение, очень хочется что-то ему сказать. Меня так и тянет спросить: «Что с вами?» И нисколько не чувствуешь, что в самом деле кому-то помогаешь.

Вот, например, человек звонит из Вьетнама, а его номер занят и прервать нельзя. И одному богу известно, когда он сумеет позвонить еще раз. И знаешь, что ему тоскливо, что он бы рад поговорить хоть с кем-нибудь, а ты на линии, но тебе нельзя. Человеку плохо, а ты ничего сделать не можешь. Я, когда только начинала работать, спросила у диспетчера, а она говорит: «Ничего, позвонит еще раз».

Один человек попросил: «Что-то мне тоскливо, поговорите со мной, хорошо?» А я ответила: «Простите, никак не могу». Но ведь правда же не могу. (Смеется.) Люди общаются с моей помощью, а не со мной.

Я тут проработала почти два года, а кого из девушек я знаю по имени? Только фамилии, потому что они написаны на наушниках. Видишь их каждый день, а как их зовут, не знаешь. Это называют коллективной работой, а ты даже не знаешь имен тех, с кем работаешь.

Как-то неловко, встретив девушку со станции, говорить: «Привет, Джонс!» Очень неловко. Сидишь в кафетерии, разговариваешь и не знаешь, как их зовут. (Смеется.) Я так неделю поговорила, а потом начала подходить к ним и спрашивать: «Как вас зовут?» (Смеется.)

У нас у каждой свой номер. Мой номер — четыреста семь. Номер ставят на твоих карточках, и, если допустишь какую-нибудь ошибку, сразу видно, кто виноват. Ты всего лишь инструмент. Твое дело — набирать номер. Ну, и сама ты — номер.

Девушки сидят бок о бок. Между мной и соседкой и пятнадцати сантиметров не будет. Ну, и толкаемся все время локтями, особенно если она левша. Вот почему зимой у нас у всех насморк не проходит — из-за тесноты. Стоит одной чихнуть, и завтра все чихают. Насморк ведь очень заразный.

Ногти приходится подстригать очень коротко. Они ломаются. Включаешь — и нет ногтя. Причесываешься тоже просто. Зачесывать волосы вверх никак нельзя. Если сделаешь прическу, то хоть на работу не выходи — наушники все сомнут.

Руки еще не очень устают, а вот губы! Устаешь говорить, как ни странно. Ведь говоришь-то шесть часов без передышки.

Половина телефонов теперь новой системы и дают разные гудки в зависимости от того, какую монету опустить: двадцать пять центов — три гудка, десять центов — два гудка, пять центов — один гудок. Если человек торопится, он бросает монеты одну за другой, и все гудки перепутываются. (Смеется.) Так что не сосчитать, сколько монет брошено. Совсем запутываешься.

Заказ мы записываем на компьютерной карточке. Их обрабатывает особая машина. Мы пишем особыми карандашами, чтобы компьютер мог прочесть номер. Карандаши такие мягкие, что к концу смены и стол весь грязный, и сама ты не лучше. (Смеется.) А иногда спина разбаливается, потому что стул не отрегулирован и приходится нагибаться, когда пишешь. И все время надо следить за вызовами. Ведь заказы выполняются не по одному, а вместе.

И еще часы. Стоят перед тобой и отмечают каждую секунду. Когда лампочка гаснет, значит, там сняли трубку и надо записать час, минуту и секунду. Ну, хорошо, запишешь и вложишь карточку в специальную щель рядом с лампочкой. Можно заняться другим заказом. А за первым все равно следишь. Лампочка загорится — значит, абонент кончил говорить, и надо вынуть карточку, чтобы опять пометить час, минуту и секунду, а сама без задержки продолжаешь принимать другие заказы. Такая карусель, что вздохнуть некогда.

В дневную смену разговоры больше короткие, и тут только успевай записывать номер кредитной карточки одного абонента и получать деньги с другого. Этому нужно продлить время, тот ждет, чтобы его соединили. Иной раз такая получается путаница! Все просто выходят из себя. И уж совсем плохо, когда люди злятся и бормочут в трубку.

Бизнесменов всегда очень раздражает, если просишь их повторить номер кредитной карточки. Иногда они говорят с тобой и одновременно с кем-то еще, и ты слушаешь и ждешь, когда же он назовет номер. Думаешь, он с тобой говорит, а он это не тебе, и он сразу раздражается. Мы очень чувствительны к тону голоса. Иногда просто из себя выходишь. С какой стати он на тебя кричит? И такое у тебя чувство, что тобой помыкают.

А иногда ощущаешь свою власть. Это я вам говорю, чтобы вы кончали разговор. И платить вы должны мне. Если не заплатите, я могу устроить вам неприятности. Особенно это чувствуешь, когда говоришь с людьми, которые платят за вызов наличными, вот как матросы на базе. А с бизнесменами ощущаешь свою полную беспомощность. Он может тебя в порошок стереть. У тебя есть власть только над теми, кто победнее. У таких даже нет собственного телефона, а потому они не могут жаловаться. А бизнесмен напишет письмо в управление. Я куда терпимее отношусь к людям, которые звонят из автомата и у которых мало денег. Но уж бизнесмена я заставляю оплачивать каждую секунду разговора. (Смеется.) Тут я сильнее его.

Я считаю, что плата за телефонные разговоры слишком высока. Если прямо набирать, это дешево. Но если человек беден и у него нет собственного телефона, так что он звонит из автомата, то ему такой звонок обходится жутко дорого. Бедняков просто грабят.

Если хочешь, то нетрудно устроить так, чтобы тебя куда-нибудь пригласили. Меня приглашали сотни раз. (Смеется.) Всегда можно сказать что-нибудь такое, особенно поздно вечером, когда у тебя от скуки

скулы сводит. Я умею говорить так, словно я с Юга, и еще с пуэрториканским акцентом. А еще можно придать голосу страстность — просто чтобы посмотреть, как это подействует... Нет, нет, я таких приглашений не принимаю. (Смеется.) Как-то не вдохновляет...

Бывает так: человек позвонит и скажет, что оплатят разговор те. Звонишь им, а они говорят, что не знают такого. С телефонисток за это не взыскивают, но все равно за нами следят. Сколько заказов ты приняла, как заполняешь карточки, сколько ошибок делаешь. Тебя все время дергают.

Если день не задался и у тебя на душе скверно, это сказывается на том, как разговариваешь с абонентами. Ну, зато выпадают и веселые дни. Я не во всем придерживаюсь правил. И люблю пошутить. Особенно в ночную смену. Иногда такие остроумные абоненты попадаются, что хохочешь прямо до слез. (Смеется.)

Подслушиваю ли я разговоры? (Понижает голос.) Некоторые девушки этим постоянно занимаются. А меня никогда не тянет подключиться. Сама не знаю почему. Компания у нас такая, что с тебя все время глаз не спускают. Старшая телефонистка то и дело тебя слушает. Ей только кнопку стоит нажать на специальной консоли. Ну, чтобы проверить, достаточно ли я вежливо говорю, не болтаю ли с абонентами, точно ли высчитываю плату и не звоню ли своим знакомым. Компания слушает. А ты об этом и не подозреваешь. Вот почему лучше все-таки почаще придерживаться правил. Не попадаться.

Подслушивать нам не предлагают. Ведь это значит пойти наперекор всему, что они же нам вдалбливали: тайна телефонных переговоров, охрана прав абонента и все такое прочее. Но я бы все равно отказалась. Пусть сами этим занимаются.

Остаются работать телефонистками женщины постарше. Молодые девушки тут обычно не задерживаются. Девушки терпеливее женщин в годах. Я как-то сидела рядом с такой. Ее абонент положил трубку, а она пыталась получить с него деньги. И давай орать: «Эй, возьмите трубку, вы со мной не рассчитались!» И с такой злобой! Если бы я себе такое позволила, старшая на меня накричала бы. Но эта телефонистка проработала тут двадцать лет. Таким многое спускается. А голоса почти у всех у них просто жуткие. Но ведь, с другой-то стороны, попробуйте проработать тут двадцать лет и двадцать лет повторять одно и то же! Разве можно их осуждать? За двадцать лет нетрудно совсем очерстветь.

Как-то тяжело, когда все торопятся поговорить с кем-то, но только не с тобой. А ведь иногда и тебе до того бывает нужно с кем-то поговорить! С таким человеком, который готов тебя послушать, а не зарычит: «Почему вы меня неправильно соединили?»

И до чего приятно, когда кто-нибудь скажет: «Хорошая стоит погода. А как вы нынче, очень заняты? Тяжелый выдался день?» Такую испытываешь к нему благодарность! И отвечаешь: «Да, очень тяжелый был день. Спасибо, что поинтересовались».

Рип Торн

Он приехал в большой город из маленького городка в восточном Техасе. Из-за независимой манеры держаться, непонятной тем, кто нанимает актеров, его объявили «ершистым». Хотя у него, как актера, репутация прекрасная, как человек он не устраивает многих продюсеров и рекламодателей.

«У меня есть недостатки характера. То, что называется эмоциональностью. Я легко сержусь. Легко огорчаюсь. Вот я и решил, что как актеру мне все это будет только на руку. В театре мои слабости обернутся силой. Я считал, что театр восславляет человека, что тут зримо воплощается предельно комический и предельно трагический человеческий опыт. Я говорю: «Да, это я могу сделать. Вот так я вижу жизнь». Раз я чувствую, то могу использовать свои чувства для работы. На работе другого типа я могу трудиться до седьмого пота — как актер я так и тружусь,— но свои чувства я использовать не могу. Вот почему я стал актером. Но оказалось, что этого им не нужно. (Смеется.) Им нужно, чтобы ты был глиной у них в руках».

Актеры превратились в зазывал. Вот, помнится, снимался я в телефильме лет десять назад — для телевидения я уже лет восемь не работаю. И курил сигару — длинную, кубинскую. Персонажу, которого я играл, кавалерийскому полковнику, шла сигара. Я сел на лошадь, и мы должны были кинуться в атаку на холм. Снималась атака общим планом. Вдруг режиссер и продюсер хором завопили: «Стоп! Стоп! Это что еще за сигара?» Я говорю: «Я сигар не курю, но это нужно для роли. В эпоху Гражданской войны сигарет еще и в помине не было». Они говорят: «Не в этом дело, вы не понимаете». А я говорю: «Теперь-то я прекрасно понимаю, только ведь программа вроде бы не рассчитана на рекламу сигарет». Рекламодателем был «Понтиак». Но за

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

ними сохранялось право на перепродажу, и потому полковник времен Гражданской войны не смел курить сигару — вдруг да купит программу сигаретная компания, и мое вживание в роль вредно скажется на рекламе их товара! Они потребовали, чтобы я бросил сигару. Нет, мы — ярмарочные зазывалы, и ничего больше.

Актера в первую очередь используют для рекламы товара. Это приносит хорошие деньги. Но мало этого: актеры теперь рекламируют политических деятелей. Этим не брезгуют даже те, кто мне, вообще-то говоря, симпатичен. Помню, один такой прямо назвал актеров расхожим политическим товаром. Им нужно, чтобы актер был мальчиком на побегушках.

Я вовсе не презираю тех, кто снимается в рекламных фильмах. Мне даже такой работы ни разу получить не удалось. Один мой приятель объяснил мне, к кому пойти. Она говорит: «Вам придется сбрить бороду». Тогда еще бороды и длинные волосы не вошли в моду. Я говорю: «Это же голос за кадром. Так какая разница?» Она отвечает: «Вы не подойдете». Ну, я прочел рекламный текст про крем для бритья. В контрольную будку, наверное, человек сорок набилось. А обычно больше пяти там не бывает. Словно из всех кабинетов сотрудники сбежались. Меня не взяли. А они собрались поглядеть на чокнутого. Я еще три-четыре раза пробовался на голос за кадром. Всем нравилось, как я читаю, но работы таки я не получил.

Ну, не знаю. Не так, что ли, им кланяешься. Если бы я мог научиться, как надо кланяться, то, может, и попробовал бы. Прямо как в армии. В армии есть такое понятие — «недисциплинированность в манере держаться». Вроде бы за человеком нет никаких проступков, чтобы сказать: «Вот я наложу на него взыскание. На всю катушку». Просто как-то он не так держится. Говорит по уставу «да, сэр», «нет, сэр». Но что-то в нем есть такое, отчего вас тянет сказать, что его манера держаться отдает недисциплинированностью. Не целует он одно место, как положено. Есть в нем что-то такое. Про лошадь бы сказали: «Плохо объезжена» — не сразу подчиняется команде и узде.

Когда я работал в Голливуде, давно уже, мне кто-то сказал. «Ты не понимаешь. Тут все держится на страхе, а ты словно бы ничего не боишься». Каждый чего-то боится. По-моему, антоним к любви и счастью — совсем не ненависть. По-моему, это страх. Вот что, по-моему, губит все. Праведный гнев — это как раз хорошо. Но если говорить с ними прямо, ничего не получается. Я не понимаю, в чем тут дело... Как-то раз попал я на вечеринку. Ее устроил один видный продюсер. На чистом воздухе у бассейна. Чуть не двести человек собралось. Вдруг вижу — на дереве установлен трамплин. Я и вспомнил, что мальчишкой нырял с такой высоты и делал двойное сальто. Кто-то говорит: «Это вам не по зубам ни теперь, ни раньше». Я говорю: «Пожалуй, я и сейчас сумею». Он говорит: «Ну, можно проверить». Нашли для меня плавки. Я говорю: «Давайте хоть пари заключим. Ставлю доллар». Жаль, я тысячи не поставил. Вся компания на меня смотрит. Ну, я влез туда и нырнул. Тип этот сердито сунул мне доллар, и больше со мной никто не желал разговаривать. Словно я что-то непотребное устроил. Он был какая-то крупная шишка, и ему хотелось надо мной посмеяться. Ну, я показал ему, что не треплюсь, а это обернулось светским промахом. Мне бы надо было скушать пилюлю и сказать: «Да-да, вы правы». Ну, а я этого не могу.

Года через два-три я пробовался на рекламу «Пан-американ». Автор текста выходит из контрольной кабины и говорит: «Я вас помню. У бассейна в Голливуде. Вы тогда что-то много о себе понимали. И меня вы, конечно, не помните». Наверное, он был одним из тех, кто в тот вечер не желал со мной разговаривать. Он говорит: «Вы, конечно, считаете, что в этом тексте нет и намека на художественность. Так позвольте вам сказать, что на двадцать строк этой рекламы потрачено больше мысли, больше художественности, больше времени и больше денег, чем на любую вашу бродвейскую пьесу». Я говорю: «Ну и прекрасно». Тут он говорит: «Продемонстрируйте нам, пожалуйста, силу вашего голоса». Я читаю: «Самолеты «Пан-американ...» Он меня перебивает: «Вот вы произносите «Пан-американ»...» Я говорю: «Я же показывал вам силу голоса, а не читал». Ну, я попробовал еще раз, а он заявляет: «Ничем не лучше». Он просто искал, к чему бы придраться. Как по-вашему, он сводил со мной счеты за мой светский промах? (Смеется.) За то, что я — это я?

Кто сейчас всем заправляет? Торгаш. Для того чтобы выражать эту культуру, чтобы преуспеть, надо самому быть торгашом. Люди, которые пишут песенки для рекламы, зарабатывают куда больше тех, кто пишет оперы. И по общим меркам они преуспевают больше. А мерки эти торгашеские, и все прибрал к рукам торгаш. В глазах американской публики актер хорош, только если он хорошо зарабатывает.

На похоронах моего деда ко мне подошел мой дядя и сказал: «Неважно, что из тебя получилось. Мы тебя все равно любим. И хотим, чтобы ты знал, что у нас для тебя всегда найдется место. Так бросил бы ты эти глупости и вернулся домой!» Они считают меня неудачником.

Считается так: поработай в рекламе, обеспечь себе финансовый успех, а потом можешь заняться творческой работой. Это миф. Я ни одного человека не знаю, кому бы это удалось. Мне говорят: «У тебя ведь был такой шанс». Меня приглашали сниматься в шестидесяти с лишком телевизионных сериях. Но я всегда считал, что это реклама товара и только. Мне твердили одно и то же: «Пойди на это, а потом вернешься в театр и сможешь играть роли, какие захочешь». Но я не знаю нико-

го, кому потом удалось бы вернуться к работе, в которой он видел свое призвание.

Ко мне часто подходят молодые актеры и говорят: «Я вас уважаю, потому что вы не продались». А я продавался, и не один раз. Нам всем приходится приспосабливаться к обществу, в котором мы живем. Надо платить за квартиру. Вот мы и делаем что можем. Я брался за работу, для которой вовсе не гожусь. Но и в нее вкладываешь что можешь. Стараешься из уважения к себе, чтобы вышло чуть пристойнее. Собственно, у нас в стране суть труда изменилась именно в этом — люди перестали гордиться своей работой. А ведь жизнь человека — в его работе.

Даже среди столяров теперь не найти... «А, к чертовой матери!» — вот что они говорят. И знаете, они даже не зенкуют! Они больше не находят радости в работе. В Мексике даже в мощении улиц было что-то свое, особенное. Бордюр укладывала не машина, его укладывали вручную. И возникали небольшие неровности. Вот почему в Мексике даже бордюр тротуара — уже отдых для глаза. И стены. Потому что это искусство, это творчество. Стул какой-нибудь уже показывает вам человека. И знаешь, что их не семь тысяч отштамповали за один день. Каждый сделан человеческими руками. В этом уже есть художественность, творчество, и от этого человечество становится счастливее. Работаешь по необходимости, но в работе обязательно нужно находить художественность, творчество.

Инид Дюбуа

Три месяца она работала в чикагской газете, занимаясь распространением подписки по телефону. «В этом отделе были почти одни женщины лет около тридцати Мы все сидели в большом зале с телефонами. Четверо из нас были черными».

Я искала работу. И увидела в газете объявление: «Равные возможности. Заработная плата плюс комиссионные». Я позвонила туда и говорила очень вежливо. Сотруднику, который со мной разговаривал, понравился мой голос, и меня пригласили для личной беседы. По дороге туда чего я только не передумала! Ведь я же буду работать на Норт-Мичиган-авеню! На такой улице! Я себя не помнила от радости. Меня взяли сразу. Ведь нужно было всего только распространять подписку на газету.

Придумывать, что бы там сказать, нам не приходилось. Все было написано заранее. Берешь карточку и звонишь по алфавиту всем, кто стоит в списке. Карточек тебе дают около пятнадцати — с фамилией, адресом и номером телефона. «С вами говорит миссис Дюбуа. Вы не уделите мне минуту своего времени? Нас интересует, подписаны ли вы на какую-нибудь газету. Не согласитесь ли вы подписаться на нашу газету всего на три месяца ради благородного начинания?» Ну, там помощь слепым детям или «Кампания милосердия». Газета все время что-нибудь устраивала. «Через три месяца, если вы не захотите получать газету, можете отказаться от подписки. А им вы поможете. Они нуждаются в вас». Называешь себя по фамилии. Если хочешь, можешь придумать себе любую фамилию. А говорить надо так, словно ты настоящая актриса. (Смеется). Сначала я очень увлеклась — пока не разобрала, что к чему.

Платили нам всего доллар шестьдесят центов в час. Надо было получить в день девять-десять подписок. Иначе платили тебе только эти самые доллар шестьдесят центов. Это называлось «субсидированием». (Смеется.) Если тебя требовалось субсидировать еще раз, то с тобой тут же расставались.

Комиссионные определялись по району. Фешенебельный давал около трех с половиной долларов, а гетто — всего полтора. Ведь некоторые не оплачивают подписки. А есть такие улицы, куда газет вообще не доставляют. Мальчишки-почтальоны боятся туда ходить. Их там грабят. Самые лучшие районы — это пригороды.

За приличный район — не самый фешенебельный, но приличный — платили два с половиной доллара. А потом — на тебе! К концу недели вдруг выясняется, что кто-то отказался от подписки. Заведующий входит и говорит: «Они отказались, так что вы этих двух с половиной долларов не получите». А мы не знаем, правда это или нет. Откуда нам известно, что они отказались? Но комиссионные мы не получаем.

Если за неделю у тебя подписчиков выйдет мало, то работаешь сверхурочно — по четыре-пять часов. Мы ведь знали: нет подписчиков — не будет денег. (Смеется.) Мы даже по субботам приходили.

Были там и настоящие профессионалы. Но они обзванивали пригороды. А мне давали гетто. Опытные распространительницы и правда показывали класс. Они знают, как обработать человека. Говорят быстро-быстро. Тот хочет повесить трубку, а они: «Но ведь дети нуждаются в вас, нуждаются в вашей помощи. И ведь всего на три коротеньких месяца!» Ну, тому остается только сказать «ладно» и кончить разговор.

У них наготове был еще один трюк. Те, кто продлит подписку, получали бесплатно набор столовых ножей. Откажешься — ничего не получишь. Ну, а всем нравится получать что-нибудь бесплатно.

А заведующий входил в зал и говорил: «Эй, вы тут! Почему нет распоряжений о

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

подписке? Вы чем тут занимаетесь?» Вваливается и заорет: «Я ведь могу набрать сюда сколько угодно бродяг с Мэдисон-стрит!» Все время придирался. Не человек, а горилла. И очень мне не нравилось, как он держится с женщинами.

У меня-то все шло хорошо. Только скоро я потеряла интерес. Конечно, заговорить человека я могла. Врать ему и врать. Только мне было противно. И становилось все противнее. Я даже молилась, чтобы у меня достало сил еще хоть немножечко. Мне очень нужны были деньги. Заставляю себя звонить и чувствую, что больше не могу.

Заведующий слушал, как мы говорим. Он мог подключаться к любому телефону. Проверял нас. Когда приходила новенькая, он сажал ее слушать, чтобы она училась у тебя — училась хорошо врать. Вот чего они от нас требовали. Скоро мне уже плакать хотелось, едва я приходила на работу.

Как-то я разговорилась с одной девушкой. Она тоже мучилась. Но и ей нужна была эта работа. Атмосфера там совсем другая, чем на фабрике. Всем ведь хочется работать на Норт-Мичиган-авеню. Никого из тех, с кем я там работала — ну, почти никого,— там теперь уже нет. Распространительницы все время меняются. Одни сами уходят, других увольняют. Горилла заявит, что они плохо уговаривают подписчиков,— и конец. Отбираются те, кто хорошо врет, и такие остаются. Я вот заметила, что тем, кто в годах, это вроде бы даже нравится. Прямо слышишь, как они обдуряют людей...

Мы ссылаемся на какое-нибудь благотворительное начинание, а они все время новые. Причем у разных газет они разные. Я знакома с девушкой, которая работает распространительницей в другой газете. Телефонный зал в том же здании, что и редакция, но нам платит Агентство по обслуживанию читателей.

Когда я только начинала, мне дали неплохой район. У них так заведено — для затравки. (Смеется.) Это было легко. Я разговаривала с приятными людьми. А то такие попадаются! Говорят всякие пакости. От некоторых мужчин такого наслушаешься! А другие жалуются тебе на одиночество. Жена от него ушла...

Сначала мне нравилось разговаривать с людьми. Но скоро (мне ведь такой район приходилось обзванивать — им еду купить не на что, а уж на газету подписаться и говорить нечего!) я всякий вкус к этой работе потеряла. Они мне говорят: «Дамочка, мне девятерых кормить надо, а то бы я с радостью!» Что тут ответишь? Одной женщине я позвонила с утра, а она только что из больницы. Я ее с постели подняла.

Они мне рассказывали про свои трудности. Некоторые и читать-то не умели, честное слово. А знаете, что я говорила? «Если вы ничего, кроме комиксов, не читаете...», «Если у вас есть дети, так им надо научиться читать газеты...» Вспомнить стыдно.

В районах побогаче люди заняты, им разговаривать некогда. Но в бедных районах люди от души рады были бы помочь тому благотворительному начинанию, про которое я им рассказывала. Они говорили, что я так хорошо объясняю, что они все равно подпишутся. Многие просто счастливы были, что им кто-то звонит. Они готовы были говорить со мной хоть весь день. Рассказывали мне про свои трудности.

Их так ободряло, что вот кто-то готов с сочувствием слушать про то, что с ними случилось. Что кого-то это трогает. Ну и пусть они не подписывались. Я просто слушала. И узнавала по телефону всю их жизнь. А если заведующий подключался, мне было все равно.

Распространительницы, которые давно там работали, знали, что в таких случаях надо делать. Они точно знали, когда пора нажать на рычаг и набрать следующий номер. Их только подписка интересовала... А я все время мучилась, даже когда домой возвращалась. О господи! Я понимала, что долго не выдержу.

Но окончательно все решил один звонок. Я отбарабанила что положено. Он меня терпеливо дослушал, а потом сказал: «Мне бы очень хотелось помочь». Оказалось, что он сам слепой! Это меня и доконало — его тон. Мне сразу стало ясно, какой он хороший человек. Готов помочь, хотя газета ему вовсе ни к чему. И ведь бедняк. В этом я не сомневаюсь. Ведь обзванивала я самое нищее гетто. Я извинилась, сказала ему «спасибо». Ну, а потом мне так тошно стало, что я ушла — будто в туалет. Я тут вру ему напропалую, а он, слепой бедняк, готов помочь. Выманиваю у него последние гроши.

У меня прямо комок к горлу подступил. Стою над умывальником и молюсь. «Господи,— говорю,— неужто не может найтись для меня чего-нибудь получше. Я же никому в жизни зла не делала, милосердный господи». Ну, я вернулась в зал, но звонить больше никому не стала. Заведующий вызвал меня и спрашивает, почему я сижу и ничего не делаю. Я сказала, что мне нездоровится, и ушла домой.

На следующий день я вернулась, потому что другого заработка у меня не было. Но я все молилась, надеялась, искала. И тут, словно в ответ на мои молитвы, мне предложили другое место. Я и сейчас там работаю. И мне очень нравится.

Я пошла в кабинет к горилле и сказала ему пару теплых слов. Что он мне противен и что я видеть его больше не могу. Господи, да я вам просто не могу повторить, чего я ему наговорила! (Смеется.) Я ему заявила: «Я тут не останусь, чтобы врать для вас. Подавитесь этой работой». (Смеется.) И ушла. А он стоял и моргал глазами. Даже рта не открыл. Совсем растерялся. А я держалась спокойно и не кричала. Так мне потом легко стало!

Работаю я в том же здании, и иногда мы с ним встречаемся в вестибюле. Он молчит и смотрит в сторону. А я, как его завижу, поднимаю голову повыше и даже шага не замедляю.

Рой Шмидт

Мы зовемся загрузчиками дробилок — это профсоюз настоял. А мы просто чернорабочие, вот что мы такое. Какая тут к черту романтика! Знай ворочай тяжелые баки весь день напролет. Я муниципалитету за его деньги отрабатываю сполна. Я человек самостоятельный. Работай я не тут, а где-нибудь еще, так все равно бы свое отрабатывал. Мы собираем мусорные баки и ссыпаем содержимое в дробилку — короче говоря, выполняем все ручные операции. Ничего сложного.

Ему, пятьдесят восемь лет. Его напарникам пятьдесят лет и шестьдесят девять. В отделе уборки улиц он служит семь лет. «Два года я работал на товарной станции. Работа там ночная. И я выматывался не знаю как. К концу недели у меня все в голове мешалось. Я начал подыскивать дневную работу и устроился сюда».

В этом районе ребятишки уж очень нахальные. Пораспускали их. Не следят за ними, как следовало бы. Порядка тут маловато становится. Я сам здесь живу, ну и приходится терпеть. Ездишь из проулка в проулок, а они орут: «Помойщик! Помойщик!» Малыши, те машут руками, радуются, ну и помашешь им в ответ. А чуть подрастут, так тебя кроют, что только держись. (Смеется.) Глупы они еще, чтобы понимать, какая это нужная работа.

Я так семь лет езжу и чувствую себя куда свободнее. Возвращаюсь домой, а работа остается за порогом. Когда я работал в конторе, жена все время спрашивала: «Что это с тобой было ночью? Лежишь и барабанишь пальцами по матрасу». Я тогда в конторе работал счетоводом, и нервы у меня начали сдавать. Нет, уж лучше быть чернорабочим, только не счетоводом. Начать с того, что счетоводу платят гроши. В конторе я был самым низкооплачиваемым из служащих.

Правда, в доме от меня толку было больше. Теперь я так устаю, что ничего тяжелого делать не в силах. Подстриг газон, поднялся к себе, посмотрел по телевизору программу-другую — и на боковую. Зимой хуже. За день намерзнешься, и как войдешь в теплый дом, то и опомниться не успеешь, уже захрапел. (Смеется.) Водителю еще ничего, он в кабине. А мы все время на холоде.

Больше всего на плечах и руках сказывается. Там болит, тут болит. Года четыре назад меня радикулит скрутил. Ну, положили меня в больницу за счет муниципалитета. В тот год это со мной два раза было — оттого, что все время поднимаю тяжести. Один доктор мне так объяснил: я месяц работаю, и вроде бы ничего, а он уже начался. И вдруг как вступит в спину — ни встать, ни сесть, ни пошевельнуться.

Я ношу пояс, бандаж такой. Они во всех ортопедических магазинах продаются. Больше как напоминание. Этот доктор мне сказал, что у меня ноги длинные и я перенапрягаюсь. Мои напарники среднего роста, а во мне шесть футов три дюйма. Когда я служил в армии, я был на дюйм выше, и выходит, что с тех пор я немножко осел. Сам виноват. Наверное, поднимаю я не так, как следует, ну и порчу себе все дело. Последние четыре года я берегусь. И ни одного дня из-за него не пропустил. Второй раз пройти через такое я не хочу, можете мне поверить.

Поднимаешь бак емкостью в пятьдесят галлонов. А весить он может от восьмидесяти фунтов до нескольких сотен — это уж зависит от того, что туда напихали. За день мы поднимаем около двухсот баков. Считать их я ни разу не пробовал. А иной раз устроят тебе сюрпризик, набьют бак чем-нибудь тяжелым, вроде штукатурки. (Смеется.)

Я вот всегда говорю: по мусорному баку сразу можно определить, как человек живет. В нашем районе, например, наблюдается это самое мексиканское и пуэрториканское движение. Ну, а в баках много рису и порядком оберток от всяких готовых блюд. Они себя стряпней вроде бы не слишком утруждают. Я не говорю, что у них каждая семья такая. Я рядом с ними не жил.

Поверх этого костюма я ношу фартук. Два-три дня — и всю одежду пора перестирывать. Когда работаешь позади дробилки, в любую минуту из нее в тебя все что хочешь полететь может — жижа какая-нибудь, стекло или пластмасса. Никаких предохранительных устройств на ней нет. Из-под ножей куски летят что твои пули. Два года назад мне в лицо щепка врезалась. Рассадила бровь и разбила очки. Доктор мне шов наложил. Синяк у меня был — залюбуешься. (Смеется.) Опасная штука, по правде говоря. Представить себе невозможно, чего только люди не выкидывают. Я даже бутылки с кислотой видел.

По инструкции стоять позади дробилки, когда ножи работают, строго воспрещается. Только если это соблюдать, так за день слишком много времени даром потеряешь. Ножи работают, а ты уже следующий бак подготовил.

Разговаривать мы не разговариваем. Ну, разве из бака что-нибудь такое особенное вывалится или так перебросишься парой-другой слов. А то заедем в проулок и устроим перекур минут на пять. Тут уж мы обо всем на свете покалякать успеваем — текущие события, кто кого убил (смеется), сенсации всякие. А то кто-нибудь прочтет статью про то, что в Европе делается. Ну, иногда и про войну говорим. Только я таких разговоров никогда не любил.

К концу работы я еле на ногах держусь. Иной раз и пожалуешься, если день выдался особенно тяжелый. А жена говорит: «Так подыщи себе что-нибудь другое». Только где ж это человек в моем возрасте

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

найдет себе что-нибудь другое? Новых мест для меня не напасено.

Она говорит, чтобы я вышел на пенсию, когда мне шестьдесят два стукнет. Кое-что мне по социальному обеспечению положено, а муниципальная пенсия будет совсем маленькая. Стаж-то у меня не такой уж большой. Через четыре года он составит одиннадцать лет, и права на полную муниципальную пенсию мне это еще не даст.

Надо жить нынешним днем, а вперед не заглядывать. Что о будущем думать — только себя расстраивать. У нас вот есть выражение — «вредный простой». Это когда весь проулок надо расчищать от мусора. Так чего заранее из-за него себе настроение портить? Да к черту. Пока здоровье позволяет, я хочу работать.

У меня дочка колледж кончает. Если все пойдет гладко, то в июне получит диплом. Она медицину изучает. И либо преподавать пойдет, либо в лабораторию — наукой заниматься. А пока будет преподавать, сможет работать над диссертацией. Она так от меня далеко ушла, что мне уж...

Я свою работу унизительной не считаю. И себя презирать не думаю. Она мне больше по нутру, чем сидение в конторе. Я теперь куда свободнее. Ну, и еще одно — от нее обществу большая польза. (Смеется.)

Один доктор рассказал мне вот какую историю. Давным-давно во Франции были у них всякие принцы, герцоги и прочие тому подобные. И как кто попадал в немилость к королю, поручали ему самую низкую работу — очистку парижских улиц, а они-то в те времена, наверное, в хорошеньком были виде. Один герцог что-то там натворил, ну и поставили его на эту должность. А он такой порядок навел, что его даже наградили. Самая скверная работа во всем французском королевстве, а его за нее по головке погладили. В первый раз мне довелось услышать историю, как за мусор уважать начинают.

Через несколько месяцев после этого разговора я получил от него открытку: «Мы с Ником еще работаем, только для меня проулки становятся все шире, а баки все тяжелее. Старею».

Мэгги Холмс

Если живешь на пособие, тебя все кругом попрекают, что деньги даром получаешь. Даром — это надо же! А как подумаешь, что нам пришлось пережить, сначала на Юге, а потом здесь, обо всей работе, что пришлось переделать... Нет, меня прямо трясет, когда я такие слова слышу. Я сама не знаю, что готова тогда сделать.

Я вот думаю, а что мы получали-то за свою работу? Мне платили полтора доллара в неделю — пять, а когда и шесть рабочих дней. А вот если живешь у хозяев, так и вообще ни минуты свободной нет. Вздумается им вечеринку устроить — выходи, прислуживай. Когда еще моя бабушка работала, ей вместо платы давали молоко и фунт масла. А отец с матерью тоже ведь работали, можно сказать, даром. О чем только белые думают? Каково бы им пришлось на нашем месте, это они представляют?

Двадцать пять лет она работала домашней прислугой, горничной в гостинице, судомойкой в кафе на Севере и на Юге. Живет со своими четырьмя детьми.

Уборкой заниматься я сейчас совсем не могу. Не могу, и все, у меня от нее с головой что-то делается. Ты и прибери, и вымой все, даже окна, и постирай, и погладь. Посуду мыть, стелить кровати — это ведь не входит в мои обязанности. А хозяйки так и норовят тебе это навязать, думают, ты не знаешь. Звонят в дверь — я не иду открывать. Опять звонят — я спокойно занимаюсь своим делом. Хозяйка спрашивает, почему я не открываю. Я ей говорю: «А кто я, дворецкий, что ли? В привратницы я вроде бы не нанималась. У меня своя работа, ее я и буду делать». Не то не успеешь оглянуться, а ты уже и нянька, и кухарка — все на тебя свалят. Приглашали уборщицу, так я пришла и убираю. А то целый год ничего по дому не делают и хотят, чтобы я им все сделала за один день.

Как придешь в дом — первым делом хозяйка достает резиновые наколенники, видеть их не могу, прямо из себя выхожу. Такие подушечки на колени, точно ты в поле работаешь. Швабры или там чего еще от них не дождешься. Вот почему так много черных женщин болеют ревматизмом. Ползаешь целый день по холодному полу, ведь даже если в доме тепло, на полу все равно от воды сыро и холодно. Я, пока на Север не приехала, никогда не видела, чтобы кто-нибудь на коленях пол мыл. На Юге на то швабры есть. А если уж очень тяжелая работа, так приглашают мужчину. Окна мыть, например, это мужская работа. А здесь тебя и это заставляют делать, им на тебя наплевать. Я вот думаю, господи, да если бы ко мне кто-нибудь приходил мыть полы, убираться, уж как бы я благодарна была. А они и «спасибо» не скажут, принимают все как должное. Никакой тебе благодарности.

Работала я у одной старушенции на Лейк-Шор-драйв. Помните, какой однажды был снегопад, никто никуда добраться не мог?[1] Так вот, прихожу я к ней, она мне и говорит: «Позвоните в бюро». Успела уже на-

[1] Имеется в виду неделя большого чикагского снегопада, который начался 25 января 1967 года. Из-за транспортных заторов десятки тысяч людей не могли попасть на работу.

жаловаться в бюро по найму, что я опоздала. Я звоню и говорю (повышает голос): «Чего вам еще от меня надо? У меня дома своих черных ребятишек четверо и, пока я их не отправлю в школу, ни на какую работу не пойду. Мне их сначала накормить надо, проследить, чтобы тепло оделись». И смотрю прямо на свою хозяйку. (Смеется.) А потом повесила трубку и говорю ей: «Вас это тоже касается. Мои дети для меня важнее всего на свете. А вы или кто другой не больно-то много для меня значите». Она такую рожу состроила: «Что-что?» Думала, я с ней так буду разговаривать (изображает покорную служанку): «Слушаюсь, мэм, постараюсь приходить пораньше, мэм». Но не на такую напала. (Смеется.)

Я в тот день только войти успела, она мне велит снять туфли. Я говорю: «Это еще почему? Ноги я у дверей вытру, а туфли снимать не буду, и так холодно». Она на меня так уставилась, будто сказать хотела: «Господи, что же это такое!» (Смеется.) Я сразу поняла, что восемь часов здесь не проработаю, просто не выдержу.

В доме у нее все прямо-таки блестело. А это всегда значит, что придется хорошенько поработать, уж я-то знаю. В столовой был голубой гарнитур, стулья небесно-голубые, спальня розово-голубая. Я посмотрела-посмотрела и говорю: «Да, вижу я, чего это будет стоить». Придется поползать на коленях, это точно. «Я, конечно, постараюсь все сегодня закончить, но, может, и не успею»,— говорю. Да, уж если на такую нарвалась, лучше сразу уходить.

Я ее спрашиваю, где швабра. Она отвечает, что швабры у нее нет. Я говорю: «Уж не думаете ли вы, что я поверю, будто вы моете пол на коленях. Я же знаю, что нет». Они всегда прячут швабры в стенные шкафы. Залезаю в шкаф и там за одеждой нахожу швабру. (Смеется.) Сами-то они на коленях ползать не будут, а черной, значит, ничего не сделается. Она мне говорит: «Вы все одинаковы...» А я ей: «Уж договаривайте: все вы, черномазые, одинаковы; это вы хотите сказать, да?» Она смотрит на меня обалдело, а я продолжаю: «Мне очень даже приятно, что я не одна такая. (Смеется.) Знаете что,— говорю,— давайте лучше что мне причитается, и я пойду, а то ведь я могу и рассердиться». Так что пришлось ей заплатить мне за проезд и за то, что я успела сделать.

Если хозяйка сама работает, тогда еще ничего. Такая понимает, что значит рано вставать и идти на работу. А эти, из богатых пригородов, целый день сидят сложа руки. Думать им тоже не о чем, вот у них котелок почти и не варит.

Вот сейчас всё говорят о психическом состоянии. У бедняков психическое состояние не то, что у богатых белых. У меня оно зависит от работы, от того, хватит ли денег накормить детей. Бедность — вот и все мое психическое состояние. И самое оно здоровое. А у богатых все психическое состояние — из-за денег. Прямо заболевают, если не могут урвать побольше. У меня-то нет денег. Каждый день еле сводишь концы с концами.

Работала я как-то у одной, у нее еще муж судья. Вымыла ей весь дом. Мне уж пора домой идти, а она тут решила, что еще бы мне и белье погладить неплохо. Пошла в подвал, включила кондиционер и говорит: «Это на сегодня последнее. Вам будет удобно гладить в подвале, там кондиционированный воздух». А я ей: «Мне как-то все равно, чего у вас там в подвале, гладить я ничего не буду. Посмотрите на квитанцию, тут ясно написано — «уборка». Я что-то не вижу, где здесь сказано «глажка». Еще она хотела, чтобы я вымыла стены в ванной. Говорю: «Это вы посмотрите в телефонной книге, там любые услуги обозначены, какие вам только надо». Она мне сказала прямо, как та, другая: «Все вы такие», а я ей ответила так же: «Вы хотите сказать, все черномазые?» (Смеется.)

Они к вам когда-нибудь обращаются по фамилии?

Да ну что вы! (Смеется.)

А вы к хозяйке обращаетесь по фамилии?

А с чего мне к ней обращаться, я с ней почти не разговариваю. Не из-за чего-нибудь, а просто, когда я работаю, мне не до разговоров. Все равно им не понравится, что ты можешь сказать, я и помалкиваю.

Большей частью она работала в пригородах. «Сначала доезжаешь до метро на автобусе. Потом в Хауарде[1] пересаживаешься с метро на надземку. Едешь до конца, а дальше — или автобусом до места, или, если туда автобусы не ходят, хозяева тебя довозят. Не люблю работать в самом городе, там так и норовят заплатить тебе поменьше. И убирать в старых домах — одно мучение. отмыть ничего невозможно! Их не так чисто содержат, как в пригороде. А в пригородах дома все новые, их убирать легче».

Обычная картина: как только наступает вечер, в сторону пригорода мчатся поезда, переполненные молодыми белыми мужчинами с элегантными чемоданчиками. А навстречу им проносятся поезда, переполненные черными женщинами средних лет с бумажными сумками. Обе эти группы друг друга словно и не замечают.

«Ужас сколько времени тратишь на дорогу. Вечером из пригорода невозможно выбраться, застрянешь и ждешь часами. На дорогах пробки. А надо успеть к определенному поезду: у меня пересадочный билет. Добраться до работы и обратно домой — это целая история. Пропустишь свой пятичасовой поезд, так неизвестно, когда вообще дома будешь. Иной раз я раньше восьми домой и не попадаю...»

Поработаешь целый день тряпкой, так у себя дома уже убирать не захочешь. Восемь часов в чужом доме да столько же в своем, небось (вздыхает тихонько) устанешь. А до-

---

[1] Граница между Чикаго и северным пригородом Ивенстоном.

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

ма надо приготовить еду, постирать, о детях позаботиться. Чуть не каждый день стирать приходится, чтобы им было в чем в школу пойти. Да и вообще в доме надо прибрать — утром на это нет времени. Стирать, гладить — все это приходится делать ночью. Так устаешь, что просто с ног валишься.

Встаю я в шесть, готовлю завтрак детям, отправляю их в школу. В восемь выхожу из дома. Я пеку ребятам печенье, кукурузный хлеб — все сама. Не люблю готовую еду, консервы всякие. Если достала из холодильника бобы и бросила их в кастрюлю — это еще не стряпня. Другая пойдет, поставит готовый обед разогревать и говорит, что готовила. Нет, не стряпня это.

И она еще говорит, что устала. От чего уставать-то? У нее и мойка есть, и сушилка — машин на кухне полно. Ей только достать еду из холодильника, разморозить да бросить в кастрюлю — и она, видите ли, устала! Я вот иду в магазин, покупаю овощи и зелень, мою их. Я уж их сама выберу, а эту консервированную дрянь есть не стану. А она себя не утруждает и все равно устала.

Приходишь утром работать — хозяйка уже одной ногой на пороге. Не успеешь войти, она — раз за дверь, и след ее простыл. Видали таких, она хочет, чтобы я за ее детьми присмотрела, отправила их в школу. Что она себе думает, я и от своих-то достаточно устаю. Мне бы вон тоже пойти по своим делам хотелось. Да нет, где им это понять — вот что меня доводит.

Я, значит, на них гну спину, а они гуляют где-то. Но вообще-то это даже лучше, терпеть не могу убираться, когда они дома. Делать им нечего, вот они целый день висят на телефоне и сплетничают друг про друга. Я стараюсь всегда дверь поплотнее закрыть, только чтобы этого не слышать. Это прямо невозможно. И везде, в каждом доме, одно и то же, будто они сговорились.

Я все о детях думаю, пока работаю. Не люблю их надолго одних оставлять. Если им уже время прийти из школы, думаешь, на улице они или нет, беспокоишься, есть ли им где поиграть. Я всегда по два, по три раза звоню домой, ну а если хозяйке это не нравится, стараюсь поскорей закруглиться. (Смеется.) У меня уже все мысли дома, что бы мне такое купить на ужин, пока не закрылись магазины.

Никсон этот сказал, что ничего такого, если человеку приходится заниматься уборкой. А если всю жизнь только этим и заниматься? Пора бы ему знать, что нам тоже хочется быть врачами, учителями или юристами, как он. Я не хочу, чтобы мои дети были уборщиками. Это унизительно, на такой работе у тебя нет никакого будущего. Кухарки да лакеи — вот и все, чем мы были, и отцы наши, и деды. Сами-то они хотят, чтобы их дети становились адвокатами, врачами и всякое такое. Небось не пошлют их в кафе прислуживать...

Они говорят, что мы живем в грязи, так чего же они тогда зовут нас убирать у себя в доме? Это ведь мы, ужасные женщины из трущоб, каждый день убираем их дома в пригородах. Если мы такие грязные, зачем же вы нас зовете у себя чистоту наводить? Они-то к нам не придут и не уберут — это мы на них работаем.

Как-то работала я в одном доме вместе с белой женщиной. Так сразу было видно, как хозяйка к ней относится и как ко мне. Перед той женщиной она чувствовала себя вроде как виноватой в чем-то. Белую они не попросят делать самую тяжелую работу, а меня — почему бы и нет.

Они хотят, чтобы мы приходили работать в форменной одежде. А мы — что я, что моя мать — убираем в чем обычно ходим. Мать говорит: «Раз там так грязно, что я не могу надеть свое платье, так я и работать там не стану». Оденешься нормально, как они,— хозяева обязательно думают, что ты работать как следует не будешь, иначе побоялась бы испачкаться. В какой форме приходить, они не говорят, просто — «в форме». Это чтобы, если кто зайдет в дом, видел бы сразу, что черная тут не просто так околачивается, а работает. Не нравится им, когда мы ходим по дому как они одетые. Меня иногда спрашивают: «Разве у вас нет ничего другого для работы?» — «Нет,— говорю,— потому что я не собираюсь ползать на коленях по полу».

Теперь-то они стали осторожнее, уж можете мне поверить. Специально спрашивают: «Как мне к вам обращаться?». Я говорю: «Главное, не зовите меня негритянкой, я черная».— «О, я не хочу, чтобы вы на меня сердились»,— говорят. (Смеется.) А старикашки многие очень религиозны. «Как велит господь»,— у них любимая поговорка. А я им всегда говорю: «Как я сама захочу». Не потому, что я безбожница, а просто пусть знают, что я не так, как они, думаю.

Молодые женщины не обращают на тебя особого внимания. Большинство из них работает. А вот те, что постарше, все время следят, как ты работаешь. Мне не очень-то нравится, когда меня проверяют. И всегда они хотят показать тебе, как надо убираться. Нет, это просто с ума сойти — меня учат убираться! Да я этим всю жизнь занимаюсь. А они берут тряпку и объясняют мне, как с ней обращаться. (Смеется.) Я посмотрю-посмотрю да скажу: «Все? Может, у вас какие свои дела есть, так лучше бы ими занялись». Меня, знаете, учить работать не надо.

А еще они любят засунуть куда-нибудь деньги и сделать вид, что не могут найти. Просят меня поискать. Я у одной работала, так она, когда я подметала, нарочно обронила на пол десять долларов. Хорошо еще, что я их заметила, а то, если бы их замела с мусором, она обязательно бы сказала, что я хочу прикарманить эти деньги. А я тахту отодвигаю, глядь, там десять долларов. Они нарочно что-нибудь подкидывают во время уборки... все проверяют тебя.

Я и в гостинице работала. Везде одно и то же. Стелешь кровати, чистишь туалеты и всякое такое. Белье меняешь, полотенца, убираешь. А постояльцы на тебя так смотрят, будто хотят сказать: «А, это всего

лишь прислуга». Меня это совершенно выводит из себя, просто выносить не могу.

Некоторые постояльцы ужасно привередливые. Стараешься поскорей постелить кровать и убраться из комнаты, пока они еще чего-нибудь не выдумали. Такой раз уж остановился в гостинице, то за свои денежки хочет сполна получить. (Смеется.) Они набирают столько полотенец, что вовек не использовать. Но ты уж им эти полотенца вынь да положь. Подай им эту подушку, принеси то одеяло — так и бегаешь взад-вперед.

Иногда, когда гостиница переполнена, мы в номера ставим дополнительно раскладные кровати. Принесешь ее, а постоялец смотрит на тебя как на сумасшедшую и говорит, что никакой кровати не просил. Несешь ее обратно с двенадцатого этажа на первый, оказывается, портье ошибся, не в тот номер тебя послал. Но разве он признает, что ошибся! Ты же в конце концов и виновата.

А еще такие бывают постояльцы... работать из-за них невозможно. Позвонит такой, скажет, что ему нужны полотенца. Стучишься к нему, он говорит: «Войдите». А сам стоит посреди комнаты в чем мать родила. Ну, в номер, понятно, не заходишь, бросишь полотенца да скорей обратно. И стараешься вообще туда не заходить, пока он не съедет.

Как что-нибудь пропадет, первым делом думают на прислугу — есть такие люди. Если у нас такие останавливаются, мы говорим старшей горничной: «В их номере убирайте сами». Я всегда стучу, и если в номере никого нет, то не вхожу. Потому что если ты там убирала, они обязательно позвонят и спросят: «Не попадалось ли вам то или, там, другое?» Они впрямую тебя не обвиняют, но смысл тот же. Ты говоришь: нет, не видела. А они: «Но эта вещь была в номере, это точно».

Когда я прошлым летом работала в гостинице, у одной женщины пропал кошелек. А я в тот день на ее этаже и не убирала. Она позвонила в бюро обслуживания. Меня там спрашивают, не видела ли я ее кошелька. «Нет,— говорю,— я в том номере не была». А они не отстают. Я не могла уйти домой до двенадцати. Наконец она нашла кошелек, он был завален какими-то бумагами. Я с той работы уволилась, чтобы меня больше в воровстве не обвиняли.

Знаете, чего мне всю жизнь хотелось? Играть на пианино. И писать песни всякие — вот что мне по душе. Если бы я только могла купить пианино... И еще я хотела бы написать о своей жизни, если бы только у меня хватило терпения, как я росла на Юге, и дед мой, и отец тоже — я бы очень хотела про все это написать. И еще заняться историей черных — это для моих детей, чтобы они знали.

Я им как что скажу, они мне говорят: «Ну, мама, это в прежнее время так было». (Смеется.) Им многие вещи трудно понять, сейчас столько перемен в жизни. Молодые черные женщины теперь не часто работают уборщицами. И я рада этому. Поэтому я и хочу, чтобы мои дети ходили в школу. Та женщина сказала мне: «Все вы теперь такие». А я ей сказала: «Я рада этому». Больше мы не будем вставать на колени.

Фил Столлингс

Он работает электросварщиком на сборочном заводе Форда на южной окраине Чикаго. Ему двадцать семь лет. Он недавно женился. Работает в третью смену — с пятнадцати тридцати до полуночи.

«Автомобиль начинается с меня, с первой сварки. Потом он поступает на другой конвейер и получает пол, крышу, крышку багажника, дверцы. Потом его ставят на шасси. Конвейеров ведь сотни. У сварочного аппарата квадратная рукоятка и две кнопки: верхняя — для высокого напряжения, нижняя — для низкого. Высокое напряжение — чтобы прихватывать металл, а низкое — чтобы сплавлять.

Аппарат подвешен к потолку над конвейером, который движется по кругу, только вытянутому, как яйцо. Сварщик стоит на цементном возвышении, дюймах так в шести над полом».

Я топчусь на одном месте площадью в два-три фута до глубокой ночи. Остановиться можно, только когда конвейер останавливается. Тридцать две точки сварки на машину, на кузов. Сорок восемь кузовов в час, восемь часов в день. Попробуйте, подсчитайте. Тридцать два на сорок восемь на восемь. Вот столько раз я нажимаю кнопку.

Шум — оглохнуть можно. А стоит рот открыть — того и гляди, наглотаешься искр. (Показывает руки.) Вот это ожог, и вот тут тоже ожоги. Шум все равно не перекричишь. Да и где тут орать, когда надо аппарат нацеливать для сварки.

Некоторые словно зажаты изнутри и не слишком-то разговорчивы. Очень уж трудно. Ну и обособляешься. Замыкаешься в себе. Мечтаешь, думаешь о том, что ты когда-то делал. Я чаще всего вспоминаю, как я был мальчишкой и как мы с братьями проводили время. Думаешь про самое тебе дорогое и словно заново все переживаешь.

Сколько раз бывало: начнешь работать —

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

и уже перерыв а в промежутке ты как будто и не работал вовсе. Когда мечтаешь, меньше шансов сцепиться с мастером или с соседом.

А он не останавливается. Движется, движется и так все время. Здесь наверняка есть такие, кто всю жизнь у конвейера простоял, а так его конца и не видел. Да и не увидит. Потому что он бесконечный. Вроде змеи. Одно туловище без хвоста. Он с человеком такое вытворяет... (Смеется.)

Все одно и то же, одно и то же, и потому если начать думать про работу, то малопомалу спятишь. До того тебе станет неладно, что хоть сейчас вцепляйся соседу в глотку. И будешь всякий раз огрызаться, как к тебе подойдет мастер. Только бы злость сорвать, а уж на ком, тебе все равно. Чтобы с этим справиться, надо замкнуться в себе.

Мне вот не нравятся нажим, запугивание. Вам бы приятно было идти к кому-нибудь и говорить: «Мне надо в уборную»? Если у мастера на тебя зуб, так он не разрешит. Мимо ушей пропустит. А если я без разрешения оставлю рабочее место, так меня уволить могут. Конвейер-то все время движется.

Я работаю рядом с Джимом Грейсоном, так он своими мыслями занят. А слева от меня мексиканец — он по-испански говорит, и не поймешь, чего он там бормочет. Только одно и остается — не обращать на него внимания. Брофи — он еще совсем молодой и в колледже учится. Он наискосок от меня стоит. Вот с ним мы иногда разговариваем. Если он не в настроении, то я молчу. Ну, и он знает, когда я не в настроении.

Конечно, напряженность тут какая-то существует. Может, это и не очень заметно, только белые держатся с белыми, а цветные с цветными. Когда поступаешь к Форду, Форд говорит: «Ты с другими людьми работать можешь?» Это кладет конец неприятностям до того, как они начнутся. Они ведь не могут допустить, чтоб люди, которые работают бок о бок, все время между собой сцеплялись. А если таких два человека сторонятся друг друга, то и работы они дадут больше. Ясно, как все это выходит?

Я вот чего не понимаю: почему больше людей не срывается? Ведь тут же ты всего только машина. Разве что о настоящих машинах они больше заботятся, чем о тебе. Машину они и ценят больше, и внимание ей уделяют. А ты ведь это знаешь. Ну, и начинаешь вроде чувствовать, что машина лучше тебя. (Смеется.)

И тут поневоле задумываешься. Меня-то они как ценят? Вот сравнить с машиной. Если машина ломается, тут же приходит наладчик и приводит ее в порядок. А если я ломаюсь, меня просто отпихивают в сторону и ставят на мое место другого. Они только об одном думают — чтобы конвейер не остановился.

Я работаю в полную силу. Я верю в восьмичасовую оплату восьмичасового рабочего дня. Но насиловать себя не собираюсь. Чего я не могу, того делать не стану. Я тут уже три года, и ничего такого не допускаю. Но несколько стычек с мастерами у меня все-таки было.

Работал я тогда с перегрузкой. Порезался, царапина воспалилась, и началось у меня заражение крови. Сверло сломалось. Я отнес его мастеру и говорю: «Поскорей замените». Мы тогда гнали капоты «икс-эл». Я ему говорю: я ведь не наладчик. С этого все и началось. Я говорю: «Ну, ведите меня в Теплицу, раз вам так хочется». Это кабинет управляющего, где мозги вправляют. Вот тогда он и сказал: «Видал я таких, как ты, за воротами».

Один мастер, он тут самый молодой, так он вот что считает: я здесь главный, а если тебе это не нравится, так можешь отправляться на все четыре стороны. И что тот, другой, мастер скажет, этот чаще всего отменяет. В некоторых случаях и мастера друг с другом не уживаются. С ними ладить трудно, даже им самим же.

Ну и, конечно, на мастера тоже кто-то давит, подгоняет его. Только мастер все-таки может пойти в уборную или выпить чашку кофе без спроса. Ему за это ничего не будет. Когда я только поступил сюда, я мастерам вроде как завидовал. А теперь я бы не стал с ними меняться. Мне с ними не по дороге.

Когда человек становится мастером, ему надо про все человеческое забыть, то есть в смысле чувств. Видишь, рабочий кровью истекает. Ну и что? Конвейер важнее. Я так не могу. По мне, если человека ранило, надо в первую очередь о нем позаботиться.

А, да! Заражение крови. Меня задело капотом, внутренней его стороной. Ну, это место разболелось. Я пошел в медпункт. Мне говорят — это фурункул. Вечером я пошел к своему врачу. Он говорит — заражение крови. Жар у меня начался и все такое прочее. Ну, теперь-то я разобрался и знаю, в чем тут дело.

На заводе есть медицинское обслуживание. По сути это пункт первой помощи. В нашу смену врач там не дежурит, а сидят две-три медицинские сестры. На одной двери табличка «Лаборатория», на другой — «Операционная». Но, по правде сказать, я их опасаюсь. Я боюсь, что меня поранит, а от них ничего, кроме пустых слов, не дождешься. Один раз на меня свалился железный прут со стеллажа — в грудь ударил и весь бок рассадил. А они даже рентгена не сделали, а сразу послали работать. Две недели назад я пропустил три с половиной дня. У меня был бронхит. А они сказали, что я здоров, раз у меня нет температуры. Я ушел домой, и мой врач сказал, что мне по меньшей мере две недели о работе и думать нельзя. Только деньги-то зарабатывать надо, ну, я и вышел на следующий же день. А потом чувствую, что все-таки сильно болен, ну и пролежал до следующего понедельника. Как-то я потянул мышцу на шее. Ведь когда берешься за аппарат, то тянешь всю тяжесть — и кабель, и противовес. Ну и напрягаешь спину, плечи, шею как только можешь. Удивительно еще, что несчастные случаи происходят не каждый

день. Перегибаешься, держа аппарат обеими руками. А край очень острый. Мне рубашки всего на две недели хватает. Прогирается вот тут насквозь. Бывает, комбинезон загорается. И рукавицы тоже. (Показывает на локоть.) Видите дырочки? Это искры прожгли. У меня тут со вчерашней ночи пузыри.

Конечно, я мог бы найти работу поприятней. Но где еще, спрашивается, я буду зарабатывать такие деньги? Что ни говори, а четыре доллара тридцать два цента в час — сумма хорошая. Ну и вообще я против того, чтобы варить кузова, ничего не имею. Мне это даже нравится. Руками работать я люблю больше, чем головой. Люблю соединять части вместе и смотреть, что в конце концов получается. Я первый скажу, что у меня на конвейере самая легкая операция. Но я против того, чтобы мне никакого ходу не давали. Я буду работать как вол, пока не добьюсь, чего хочу. А по-настоящему я хочу быть подменщиком.

Это значит, я могу выполнить любую операцию в цехе и из-за меня волноваться нечего. Да и теперь уже из, скажем, шестидесяти операций я чуть ли не половину мог бы выполнить. Хватит с меня топтаться на одном месте. Подменщик чуть не каждый день на другой операции. Вместо того чтобы стоять тут восемь часов в день, я бы то там проработал восемь часов, то еще где-нибудь. Каждый день что-нибудь новое. Поработал бы рядом с разными людьми. В обеденный перерыв я по полчаса работаю на грузоподъемнике — для тренировки. Начальник смены обещает меня перевести, когда я это дело как следует освою. Я не хочу, чтобы другие меня видели. Когда становишься на грузоподъемник, то уже ни о чем не думаешь, а весь сосредоточиваешься. Что-то у тебя в руках вот сейчас — не в прошлом, не в будущем. Это же по-настоящему здорово.

Я на работе никогда не ем. Разве что конфету пососу и хватит. От еды меня замутит. Все тело в напряжении из-за скорости конвейера... Чуть настроишься, остановиться уже невозможно. Какая-то инерция возникает. Ну, может, и не замутит, так тяжесть в животе будет.

Горжусь я своей работой? Как же я буду гордиться, если укажешь мастеру на ошибку, на бракованный инструмент, а он мимо ушей пропускает? Ну, и скоро ты уже понимаешь, что им наплевать. А если не отступаться, объявят тебя смутьяном. Так что выполняешь свою операцию — и все. Ну, а без гордости никак нельзя. А потому находишь для себя что-нибудь другое. Я вот марки коллекционирую.

Я бы обе ноги позволил себе сломать, если бы за это дали мне заняться какой-нибудь социальной работой. Сколько я навидался молодых ребят, у которых не по их вине все пошло наперекос. Я бы, наверное, стал работать с подростками. Я всем молодым ребятам на конвейере говорю: «Выбирайся отсюда. Иди в колледж». Мне-то самому уже поздно.

Когда попадаешь к Форду, тебя первым делом стараются сломить. Я сам видел, как ставят высокого человека туда, где рост — помеха. А то поставят коротышку на место, где только великану впору работать. Вот вчера ночью привели пятидесятивосьмилетнего старика и поставили на мою операцию. А он моему отцу ровесник. И я знаю, что отцу такая работа уже не по силам. По-моему, это бесчеловечно. Работа должна быть работой, а не смертным приговором.

Рабочий помоложе, когда его зажмет, начинает огрызаться. А возьмите старика — ему год осталось трубить, ну, два или, может, три. Я бы на его месте и слова не сказал бы. Плевал бы я на них. Потому что два-то года я уж как-нибудь дотерплю. Я этого человека не осуждаю. Я его уважаю, потому что у него хватило силы воли проработать так тридцать лет.

Дальше будет не так. Одна тенденция уже наметилась. Омолаживание. У нас ведь теперь тридцатилетний стаж введен. Тридцать лет стажа — и на пенсию. Теперь у человека будет больше времени, чтобы замедлить темп и пожить по-человечески. Когда ему нет шестидесяти, он еще может обзавестись прицепом и ездить удить рыбу. Я об этом думал. Мне еще двадцать семь лет трубить. (Смеется.) Вот почему я не задираюсь и не ищу, во что бы такое ввязаться.

Я только тогда вступаюсь, когда дело касается прямо меня или кто-то на конвейере попадает в положение, в которое и я могу попасть. Я в благородную борьбу не верю, но когда произошла эта история... (Растерянно умолкает.)

Мастер совсем уел парня. Ну, тот сказал, чтобы он отошел, а может, толкнул его или отпихнул. И винить его нельзя. Джима Грейсона то есть. Я бы никому не позволил тыкать мне пальцем в лицо. Я бы ему наверняка врезал. Ну, и как-то все почувствовали: хватит, пора дать им отпор. Поддержим парня. Мы остановили конвейер. (Умолкает, широко улыбаясь.) Форд потерял на этом машин двадцать. Скажем, по пять тысяч машина — сколько же это выходит? (Смеется.)

Я сказал: «Пошли по домам». Когда конвейер стоит, можно подойти к одному какому-то человеку и спросить: «Будешь работать?» Если он ответит «нет», его уволят. Но если в цехе никого не будет, так к кому же они будут подходить и спрашивать: «Будешь работать?»? Никого же нет! Если бы от меня зависело, мы бы все ушли.

Джим Грейсон — мой сосед по конвейеру, он цветной. Самый настоящий. Я в первый раз видел, чтобы весь конвейер так объединился. Ну, лиха беда начало. Все просто сели и сложили руки. Можете мне поверить. (Смеется.) Конвейер остановился в восемь, а вновь пошел только в двадцать минут девятого. Все как один бросили работу. Здорово вышло. По-настоящему здорово.

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

Джин Стэнли

Она работает продавщицей в парфюмерном отделе универсального магазина. Это пригородный филиал лучшего магазина в городе. Покупают там преимущественно богатые люди.

Она работает здесь пять дней в неделю все последние семь лет, но начала она работать тридцать лет назад. «Я просидела дома около двадцати лет и вернулась за прилавок, когда дети учились уже в старших классах».

Ее муж — агент по закупке текстильных товаров. Хотя у него отличная репутация, положение его довольно непрочно из-за общей тенденции к омолаживанию, наблюдающейся в легкой промышленности. У них трое детей, все учатся в колледжах.

Я продаю косметику женщинам, которые пытаются выглядеть как юные девушки. На питательные кремы женщины тратят теперь гораздо больше денег, чем два десятка лет назад. Я еще помню время, когда губная помада по два доллара казалась безумно дорогой. А теперь есть помада и по пять долларов. Сколько раз я думала: тридцать долларов за крохотную баночку крема! Он ведь столько не стоит, я-то знаю. Но покупательница заплатила бы за него и дороже. Вот это средство убирает морщины на пять-шесть часов. От него подпухает кожа. Мы его очень ругали. А потом как-то утром пришла женщина и говорит: «Я иду устраиваться на работу, а мне уже за сорок. Я хочу выглядеть посимпатичнее». Вот ей я его продала с удовольствием. Может, благодаря ему она получит работу.

Есть у нас такое присловье, что все взято из одного чана. (Смеется.) Нет такого крема, который на самом деле стоил бы сорок или пятьдесят долларов. Но когда видишь, с какой надеждой женщины покупают такие средства, не хочется их разочаровывать. Они подмечают на своем лице все новые морщинки и складочки, а их мужья у себя в конторах постоянно видят молодых привлекательных девушек. Вот они и стараются следить за собой, чтобы нравиться мужу. Значит, и от косметики есть польза.

Сколько они стараний кладут, чтобы нравиться мужу по-прежнему! По их глазам видно, как они боятся морщин. И обязательно говорят: «Посмотрите, как я ужасно выгляжу!» И тут же добавляют, что по телевизору показывали крем, который уничтожает морщины... Это все телевидение наделало. Раздразнило их.

Покупательницы обращаются к нам за советом. Полагаются на нас. Когда много лет работаешь на одном месте, у тебя появляется своя клиентура. Приходят и ждут, пока ты не освободишься. Ты уже словно хорошая знакомая. А с чужим человеком им говорить легче, чем со старой приятельницей. Ну, и рассказывают мне все свои маленькие трагедии. Когда целый день вот так соприкасаешься с людьми, узнаешь о них очень много. И так много на свете одиноких людей! Так много женщин от сорока лет до семидесяти.

Нам полагается рекомендовать то или иное изделие. На этом принципе работают многие магазины. Мы рекомендуем те, которые нам хорошо известны. Покупательницы просят показать им крем фирмы Арден, или Лодер, или Рубинштейн, и мы показываем. Когда покупательница спрашивает такую-то или такую-то помаду, мы не навязываем им свой выбор. Я не агрессивна. Я совсем не хочу, чтобы покупательница вернулась домой с полной сумкой покупок, спрашивая себя: «Зачем я все это накупила?» Стараешься понять покупательницу. Я всегда ставлю вопрос так: «Сколько вы хотели бы истратить?»

Прежде продавщицы косметических и парфюмерных отделов в среднем зарабатывали лучше, чем сейчас. Тогда можно было заработать гораздо больше, чем получали конторщицы и секретарши. А теперь мы получаем меньше их. Слишком большие средства фирмы расходуют на рекламу. Возможно, они считают, что в результате продавщица продаст больше и заработает больше. (Смеется.) Я знаю, конечно, что эти средства идут не из фонда заработной платы. На рекламу выделяются колоссальные деньги. Мы получаем заработную плату плюс комиссионные. Моя дочка, которая подрабатывала на каникулах, теперь говорит: «Наименьший общий знаменатель — это продавщица, получающая комиссионные». (Смеется.) Такая система развивает у людей жадность, заставляет не считаться с интересами тех, кто работает вместе с тобой.

Мне платит не магазин, а косметическая фирма. И фирма требует, чтобы я продавала именно ее изделия. Каждый месяц посылаешь отчет. В моем отделе нас десять. И каждая представляет какую-то фирму. Тут, в пригороде, продавщицы представляют не одну фирму, а по несколько — скажем, две-три косметических и четыре-пять, а то и шесть парфюмерных. У тебя на руках колоссальное количество товара, а тут еще составляй отчеты. Подоходный налог приходится вычислять с помощью бухгалтера. (Смеется.) Столько фирм тебе платят.

Составление отчетов — это дополнительная работа, которую выполняешь дома в свободное время, ничего за это не получая. Это целые простыни со множеством пунктов. Возиться с отчетом по вечерам в будние дни просто сил не хватает. В глазах круги идут. (Смеется.) Чувствуешь себя немножечко усталой и откладываешь на воскресенье. А потом корпишь над ним с утра до самого вечера.

И еще профессиональный риск. (Смеется.) Нас не страхуют от болезни. Фирма не оплачивает госпитализацию. Приходится страховаться самой. И пенсии нам не положены. Одна продавщица проработала в этом отделе пятнадцать лет и ушла из-за

возраста. Если бы ее нанимателем был магазин, она получила бы пенсию, хоть и небольшую. А так она ничего не получила. И со мной будет то же.

Фирма, которую я представляю, оплачивает нам пять дней в год отпуска по болезни. Если проболеешь больше пяти дней, тебе уже не платят. Я болела всего только раз, но сверх пяти дней мне ничего не заплатили. У продавцов универмага есть профсоюз, но если тебе платит кто-то другой, то... Ничейная земля, вот что это такое. В прежнее время, когда заработок был больше, я могла бы кое-что скопить на черный день. А теперь это не получается.

Заведующая относится ко мне хорошо. Она знает, что может на меня положиться. Я ведь никуда не уйду. Я тут уже семь лет и ни одного дня не пропустила. В таком возрасте, когда тебе... (Теряет ход мысли.) Меня могут уволить когда угодно. У нас нет никаких гарантий.

Стоишь на ногах весь день. Прежде было правило, что за каждым прилавком должен стоять табурет. Но его давно забыли. Никаких табуретов. Наверное, к концу дня ноги гудят у всех. У нас подрабатывают студентки, особенно на рождество. Они больше жалуются на усталость, чем женщины постарше.

Заведующая как будто побаивается делать им замечания. Они не слишком старательны. И не так уж вежливы. Возможно, это по-своему и неплохой признак. Может быть, они считают, что это все чепуха — всякие там «спасибо» и «пожалуйста». Вот и их внешность тоже. Они проявляют независимость. Но проявлять-то проявляют, а выглядят все одинаково. (Смеется.)

Когда у вас дети учатся в колледже, денег нужно много. (Смеется.) Вот почему так много женщин идет работать — чтобы платить за обучение своих детей. У нас работают вдовы, женщины, которые из-за кризиса не смогли получить профессии. Вот нам и пришлось пойти в продавщицы.

Дорогие магазины вроде нашего торгуют косметикой для черных женщин. Из них многие покупают косметику светлых тонов. Им кажется, так они выглядят красивее. Когда обслуживаешь черную покупательницу, надо быть очень осторожной. Некоторые любят крепкие духи. А некоторые не покупают крепких духов именно потому, что они черные. Это женщины из зажиточных семей. Предубеждение среди продавщиц... Да разве об этом расскажешь! Каких только выражений не наслушаешься! Не представляю, как это все разрешится. Иногда просто теряешь веру в человечество.

Конечно, это не самая интересная работа. Я мечтала стать учительницей, но кризис... Хотелось бы заниматься чем-то более увлекательным и полезным, так, чтобы чувствовать, что и ты вносишь свою лепту. А с другой стороны, обслужишь одинокую пожилую женщину, уйдет она от тебя с улыбкой, почувствуешь, что ты хоть немножечко, а скрасила ей день... В этом тоже что-то есть.

Тим Девлин

У него было нервное расстройство, и он три месяца провел в больнице. С тех пор прошел год. «Мне тридцать, а я себя иногда чувствую пятидесятилетним». (Смеется.)

Сейчас у меня такая работа, что самому противно. Я дворник. Поганая должность. И работа сама по себе тяжелая. Когда я на дежурстве, то надеваю форму: серо-зеленые штаны и серая рубаха. Штаны мешком. Почти все дворники так одеваются. Раньше я думал, что это работа для черномазых, или приезжих из самой что ни на есть глуши, или беспаспортных иммигрантов. От таких людей держишься подальше. А теперь я сам такой.

«Никчемная личность» — вот кто я. Неудачник. Дойти до такого! Нас тут пятеро работает. Это муниципальные дома. Из остальных трое и по-английски почти не говорят. Иммигранты. Работают изо всех сил и не жалуются. Они очень довольны, а я нет. Это же тупик. Сегодня вечером у меня в баре встреча с двумя старыми приятелями. Мы уже давно не виделись. Мне за себя противно. Я им что-нибудь навру. Скажу, что я адвокат или еще кто-нибудь в том же роде.

Когда знакомишься с людьми, тебя обязательно спрашивают: «Чем вы занимаетесь?» Я отвечаю, что в голову придет. У них вместо мозга арифмометры. «Я дипломированный бухгалтер». А! Значит, он зарабатывает по меньшей мере восемнадцать тысяч в год. Приличный человек. Скажи я, что я электрик, они прикинули бы, что я получаю за час девять долларов. Но попробуй сказать им: «Я дворник». А-а-а-ах! И такое у тебя чувство, словно ты последний человек. Начинаешь сам на себя коситься. Кто хочет быть дворником? Их теперь даже переименовали в техников-смотрителей.

Я не стремлюсь к карьере, но я представить себе не могу, что буду этим заниматься до конца жизни. Я уже до того дошел, что готов жить на пособие. Надо бы бросить все это и просто ничего не делать. Я теперь на работу смотрю совсем не так,

---

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

как раньше. Если бы я мог спокойно сказать: «Я дворник», я бы чувствовал себя свободным. Если бы я только мог сказать: «Я Тим Девлин, и мне нравится моя работа!»

Я окончил колледж и семь лет был коммивояжером. Только-только сошел с конвейера. В жизни преуспеваешь для того, чтобы преуспеть, деньги — ключ к людям. Я себя с детства видел — большая контора, большая машина, большой дом. И я преуспевал и мог бы даже больше преуспевать.

Я влюбился, и мне казалось, что ничего прекрасней в жизни быть не может. А после свадьбы я почти сразу заметил, что мою жену... нет, я ее не осуждаю... что ее интересуют деньги. Она сравнивала меня с моими ровесниками. Сколько я зарабатываю. Я начал работать сверхурочно. И у меня появилось такое чувство, что я просто машина. А в конце недели меня так и тянуло сказать: «Вот деньги. Теперь ты меня любишь? Я лучше их?»

Я продавал светокопировальные аппараты ценой в тысячу двести пятьдесят долларов. Из них триста долларов — мои комиссионные. А себестоимость машины — четыреста восемьдесят долларов. И я начал думать: что-то тут не так, черт побери! Если она стоит четыреста восемьдесят, так почему ее нельзя продавать за четыреста восемьдесят? Почему надо добиваться максимума прибыли, а не минимума? Я ищу утопическое общество, а? Нет, я собой не горжусь.

Я был старательным. Читал всякие руководства. Если клиент начнет так, вы ответите эдак. Обработайте его, зажмите в кулак и — хоп! — заставьте его расписаться на нужной строчке. Врите ему что хотите. Втирайте ему очки, гните свою линию, и он подпишет, никуда не денется. Ура! Раунд за вами. Назавтра новый раунд. Какого черта? Чем я, собственно, занимаюсь? Мне же это не нравится. С женой все разлаживается. Я хорошо зарабатываю, у меня машина за счет фирмы Моей жене только этого и надо, а у меня на душе скверно. Я начинаю задавать себе вопросы. На этом мой брак и кончился.

Я об этом никогда ни с кем не разговариваю. Люди ведь подумают, что я коммунист или спятил. Человек, который гребет деньги, не должен ставить под вопрос их источник. Я об этом помалкивал. Ведь это же Великая Американская Мечта. Это мне в голову вбил отец.

Такому взгляду на вещи я научился от отца. Он все время изыскивал новые способы загрести побольше денег. Ему не хотелось до конца жизни оставаться торговцем. Он все время пытался завести свое дело, открыть контору. И терял все, что зарабатывал, до последнего гроша. Он верил в Американскую Мечту. А надо бы получше разобраться, что это за мечта. Если я продам аппарат ценой в четыреста восемьдесят долларов за тысячу двести пятьдесят, это и есть Великая Американская Мечта?

Развод на меня сильно подействовал. Я пережил настоящий кризис. Винил систему, винил страну, винил бога. Отсюда и нервное расстройство. Просто мне стало на все наплевать. Я никого не хотел видеть. Не желаю я слышать, как мне сообщают: «Да, через неделю меня назначат управляющим филиала». Замечательно! Да пусть его сделают хоть президентом Соединенных Штатов, мне-то что? Я стал циником. И это всегда при мне.

Когда я был коммивояжером, мои приятели глядели на меня снизу вверх. Один работал в пекарне, другой водил фургон — доставлял на дом продукты. Они думали: «Может, и мне стоило бы?» Коммивояжер! Ходишь в костюме, ездишь в машине фирмы. Теперь их называют ответственными за расчеты. Может, водитель городского автобуса зарабатывает больше, но зато на тебе белая рубашка, галстук... Все мои сестры замужем за белыми рубашками.

Многие люди слывут неудачниками, но они же не виноваты. Я сам не знаю, чем бы я хотел заняться. Только не эти крысиные гонки. Опять то же самое? Мне предлагали вернуться — быть очковтирателем высшего класса. Но с меня хватит. По-моему, я упустил свою возможность. Если бы мне дали начать жизнь сначала, я бы, наверное, занялся психологией, чтобы узнать, чем люди живы на самом деле. Мне бы очень хотелось узнать, почему люди верят, будто преуспеть в финансовом отношении так уж важно.

Нет, я хотел бы преуспеть в финансовом отношении. Но мне открыт только один путь — опять стать коммивояжером. А мне уже не двадцать лет. Господи, да мне бы пришлось начать со ста двадцати пяти долларов в неделю. А разве это деньги? Только чтобы не остаться без крыши над головой. Если гладить начальство по шерстке, через десять лет я мог бы стать заместителем управляющего и получить всякие другие пышные наименования. Боюсь, другого мне ничего не остается. Куплю акции, женюсь во второй раз и стану частью системы. Но система-то остается для меня под вопросом.

Бретт Хаузер

Ему семнадцать. Он был подносчиком в магазине самообслуживания в респектабельном пригороде Лос-Анджелеса. «Люди подходят к прилавку, а ты укладываешь их покупки в корзину и относишь к машине. Та еще работка».

Становишься жутко угодливым: «Сударыня, разрешите, я помогу вам с корзиной?»,

«Позвольте, я вам помогу». Как раз тогда бастующие сборщики винограда раздавали свои листовки. Они держались очень достойно. А покупатель подходит к контролю и говорит: «Вот в первый раз купил-таки винограду — и все из-за этих идиотов у дверей». А я должен укладывать их виноград в корзину, и благодарить за покупку, и провожать к машине. Очень меня злило, что приходится им прислуживать.

У компании таких магазинов много — целые комбинаты с пекарнями, и повсюду динамики, а из них музыка льется, чтобы покупатели расслаблялись. Чего только не прокручивали — и отрывки из «Волос», и «Гуантанамеру» — кубинскую революционную песню. И кливеровская «Душа на льду» в продаже. Все очень мило, просто чудесно. А покупатели на музыку ноль внимания. Выбирают, что бы еще купить, шлепают своих ребятишек, разговаривают про этих идиотов, которые раздают листовки против винограда.

Все выглядит таким свежим и нарядным. И в голову не придет, что в подсобке воняет, все кругом ящиками заставлено, а стены черт знает в каком виде. Все исписаны разными словами, а рабочие ругаются и кричат друг на друга. Но стоит пройти за дверь — тут тебе и музыка, и все блестит. Говоришь вполголоса, вежливо и почтительно.

Мы носим планку с именем и фамилией. Я как-то увидел человека, с которым был знаком много лет назад. Вспомнил его фамилию и говорю: «Здравствуйте, мистер Касл». Ну, мы потолковали с ним о том о сем. А когда прощались, он сказал: «Рад был тебя повидать, Бретт». И так мне приятно стало, что он меня помнит. Но тут поглядел я на свою планку. Ах, ты, думаю, ведь вовсе он меня и не помнит, а просто прочел на планке мое имя. Надо было бы написать на ней «Ирвинг». Он бы сказал: «Ну конечно, Ирвинг, я тебя прекрасно помню». Уж я бы знал, что ему ответить. Тут полная обезличенность.

Со всеми будь почтителен — с покупателями, с заведующим отделом, с кассирами. На кассе висят наставления: улыбайся покупателю, здоровайся с покупателем. Считается, что раз ты подносчик, то только потому, что мечтаешь когда-нибудь стать заведующим отделом. Ну, и постигаешь всякие мелочи, которые тебе совсем не интересны.

Тут главная цель — стать заместителем заведующего, а потом и заведующим. Кассиры-мужчины тоже мечтают стать заведующими. Ничего себе иерархия! Им интересно смотреть, как молоко разливается по пакетам. У каждого заведующего своя область. Заведующий мороженым, заведующий бакалеей, заведующий молочными продуктами. В подсобке висит плакат: «Делай свое дело хорошо — и тебе будет хорошо». Ну, вот и принимаешь к сердцу, хорошо ли расфасовано мороженое. А если что-нибудь с полки свалится, так это уж смерти подобно. Столько там всякой такой дряни, что я не выдержал. Там еще подносчиками работали один черный, один желтокожий и парень с техасским выговором. Им жить надо было. А я мог себе позволить такую роскошь — уйти, когда мне эта лавочка опротивела.

Когда я начинал, заведующий меня предупредил: «Подстригись. Приходи в белой рубашке с галстуком и в черных ботинках. Смотри не опоздай». Ну, я пришел, а его нет. Я стою и не знаю, что мне делать. Кассирша оборачивается и спрашивает: «Новенький? Как тебя зовут?» — «Бретт».— «А меня Пегги» И больше они ничего не объясняют, только командуют: «Сюда не клади! Вон туда!» А помочь не помогут.

Следи, чтобы фартук у тебя был белоснежный. На барьер не облокачивайся. С кассирами не разговаривай. Чаевых не бери. Вот я вынес покупки и уложил их в машину. Что почти всякий сделает? Возьмет из кошелька двадцать пять центов и протянет их мне. Я говорю: «Извините, запрещено». А они обижаются. Ведь когда даешь чаевые, чувствуешь себя аристократом. Достаешь монету, вкладываешь ему в руку и ждешь, что он скажет: «Большое спасибо». Ну, а когда приходится говорить: «Извините, запрещено», им это неприятно. Они говорят: «Но никто же не узнает» — и суют монету тебе в карман. Ты говоришь: «Да правда же, нельзя». Прямо хоть дерись с ними. А как это согласовать с магазинной философией вежливости и услужливости? Ведь покупатель хочет, чтобы ты взял чаевые, а спорить с ним невежливо. Я никак не мог разобраться в этом противоречии. Одна покупательница опустила мне монету в карман и сразу уехала. Что же мне было делать? Швырнуть четвертак ей в окошко, проглотить его или что?

Когда наплыва нет, кассиры рассказывают всякие смешные происшествия. Про Нас и про Них. Мы — это те, кто тут работает, а Они — это всякие дураки, которые ни в чем не разбираются, а просто приходят, все перепутывают и делают покупки. Мы их обслуживаем, но любви к ним не питаем. Мы знаем, где что лежит. Мы знаем, когда магазин закрывается, а они нет. Мы знаем, что делают с купонами, а они нет. Это своего рода товарищеская спайка. Но только поганенькая. За счет других.

Например, один кассир просто исходил злобой. Он просто упивался возможностью превратить всякий пустяк в критическую проблему, чтобы победоносно ее разрешить. Покупательница отдает ему купон, а он брюзжит: «Вы обязаны были отдать его мне сначала». Она говорит: «Извините, пожалуйста». А он продолжает: «Теперь мне придется открывать кассу и проверять все с самого начала. Сударыня, я не могу следить за каждым покупателем. Вы сами за себя отвечаете». Что угодно, лишь бы уязвить человека.

Когда я по ошибке клал в корзину что-то не то, меня это не волновало. Если брать по

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

большому счету, в мировом разрезе, так банка собачьих галет не в той корзине — это такая уж мелочь! Но только не для них.

Попадались среди кассиров и неплохие. Одна была такая грустная! Тоже иногда взъедалась, но она хоть разговаривала по-человечески. Ей по-настоящему нравилось разговаривать с людьми, а это не часто встречается. Она все повторяла, как бы ей хотелось поступить на учительские курсы. Ее спрашивали: «Так чего же вы не поступаете?» А она отвечает: «Я ведь работаю. И как раз в эти часы. Мне пришлось бы менять часы работы». А ей говорят: «Ну, так поменяли бы». Она работала там много лет, и стаж у нее был. Она говорит: «Джим не позволит». Джим — это заведующий. Ему-то плевать было. Ей хотелось учиться, а потом самой учить, но она не могла, потому что каждый день должна была идти в магазин считать чужие покупки. Но она не озлобилась. Если ей так и предстоит умереть кассиршей, не обогатив своей жизни,— что поделать, такие уж у нее рабочие часы.

Она всегда впадала в крайности — и когда бранилась, и когда сочувствовала. Я как-то разлил виноградный сок, и она раскудахталась. Я сходил за тряпкой и начал подтирать. А она твердит: «Не переживай. Это с любым из нас может случиться». И объясняет покупательницам: «Да если бы я по десять центов получала за сок, который разлила за свою жизнь...»

Джим там самый главный. Руку тебе пожимает, словно рыбу в нее сует. Ему уже за сорок, а голова в залысинах. Большинство заведующих — молодые люди, которым и тридцати нет, бритые, аккуратно подстриженные. А Джим все больше довоенные жаргонные словечки употребляет, вроде «железно», которые давно уже не в ходу. Каждые два часа подносчикам положен десятиминутный перерыв. Я его ждал — дождаться не мог. Можно выйти из зала, снять ботинки, почувствовать себя человеком. Но прежде надо спросить разрешения. А они позволяют, но так, что ты себя виноватым чувствуешь.

Подойдешь и спросишь: «Джим, можно я возьму перерыв?» А он отвечает: «Перерыв? Ну, бери, только экспрессом на девять с половиной минут». Ха-ха-ха. Как-то я спросил у его заместителя, у Генри, он еще старше Джима: «Я возьму перерыв?» А он говорит: «А ты бы сделал перерыв между перерывами». Ха-ха-ха. Даже и шутят так, чтобы уязвить.

Те, кто раскладывает товар по полкам, считаются чином выше подносчиков. Ну, как выпускники в военном училище. Уж они вовсю следят, чтобы ты каждое правило выполнял — потому что сами прежде были подносчиками. Они знают все твои трудности. Но вместо того, чтобы помочь тебе, еще от себя добавляют. Ну, прямо военное училище.

А другие подносчики мне прохода не давали: «Джим с тобой про твои волосья говорил? Ну, так еще поговорит — гляди, как ты оброс. Подстригся бы ты, что ли, или припомадил бы их». И все с таким удовольствием. Джим еще ничего не сказал, а они уже тут как тут. Все там стараются уязвить кого могут...

Бейб Секоли

Она работает кассиром в магазине самообслуживания уже почти тридцать лет. «Я начала работать с двенадцати лет — в бакалейной лавочке напротив нашего дома. Кассовых аппаратов там не было. Я просто писала цену на пакетах.

Когда я кончила школу, то в секретарши идти не захотела. Мне нравилось работать в продовольственном магазине. Очень интересная работа для молоденькой девчушки. Я просто увлеклась. Ни о каких других профессиях я представления не имею. Нелегкая работа, но мне она нравится. Это же вся моя жизнь».

Мы тут продаем все, что душе угодно. Миллионы всяких пакетов и банок. От картофельной соломки и кукурузных хлопьев... у нас даже есть настоящая жемчужинка в банке с устрицами. Два с чем-то банка. Улитки в раковинах, чтобы подать на праздничный стол. Есть даже такие деликатесы, о каких я раньше и не слышала. Я знаю все их цены. Иногда заведующий спросит меня, а я так и отбарабаню. Чего бы вы ни спросили, у нас это найдется.

Цены заучиваешь наизусть. Это как-то само собой получается. Я знаю: полгаллона молока стоит шестьдесят четыре цента, а галлон — доллар десять. Глядишь на этикетки. Маленькая банка горошка — «Рэгеди Энн». Ну, а «Грин Джайнт» на пару центов дороже. Я помню: «Грин Джайнт» — восемнадцать центов, а «Рэгеди Энн» — четырнадцать. А «Дель-Монте» — двадцать два. Но последнее время цены без конца скачут. Два дня назад маргарин стоил сорок три цента. А сегодня — сорок девять. И теперь, когда я вижу «Империал», я пробиваю сорок девять центов. Запоминаешь, и все. На кассе есть список цен, но это для временных. Я в него даже не заглядываю.

Мне на кнопки моей кассы тоже смотреть не надо. Я ее знаю, как секретарша — свою пишущую машинку. На ощупь. Она мне точно по руке. На девятке — средний палец. Большой палец бьет единицу, двойку, тройку и дальше вверх. Ребро ладони нажимает на рычаг общей суммы, ну, и так далее.

Я пользуюсь тремя пальцами — большим,

указательным и средним. Правой руки. А левая — на покупках. Они выкладывают свои покупки. Я жму бедром, и пакеты продвигаются по прилавку. Когда их передо мной в самый раз, я перестаю нажимать. Я все время в движении — бедро, рука, касса, бедро, рука, касса. (Она показывает, как это получается — ее руки и бедра движутся, словно она танцует какой-то восточный танец.) Надо только поймать темп — раз-два, раз-два. Если встроишься в ритм, значит, дело спорится. Стоишь на всей подошве, а голову поворачиваешь вправо-влево.

Покупательница тебя о чем-то спрашивает. Если снять руку с покупки, обязательно собьешься и спутаешь, за что выбиваешь. Тут важно чувствовать. Когда я выбиваю, рука у меня всегда на покупках. Если кто-нибудь перебьет, спросит, что сколько стоит, я отвечаю, не замедляя движения. Словно на рояле играешь.

Я восемь часов в день провожу на ногах. Стоять, конечно, утомительно. Но когда я прихожу домой, то чувствую себя обновленной. Я не от этого устаю, а от того, что надо следить, не ворует ли кто. А воровства много. Я как увижу такую воровку, сразу готовлюсь принять меры.

Заведующий меня спрашивает, как я догадываюсь. А я вижу по движению их рук. Как они сумочку держат, и корзину, и как стоят. С первого взгляда можно понять. Я до сих пор еще ни разу не ошиблась.

В магазинах самые, казалось бы, приличные люди крадут. И не потому, что нуждаются. Очень приличные люди, и живут в районе Лейк-Шор-Драйв. Каждый день — и мужчины, и женщины. Последнее время, правда, еще эти хиппи появились, которым лишь бы день прожить...

Глазное — мясо. Приходят с большими сумками. Как раз на прошлой неделе я поймала одну такую женщину — с двумя пачками вырезки в сумке. На десять долларов. Она подходит к кассе, а я очень вежливо спрашиваю: «Не хотите ли заплатить за что-то еще, чтобы мне не ставить вас в неловкое положение?» Заведующий стоял неподалеку, и я его подозвала. Она посмотрела на меня нахально так. Я говорю: «Я знаю, у вас в сумочке вырезка. Так пока никто не видел, вы либо заплатите, либо положите на место». Она нос задрала, но тут заведующий спросил: «Зачем вы взяли мясо?» Ну, она и заплатила.

Никто ничего не заметил. Я говорю очень вежливо. И заведующий держится мягко. Конечно, если они начинают скандалить, он повышает голос, чтобы их припугнуть. И просит больше в магазин не приходить.

Я знаю одного такого — берет бритвенные лезвия. Одет очень прилично, и лет ему за шестьдесят. Лезвия ему нужны как собаке пятая нога. Я за ним слежу, и он это знает, так что к лезвиям и не подходит. Все больше такие мелочи. Злятся на кого-то, ну, и срывают злобу таким способом.

Одна покупательница нас просто умоляла — говорила, что хочет по-прежнему к нам ходить, не то ее муж узнает. Заведующий сказал, что за ней теперь во всех отделах будут строго наблюдать. Но это просто чтобы ее припугнуть. Пожилая такая женщина. А мне бы стыдно было снова приходить в магазин, где про меня такое знают. Только сейчас это, наверное, обычное дело, куда ни пойди. Таких людей жалко. Я им сочувствую.

Дома у меня обожают такие истории: «Что сегодня приключилось?» (Смеется.) Ну, это про ту, с вырезкой в сумочке. И вырезка-то эта ей нужна как собаке пятая нога.

Некоторые расстраиваются и сердятся из-за цен и начинают ругать меня. А я гляжу на них, и все. Надо разбираться, где тут причина. Я молчу, а то ведь не успеешь оглянуться — и пойдет перепалка. Покупатель ведь всегда прав. Неужто она не понимает, что я покупаю те же продукты. И плачу те же деньги, без всяких скидок. Те, кого поймаешь на воровстве, спрашивают: «Неужели вам ничего не нужно?» Нет, мне нужно, и я весь день на ногах, и у меня расширение вен. Но я не пытаюсь выйти отсюда с сумочкой, набитой вырезкой. Когда мне нужен бифштекс, я его покупаю.

Ноги у меня по временам очень болят. Когда я в восемнадцать лет надевала купальный костюм, у меня не ноги были, а прямо-таки карта какая-то. Оттого, что я все время стояла. И обувь была неудобная. Теперь я ношу туфли с супинатором, такие, как сиделки в больницах. В них ноги не так болят, и это уже хорошо. Иногда я до того устаю за день, что не могу спать. И ноги ноют, точно я не лежу в кровати, а все еще стою.

Свою работу я люблю. И с заведующими мне везет. Наш заведующий черный и просто прелесть что за человек. Пока ты работаешь как следует, они не вмешиваются. А заработная плата прямо потрясающая. И повышается автоматически благодаря профсоюзу. Профсоюз работников розничной торговли. У меня такой стаж, что я хоть сейчас могла бы уйти на пенсию. И заработная плата у меня максимальная. Всего в неделю я получаю сто восемьдесят девять долларов. И пенсия у меня будет почти пятьсот долларов в месяц. Это все профсоюз. По высшим ставкам. Меня все представители по имени знают. Молодежь даже не задумывается, сколько для нас сделал профсоюз.

Порой мне кажется, что этим девчонкам переплачивают. Они не делают того, что обязаны. Девочки, которые к нам приходят, двигаются как сонные мухи. Постоянные покупатели все говорят: «Пойдем-ка к Бейб». Это потому, что я все быстро делаю. Оттого-то я так устаю, а эти девчонки по вечерам ходят на танцы. Не умеют они гордиться своей работой. А для меня это жизнь. Бывает, я прихворну и иду в магазин с таким чувством, что уж там-то мне сразу ста-

---

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

нет легче. Только это не всегда действует. (Смеется.)

Я кассирша и горжусь этим. Есть и такие, кто скажет: «Кассирша? Фу!» А по-моему, это не хуже, чем быть учительницей или юристом. И мне не стыдно, что я хожу в форме и в туфлях с супинатором, что у меня расширение вен. Я честно зарабатываю на жизнь. Те, которые глядят на меня сверху вниз, куда хуже меня.

Меня раздражает, когда покупатели меня подгоняют: «Да побыстрее же!» или «Поскорее считайте!» По-моему, это некрасиво. Подождите, и я вас обслужу со всем вниманием. А поспешите, так себя же задержите. Вот, например, вчера я пробивала два больших заказа, а она говорит: «Я через десять минут должна быть в другом месте. Считайте быстрее». Я не терплю, когда со мной так разговаривают, и никакая другая кассирша не потерпит.

Я ведь тоже человек. Я тут на работе. А они иногда унижают меня. Даже выражаются. Тогда я все бросаю и иду за заведующим. Я никому не позволю называть себя (прикрывает рот ладонью и шепчет) стервой. Это все богатые люди — словно я их экономка или горничная. Да и с горничными так не разговаривают.

Бывает, я делаю ошибки. Я ведь не арифмометр. Но я извиняюсь. Я сразу же замечаю и говорю покупателю: «Тут я выбила на два цента больше, так теперь я вычитаю». А потому мои покупатели за мной не следят, когда я подвожу итог. Они мне доверяют. Но сегодня утром была у меня одна... Я ей говорю: «Как поживаете?» — вот и весь наш разговор. Она мне говорит: «Погодите. Я хочу вас проверить».

Я даже глазом не моргнула. Точно ее и нет тут вовсе, точно я ее не слышу. А она начинает скандалить. Ну, я говорю: «Прекратите. Я дам вам чек, когда кончу. Если окажутся ошибки, я их исправлю». Ну, люди... я таких не понимаю. И мне некогда разбираться с их пустяками, потому что следующий покупатель тоже торопится...

Мне бывает очень обидно, когда мне не доверяют. Да и зачем мне их обсчитывать? Все равно это не мне в карман идет. Ну, ошибешься случайно, а тебя воровкой называют, мошенницей. А я в жизни чужого не присвоила.

Иногда мне кровь в голову бросается, я вся красная делаюсь от обиды и чувствую себя совсем разбитой. Дома мои сразу замечают и переглядываются: «Не надо с ней заговаривать, у нее был тяжелый день». И спрашивают: «Что случилось?» Я поглажу на них и начинаю смеяться — ведь хуже нет как тащить работу к себе домой. Уходишь из магазина и все неприятности оставляешь там. А домашние — оставляешь дома. И все-таки случаются дни, когда просто сил никаких не хватает. Но потом все сглаживается.

Больше трех раз ошибиться нельзя. После этого у тебя вычитают из заработной платы. И правильно делают. Нельзя же каждую неделю просчитываться на десять долларов. Это подозрительно. Ерунда какая! Если покупатель недоплатил десять долларов, это твоя вина. Для того-то кассовые аппараты и показывают всю сумму. Не надо останавливаться и пересчитывать. Я таких ошибок никогда не делаю. Обычно это случается с девчонками.

Прежде атмосфера была более дружеской, более приятной. А теперь все время словно какое-то напряжение ощущается. Напряжение в магазине. Едва войдешь и сразу это замечаешь. Все словно враги. Все рвутся вперед. «Я была первой». Теперь уже некогда говорить: «Здравствуйте, как поживаете?» Наверное, все дело в том, как теперь живут люди. Скорее, скорее, скорее, и отталкивают друг друга. По-моему, они только скорее в могилу попадут. Торопыги эти.

А толчея тут! Пихают друг друга тележками. Кое-кто и нарочно. Иногда я что-нибудь покупаю, так меня то и дело толкают тележками. Ударит по лодыжке, и сразу синяк. И знаете, кто обычно это проделывает? Старики, которые ходят за покупками. Уж эти мне старики! Ужас что такое — так и бьют тебя по ногам. Иногда подойдешь к такому, тронешь его за плечо и спросишь: «Зачем вы так?» А они смеются тебе прямо в лицо. Это в них ненависть сидит. Они очень озлоблены. И ненавидят тебя. А может, день выдался неудачный, и они ищут, на ком бы сорвать злобу, ну и толкают тебя тележкой. Просто смешно.

Я знаю, что многие люди очень одиноки. У них нет никого близких. Положат в тележку одну-две покупки, а ходят по магазину добрый час. Смотрят по сторонам, заговаривают с другими людьми. Рассказывают, как они себя чувствуют, что сегодня делали. Просто им надо с кем-то этим поделиться, то есть старикам. А молодые куда-то летят сломя голову — только посмотрят, а разговаривать им некогда.

У нас есть маленький кофейный зал, где можно выпить кофе бесплатно. Почти все забегают туда на минутку — выпьют кофе и уходят. А вот одна старушка — ей некуда идти. Так она сидит там у окна часами. Пройдет по залу и опять туда. Я узнала, что она совсем одинока, старушка эта. Ни детей, ни родных. Никого. Из-за своей кассы я много чего вижу. Я даже не представляю, как бы я работала на фабрике. Я бы чувствовала себя точно в тюрьме. А тут я могу в окно поглядеть, какая сегодня погода. Захочется глотнуть свежего воздуха — подойдешь к двери, подышишь и вернешься. Я утром всегда прихожу за сорок пять минут. И ни разу не опоздала, если не считать того знаменитого снегопада. И никогда не думала о том, чтобы сменить работу.

Два дня не работаешь, и уже тоскливо становится. Вот ждешь не дождешься отпуска, а стоит уехать, и уже через три дня я места себе не нахожу. Не умею я сидеть сложа руки. Мне надо все время что-то делать. И уже мечтаешь вернуться на работу. Чудесное это чувство. Просто замечательное.

Нино Гуидичи

Мы — за прилавком аптеки на углу. Район очень неоднородный. К востоку расположены кварталы, где живут преимущественно богатые люди. С запада подступают кварталы бедноты. По разделяющей их магистрали снуют главным образом молодые люди. «Даже не верится, что я провел на этой улице сорок лет». Он получил диплом провизора в 1926 году. Ему семьдесят лет.

В шкафах за прилавком хранятся тысячи флаконов, расставленных по названиям крупнейших фармацевтических фирм. «Одних таблеток существует что-то между пятью и семью с половиной тысячами. Когда я запутываюсь — в прежние времена этого со мной не случалось,— мы справляемся по Красной книге. В ней перечислены все названия и указано, кто изготовляет такое-то средство и сколько оно стоит».

Аптеки на углу скоро совсем исчезнут. Небольшие аптеки себя больше не оправдывают. Не справляются. В прежнее время на провизора смотрели как на врача. Кто теперь зайдет в аптеку и скажет: «У меня стреляет в ухе. Что вы порекомендуете?» Или: «Моя дочка простудилась»? Да никто. А клиенты остались такими же, как были, когда я начинал. Вроде человека, который сейчас заглянул сюда. Ему нужна вечерняя газета. Он сказал: «Не забудьте отложить мне газетку». Он наш постоянный клиент. И я скорее забуду приготовить заказанное лекарство, чем его газету. Наверное, большая ошибка, что это для меня все еще важно.

Мы теперь только отсчитываем таблетки. Отсчитаешь двенадцать штук, уложишь, отсчитаешь еще двенадцать... Нынче день особенный — я составил мазь. Почти все мази поступают ко мне готовыми. Ну, а этот доктор — старой закалки. Ему понадобилась особая серная мазь еще с двумя ингредиентами. Так что пришлось мне отвешивать на весах. А обычно достаешь тюбик, и все.

Прежде у врачей были свои формулы, и мы почти все делали сами. А теперь этим занимаются лаборатории. Настоящих провизоров надо теперь искать в фармацевтических фирмах. Они и фабричные рабочие, и фармацевты. А нам сообщают только названия лекарства, дозу и показания. Так много проще. Прежде за день приготовишь собственноручно двадцать — двадцать пять лекарств. А теперь проще. Прежде двадцать—двадцать пять рецептов в день было уже много. А теперь их сто пятьдесят в день пропускаешь. В такое время года все больше антибиотики идут, потому что люди часто простужаются.

Прежде мы пользовались самыми простыми лекарственными средствами и основы мазей были самые простые — вазелин, ланолин и их смеси. Такими свойствами, как нынешние, они не обладали. Сейчас ты просто расфасовщик. (Смеется.) Нет, я провизоров вовсе не принижаю, но теперь фармакология настолько развилась... Мы только дозы отмеряем.

Мне так больше нравится. Если делать все самому, да чтобы врачу приходилось выписывать рецепт со всеми ингредиентами — при нынешней экономике ты так вообще не просуществуешь. Теперь все ускорилось, и это лучше. Тогда медицина приносила людям куда меньше облегчения, чем теперь.

«Когда я учился в фармацевтическом училище, курс был всего двухгодичный. А теперешняя молодежь учится шесть лет. В мое время мы изучали только основные металлы и соли. Тебе было известно, что такие-то соли помогают от кашля. Растворишь их в дистиллированной воде — и лекарство готово. Теперь химию изучают куда глубже. Нынешние выпускники куда нас образованнее. Они подготовлены для работы в фармацевтической промышленности. Нынешние школьники и те наловчились изготовлять такое, о чем я и представления не имею. (Смеется.) ЛСД и прочее. Эти ребятишки куда больше меня знают о том, как изготовляются опасные наркотики». (Смеется.)

Когда я только начинал, специальных лекарств для детей старше семи-восьми лет почти не было. Никаких мазей для подростков с угрями, например. Нынче стоит у ребенка вскочить прыщику, и его сразу посылают к кожнику. Мы таких мазей продаем очень много. И косметики продаем куда больше, чем раньше. В прошлые дни косметика составляла самую незначительную часть оборота. А теперь на нее приходится пятьдесят процентов, если не больше. Изготовление по рецептам покрывает примерно двадцать процентов. Остальное — ручная продажа: человек приходит и покупает, что ему требуется.

Вот приходит человек, но я ему побоюсь руку промыть, разве что хорошо его знаю. «Обратитесь к врачу»,— вот что мы должны отвечать по закону. А у него, может, тридцати пяти центов за душой нет. Тут один мясник перерубил себе артерию. Кровь так и хлещет, а я буду отсылать его к врачу? Да он бы истек кровью. Ну, я заткнул рану ветошью. А он еще чуть-чуть— и умер бы. Но обошлось. Возможно, я ему жизнь спас, только этого как-то не замечают. Ну, а умри он у нас в задней комнате? А потом, убеждаешь их пойти сделать прививку от столбняка. Только в девяти случаях из десяти у них на это просто денег нет. Я и из глаз всякие соринки вытаскивал. У меня это хорошо получается. А друзья мне говорят: «Ты совсем сумасшедший».

Входит Грейс Джонсон, его сослуживица, и надевает белый халат. Она работает провизором уже тридцать лет. «На моем курсе девушек было только трое, а мужчин три-

---

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

ста шестьдесят. Покупатели-мужчины всегда терялись при виде меня. Я сразу догадывалась, что им нужно,— по тому, как они старались ко мне не обращаться. (Смеется.) Я начинала работать в аптеке у отца и, бывало, сижу смешиваю что-нибудь в задней комнате, а он меня позовет, и едва я войду, как всех мужчин точно ветром сдует. Словно я двухголовое чудище. Женщины, те ко мне обращались очень охотно.

Стоит мне сказать, что я провизор,— оооо! «Ах, как замечательно!» «Какая вы, наверное, умная». Женщина-провизор! Почти как женщина-врач. Но мне кажется, провизоров ценят куда меньше, чем они того заслуживают, и не замечают, что мы ведь посредники между пациентом и врачом. Если врач ошибется, а мы не заметили, то в суд больной подает на нас. Врачам они иска не предъявляют, потому что те стоят друг за друга.

Самое большое изменение за тридцать лет — это обилие товаров. У нас сейчас такой огромный ассортимент! Ну, кто слышал, чтобы в аптеке продавались радиоприемники? (Смеется.) И кто слышал о тысячах и тысячах всяких новоявленных средств? Один знакомый провизор как-то сказал мне, что случись в этом районе ночью атомный взрыв, так никто бы даже не заметил (смеется), потому что девяносто девять процентов окрестных жителей принимают секонал или нембутал, верно? Глотают таблетки горстями, нужны они им или нет. Чуть ли не каждый человек что-нибудь да принимает. И у всех нервы не в порядке из-за напряжения, в котором мы живем».

Я люблю работать. (Смеется.) Мне нравится быть на людях. Я мог бы уйти на пенсию пять лет назад. Нет, дома у меня хорошо, да ведь скучно сидеть и ничего не делать. Если учесть, какие я плачу налоги и какие пособия могу получить, так я, если оставлю работу, буду обеспечен почти так же. Но мне нравится приходить сюда. Не то чтобы я так уж любил людей, но без них чего-то не хватает. Иной раз приходишь домой и говоришь: «Ну и денек выдался! От них с ума сойти можно!», и то-то случилось, и то-то. Мне это нравится. Когда ты никого не видишь и ни с кем не разговариваешь...

Вмешивается Джефф, управляющий, ему тридцать лет: «Я еще не встречал человека, который не радовался бы, если можно не работать. Кроме Нино».

Для многих людей работа — это мученье. Но не для меня. Не скажу, чтобы я так уж любил работать, но никакого отвращения я тоже не испытываю. Самое для меня нормальное состояние — куда нормальнее, чем сидеть ничего не делая. Вроде бы я все-таки нужен. Не выйдешь на работу, а у кого-то день не заладится. Если я пойду на часок пройтись, мне приятно будет услышать: «Куда это вы запропастились? Дел невпроворот. Вы мне вот как были нужны!» Кое-кто назовет это нахлобучкой и разозлится. Ну, а я не так. Если придешь, а тебе вдруг скажут: «Мы и без вас спокойно управились», значит, пора вообще уходить. Мне нравится чувствовать, что я нужен. Это ведь приятно. Значит, и ты чего-то стоишь.

Многие так и ждут, чтобы им стукнуло шестьдесят пять,— просто рвутся уйти на пенсию. Радуются уж не знаю как. А чего радоваться? Будут сидеть дома, а я видывал немало женщин, которые сердятся, что муж все время околачивается дома и мешает. Обыкновенный человек вроде меня, он себя дома хорошо чувствует, когда возвращается туда после работы. Теперь я уж не способен работать в прежнюю силу. Вот почему приятно чувствовать, что ты еще нужен.

«Я начал работать в аптеке в двенадцать лет». Он тогда жил в маленьком городке на юге Иллинойса. Его отец, каменотес, умер, когда он был совсем малышом. «Я отпирал аптеку, подметал тротуар перед дверью, мыл полы». В Чикаго он учился в фармацевтическом училище, а по вечерам работал. «Я видел, как трудился мой отец и фермеры, как надрывались шахтеры за несколько долларов в неделю. А я получал такие же деньги только за то, что стоял и ждал, кому бы услужить, сказать «здравствуйте». Мне казалось, что эти деньги достаются мне даром».

Я никогда не стремился завести собственную аптеку. У меня не раз была такая возможность, но я не торопился и все взвешивал. Надо ведь будет платить проценты. Один я справиться с работой не смогу, а я не желал, чтобы моя жена работала по двенадцать часов в день. Многим моим знакомым помогали жены — трудились не покладая рук, и чего-то им достигнуть удалось. Ну, и очень хорошо. Только у меня другие взгляды.

Ну, а самостоятельности мне хватало. Я бывал и управляющим. Девушкам, торговавшим содовой, я платил по пять-шесть долларов в неделю. Это для начала. Я такой человек, что не могу, чтобы на меня работали даром. А добиться чего-то можно, только если не сентиментальничать. Не поймите меня превратно, я вовсе не говорю, что всякий, кто чего-то добился, непременно подлец, но ведь обязательно приходится чем-то поступаться, а я давным-давно понял, что это не для меня. Не то чтобы я уж такой хороший человек. Вовсе нет, но мне не нравится требовать от других того, чего я сам делать не хочу.

«У меня среди постоянных покупателей много цветных, которые работают на этой улице. Они говорят: «А знаете, почему я покупаю у вас? В нашем районе нас в аптеках просто грабят». И это правда. Я когда-то работал в таком квартале. Я по опыту знаю, что они там не стесняются брать с бедняков лишние деньги».

Я всегда знал, что миллионером мне не быть. Чтобы разбогатеть, надо, чтобы тебя честолюбие подхлестывало. Ну, а мне... Если за квартиру заплачено, если я сыт, могу сходить на бейсбол, на скачки и куда-нибудь сводить мою старуху, если все счета оплачены — так что еще человеку требуется? Мне нужно столько денег, что-

бы не стать бездомным бродягой и чтобы не отнимать у человека под пистолетом последний доллар. До того приятно сознавать, что вот ты зарабатываешь столько, сколько тебе нужно на жизнь. Такое мое мнение. Может, оно глупо, как сто тысяч долларов — а ничего глупее ста тысяч долларов и придумать невозможно,— и все-таки это мое мнение.

Мне никогда не хотелось разбогатеть. Я знаю, это звучит глупо. Один мой приятель говорит: «Я другого такого, как ты, в жизни не видел, который так презирал бы деньги». Это неправда. Я ничего против денег не имею. Я знаю, что без них не проживешь. Но сколько их нужно? У меня есть младший брат. Вот у него настойчивости хоть отбавляй. И денег у него гораздо больше, чем у меня. Не то чтобы я ленив, а то, что называется созерцательная натура.

По-моему, я в жизни преуспел. Если я больше не буду нужен, так и на пенсии найду чем заняться. Буду смотреть бейсбол, ходить на скачки, рыбу ловить. Было в моей жизни одно время, когда я тревожился. В газетах печатали объявления: «Требуется провизор, лиц старше сорока лет просят не обращаться». Мне тогда было сорок пять. И я уже подумал, что придется уступить место молодым. Но мне повезло. Все осталось, как было.

Если бы я мог начать жизнь сначала, я бы стал врачом. Я прошел подготовительный курс. А потом подумал: нет, еще четыре года мне не выдержать. Но пожаловаться я не могу. Мне везло. Конечно, миру я ничего не дал, но ведь это мало кому удается. И только очень умным людям, таким, которые наверняка могли бы стать миллионерами. Но они всю свою жизнь отдают просвещению. Отдают ее обществу. Для своего удовольствия они путешествовать что-то не ездят. И в светской хронике о них не прочтешь. Но есть у нас и редкостные невежды. Даже странно, что они вдруг возглавляют страну. Нелепо, верно?

Я был эгоистом, как всякий средний человек. Возможно, думал только о себе и о своих удобствах. Не надрывался, развлекался, ел и спал. Но ведь людей, которые были бы хорошими по-настоящему, очень мало, я сразу их и не назову. Я к своей работе отношусь серьезно, но ведь это совсем пустяк. Для мира она никакого значения не имеет.

Миссис Джонсон: «Ничего подобного, Нино. Вы делаете очень нужное дело. Сколько раз вы исправляли врачебные ошибки в рецептах? А уж для нашей аптеки вы даже еще и не так важны. (Поворачивается к остальным.) Его все любят. У него столько друзей среди покупателей! Они приносят своих малышей, приводят внуков, чтобы показать ему».

Джефф: «Семьдесят процентов покупателей приходят к нам только из-за Нино».

Ну, не знаю. Вы поглядите на тех людей, которые оказывают человечеству великие услуги.

Миссис Джонсон: «Нино, да вы же оказываете услуги человечеству каждый день, который проводите тут!»

(Он смущенно возводит глаза к потолку.) Нет, вы только послушайте! Ну и ну!

Постскриптум. Они заговорили о своем старом сослуживце, который недавно умер. Он неуклонно выполнял все инструкции. «И мы даже ссорились из-за того, что я соблюдал их не так строго. Придет человек и пожалуется: «У меня бессонница». Но он без рецепта ничего не даст. Ну, такой покупатель выйдет, прогуляется по улице и назад — уже ко мне. А я говорю: «Я вас знаю, вы человек надежный. Ну вот, берите парочку». Я считаю, что можно и по-человечески. И никакого греха тут нет».

Эрнест Брэдшоу

«Я работаю в банке, в ревизионном отделе. В моем подчинении около двадцати человек. Мы присматриваем и за работниками других отделов, и ведем постоянную проверку документации — никаких краж и растрат у нас не должно быть. Это своего рода служба внутренней безопасности». Банк большой — около пяти тысяч служащих.

Он занимает эту должность уже год. Поступил он сюда два с половиной года назад счетоводом. «Всегда радуешься повышению. Ведь это значит — больше денег и меньше работы». (Смеется.) Ему двадцать пять лет. Он женат. Его жена — учительница. Кроме него, в отделе работают еще двое черных.

От тебя зависит, как люди живут, сколько зарабатывают. Отличная должность для тех, кому нравится работа такого рода, кому приятно властвовать над чужой жизнью. А мне вот не доставляет особого удовольствия видеть, как пятидесятилетнюю женщину выгоняют вон, потому что молодые работают лучше. Перевели с должности, а ведь ей было так хорошо.

Одни люди способны руководить, другие — нет. По-моему, я способен, но тут возникают личные чувства — у меня просто духу не хватает заявить этой женщине: «Послушайте, ставлю вам минимальное соответствие». Выгнать ее, так где она най-

---

СТАДС ТЕРКЕЛ
РАБОТА

дет работу, ведь ей пятьдесят лет? Я инспектор и добросовестно выполняю свои обязанности. Я определяю соответствие занимаемой должности так, как есть на самом деле. Мои чувства здесь ни при чем. Я делаю то, что должен делать. Но это не значит, что я не способен переживать и даже поседеть.

Сначала они мне не поверили, потому что я черный и потому что я молод. Она-то белая. Мне предложили обосновать мое заключение. Не личная ли это неприязнь? И не враждебность ли черного к белым? Я обосновал. Указал на то и на это... Тогда они сказали: все правильно. Но они поняли, что никакой радости мне это не доставляет. Они поняли, как я к этому отношусь. Я сказал им, что она прекрасный человек. А они ответили: «Личным чувствам тут места нет. Мы дадим ей пять месяцев, чтобы освоиться или подыскать себе что-нибудь другое». Ей назначили испытательный срок.

Так всегда бывает на работе. О чувствах там не говорят. Вам дается понять, что человек значения не имеет. Вы поступаете на место, вы обязуетесь работать с восьми тридцати до пяти, и никаких «если», «а» или «но». Чувства не допускаются, они тут ни при чем. Наверно, среди других инспекторов есть мягкие люди вроде меня. Но они выбирают самый легкий путь: видят, что человек работает плохо, но ставят ему средний уровень. И через полгода он получает прибавку. А если докладываешь, что он не соответствует, то никаких прибавок, и его вообще уволят. А потому все предпочитают наилегчайший выход и ставят ему «средний уровень». Так спокойнее. Но я чувствовал, что выбора нет: надо писать о человеке правду, потому что рано или поздно все так или иначе выяснится и ему же будет хуже. Для меня люди — это люди, и каждый человек — личность. Но при исполнении служебных обязанностей полагается выбрасывать это из головы.

В небольших фирмах обходятся без этого. Никаких оценок там не требуется. Все и так всех знают. А в более крупных фирмах люди превращаются в пешек. Большие корпорации имеют тенденцию расти, так что люди будут значить все меньше и меньше. Человек уже ничто. Большие корпорации ценят только доллары.

В этом конкретном случае ее можно было бы перевести в какой-нибудь филиал, где нет такой гонки. Куда-нибудь, где бы она могла не опасаться увольнения, не опасаться, что за ней следит кто-то вроде меня. Дайте ей работу по способностям, так, чтобы она могла работать в полную силу, но не надрываясь. Зачем переводить ее туда, где требуются молодость и быстрота? Я своей работой не горжусь. Ну, ладно, пусть мне подчиняются двадцать человек. Чем здесь гордиться? Гордиться нужно, когда ты на самом верху, а не еще одна пешка. Пусть ты при этом не находишься на самой нижней ступеньке, а выше на одну. Ведь выше тебя еще пятьдесят. Так что никакого престижа эта должность в себе не несет.

А что делает человек наверху? Он председатель правления. Уж не знаю, так ли это приятно — пять тысяч человек у тебя под началом, два миллиарда долларов оборотного капитала и горстка людей, оберегающих эти деньги. Чем они занимаются, пока тебя нет? Нет, я себе даже представить не могу, каково это — быть наверху.

После двух лет армии он некоторое время работал в конторе по продаже недвижимости. «Был управляющим, выяснял, кто из покупателей платежеспособен, кто нет. Район стал заметно хуже, и я решил, что мне следует уйти.

Я не рассчитывал остаться здесь надолго. Думал, проработаю полгода и пойду учиться на дипломированного бухгалтера. Но тут я женился, и пришлось остаться. Сейчас я на перепутье. Я занимаюсь на вечерних курсах, но пока оставил бухгалтерское дело и прочее и взялся за гуманитарные предметы. Хочу проверить, может, какая-нибудь другая профессия мне больше понравится».

Обычно я в восемь часов уже на месте — за полчаса до начала рабочего дня. Готовлюсь, пишу программы, распределяю задания. Когда приходят сотрудники, мы их пересчитываем. Смотрим, кто опоздал, а кто нет. Проверяем, приступают ли они к работе точно в восемь тридцать или уходят в туалет и пятнадцать минут пудрят там нос. Проверяем, не растягивают ли пятнадцатиминутный перерыв до двадцати минут. Проверяем, обедают ли действительно сорок пять минут, а не час. И не ведут ли личных разговоров по банковским телефонам — это запрещено. Только и делаешь, что следишь за людьми и проверяешь. И так весь день.

Работа очень скучная. По-настоящему монотонная. Я не замечаю, как идет время. Меня оно не интересует. Увижу, что кто-то прибирает свой стол, и только тогда соображу, что уже пять. В пять я ухожу на курсы. И так постоянно. Ничего хоть сколько-нибудь интересного не случается.

Только одно: следи и следи за людьми. Точно ты на фабрике, где работают роботы. Твоя обязанность — проверять, чтобы машины работали непрерывно. Если они ломаются или что-то не ладится, твое дело — снова все наладить. Ты словно мастер на конвейере: сломаются — замени. Ты словно человек, который весь день напролет следит и следит за компьютером. Никакой разницы.

Словно старший брат с тебя глаз не спускает. Все за кем-то следят. Когда повернешься и начинаешь за ними следить, выходит очень смешно. Я это часто делаю. Они знают, что я за ними слежу. И тревожатся. (Смеется.)

С человеком надо обращаться по-человечески, а не как с машиной ценой в миллион долларов. Только с людьми обходятся

куда хуже, чем с компьютерами. От больших корпораций меня мутит. Это я понял, только когда меня назначили инспектором и мне стало ясно, в какие игры мы играем. Пока ты счетовод, тебе не из-за чего волноваться. Делай свою работу, и все. Приходи вовремя и уходи вовремя. Занимайся своей работой, и дело с концом.

Я тут навсегда не останусь. Работать в банке неинтересно. Я не мчусь домой поделиться радостью: «Мама, я работаю в банке! Чудесно, а?» Я все еще ищу. Тут, правда, я на одном месте не сижу. Вот уж что совсем не по мне, так это сидеть за письменным столом. И может, я найду себе такую работу, чтобы всегда быть в движении. Скажем, стану коммивояжером...

Довольно много людей задерживается после работы. Каждый день, когда я ухожу, я вижу таких. (Смеется.) Сам я устроен иначе. Эти все принадлежат к старшему поколению. И задерживаются, чтобы проверить, не осталось ли что-нибудь недоделанным. Это мне непонятно. Люди постарше способны вкладывать себя в работу целиком, у молодежи этого нет. Я что-то не могу себе представить, чтобы вернулось время, когда человек, начав где-нибудь работать, так и оставался бы там на всю жизнь. Я просто не представляю, чтобы человек прослужил в одной фирме сорок лет. Это все в прошлом.

Ведь можно поступить на трехгодичные курсы и переменить профессию, как только тебе заблагорассудится. Скажем, он счетовод и весь день корпит над бумагами. Но по вечерам он ходит на курсы программистов. Ну, и перейдет в другую фирму, где ему будут платить больше. А люди старшего поколения чуть ли не все удовлетворены своей работой и ничего другого искать не хотят.

Я поклялся, что до язвы желудка доводить себя не стану. Никакие деньги этого не стоят. Но из-за этой женщины у меня на душе было по-настоящему неспокойно. Такая приятная, тихая. Но я же обязан был это сделать — так я ей и сказал. Я объяснил, что ее все время тащили другие люди, дотягивали ее до средней оценки. Она сидела через два стола от меня, и я ей часто помогал. На прибавку ей все равно рассчитывать было нечего. По-моему, она мне была благодарна за откровенность.

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ

(В «Иностранной литературе» — кубинские писатели Мануэль Кофиньо Лопес и Густаво Эгурен)

Нам было особенно приятно приветствовать кубинских писателей не только потому, что они наши друзья, но и потому, что их произведения в переводе на русский впервые увидели свет на страницах «Иностранной литературы», встретив очень теплый прием у наших читателей. Романом Мануэля Кофиньо Лопеса «Последняя женщина и близкий бой» мы открыли первый номер журнала за 1973 год, а повесть Густаво Эгурена «Тени на белой стене» была напечатана в первом номере следующего года. Оба произведения, талантливо написанные, не могли не привлечь внимания, и не случайно, например, текст опубликованного в нашем журнале перевода романа «Последняя женщина и близкий бой» был переиздан двумя московскими издательствами, общий тираж его составил более двух миллионов экземпляров и быстро разошелся.

Можно добавить — и это тоже важно,— что оба писателя представляют собой новое поколение кубинской литературы, успешно расцветающей в первой социалистической стране западного полушария, отмечающей в январе этого года XVII годовщину победы революции. Примечательно, что литературная деятельность обоих писателей началась уже после победы кубинской революции.

Как известно, «Последняя женщина и близкий бой» — это первый роман Кофиньо Лопеса, это и первое крупное произведение о строительстве социализма на Кубе.

Наша беседа касается романа Мануэля Кофиньо Лопеса. Он рассказывает, как у него возник замысел этого произведения:

— Как-то мне довелось побывать в служебной командировке в провинции Пинар дель Рио, где требовалось восстановить и реорганизовать большое лесное хозяйство, во главе которого до этого находились люди, далекие от идей нашей революции. К руководству его пришли новые работники, наши товарищи, которым досталось тяжелое «наследие» от тех, кого революционные власти разоблачили, сняли с постов. Как в капле воды, здесь отразились те гигантские сдвиги, которые переживала, да и переживает вся наша республика. Шла напряженная борьба нового со старым, прошлым, борьба революционных сил против последышей реакции и носителей консерватизма, а то и агентов империализма. Меня увлекло все, что увидел своими глазами. Я не только работал наравне со всеми, но и наблюдал, изучал, старался проникнуть вглубь проблем, вглубь обнаружившихся противоречий. Для меня, жителя Гаваны, новым оказался весь тот мир, в который довелось окунуться,— своеобразный мир нашего крестьянства, где и поныне сильны суеверия, старые традиции. После долгих размышлений я решил попробовать свои силы — рассказать в художественной форме о том, чему сам явился свидетелем, что мне стало известно от друзей, от товарищей по совместной работе. Персонажи романа нельзя воспринимать как портреты каких-то конкретных лиц, это — художественные собирательные образы.

Как вы знаете, в романе представлены, например, три женских характера — Нати, Клаудиа и Мерседес. По существу, Нати — символический персонаж. Я изобразил искалеченную прошлым женщину, внутренне

опустошенную, жертву старого, буржуазного общества, претерпевшую насилие, издевательства, унижения. Клаудиа — тоже немало выстрадавшая в своей жизни женщина — это продукт отсталости, нищеты старой деревни. Она выживает, потому что еще находит в себе какие-то силы, чтобы встать на правильный путь. Можно, пожалуй, сказать, что в образе Клаудии нашел свое выражение некий «промежуточный» типаж — между старой Кубой и Кубой революционной. Таких женщин, как Нати, уже не отыскать на Кубе, но Клаудии еще есть. Процесс формирования нового сознания — медленный процесс. А вот третья женщина — Мерседес — рождена революцией, ее не покалечило, не заклеймило старое общество, собственно, она — символ настоящего, устремленного в будущее. Можно сказать, что эти три женщины представляют собой три мира.

— В романе также выведены те, кто сомневается, кто не приемлет перемены в общественной и экономической жизни страны, выведены и контрреволюционные элементы. Основой для создания этих образов послужили определенные реальные личности?

— Да, но это не копии с живых людей, а их литературные портреты. Мир прошлого представлен образами Алехандро Ла О, Сиако, Куэто, Бебе и его сообщников. К вчерашнему дню, пожалуй, можно отнести и Миле, и Давидов, которые либо проявили полную неспособность выполнять порученное революцией дело, либо шли на преступные действия, выгодные нашим врагам. Конечно, наше будущее не с ними, мы их вычеркиваем, кое-кого давно уже вычеркнули из нашей жизни.

С большим и радостным чувством я вспоминаю тех товарищей, которые помогли мне создать образы строителей новой Кубы: Бруно — коммуниста, бывшего партизана, позднее — капитана Повстанческой армии Фиделя Кастро, его друзей — Луиса, Серхио, Пабло, а также Хорхе, молодого лесовода, получившего образование в Советском Союзе. Я показал и крестьян, постепенно включающихся в социалистическое строительство...

Прошло уже немало времени после публикации в журнале романа «Последняя женщина и близкий бой», а в ходе нашей беседы как бы всплывали в памяти персонажи этого романа, настолько сочно, ярко, выпукло, настолько жизненно они выписаны автором. Роман этот явился несомненной удачей молодого писателя.

А в руках Мануэля Кофиньо Лопеса новый роман — «Когда кровь похожа на пламя».

— Касается ли новое произведение тех проблем, которые были подняты в предыдущем романе — «Последняя женщина и близкий бой»?

— И да, и нет,— отвечает писатель.— Да, потому что меня по-прежнему интересует проблема трансформации сознания под воздействием революционных идей, под влиянием коренных перемен, происходящих в жизни Кубы. Нет — потому что в моем новом романе выступают другие герои, другие персонажи, воссоздается иная среда, иная обстановка.

Главный персонаж моего романа «Когда кровь похожа на пламя» — молодой мулат. Он родился в семье грузчика, еще в дореволюционной Гаване. В поисках счастья становится... «колдуном» — ньяниго в тайной секте абакуá, объединяющей кубинских негров и мулатов, преимущественно бедняков. Мулат искренне верит поначалу в древних богов своих африканских предков и в то же время постепенно втягивается в подпольную борьбу против реакционной диктатуры Батисты. После победы нашей революции герой романа, Кристино Мора Аргудин, переживает своего рода духовный кризис: его революционный энтузиазм сталкивается с его религиозностью. Наконец наступает момент, когда он расстается с древними божествами и все свои силы отдает делу революции. Основная мысль романа: чего не могли достичь боги, сделал человек. Человек и только человек смог завоевать себе свободу, счастливую жизнь.

Далее Мануэль Кофиньо Лопес сказал:

— Почему я написал такой роман? Еще на первом конгрессе работников просвещения Кубы в 1971 году был поднят вопрос об изучении национального фольклора кубинских негров и мулатов. Это очень важный, но малоизученный вопрос. А ведь из фольклора берет начало народная культура, которая играла важную роль в национально-освободительном движении, в борьбе против колонизаторов и рабовладельцев раньше, позднее — против эксплуататоров. На страницах романа я пытаюсь показать пантеон богов угнетенных, конечно, в опоэтизированной форме. Вместе с тем я хочу показать, как революция, прогрессивные идеи преобразуют сознание народных масс. Мне хорошо знаком духовный мир наших негров и мулатов: я жил и живу в пролетарском районе Гаваны — в Регле, тут на месте я изучал фольклор. Кстати, наша Регла знаменита не только тем, что здесь сохранились древние культы наших негров и мулатов. В январе 1924 года тогдашний алькальд Реглы — Бош, бросая вызов существовавшему в стране режиму, в знак скорби о кончине Владимира Ильича Ленина объявил день траура, посадил в честь великого вождя оливковое дерево, и инициатива алькальда была поддержана всеми бедняками, жителями Реглы...

С новой своей книгой познакомил нас и Густаво Эгурен. В небольших новеллах, составляющих книгу «Ящерицы сыра не едят», автор рассказывает — то с едкой иронией, то с добрым юмором, но всякий раз с чувством душевной теплоты к обездоленным — о последних днях существования буржуазного общества на Кубе. В его новеллах комические нотки порой сменяются изобличительным тоном, когда он пишет о господстве социальной несправедливости в том мире, с которым навсегда покончено на острове Свободы.

В. Д.

Среди книг

Издано в СССР

ЖЕЛАЯ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ И ПОНЯТЬ СТРАНУ...

Современная венгерская пьеса. Переводы с венгерского под редакцией Б. Гейгера. Послесловие Миклоша Алмаши. Москва, «Искусство», 1974.

Желая лучше узнать и понять страну, мы обращаемся к ее писателям. А чтобы лучше постичь писателя, полезно увидеть его страну.

У меня не идет из памяти Будапешт, его столичное величие, его улицы и улочки, его соборы и новостройки, простор Дуная, музейность Буды, свободная энергия его вечерней толпы, уют кофеен и маленьких театральных залов, будапештский шик и достоинство, самоирония и юмор,— огромный город создан, сохранен и украшен, погружен в атмосферу любви к нему его жителей, его детей, всего народа. Внешние впечатления углублялись от встреч с людьми. Разговоры, разговоры! О политике и искусстве, о художниках и режиссерах, о книгах и театре.

Естественно, я как драматург в первую очередь интересовался венгерской драматургией. Есть ли новые пьесы? Какие? Что репетируется? Из чего складывается репертуар?

Захотелось побольше узнать о венгерской драматургии вообще. И тут мне повезло. Вернувшись в Москву, я нашел только что изданный у нас большой том «Современной венгерской пьесы». Понятно, с каким интересом я открыл его. А закрыл с удивлением и радостью. И еще со смущением, с чувством неловкости оттого, что не знал прежде творчества Эндре Фейеша, Имре Добози, Эндре Иллеша и некоторых других венгерских писателей.

Мне хочется рассказать о пьесах этого сборника, поделиться впечатлением и теми мыслями, которые вызвало их чтение. Я словно свернул с ярких будапештских улиц в один двор, в другой, вошел в подъезды, в квартиры, я будто остановился с одним прохожим, с другим, с третьим и узнал все про их долгую жизнь. Виденье города отступило перед судьбами его обитателей.

Начну с интересной пьесы Имре Добози «Пришла весна», которую можно сравнить с советской пьесой «Восхождение на Фудзияму» Ч. Айтматова и К. Мухамеджанова. Как и в «Фудзияме», в драме Добози встречаются через много лет бывшие друзья, однополчане, чтобы возложить венок на могилу погибших когда-то, уже в последние дни войны, своих товарищей. Оказывается, мало отдать дань памяти погибшим, оказывается, и через много лет живым важно выяснить, как те погибли, кто виноват, что пали в бессмысленном бою венгерские солдаты, когда Советская Армия уже гнала фашистов с венгерской земли. Имре Добози написал слож-

ную захватывающую пьесу, в которой герои, перебивая и поправляя друг друга, сегодня пытаются воспроизвести то, что было с ними вчера. Верность, трусость, предательство, честь и долг, необходимость и свобода выбора — вот те категории, которыми оперирует автор. Но главное — истина, истина! Надо отыскать истину, как оно все было на самом деле, чтобы правые не оказались виновными, а виновные не жили со спящей совестью. Дело не в мести или запоздалом наказании, а в том, чтобы очиститься, наконец, от многолетней и многослойной лжи.

Преданный когда-то товарищами солдат Бодаки, которого все считали погибшим, является среди них как сама совесть, как истина, как свидетель низости одних и мужества других. Правда все равно выплывет, как бы говорит автор, поэтому живите по совести.

Всем, вероятно, памятно начало того периода в драматургии (и в мировой в том числе), когда модной и острой стала пьеса-иносказание, пьеса-притча, как правило, положенная на мифологический сюжет. Есть такая пьеса и в арсенале венгерской драматургии, что лишний раз подтверждает ее способность актуально и по-новому решать те или иные вопросы времени. Я говорю о пьесе Ласло Дюрко «Моя любовь Электра». Взяв старинный сюжет об Электре-Истине, которая одна противостоит лживой и циничной морали Эгиста-тирана, Дюрко развивает его в историю острую и даже острополитическую. И здесь писатель ищет правду, правду жизни, а не максимализм догмы. Когда является Орест и побеждает Эгиста, когда Электра-Истина торжествует и поучительной истории, казалось бы, приходит конец, пьеса обретает новый поворот: Электра требует наказания для *всех*, считая, что все виновны, поскольку позволили Эгисту быть Эгистом. Но Орест отвечает: «Электра, нужно жить. Во что превратятся люди, если я на каждом вытравлю клеймо?» — «А, по-твоему, они распрямятся,— говорит Электра,— если будут жить, словно ничего не случилось?..» — «Не суди строго тех, кому нож был приставлен к горлу»,— снова возражает Орест. Электра не уступает, она полна злобы и мщения. Она последовательна, но ее максимализм подобен деспотизму Эгиста. Месть грозит переполнить город страхом и кровью. Истина-Догма слепнет и вешает ложь. И тогда Орест убивает Электру. Во имя продолжения жизни. Во имя новой, конкретной правды.

Казалось бы, какие разные концепции у Добози и Дюрко! Но мне думается, мы встречаемся здесь с одним из тех вопросов, которые имеют развитие во времени: порою люди остаются в плену истины, которая давно вытеснена жизнью и превратилась в догму. Разумеется, речь не идет о непреложных нравственных заповедях,— как раз на них-то и основываются оба автора.

Составители сборника, мне кажется, точно и продуманно отобрали пьесы для этого издания. Каждая в отдельности отражает тот или иной исторический период или момент новой, послевоенной эпохи страны, а все вместе они передают дух времени, ту великую борьбу, которую вели одни, и ту не менее великую духовную перестройку, которую пришлось совершить другим.

Во всех предложенных издателями пьесах нетрудно выделить одного героя — Героя времени, человека честного, борющегося во имя справедливости или страдающего и гибнущего во имя ее, как, например, почти легендарный солдат Бодаки из пьесы «Пришла весна». Но чаще — это реальный герой, человек двадцатого века, в своем пиджаке и галстуке, выходящий из своей квартиры и попадающий сразу в гудящий смерч времени.

В музыкальной трагедии «Три ночи одной любви» Миклоша Хубаи — это лирический поэт Балинт и его жена Юлия, которые гибнут от руки фашистов, но не уступают жестокости мира ничего: ни чести, ни любви, ни той Истины, в которую они верят. В «Пропасти» Йожефа Дарваша — это Учитель, который отказывается от благополучия, от личного счастья во имя тех идеалов, которые составляют суть его жизни.

Как известно, порою быть героем на войне или в период других общественных катаклизмов легче, нежели в быту, в повседневности. Бывает, что бывший воин-герой не решается поднять руку на профсоюзном собрании или не в силах признаться жене в маленькой подлой измене. Быть человеком *всегда* много труднее, чем в момент испытания.

Как ни странно, но легко заметить, как героем «мирной», так сказать, психологической драмы становится женщина. Словно бы мужчины больше подвержены коррозии повседневности, и страсти их словно бы вянут в размеренности однообразного существования.

Эндре Иллеш в драме «Кто не имеет мужества любить» рисует современную героиню и ее мужа Тамаша Шолтэса, преуспевающего инженера. Шолтэс все время прав, Шолтэс логичен, Шолтэс пришел к выводу, что невозможно помочь всем. Он говорит открыто: «Если я действительно стану принимать близко к сердцу людские судьбы, мировые события, всю ту уйму бед, зла и мерзости, невольным свидетелем которых нам ежедневно приходится быть... если начну шуметь, кричать, предъявлять претензии... тогда... рано или поздно мне свернут шею».

Что ж, в самом деле, разве жизнь не дает людям подобных уроков? Но отчего же тогда так страдает Ева, которая любит мужа и идет на все, вплоть до развода, чтобы хоть как-то разбудить его, разрушить механическое бездушие его логики? Эндре Иллеш написал жестокую пьесу: ни жена, ни друзья, ни провал на работе, где Шолтэс всегда был на хорошем счету,— ничто,

к сожалению, не может исправить Шолтэса: он останется таким, как он есть, хотя теперь и без маски респектабельности. И вместе с автором нас охватывает тревога: вот он, современный мещанин, вот как глубоко может поразить душу отсутствие души.

Так же, как в пьесе Иллеша, в другой драме — «Большая семья», написанной замечательным венгерским писателем и драматургом Ласло Неметом, разрушительной тенденции зла противостоит женщина, Ката, мать двоих взрослых детей, научный работник, педагог, человек чистой и доброй души. От Каты уходит муж, дети погружены в свои, малопонятные Кате интересы, она сама словно бы на распутье: кажется, что отчуждение, взаимное непонимание ставит под сомнение саму необходимость существования семьи. Однако человеческие, идейные и моральные, а не просто родственные связи оказываются сильнее, чем это может показаться на первый взгляд, а душевное здоровье и чистота Каты, ее вера в людей — выше разлада и распада. Реалистическая драма Немета, как в капле воды, отражает будни и быт современной венгерской семьи. Да и только ли венгерской? Как и в других пьесах, о которых я говорил, здесь так много похожего, например, и на наши проблемы, на наших героев и героинь.

Заговорив о подлинно реалистической драме, я не могу не остановиться на интересной, на мой взгляд, пьесе Эндре Фейеша «Кладбище ржавчины». Бывают пьесы однолинейные, двухлинейные, а бывают такие, как эта, где — если уж сравнивать с линиями — столько путей, сколько на большом железнодорожном узле, и все они связаны стрелками, огнями, единым воздухом. Бьется испокон веку, как-то существует, борется за жизнь большая семья Хабетлеров, полунищих тружеников, и живут вокруг них и с ними другие люди, кто побогаче, а кто еще и победнее, и плодят они детей, и дети вырастают, уходя каждый своим путем, но все равно все пути идут отсюда, от Хабетлера-старшего, беспутного, хотя и симпатичного главы рода, и от его жены Марии Пек. Мария — это удивительно сильно написанный женский образ, сложный, неприятный и в то же время привлекательный, полный и добра и зла, но главное — полный жестокой человеческой правды и жизни — такой, как она есть. Эндре Фейеш с беспощадностью рисует пороки и запутанные судьбы своих героев (пьеса охватывает более полувека), но он говорит о людях и даже о тех, кто низко пал, он хочет сказать все, как бы помня, что все в человеке заслуживает внимания. Читая пьесу, видишь влияние и Достоевского, и Фолкнера — видишь широту ее плана, глубину и достоверность характеров.

Мне осталось сказать еще о трех пьесах — поскольку хочется все-таки упомянуть каждую из помещенных в сборнике. Две из них широко известны советскому зрителю, и особенно московскому. Это пьеса Иштвана Эркеня «Гоот и другие», злая сатирическая антифашистская комедия, талантливо и остро сыгранная в московском театре «Современник», и остроумная, превосходно написанная «Лазейка» Миклоша Дярфаша с обаятельными женскими образами Каролы, Мари и тети Тони — эта пьеса с большим успехом идет в московском театре Сатиры под названием «Проснись и пой!».

Чем-то близка к этим комедиям и трагикомедия Эндре Веси «Последнее приключение Дон-Кихота»,— произведение едкое, насмешливое, где действует Дон-Кихот подлинный и Дон-Кихот мнимый, но все-таки нет Дон-Кихота настоящего,— эта пьеса весела, изящна, театральна, и вместе с тем она тоже немало говорит нам о нашем времени, о переменах и о непреходящих ценностях.

Итак, мы познакомились с десятью венгерскими пьесами, которые, как мне кажется, дают достаточно полную картину достижений и, главное, возможностей современной венгерской драматургии. Это сильная драматургия, честная, ищущая, человечная, обладающая высоким профессиональным уровнем.

Остается только поблагодарить издателей сборника и переводчиков за это серьезное и своевременное издание.

МИХАИЛ РОЩИН

НАШ ДРУГ ИЗ КАЗАНЛЫКА

Чудомир. От дела не отрывать! Рассказы. Перевод с болгарского Н. Попова. Предисловие Г. Чернейко. Москва, «Художественная литература», 1974.

Во время первой моей поездки в Болгарию в 1965 году я услышал песенное слово хлебниковского звучания: «Чудомир». При этом слове, оказавшемся именем писателя, все болгары улыбались.

Димитр Чорбаджийский, пожелавший назваться Чудомиром,— это один из творцов болгарского юмора, сатиры, рассказчик из народа, умелец и волшебник.

Мне передавали его шутки и обещали повезти к нему, жившему в Долине Роз, в Казанлыке, наибольшей достопримечательностью которого является не столько знаменитейшая древняя гробница, где похоронен неизвестный фракийский вождь, сколько добрый насмешник Чудомир.

В 1967 году я вторично отправился в Болгарию, мечтая встретиться с Чудомиром. Приехав, я увидел, что при этом имени уже никто не улыбается. Все были удручены. Чудомир умер.

Незадолго до смерти он сделал в своей последней, больничной, тетради несколько записей. Чудомир знал, что обречен, но продолжал подтрунивать над несовершенством бытия.

Записи Чудомира напечатаны ныне под названием «Заметки в больнице». Если пе-

ревести буквально слово «драсканици», то получится не столько даже «заметки», сколько «царапины», «каракули», в разговоре: «писанина». Итак, «больничные царапины», «больничные каракули».

В одной из них читаем:

«Когда я почувствовал себя немного лучше, я пошел в больничную библиотеку и говорю: «Дайте мне почитать что-нибудь веселое». Библиотекарша, меня не знавшая, дала мне сборник моих рассказов.

— Этот автор,— говорю,— на меня не действует, он не может меня рассмешить».

Эта печальная ирония, адресованная самому себе, с головой выдает писателя, не привыкшего ни к самообольщению, ни к иллюзиям по поводу окружающего. Око сатирика привыкло все и вся выводить на чистую воду. Илистые и камышовые заросли житейских вод он раздвигал без оглядки и решительно и тем самым завоевывал признание болгар.

Листая книги Чудомира, болгарин веселеет. Наконец и русский читатель получил долгожданное собрание рассказов Чудомира «От дела не отрывать!» в убедительном переводе Н. Попова. Книга предварена содержательным вступлением Г. Чернейко и снабжена прекрасно воспроизведенными рисунками автора.

Знакомя соотечественников с писателем, мы зачастую торопимся найти аналогии для него в своей литературе. Иноземный сатирик? Кому же он всего ближе — Фонвизину, Гоголю, Щедрину, Зощенко, Ильфу и Петрову? А если взять литературу Европы и Америки — Джерому К. Джерому, Марку Твену, Чапеку, Гашеку? Я не буду подыскивать такого рода аналогии для Чудомира. Бесполезно. Он целиком вырос на болгарской почве. Его корни в родном Казанлыке, его герои — соседи и земляки, жившие рядом с писателем. Все эти забавные скупцы, попрошайки, чиновники, ремесленники, мелкие торговцы, солдафоны, садоводы, учителя-пенсионеры, сплетницы, духовные лица, лентяи, сваты, судьи, лжецы, распутники, подхалимы, обжоры витийствуют, скабрезничают, богохульствуют, вещают и просто рассказывают о себе и о своих друзьях и недругах на страницах рассказов Чудомира. Они коротки, эти рассказы — на один читательский глоток, на одну понюшку табака, на один перекур, на один зубок, на одну минуточку. Они коротки, но из их множества, из их живой цепочки складывается целая казанлыкская галерея. Написанные смачно, колоритно, вкусно, эти рассказы снабжены еще и красочными рисунками автора. Таким образом, перед читателем проходит двуединая в своей образной сути — литературная и живописная — галерея.

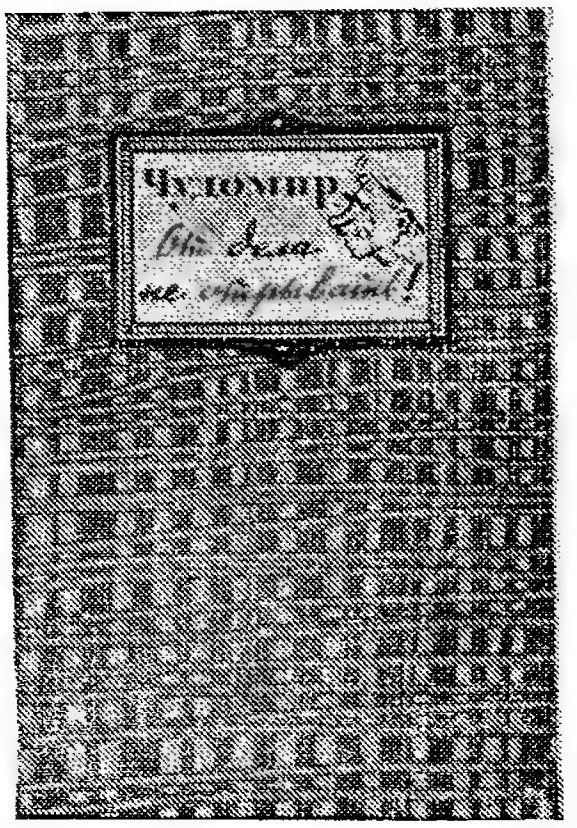
Стараясь удержать себя от литературных аналогий, я все же не избегну не только соблазнительной, но и верной по смыслу аналогии с галереей героев и типов рассказчика, явленной нам Рудым Панько. Сам человек из народа, гоголевский рассказчик насыщен, нет, перенасыщен таким количеством бытующих в народе сюжетов, типов, характеров, словечек, что ему невозможно уже более держать их при себе. И он рассказывает. И этот сказовый дед-балагур Рудый Панько из глубины прошлого века с украинской земли подмигивает Чудомиру, живущему в знаменитой Долине Роз. Лукавый и наивно-добродушный пасечник-хуторянин Рудый Панько имел куда меньше общего с реальной жизнью Гоголя, чем незримый рассказчик историй Чудомира с обликом его создателя. Рудый Панько — выдумщик-романтик, Чудомир же прежде всего — бытописатель сатирического склада.

У Чудомира есть сатирические рассказы и краеведческо-географические очерки о Казанлыкском крае. Определить тип рассказа, созданного Чудомиром, трудно, да и нет в этом необходимости. Фельетоны? Новеллы? Сказы? В каждом отдельном случае акцент ставится то на первом, то на втором, то на третьем.

Если рассказ «Наш Пондю» с его образом учителя ближе всего к фельетону, то «Косун» с главными героями Саби и Нено— сатирическая новелла, а «Не из тех я» — сказ, ведущийся, как положено, от первого лица. Впрочем, жанровые границы между фельетоном, новеллой и сказом у Чудомира размыты, он создал свой особый жанр, лишь условно именуемый рассказом.

Этот рассказ невелик — 4-6 книжных страниц среднего формата. Размер диктовался обстоятельствами. Автор о них сообщает в свойственной ему манере. Он говорит, что эти рассказы выходили в качестве подвалов в одной столичной газете. Теснота, царившая в нижних этажах газеты, не дала возможности расшириться. Они остались «маленькими и недоразвитыми», сообщает Чудомир.

«Говорят, что народы как дети — они не любят, когда им читают мораль, а хотят дойти до истины развлекаясь»,— замечает писатель. Он нигде и никогда не делает выводы, не поучает читателя, он вместе



с ним, развлекаясь, идет к истине. От рассказа к рассказу видишь, как писатель сквозь внешнее — никчемное, смешное, безотрадное — идет к сути.

Первые шаги в литературе восемнадцатилетнего Чудомира были сделаны в 1908 году. Это стихи и стихотворные переводы. Но «писательский недуг» длился недолго. Увлечение поэзией сменилось увлечением живописью, карикатурами. Чудомир поступает в Софийскую академию художеств. После ее окончания он долго работает учителем рисования и редактором газеты в Казанлыке.

В 1933 году Чудомир снова берется за перо. В газете «Зора» появляются его рассказы. Выходит первая книга, за ней — новые. Чудомир писал энергично, горячо, самозабвенно. Он называл это «приступом болезни», которая приходила, потом отпускала, потом вовсе ушла. В 1947 году в Болгарии вышло первое «Избранное» произведений Чудомира, много раз переиздававшееся и встречавшее любовь и понимание читателя.

Этот читатель легко узнавал атмосферу старой болгарской провинции и старых своих знакомых, всех этих Дудунов, Саби, Калцуневых, Папунчевых, Нешо, Дечо, Эню, Дяко, этих Цеца, Пеца и Меца. Писатель подтрунивал над ними, издевался. Но подчас иной читатель, узнавая прототипы рассказов Чудомира, выражал неудовольствие: как посмел этот житель Казанлыка предать сие бумаге! Сам писатель говорит об этом: «Сплетницы, к примеру, сразу немели, стоило мне пройти мимо них, почти коллективно отправлялись к околийскому начальнику с жалобой на меня и даже посылали заявление в синод с просьбой предать меня анафеме...»

Я высоко ценю габровский юмор, он справедливо завоевал внимание читателей мира. Хотя Чудомир — габровский сосед, но в его сатирическом письме есть черты, отличающие новеллистическую галерею казанлыкских типов от нескончаемой цепочки анекдотов о скупцах. Чудомир — это особое, ироническое, исполненное ума и достоинства выражение лица болгарина. Это едва заметное шевеление губ, уголков губ, вспыхивающие в глазах огоньки понимания и сочувствия. Да, конечно, сочувствия. Улыбка уничижительная и сочувствующая. Герои Чудомира смешны, они не боятся быть смешными, они чудят, валяют дурака, подчас шутят над собой, но не чужды откровенности и сильных чувств.

Он тонкий жанрист, этот Чудомир. Сценки из народной жизни полны экспрессии, их можно воспроизвести на сцене и в кино. Каждая сценка построена по особым, одной ей присущим законам. Но она непременно лаконична и подвижна. Какой это мог бы быть спектакль! Но это и есть спектакль на сцене книги. Он лукав, этот автор. И его авторский «подвох» выясняется только к концу новеллы, хотя он это никогда не делает специально.

Городскому голове сообщили, что в пять часов через город проедут трое министров. Надо принять меры. Зовут барабанщика Станчо. Он должен появиться в нескольких местах и оповестить о приезде министров. Рапортует и в бумажку глядит. У него девять пунктов для разгласки. Но министры уже давно проехали, говорят все Станчо. Он неумолим. Ему поручили — он выполняет «девять пунтов». А министры уже на подступах к столице.

Вот эти «пунты» известны читателю уже к середине рассказа, но от этого его внимание не ослабевает. Рассказ держится не столько на сюжете, сколько на образе героя и на интонации.

Словесная живопись Чудомира скупа, но подчас одной детали достаточно, чтобы образ остался в памяти. Ох уж эта мадам Гоца, которая храпит «мерно и звучно, но октавой выше мужа»! Эти зубы Дечко, которые «на солнце блестят, как охотничий патронташ». Эти крыши городка, которые припорошил снег и они «стали похожи на ветряные мельницы».

Я слышу живую речь людей на улицах и в домах городка. Все движется, трепещет, все не столько напоминает жизнь, сколько дает ощущение ее самой, прикосновение к ней. Это ощущение, это прикосновение и есть искусство.

Прежде чем высмеять, Чудомир дает себе труд понять человека. Им руководила любовь к простому люду, знание обстоятельств жизни, уважение к судьбе человека. Об этом говорит Веселин Андреев в своем очерке о писателе: «Все, что делал Чудомир, было любовью к людям».

Он и нас, рассмешив, заставляет задуматься, даже взгрустнуть и, конечно, полюбить всех этих людей. Изображая их, Чудомир дает им возможность выговориться, выболтаться в одиночку, в беседе с другим человеком. И что весьма характерно для интонации Чудомира, он вовлекает в эту беседу и нас, читателей, будто мы сидим с ним и его героями за одним столом в том же прекрасном Казанлыке.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

«ЖИТЬ РАДИ ПРАВДЫ...»

Молодые поэты Турции. Стихи современных турецких поэтов. Составитель и автор предисловия Радий Фиш. Москва, «Молодая гвардия», 1974.

В этой книге очень много детей — от младенцев в люльке до подростков. Если собрать их всех вместе, получится не благополучный интернат, не находящийся под призрением государства детский дом, а скорее филиал концлагеря, где один «младенец грязью захлебнулся, другого черный клещ убил», где — «алчущий хлеба трахомный ребенок, готовый глотать и землю и небо», где рыжеволосый Юнус из-под Сиваса, согнанный с дерева, приютившего его на ночь, и маль-

чонка из-под Токата по прозвищу Мартышка, пойманный в корабельной трубе и лишившийся левого глаза, где, наконец, «тринадцатилетние девчонки», которые

входят испуганно в брачные комнаты,
тесные, как конуры.
Крики девчонок слышат соседи,
а мужья ничего не слышат.

(Али Юдже. «Матери и сыновья». Перевод Т. Кузовлевой)

Почему молодые турецкие поэты так охотно, так страстно пишут о детях, о детстве? Да потому, наверно, что сами недавно вышли из детства, что там остались их младшие братья, сестры и «прочая ребятня», чье обобщенное имя — завтрашний день страны.

Скажу сразу, что стихи, представленные в книге, не равноценны. Вряд ли стоило включать в нее такие, давно ставшие общим местом сентенции, как: «Любви достоин лишь тот, кто ей себя приносит в жертву и, жизнь отдав, свободу отстоит», даже если такого рода прописи выражают главную идею книги.

Куда больше уму и сердцу читателя говорят картины жизни, подаваемые или бесхитростно, в лоб, или легко угадываемые за какой-либо суперсовременной ширмой, вроде нижеследующего «Интервью с инопланетянами» Али Юджеля:

Как у вас там с демократией?
Долгие ли у вас там ночи?
По скольку комнат у вас на каждом
этаже?
А вы — в подвале или выше?
А вы, сестрица, отдельно ли живете
или вместе с козами?

(Перевод Н. Гребельной)

Интересно проследить за работой самого механизма усиленной прозаизации стихов. Молодой поэт витает «между небом и птицами», на его рубахе «кусочек солнца». В соответствии с лирическим зачином и его уличные наблюдения: «...идет прекрасная женщина. Прекрасный ребенок. Прекрасное дерево»... Стало быть, «Жизнь — прекрасная штука, браток!»

И тут же, буквально строкой ниже, все резко меняется. Поэт низвергнут в гущу обыденности. Вот он вникает в мрачные мысли героя Национальной войны шофера Халила. Вот устами сортировщицы инжира Хатче подает гневную реплику в адрес американцев. Вот он страдает за родную мать, у которой «за все сорок лет дня счастливого не было...» И отсюда неизбежный вывод — антитеза предыдущего: «Жизнь — поганая штука, браток».

Переделать одним рывком эту несправедливую жизнь, превратить ее в «прекрасную штуку» мечтает не только автор приведенных строк Озкан Мерт,— революционная идея владеет и другими авторами сборника. Пожалуй, подробнее всех, пламенней всех, трогательней всех развил эту идею Атаол Бехрамоглу:

Сегодня я предавался любви, потом шагал
в демонстрации.
Я устал, наступает весна, научиться
оружьем владеть надо
летом.
Книги в груды скопились, отрастает до
плеч шевелюра,
гром тревоги повсюду.
Я молод. Еще. Я хочу видеть мир.
Целоваться прекрасно и думать
прекрасно.

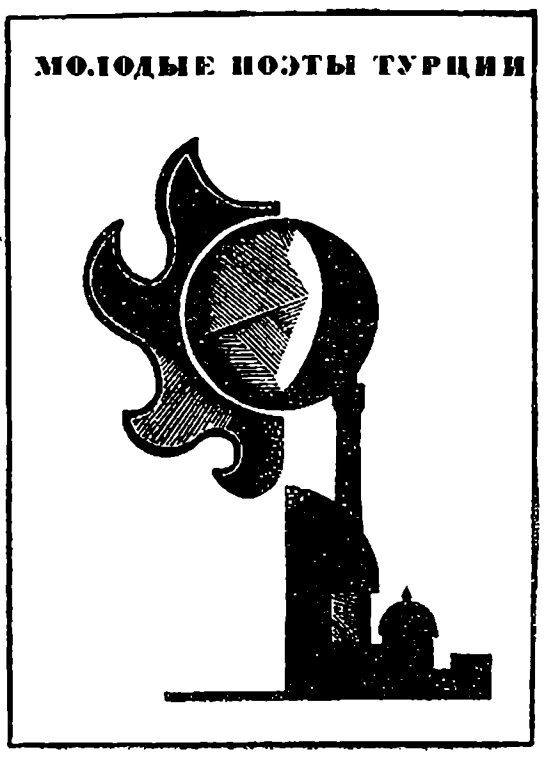
(«Однажды непременно». Перевод Р. Фиша)

Длинное стихотворение Бехрамоглу кажется страницей из студенческого дневника с такими интимными, не относящимися к делу подробностями, как «Любимой моей — восемнадцать. Мы идем по бульвару, едим бутерброд» или: «Проклинаю поэтов-индивидуалистов, иду на рынок за апельсинами»... При всем том автор действительно не чужд революционной идеологии: у него в кармане книжка вьетнамских стихов, он твердит, как заклинание: «Однажды мы победим непременно», в другом своем стихотворении он сочувственно вспоминает Бабефа, Назыма Хикмета, горьковского Данко...

В обстоятельной вступительной статье составитель сборника со знанием дела рассказал о сложной политической обстановке в стране, на определенный лад настроившей поэтическую лиру. Невозможно не проникнуться уважением к молодым сынам Турции, так остро, так самозабвенно реагирующим на язвы и раны своей родины в столь демократичных по сути своей. столь гражданственных даже в стихах о природе, об отцовстве, о любви к женщине. Ведь еще совсем недавно

Любовь была святотатством.
«Хлеба, хлеба и хлеба!» —
пока это было манией, болезненной
страстью детства.
Военных годов свирепство,
доставка женских грудей
в солдатские стойла
и четверть стакана спиртного пойла.
Ни места, ни времени — для рефлексий.

(Сеннур Сезер. «Любить друг друга было святотатством». Перевод Ю. Марц)



Страшные стихи... Но поэт, возлюбивший свою родину, не слепнет от этой любви, не манипулирует розовыми очками. Любовь прибавляет ему зоркости, дерзости. Сюрейя Берфе, подытоживая свои безрадостные впечатления от поездки в деревню, вступает в спор со знаменитым поэтом Орханом Вели — нет, не собираясь почившего в славе поэта сбрасывать с «корабля современности». Конфликт начинающего с мастером не укладывается и в привычные рамки спора детей и отцов. Берфе заявляет, что Орхан Вели для него «поэт непонятный», ибо:

он, закрывая глаза,
пел о Стамбуле с любовью.
Я открываю глаза
в далекой турецкой деревне,
шире глаза открываю...

(«Деревенский дневник». Перевод И. Озеровой)

Широко, честно открытыми глазами смотрят на мир турецкие поэты, чьи стихи собраны под обложкой московского издания.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

Издано за рубежом

КОГДА ПОЭТ ОБРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ НАРОДУ

Alain Bosquet. Le mot peuple. Paris. Les Editeurs Français Reunis, 1974.

«Мне хорошо известно,— сказал однажды Арагон,— как все стремятся отыскать для поэтического ростка место в гербарии, определить, что он напоминает...»

Недавно появившийся новый сборник стихов Алена Боске «Слово народ» вызывает у меня желание не помещать его в гербарий, а взрыхлить землю вокруг ростка, вглядеться в слово, которое подобно зерну поднимается из нее, чтобы как можно полнее слиться с ритмом страны, с биением ее сердца.

Так поднимается голос поэта, того самого поэта, который воспевал когда-то небытие, твердил об абсурдности мира, называл землю царством изгнания, и вот этот поэт, преисполненный братскими чувствами, обращается к людям и говорит с ними на их языке.

Двадцать лет назад Ален Боске писал в книге «Первое завещание»:

Я одинок, я одинок, и бури час настал.
Со мной как будто говорят моих речей
слова.
Ночною тьмою окружен, к планете я
припал.
На севере ли юг? Моя звезда мертва [1].

Сегодня Ален Боске призывает поэтов к единству:

Объединяйтесь —
мы все получаем зарплату у солнца,
мы все едим хлеб ночей,
что добирается долго до открытого рта.
Анонимными станьте,
как этот лес с миллионом дубов,
как этот народ с миллионом имен.
Я подаю вам пример —
беру избитый глагол,
народный напев,
истины прямо с улицы,
слова, которыми первый встречный
легко заглушит мои.

(«Объединение»)

Поэт изменился? Да, но и мир меняется вокруг него. В его родной стране, во Франции, в течение долгих лет, прошедших с той поры, когда поэзия была в авангарде битвы за свободу и объединяла под своими знаменами маки — о чем свидетельствует прекрасная книга Пьера Сегерса «Сопротивление и его поэты»[2],— мурлыканье официального телевидения и подслащенные речи пытались заглушить голос заводского люда, и все эти годы поэзия дремала, погруженная в себя.

Боске говорит об этом в предисловии, открывающем книгу: «Тротуару и трибуне многие поэты предпочитали башню из слоновой кости, даже не башню — потайную комнату, даже не комнату — камин, у которого можно укрыться, даже не камин — подземелье. И все это затем, чтобы свести воедино изображение и отсутствие изображения, истину и отсутствие истины, высказанное и невыразимое, изреченное и неизреченное. Они пользовались языком своего племени и изгоняли из своего творчества само племя...»

Замечу все-таки, что и в эту же самую эпоху были поэты, которые обращались к широким массам и не утрачивали своей связи с ними. Но сколько сарказма и оскорбительных насмешек обрушивали на них остряки и официальные критики.

«Я тоже был,— пишет далее Ален Боске,— поклонником пустоты, возведенной в абсолют... Уверяю вас, у меня были собеседники: комета, окапи, вулкан, пустынный остров, лунный валун. Я говорил с ними, как говорят с пустотой, с порывом ветра, с северным сиянием и, особенно, со снегом, который вместо того, чтобы мягко опускаться вниз, вдруг взлетает к облакам, окрашиваясь в фиолетовый или багровый цвет».

---

[1] Стихи даются в переводе Н. Стрижевской.

[2] Об этой книге см. статью Т. Балашовой «В центре спора — поэзия», «Иностранная литература» № 1, 1975.

Разрыв был велик. Народ не узнавал себя в этой опустошенной поэзии, следующей эстетическим принципам пресловутого С. Беккета: «Называть? Нет, ничто не называемо. Говорить? Нет, ничто не выразимо...»

Ален Боске в стихотворении последних лет пишет:

Я назову безработицей незанятые руки.
Я назову «другом» молчаливый народ.
Я назову «работой» раскрывающийся цветок.
Я назову «несчастьем» пустую мечту.
Я назову реальность ее именами...

(«Правильное название»)

Так поэт вновь обретает своих единомышленников. Он слышит их, и они слышат его.

Сборник называется «Слово народ» — не ссылка ли это на Поля Валери: «Слово народ... может обозначать или некую неразличимую воображаемую сумму индивидуумов, или большее число, противопоставленное меньшему числу личностей, более богатых и культурных...» Но, вероятнее всего, Боске так назвал свою книгу потому, что решил обратиться к неприкрашенно будничному языку мужчин и женщин Франции, и существительное, употребленное им как прилагательное, определяет слово с большей силой, чем обычное прилагательное «народный».

Ален Боске представляет на наш суд песнь, достойную его страны и нашего времени — времени, когда жизнь не окрашена в розовый цвет, но надежда ослепительна.

«Я хотел бы,— говорит он также в своем предисловии,— примирить наконец дань, заплаченную мной одиночеству, с моим чувством вины за пятьдесят лет погружения в себя. Если бы я захотел отвести вас в мои прежние укрепления, я бы заговорил с вами на вашем языке и мы обменялись бы таким образом оружием: моим — только что обретенным, и вашим — твердо опирающимся на сотню сердец, бьющихся в лад».

Со своим оружием-словом Ален Боске выходит на улицы, чтобы шагать в ногу с теми, кто борется за человека, за «время жить», за свободу, за мир:

...излишки еды станут едой,
плохо одетый будет одет —
программа одна для всех.
Глагол, который каждый твердит,
слово, что каждый хочет забыть,—
поэма одна для всех.
Мы все солидарны — кто одинок?
Мы все едины — где нет свобод?
Поэма — программа.
Мы боремся—ради невидимых роз.

(«Поэма для всех»)

И именно потому, что борьба никогда не прекращается и сегодня она не может не напоминать о вчерашней, а сегодняшние юноши с длинными волосами не так уж сильно отличаются от людей коротко стриженных, которые сражались в маки́, сборник завершают прекрасные «Стихи подполья», написанные Аленом Боске в марте — октябре 1944 года.

Здесь есть своеобразная перекличка между битвой вчерашней и битвой сегодняшней, которая в конце концов является продолжением той самой битвы, ибо ее конечная цель — человеческое достоинство и свобода:

Ты мертв, мой отец;
мое поле — ты голо;
победитель, стою я напротив руин.
Но свободен теперь я, моя страна, я свободен
после ухода врага,
я свободен тебя воссоздать, как хочу,
с твоим ясным лицом, что я сам уничтожил
затем, чтоб тебя воссоздать,
о страна моя, я тебе сделал так больно, тебя
ранил я так глубоко,
о страна моя, я с тобой выиграл бой, что спасает тебя.

(«Возвращение в страну»)

Эпиграфом к своей книге Ален Боске взял строки Сергея Есенина из стихотворения «Кобыльи корабли»:

Все познать, ничего не взять
пришел в этот мир поэт.

И как прав был Виктор Гюго, который писал: «Поэт — это мир, заключенный в мире». Новая книга Алена Боске, в которой поэт обратился к своему народу,— свидетельство того, что французская интеллигенция обретает все более высокое сознание.

АНДРЕ РЕМАКЛЬ

г. Марсель

АВСТРАЛИЙСКАЯ СЮИТА

Patrick White. The Cockatoos. London, Cape, 1974.

В 1973 году Нобелевская премия была впервые присуждена австралийскому писателю. Ее удостоился Патрик Уайт, автор семи романов, четырех пьес и сборника рассказов, «за эпическое, психологическое повествовательное мастерство, привнесшее новое в литературу». С тех пор он опубликовал роман «Око бури» (1973) и сборник «Какаду» (1974), включающий две большие повести («короткие романы») и четыре рассказа.

Уайт пока более признан в Европе и Америке, нежели на своем континенте, и это довольно показательно. Та же история была с Фолкнером, которого южане США долгое время не признавали за своего; и сходство двух писателей на этом не кончается. Недаром их часто сопоставляют. Как и у Фолкнера, произведения Уайта образуют не линейную последовательность, а некое мозаичное единство. Они не продолжают, а дополняют друг друга, причем нередко давняя вещь оказывается обяза-

тельным разъяснением к новой, и наоборот. Подобно Фолкнеру, Уайт — «жестокий писатель» (стоит заодно вспомнить, что любимец Уайта — и Фолкнера — Достоевский был в свое время назван «жестоким талантом»): его интересует жизнь на ее роковых изломах, особые и странные случаи, кризисные состояния и темные закоулки души. Добавим, что, как и у Фолкнера, никакой патологии в этом нет, правда, иной раз Уайт волей-неволей оказывается на ее опасной грани. Слог Уайта — подобно фолкнеровскому — затемнен отсылками и перенасыщен образностью, порой до невразумительности. Наконец, Уайт, как и Фолкнер, меньше всего смущается соображениями элементарного (и привычного) правдоподобия: он не только нарушает его, но даже ставит под сомнение его обязательность.

Краски сгущаются — но, конечно, не ради эстетской прихоти, и наивные сетования некоторых земляков Уайта по поводу вопиющей несхожести оригинала и изображения основаны на недоразумении. Уайт не описывает Австралию; он, если можно так выразиться, пишет ее, то есть воссоздает смещенный изнутри, небывалый и неповторимый пейзаж особого состояния духовной жизни — пейзаж свежий, яркий и в то же время несколько зловещий. И донельзя австралийский, хотя Австралия Уайта в ее экзотической первозданности — «Терра аустралис инкогнита», новооткрытая земля. Тем не менее это — собственно Австралия, в отличие от готового и удобного «образа Австралии»; и те из соотечественников Уайта, которые оглядываются на этот образ, смотрят, в отличие от писателя, на свою страну сторонним взглядом.

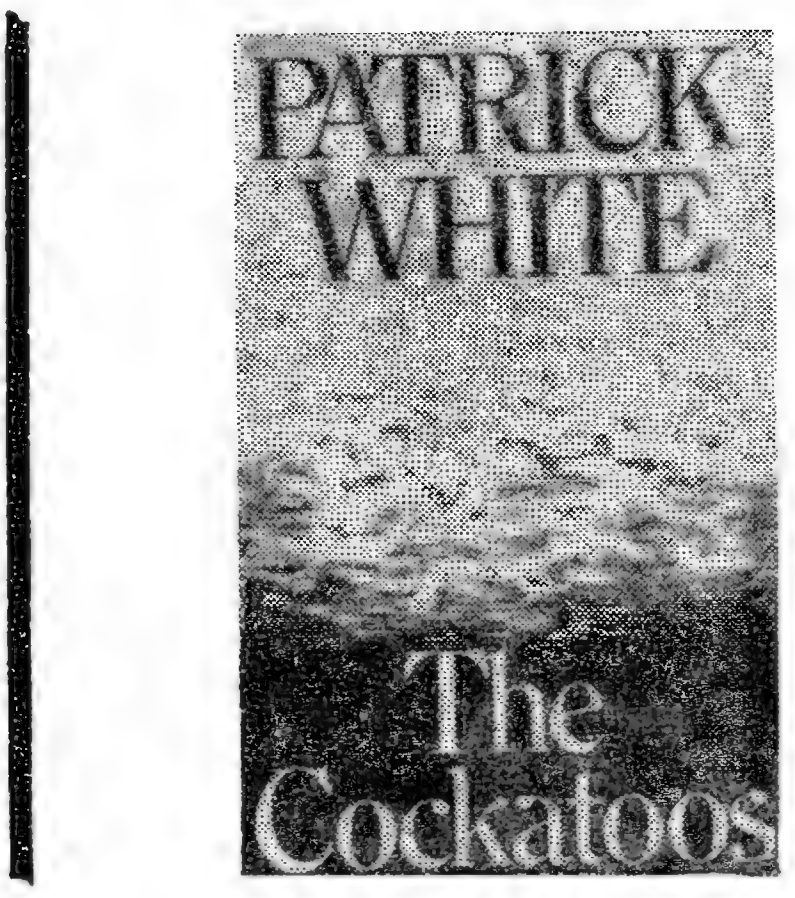
Формула Нобелевского комитета («за эпическое, психологическое повествовательное мастерство») куда больше подходит к таким романам Уайта, как «Счастливая долина» (1939) или «Древо человеческое» (1955), чем ко многим позднейшим произведениям — в частности, двум последним. Между тем именно они представляются крайне характерными для его творчества.

Делались попытки разбирать «Око бури» в «бальзаковском» ключе — как семейно-социальный роман («кутерьма вокруг наследства»). На самом деле к этому почти бессюжетному — можно говорить разве что о связующем музыкальном сюжете — напластованию лирической прозы, случайных, словно подслушанных или придуманных диалогов, погруженных в некий общий, как бы совместный поток сознания, вставных новелл без начала и без конца и зашифрованных гротескных намеков на мнимые — а может быть, и действительные — происшествия даже и слово «роман» применимо очень условно. К нему как нельзя более относятся слова Уайта, что он «пишет в двух планах — в непосредственно фактическом и в универсальном». Интрига намечается — и тут же отметается как ложный способ организации действия: персонажи Уайта не взаимодействуют, а сосуществуют, дополняют сознание и восприятие друг друга.

Однако стиль Уайта легче осваивать на малом прозаическом пространстве. Такую возможность предоставляет новый, второй сборник рассказов — «Какаду». Он имеет отчетливую и целостную структуру: две повести обрамляют четыре рассказа. Тема задается, варьируется и получает завершающую огласовку в последней повести.

Повесть первая — «Женская рука». Пожилая бездетная пара (Эвелин и Хэролд Фэйзекерли — он только что вышел на пенсию) гуляет по необжитому берегу океана и невзначай натыкается на несуразный домишко, где обитает друг детства Хэролда, когда-то едва не ставший любовником Эвелин,—Клем Доусон, в прошлом пароходный механик. Он живет, что называется, без подсказки: занимается поделками, вспоминает, размышляет, созерцает океан. Перед супругами Фэйзекерли — нежелательный свидетель ненужного им прошлого (в их существовании есть место только подложной памяти). Хэролд испытывает что-то вроде зависти; более энергичная Эвелин — негодование, которое она сама перед собой маскирует под сочувствие к неприкаянности Клема. Она решает «пристроить его к жизни», женив на своей — такой же несуразной — подруге. Это удается; но затем подруга попадает в нервную клинику, а Клем — под автобус: по-видимому, это самоубийство. Подавленные и разобщенные этой историей, Хэролд и Эвелин все же продолжают размеренную жизнь обеспеченных и праздных туристов, существующих по инерции; «...и они так привыкли к киноцветам, что, надо надеяться, их не очень удивит, когда они сменятся треском пустой киноленты».

Таков «непосредственно фактический» контур повести, которая излагается, как всегда у Уайта, сквозь перекрестное восприятие героев (Хэролда и Эвелин); от автора — лишь странноватый иронический призвук в их речах и соображениях. Незаметно и непонятно для самих героев



«факты» складываются в происшествия иного, «универсального» плана. Внешние же события (часто смазанные и неопределенные настолько, что ручаться за однозначное понимание описанного никак нельзя) служат как бы завесой, мистификацией действительного сюжета. В данном случае это парафраз евангельской притчи о Марфе и Марии, о зависти человека, поглощенного и одурманенного бытом, к чужой свободе и покою. Повесть имеет своеобразный детективный накал: это история злонамеренного и убийственного вмешательства в чужую жизнь, удавшегося покушения на нее. Если же упустить из виду «универсальную подсветку», рассказ покажется прерывистым и без нужды замысловатым, тема — ускользающей, слог — вычурным.

В исходной повести в полной мере присутствует тема всего сборника: потаенная неестественность бездумной и бесчувственной «обычной» жизни по-заведенному, человеческая несостоятельность обывательства. Ее сопутствующие мотивы: гниение души, фальсификация отношений, извращенные побуждения, разлад с природой, утрата чувства собственного достоинства и т. д. Контрапунктом в развитии темы служит

Рассказ второй — «Сытое брюхо». Оккупированная гитлеровцами Греция. Изнемогающая от голода семья Макридис: две сестры — старые девы, их племянник, племянница и служанка. У старшей сестры Маро была склонность к философии, у младшей Проноэ — к живописи; пятнадцатилетний Коста, сын покойного президента страны,— музыкальный вундеркинд. Трудная задача — сохранить достоинство, честь и смысл жизни, умирая с голоду. Не принимать подачек от оккупантов, не унижаться перед чужими, не терять лица. Маро отказывается от всякой еды в пользу младших, Проноэ предается горю, практичная племянница Анна пытается раздобыть хоть что-нибудь, а Коста отчаянно мечется по улицам, чтобы не потерять рассудка от голода, и все же теряет его — вернувшись, он по-волчьи грызется с теткой Проноэ за миску отвара с несколькими рисинками возле постели умирающей Маро. Крик служанки: Анна чем-то разжилась, и день-другой они будут сыты. Но как после всего смотреть друг другу в глаза? Неужели все потеряно?

Рассказ как будто экзистенциалистский, и это при том, что Уайт — последовательный антиэкзистенциалист: он всегда ищет скрытую сущность, жизненную основу, разрушая самообман внешнего, замкнутого существования. Но тут он словно сдается: да, голод — не тетка, да, голодная смерть — «пограничная ситуация», в которой герой (Коста) капитулирует, то есть, по Сартру, признает абсурд в его правах. Однако остается гордый профиль мертвой Маро, остается опасность опуститься до уровня скота, но все-таки не до предательства; остается мучительная музыка в пальцах Косты (он ведь прежде всего и после всего — пианист). Может, это и игра в поддавки с экзистенциализмом, но игра с большим подвохом. Речь, собственно, идет о глубокой духовной необходимости преодоления физической инерции существования.

Рассказ третий — «Яко тать в нощи» — о жизни в поисках смысла, вывернутой наизнанку и все же оставшейся никчемной. Ужасное несчастье в благополучной семье: дочь стала жертвой насильника в собственной спальне; злодей бесследно скрылся. Мать и отец горестно и растерянно ищут способ как-нибудь все уладить, вернуть в накатанную колею («Я бы на твоем месте сходила к парикмахеру... очень помогает»). Жених дочери — дипломат, джентльмен — выражает свое понимание и готовность немедля вступить в брак. Пострадавшая, однако, словно настаивает на своем несчастье. Она отвергает благородного жениха, отдаляется от родителей, уходит с работы, меняет прическу и стиль одежды — и начинает совсем новую, странную, ночную жизнь. Она проникает в дома, хозяева которых отлучились на вечер, и вдребезги разносит их обстановку, словно срывая маску благополучия. Она обнаруживает в себе иную натуру — отчаянную и безудержную. Она блуждает по ночным паркам — и при виде ее разбегаются молодежные банды и хиппи-«коммуны»; от нее шарахаются громилы и алкоголики, ее изгоняют из компании новообретенные (и заведомо ненужные ей) длинноволосые дружки и подруги. Наконец, мы узнаем, что никакая она не жертва: плюгавый и подвыпивший насильник сам был перепуган до смерти («одно хочу сказать, что у меня жена и двое детей»), нарвавшись на столь энергичную и готовую на все, лишь бы надругаться над своим внезапно опостылевшим благополучием, девицу. Блуждания ее и поиски «настоящей, яростной и простой жизни» безрезультатны: отринувши фальшь, она просто-напросто оказалась лицом к лицу с бессмыслицей.

Рассказ построен как мистификация с самого начала почти до конца (когда выясняется, что насилия — и соответственно все объясняющей психической травмы — не было: был внезапный духовный переворот). Героиня чутьем ищет «другой сюжет», помимо предназначенного ей; но жизнь обманывает ее, опережая ее собственные попытки обмануть жизнь. Она — ни с кем, а значит — с ней никто: трагическая ирония.

В рассказах четвертом и пятом («Пять — двадцать» и «Сицилийская вечерня») снова фигурируют пожилые бездетные пары и снова обнаруживается эмоциональная и духовная ущербность устоявшегося и отлаженного существования. В первом случае происходит запоздалое пробуждение к жалкой, неистовой и невыносимой любви, оборачивающееся смертью; во втором — попытка доказать от противного «правиль-

ность» своей жизни приводит к доказательству ее полной фальши. Это даже не столько рассказы, сколько лирические этюды на заданную тему, которая варьируется и обогащается за счет новых интонаций, колорита, поэтических и афористических формул, психологических парадоксов.

Многих героев Уайта вообще нельзя назвать «действующими лицами»: они, собственно, не действуют, а «подвергаются жизни», и у большинства из них жизнь оставляет дурной вкус во рту и осадок на совести. Внешний облик их едва намечен; они имеют скорее сопроводительную, нежели портретную характеристику. Все они разговаривают и мыслят примерно на одном уровне, и уровень этот хочется назвать «метафизическим». Они словно стремятся освободиться от гипноза происходящего с ними и прорваться чувством к иной, незыблемой и подлинной реальности. Излишне говорить, что это им не удается: попытки с негодными средствами.

Повесть шестая — «Какаду». Пожилая — и, разумеется, бездетная — чета Дэйворен живет под одной крышей, не обменявшись ни словом за последние семь лет. Лужайку перед их домом облюбовывают дикие попугаи какаду, и муж с женой наперебой кормят и обхаживают капризных и пышных птиц: это сближает их и становится своеобразным залогом обновления их отношений. Жители селеньица встревожены: что-нибудь да не так с этими какаду; они явились словно непрошеные вестники иной жизни, а значит — как возмутители спокойствия, разрушители обывательской идиллии. Местный полоумный радетель о порядке открывает по ним пальбу из дробовика. В возникшей потасовке погибает и Дэйворен. «Следствие установило убийство и не обратило внимания на убитых какаду».

Фон у Уайта всегда живой; природа всегда соучаствует в повествовании, создавая особую, поэтически правдоподобную обстановку «универсального», слитного и по сути своей загадочного и символического жизненного действа; эту для него исконную загадочность Уайт нарочито утрирует. Развязка у него никогда не дает окончательного разъяснения, а оставляет читателя перед непроницаемой загадкой.

Благодаря вторжению какаду происходит «прорыв в реальность», и сущность человеческих отношений начинает просвечивать из-под мусорных нагромождений быта, его омертвелых ритуалов. И персонажи здесь необычно для Уайта реальны, прямо-таки рельефны (как правило, его интересуют не характеры и не личности, а неустойчивые душевные состояния). Но быт, миропорядок, вступается сам за себя, убийством заслоняясь от угрозы подлинной — и тем нестерпимой — жизни. В конце повести описывается возвращение к фальши, к подсказанному, заданному, ненужному существованию, и сборник закончился бы на рыдающей ноте, если бы Уайт, со свойственной ему жестокой иронией, не превратил рыдания девятилетнего мальчика, остро ощутившего реальность зла, в беспомощный, подавленный всхлип.

Новая «сюита» Уайта тесно примыкает к предыдущим его сочинениям; все вместе они образуют слитное целое, своеобразную физиологию трагического духовного опыта. К сожалению, именно и только физиологию. В этом специфика таланта Уайта, разумеется, и мировоззренческая специфика (для него нет ни всеобъемлющего абсурда, ни тупой безысходности). В этой области он делает свои художественные открытия. Его «психологическое повествовательное мастерство» несомненно, но перед нами не эпическая картина, а скорее поэтическая мистерия с трагедийным подтекстом, и невольными статистами этой мистерии выступают персонажи Уайта.

В. МУРАВЬЕВ

НОВОЕ ИМЯ

Dan McCall. Jack the Bear. Garden City, New York, Doubleday & Company, 1974.

Тринадцатилетнему Джеку из нового романа американского писателя Дэна Маккола «Джек-Медвежонок» кажется, что от людей можно ждать только зла, поэтому следует быть всегда настороже. Безопаснее всего, считает он, оставаться все время дома. Эта странная для подростка замкнутость объясняется семейными обстоятельствами и целым рядом событий, которые легли в основу романа.

Обратимся прежде всего к фамильной истории. Джек говорит, что его отец с матерью поженились отчасти потому, что у обоих родители были коммунистами. Дед его — по матери — составил себе имя в Голливуде как талантливый сценарист. Когда в середине 50-х в стране началось преследование прогрессивно мыслящих людей, он в числе первых был уволен по «сокращению штатов». Позднее отец Джека, Джон Лири, попав на заметку ФБР, тоже на долгое время остался без работы, а когда наконец устроился на телевидение, то столкнулся с враждебностью сослуживцев, которые начали открыто травить его.

Джек по-своему оценивает семейные традиции. Говоря об атмосфере, в которой он рос, он осуждает родителей за «необдуманность» поступков, приводивших к одним неприятностям. Сам Джек во избежание их ошибок предпочитает «плыть по течению и ни во что не вмешиваться». Свои взаимоотношения с обществом он сравнивает с игрой в пинг-понг: «Мир — это пинг, а я — понг. Ваше дело — подача, мое — только отразить удар. Позовите меня, когда все образуется. Я буду тут как тут».

«Философия» эта столь же стара, как и удобна: моя хата с краю. Неожиданно, по-

жалуй, лишь то, что исповедует ее тринадцатилетний подросток.

В книге рассказано о событиях одной недели, необычной недели — с похищением, погоней и дракой, едва не закончившейся убийством. История эта изложена Джеком, получившим свое прозвище по названию джазовой пластинки Дюка Эллингтона. Книга начинается с того момента, когда Джек с отцом и трехлетним братом переезжают после смерти матери из штата Нью-Йорк в Калифорнию. Старожилы встречают новоприбывших не очень дружелюбно. Джек чувствует враждебность окружающих и целиком замыкается в семейном кругу. В школе у него друзей нет. Единственное, что его связывает со школой, это стенгазета ПУПС (Пьемонтская Учебно-Показательная Сплетница), куда он пишет заметки. В свободное от занятий время он присматривает за братом Дилаком либо смотрит по телевизору «программы ужасов», которые ведет его отец, главный «церемониймонстр». Маккол показывает, как ставшее модным в Америке увлечение фильмами о вампирах, вурдалаках и прочей нежити захватывает совсем юное поколение американцев: многосерийные боевики о Франкенштейне и каннибалах выпускаются с учетом специфики детского восприятия. Поздно вечером, когда отец возвращается домой, игры в дьявола и присных продолжаются в подвале при зажженных свечах.

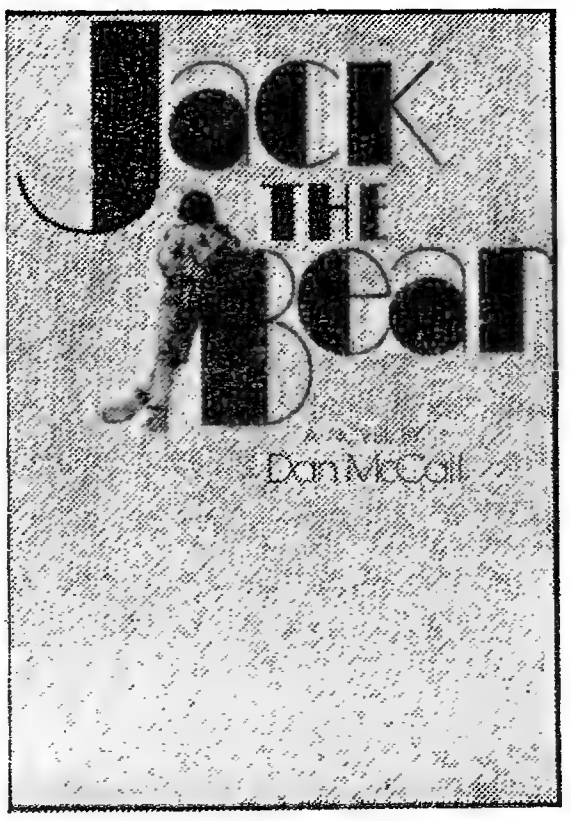
В дни, когда разыгрывается эта мистерия, Америка охвачена ажиотажем предвыборной кампании. Не остаются в стороне и жители Окленда в Калифорнии. Девяносто девять процентов населения, если верить Джеку, ходят со значками Макговерна, одна семья голосует за Никсона, а у некоего Нормана на «форде» модели 1959 года написано «УОЛЛЕС», но, как говорит Джек: «Что толку? Уоллеса ведь прикончили, так что ему уже никогда не баллотироваться, так же как модели 59 года ни в жизнь не сдвинуться с места».

Норман, сыгравший далеко не последнюю роль в жизни Джека, обитает в доме напротив, и часто можно видеть, как он привязывает во дворе собаку к дереву и швыряет в нее камнями. Новые соседи пришлись ему сразу не по душе. Издеваясь над Джоном, он предлагал ему почитать книгу о «коммунистической угрозе», а Джеку не давал прохода на улице. Кончилось же тем, что он похитил трехлетнего Дилана. В течение двух суток полиция безуспешно разыскивала преступника. А одновременно звонили неизвестные, сообщая о том, что в лесу найден изуродованный труп мальчика. Эти «шутки» дорого обошлись Джону и его старшему сыну. Джек, и без того не доверявший людям, окончательно убедился в их жестокости, граничащей с садизмом.

«В Америке все пошло кувырком,— заключает он.— Никто больше не верит в нашу систему». Ему вторит отец, тщетно пытающийся заглушить тоску спиртным: «Где она, Америка моей мечты?» Наконец на третьи сутки, избитый и продрогший до костей, Дилан был найден и доставлен в больницу. Но считая причиненное зло недостаточным, Норман в ту же ночь ударил ножом отца Дилана. Джон выжил, но оправиться от пережитых потрясений не смог. Да и для Джека они не прошли бесследно. Пожалуй, только чувство юмора не дает ему надломиться. Подобно отцу, работавшему некогда клоуном в цирке, он старается разыгрывать из себя весельчака, хотя ему и не до смеха. «Валяйте дурака,— говорит он.— Пусть это будет моей эпитафией».

Характер героя Маккола противоречив. Безволие отца, его неумение постоять за себя порождают в Джеке ощущение собственной неполноценности. В свои тринадцать лет он считает себя неудачником, более того — уверен, что так никогда и не найдет места в жизни. Отсюда его замкнутость, рано развившийся скептицизм. Вместе с тем он не по годам расчетлив и из любой ситуации умеет извлечь для себя выгоду. Подобная практичность, пожалуй, показательна для определенной части молодого поколения американцев 70-х годов, предпочитающих не восставать против системы, как их предшественники, а жить с ней в мире и согласии.

И тот же Джек очень трогательно опекает отца, делает все возможное, чтобы оградить младшего брата от неприятностей. Эта последняя черта роднит его с сэлинджеровским Холденом, мечтавшим о том, чтобы дети беспечно играли во ржи, а он, Холден, оберегал их от опасностей. Впрочем, на этом сходство кончается. Герой Сэлинджера знает, чего хочет: делать все своими руками и растить детей счастливыми. Герой же Маккола хотя и рассуждает о тяжелом положении рабочих, о том, что каждый честный человек обязан отстаивать их интересы, и не раз подчеркивает свои «коммунистические убеждения»,— высказывания его по-детски наивны. «Глубокомысленные» выводы героя об американ-



ской системе, его сравнение себя с Вечным Жидом плохо вяжутся с играми в детской, именуемой в семье Ворчальней. Автор порой выступает в роли кукловода, обнаружившего некстати свое присутствие. Однако в целом психология Джека раскрыта интересно — в перепадах настроения, в противоречивом развитии. А то, что в герое романа легко уживаются детская непосредственность с ранней «умудренностью», само по себе не удивляет; достаточно вспомнить таких предшественников Джека, как герои книг Марка Твена, Трумена Капоте, Харпер Ли.

По своим художественным особенностям «Джек-Медвежонок» ближе всего роману «Над пропастью во ржи». В них много общего: события происходят в небольшой отрезок времени, герои показаны в момент «переходного возраста» (весьма показателен тот факт, что хотя герой Маккола на четыре года младше Холдена, по зрелости мыслей последнему он не уступает), повествование ведется от лица героя, и ему присущ иронический тон. Вряд ли было бы правомерно говорить о подражании, но определенное влияние сэлинджеровской манеры в романе ощущается.

Рассказ от первого лица обладает таким несомненным преимуществом перед пересказом «от автора», как достоверность. Речь Джека — не стилизация, в ней слышится живая интонация подростка, которой неправильный синтаксис или курьезный грамматический ляпсус придают лишь большую выразительность. Существенно даже не то, что его речь изобилует сленгом конца 60-х годов. Важно другое: она точно воспроизводит сумбур мыслей, возникающий в голове мальчишки, начинающего познавать мир.

Благодаря восприимчивости героя Маккола читатель открывает для себя что-то новое в Америке, так как многое в ее нынешнем облике подмечено Джеком с редкой наблюдательностью. Конечно, далеко не всегда способен он оценить критически то или иное явление, как, например, подоплеку нашумевшей истории в Сакраменто, когда некий молодой человек начинял рыночные продукты цианидными капсулами, протестуя (?) таким образом против войны во Вьетнаме. Без помощи отца Медвежонок вряд ли понял бы, что этой провокацией «правые» пытались дискредитировать движение сторонников мира. «Времена настали тяжелые,— вздыхает Джон Лири.— Люди все больше запутываются...» Нет, это не брюзжание обывателя, это подведение грустных итогов: Вьетнам, инфляция, политические репрессии.

...Дэну Макколу тридцать пять лет. Он преподает в университете Корнуэлла и до недавнего времени был автором двух книг: литературоведческой — «Пример Ричарда Райта» и художественной —«Человек говорит: да». И вот теперь новый роман — «Джек-Медвежонок», появление которого отмечено такими писателями, как У. Сароян и Т. Уильямс. Думается, мы вправе ждать от писателя новых, еще более ярких книг.

С. ТАСК

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

Кадр из фильма алжирского режиссера М. Л. Хамины «Хроника огненных лет», завоевавшего Большой приз на международном кинофестивале в Канне.

(Журнал «Опиньон де Багдад»)

АНГЛИЯ

АНГЛИЙСКИЙ РАССКАЗ

За последние месяцы в Англии вышло несколько сборников рассказов, привлекших внимание критики. Их авторы — видные писатели Джон Бойнтон Пристли, Виктор Притчетт, Джон Фаулес, Арнольд Уэскер.

«Кризис Карфитта» — так называется сборник Джона Бойнтона Пристли, выпущенный издательством «Хайнеман». В него вошли три рассказа. Как отмечает рецензент «Таймс литерари сапплмент», они гораздо больше, чем обычно у Дж. Б. Пристли, напоминают киносценарий. Дж. Б. Пристли задумал их как маленькие драмы, и, по мнению критика, они в самом деле имеют все признаки этого жанра. Автор в них максимально остранен, давая героям возможность самим проявить себя в поступках и диалоге. Сам Дж. Б. Пристли назвал сборник забавой старого писателя. Как пишет рецензент, маститый автор решил на склоне лет вернуться к темам и героям своей молодости.

Другой старейший английский писатель — известный критик и литературовед Виктор Притчетт — назвал свой сборник «Кэмбервельская красавица» (издательство «Чатто энд Уиндус»). Чтобы до конца понять идеи рассказов Виктора Притчетта, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент», следует помнить, что определяет его творческую манеру. Герои писателя — не просто выходцы из низших социальных слоев, эти маленькие люди — чудаки, эксцентрики. Важное место у Виктора Притчетта занимает понятие пуританства и весь связанный с ним комплекс идей.

В рецензии на последний сборник рассказов Притчетта английский писатель Фрэнсис Кинг пишет: «Его герои — это люди, которых вы, быть может, при встре-

че не восприняли бы серьезно. Однако такие люди существуют. Притчетт отвел им особое, достаточно важное место в современной английской литературе. О таких людях, — замечает критик,— писал Диккенс, которому Виктор Притчетт многим обязан как писатель. Но у Диккенса маленькие люди чаще всего становились комическими персонажами. В прозе Притчетта же маленький человек совершенно вытеснил героя-джентльмена. Персонажи писателя нередко смешны и жалки, но они люди, и это основное».

«Башня из черного дерева» — сборник рассказов Джона Фаулеса, молодого писателя, на которого британские критики возлагают большие надежды. По мнению английских литературоведов, Джон Фаулес — превосходный стилист, художественное мастерство которого выделяется даже на высокопрофессиональном уровне современных британских прозаиков.

В сборник вошли четыре новеллы о любви: любви идеальной, безответной, утраченной и выдуманной. Название сборнику дала первая новелла, где рассказывается о знаменитом художнике на пороге смерти и об окружающих его в этот час людях: двух очаровательных молодых девушках и начинающем писателе, который с нетерпением ждет кончины художника, чтобы, наконец, написать исследование о его жизненном и творческом пути.

«Бедный Коко» и «Загадка» — психологические размышления о загадочности природы человека, о непредсказуемости его поступков и чувств.

Оценивая сборник Джона Фаулеса, рецензент «Таймс литерари саплмент» пишет: «При чтении возникает и сохраняется до самой последней страницы впечатление, что писатель как бы репетирует и что предлагаемое читателю произведение отнюдь не следует считать окончательным вариантом».

Издательство «Кейп» опубликовало сборник рассказов известного английского драматурга Арнольда Уэскера «Любовные письма на голубой бумаге». Обозреватель «Таймс литерари саплмент» отмечает, что по своей тональности рассказы Арнольда Уэскера значительно отличаются от его драм. Драмы были «сердитыми», социально злободневными, в них Арнольд Уэскер писал о людях своей среды, о тех, кого хорошо знал из опыта собственной жизни. Но «кухонная драма» Уэскера, как часто называли его пьесы,— в прошлом. Нынешний Уэскер, пишет рецензент, «задыхается от сентиментальности». А жаль, продолжает критик, что его злость и справедливый гнев угасли, потерялись «где-то по пути». Место героев — граждан, озабоченных проблемами общества, заняли чудаки — нервные и сентиментальные герои.

«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА

Крупным событием театральной жизни Англии рецензенты британских журналов считают спектакль по последней пьесе Гарольда Пинтера «Ничья земля», поставленный Питером Холлом в лондонском Национальном театре.

В обзоре театральных новинок сезона рецензент «Морнинг стар» Джек Сазерленд отмечает, что последняя пьеса Гарольда Пинтера намного интереснее, чем его предыдущее произведение «Старые времена».

Обозреватель журнала «Тайм» считает, что если в предыдущих пьесах писателя герои были полностью поглощены только своими сегодняшними проблемами, то теперь важную роль в их жизни играет и прошлое, и будущее, которое Пинтер отождествляет со смертью. Именно в смерти Гарольд Пинтер видит «ничью землю», на которую рано или поздно вступают все люди. «Карта этой земли,— пишет рецензент,— очерчена пока драматургом не слишком отчетливо».

Критик отмечает, что многочисленными аллюзиями, абстрактными идеями и усложненностью формы последнее произведение Гарольда Пинтера напоминает поэзию Т. С. Элиота.

Спектакль по пьесе Пинтера вызвал явный интерес, но рецензенты объясняют его успех не столько содержанием и идеями, которые, по их мнению, трудно понять, сколько блестящей игрой двух гигантов современной британской сцены: Джона Гилгуда и Ральфа Ричардсона. «Без них,— пишет Джек Сазерленд,— путешествие в страну Гарольда Пинтера было бы очень скучным. А благодаря их блестящей игре мы прощаем драматургу слишком уж обильные неясности».

Джон Гилгуд и Ральф Ричардсон — в пьесе Гарольда Пинтера «Ничья земля».

(Журнал «Тайм»)

БОЛГАРИЯ

КНИГА О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Издательство «Болгарский писатель» выпустило в свет книгу Ивана Спасова «Поэзия трех десятилетий». Рецензент журнала «Септември» Тодор Янчев называет новую работу И. Спасова «серьезной попыткой проникновения в сущность литературных явлений в области поэзии за последние тридцать лет,— явлений, связанных с радикальными переменами не только в общественно-экономической и политической сферах, но во всей духовной жизни народа, с утверждением, развитием и дальнейшим обогащением метода социалистического реализма, воспринятого нашими писателями как основной метод изображения социалистической действительности».

Выявляя традиции социалистического реализма в условиях нового общества, И. Спасов стремится осмыслить и определить характерные процессы обновления поэтического мышления. В его работе привлекает идейно-социальный аспект трактовки, стремление вскрыть единство социальных, эстетических и общефилософских основ каждого произведения, показать творчество того или иного поэта в единстве «гражданских и эстетических идеалов». На конкретных примерах И. Спасов осуждает попытки социальной вульгаризации средствами поэзии, критикует бескрылое иллюстрирование героического в первые годы после победы над фашизмом. Он исследует коррективы времени, повлиявшие на творчество таких поэтов, как Хр. Радевский, Б. Райнов, Е. Багряна, М. Исаев, П. Матев, Д. Джагаров и др.

По мнению рецензента, книга И. Спасова дает широкое представление о богатстве и разнообразии современной болгарской поэзии.

«СУДЬБА НАРОДА — СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ»

Под таким заголовком газета «Работническо дело» публикует интервью Стефана Коларова с известным болгарским писателем Георгием Караславовым. Говоря о своем творческом пути, о работе в подполье в годы монархо-фашизма, о своей деятельности в коммунистических газетах до победы антифашистского народного восстания 9 сентября 1944 г., писатель подчеркнул: «Я никогда не считал себя только писателем, я был партийцем, коммунистом и свою деятельность в этой области всегда ставил выше писательской. Я пишу драмы, рассказы, повести и этой своей работой воспитываю партии верных сыновей. Не могу себе представить, что бы я делал, если бы постоянно не участвовал в партийной работе.

Мое творчество неразрывно связано с идеями партии. В моих произведениях, и особенно в «Обыкновенных людях», нет вымысла. Все описанное — правда. Все эти годы — с 1922 г., когда был задуман роман, и до настоящего времени — я использовал в работе не только свои личные воспоминания и воспоминания более пятисот участников революционных событий, но и изучал документы о развитии нашего революционного движения под руководством партии».

Останавливаясь на задачах современной литературы, писатель подчеркнул возрастание ее политического значения. «К сожалению,— отметил Г. Караславов,— наши молодые критики и литературоведы не всегда умеют понять, что литература сегодня — это идеология».

Говоря о своих ближайших творческих планах, Г. Караславов назвал законченную недавно документальную повесть «Беличката гора» — об участниках революционного движения в селе Белица, которая скоро выйдет в издательстве «Отечествен фронт», и рассказ для детей «Старшина и Русанка».

Продолжает писатель работать и над романом «Мачеха», начатым еще в 1944 г. По словам Г. Караславова, уже тогда была задумана тетралогия — «Пепелище», «Отец», «Сноха» и «Мачеха». Рукопись первого романа погибла. Потом пришлось отложить и работу над «Мачехой». Были опубликованы лишь две части задуманного произведения. И вот теперь писатель возвращается к осуществлению прежних замыслов. Свой труд Г. Караславов планирует закончить через год-полтора. «Мачеха» завершит эпопею «Простые люди», принесшую писателю широкую известность.

ВЕНГРИЯ

КНИГА ДЮЛЫ ИЙЕША О ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

Советским читателям хорошо известно имя венгерского писателя Дюлы Ийеша — поэта, прозаика, драматурга. Но мало кто знает, что Ийеш много и серьезно занимается исследованием становления и развития венгерского языка.

Недавно в издательстве «Магвете» в серии «Ритм времени» вышла книжка писателя «Наш родной язык».

Читатель узнает из нее, как один из первых ученых-лингвистов Венгрии, Антал Регули, доискиваясь истоков венгерского языка, еще в середине XIX века приезжал на его прародину, в нынешний Ханты-Мансийский национальный округ (известно, что между Уралом и нижним течением Оби в начале новой эры жило племя гуннов, которое во время великого переселения народов, проделав путь от Урала до Дуная, осело на территории Венгрии), и разговаривал с местным населением на... венгерском языке.

О том, как развивался венгерский язык, как происходило становление устного и письменного литературного языка, о неразрывной

связи и взаимодействии литературного языка с живой, разговорной речью, о поэтическом языке и еще о многом другом рассказывается в этой книжке Ийеша, которую, как отмечает газета «Мадьяр немзет», «отличают широта тематики и глубина исследовательской мысли, облеченные в форму увлекательного повествования».

ТЕЛЕФИЛЬМ О ЛАЙОШЕ КОШУТЕ

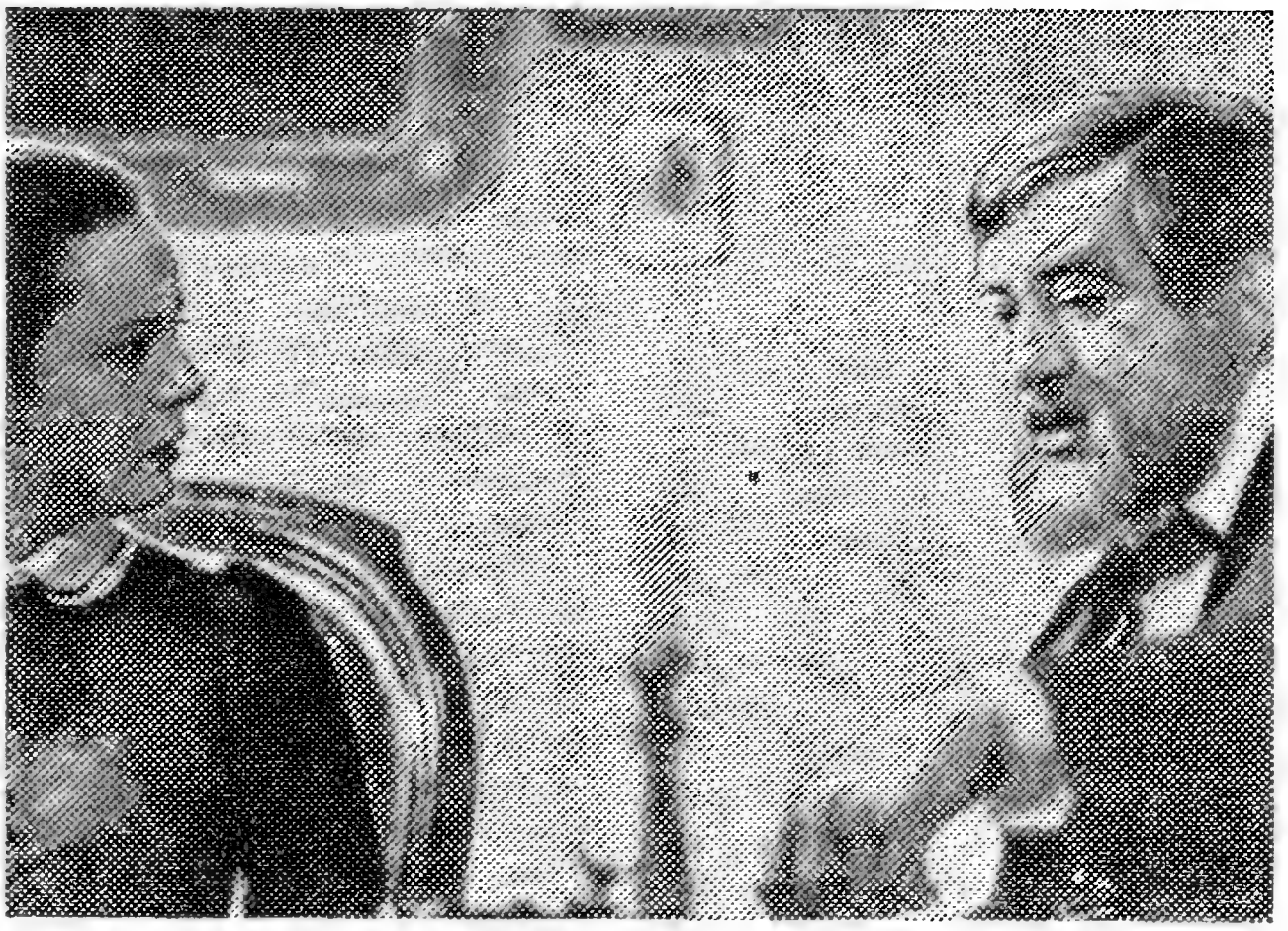
В течение нескольких дней жители города Дебрецена были «свидетелями» исторических событий почти стотридцатилетней давности... В реформатской церкви города и на прилегающей к ней площади шли съемки фильма о венгерском политическом и государственном деятеле Лайоше Кошуте.

Дебрецен — город, где произошли два особо знаменательных события в жизни Венгрии.

Апрель 1849 года. В Венгрии полным ходом идет буржуазная революция. Венгерский парламент низложил династию Габсбургов и провозгласил 14 апреля Декларацию независимости, согласно которой Венгрия объявлялась «свободным, самостоятельным и независимым государством». Лайош Кошут был избран верховным правителем.

Исторический день 14 апреля 1849 года и лег в основу телевизионного фильма «Алмазный процесс» (режиссер Миклош Хайдуфи, сценарий написан Дердем Сабо по одноименному роману Габора Мочара).

По свидетельству журнала «Критика», фильм воссоздает сложную атмосферу борьбы различных политических группировок вокруг крестьянского и национального вопросов и стратегических планов военных операций и показывает, что именно Лайош Кошут, возглавлявший в правительстве левое крыло, наиболее последовательно и целеустремленно отстаивал национальную независимость Венгрии.



Ласло Менсарош в роли Кошута, в роли его сестры Жужа-Мари Чомош в фильме «Алмазный процесс».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Но понадобилось почти сто лет, чтобы идеи Кошута претворились в жизнь: в октябре 1944 года Дебрецен был освобожден Советской Армией, а в декабре в той же реформатской церкви было созвано Временное национальное собрание и сформировано первое демократическое венгерское правительство.

ГДР

СБОРНИК СТИХОВ ЭВЫ ШТРИТТМАТТЕР

«Лунный снег лежит на лугах» — так назвала свой новый сборник стихов, выпущенный издательством «Ауфбау», Эва Штриттматтер (о ее сборнике «Я творю песню из безмолвия» см. «ИЛ» № 3, 1974).

Стихи очень музыкальны, часто они напоминают народные песни. Как и в прежних стихах, поэтесса тесно связывает свою лирику с действительностью, с реальной жизнью, которая ее окружает. «Поэзию Эвы Штриттматтер можно назвать зеркалом современной жизни, созданным волшебными средствами поэзии»,— пишет «Нойес Дойчланд».

«Главное в лирике Эвы Штриттматтер,— отмечается в аннотации журнала «Нойе дойче литератур»,— отношение человека к природе и к окружающему миру. Простота стихов, звучность и напевность рифмы делают ее новую книгу понятной и близкой читателю».

ИЗДАТЕЛЬСТВУ «АУФБАУ» 30 ЛЕТ

Исполнилось 30 лет издательству «Ауфбау». За эти годы издательство выпустило 63 000 книг тиражом 83 миллиона экземпляров. Среди них—произведения классиков, современная художественная литература и публицистика. Большое внимание уделяет издательство иностранной литературе, особенно литературе Советского Союза и других социалистических стран. Кроме того, в 1976 году планируется издать произведения писателей Франции, Италии, Англии, США, Чили, Венесуэлы, Гаити, Египта, Нигерии.

«В названии нашего издательства,— сказал в беседе с корреспондентом информационного агентства ГДР директор издательства Фриц Георг Фойгт,— заключен большой смысл. С самого основания его задачей

было участие в восстановлении и дальнейшем развитии нашей национальной литературы».

Еженедельник «Зоннтаг» опубликовал подборку присланных к юбилейной дате поздравлений крупных писателей Германской Демократической Республики, и среди них — Анны Зегерс, Людвига Ренна, Эрвина Штриттматтера.

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕГЕНДА ОБ ИКАРЕ

«Это — фильм о детях, но вместе с тем недетский»,— пишет о новом фильме «Икар» студии ДЕФА журнал «Фильм-шпигель».

Создатели картины — известный режиссер Геинар Каров и писатель Клаус Шлезингер. В основу фильма положен рассказ Шлезингера «Девять».

Главный герой — девятилетний Матиас. Тяжело переживая разрыв родителей, он целиком уходит в себя, в мир мечты и фантазии. Легенда об Икаре, которую рассказывал отец, захватывает его поэтическую душу: он тоже мечтает подняться в небо. И когда отец, обещавший ему ко дню рождения особый подарок — воздушную прогулку над городом, легкомысленно забывает о своем обещании, мальчик потрясен. Рушится вера в родителей, которых он очень любит. Больно ранит мальчика и то, что у матери появился другой любимый человек.

«Тема молодого поколения всегда была и остается для меня главной, — сказал в интервью еженедельнику «Зоннтаг» режиссер Гейнар Каров.— Я считаю, что взаимоотношения с молодым поколением, желание понять детей — одна из основных моральных проблем нашего общества. Матиас — воплощение чистоты, честности и искренности. Равнодушие и безответственность, с которыми он сталкивается в жизни, подрезают крылья нашему Икару, разбивают его мечты. В конце фильма звучит песенка о том, что крылья должны снова отрасти. Нам хотелось закончить фильм оптимистической нотой.

Когда меня спрашивают, какое значение я придаю легендам и фантазиям в моих фильмах, я отвечаю, что никогда не любил документализма. Мне кажется, что на реальную жизнь лучше смотреть сквозь призму поэзии — мифа, легенды, сказки. Если судить по тому, как тепло зрители приняли мои предыдущие фильмы, можно считать, что такая творческая манера находит живой отклик».

Газета «Нойес Дойчланд» называет фильм «Икар» «фильмом об ответственности».

Кадр из фильма «Икар».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ФРГ

НОВАЯ ПЬЕСА ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

В конце августа в мюнхенском «Модернес театер» с успехом прошла премьера новой пьесы 29-летнего драматурга-коммуниста Франца Ксавера Крёца «Гнездо». Спектакль поставлен режиссером Гертом Пфаферодтом, главные роли исполняют Ильза Нойбауэр и Йорг Хубе. Рецензенты отмечают тонкий художественный вкус постановки, умелый выбор скупых, неброских выразительных средств и считают ее несомненной удачей театра.

Пьеса посвящена проблеме становления личности. Используя детективную фабулу, автор показывает, как забитый маленький человек в конце концов восстает против капиталистического общества.

Сюжет пьесы незатейлив, и, на первый взгляд, это типичная «мещанская» драма: в семье шофера грузового автомобиля Курта рождается долгожданный ребенок. Стремясь хоть как-то свести концы с концами, Курт поддается уговорам хозяина, сулящего хорошее вознаграждение, и преступает закон — сливает ядовитые отходы производства в озеро. Именно на это место приходит его жена Марта с малышом купаться. Ребенок получает тяжелые ожоги. Курт в отчаянии, его мучают укоры совести, и он даже пытается покончить с собой.

Но жизнь продолжается. «В финале пьесы,— как пишет рецензент гамбургской газеты «Ди цайт»,— перед зрителем предстает совершенно новый человек. Из «дрессированной обезьяны», слепо, бездумно исполнявшей чужие приказы, полностью посвятившей себя своему «гнезду», вырастает

настоящий борец, осознавший, что не уход в себя, а сознательное участие в политическом и профсоюзном движении может привести к победе над хозяевами».

ДАНИЯ

«ПРОЛЕТАРСКИЕ СТИХИ» КАРЛА ШАРНБЕРГА

В издательстве «Тиден» вышел поэтический сборник Карла Шарнберга «Пролетарские стихи». Шарнберг — поэт послевоенного поколения. В своих стихах он воспевает поэзию труда, призывает людей всей планеты к солидарности в борьбе за человеческие, гражданские и политические права. Он гордится своей принадлежностью к рабочему классу.

Один из циклов сборника посвящен воспоминаниям детства, герои другого цикла — рабочие.

«Карл Шарнберг продолжает лучшие традиции скандинавской пролетарской поэзии»,— отмечает рецензент газеты «Фрихетен».

ЕГИПЕТ

РОМАН ГАМАЛЯ АЛЬ-ГЕЙТАНИ

В Дамаске вышел новый роман египетского писателя Гамаля аль-Гейтани «Аз-Зейни Баракат в государстве сыщиков». Действие романа происходит в Египте в конце правления династии черкесских мамлюков, перед завоеванием страны войсками турецкого султана Селима Грозного (1517 г.).

Как пишет обозревательница журнала «Ат-Талиа» Фарида ан-Наккаш, основной пафос этого произведения в обличении режима, основанного на тирании и всеобщей слежке. Хотя в романе описываются события далеких времен, он звучит актуально и для читателя XX века.

В основу повествования положены реальные события. Главный герой романа Аз-Зейни Баракат — историческое лицо. Он занимал должность контролера мер и весов в Каире, а потом стал губернатором этого города. Коварный властолюбец, не брезговавший ничем для достижения своих целей, таким он предстает и в романе. Рядом с Аз-Зейни вырастает зловещая фигура Закарии — главы сыскного ведомства, садиста и палача. Шпионы Закарии наводнили город и страну, установили слежку за каждым, но их главе этого мало и он мечтает, что «придет время, когда его осведомители будут знать, сколько мужчин будет спать со своими женами, какие дети будут покоиться во чреве матерей и кто из них родится и вырастет».

Но и в этом царстве тирании, где людей по малейшему подозрению пытают, вздергивают на виселицу или сажают на кол, есть светлые силы. В романе их олицетворяет студент-богослов Саид, который стремится пробудить забитый народ к борьбе за свободу.

Фарида ан-Наккаш высоко оценивает новый роман аль-Гейтани и выражает сожаление, что он не нашел издателя в Египте и был опубликован в Сирии.

Роман «Аз-Зейни Баракат...» — не первое произведение молодого египетского писателя. Ранее аль-Гейтани выпустил два сборника рассказов: «Записки юноши, жившего 1000 лет тому назад» и «Ракета земля-земля», а также повесть «Исчезновение» (некоторые рассказы аль-Гейтани опубликованы на русском языке в сборнике «Живи, Египет!»).

ВЫСТАВКА СОРЕЙИ РАССУЛ

С большим успехом в Египетском культурном центре в Париже прошла выставка гравюр Сорейи Рассул. Французы впервые познакомились с творчеством известной египетской художницы, произведения которой экспонировались в Италии, Испании, ФРГ, Югославии и неоднократно отмечались на международных художественных выставках.

Как пишет обозреватель журнала «Жён Африк», Сорейя Рассул считается создательницей целой школы египетской гравюры. Она получила образование сначала у себя на родине, закончив в 1949 году Школу изящных искусств, а затем училась в Венгерской академии художеств в Буда-

«Крестьяне». Гравюра Сорейи Рассул.

(Журнал «Жён Африк»)

пеште. Сейчас она, помимо собственного творчества, занимается с молодежью в Каирском институте художественного воспитания. Министерство культуры АРЕ намерено собрать все ее произведения в музее.

Несмотря на то что художница работает в сравнительно новой для Египта технике, ее гравюры глубоко связаны с тысячелетними традициями изобразительного искусства ее родины. Любимые темы Сорейи Расул — крестьянский труд, земля, которую она отождествляет с материнством, любовь, весна. В беседе с обозревателем журнала она так определила свое творческое кредо: «Художник — это тот, кто видит прекрасное раньше других и стремится показать его людям, чтобы научить их радоваться жизни. Я не согласна с теми, кто изображает мир и человека в мрачных, пессимистических красках».

ИНДИЯ

ФОЛЬКЛОР ПЕНДЖАБА

Столичное издательство «Раджиал и сыновья» выпустило на английском языке в массовой серии книгу писателя и ученого Бридж Бхаллы «Бессмертные легенды о любви». В сборник вошли широко известные произведения пенджабского фольклора.

Издавна повелось, пишет литературный обозреватель журнала «Линк», что каждое индийское село имело своих певцов-сказителей. Они изустно передавали из поколения в поколение древние мифы, предания, легенды и притчи. Лишь значительно позднее появились записи этих произведений на пальмовых листьях, пергаменте и бумаге.

В настоящее время изустная традиция быстро отмирает. Подавляющая часть современной индийской молодежи не имеет ни малейшего представления о культурном наследии прошлого своей родины. Вошедшие в рецензируемый сборник произведения, впервые переведенные на английский язык еще в XIX веке, до недавних пор были библиографической редкостью.

Заслуга Бридж Бхаллы в том, что он вернул это литературное богатство своим соотечественникам. Большинство легенд относится к эпохе раннего средневековья. Бережно обработав тексты, автор преподносит их читателю в доступной форме современного короткого рассказа. В центре внимания каждого из них — человек, человеческие судьбы, и это делает их, по сути, глубоко социальными и общенациональными, заключает критик.

ИРАК

РОМАН О ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В ДЕРЕВНЕ

В Багдаде вышел роман молодого писателя Касема Хиддыра Аббаса «Скитальцы».

Как пишет рецензент газеты «Аль-Джумхурия», в иракской литературе до сих пор мало крупных произведений о жизни деревни, несмотря на то, что большинство иракских писателей — выходцы из сельской местности. Среди немногих романов и повестей, действие которых развертывается в деревне, критик выделяет повесть «Рука, земля и вода» Зу-н-Нуна Айюба (на русский язык переведена как «Дело Маджида Рахима»), а также романы «Томимые жаждой» Абд ар-Раззака аль-Матлаби и «Река и пепел» Мухаммеда Шакера ас-Саба. «Эти книги,— отмечает рецензент,— с любовью рассказывают о добром, прекрасном мире сельских тружеников с его радостями и печалями, а изображенные в них события и герои надолго запоминаются».

Роман «Скитальцы» — первое произведение К. Х. Аббаса. В отличие от других произведений о крестьянах, в нем затрагиваются проблемы современной иракской деревни.

В основу романа положены реальные события. Автор показывает тяжелый труд крестьян-сезонников, притеснения и обиды, которые они терпят от владельцев финиковых рощ. Но даже безрадостная, мрачная действительность не может убить в героях романа прекрасные человеческие чувства. В книге рассказывается о любви сына богатого плантатора Мансура и Хасаны, молоденькой крестьянки-сезонницы. Отец Мансура, узнав об их любви, изгоняет семью Хасаны с плантации. Казалось бы, надеждам молодых людей на счастье сбыться не суждено.

Вскоре, однако, в жизни крестьян деревни произошли большие перемены. Благодаря созданию оросительной системы на юге Ирака, получившей название «Проект 30 июля» (в июле 1968 г. к власти в Ираке пришла прогрессивная группировка партии «Баас»), прежде бедствовавшие деревни получили, наконец, воду. Жизнь крестьян пошла по-иному, им нет больше необходимости уходить на сезонные работы. Во время торжества по случаю пуска ирригационной системы Хасана вновь встречается с Мансуром, приехавшим вместе со своими товарищами, чтобы принять участие в стройке.

По мнению рецензента, значение романа «Скитальцы», во-первых, в том, что он затрагивает тему, которой иракские романисты прежде не касались, и, во-вторых, в том, что автор сумел тесно связать изображение жизни своих героев с революционными преобразованиями в стране.

ПИСАТЕЛЬНИЦЫ — НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «АЛЬ-АКЛЯМ»

По случаю Международного года женщины редакция иракского журнала «Аль-Аклям» посвятила специальный номер творчеству

современных арабских писательниц.

На его страницах выступили со своими произведениями Дизи аль-Амир, Сухейля Дауд Сальман, Камар Килани, Амаль аз-Захави, Лютфия ад-Дулейми и другие иракские писательницы и поэтессы, а также представительницы литератур других арабских стран.

В номере помещена также большая статья литературоведа доктора Омара ат-Талиба о творчестве иракских писательниц-новеллисток.

ИТАЛИЯ

ПАМЯТИ ИСПАНСКИХ ПАТРИОТОВ

Миллионы итальянцев гневно осудили расправу властей над испанскими патриотами. Среди тех, кто вновь заявил о своей солидарности с неустрашимыми борцами за демократическую Испанию, были многие деятели итальянской культуры.

Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» скульптор Джакомо Манцу опубликовал в «Унита» рисунок, который посвятил памяти пяти испанских патриотов, казненных франкистскими палачами 27 сентября 1975 г. Передавая рисунок в редакцию газеты, Манцу выразил уверенность, что мужественная борьба «против позорного франкистского режима, став еще непримиримее и сплоченнее, приведет испанский народ к свободе».

Поэт Альдо Северини выпустил тоненькую книжечку — «Три стихотворения об Испании» (последнее стихотворение датировано днем казни Анхеля Отаеги, Хуана Передеса Манота, Хосе Умберто Баены, Рамона Гарсиа Санса, Хосе Санчеса Браво Сольяса). Книжку открывают двадцать строк предисловия, в которых Северини писал: «Испания в трауре. Весь мир в трауре. Диктатор Франко совершил новое чудовищное злодеяние... В публикуемых здесь стихах, написанных накануне и после преступления, я хотел выразить отношение простых людей к испанскому Сопротивлению, сделав эти строки вкладом в антифашистскую борьбу, в борьбу всех народов против фашистской тирании».

Рисунок Джакомо Манцу, посвященный памяти казненных испанских патриотов.

(Газета «Унита»)

КУВЕЙТ

«ЛИТЕРАТУРНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ КУВЕЙТА»

Как сообщает журнал «Аль-Араби», Ассоциация писателей Кувейта выпустила книгу литературоведа Мухаммеда Хасана Абдаллаха «Литературная и культурная жизнь Кувейта».

В книге рассматриваются различные стороны культурной, общественной и литературной жизни Кувейта, в том числе мало исследованная кувейтская новеллистика, драматургия, литературная критика и журналистика; кроме того, дается обзор становления женского движения и народного образования в Кувейте, а также история различных культурных обществ и клубов.

По словам рецензента, книга доктора М. Х. Абдал-

лаха представляет собой первую попытку развернутого исследования культурной и духовной жизни Кувейта.

НИГЕРИЯ

МОНОГРАФИЯ О ДАНИЭЛЕ ФАГУНВЕ

В г. Бенине в издательстве «Эфиоп паблишинг корпорейшн» вышла книга, посвященная творчеству популярнейшего прозаика, писавшего на языке йоруба, Даниэла Ороволе Фагунвы (1903—1964). Автор монографии Айо Бамгбозе — декан факультета нигерийских языков Ибаданского университета, ведущий там специальный курс литературы и языка йоруба.

Даниэл Фагунва — самый известный писатель йоруба. Он написал пять фантастических повестей и множество рассказов, сюжеты которых взяты из фольклора. Наиболее известная из его повестей — «Храбрый охотник в лесу четырех тысяч духов». Книги Д. Фагунвы выдержали около двух десятков изданий, переводились на английский язык. Один из переводов сделан известным нигерийским писателем Воле Шойинкой. Тираж книг Даниэла Фагунвы достигает нескольких сотен тысяч экземпляров.

Даниэл Фагунва оказал значительное влияние на всю современную литературу йоруба, особенно ощутимо оно в творчестве Амоса Тутуолы, пишущего по-английски. Отдельные главы монографии А. Бамгбозе посвящены тематике, композиции и языку повестей, устной традиции в творчестве Фагунвы, различным влияниям, проявляющимся в его творчестве, и влиянию его самого на современную нигерийскую литературу.

Книга профессора А. Бамгбозе должна, по мнению рецензента журнала «Уэст Африка», послужить началом для научного исследования богатств литературы йоруба.

ПАКИСТАН

НОВЫЙ РОМАН НА ПЕНДЖАБИ

Недавно вышедшую из печати книгу пенджабского писателя Факхара Замана «Семеро затерявшихся» критики назвали «первым авангардистским романом на пенджаби». В нем нет фабулы, нет характеров в общепринятом смысле. Ни одно из семи действующих лиц не имеет ни имени, ни своей особой характеристики. Сюжет сводится к тому, что семеро людей, оказавшихся в незнакомом месте, должны изложить каждый свою версию о жизни других. Роман состоит из семи историй, герои которых раньше никогда не встречались. Между ними как будто бы нет ничего общего. Но это только внешне, так как из рассказов выясняется, что у них одинаковые заботы, разочарования, стремления. Они возмущены окружающим их обществом с его псевдоморалью, с его институтами, с его жизненным укладом.

Критика назвала Замана экзистенциалистом, для которого «жизнь бесцельна и в конечном итоге абсурдна. Человек у него имеет свое место в мире вещей, но это не какое-то особенное, привилегированное место. Отдельная личность в романе — звено цепной реакции, которая осуществляется вне времени и пространства».

СОЗДАН ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТР

Национальный совет искусств Пакистана организовал первый в стране передвижной театр, показывающий пьесу «Клянусь богом» известного драматурга Саджада Хайдера. Театр уже побывал в Вахе, Таксиле, Харипуре, Ажелуме, Хариане и Марри. «Клянусь богом» — комедийное произведение, высмеивающее отжившие этические ценности современного пакистанского общества. Действие происходит в доме, где никто никому не доверяет, все друг друга подозревают и в то же время лицемерно клянутся в своей честности.

В труппе всего два профессиональных актера — Саджад Хайдер и Шакил, остальные — любители. По отзывам прессы, выступления театра пользуются у зрителей успехом.

ПОЛЬША

«СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ НОВЕЛЛА»

В «Библиотеке 30-летия» вышел двухтомник «Современная польская новелла». Это издание получило широкий отклик в польской печати. Ярослав Ивашкевич в традиционной рубрике «Беседы о книгах», которую он постоянно ведет в газете «Жице Варшавы», пишет:

«Эти небольшие книги дают отличное представление о всей литературе 30-летия, и, хотя антология не могла, разумеется, охватить произведения всех представителей польской литературы этого периода, она знакомит читателей с наиболее значительными и известными произведениями тридцати пяти писателей. Составите-

---

Семисерийный телевизионный фильм «Особые приметы» рассказывает о строителях северного морского порта. Авторы сценария — известные писатели Анджей Твердохлиб и Роман Залуский, который является также и режиссером фильма.

На снимке: Йоанна Ендрыка в фильме «Особые приметы».

(Журнал «Экран»)

лями антологии, а также авторами вступления и комментариев являются Тадеуш Буйницкий и Яцек Кайтох. Антология заслуживает самой высокой оценки».

Газета «Трибуна люду» также откликнулась на выход антологии. Постоянный рецензент «Трибуны люду» Януш Термер пишет: «Антология очень представительна с точки зрения тенденций развития польской новеллистики и вместе с тем отражает основные проблемы 1939—1970 гг.

В сборнике представлены писатели, дебютировавшие еще перед первой мировой войной, такие, как Зофья Налковская, писатели межвоенного двадцатилетия: Ярослав Ивашкевич, Ежи Анджеевский, Ежи Путрамент, Ксаверий Прушинский, Стефан Отвиновский, Хенрик Ворцель, писатели послевоенной эпохи, такие, как Богдан Чешко, Войцех Жукровский, и писатели более позднего поколения, например, Тадеуш Новак и Эдвард Редлинский.

Авторы построили сборник по тематически-хронологическому принципу, группируя материал по темам: сентябрьская кампания, польское Сопротивление, оккупация, общественно-политические изменения в стране после войны, вступление в жизнь нового, послевоенного поколения, культурное развитие польского общества, прежде всего крестьянства, так как деревенская тема получила наиболее широкое отражение в современной польской литературе, чего нельзя сказать о рабочей тематике.

В целом эта антология,— заключает Януш Термер,— дает представление о литературном процессе, об эволюции жанра новеллы, а также об общественных преобразованиях в нашей стране и об изменении сознания людей и их бытия».

ИСКУССТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Под таким заголовком в постоянной рубрике «Культура и человек» в газете «Трибуна люду» напечатано интервью с известным режиссером, видным деятелем польской кинематографии Чеславом Петельским. Он знаком советскому зрителю по целому ряду фильмов, один из которых, «Коперник», с успехом прошел на советском экране и был удостоен премии на Московском фестивале.

Основной темой беседы была «Роль партии в творческих союзах».

«— К чему обязывает людей творческого труда принадлежность к партии?

— Прежде всего,— сказал Чеслав Петельский,— к повышенному чувству ответственности за то, что ты делаешь, к требовательности к себе, к поискам новых путей развития социалистического искусства. Надо помнить, что фильм как вид искусства получил развитие только в Народной Польше, совершенно порвав с традицией коммерческого кино в буржуазной Польше. И этому в первые послевоенные годы способствовали кинематографисты, связанные с партией. Последние годы отмечены все возрастающим доверием польского зрителя к отечественным фильмам (в 1972 году их просмотрело 27 миллионов человек, в 1974 году — 45 млн.), и поэтому нашей главной задачей является борьба за такое творчество, при котором кинематографисты, не снижая художественного уровня, не отказываясь от многообразия художественных стилей и творческой индивидуальности, создавали бы фильмы, которые были бы предназначены для самых широких кругов зрителей.

Никто не отрицает права художника на эксперимент, но в конечном итоге ценность произведения определяется его общественным резонансом. Кинорежиссер не может служить только «себе и музам», а тем более работать «в стол», потому что его произведение без зрителей останется бесполезным роликом киноленты.

Сейчас по инициативе партийной организации мы взяли за правило авторские показы новых фильмов на промышленных предприятиях, среди тех, кому есть что сказать об идее фильма. Так, «Земля обетованная» была в первую очередь показана рабочим Лодзи, а «Ночи и дни» жителям Калиша.

Мы заботимся о постоянной связи деятелей кинематографии со всем обществом, мы должны знать, что волнует зрителей, чем живет страна. С этой точки зрения наша партийная организация проводит партийную учебу, привлекая на наши занятия известных публицистов, международников, экономистов, общественных деятелей.

Работа нашей организации прежде всего проводится в области творческой, но фильм — это также производство, оснащенное современной техникой, с современной организацией труда, поэтому мы, естественно, занимаемся также вопросами технического оснащения студии. С большой радостью мы приветствовали решение правительства, в котором учтены насущные нужды нашей кинематографии, и, конечно, особо важное значение для нас имеет решение о постройке Варшавской киностудии, которое откроет перед нами новые перспективы и возможности».

РУМЫНИЯ

ОСТОРОЖНО: ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ!

Режиссер Г. Наги снял по сценарию Ал. Андрицою, Н. Штефэнеску и Б. Мерович фильм на извечную тему обретения новой молодости. На этот раз дело обошлось без вмешательства сверхъестественных сил. Фаустовская тема решена в фильме «Эликсир молодости» средствами научной фантастики.

...Известный ученый открывает средство, с помощью которого возвращает молодость себе и своим сверстникам, лицейским одноклассникам, тоже ставшим к тому времени крупными учеными. Но тут-то и настигает их подлинная бе-

Актеры Матей Александру, Мелания Кырже, Флорин Персик и Ана Селеш — исполнители главных ролей в фильме «Эликсир молодости».

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

да. Исчезли прежние знания, накопленный опыт, творческие замыслы. «Молодые люди» выглядят жалкими и беспомощными, делают глупости, тщетно пытаясь завоевать прежнее место и положение в обществе.

«Это потому,— объясняет рецензент «Ромыния литерарэ» Д. И. Сукяну (кстати, перешагнувший недавно порог девятого десятка),— что молодость не возраст, а состояние, нравственное и духовное. Независимо от того, сколько человеку лет, он молод, когда относится ко всему с должной серьезностью, оценивает жизнь с позиций будущего, учится, познавая ее, и любой акт познания превращает в акт творческий. В этом — смысл фильма «Эликсир молодости».

СЕНЕГАЛ

«ВЕЛИКИЕ АФРИКАНЦЫ»

Под таким названием сенегальское издательство «Нувель эдисьон африкэн» в содружестве с камерунским издательством «Кле» начало издание серии исторических романов и художественных исследований о жизни и деятельности великих людей прошлого Африки. Возглавляют эту работу профессор-историк Ибрахима Баба Какэ и литератор Франсуа Поли. Уже вышли первые четыре книги серии. Все они о героическом прошлом Африки в трагические моменты ее истории. Это «Анна Зинга, королева Анголы» Ибрахимы Баба Какэ, исследование о жизни национальной героини Анголы, легендарной королевы, правившей страной в 1623—1663 гг., возглавившей борьбу с португальскими завоевателями и долгое время оказывавшей им активное сопротивление. Она была последней правительницей независимой Анголы.

Вторая книга этой серии «Джудер, конец империи Сонгаи» того же автора повествует о жизни марокканского паши, который возглавлял армию султана в то время, когда она нанесла сокрушительный удар и окончательно разгромила крупнейшее государство Западного Судана XVI века империю Сонгаи.

Об истории Африки в XIX веке повествуют две другие книги — «Аль-Хадж Омар, пророк-воитель» Э. Дюкудрея и «Беханзин, король Абомея» Ж. Амегбоха.

Личность Аль-Хадж Омара (1797—1864), выдающегося государственного и религиозного деятеля Западной Африки, не раз привлекала внимание писателей. Исследование Э. Дюкудрея дает новые сведения о жизни этого сложного и интересного человека.

В книге Ж. Амегбоха рассказывается о правителе Дагомеи Беханзине, который долго сопротивлялся французскому завоеванию. Только хитростью отстранив его от власти, французы смогли в 1892 году овладеть столицей государства, городом Абомеем.

Город, основанный в XVII веке, был разграблен и сожжен, а страна превращена в колонию, теперь развалины дворцов показывают туристам как памятники национальной культуры.

США

«РОМАН-МАСТОДОНТ»

Так озаглавлена опубликованная в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» рецензия на новый роман видного американского писателя Рейнолдса Прайса «Поверхность земли». В книге около пятисот страниц.

Критик утверждает, что эта книга, «появившаяся, словно древнее животное, из-подо льда, сковавшего поле южного романа», поражает необычностью своей формы — традиционной семейной хроники. Рецензент сравнивает роман Прайса с «Будденброками» Т. Манна и знаменитой трилогией У. Фолкнера о Сноупсах. По его мнению, в последнее время к сходному жанру обращались лишь Г. Гарсиа Маркес и Гюнтер Грасс, но их семейные эпопеи отличались современной усложненностью формы. Книга Прайса нарочито однолинейна и однопланова. В ней совершенно отсутствуют характерный для литературы сегодняшней Америки интеллектуализм и интерес к социальной проблематике. В наши дни, когда, как утверждает критик, нельзя говорить о сколько-нибудь серьезной региональной струе в прозе США, Прайс создал произведение, воскрешающее многие черты так называемой «южной школы» американского романа: привязанность к ме-

сту, вневременность, внимание к мельчайшим деталям бытия, переплетенность жизни героев с судьбой их слуг и соседей.

Писатель рассказывает о трех поколениях Мэйфилдов и Кендлов — жителей Северной Каролины и Виргинии. Действие охватывает четыре десятилетия, с начала до середины нашего века. Герои романа «Поверхность земли» одержимы одной жизненной целью, их мысли заняты мечтой о любви, духовной близости с окружающими их родственниками и детьми. Много писавший раньше о молодежи, в своем новом романе автор повествует о любви возвышенной, часто обращаясь к таким понятиям, как «дом, дар, прощение, доброта, помощь». По своей лирической напряженности книга напоминает поэму. Герои без конца говорят о своих чувствах, а в разлуке пишут друг другу длинные письма. Само название книги взято из размышлений главного героя, которому всегда казалось, что поверхность земли, как кожа,— лишь покров, скрывающий от человека ту защищенную от жизненных бурь бухту, где «рождается душа... и заживают все раны».

«Этот голос, звучащий анахронизмом,— пишет в заключение рецензент,— заставляет нас заметить, что мы что-то упустили или были слишком умны, чтобы признать... Этот длинный семейный роман противостоит желанию современных писателей изобразить реальность как нечто исключительное, поразительное и недостижимое. Не думаю, чтобы он оказал влияние на нашу прозу — писатели заняты поисками секретов стиля и моральных ценностей. Но для нас, читателей, книга Прайса остается фактом современной литературы: герметичное и не тронутое временем старомодное произведение, властно, словно сон, подчиняющее себе наше сознание».

ТУНИС

КНИГА МУХАММЕДА МЗАЛИ

Журнал «ИБЛА» поместил рецензию на новую книгу известного тунисского публициста и общественного деятеля, главного редактора ежемесячника «Аль-Фикр» («Мысль») Мухаммеда Мзали, вышедшую под названием «Исследования». Книга включает 15 документов. Это статьи Мзали, напечатанные в журналах «Ан-Надва» и «Аль-Фикр», тексты его выступлений и доклада на съезде партии Дустур. Все эти материалы охватывают период с 1949 по 1971 год.

Как пишет обозреватель журнала «ИБЛА», «Исследования» могут рассматриваться как дополнение к предыдущей книге Мзали — «Позиции» (см. «Иностранную литературу» № 8, 1975), однако статьи, собранные в новой книге, носят более фундаментальный характер. Эти статьи посвящены самой различной тематике: истории, философии, литературе, праву, антиколониальной борьбе, вопросам образования и воспитания молодежи. (Вопросам литературы, в частности, посвящены статьи «Ответственность писателя» и «Изображение героя в арабо-андалузской и магрибинской литературе».)

По мнению обозревателя,

Фрагмент стенной росписи, выполненной молодой американской художницей Люси Малер. Во время митинга «Салют, Куба!» он служил фоном для сцены и трибуны. В митинге приняли участие прогрессивные общественные деятели, представители культуры.

(Газета «Дейли уорлд»)

«Исследования» представляют собой ценный документ эпохи.

ТУРЦИЯ

ТЕАТР «ДОСТ»

Уже не первый год в Стамбуле существует театр «Дост», созданный на товарищеских началах коллективом молодых театральных работников. Театр поставил перед собой цель — способствовать развитию пролетарского искусства. Театр «Дост» выступил инициатором распространения абонементов на фабриках и заводах Стамбула, проведения бесплатных представлений для бастующих рабочих, создания богатого репертуара. Большой успех выпал на долю спектаклей «События в Алпагуте» и «Как Керем», показом которых театр открыл сезон.

Пьеса «События в Алпагуте», написанная Хикметом Зейбеком в содружестве с коллективом театра, посвящена реальным событиям, которые произошли в начале 1968 года в местечке Алпагут Чорумского вилайета Турции. Более полувека назад здесь началась добыча бурого угля. Но со временем, в силу ряда социально-экономических причин, некогда процветавшее предприятие пришло в упадок. В 1968 году, когда в течение трех месяцев не выплачивалась зарплата, шахтеры объявили забастовку. Узнав, что требования бастующих не будут удовлетворены, 786 шахтеров прогнали хозяев и взяли управление предприятием в свои руки. Был избран рабочий совет, который руководил производством, сбытом угля и распределением вырученных денег согласно социалистическому принципу. Спустя тридцать пять дней по распоряжению губернатора в Алпагут были введены войска. Об этих событиях, открывающих славную страницу в истории рабочего движения Турции, и рассказывает яркий, остроумный спектакль, в котором режиссер Мехмет Акан широко использует условную декорацию, современные сценические приемы, танцы, хоровое пение.

Спектакль «Как Керем» — это монтаж из стихотворений Назыма Хикмета. Он сопровождается показом фотографий, документов и газетных сообщений, относящихся к биографии поэта, а также произведений турецких художников, обращенных к жизни народа. Спектакль идет под музыку композитора Арифа Эркина, песни исполняет известный турецкий певец Рухи Су. По словам Генджо Эркала, постановщика спектакля и исполнителя единственной роли, «актеру не нужно играть поэта, походить на него, повторять на сцене его жизнь, он должен с помощью произведений великого художника-борца донести до зрителя смысл человеческой жизни». В первых двух картинах поэт рассказывает о своей стране и народе, о своих мечтах и надеждах, о борьбе за счастье трудового человека. Третья картина—это письма поэта из тюрьмы, четвертая — повесть о годах, проведенных за пределами Турции, о путях-дорогах, пройденных по другим странам, пятая — о жгучей тоске по родине. В условиях обострившейся идеологической борьбы в стране стихи поэта-коммуниста в исполнении талантливого актера и чтеца Генджо Эркала обретают особенно острое политическое звучание. По случаю премьеры спектакля в фойе театра была организована выставка картин известного турецкого художника Ибрагима Балабана (см. «ИЛ» № 5, 1966). Театр, которому удалось собрать вокруг себя многих деятелей прогрессивного искусства Турции, пользуется большой популярностью у зрителей.

ФРАНЦИЯ

ПЕРЕПИСКА РОМЕНА РОЛЛАНА С ЖАНОМ ГЕЕННО

В многотомном издании «Тетради Ромена Роллана» в течение ряда лет публиковались письма Р. Роллана к Пеги, Ганди, Жан-Ришару Блоку и другим. В недавно вышедшем 23-м томе «Тетрадей» опубликована наиболее значительная часть эпистолярного наследия писателя: его переписка с Жаном Геенно. Том носит название «Независимость духа». Эти письма охватывают период с 1919 по 1945 г., но большая их часть относится к 1929—1936 гг., когда Жан Геенно был главным редактором журнала «Эроп». В этот период прогрессивная французская интеллигенция особенно активно выступает против милитаризма и фашизма. В переписке Ромена Роллана с Жаном Геенно в эти годы ставятся проблемы, не утратившие актуальности и в наши дни, пишет Андре Стиль в «Юманите», приводя слова Жана Геенно, призывавшего к объединению интеллигенции во имя великих целей: будущего человечества, справедливости и свободы.

А. Стиль подчеркивает, что в этих письмах отражена позиция Ромена Роллана как активного защитника Советского Союза. «Так же

Вышел на экраны новый фильм Франсуа Трюффо «История Адель Г.», героиней которого является младшая дочь Виктора Гюго, сопровождавшая родителей в изгнание после резких выступлений писателя в печати и в Национальном собрании против Наполеона III, превратившего Республику во Вторую империю. Печать отмечает превосходную игру молодой актрисы Изабель Аджани (на фото), которая исполняет роль дочери Гюго.

(Журнал «Экран»)

как и Вы,— пишет Роллан Геенно,— я думаю, что сейчас важнейший, самый первостепенный вопрос — это создание нового общества в СССР. По сути я действую во имя его защиты» (1931). В письмах к Жану Геенно Р. Роллан сурово осуждает тех писателей, чьи эстетические принципы уводят от борьбы за сегодняшний и завтрашний день. Р. Роллан с сарказмом пишет о призрачности той свободы, которой якобы пользуются писатели на Западе.

Предисловие к тому «Независимость духа» написал Андре Мальро. Он отмечает уникальность и бесценность того практического опыта в решении проблем интеллигенции, который содержится в переписке Ромена Роллана с Жаном Геенно.

В заключение, говоря об актуальности тома «Независимость духа», где по сути уже ставился вопрос о разрядке международной напряженности, Андре Стиль напоминает о недавней встрече Бернара Клавеля и Мишеля Батая с советскими писателями в Москве, на которой речь шла именно об этом.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

СМОТР ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ

С большим успехом прошел в г. Гронове фестиваль памяти Алоиса Ирасека — смотр чешских самодеятельных театральных коллективов, посвященный 30-летию освобождения Чехословакии от гитлеровских захватчиков.

С именем известного чешского писателя-историка Алоиса Ирасека — уроженца Гронова — связаны вся культурная жизнь города и его театральные традиции. Во многих своих романах Ирасек прославил народных героев и тружеников родного края, запечатлев и первые зачатки в нем самодеятельного драматического искусства. Его пьесы не сходят с афиш профессиональных и любительских театров; с постановки одной из них, по традиции, и начинается фестиваль памяти Ирасека.

Девять коллективов — победителей районных и краевых смотров — и два гостящих самодеятельных театра (из Словакии и из Советского Союза) показали разнообразную, вдумчиво подобранную программу. Естественно, что на фестивале, посвященном 30-летию победы над фашистской Германией, преобладающее место заняли пьесы, отразившие борьбу с фашизмом: «Винтовки Тересы Каррар» Б. Брехта, «Немцы» Л. Кручковского, «Снег над вековым кедром» И. Буковчана, «Трибунал» А. Макаёнка. Ряд коллективов обратился к национальной, а также русской и советской классике, поставив «Р. У. Р.» К. Чапека, «Каменного гостя» А. Пушкина, «Оптимистическую трагедию» Вс. Вишневского и композицию из драм Н. Погодина «Темп-1929». Была представлена и пьеса из жизни современной чешской деревни—«Сильвестр» Я. Илека.

Фестиваль не только выявил среди актеров-любителей ряд выдающихся дарований, но и показал необычайно возросший за последние годы общий уровень как актерского исполнения, так и режиссерской работы и сценического оформления спектаклей.

Внесмотровое время участников фестиваля было заполнено деловыми обсуждениями в дискуссионных клубах, семинарах и на творческих встречах коллективов.

О возросшем значении Гроновских фестивалей свидетельствует широкое участие в нем иностранных делегаций — деятелей любительских театров и театральной печати — из Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Ганы, ГДР, Италии, Польши, СССР, США и Югославии.

ЧИЛИ

ТЕАТР ЧИЛИЙСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Чилийская театральная труппа представила на Авиньонском фестивале театрального искусства спектакль «Чили — свобода». Его создатели — актеры, режиссеры, драматург и композитор (пять мужчин и четыре женщины) — были энтузиастами экспериментального агитационного театра в Чили периода Народного единства, выступали со своими спектаклями на заводах и шахтах. После фашистского переворота они были арестованы, подвергались пыткам, затем были изгнаны из своей страны.

Актеры выходят на сцену в белых и черных одеждах — цвета траура и надежды — и читают стихи Пабло Неруды, избранные отрывки из речей Альенде и Луиса Корвалана, рассказывают о своих товарищах, убитых в застенках, о пытках и унижениях, которым подвергаются люди, неугодные режиму, о том, что испытали сами участники спектакля.

«Чили — свобода» — это крик страдания и призыв к борьбе, это и обвинительный акт против клики Пиночета, превратившей Чили в «страну слез и крови»,— пишет театральный критик «Юманите» Жан-Луи Мартиноти, отмечая своеобразие исполнительского мастерства труппы, в котором стремительность речи и жестов сочетается с торжественной красотой ритуального обряда.

ШВЕЦИЯ

«КАНДИДАТЫ В РАКОВЫЕ БОЛЬНЫЕ» СТАФФАНА СЕБЕРГА

Главный герой нового романа Стаффана Себерга «Кандидаты в раковые больные» молодой врач Лотар Дальстрем — человек целеустремленный и талант-

В шведском Королевском драматическом театре с успехом идет «Двенадцатая ночь» Шекспира в постановке Ингмара Бергмана. Пресса отмечает отличную игру Биби Андерсон в роли Виолы. На снимке: сцена из спектакля. В роли Виолы — Биби Андерсон, в роли Оливии — Лиль Терселиус.
(Журнал «Театр»)

ливый, по словам коллег, «надежда онкологии». Но не научные успехи Дальстрема занимают писателя. Он сосредоточивает свое внимание на тенденциях дегуманизации медицинской науки.

Фанатичное служение науке при полном забвении элементарных норм человечности перерастает в жестокость и цинизм. Для экспериментаторов, которые озабочены только собственной карьерой, пациент становится лишь биологическим объектом, технической моделью. Духовный кризис Дальстрема, посвятившего всю жизнь науке и разуверившегося в ее нравственной непогрешимости, приводит его к сумасшествию и смерти.

«В своей книге, написанной в полуреалистической-полугротескной манере, Себерг поднимает серьезную и актуальную для современного общества нравственно-этическую проблему: деятели науки, и в частности медики, наделенные огромной властью, становятся элитарной прослойкой, противопоставляющей свои интересы законам человечности»,— отмечает рецензент газеты «Ню даг».

ЯПОНИЯ

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» НА ЯПОНСКОЙ СЦЕНЕ

Токийская театральная труппа Тоэи показала на сцене театра Хайюдза спектакль «А зори здесь тихие...» по одноименной повести Бориса Васильева. Постановку осуществил режиссер труппы Симомура Масао.

Рецензент журнала «Бунка хёрон» Кусака Сотокити отмечает, что героическая судьба советских девушек, самоотверженно вставших на защиту Родины в минуту грозной опасности, производит огромное впечатление. Это впечатление еще более усиливается благодаря эмоциональной, исполненной большого подъема игре артистов, участвующих в спектакле. И исполнитель роли старшины Васкова — актер Омиля Тэйдзи, и исполнительницы женских ролей Эндо Акико, Мидзогути Дзюнко, Уэно Тосико, Косигоэ Нацуми, Ямада Тамако в каждом жесте и в каждом слове стремятся донести до зрителя индивидуальные особенности каждого образа и высокий патриотический дух, сплачивающий их в единое целое.

Автор рецензии, побывавший в Советском Союзе и видевший одноименный спектакль Театра на Таганке, особо отмечает большое влияние советской постановки на японский спектакль. «Преисполнен высокого смысла,— пишет критик,— сам факт обращения японской театральной труппы к героической истории мужественных советских девушек, отдавших юные жизни за свободу своей Родины, именно теперь, в год 30-летия окончания второй мировой войны, в год победы вьетнамского народа в освободительной войне».

Авторы этого номера

■

ЭМИЛ МАНОВ (род. в 1918 г.).

Болгарский писатель, драматург, сценарист. Окончил юридический факультет Софийского университета. Печатается с 1936 г. В годы второй мировой войны — активный участник антифашистской борьбы.

Перу Э. Манова принадлежит книга о пережитом в фашистских тюрьмах «Пленная стая» («Пленено ято», 1947), сборники рассказов «Огонек» («Огънчето», 1957), «Веточка миндаля» («Бадемовото клонче», 1958), «Ваня и статуэтка» («Ваня и статуетката», 1968), повесть «Недостоверный случай» («Недостоверен случай», 1957).

На русский язык переведены его роман «Бегство Галатеи», трилогия о мужественной борьбе болгарских коммунистов в годы фашизма — романы «Конец рода Делии», «День рождается», «Кручи», драма «Совесть» и другие произведения.

Предлагаемый вниманию читателей роман «Сын директора» («Синът на директора», София, издательство «Български писател») вышел в 1973 году, был с интересом встречен читателями и критикой.

■

СОБКОВИЧ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ (род. в 1918 г.).

Советский писатель, литературовед, переводчик болгарской прозы. Автор книги «Иван Вазов» (1950), многих статей о болгарской литературе и культуре. Переводил болгарских классиков и современных писателей: Ивана Вазова, Алеко Константинова, Людмила Стоянова, Димитра Ангелова, Димитра Димова, Андрея Гуляшки, Камена Калчева, Богомила Райнова и др. За многолетнюю переводческую деятельность и популяризацию болгарской литературы в Советском Союзе правительство НРБ наградило его орденом Кирилла и Мефодия I степени.

■

ИНГРИД ЙОНКЕР — INGRID JONKER (1933—1965).

Южноафриканская поэтесса. Писала на языке африкаанс. (О ней и ее творчестве — в предисловии А. Давидсона.)

Стихи Ингрид Йонкер, составляющие предлагаемую подборку, взяты из сборников «Побег» («Flushtelung», 1956), «Дым и охра» («Rook en oker», 1963), «Опрокинутое солнце» («Kantelson», 1966) и из журнала «Контраст» (№ 3, 1965).

■

ФРАНЦ-ЙОЗЕФ ДЕГЕНХАРДТ — FRANZ JOSEF DEGENHARDT (род. в 1931 г.).

Западногерманский писатель, по профессии адвокат. Получил известность в ФРГ и за ее пределами как антифашистский поэт, автор и исполнитель песен-баллад на политические темы. Особенно популярен среди молодежи.

Его первый роман «Бикфордов шнур» («Zündschnüre». Hamburg, Hoffman und Campe Verlag), который мы начинаем публиковать в этом номере, появился в 1973 г. Вскоре он был переиздан в ГДР и переведен на ряд европейских языков. По роману поставлен одноименный фильм, получивший положительную оценку прогрессивной общественности. В 1975 г. вышел второй роман Ф.-Й. Дегенхардта «Пожарища» («Brandstellen»), повествующий о положении ад-

вокатов в ФРГ и нелегкой судьбе человека, выступающего против реакции, несправедливости и насилия.

■

ФРИДРИХ ХИТЦЕР — FRIEDRICH HITZER (род. в 1935 г.).

Западногерманский журналист и публицист, главный редактор прогрессивного журнала «Кюрбискерн».

Предисловие к роману Ф.-Й. Дегенхардта «Бикфордов шнур» получено редакцией в рукописи.

■

ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ — GIOVANNI GIUDICI (род. в 1924 г.).

Итальянский поэт и эссеист. Наиболее значительные его поэтические сборники, из которых составлена публикуемая подборка, вышли в последнее десятилетие: «Жизнь в стихах» («La vita in versi», 1964), «Автобиология» («Autobiologia»), за который он был удостоен премии Виареджо 1969 г., «О, беатриче» («O beatrice», 1972). О творчестве Дж. Джудичи см. вступительную статью Ц. Кин.

На русском языке стихи Дж. Джудичи публиковались в антологии «Итальянская лирика XX века» и в журнале «Новый мир».

■

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский переводчик, автор стихотворных переводов из Данте, Петрарки, а также ряда современных итальянских поэтов. В 1966 г. за переводы лирики Данте получил премию Итальянской академии Линчеи, в 1969 г. стал первым лауреатом премии имени Квазимодо, учрежденной в Италии для пропагандистов ее поэзии за рубежом.

Поэтические и прозаические переводы Евг. Солоновича неоднократно печатались в нашем журнале.

■

СЬЮЗЕН ХИЛЛ — SUSAN HILL (род. в 1942 г.).

Английская писательница, автор романов, рассказов, пьес. Начала писать в возрасте 16 лет. По окончании Королевского колледжа Лондонского университета в течение пяти лет работала литературным редактором газеты «Ковентри ивнинг телеграф». Ее первые романы остались незамеченными английской критикой, признание пришло к писательнице в конце 60-х годов. Тогда появились ее романы «Господа и дамы» («Gentelmen and Ladies», 1968), «Перемена к лучшему» («A Change for a Better», 1969), «Я — король замка» («I'm the King of the Castle», 1970). Ныне Сьюзен Хилл — лауреат крупных литературных премий Англии: премии Сомерсета Моэма, Ллевеллина Райса, Уайтбред, а также премии Совета искусств. В своем творчестве она развивает традиции английской реалистической прозы психологического направления. В ее произведениях много автобиографического. В последние годы вышли романы «Странная встреча» («Strange Meeting», 1971), «Ночная птица» («The Bird of Night», 1972), «В весеннюю пору года» («In the Springtime of the Year», 1974), сборники рассказов «Альбатрос» и другие рассказы» («The Albatross» and other Stories», 1971), «Немного песен и танцев».

Мы знакомим читателей с творчеством Сьюзен Хилл (ранее ее произведения на русский язык не переводились), публикуя рассказы из сборника «Немного песен и танцев» («A bit of Singing and Dancing». London, Hamilton, 1973).

■

УБЕРТО АЛЬВАРАДО АРЕЛЬЯНО — HUBERTO ALVARADO ARELLANO (1927—1974).

Гватемальский писатель, политический деятель. До своей гибели являлся Генеральным секретарем Центрального Комитета Гватемальской партии труда.

Публикуемые в этом номере его очерки о гватемальских поэтах Отто Ренэ Кастильо и Роберто Обрегоне Моралесе были получены от автора в рукописи.

Подробнее об Уберто Альварадо Арельяно см. вступительную статью Юрия Дашкевича.

■

АНДЖАПАРИДЗЕ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1943 г.).

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по проблемам зарубежной, преимущественно английской, литературы.

■

ГУРЕВИЧ АРОН ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский историк, специалист по истории западноевропейского средневековья, доктор исторических наук, профессор. Автор книг: «Псходы викингов» (1966), «Свободное крестьянство феодальной Норвегии» (1967), «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» (1970). «История и сага» (1972), «Категории средневековой культуры» (1972) и статей по проблемам методологии исторической науки и средневековой культуры, опубликованных в советской и зарубежной печати.